ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ

ЭССЕ
ПУБЛИЦИСТИКА
СТИХИ
ПОЭМЫ





ОЛЖАС
СУЛЕЙМЕНОВ

АЗИЯ

ЭССЕ
ПУБЛИЦИСТИКА
СТИХИ
ПОЭМЫ

ОЛЖАС СУЛЕЙМЕНОВ

© Оформление. Издательство «Жалын», 1990.

462173

ЭССЕ
ПУБЛИЦИСТИКА
СТИХИ
ПОЭМЫ

АЗИЯ

Казахстан
КІТАПХАНАСЫ
БИБЛИОТЕКА
Сев.-Казахст. университет

АЛМА-АТА
«ЖАЛЫН»
1990 г.

«МЫ» и «НЕ МЫ»

«МЫ» и «НЕ МЫ»

Адам — ПЕРВЫЙ

против

ЯРЛЫК

СО-

ЭССЕ ПУБЛИЦИСТИКА

СО-

СО-

КАЗАХ

КОНТАКТ

ПИСЬМЕННОСТЬ

«НИЧЕЙНЫЙ»

КНИГА

999 —

«НЕ МЫ»

«МЫ» и «НЕ МЫ»

АТОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

серости и провинциализма

ЯРЛЫК

ЗНАНИЕ

МНЕНИЕ

ЭССЕ ПУБЛИЦИСТИКА

ВЕСТЬ

СКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

КОНТАКТ

ПИСЬМЕННОСТЬ

ИНТЕРВАЛ

КНИГА КНИГА

ДОРОГА К ЕДИНИЦЕ

ВИДЕТЬ В ОБЫДЕННОМ ВЕЧНОЕ

— так формулирую одну из способностей литературы. Когда пишешь, об этой задаче не думаешь. Если же получается, то невольно.

Мы стесняемся называть своих учителей. Даже Пушкина, хотя все мы прошли через этот Университет профессионализма. Он владел всеми жанрами: если материал требовал выражения в прозе, не насиловал его стихами. Писал статьи, драмы, эпистолии...

Хочу сказать, что этот урок не забыт и литераторами моего поколения. Мы откликались на злобу дня, стремясь претворить ее в добро. Не все, не у всех получалось, но мы были искренни. Ныне — время публицистики, потому книгу позволительно начать с подборки опытов газетной и трибунной журналистики недавних десятилетий. Это малая толика того, что было опубликовано в печати и произнесено: все собрать — в тома не уложишь. Мы шли в литературу, чтобы действовать. И когда утверждают, что мы, писатели, осмелели, начали думать о судьбах народа, страны только в последние два-три года, я не соглашаюсь. Осмелели те, кто ждал разрешения на смелость. Ныне храбрость безопасна и выгодна. А мы всегда старались говорить правду. Ту, которую постигали.

Я отбирал из груды материалов, особенно не выбирая. Хотел, чтобы было представлено время, круг интересов. И не включаю публикации и речи начиная с 85-го года. Возможно, опубликую в отдельном сборнике, дабы они осознавались естественным продолжением нашей публицистики 60-х и 70-х годов.

ТЫ—МОЙ ГЕРОЙ[1]

(В нашем городе началась борьба с формализмом)

[1]Журнал «Жулдыз», 1962.

Его «а» уходит в дорогу, вырастая в плач — Ы, злость — У, ненависть — И, восторг — О, раздумье — Э. Его «а» идет через рычащие, свистящие и шипящие согласные и, обретая крепкие ноги, становится головастым, гордым шагателем Я.

Я — солнце с лучами! У него много врагов. Слетала голова («а») и дергались на дороге длинные спутанные ноги (А).

Мы знаем всего нескольких поэтов, прошедших от а до я. Не многим народам дался этот путь. Слабые застревали на — Ы, мудрые на Э...

В живой литературе работает весь алфавит чувств и мыслей. Первые полсотни лет нашего века прошли под знаком ненависти и победы. Погасшая солнечным днем спичка — темное пятно. Ураган века задувал факел, но очищал для солнца небо. С курганов могил наблюдаю дорогу, вижу и начало пути, и его далекое продолжение.

Мудрые оставляют следующим поколениям заветы жить так, как хотели жить мудрые. Мы знаем пока меньше уходящих мудрецов. Но можем сформулировать то, что необходимо в реале, и то, что можно в идеале. Пророки не глядели под ноги и падали в пропасть. Специалисты же не были идеалистами: их взгляд не поднимался от камней на тропе. Сегодня литераторы практичней относятся к идеалу.

«Народ меняется в каждые полвека». Пятьдесят лет — это век поэта. Человек прожил свои пятьдесят лет, оглянулся, подумал, сколько добра и зла он совершил. И промолчал. Мне — меньше, и я еще могу называть себя добрым. И писать стихи и осуждать зло во всех его формалистических проявлениях.

Сейчас я могу, закрыв глаза, представить поэтическую карту земли, где вместо континентов высятся великие литературы. Из Тихого океана истории выступают безымянные острова, таинственно проступают мели — бывшие Атлантиды.

Иду мимо Союза писателей. Набегает, весь в поту: «Где здесь в поэты записывают?»

Современные условия позволяют многим, обойдя литературу, идти в литераторы. И отличить этих парней от мужей становится все труд-

нее. Пришел молодой. Вытер ноги, извлек рукопись. Прежде чем передать, сделал вступление — стихи пишет со второго класса. Чтобы повторить путь Алексея Максимовича, стал босяком, бросил институт, нигде не работает, только пишет. Ворочает пером дни и ночи. От него через месяц после свадьбы ушла жена. У него нет средств к существованию. Но бросить литературу в такой трудный для нее момент он уже не может. Читает журналы и плюется. Стихи в журналах расхлябанны по форме и мелкотемны. Он пишет в сто раз лучше. В газеты его не берут — считают новатором. Он предлагает поэму о космосе. Вот она. Космосом сейчас не удивишь. У каждого молодого поэта есть стихи и поэмы на эту козырную тему. Листал и по какой-то странной связи вспоминал недавний чемпионат по волейболу.

Когда японки выходили на площадку, зал понимал: выходили не **они**, выходила **Она.** Команда.

В их игре главенствовало не желание выиграть, но стремление поиграть, высказаться. Это всегда отличает мастеров. Техника не подавляла стихию, она была ее органичным выражением.

Я читал поэму и видел, что она могла быть. Глобальные образы, современная форма — но вещь оставалась образами, формой, но не поэмой. Я видел, как она сработана. Связи между ассоциациями оголены. Вещь не заставила меня забыться, я наблюдал хладнокровно передвижение слов, удивлялся раскрашенной метафоре. Здесь не было поединка со злом — здесь были удары по боксерской груше, перед которой не надо проявлять ни мужества, ни убежденности, ничего, кроме силы и техники удара. Топот искусственного, грубо сколоченного Я, и в этом троянском коне погромыхивает автор. Не страдающая, не побеждающая личность, а горошина в погремушке. Сам он этого не чувствует, и отсюда гигантизм образов. Он рисует человека: «Глаза — океаны. Позвоночник — горный хребет. Руки — реки». Слезы встречной старушки его не трогают. Они для него — повод высказаться красиво. И он высказывается на нескольких страницах, он сравнивает слезы с чем только может.

Его техника заасфальтировала бурную реку «мировых» слез и позволила читателю пройти по ней пешком, не рискуя погрузиться в глубины человеческого страдания. Вынужден был сказать ему, что не лексические образы делают стих, а **образ моральный.** Технике можно научиться, приемы стиха общеизвестны, и любой, мало-мальски чувствующий слово человек может писать литературно. Но сегодня обнажается истина; талант — это прежде **личная тема.** Нет ее — нет поэта. Форма только способствует ее выявлению в стихе. Тебе нечего было сказать этой поэмой. Ты напрасно несешь красивые звонкие ведра через пустыню. Не у каждого личные чувства — общественны. Это пример формализма, который мне противен. Так я говорил с человеком, отлично владеющим стихом, но не талантливым. Гораздо труднее разговаривать с людьми, которым есть **что** сказать, но они не заботятся о том, **как** это произнести.

Это тоже формализм.

В волейболе можно сильно ударить и не прыгая. Мяч будет — в сетке. Нужно в прыжке подняться над призрачной границей. Сетка искусства поднимается все выше. А игрок бьет не прыгая, как бил вчера, когда сетка была на уровне теннисной. А критики-комментаторы спорят. Один кричит: «Браво! Мяч в сетке. Гол!»

Другой надсаживается: «Игра рукой! Штраф!» И оба правы, если волейболиста судить по законам футбола.

У нас богатейший эпос.

Этим мы кичимся. Это нас и останавливает.

История казахской литературы укладывается в следующую грубую схему. Средние века — подлинный расцвет напевного стиха. Человек был **слушателем.** Эпос еще широк и волен в выборе средств, ибо других жанров не существовало. Десятками, сотнями тысяч стихотворных строк определялся объем древних поэм. Вольный прилив азиатских гекзаметров непринужденно выносил на поверхность стиха удивительные богатства, которые впоследствии будут названы живописностью и психологизмом.

Поэзия была универсальным литературным жанром. Она объединяла все будущие жанры в одном, стихотворном. Потом у кочевника появилась письменная литература, произошел раздел наследия. Из эпоса выделилась проза, захватив с собой большую часть художественных средств: приемы описания, сюжетность, темпоритмы и пр.

За это время кочевник проделал огромный путь к культуре от **слушателя** к **читателю,** что должно было бы заставить поэтов пересмотреть свой арсенал.

Мы читаем романы, слушаем эпос, и нам уже кажется, что стихи древних повторяли приемы современной прозы. И знание не спасает от этого ощущения. Эпоха ликбезов кончилась, начался век высших школ. Окреп роман, а стих продолжает идти по замкнутому кругу фольклора. Отдав другим жанрам естественность выражения, стих остался один на один с обнажившимися условностями. Стих стал прозаичным. Чувствуя это, современные поэты стыдливо ставят в подзаголовки поэм определения других жанров: «роман в стихах», есть стихотворные «рассказы», «очерки», «репортажи».

Короткий ямб заменил километры гекзаметра. Поэмы стали короче, не больше 3—5 тысяч строк.

Помню, в Москве, на обсуждении одного романа в стихах, выдвинутого на высокую премию, Твардовский всерьез предложил дать премию тому, кто дочитает роман до конца. Пушкин сегодня, вероятно, не стал бы делать «Евгения Онегина» стихами. Драма Сельвинского в том, что его стихотворные трагедии длинны и построены приемами прозы. Желание создать современный эпос превалировало над необходимостью. Мало кто его читает, но ведь и в советской литературе мало таких мастеров стиха, как Сельвинский. Могучий бас не слышен в зале с отрицательной акустикой. Великий оратор не поднимает толпу пламенной речью на мертвом шумерском языке. Если для Сельвинского вынужденная неконтактность — трагедия, то для менее талантливых авторов — не беда. Они продолжают писать пространные глухонемые поэмы, в которых описательность и приниженный бытовизм убивают и без того слабые проявления поэзии. Чем отличается иная казахская поэма от биографического очерка? Стихотворным размером и рифмой. И это не рядовой пример, это явление, вызванное непониманием формальных задач современного стиха. Жизнь определяет новые границы формы, мы их не чувствуем и бьем в сетку.

Пытаюсь развить в себе чувство жанра. Когда берусь за материал, спрашиваю себя: «Не лучше ли организовать его прозой?» — и если ответом — да, должен писать не стихами. Пусть этот метод

несколько искусствен, но он необходим, если мы хотим сохранить стих. Жанр должен наметить границы, отделяющие его от массы словесной породы. Грани кристалла. Вот эти сверкающие углы и плоскости поэзии поэт обязан увидеть и соблюдать их. Из химии мы знаем, что кристалл — это идеальное расположение атомов в молекуле. Мы говорим, что стихотворение — это произведение поэзии. Это так же верно, как алмаз — это карбон, но графит — тоже карбон, уголь — тоже карбон, и отличают их процессы этногенеза. Когда в глыбах мертвой зеленоватой породы мы находим песчинки прозрачной твердости, то невольно представляем, какого грома стоили природе эти совершенства: геологи называют месторождения алмазов трубками взрыва. Стих обновляется во времена великих социальных потрясений. Взрывы XX века не утихают. И алмазы будут образовываться. Стихия природы может обойтись без сознания, человеческая культура — нет. И потому мы постоянно стремились очищаться от всего отжившего. Дискуссии по форме стиха начались давно и не кончаются.

Но чаще всего разговоры о форме сводятся к проблеме внешности. Есть решительные предложения сверху разрушать старую оболочку стиха. Эта щедрость от бедности. Старое не всегда устаревшее. Достоевский и Толстой использовали внешность французского романа, но они стали подлинными новаторами русской прозы и повлияли на мировую литературу XX века, в том числе и на французскую.

Форму изменяет только само содержание.

Мощь личного материала взрывает литературную оболочку, порабощая ее. Стилиста Бальмонта не читают: «ландыши, лютики, ласки любовные ластятся, лепятся, льнут...» Тонкая, прозрачная струйка воды — прекрасна, как луч, если льется из полупустого пузырька. Падая с высоты роста, она распыляется. Она не напоит толпы. Кто ты — фонтан в райском саду или родник в пустыне? Какофония Ниагарского водопада мне более созвучна, она бессистемна и непрозрачна, как буря летнего солнца. Это откровение бешеной энергии. Полнейшее пренебрежение правилами пузырька.

Каждый художник находит свою форму, чтобы полнее выразиться. Если материалу нужно — он разрушит, это и будет созиданием. Некоторые молодые казахские поэты пытаются делать стих свободным по форме. Если это естественно, если это от переполненности — прекрасно!

Разговоры о формализме в московской литературе не должны затормаживать новаций в казахской поэзии. Пусть поймут меня правильно, но нам как раз и не хватает хорошего «формализма». Формализм — явление большой литературы: она его породила, чтобы в борьбе с ним оттачиваться. Она знает, что с формализмом не будет покончено до тех пор, пока живет и торжествует примитивизм. Нищий — не пролетарий. Убожество формы — не «народная простота». Замечено, что некоторые деятели искусства, облеченные незаслуженной властью, стараются противопоставить свои вкусы всему, что выше их творческих возможностей.

Любая борьба в литературе должна стать этапом развития, а не кампанией, которая, вспыхнув, тут же гаснет, оставляя после себя дымящиеся обломки. Люди, не признающие иные литературные стили, уподобляются тем, кто собственноручно вручает права на жизнь только своему племени.

Примитивизм в искусстве остается быть врагом номер один.

От описательности к формулировкам — завтрашний день формы казахского стиха.

Я говорил: личная тема — талант. Я убежден и в другом: талантливый поэт бездействует в литературе, если он глух к требованиям современной техники письма.

Казахский стих до сих пор рассчитан на слушателя. Читатель нуждается и в зрительном рисунке, и в тоническом подтексте. Он требует углубленности и компактности стиха.

Советская поэзия активна. Она пока — поэзия Веры. Поэзия обязанности и права. Но она уже и поэзия знаний, совокупленных в сознание. Разобщенных мнений в со-мнение. Почти все молодые поэты начинают свой путь с социальной лирики. Международные отношения — первое, на чем пробуют свое перо начинающие. Редакции завалены незрелыми размышлениями пионеров и пенсионеров о судьбах мира, о «предателе Аденауэре» и дяде Сэме. Еще больше стихов пишется о партии, о коммунизме, о Родине. Иногда кажется — достаточно редактору узреть в рукописи мало-мальскую грамотность — она идет в набор. Вывозит тема. Я поспорил с одним из редакторов по поводу очередной такой публикации. Он сослался на уважаемые имена, которые пишут не лучше. Многим такие стихи открывают дорогу в Союз писателей.

На параде физкультурников тяжелое знамя спортивного общества несут самые сильные. Почему же мы даем трибуну самым безголосым только потому, что у них появилось желание сказать о громком?

Суетные интонации унижают великое слово. Монета от частого употребления стирается, и на ней уже не виден государственный герб.

Социальная поэзия — тяжелое знамя нашего времени. Ее унижает слабость.

В Америке мне рассказывали об одной традиции. Каждый гражданин США имеет право купить в лавке государственный флаг, выйти с ним на площадь, собрать толпу и говорить все, что взбредет в голову. Не продолжают ли некоторые редакторы эту забавную традицию, вручая багровое знамя советской поэзии каждому, кто проявил желание? Дескать, чего там — штандарт не штанга! Не боги горшки это самое!..

Редакторы относятся к поэзии как к придатку журналистики. И для многих приходящих в литературу утрачена святость искусства. Поэзия им-провизация. От слова — провизия. Люди сочиняют «жыры»[1], чтобы быть жирными. И эта грубость требует права огласки. Несмотря ни на что, поэзия остается уделом избранных. Социальная поэзия — дело талантливейших. Пусть редакторы отвечают за каждое бездарное слово, выпущенное в миллионы, как за политический ляп в передовой статье. Внимание! Беспомощное, глухое слово выполняет свое назначение. Оно воспитывает серость. К социальному стиху надо предъявить самые жесткие формальные требования. В лирике скрыты стальные пружины политики. Тенденция XX века такова, что случайно или по необходимости поэзия вершит политику земли.

[1] «Жыр» — эпическое произведение (каз.).

Мы все изучили форму неизбежности. Мы знаем, как оправдывалось этой формулой многое, чего можно и нужно было избежать. Недомолвки усиливают позицию зла, и потому мы сходимся в одном — смерть не может быть неизбежным этапом развития. Смерть стиха, культуры, нации. Мы хотим узнать корни противоречий. Мы уважаем чужие убеждения и требуем уважения к нашим. Для нас самая высокая ценность — человеческое достоинство. Все проявления политики мы теперь оцениваем этой точной мерой. Неизбежно — человеческое достоинство. Это главная тема пробуждающейся Азии. Моя личная тема. Казахским стихам, стихам социальным необходимо национальное достоинство, которое сделает форму и содержание общемировым. С высоты достоинства я могу увидеть все человечество. Отсюда мне понятна смуглость африканцев и чернота жителей нью-йоркского Гарлема. К человеческому достоинству в нынешних условиях путь через национальное. Я оглядываю мысленно пути формирования людей в сообщества. Я назову другом и братом человека, достойного меня. Человека, которого я бы уважал. Человека, который чувствует себя равным со мной. Так, наверное, создаются интернациональные братства.

Ленин провозгласил политическое равенство народов, видя цель — духовное равенство. Эти годы показали, что малый народ в борьбе за великую идею может стать большим. Шолохову принадлежат слова: «Каждый народ, имеющий свою историю, велик». Он произнес их в 54-м году в Алма-Ате, и я мальчишкой услышал эти слова, определившие мою жизненную программу — разыскать потерянную историю своего народа. И всякий раз заявляю: есть малые и большие народы, но нет невеликих в мире равных. В каждой казахской книге ищу образного претворения этой социальной идеи, продиктованной временем. Если я не чувствую в стихах большого Человека — они для меня не поэзия. Поэт — честь народа. Чем сильнее проступает личность в творениях, тем резче проясняется образ народа.

По своей литературе народ узнает, насколько он еще не вырос, и по предложенному идеалу формирует духовный облик. Страх входил в нас годами и сидит еще крепко. Но не животная преданность, а страстная человеческая убежденность нужна Родине. Не мещанская благонадежность, а знания нужны делу Революции. Быть мудрее законов — эта свобода социальной поэзии.

Мы еще с оглядкой подходим к вопросу —«казахи в древности». Меня не удовлетворяют общие заявления о невежественном, темном прошлом моего племени. Этими положениями пользуются идеологи колониализма. Они и сейчас заявляют, что народы Востока, не имевшие ни государственности, ни культуры, не способны к равному развитию. Своей пассивностью мы аргументируем эти доводы.

Мне двадцать шесть лет. Имею диплом геолога-разведчика и литературную специальность. Подхожу к изучению истории как геолог и как поэт. В последние годы перерыл сотни исторических книг. Гонорары использую для работы в крупнейших библиотеках Советского Союза. Ищу то, что мне еще не дали мои отцы из Академии наук. И это исследование грех порицать: знаю прошлое России, Китая, Америки, Греции, Франции, Грузии, Ирака, но еще не знаю истории казахов. Эпоха кочевников не проявлена. Имею смелость заявить сейчас, что многие темные места в истории книжных народов необъяснимы без знания истории тюрков. Убежден, что когда-нибудь

появится подлинная, реалистическая книга «Истинная история», в рождении которой, надеюсь, будем повинны и мы. Только поэты могут объяснить значение слов, созданных древними языкотворцами. Знание родной истории — необходимое условие развития интернационального сознания.

Наше поколение кристаллизуется. В народе происходят реакции чести. Униженным недоступна радость. Поэты обязаны поставлять в народ энергию для реакций чести. Так я формулирую задачу социального стиха. Мое самое первое стихотворение:

...В нашей степи если ночи,
так ночи —
самых белых не видно камней.
В нашей степи, если солнце захочет,—
черные камни станут светлей.
Если радость согреет сердце,
солнце тенью будет на ней...

Таким я вижу моего героя. Я гляжу на него сквозь увеличительное стекло поэзии. Мой человек не усмехается, а хохочет, не морщится, а свирепеет, не шепчет жалобно — орет. Он постоянно поднимает себя, ибо Революция — непрекращающееся восстание, восстание, восстание с колен. В моем герое раскованность чувства и голод ума, который еще не стал памятью.

Мое поколение написано плачем и пламенем, и черты его возвышены за пределы. Еще долго не будет тихо, и сердцу звучать барабаном на площадях справедливости. Мое поколение — щетина на рябом лице земли. Мы торчим, мы неприглядны, мы черны от страсти и колючи. Бритва не дает нам посветлеть. Мы находим свой народ не только в истории, но и на заводе, в трамваях, на зимовках Муюнкумов. Он поможет своим писателям. Будь активным, мой народ.

Каждый, если он человек, должен хотя бы раз выиграть. Будь скромным в быту. Будь нескромным в боксе, в науке, в работе, в войне. Разве были скромными в бою за Родину наши Алия, Маншук, Баурджан! Если сохранишь своих поэтов гордыми, я скажу, что ты велик, мой народ, мой герой!

1962

МОЙ ЧОКАН

Чокан прожил на земле тридцать лет. Но мы его помним. Память о гении жива, пока актуальны проблемы, поднятые им.

Сто лет прошло со дня его смерти, но как современно и своевременно звучит его голос.

«Он был бы гениальным писателем своего народа, если бы имел читательскую среду»,— писал о нем Потанин.

Он был всесторонне одаренным человеком. В нем сочетались таланты историка, географа, литератора, языковеда и воина. Редкое человеческое обаяние дарило ему великих друзей. Огромное чувство человеческого достоинства позволяло ему быть равным, не возвышаться и не унижаться в любой среде — в юрте бедняка, в кругу аксака-

лов, в среде блестящих петербургских поэтов, в каморке солдата Федора Достоевского и в Зимнем дворце...

Высоко развитое чувство демократизма, могучий интеллект и потрясающая способность предчувствовать человека и событие — все это удивительным образом сочеталось с детской доверчивостью. Восторженная восприимчивость с мудростью старца. Могучее жизнелюбие — с неизлечимой душевной печалью.

О таких людях принято говорить: он ушел, не осуществив и десятой доли того, что обещало его дарование. Гении благодарны, они отдают всю свою жизнь до последнего дня народу. И беда только в том, что жизни этой отпущено мало.

Все их мысли и чувства словно управляемы той немой бессловесной толщей ушедших в беспамятство поколений, которые его породили. Сколько самых дорогих и хрупких качеств нужно было из века в век собирать и, рискуя целыми поколениями, сохранить в одном роду, чтобы появился Чокан. Как трудно даются народу гении и как легко он их теряет! Но суров закон жизни на земле: если народ не дал человечеству нескольких великих людей, он не оправдал своего существования в истории. Поэтому в XX веке все племена, населявшие землю, рождают человека. И только самые невежественные, самые дикие из обществ людских — боятся и уничтожают таланты. Замахиваются на свое будущее.

В XIX веке народ был пасынком в чужой семье. Седобородые отцы народа, не достойные зваться его сынами, проводили драгоценное историческое время во взаимной бумажной драке за пост султана или волостного. Или писца, или урядника. Или сборщика налогов.

Юный Чокан писал тогда, что «грамотность пришла в степь, чтобы увеличить число кляуз». Никогда в степи не было столько врагов, и число их увеличивалось с каждым новым середняком, узнавшим грамоту. Получившим право в числе сотен и тысяч других претендовать на единственный в округе пост, оплачиваемый царизмом. Эти людишки, решив, что они возвысились над народом, забыв свой человеческий и национальный долг, распродавая свое достоинство, торговали достоинством народа. Это они виновны в трагедиях, которые испытало их отечество. Под шум их бумажных баталий делались страшные дела: они виновны и в смерти Чокана, Абая, Сакена, Ильяса, Беимбета...

Мы отмечаем даты смерти истинных отцов нашего народа. Чокан мог быть вождем. Он был далек от революции, но уже шел к отказу от монархии.

«Я думал,— писал Чокан в письме к Ф. Достоевскому,— как-то сделаться султаном, чтобы посвятить себя пользе соотечественников. Я думал более всего о том, чтобы примером своим показать землякам, как может быть для них полезен образованный султан-правитель».

«Я вижу теперь, что трудно одному бороться со всеми, вижу, что истина, как бы она ни была светла, не может изгнать самых твердых заблуждений, когда они освящены временем»,— писал он позже в письме к А. Н. Майкову.

«Освящены временем!» Даже самый просвещенный султан-правитель не смог бы противостоять «вечному двигателю» невежества, питаемому энергией непобедимой рабской психологии масс.

Время, когда вожди не избирались народом, а назначались царской колониальной администрацией. И лишь тот, кому посчастливилось доказать себя рабом колонизатора, мог стать официальным правителем народа.

Я пролистал два тома, изданных Академией: «История Казахстана XIX века в документах». И не нашлось в архивах иных документов, кроме тысяч жалоб, доносов, кляуз, клеветнических заявлений больших и малых правителей степи.

Чокан не мог стать султаном, не пройдя этот путь. И если бы он стал им, он уже не был бы Чоканом. И он отказался от такой возможности. Остался «чистейшим и честнейшим человеком», как его охарактеризовал один из врагов его.

Он, человек будущего, жил в прошлом. Его настоящее было составлено из несплавляющихся компонентов — мечты и безнадежности, жизнелюбия и пессимизма. Самые добрые реалистические фантазии его гибли под грубыми сапогами действительности.

Это было время, когда умирали Пушкины и Лермонтовы и процветали бенкендорфы всех мастей. Время, когда официально отменялось крепостное право во имя еще большего распространения рабства по всей плоскости Российской империи. Время, когда лучшие люди, вспыхнув ненадолго, сгорали в «безумном веселии». Рушились романтические иллюзии интеллигенции, светлые головы, воспринявшие с кровью предков идеи избранничества, кончали свои дни в кабаках, в сумасшедших палатах и в серых стенах мертвых домов, которых по Руси было великое множество.

Вокруг мертвых домов мертвели города, страны, мертвели народы.

Солидные столичные и иностранные издания публиковали его труды. Его уже называли гением востоковедения. Он недавно вернулся из своего знаменитого путешествия в Кашгар — он был первым русским разведчиком, проникшим в самое сердце Восточного Туркестана, до того скрытого от внимания Европы. Почти одновременно с ним ступил на эти земли английский разведчик Шлагинтвейн: Чокан, въезжая в Кашгар, видел голову англичанина, венчавшую пирамиду из отрубленных голов, выставленную на площади.

Чокан за шесть месяцев пребывания там добыл и привез ценнейшие сведения, имевшие политическое и научное значение. «Потомка Чингиз-хана» принимал Петербург. Ему шло жалование Азиатского департамента и Генерального штаба. Его избирают Действительным членом императорского географического общества.

В это время он приобрел множество сановитых друзей и теряет друзей истинных. Растерянный, больной, он возвращается на родину.

Весной 1864 года штаб-ротмистр Чокан Валиханов приглашается в военную экспедицию генерала Черняева, в задачу которого входило присоединение к России Южного Казахстана. Чокан надеется, что присоединение произойдет без кровопролития. Черняеву перед выступлением было предложено «не отвергать предложения, вступать с местным населением в предварительные переговоры». Для участия в такого рода переговорах и командировался Валиханов.

Однако при взятии крепости Аулие-Ата (ныне город Джамбул) генерал Черняев, будучи ярым проводником колонизаторской политики царизма, допускает ряд бесчеловечных действий.

В июле 1864 года Чокан Валиханов после резкого разговора с Чер-

няевым покидает экспедицию. Вместе с ним уходит в отставку группа прогрессивно настроенных офицеров.

А генералы продолжали свой путь в Среднюю Азию по картам Чокана Валиханова. Он глубоко верил в благородную миссию России в Азии. Он верил той России, которую знал и любил, России Пушкина, но не России черняевых.

Черняев бы не подписался под словами Федора Достоевского: «Я никогда и ни к кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения, как к Вам...»

И Чокан был братом, и больше чем братом лучшим сынам России. И в самые страшные минуты жизни он не забывал этого и пронес до последнего часа незапятнанным свой интернациональный долг. Долг патриота.

Он прожил тридцать лет (1835—1865). Его жизнь — эпоха в истории казахского народа. Вся его жизнь была символична. Его судьба — капля, по которой узнают вкус океана.

По метрикам он — Мухамед, но народ узнал его по имени, данному матерью.

Как говорили матери сыновьям: «Дай тебе бог его ум и красоту, но не его судьбу».

Скажем же и мы Чокану — вся твоя жизнь с нами, смерть твоя — в прошлом!

1965

ПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ

Доклад на пленуме правления Союза писателей Казахстана. Январь 1972 г.

Много упреков было высказано по поводу отставаний нашей критической мысли.

Говорилось, что критик, отказываясь добровольно от права отрицания, лишается сильнейшего преобразующего оружия, не выполняет своей основной функции — воспитывать в читателе критическое мышление, что в конечном счете отрицательно сказывается на общественном прогрессе. Многие ораторы занимались определением фигуры критика, которая давно уже потеряла четкие очертания.

Уверен, что критик — это не преподаватель правописания, а учитель правдописания. Яростный учитель, мастер масштабного мировоззрения, ревнивый отец литературы, каким был неистовый Виссарион, великий энтузиаст, для которого работа на этом поприще была не службой, а служением.

Упрекают критику за то, что она в своем стремлении к безошибочности уже достигала границ «позорного благоразумия», успокоилась, стала академичной и отстает от бурного развития других жанров литературы.

Разговор о критике только начат. Мы и собрались сегодня, чтобы поговорить о наших казахстанских делах подробно и нелицеприятно. Оговорюсь: я представляю вам не доклад об успехах и неудачах жанра, не обзор тех 50-ти с лишним сборников критических статей и монографий, вышедших в нашем издательстве за последние пять лет. Это скорее размышления писателя о некоторых частных литературных проблемах, прошедших мимо внимания нашей критики.

Мы вправе сказать, что у истоков казахской литературной критики стояли такие выдающиеся мыслители, как Чокан Валиханов и Абай Кунанбаев, чей вкус и взгляд на проблемы национальной культуры формировались под влиянием передовой русской мысли XIX века.

Продолжили первые традиции и внесли новое С. Сейфуллин, И. Джансугуров, Б. Майлин, М. Ауэзов. Мы с благодарностью вспоминаем имена этих писателей, которые в труднейших условиях классовой борьбы устным и печатным словом боролись за новую казахскую литературу.

В меру сил и способностей, ведомые долгом художника-коммуниста, потрудились на нелегкой ниве критики и Г. Мусрепов, Г. Мустафин, С. Муканов — прозаики и поэты.

Во многом благодаря их усилиям появились у нас профессиональная критика и литературоведение. Стали известны имена академиков Исмагамбета Исмаилова, Кажима Жумалиева.

Не отрицая некоторых достижений нашей критики, мы все же обязаны говорить и о внушительных потерях этого жанра, которые остро ощущаются именно сейчас, когда стало заметно значительное отставание критической мысли от развития казахской литературы в целом.

Выявилась ее неспособность в достаточной мере управлять литературным и общекультурным процессами.

Для того, чтобы активно оценить достижения нашей критики, необязательно, думаю, рецензировать десятки книг и сотни статей, созданных в пределах этого жанра. Достаточно обратить внимание на подшивки газеты «Казах адебиети» и журнала «Жулдыз» за период после VI съезда писателей республики.

В «Жулдызе», на мой взгляд, интересна и потому спорна статья А. Кекильбаева о поэзии. В газете же, мне кажется, за это время очень редко появлялись проблемные, обобщающие статьи.

Сколько диспутов и споров, и разговоров за круглым и треугольными столами прошумело в русской критике за эти полгода! Почему же съезд не внес никакого оживления в нашу критику? Методы и формы остались прежними. Ни одного диспута по темам нам необходимым. Уже давно интересует писательскую общественность проблема казахского исторического романа.

Казалось бы, есть все предпосылки для начала большого разговора на эту злободневную тему на страницах «Жулдыза» или «Казах адебиети», но его не последовало.

С отдельной небольшой статьей полемического характера выступил в № 11 «Простора» М. Ауэзов; раньше, задолго до съезда, опубликована проблемная статья Ш. Елеукенова «Рост национального самосознания и исторический роман». И все. Если не считать две-три рабочих рецензии, которые появились разрозненно и не связаны никакой мыслью. Необходимость дискуссий, свободных высказываний писателей и читателей по самым разным вопросам культуры — не стоило бы доказывать. Но, к сожалению, всякий раз приходится повторять прописи.

Руководство Союза не может в приказном порядке возбудить активность критических отделов названных редакций, остается лишь взывать к ним.

462173

Қ. КІТАПХАНА
Б. БИБЛИОТЕКА
Сев.-Казахст. универ

В сентябре 1971 года вышла в «Вопросах литературы» статья А. Марченко, быстро ставшая знаменитой в нашей республике. Состоялось заседание в Институте литературы, где обсуждалась эта статья. «Казах адебиети» ограничилась публикацией отчета этого заседания. В материалах этих, кроме полемически заостренных ответов на «выпады» московского критика, ничего не содержалось.

При всей однобокости примеров и выводов А. Марченко, в статье была поставлена чрезвычайно интересная теоретическая проблема, мимо которой неторопливо прошли наши литературоведы и критики: «Тысячелетний эпос и молодой роман». Соотношение этих двух форм в современной казахской прозе — разве не стоит обсуждения такая тема? Но она получает пока осуждение. Выступление А. Марченко неожиданно обнаружило наше отставание в вопросах теории социалистической культуры. Ее камень, упавший в запущенные огороды академического, анемичного литературоведенья, должен был стать зерном не такого спора.

1. Русская литература была и есть пример для молодой казахской критики. Но существует принципиальная разница между творческой учебой и послушным ученичеством. Скопировав внешнюю схему и внутренние механизмы рецензий, обзоров и монографий образцов 40-х годов, наши остановились на них, освоили достаточно широко, но не пошли дальше.

За бортом этих композиций остался опыт Белинского, Писарева, Луначарского и новейшие формальные тенденции русской критики 60-х годов. Были заимствованы и некритически перенесены на казахскую почву, без поправки на местные условия, все атрибуты из арсенала русской критики, вплоть до формулировок, терминов. Заимствовались в последнее время лишь наиболее шумные термины. За шумом кампании не всегда удавалось уловить подлинный смысл термина и совместить его с ситуацией в своей национальной литературе. И тогда термин принимался как указание.

Несколько лет назад в русской критике появилось определение «деревенская литература». Этому предшествовал целый период развития очерковой журналистики, посвященной теме возврата в село. Озабоченность писателей деревенской темой была продиктована острейшим народнохозяйственным вопросом. В послевоенные годы русское село испытывало крайний недостаток рабочих рук. Молодежь уходила в город. После переписи 59-го года обозначилась резкая диспропорция в некоторых областях России в соотношении городского и сельского населения. Призыв вернуться в село впервые прозвучал в очерках, перешел в стихи и воплотился в художественную ткань повестей и романов. Это литературное течение со временем приобрело и негативные черты, на которые вынуждены были указать перед V съездом критики, выступившие в «Правде», «Вопросах литературы» и «Литгазете». В некоторых произведениях деревенской прозы внесоциальные, абстрактно-гуманистические трактовки духовных ценностей деревенского мира оборачивались идеализацией патриархальщины.

Лозунг «Назад в деревню» был бездумно подхвачен казахскими журналистами и некоторой частью писателей. Все вы помните эту кампанию, которая была нами вовремя приостановлена и последствия ее объяснены. То, что было актуально для некоторых областей РСФСР, оказывается, было нехарактерно для других республик,

в частности для Казахстана. 75% казахского населения живет на селе. Казахскую молодежь скорее следовало призывать идти на фабрики, заводы и стройки республики, вливаться в рабочий класс городов и новостроек.

Термины «деревенская тематика», «деревенская литература» перекочевали в нашу критику. Хотя, если задуматься, мы пока могли бы обойтись без этих формулировок. В русской литературе есть «деревенская проза» потому еще, что есть ярко очерченная «городская», урбанистическая проза и поэзия. У нас же нет городской литературы. Современный город, даже как географическое понятие, редко появляется на страницах наших книг. А если вдруг и возникает, то лишь как стартовая площадка по пути в аул. Если лирический герой оказывается, предположим, в Алма-Ате, то лишь затем, чтобы контрастней выразить свою неизбывную тоску по родному аулу.

Город и аул — это уже не просто местожительство, это эстетические, нравственные и социологические категории. Определяются отчетливо границы между городским и аульным мышлением, мировосприятием, что, несомненно, сказывается на развитии литературы и культуры в целом.

Давно пора критике поставить эту тему на обсуждение, тему, исключительно важную для культуры народа, только вчера испытавшего коренной перелом в вековом жизненном укладе — переход от кочевья к оседлости.

Цитирую статью Мухамеджана Каратаева «Народу нужны мастера», опубликованную в 1—2 номерах «Простора». Статья обзорная, охватывающая литературу последней пятилетки. Вот где можно было уйти от механических перечислений и сосредоточиться на проблемах. Наличие «деревенской темы» констатируется, и то только в нескольких строках. «Жизнь казахского аула в прошлом и настоящем была и продолжает оставаться темой многих книг, созданных в разное время». Далее перечисляются, без оценки, названия книг. И в заключение следуют общие слова: «Показывая перемены в жизни казахского аула, писатели в то же время раскрывают динамический характер советского человека, выросшего в патриота, социалистического интернационалиста и гуманиста».

И это — все. Все — о деревенской тематике и казахской литературе. О ее проблемах. О ее воплощении.

И разве не символично, что эта статья главного нашего критика, написанная по всем канонам, обличенным и всесоюзно порицаемым на январском пленуме, вышла в свет именно в январском и февральском номерах. Как своеобразный отклик на наши слова об отсталости критики.

Никаких острых проблем не ставится в этой статье, никакой критики конкретной, а есть критика вообще, не задевающая ни одного смертного, типа —«нет еще произведений о жизни горняков, проходчиков, строителей и транспортников».

Должен сказать, что в этой статье значительное место уделено и творчеству О. Сулейменова. Мухамеджан-ага вообще очень много пишет об этом авторе, всегда доброжелательно и добро, не скупясь на лестные определения. И мне следовало бы по всем правилам взаимной вежливости отвечать тем же, но я думаю, дорогой Мухамеджан-ага, вы бы не уважали меня за такие услуги. Я часто выступаю с критикой статей Каратаева, главным образом потому, что он наиболее плодови-

тый и активный наш критик, наиболее авторитетный — в его трудах ярче и выпуклей видны общие недостатки развития этого жанра в республике. В последние годы мне приходится все чаще выступать устно и письменно в роли критика. И я начинаю понимать, что причины несмелости, комплиментарности иных критических работ чаще всего носят попросту бытовой характер.

Человек, сделавший критику своей профессией, должен быть готов ко всему. К тому, что с ним перестанут здороваться друзья. Его будут избегать редакторы, он может испортить отношения с людьми, с которыми ему жить в одном городе всю жизнь бок о бок. И эти отношения перейдут на детей его и внуков.

Истинный критик в такой обстановке становится самым неуживчивым человеком. А у каждого — хоть маленькая, да семья. К тому же, думает он, за рецензию платят гроши, если даже ее удается «пробить». Суммируя все эти грудящиеся невзгоды, человек, даже неслабохарактерный, волей-неволей скатывается к тихому, безопасному литературоведению, пишет целый год плановые 3 листа о каком-нибудь классике, получает солидную зарплату, накапливает ученые степени и изредка пописывает хвалебные рецензии, приобретая друзей.

Такой путь проходят многие наши борцы за великую казахскую литературу. Хорошо тем критикам, которых спасает от мелочных интриг их высокое общественное положение, таких, как, например, Ш. Елеукенов, они более свободны в своих оценках. Но каково, скажем, Николаю Ровенскому? Ему время от времени обиженные авторы то нос разобьют прямо на работе, то еще какой-нибудь сюрприз в том же роде. И надо воздать должное человеческому мужеству Ровенского, который продолжает оставаться на своем боевом посту и хоть и реже, но все же выступает с принципиальными статьями против серости и провинциализма. И, кажется, не стремится защищать кандидатскую. Он защищает литературу. Критику — нужен характер, кроме всего. Мне нравится Мурат Ауэзов. Для меня это новый тип казахского критика. Если молодой литератор читает в подлиннике древнекитайскую литературу, изучает историю литератур Востока и стремится быть в курсе мировых культурных событий,— для меня это уже характеристика. И его первые работы, пусть еще неорганизованные, клочковатые, подкупают глубиной эрудиции, подлинной культурой, которой недостает порой маститым нашим литературоведам. И, что не менее важно, у Мурата есть бойцовский характер. При всей его природной деликатности он «невежлив» в своих поисках истины.

И я обращаюсь к молодым критикам Рымгали Нургалиеву, Аскару Сулейменову, Зейнулле Сериккалиеву, Мухтару Магауину, Сагату Ашимбаеву и всем другим — напомнить еще раз: если мы не изменим своим убеждениям, не поступимся гражданским долгом ни при каких условиях; если станете выше приятельских и групповых отношений, если всю жизнь посвятите борьбе за знания, а не звания, только тогда ваше перо принесет пользу родине и народу.

...Сразу после V съезда в «Литературной газете» открылась дискуссия о содержательности поэзии. Более чем полгода она продолжается. Ни один казахский критик не участвовал в ней.

Дискуссия, надо сказать, проходит не на высоком уровне. Термин «содержательность» постоянно подменяется термином «содержание». Более того, опять дали себя знать рецидивы застарелой болезни

противопоставления содержания и формы стиха. Для нас эти мотивы, зазвучавшие в материалах дискуссий, были бы хорошим поводом — возобновить или начать в нашей литературной печати диспут о формализме и формотворчестве. Определить, наконец, истинные значения этих слов, которые постоянно путаются. Чувствуя важность такой постановки, я хочу остановиться на этом вопросе подробней.

Тезис зачинщика дискуссии В. Рослякова об «отлично написанных, но плохих стихах» получил неожиданное развитие в ходе дискуссии. По мнению некоторых читателей, стихи «серого потока» потому и плохи, что отлично написаны.

«Поэзия нынешняя проигрывает от избыточного технического совершенства стихотворения»,— убежден читатель В. Самсонов.

И его поддерживает анонимный комментатор подборки читательских откликов: «С этим солидарно множество читателей».

Мне до сих пор казалось, что одна из основных бед нашей многонациональной поэзии именно в несовершенстве средств выражения. В частности, казахский стих буквально подавлен фольклорными нормами. На последнем съезде писателей Казахстана вынужден был выразить сожаление, что у нас не было после Абая реформаторов стихов. Даже «формалистов» не было, хотя кампании борьбы с формализмом проводились регулярно. Слишком правильная, безошибочная у нас поэзия. По изданию поэтической продукции мы занимаем одно из почетных мест среди республик, но это не отражает истинной картины взаимоотношений стиха и читателей. Народ, веками воспитывавшийся на эпосе, сегодня почти не читает стихов, что, насколько мне известно, пока не волнует ни самих поэтов, ни критиков наших. Во всяком случае, эта проблема еще не стала предметом обсуждения. Кажется, причина такого расхождения между «производством» и «спросом» в одном — мы не вполне учитываем новые условия, в которых обретается наша культура.

В эпоху фольклора казах был Слушателем, за полвека новой истории он стал Читателем. Результаты культурной революции отразились во всех областях духовной жизни нации и, несомненно, сказались на судьбе стиха. Он потерял массового слушателя и пока еще не приобрел массового читателя. Почему? Мне кажется, потому, что стихотворение, перейдя на бумагу, сохранило все формы устного и не приобрело признаков письменного стиха. Какое содержание вкладывается нами в эпитет «письменный»?

Мне не отнять хлеб у стиховеда. Но поразмышлять о судьбах своего ремесла поэту необходимо. Без этого я не представляю нашу работу. Путь каждой национальной литературы причудлив, изобилует неожиданными поворотами и отступлениями, не подчиняющимися логике. Вывести среднюю арифметическую схему, удовлетворившую бы всех,— невозможно. История культуры не терпит упрощений, но историографии они необходимы — виднее просчеты.

...Стих родился в эпоху бесписьменного творчества и приобрел канонические формы благодаря Слушателю. Четко сконструированная, озвученная повторами речь легко запоминалась и исполнялась. Мелодическое звучание проще усваивалось. Это свойство слуховой памяти не изменилось с тысячелетиями.

Великими становились стихи, которые запоминались. Рядовой киргизский сказитель-манасчи держит в памяти десятки тысяч строк «Манаса». Выдающийся — сотни тысяч. И этот цикл поэм сохраняется

неизменным на протяжении веков, в исполнении разных сказителей. И размер, и рифма играют **чисто техническую роль**. В эпосах ритмический рисунок примитивен и постоянен. Ему не придается самостоятельного значения. Описание кочевья, боя, похорон и любовного обладания передается одинаковым десятисложником (или одиннадцатисложником). Ни о какой звукописи (т. е. творческом музыкальном контексте, или фонетической метафоре) как о принципе не может быть и речи.

Рождение письменности привело к рождению новых жанров художественной речи. Функцию запоминания приняла на себя бумага или другие письменные материалы. Эпос постепенно лишался ставших необязательными канонических рамок устного стиха. Но еще долго древняя проза не сможет забыть своего происхождения. Оно ощущается в музыкальности композиции произведения, в попытке сохранить метричность и, конечно, в стилистике. Переходная проза строится по законам устного эпоса, хотя уже лишалась главного внешнего показателя стиха — монотонности. Проза этого периода, на мой взгляд, обладает признаками свободного стиха.

Чувство формы — явление развитой письменной литературы. В высшей степени им обладали Пушкин, Блок, Маяковский. Среди нынешних русских поэтов, на мой взгляд, наиболее ярко продолжает и развивает традицию письменного стиха Андрей Вознесенский. «Аэропорт — реторта неона»— формула, не имеющая вне контекста ни размера, ни рифмы, но несомненно стихотворная. Максимум художественной информации при минимуме лексических средств. Органический синтез зрительного и музыкального образов. Труднее обстоит дело в младописьменных литературах, в частности в казахской поэзии. Что мешает появлению казахского письменного стиха? Среди многих причин, как ни странно, и существующая теория тюркского стихосложения.

Известный литературовед З. С. Кедрина, много полезного сделавшая для казахского литературоведения, по-видимому, не права, объясняя в книге «Живые корни» неудачные попытки некоторых наших стихотворцев в 30-х годах использовать поэтику Маяковского. «Самые системы стихосложения в русском и казахском языках совершенно различны. В казахском существует постоянное ударение на последнем слоге слова, а в русском языке ударение переходящее. При наличии постоянного ударения в словах нельзя строить силлабо-тонический стих, являющийся в современной русской поэзии основным. Поэтому принцип построения казахского стиха силлабический. Он требует **равного количества слогов в каждой строке**, то есть **безусловно правильного размера**» (подчеркнуто мной — О. С.).

З. Кедрину нетворчески повторяет и М. Хамраев, распространяя это ошибочное положение на всю тюркоязычную поэзию («Основы тюркского стихосложения», Алма-Ата, 1963 г., стр. 180). Этим оправдывается и то, что «тонический стих В. Маяковского не оказал и не мог оказать влияния на строй тюркского силлабического стиха» (стр. 131).

Единственно, что мог подарить Маяковский казахским поэтам, по мнению Хамраева,— это графическую композицию —«лесенку», которая выглядит нелепо при «безусловно правильном» размере «бармак». Уважаемые стиховеды в данном случае оправдывают лингвистическими причинами наш нетворческий подход к образцам новой

поэтики, узаконивают навечно монотонность тюркского стиха, невозможность полифонизма.

Никакой язык не дает одной поэзии преимущества перед другой. Мы просто еще не реализовали богатые возможности казахской речи. Абай, независимо от Маяковского, еще в конце XIX века дал образцы «лестничной» композиции строфы, основанной на количественном неравенстве слогов в строке, т. е. на неправильности размера. Он ввел несколько новых строф и принципов рифмовки.

Это еще не свободный, но уже вольный стих. Абай нарушал традиции и силлабического стиха задолго до того, как теоретики обосновали его непоколебимость. И Маяковский знал, что совершает ошибку, ломая каноны русского стиха, но у художника есть право на ошибку, которая может в будущем стать правилом.

Наследие Абая и Маяковского каждый поэт использовал по-своему. Это их право. Они ввели в стих живую ритмику разговорной речи. (Кроме того, современная тюркология уже не так уверенно говорит о постоянном ударении на последнем слоге. Все больше находят в словаре примеров ударения скользящего. Одно это позволяет надеяться, что в будущем станет возможной постановка вопроса о тюркском силлабо-тоническом стихе.)

Как видим, еще не все ясно в хозяйстве стиховедов. Тем своевременней дискуссия, начатая «Литгазетой». Хочу надеяться, что она продолжится в республиках и выльется в разговор о дальнейшей судьбе казахского письменного стиха.

Новые требования предъявляет письменность и к прозе. Они входят в сферу темы «Эпос и роман», ждущей своего обсуждения.

Следует назвать еще одну проблему, не исследованную критиком. Проблему читателя. У нас в республике очень активный читатель. Достаточно сказать, что на журнал «Жулдыз» только подписываются около 200 тысяч человек. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что среди толстых журналов в нашей стране по тиражу «Жулдыз» занимает первое место.

Поэтические сборники у нас выходят, можно сказать, большими тиражами. Мой последний сборник вышел в количестве 40 тысяч экз. Такие тиражи редки в центральных издательствах. Не будем скрывать, что в других братских республиках, кроме, пожалуй, Украины, максимальные тиражи для поэтических книг не превышают 10 тысяч.

Прозаическая книга в Казахстане выходит порой тиражом в четверть миллиона экземпляров.

Научно-техническая революция в Казахстане породила новый, совершенный тип читателя. Читателя двуязычного. Книжная картотека его обширна. Она включает в себя произведения литературы всего мира, всех эпох и народов. Он искушен в современных науках о природе и обществе. Он ставит перед нами необычные проблемы — читатель, по своему образовательному и культурному уровню стоящий значительно выше иного писателя, который призван оттачивать его мысли и чувства.

И задача писательская теперь формулируется и так: стараться не отстать от своего читателя. Попытаться понять его запросы и требования. Он чуток, требователен и заботлив, казахский читатель.

Недавно мне позвонил незнакомый человек: «Вы нашли реку Каялу?» Вопрос был неожиданным. Несколько лет назад в «Литературной России» я напечатал статью «Где река Каяла?» На реке с таким

названием произошла та несчастная битва князя Игоря с Кончаком. Реку эту ученые еще не нашли на карте. Я спрашиваю: «Вы филолог?» Нет, говорит. Был в отпуске в Западном Казахстане. Там есть речка, которую местные жители называют Каял. Может быть, вам пригодится.

Спрашиваю: «Вы литератор?» Он смутился: нет, я простой инженер.

«Простой инженер!» Знаменательная для нашего времени фраза. «Простой», потому что инженеров, специалистов с высшим образованием в Казахстане уже десятки и десятки тысяч. Только за пять последних лет вузы республики подготовили свыше ста тысяч специалистов по 160-ти специальностям. Это сотни тысяч квалифицированных рабочих заводов и совхозов. Это наш читатель, который осуществляет технический прогресс, который преобразует жизнь нашей республики.

Читателю — строителю нового Казахстана — есть чем гордиться. А писателям? Ответить на этот вопрос нелегко. За последнюю пятилетку мы издали 22 романа, 24 повести, 8 пьес, 33 поэмы и множество рассказов, очерков, стихотворений, песен и детских произведений. Количественные достижения налицо. Важно отметить также, что подавляющее большинство произведений охватывает темы современности.

Значительно выросло художественное мастерство писателей, естественней и тоньше становится слово и образ. Блеснул своими новеллами старый мастер языка Г. Мусрепов, проявили себя К. Мурзалиев, С. Муратбеков, К. Искаков, А. Ашимов, М. Макатаев, вошли в литературу с первыми повестями молодые писатели, среди них хочется выделить С. Санбаева, О. Бокеева.

В эти годы окреп и громко заявил о себе рядом книг исторический жанр в казахской прозе.

Но давайте честно скажем себе, товарищи, появилось ли в этом внушительном количестве произведений за пятилетие хотя бы одно значительное о сегодняшней жизни Казахстана?

М. Каратаев в своем обзоре так и не смог остановиться ни на одном названии, хотя пафос его статьи — современность.

Думается, что основная беда писателей, берущихся за ответственные темы,— в непрофессиональном, не научном знании нашей действительности. Писатель должен быть не только хроникером, но и прежде исследователем общественной жизни. Пусть не обманут нас водоразделы, проведенные недалекими учеными между искусством и наукой. Литература сегодня — это плод и образного, и логического мышления, детище ума и сердца, точной математики и музыки.

Того запаса средних знаний, которые мы вынесли из школы или вуза, решительно недостаточно для современного писателя. Чтобы быть профессионалом-практиком, надо уже стать теоретиком. Писатель — это сложная фигура, сочетающая в себе и художника, и социолога, и лингвиста, и литератора, и специалиста в той области, в которой живут и трудятся персонажи его книг. А. Фадеев не успел завершить роман «Черная металлургия», ибо он провел больше времени на заводах страны и в библиотеках за учебниками по металлургии, чем за письменным столом. Но то, что он успел написать, дышит металлом.

М. Ауэзов не успел дописать роман «Племя младое». О новом по-

колении нашего народа, о сельской интеллигенции, о героическом труде чабанов...

Последние годы жизни М. Ауэзова редко видели в Алма-Ате, он жил со своими героями, серьезно и углубленно изучая своего будущего читателя.

Иные же из молодых, да и маститых торопятся схватиться за перо, полагаясь в основном на образное, поверхностное восприятие темы. И в результате — профанируют действительность.

Садясь за стол, не всегда представляем того, кому адресуем свои книги-письма. Что ему поведать, нужны ли ему твои мысли и переживания? И пишем в пустоту.

У нас почти не развито искусство рекламы книжной продукции. Но зато существуют другие, более примитивные и действенные каналы популяризации — слух о хорошей книге.

Ребенка пичкают сладостями и витаминами, он их не принимает и грызет кусок известки. Он не разбирается в терминах латинских, просто его организму необходим кальций, и он его находит.

Пусть простят меня за это грубое сравнение, но, действительно, читательский успех иных книг можно объяснить только тем, что народному организму нужна была та художественная информация, которая заключена именно в тех книгах. Не переваренное мясо, а грубая известка. Мы не можем пройти мимо того факта, что самыми читабельными книгами в прошлом году были романы, посвященные событиям, отдаленным от наших дней.

Чем это объяснить?

Тем, что мало ярких, талантливых книг у нашей современности? Да, и этим, но есть, по-видимому, и другие причины. Одна из них в том, что, как правило, они написаны лучше. Их авторы основательно изучали материал. Есть причины исторического свойства — почему современный инженер интересуется рекой Каялой.

...Критик часто, говоря о форме, не забывает и о содержании произведения. Но беда в том, что чаще всего он ограничивает свой взгляд обложками рассматриваемой книги, как шорами. Мы говорим, что поэту и прозаику не поможет ученость. Но критик прежде всего ученый. А в науке исследуемое явление не может быть изолировано от подобных или даже противоречащих. Ученый от факта стремится перейти к природе факта, только тогда ему может быть понятно происхождение факта.

И графит, и уголь, и алмаз — минералы, различные по многим свойствам, внутренним и внешним качествам. Но химический состав у них одинаков — и уголь, и графит, и алмаз называем карбоном. Иначе говоря — отличаются они формой и содержательностью, но содержание у них одно. Этот простой наглядный пример приложим и к народу. Я не буду делить людей по этим трем категориям — этим займется время. Оно выделит по эпохам пласты бурого и черного угля и найдет сияющие крупицы с совершенной кристаллической структурой. Мы только знаем, что исходное вещество — карбон. И, может быть, отчасти от нас зависят те условия, в которых это вещество будет претерпевать испытания давлением и температурой, чтобы претвориться в окончательные формы. Значительно упрощая схему задачи, скажу, что слово входит в систему физических факто-

ров, воздействующих на развитие человечества не менее, чем, скажем, такие заметные события, как война и революция.

Человек с малых лет попадает в атмосферу Слова. Оно его давит, возвышает, греет, жжет или леденит постоянно, до конца жизни. Оно способствует формированию его художественного вкуса, мировоззрения, самосознания, отношения к себе и к природе. Слово устное и письменное, материнское, дружеское, враждебное, талантливое и бездарное делает человека или вялым, податливым, затемняет его душу и сознание, или усиливает его сопротивляемость, придает крепость и яркость граням его характера. И какую громадную силу вверяют нам, писателям, партия и народ, и какую великую ответственность мы берем на себя, достигая письменного стола.

М. А. Шолохов на встрече с молодыми писателями летом 1959 г. сказал просто: «Инженер, допустив ошибку в расчетах, может ее легко исправить, но ошибка писателя, инженера человеческих душ, становится ошибкой миллионов людей, их бедой. Неверное писательское слово может искалечить душу человека, унизить и озлобить его».

Я бы хотел, чтобы кто-нибудь из наших критиков взял на себя труд перечесть все повести и романы, поэмы и стихи казахских авторов за несколько последних десятилетий. Эти произведения участвовали в воспитании, скажем, моего поколения. Они внесли определенные черты в характер казахского народа. Есть ли в этой продукции то общее, что совпадает с ленинскими задачами воспитания революционного поколения? Есть, несомненно. Но одновременно есть и то, что противоречит задачам нашей идеологии, хотя открытым текстом это не выражено. Я, возможно, беру на себя слишком большую ответственность, так категорически упрощая громадный опыт казахской советской литературы, но позвольте мне выразить свое читательское мнение.

Годы революции выдвинули на первое место из важнейших средств немедленного воздействия на народ тактику агитационного убеждения. Лозунговость, резкая графичность, где допускались лишь два густых цвета — красное и черное,— вот стиль произведений первых годов революции, когда требовалось в максимально короткий срок убедить колеблющиеся массы малограмотного крестьянства в необходимости революционных преобразований. Тогда был нанесен массированный удар словом по недавнему прошлому. Оно было попросту зачеркнуто. Тогда в Петрограде и в Москве молодые горячие поэты сбрасывали Пушкина с корабля современности, объявляя его дворянским поэтом. Тогда же был «забыт» и Абай, и Чокан Валиханов за непролетарское происхождение. Но проходили годы, рождались новые поколения, окрепла и упрочила свои позиции Советская власть, агитация постепенно развивалась в свою высшую, тонкую форму — пропаганду, возвращались в культуру Пушкин, Толстой, Лермонтов, более бережным и внимательным стало отношение к прежним эпохам, и становилось очевидным, что Октябрьская революция оказалась органичным этапом развития тысячелетней истории наших народов. И доказывать необходимость этой величайшей эпохи можно было, лишь увидев в деталях все предыдущие, научно обозримые. Наша эпоха — естественное звено в бесконечной цепи времени. Эта идея распространялась по нашей огромной стране с разной скоростью. Казахская литература начала широко сознавать ее лишь в последнее десятилетие. Раньше понял ее, пожалуй, лишь Ауэзов, воспроизведя на страни-

цах своего великого творения полный многокрасочный образ казахского народа — этнический, психологический и социальный. В дореволюционное время — феодальный и колониальный гнет, но и жизнь, полная высоких раздумий и возвышенных чувств.

И революция не то что выпустила из темницы жалкого, немытого раба с блуждающим взглядом, а высвободила творческие силы душевноздорового, талантливого народа с трагическим, великим прошлым и прекрасным будущим. Ауэзов первый из казахских писателей ввел в литературу характеры динамические, активные, действующие. В них бурлила живая кровь, они входили дерзко и уверенно в толпу бездумных бодрячков или унылых страдальцев, созданных воображением наших писателей-агитаторов.

Можно ли, без конца изображая дырявые юрты, грязные деревянные корыта, из которых якобы ели казахи, доказывать необходимость революции? Разве только в том, что корыта заменили фарфоровыми тарелками,— значение революции? Это взгляд обывателя.

Ребенком, научившись читать, я должен был изо дня в день наслаждаться картинами невежества, забитости и отсталости моего народа.

Тогда формировался мой человеческий характер, закладывалось мое мировоззрение. Тогда мне нужно было вложить в душу хоть крупинку гордости за моих предков. За что мне их было уважать? Меня настойчиво заставляли их жалеть и презирать.

И счастье, что я прочел книгу Александра Бека «Волоколамское шоссе». Его железный Баурджан стал моим героем. Резкий, гордый, справедливый, отважный и мудрый. Он воспитал уважение к казахам не только у меня. Принадлежность к народу Баурджана стала для меня счастьем. Я это осознал потом, через много лет. Тогда же, вероятно, чувства мои не так формулировались. Потом был «Абай» Ауэзова.

И поэтому я сегодня не хочу и не могу читать новейшие дилогии и трилогии наших писателей, где без конца с чистым реализмом, который точнее назвать неонатурализмом, изображается уже давно несовременный образ казахского народа в переходный период от начала XX века.

Как бы ни восхвалялась форма и техническое совершенство этих книг, содержанием они устарели. Их содержание и есть наследие того проклятого прошлого, которое продолжает угнетать меня.

Неужели не замечают казахские критики, что на шестидесятом году советской власти так агитировать меня, современного читателя, за советскую власть уже вредно.

Не обжигая меня, юного читателя, пламенем высоких характеров, героическим настоящим и прошлым моего народа, писательское слово не способствует кристаллизации моего характера и гуманистических убеждений. Не выполняет своего долга.

Итак, чем же объяснить интерес народа к историческому роману?

Ш. Елеукенов верно определил: «Ростом национального самосознания».

Добавлю — отсталостью нашей исторической науки. Моему инженеру, чтобы лучше строить настоящее и будущее народа, надо знать, на каком культурном фундаменте оно зиждется. Любой из нас может назвать сотни имен и событий, на которых зиждется история русского народа. Мы знаем историю Англии и Америки, Испании,

Арабии и Китая. Теперь проделайте с собой такой эксперимент — сколько современный казахский интеллигент помнит имен и событий из казахской истории, скажем, недалекого XIX века? С десяток. XVIII? Единицы. XVII? Пустота, и дальше пустота и тьма.

Народ, проделавший до XX века многотысячелетний путь, сложный и трагический, сквозь мрак поражений и пламя побед пронесший свою душу живую и сохранивший от китайских, мусульманских и монгольских императоров великую землю, которая сегодня всей своей площадью и глубиной служит коммунизму, этот народ достоин того, чтобы знать свою биографию. И биография эта требует уважения.

Особый интерес вызвал роман Ильяса Есенберлина «Хан Кене». Первое произведение, где главным героем — историческая личность, которую нельзя отнести к плеяде «лучших сынов казахского народа». Личности с заведомо неблагополучной репутацией.

Если уж учиться у русских, то учиться широте взглядов на историю. И не бояться упоминания имен Аблая и Тауке. Все дело в том, как оценивать их дела и мысли. Попробуйте исключить из русской истории князей Дмитрия Донского и Александра Невского, царей Ивана Грозного и Петра I — будет ли серьезной такая история? Мы должны знать все, что было, ничего не утаивая от народа. Но знать и оценивать историю с классовых, марксистских позиций.

История не терпит пробелов, история повторяется, если ее забывают.

У меня на полке стоит недавно изданный томик Аркадия Аверченко, написавшего в эмиграции злобную антисоветскую книгу «Дюжина ножей в спину революции». Об этой книге говорил Ленин в передовице «Правды».

И Бунин, и Куприн не скрывали в эмиграции своих антисоветских взглядов и всячески пропагандировали их. Но история от них не отказалась. Мы понимаем всю сложность тех лет и возможность любых ошибок талантливых людей.

Их ошибки не опасны сегодня нашему строю, он доказал свою силу и прочность в битве не с такими врагами. Опубликована переписка Ленина с Горьким. Вы читали ее. И после всего того, что говорил о Ленине в запальчивости писатель, обвиняя его в том, что он поставил Россию на край гибели, Ленин пишет записку военкому с просьбой достать где-нибудь дров для пролетарского писателя Горького, а если не удастся, то придется искать в другом месте, и вопрос — где? Невозможно без волнения читать эти записки.

Мы же, ученые-историки, порой, оценивая высказывания и действия тех или иных личностей, начисто абстрагируемся от эпохи, в которой они жили. От сложностей условий исторических, и судим их задним числом.

Я намеренно сфокусировал внимание на отношении к истории, ибо считаю, что история есть своеобразный психологический тест, по которому определяется и мировоззрение художника, и уровень развития его личности в нравственном и политическом отношении. Ведь история это не только прошлое, сегодняшний день тоже часть истории, неразрывно связанная с предыдущими и последующими. Время развивается с такой скоростью, что мы не успеваем отбить границы между прошлым и настоящим. Мы воспеваем луну как светящийся круглый

камень так же, как пели о ней во времена Гильгамеша и Конфуция. Чувственно она такая же, как была, но разуму нашему известно, что человеческая нога ступила на ее ноздреватую поверхность. Только вчера человек ступил на Луну, а кто из сидящих в этом зале без усилия вспомнит имя этого землянина? Это уже — история, и память наша несовершенная оттесняет событие в отдаленные уголки, давая место новой, беспрерывно поступающей исторической информации. И поэтому человечество выделяет из себя особый разряд людей — хранителей памяти — писателей.

Каждый писатель, о чем бы он ни писал — о пирамидах Хеопса или о новейших открытиях физики, прежде всего, по природе своего дарования,— историк. Поэтому воздерживаюсь от резкого деления литераторов на тех, кто пишет о современности, и на историографов. И те, и те воздействуют на современного читателя, на него рассчитана их продукция, и поэтому все, что помогает усовершенствованию человека нашего общества,— современно, народно и партийно.

История — это нравственный и философский опыт народа. В истории — истоки и этапы становления и развития национальной культуры, начало тех добрых человеческих качеств, которые слагают нынешний народный характер.

Отрицая историю — мы лишаемся значительной доли того культурного багажа, который нам необходим сегодня.

Уже наметилось значительное разветвление внутри жанра.

Героика «Хана Кене», «Стрелы Махамбета», «Яик — светлая река», «Курмангазы» и др. сочетается с осмыслением художественных открытий, и самым характерным примером такого рода я бы назвал новую повесть С. Санбаева «Когда ждут мифов»— о древнем казахском художнике.

Такое направление исторической прозы мне кажется не менее важным, чем героическое.

Мне непонятно некоторое пренебрежение нашей критики к книгам, на которых лежит ярлык — исторический роман. Бесславны были писатели, которые всю жизнь посвятили этому жанру. Казахским историографам повезло — их вещи появились в то время, когда возрос интерес к истории, и критики их не обошли.

Но произведения русского или татарского писателя, посвященные истории Казахстана, продолжают оставаться вне поля зрения казахской критики.

Десятилетиями, с 30-х годов, осваивает эту тему глубоко и серьезно москвич Сергей Николаевич Марков.

Есть ли хотя бы одна обобщающая статья о его творчестве? Может быть, он и сам не знает, какое влияние на новую казахскую литературу он оказал. Скажу только о себе — мое отношение к истории складывалось под непосредственным воздействием рассказов и стихов Маркова. Много уже написал Морис Симашко. Созданные им в Казахстане книги вышли уже на нескольких языках за рубежом. Рецензию на его романы написал Андре Стиль. У нас же имя Симашко в критической литературе появилось лишь однажды в малограмотном фельетоне одной из молодежных газет.

Написал о кипчаках любопытную повесть и Юрий Плашевский. Уже есть значительный материал для статьи или книги «Русские советские писатели об истории Казахстана». В ней найдется место

для критического осмысления рассказов Всеволода Иванова, поэм П. Васильева, романов И. Шухова и Д. Снегина.

Кстати, скажу, что казахские критики произведений русских и уйгурских писателей, живущих в нашей республике, почти не замечают, если не сказать — совсем. Хотя русские критики постоянно пишут о казахской литературе. Мало знает казахский читатель о романах Хизмета Абдуллина, Ивана Щеголихина, о книгах стихов Александра Лемберга, Валерия Антонова и др.

Названные мною имена и русская критика не очень-то жалует, хотя это одни из лучших писателей республики.

...И наконец, нам бы хотелось сказать о политическом благодушии нашей критики. Дальше призывов крепить дружбу народов и стоять на страже завоеваний социализма в области национальных отношений критики не идут. Хотя встречаются еще в советской литературе аспекты, которые должны были стать предметом принципиального разговора.

«Вопросы литературы» недавно провели очередное заседание «круглого стола» критиков, в котором и мне удалось участвовать.

Валентин Оскоцкий в интересном выступлении привел несколько примеров неклассового подхода к истории из свежей литературы.

Так, цитировалась книга узбекского литературоведа, в которой хан Тимур объявлялся чуть ли не демократом. Упоминалась в этом ряде книга о генерале Скобелеве, изданная недавно центральным издательством, где Скобелев превозносится как национальный герой.

По возвращении я прочел в журнале «Простор» № 1 повесть Ивана Петровича Шухова «Трава в чистом поле», немало слов в которой отведено Скобелеву. Сообщу прежде, что мне известно об этом генерале. О нем написано много в дореволюционной России и потом, в белой эмиграции. Сейчас зарубежная печать время от времени касается этого имени, когда речь заходит о советских Среднеазиатских республиках. Наиболее полно изложена судьба Скобелева в большой книге Николая Кнорринга, вышедшей в Париже. И удивительно то, что книга эмигранта более объективно и всесторонне изображает события той эпохи и обнаруживает более диалектический, я бы сказал, даже «марксистский», подход к истории, нежели произведения советских авторов на ту же тему. Генерал Скобелев блестящий полководец, человек большого личного обаяния, автор лозунга «Славянам править миром, а славянами править России». Целью его жизни было — захват восточных колоний Англии, прежде всего Индии. Средняя Азия нужна как плацдарм для проникновения в Иран, Афганистан. Царь Александр II поддерживал этот авантюрный план. Первый пункт программы Скобелев выполнил блестяще, утопив в крови Мангышлак и Туркмению.

И только бомба народовольца, оборвавшая жизнь Александра II, помешала ему приступить к следующим действиям.

Эта бомба спасла Россию от войны с Англией.

Александр III отверг план Скобелева. И карьера генерала закатилась.

Фигура по-своему, безусловно, трагическая, достойная внимания писателей. Но, проливая слезы над его личной судьбой, мы не должны забывать о той стороне его общественной деятельности, которая вызвала гнев и осуждение всей прогрессивной России. Нас не может обмануть популярность Скобелева в обывательских, черносотенных

кругах мещанской Москвы. Пролетарский Петербург и передовая интеллигенция не принимали Скобелева. Причины этого холода должен был понять уважаемый автор повести «Травы в чистом поле».

Стало чуть ли не нормой в иных романах, говоря о прогрессивных последствиях присоединения Средней Азии к России, умалчивать о негативной стороне этого предприятия, называвшегося колонизацией.

Отвлекаясь от исторической реальности, мы, повторяю, задним числом, по прошествии многих лет после тех кровавых событий, вырываем отдельные фигуры из той среды и судим их, или возвеличиваем.

Воспевая Ермака, порицая Кучума, слагая оды Скобелеву и Перовскому, разглагольствуя о приятных манерах генералов Колпаковского и Кауфмана, мы как-то начинаем забывать о тысячах сожженных и растоптанных карателями аулах. Требуя от тех ханов или кедеев[1], кто погибал под казачьими шашками, немедленного понимания всех прогрессивных последствий этой кампании, иные писатели проявляют глубокое непонимание процессов истории.

[1] Кедеи — бедняки.

Прошлое, проклятое прошлое гнездится в закоулках души, на сгибах карт. Оно доходит до новых поколений со старыми песнями. Оно — в уцелевших царских, генеральских названиях городов и сел. Оно пышным цветом распускается там, где пассивен ученый и невежествен критик. Тогда возможно появление стихов А. Николаева, поэта, безусловно, талантливого, одного из активных авторов и руководителей журнала под символическим названием «Дружба народов».

О, много их, как пыль времен,
Смахнув бездумно и незряче,
Таких торжественных имен
Успели мы переиначить...
Названий новых шел поток,
Ни сердца не задев,
Ни глаза,
Я рад, что есть Владивосток,
Мне жаль, что нет Владикавказа.

Автору, несомненно, известны прозрачные этимологии названных им имен, которые были предельным выражением идей российского империализма: Владей Востоком и Владей Кавказом.

Нет, не бездумно и незряче заменялись торжественные названия городов монархической России. Имена царей сносились с карты как памятники прошлому, от которого отказывались народы новой страны: Петроград, Екатеринодар, Елизаветград, Царицын и др.

Владикавказ получил имя большевика Орджоникидзе.

Новая карта — это паспорт новой страны, ее идеологическое лицо, которое явлено всему миру. И мы вправе гордиться этим обликом и пожелать друг другу быть до конца последовательными в отношении к «торжественным именам».

На земле за полвека появилась новая общность людей, новая нация — советский народ, в который вошли представители десятков национальностей.

И мы, советские писатели, критики, должны быть особенно бдительны ко всякому проявлению узкого национализма и пережитков монархических настроений, непримиримыми ко всему тому, что может бросить тень на нашу дружбу и братство.

В заключение разрешите выразить надежду, что сегодня у нас состоится свободный обмен мнениями по всем волнующим нашу литературу вопросам. Свободный, стесненный лишь рамками регламента, ибо в своем кругу мы вправе ошибаться и эти ошибки могут иметь позитивную ценность для дальнейшего развития литературы и культуры нашего народа.

Давайте, товарищи, портить отношения!

1972

ПЯТЬ ПОЭТОВ

Пять имен, пять пальцев доброй дружественной руки, которая называется турецкой поэзией.

Русский читатель хорошо знает персидскую лирику, арабские сказки, древнеиндийские сказания, поэтические миниатюры древнего Дальнего Востока...

И, наконец, впервые выходят переводы турецких поэтов XIII—XVIII столетий.

Значение сборника трудно переоценить. Это — вклад в советскую культуру. Мы «судим народ по поэту». Имена поэтов в нашем представлении стали псевдонимами стран: Иран — это Фирдоуси, Хафиз, Хайям; Россия — Пушкин, Лермонтов, Некрасов; Германия — Гейне, Гете, Шиллер... А какие культурные ассоциации порождает в уме неискушенного читателя Турция? Несколько символов, олицетворяющих Османскую империю, скажем, что-нибудь вроде: янычар, Блистательная Порта... Ну а если из современности, то, конечно,— Назым Хикмет!..

Эпоха географических открытий давно прошла, время культурных открытий продолжается и, наверное, никогда не кончится. Наш читатель открывает для себя стародавнюю турецкую поэзию.

...Так получилось, что рукопись сборника оказалась со мной в Анголе. За окном отеля по пустым, залитым электрическим светом улицам Луанды проносились патрульные машины, издалека доносились автоматные очереди. И как складно читались пантеистические стихи Юнуса Эмре:

Искал я в этом мире бога, я долго в край из края брел,
Я землю обыскал и небо, но там я бога не обрел.
. . . . . .
Но местопребыванье бога лишь в человеке я нашел...
Начало — я, и я — конец, и я — душа всего живого...

В мире еще льется кровь людей, не знающих, что они боги. Опять в лозунге, в кличе выражают себя поэты, не знающие, что они боги. Настоящее по-настоящему выразимо, только когда оно становится пережитым. Ведь история — это и века, и годы, и минуты назад. Сегодня проживается, вчера переживается. Трудно провести четкую границу между понятиями «современность» и «история». Проще обозначить будущее. Настоящее — движущаяся точка, где спонтанно кончается

прошлое и постоянно начинается будущее. В этой точке — все, что не остается в прошлом, и все, что не будет забыто через вдох,— чувства человеческие, выраженные божественным слогом. Человек есть бог. Юнус Эмре, разрабатывая гипотезу Руми, доказал это всем опытом своей жизни в поэзии. Бог любит, страдает и раскаивается, подводя итоги:

Не так я жил, как мне мечталось...
Я эту жизнь растратил, не ценил.
. . . . . .
Пусть никому не причинит никто
Того, что сам себе я причинил.

...В этой книге два полюса. Один из них — Юнус Эмре, другой — Махмуд Бакы, «султан поэтов» XVI века. Никто, как он, не умел заслуженно воздать себе хвалу. Концовки его газелей восхищают лукавой простотой:

Я полюбил тебя, себя обрек мученьям,
Что ж, этот мир и есть обитель бед и гроз.
Но все ж и здесь Бакы своим певучим словом
Себя на светлый трон поэзии вознес.
Бакы, газель любви тобой сегодня сложена.
Напишет кто-нибудь другой искуснее едва ли.

Поэту в его стихах никогда не изменяет самоуверенное мастерство веселого Нарцисса:

Ты совершенен, Бакы, в тонком искусстве газелей,
Сладки для мудрых твои хитросплетения слов.

Пожалуй, лишь Ахмед Надим через два века превзошел Бакы в искусстве концовки. В последнем бейте (двух полустишиях) поэт, по старовосточной традиции, обязан был называть свое имя или псевдоним. Заканчивая одну из самых прекрасных своих газелей, Надим дерзко нарушил обычай:

Едва ль здесь нужен псевдоним: мой слог не спутаешь с иным,
И средь стамбульских остряков распознавать меня пора.

Удобно воспринимать мир стереотипными блоками, изготовленными однажды и на века. В Центральной Азии некогда сложился трехчлен: «Арабский язык — для ученых, персидский — для поэтов, тюркский — для воинов». Меткое замечание, точное для определенной эпохи. С того времени уже многократно менялись социальные условия и характеристики народов. А красивое клише все еще живет. И из старой литературы Востока, а порой из европейского романа приходит к нам герой, символизирующий три культурных мира Передней Азии. Араб — утонченный алгебраист (чаще, правда, дикий кочевник). Благодушный перс в шелковом халате выводит тонким каламом рубаи. А исшрамленный тюрок в необъятных шароварах точит среди дымящихся развалин зазубренный клинок!.. Но разве это так?

Вчитайся в эти стихи, и ты увидишь тюрка с каламом. Вчитывайся, открывай мир, принадлежащий тебе, человек, и узнавай Турцию — страну мыслителей, гуманистов, поэтов.

Старая турецкая поэзия — плод взаимодействия. Эпоха огузских племен, пришедших в Анатолию, влилась в изящные сосуды арабо-персидских стихотворных форм, и, говоря красиво, решительная метафоричность, сплавленная со сладкозвучием, будет всегда пьянить самого искушенного читателя.

Старая турецкая литература испытывала сильнейшее влияние классики «золотого века Ирана». Нет в этом ничего обидного. Любая развитая национальная культура — интернациональна по происхождению. «Самобытная культура»— миф, который держится на утлом племенном знании, случайной вести и неоправданно категорическом мнении. Самобытность — удел редких островных обществ, не имевших контактов с другими. Материковая культура всегда — плод бурных перекрещиваний. Нет чистых наций, нет «химически чистых» культур.

В русском языке существует удивительный формант, он же и союз,— со, съ, придающий значение собирательное. Меня всегда поражает неожиданность, порой парадоксальность смысловой реакции, возникающей при контакте этого грамматического элемента с некоторыми существительными:

совокупность разносторонних знаний производит твое со-знание; множество мнений, сойдясь в тебе, порождают со-мнение; весть — что это — начало или исход знания? предшествие или продолжение мнения? сонмище вестей, профильтровавшись сквозь разум и оседая в сердце, образуют со-весть.

На этих трех китах плавает колеблемый ветрами времени материк Культура, служащий основанием для со-бытия.

Во время этого самого важного события истории — Человечества — спорили с богами земными и космическими, любили, гибли и возрождались, смешили, страдая, и веселились, ненавидя, самые добрые люди на земле — Поэты, которых мы еще называем различительно — иранскими, русскими, китайскими, турецкими...

4 *декабря* 1977 *года*

КОЧЕВНИКИ И КУЛЬТУРА: КАЗАХСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ[1]

[1] Журнал «Культура», Юнеско, Париж, 1978 г.

Я родился и живу в Алма-Ате. Алма-Ата насчитывает в настоящее время свыше миллиона жителей; ее территория в 10 раз менее обширна, чем территория Парижа. Это приятный и очень красивый город, где природа еще не уничтожена. Белокаменные дома, тенистые улицы, как аллеи. Ночью шепот листвы тополей, баюкающий плеск воды в арыках. Утром в окне видишь зеленые горы, верхушки которых покрыты вечными снегами. Воздух полон щебетания ласточек и воркования голубей. Сады не огорожены. Сады повсюду — вдоль улиц растут абрикосовые деревья и яблони, яблони, яблони...

Он вырос незаметно, мой город, вместе со мной. Еще 30 лет назад

это был только сад, где скрывалось какое-то количество саманных и деревянных домишек.

Мои предки с материнской стороны были саманщиками. Много домов в Алма-Ате построено их руками. Бадельбаевы, можно сказать, живут в Алма-Ате с первого дня ее истории. Не раз город разрушался землетрясениями, уносился наводнениями, но упорно отстраивался на том же месте. Строителям всегда хватает работы. История Алма-Аты многоэтажна: культурные пласты перемешались со слоями песка и камня. Когда копают грунт, чтобы поставить фундаменты больших домов, рабочие находят следы материальной культуры далеких веков. Вазы в пепле X века, затем пласт бесплодной земли: город был разрушен, сожжен, и затем десятки и десятки лет ни одной живой вещи. Затем вновь появились кирпичи, звенья глиняных водопроводов, жернова ручных мельниц, ожерелья, затем слой гравия, смешанный с лессом... Эпохи оседлого образа жизни сменялись периодами кочевничества.

Этот геологический клубок иллюстрирует историю тюркских племен кипчаков, аргынов, уйсуней, тама, найманов, кереев, из которых сформировался в XV веке казахский народ. Города внезапно возникали в степи и опустошались, иные исчезали навсегда. Бытует в научных кругах неправда: народы, которые называют кочевыми, скитались без жилищ по всей степи со времен Адама. Даже «чистые» кочевники начинали двигаться только с весны, чтобы идти со своими стадами от пастбища к пастбищу до самой осени. Половину осени и всю зиму они вели оседлый образ жизни в городах или в небольших селениях.

У казахов есть чувство истории: в каждом доме бережно хранят шежере, родословную, восходящую до 7-го колена.

Мои предки с отцовской стороны были поэтами, музыкантами и воинами. Один из них, Жаяу Муса (Пеший Муса), счастливо соединял в себе все дары, которые были отличительной чертой этой линии: он сочинял стихи и музыку, которую сам же исполнял. Участвовал в военном походе в Европу с русской армией. Служил в пехоте, и отсюда его прозвище, насмешливое прозвище в устах кочевников. Но до сих пор в Казахстане поют его песни.

Олжабай-батыр (Олжабай-богатырь), в честь кого я ношу свое имя, командовал правым крылом конницы хана Аблая.

Олжабай-батыр отличился в войне против джунгар (монголы Китая, которые вторглись в степи Казахстана в XVIII веке). Во время военного совета, который происходил перед окончательным сражением, взбешенный нерешительностью некоторых вождей племен, он велел поймать гадюку и откусил ей голову перед ошеломленным советом, выплюнул ее и, не вытирая кровь змеи со своих губ, воскликнул: «Вот так мы завтра отхватим голову дракону, если будем объединены, как братья, как вот эти зубы!»

Дракон был эмблемой знамени джунгар. Легендами внушали детям уважение к образным словам и символическим жестам.

Казахи испытали великий поворот в социальной истории: последние тюркские кочевники стали оседлыми. Однако часть народа еще полукочевая (та, которая занимается разведением овец). Другая пашет, работает на рудниках, заводах, служит в городах.

* * *

Наша старая пословица гласит: «Народ меняется в полвека». Психология и философия народа изменяются, но сохраняют свои самые выразительные черты. Моральный кодекс выражается в пословицах и притчах, которые играют важную роль в воспитании, начиная с детства и до старости. Слово играло особую роль в социальной жизни казахов. И не надо путать понятия «культура» и «цивилизация»; культура — это искусство быть Человеком среди людей. «Будь с гордым горд: он не сын пророка; будь с робким робок: он не раб твоего отца». Вот один из фундаментов моей личной культуры, внушенный матерью. Через какие тяжелые испытания должен был пройти мой народ, чтобы, как вывод из тысячелетнего опыта, высказать эту мудрую поговорку: «Если бьют камнем, ответь угощением». («Таспен урса, аспен ур!»)

Отрицание библейского закона «Око за око, зуб за зуб», который был основой отношений между людьми на протяжении тысячелетий. Это вывод, сделанный из истории, попытка почти христианская — торжество благородного варварства над ожесточенным сердцем. Нет, не горожанин, а кочевник мог увещевать своих потомков таким образом: «Если встретишь человека, обрадуй его: может быть, ты видишь его в последний раз».

Таково подлинное гостеприимство степи.

Я люблю читать сказки различных народов: это захватывающее занятие — расшифровка мировоззрения народа метафорами древних авторов. Основная мораль большинства сказок такова: надо делать добро, и тебе добром воздастся. Но я люблю сказки, в которых проповедуется добро бескорыстное. Я не имею намерения противопоставлять традиционную культуру современной технической цивилизации. Одно из решений этой комплексной проблемы можно показать на примере биографий представителей новых поколений социалистической казахской нации. Я сам инженер-геолог и профессиональный писатель. Занимаюсь историей и лингвистикой с единственным намерением определить свое место среди своего народа и место моего народа в человечестве. Вторая часть программы много труднее, нежели первая. Само сознание народное и личное определяется вкладом во всемирную культуру. Мы начинаем видеть в культуре определяющий фактор прогресса, и это может объяснить силу интереса, который проявляется в наши дни к прошлому Народа, не имевшего записанной истории. Хочу знать, с каким багажом мы пришли в XX век. «С котомкой нищего!»— мне ответили историки.

Возвращаясь к теме этой статьи, не думаю, что ее можно полно выразить несколькими страницами. Как бы ни был продолжителен разговор по этому поводу, он всегда будет иметь предварительный характер, но его надо начинать, необходимо настаивать, ибо для многих специалистов «кочевник» и «культура» понятия несовместимые.

В самом деле, столько говорилось в научных публикациях, в сочинениях, введенных в обиход, о варварстве кочевников и о их культурной бесплодности, что это мнение укоренилось в мыслях историков[1]. Выражение его можно найти, в частности, в трудах некоторых известных специалистов, которые изучали связи между славянскими народами и тюрко-монгольскими. В недавнем труде, озаглавленном «От кочевий к городам», А. Плетнева утверждает без обиняков,

[1] Н. Д., Л. Р. Кф. Жон «Миф о варварстве через историю и реальность». Культуры, IV, 2 (1977), стр. 104—124

что кочевники не могли быть творцами культуры и что они всегда играли одну-единственную роль — разрушителей. Это суждение не вызвало спора, настолько совпадает с идеями, с давних пор укоренившимися. По моему мнению, основная ошибка тех, кто высказывает подобные идеи, состоит в том, что они смотрят на свой предмет только сквозь призму средневековых хроник, даже не пытаясь применить другую оптику.

Историк должен сомневаться во всех научных стереотипах. И чем более долгая у стереотипа жизнь, тем он больше вызывает подозрений. Нет ничего более стереотипного в культуре, чем язык. Поэтическая практика меня научила свободному чтению слов, чтобы пытаться открывать новые фонетические и семантические возможности. Этот поэтический опыт я переношу на все, чем занимаюсь. Возможно, исторический фактор, увиденный глазами поэта, всегда является более комплексным, более рельефным.

Совсем не обязательно быть большим специалистом, чтобы поставить под сомнение правильность постулата А. Плетневой. Даже если рассматривать понятие культуры под количественным углом, не надо забывать, что поэзия и музыка всегда были и останутся в числе ее основных составных частей. Когда стали обобщаться результаты европейской историографии, обосновали как открытие то, что поэзия родилась в среде пастушеских племен. Другие то же самое говорили о музыке, сравнивая мелодии тюркских народов, этнически очень близких, из которых одни стали вести оседлый образ жизни в XVI веке, другие продолжали кочевать до XIX века; эти последние сохранили наиболее чистую музыку, тогда как у оседлых тюрков она приобрела прикладной характер, стала аккомпанементом слова (песня) и жестов (танец).

В введении к своей книге, посвященной влиянию тюрко-монгольских эпосов на эпопеи Западной Европы, великий русский востоковед XIX века Г. Потанин воскресил свидетельства времен, когда «ордынцы» приходили на берега Сены как носители высшей культуры по сравнению с «туземцами».

В западной литературе слово «гунн» в течение долгого времени было синонимом варвара. Но мы всегда забываем, что германские племена той эпохи находились на более низкой ступени социального и культурного развития, чем новоприбывшие. Германцы заимствовали у гуннов не только слова, предметы, но и мировоззренческие системы.

Почему А. Плетнева, которая говорит о фатальном отсутствии культуры у кочевников, о их безразличии к линиям и цвету, упускает из виду, например, скифов, чье искусство является гордостью Эрмитажа? Они ведь были классическими кочевниками.

У меня создалось впечатление, что такое отношение, скорее более эмоциональное, нежели научное, внушено А. Плетневой средневековыми хрониками, в частности, летописями Древней Руси. Полагаясь безоговорочно на свидетельства летописцев, позволяя себе проникнуться их чувствами и суждениями, ученые рискуют воскресить мировоззрения забальзамированного мира, принять преднаучное мышление. Странная вещь, но, кажется, именно это происходит с целым рядом современных историков. Для них кочевники только нехристи (не христиане), следовательно, не люди. Или, если они люди, то сыны дьявола, выпавшие из ада. И не случайно тюркские кочевники, которые на протяжении многих веков поддерживали тесные связи

с племенами восточных славян, не оставили своих многочисленных этнонимов в летописях Древней Руси, а известны по насмешливым прозвищам, например «татар» (или тартар), которое применялось к многим соседним тюркоязычным народам Руси. И эта традиция увековечена: зовут «татарами» в русской литературе еще XIX века не только потомков булгар с Волги и ногаев Крыма, но даже азербайджанцев, дагестанцев, чеченцев и ингушей Кавказа.

В Советском Союзе придают большое значение изучению прошлого народов «неисторических» и, в частности, тюркоязычных. Академии наук Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Татарии, Туркмении собрали многочисленные археологические материалы, свидетельствующие о богатых культурных традициях жителей степей, которые простираются от восточных границ Монголии до равнин Венгрии. Это документальное подтверждение является доказательством того, что тюркоязычные кочевники имели значительные по времени культурные контакты с аграрными цивилизациями Китая, Индии, Ирана, со славянской Европой, с Византией. Существование связей между кочевым востоком и славянскими народами оставило неизгладимые следы в этнографиях и в языках.

Сегодня невозможно серьезно говорить о связях между Древней Русью и кочевниками, игнорируя эти новые сведения и основываясь единственно на односторонних данных, содержащихся в средневековых хрониках.

• • •

Ставя эту сложную проблему, я стараюсь ее крайне упростить, рассматривая составные части раздельно.

Кто такой кочевник? Для ума, воспитанного историческими трудами, кочевники — это скитающиеся орды, которые не имели никакого понятия о границах или о собственности на землю. Они питались, главным образом, сырым мясом, которое отбивали в скачке под седлом своих лошадей. Исчезали с лица земли города, имевшие несчастье вставать на их пути, и повсюду, где они проходили, оставалась пустыня. Они не были знакомы ни с моралью, ни с правом.

И, естественно, не ведали таких высоких духовных категорий, как вера, честь, совесть, любовь...

Я сам верил этому образу моего предка. И, должен признаться, мне поначалу даже нравилась грубая определенность черт его характера, простота потребностей и целей. Мир был открыт перед ним, он скакал, рвал зубами конское мясо, рубил врагов, брал женщин и не задумывался о смысле своего существования. Я упивался стихами Киплинга, в которых находил совершенное выражение простой философии кочевников.

С бород мы стерли бараний жир,
Легли на ковры, и сошел в нас мир,
На запад тек разговор и на юг,
И дым ему вслед посылал чубук.
Великие вещи, все как одна:
Лошади,
Женщины,
Власть,
Война.

Не без грусти я прощался с героями, созданными ребяческим воображением историков, но факты мне говорили, что образ кочевников фальсифицирован. Скороспелая гипотеза превратилась в аксиому. Ученический карандашный набросок был принят за законченный портрет. И я понимаю разумность своего нынешнего «патриотизма»: я не любил своего предка, но я сочувствовал ему в его роли, осужденному антидемократическим методом без помощи адвоката, исходя единственно из показаний свидетелей обвинения. Отныне я выступаю не только в качестве защитника, но даже как осуждаемый кочевник, который требует права последнего слова после приговора, вынесенного историками.

Для того, чтобы настоять на необходимости пересмотреть «тяжбы», я написал свою книгу «Аз и Я».

Я хотел, не имея академических возможностей, решить весь комплекс вопросов одним махом, подготовить дорогу для новых честных исследователей. Я говорил — в хрониках находят место только драматические моменты истории народов, войны. Мирное время — не историческое. Его трудно описать. Мир не остается в памяти. Если бы сложить годы, в которых славяне и кочевники жили рядом, мирно, занимаясь торговлей и культурной деятельностью, собрались бы целые века. Но эти века не записаны в хроники, а малейшие баталии отмечены. И эти пристрастные свидетельства монахов-летописцев ложатся в основу приговора, о котором я говорил выше.

Желая восстановить летопись мира, которую никто не писал, я начал прибегать к словарям, чтобы в них найти подтверждение своим идеям о существовании вековых традиций сотрудничества между кочевыми тюрками и славянами. Язык — наиболее богатый резервуар исторической информации, избежавший произвола писцов. Источник наиболее беспристрастный. Он дает полную картину взаимодействия культур, которая противоречит безжалостному наброску историков. Вы утверждаете, что славяне всегда имели враждебные отношения с кочевниками? Тогда почему такие тюркские слова, как «товарищ» и «друг», перешли в славянские языки?

Критики ожесточенно нападают на меня из-за этих примеров. «Вы в самом деле думаете, что славяне не знали столь простого понятия, как дружба, и они не были способны ее обозначить своими собственными средствами?» Но дружба не является понятием столь простым. И некоторые языки пытались не раз обозначить ее более точным способом. Возможно, в будущем славяне заменят и этот термин новым словом, но, наверно, оно будет не изобретено, а заимствовано у какого-нибудь соседа.

Почему сами тюрки не сохранили форму «друг», а используют иранское «дост»?

Я заметил, что слова часто не остаются в языке, в котором они родились, заменяются словами (вокабулами), пришедшими со стороны. Но продолжают существовать в других языках. Я объяснил этот феномен тем, что каждый язык стремится к абстракции.

Идеальное слово то, которое является структурным и семантическим монолитом. Иначе говоря, идеальное слово невозможно этимологизировать произносящему средствами его языка. Это причина того, что тюркские языки сохраняют славянские сложные лексемы, тогда как славянские языки допускают тюркские сложные слова, которые

больше не используются в самих тюркских языках. Эта схема годна, мне кажется, для всех развивающихся языков мира.

Когда некоторые патриоты с энтузиазмом говорят о своей собственной культуре, что она «самобытна», я отказываюсь разделять их восторг. «Самобытная» культура может существовать только на острове, затерянном где-то посредине океана, куда никакой корабль не причаливал в течение тысячелетий. Лишенная контактов с другими культурами, «самобытная» культура, т. е. островная, всегда слаборазвита и язык, ее выражающий, крайне беден.

Развитие во взаимодействии — это не новая концепция. Все великие культуры, которые искусственно прервали контакты с миром, останавливались в своем прогрессе и приходили в упадок. История человечества может дать тому многочисленные доказательства.

Процветающая культура — это продукт непрерывного, многотысячелетнего контакта с другими. Это относится в равной степени и к языку.

Заимствования никоим образом не являются признаком бедности языка, это естественный фактор его развития. Эти очень простые истины должны бы преподаваться в школах на уроках родного языка. Нужно, по моему мнению, внушать одновременно с любовью к своему языку сознание того, что он является только одним среди других. И без них существовать не мог. Основы такой истории языка в своих наиболее доступных выражениях должны приобретаться на школьной скамье. Тогда, надеюсь, англичанин не надорвет свою душу, узнав однажды, что его словарь, которым он бесконечно гордится, больше чем наполовину состоит из романских слов. И француз не отчается, узнав, что язык Виктора Гюго и Стефана Малларме содержит 30% арабизмов и 30% германизмов.

Узость специализации в историографии является поразительным явлением. Специалист, который исследует, скажем, Киевскую Русь XII века единственно на основе старинных русских летописей, не сможет добиться подлинно научных результатов. Сегодняшний историк должен расширять свой кругозор, чтобы хорошо знать свой предмет. Киевская Русь имела столь тесные отношения с пограничными странами, так же как и с более отдаленным средневековым миром, что невозможно ее изучать изолированно, не считаясь с ее связями даже с Дальним Востоком. Не говоря о ближних соседях, союзниках и врагах, какими были тогда тюркские кочевники. Но «узких» специалистов почему-то устраивает незнание иных контактов, кроме как воинственных, с этими народами. То, что известно славистам, «узкие» тюркологи игнорируют. То, что знакомо тюркологам, не интересует славистов. Один из моих оппонентов, специалист по Киевской Руси, искренне верил, что письменность и кочевничество несовместимы. И если все-таки письменность была приобретена тюрками, это только после того, как они осели в Центральной Азии и в Анатолии. И он не проявил даже любопытства, когда тюрколог, живший на соседней улице, показал ему атласы, воспроизводившие древнетюркскую алфавитную письменность, датируемую V и VIII веками. Для него вопрос был решен давно и пересмотру не подлежал.

Тем не менее исторический кочевник становится научной реальностью, которая приобретает с каждым днем все большую сложность. Отныне ему тесно в рамках традиционных представлений. Уже можно

начинать говорить о некоторой позитивной роли, которую он играл в истории мировых цивилизаций.

Мы еще представляем его в виде дикого всадника, одетого в шкуры и вооруженного кривым клинком. Да, я допускаю, что он был и таким, но мне уже трудно поверить, что он был только таким. Все чаще я его вижу держащим в руке письменный тростник и в глазах его отражение проницательной мысли, одной из тех, которая приходит раз и только одному представителю рода человеческого, будь он грек или африканец; она ударит сверху, как гром и молния, и неважно, во что эта небесная энергия трансформируется — в слово, в предмет, в музыку или в жест: он создает культуру.

Какой замечательный литературный язык сохранили надписи, высеченные на гигантских стелах, сооруженных в VIII веке на берегах Орхона и Енисея! Это язык гибкий и могущественный, способный в совершенстве выражать мощные чувства и передавать самые тонкие нюансы поэтической мысли. Письменный литературный язык является первой отличительной чертой государственности. Многочисленные оседлые народы Европы и Азии тогда еще не обладали подобным богатством. Государства кочевников разрушались и затем снова создавались, поколения следовали одно за другим, племена объединялись, затем вновь расставались, но язык древних кочевников дошел до наших дней во всем блеске своей грамматической структуры и своего лексического богатства, воплощаясь в живые тюркские языки, доказывая таким образом, что нет в культуре феномена более прочного и длительного, чем литературный язык.

Даже если бы кочевники не создали ничего другого, кроме этих нескольких орхонских и енисейских текстов, они могли бы с полным правом требовать места среди народов, которые внесли значительный вклад в мировую культуру. Они не завещали нам великолепных храмов, они не изобрели ни пороха, ни бумаги, но кто осмелится сказать, что поэтическая мысль, высеченная навсегда в камне или даже в народной памяти, является элементами культуры менее значительными?

Тюркские кочевники почти тысячелетие боролись с исламом. И в нескончаемом списке истребленных культурных ценностей во время этой борьбы может фигурировать тюркская письменность. Памятники рунического письма сохранились только на территориях, которых не достигло мусульманское влияние,— на Алтае, в Сибири, в Монголии. Несколько исписанных камней открыты в горных, пустынных, труднодоступных районах Казахстана и Киргизии. А в Узбекистане, в Азербайджане, в Турции, где ислам торжествовал победу в течение долгого периода времени и проник во все поры культуры, не найдено никаких рунических надписей. Религиозные фанатики истребили всю древнейшую тюркскую литературу как «написанное дьяволом».

(Возможно, христиане подобное же творили с протославянской письменностью, редкие следы которой находят археологи).

Мусульманские летописи присоединились к хору христианских свидетельств. Для них тюркские кочевники также были врагами и, следовательно, невежественными людьми. Представьте усилия, которые необходимо сделать специалистам, чтобы восстановить забытые, уничтоженные главы истории, чтобы освободить ум от бремени прежних, преднаучных суждений. Русские ученые XIX века (Радлов,

Потанин, Веселовский) и XX века (Бартольд, Малов, Гумилев) много сделали в этом смысле. Немалая работа проводится в советских республиках и в Турции, где некоторые труды, к сожалению, перегружены шовинизмом, мешающим подлинно научной ориентации исторической мысли.

• • •

Но всего найденного новым подходом еще недостаточно для того, чтобы исключить общепринятую мысль, согласно которой «кочевник равен варвару». Это верно, как то, что Вийон — разбойник. Но Вийон также поэт. Что считать важнейшим? Судья, который вынес приговор, сделал то, что нужно было сделать. Он прав по закону. Но так же правы последующие многочисленные поколения, которые прославляют Вийона.

Тогда что выбирать? Шекспировское «Остаться навсегда самим собой» или альтернативное «Открывать лучшее в себе»?

Таков вопрос, который задан сегодня новой казахской нации, которая развивается в тесном контакте с давно уже оседлыми народами нашей страны.

Знание истории, как знание самого себя, необходимо для современного развития, потому что оно дает возможность глубже почувствовать грусть неизбежных утрат, но, вместе с тем, готовит дорогу прогрессу.

Париж, ноябрь 1977 г.

ПОЧЕМУ ХУДЕЕТ ОВЦА...

В прошлом году я задумал написать идиллическую поэму о чабане. И назвать ее «Пятьдесят миллионов». Спокойные, отдохновенные пейзажи горных пастбищ, голубая прохлада, поднимающаяся из ущелий; в сочной, пестрой зелени неподвижные, как валуны, светлые спины мирно пасущихся овец.

Увлеченный лирическими перспективами, я влез в тему — побывал в аулах, на джайляу, подумал, полистал кое-какие книжки по овцеводству и понял, что идиллической поэмы не получится. Набралось материала на серию публицистических очерков и на пару фельетонов. А проблем увиделось много. В этих заметках хотелось бы начально поговорить об одной, может быть, самой парадоксальной.

Я не специалист — овец не пас, в системе «Заготскот» не работал, коров не забивал,— но с малых лет мне запомнилась одна картина. Возле мясокомбината стояли на вытоптанной до последней травинки земле многотысячные отары, стада коров. Некормленные, непоенные, стояли днями, неделями...

Я тогда не понимал ситуации. И потом, через много лет, сталкиваясь с подобными явлениями,— не понимал. Воспринимал только чувствами. Искренне полагал, что специалисты занимаются этой проблемой. Я верил, что ответственным работникам Министерства мясной и молочной промышленности не спится по ночам от рева голодных,

непоенных животных. В эти последние свои дни они стремительно теряют то, что приобрели на пастбищах и откормочных площадках за целый год.

На полях мы часто видим подвесные бетонные арыки. Представьте такую арифметически-логическую задачу. Канал подчиняется заботам двух ведомств. Одно (А) отвечает за пропускаемость первой половины канала, другое (Б) — соответственно второй. Как всегда бывает в таких случаях, промежуточное звено желоба — ничейное. Именно оно, бесхозное, дает течь, разрушается или попросту выпадает.

Вопросы: какое количество воды не дойдет до пункта назначения? Какое ведомство отвечает за потери на ничейном участке?

Эта задача имеет прямое отношение к непрекращающемуся бумажно-устному встречному потоку между министерствами: сельского хозяйства (А) и мясной и молочной промышленности (Б). Ведомство (А) отвечает за первую половину процесса — производит скот, ставит на ноги, доводит до кондиции; ведомство Б отвечает за переработку продукции животноводства.

Расстояние между ними всегда такое, как от любого совхоза до любого мясокомбината. Этот путь и есть то самое выпавшее звено желоба, ничейный участок, за который ни одно из ведомств не несет ответственности.

Именно тут-то животноводство республики терпит самые обидные потери. Причем потери, не учтенные ни в каких сводках: это потери в весе. В совхозе учет скота ведется по головам, перед отправкой к местам забоя отары не взвешиваются: в большинстве хозяйств, как мне объяснили, нет специальных весов. Но причина скорее всего кроется не в этом. При существующей практике приемки скота, когда в зачет совхозам идет убойное мясо, то есть вес чистого выхода на комбинате, хозяйствам невыгодно взвешивать скот перед отправкой. Ибо разница (и, как далее выясняется, значительная) будет ложиться на их плечи. Таким образом, ни в каких документах не отражаются потери в весе.

Министерством сельского хозяйства, видимо, делались попытки вычислить эту отрицательную цифру в целом по республике. На мой вопрос: сколько же, приблизительно, теряется живого веса в пути до комбината? — начальник Управления животноводства т. В. И. Красноштанов, повспоминав, ответил: «Можно уверенно сказать — свыше 50 000 тонн ежегодно».

Чтобы осмыслить масштабы сей величины, достаточно привести такой пример. Кустанайская область продала государству сверх пятилетнего плана более 59 000 тонн мяса. Усилиями тружеников целой области в течение пяти лет накапливались эти тонны. Они отражают героический труд чабанов, рабочих откормочных площадок, заготовителей кормов — тысяч людей десятков профессий. Материальная и моральная ценность этой цифры настолько высока, что благодаря ей работа кустанайских животноводов получила особую оценку в Отчетном докладе ЦК Компартии Казахстана. А в «ничейном» интервале ежегодно теряется столько же. Результаты напряженного подвига животноводства сводятся на нет бесхозяйственностью.

В государственные ресурсы поступает много мяса низких сортов. Не всегда здесь повинны природа и чабаны. О каком серьезном повышении качества продукции животноводства может идти речь, если

в самые благоприятные, обильные годы скот несколько недель тощает от бескормицы по пути из одного ведомства в другое!

Этот предусмотренный бюрократический джут с поразительным постоянством тормозит развитие животноводства в Казахстане. Что же это за беда такая? Неужели с ней нельзя справиться? Из осторожных бесед со специалистами мне удалось представить себе в необходимых подробностях, что собой представляет интервал — путь от совхоза до мясокомбината. Возьму за основу сюжета сведения, полученные из доверительной беседы с одним сдатчиком скота. Щадя его скромность, имя указывать не буду.

Я по наивности полагал, что ловкость определенного свойства нужна пока только людям одной, временной в нашем социалистическом хозяйстве профессии — снабженцам. Оказывается, что наряду с нужностью дара **достать** существует у нас необходимость в таланте **сдать.**

Выступая долгое время представителем совхоза в интервале, мой сдатчик поднаторел в деле и нашел применение своей природной сообразительности, находчивости и умению (когда надо для хозяйства) обойти закон.

Мой сдатчик выбивает товарняк, который еще вчера возил минеральные удобрения. Погружает овечек (полагается по 80 голов в вагон, но овец много, вагонов мало) и везет за сотни километров, предположим, на Алма-Атинский мясокомбинат.

Первые годы сдатчик с помощниками бегал на остановках, гремя ведрами,— искал колонку. Потом, убедившись, что из ведер тысячи овец все равно не напоить, махнул рукой.

Через неделю состав прибывает на станцию назначения. Там, в присутствии свидетелей, по акту списываются овцы, павшие в пути.

Уцелевшие рвутся к воде. Некоторые, опившись, тут же валятся с ног. Мой сдатчик не ветеринар, но пытается объяснить: организм овцы обезвожен, и потому большую после перерыва дозу воды не каждая овечка выдержит: «А та, что выдержит, уже больная».

Согласитесь, после привольной жизни на летних пастбищах — резкий, стрессовый переброс в новые условия (которые язык не повернется назвать даже скотскими!) сильно и быстро влияет на животных.

Памятен фильм С. Образцова, бичующий граждан, которые имеют обыкновение мучить животных и птиц.

Движение за гуманное отношение к природе прекрасно и высоконравственно по самой человеческой сути.

Я надеюсь, что фильм С. Образцова потряс и тех, с чьего молчаливого ведома подвергаются пытке голодом и жаждой и без того обреченные животные.

Я апеллирую не к обществу охраны природы. Не жду обязательной любви к животным от работников сельского хозяйства, мясной и молочной промышленности. Вместо слов «не гуманно» я хочу употребить более доходчивые в данном случае —«не экономично»! Не выгодно нам так мучить не только кошек, но и овец, коров, лошадей!

В каждой экономической проблеме есть и этическая сторона. И если ее глухо и слепо игнорировать — полное решение проблемы недостижимо. Это уже истина, подтвержденная трудным опытом научно-технической эволюции.

...Те овцы, которые прошли испытание водопоем, попадают в зону мясокомбината, вливаются в отары, ожидающие свою очередь.

И вот здесь должен по-настоящему проявиться божий дар сдатчика. Представители совхоза всеми правдами и неправдами, заискивая перед приемщиками, пытаются пропустить вне очереди свой скот. Более расторопным это удается, другие маются лишние недели.

Еще раз подчеркиваю парадоксальное положение — совхозы не отвечают за потери скота в весе на перегоне; мясокомбинаты не отвечают за потери в весе, за прямой падеж скота у своих ворот и на пути к ним, ибо скот этот им еще не принадлежит. Вот когда переступит порог!.. У каждого свое, достаточно обособленное ведомство, и власть одного не распространяется на другое. И ни одно не хочет брать на себя ответственность за ИНТЕРВАЛ.

В республике запланировано сдать 25 миллионов голов овец. Если каждая в среднем «похудеет» в интервале на три-четыре килограмма? Прибавьте сюда потери в весе по другим видам скота, и получается, что перевозка от совхоза до мясокомбината не менее важный и дорогостоящий этап в животноводстве, чем производство и откорм.

Уже в этом году, не ожидая, пока будут расширены мощности действующих комбинатов и построены новые, следует начать решительную борьбу за экономию при заготовках скота. Здесь в помощь — инициатива и главное — заинтересованность в планах не только своего ведомства, но и в показателях республики. И конечно же, надо определить наконец организацию, ответственную за столь дорогостоящий интервал, который многие годы приносит колоссальные убытки.

Я помню начальные годы целины. Зерном были усыпаны дороги от токов к элеваторам. По мелочам терялись многие тонны зерна.

Всем, наверное, памятны сатирические рисунки на эту тему в «Крокодиле» и в «Шмеле». Потом они исчезли. Проблема борьбы с потерями в интервале между током и элеватором решилась очень просто. Специализировали машины по перевозке зерна, т. е. нарастили борта, заклепали щели и покрыли зерно в кузове брезентом. Все. Одна эта рационализация сберегла и сберегает ежегодно государству тысячи пудов целинного хлеба.

Может быть, и в нашем вопросе нужны пока самые простые средства.

Попробуем представить нормальную, с точки зрения хорошего хозяйственника, картину заготовки скота.

Совхоз заранее получает уведомление от комбината: согласно договору, хозяйство обязано поставить такое-то количество голов скота такого-то числа, такого-то месяца. Просим подтвердить готовность.

Совхоз ставит отобранный скот на откормочные площадки, доводит к сроку до кондиции.

Взвешивают.

Доставляют к железной дороге.

Переводят в состав, где вагоны временно оборудованы для перевозки животных на дальние расстояния. В вагонах — поднятые к потолку автопоилки и кормушки, в нужные момент они опускаются на тросах вдоль стен. Возможно, мое предложение вызовет добрую, снисходительную улыбку у конструкторов-транспортников —«Еще один Кулибин! Опять не в свое дело ввязался!»

Может, действительно не так следует расположить кормушки. Пожалуйста, действуйте, народное хозяйство ждет ваших мудрых советов. Ведь не мы, писатели, должны изобретать конструкции вагонов для перевозки скота! Рефрижераторы есть, и это нормально: мясо и рыба — скоропортящаяся продукция. Но из каждодневного ежегодного опыта перевозок пора понять, что и живой скот — скоропортящийся продукт. И ему надо создавать сносные условия транспортировки. Стоит задуматься не только о временном оборудовании, но и о специализированных вагонах. И тогда, возможно, в будущем не понадобится увеличивать число рефрижераторов, ибо в самые дальние уголки страны можно будет доставлять не мороженые туши, а упитанный скот для парного мяса.

Продолжим описание нашего вагона. На верхних стеллажах — запасы кормов. Рацион не отличается резко от того, которым пользовались животные в совхозе. Таким образом, вагон превращается в своего рода откормочную площадку. И переход в другие условия бытования тем самым смягчается и не сказывается отрицательно на состоянии животных. Они продолжают прибавлять в весе. Следовательно, процесс откорма, начатый в хозяйстве, не прекращается до последней точки — сортировочного цеха мясокомбината.

Составу дают зеленую улицу. На товарных станциях останавливают ровно на столько, чтобы успеть напоить и задать корм. Поезд подкатывает к мясокомбинату, и мой герой-сдатчик с удивлением обнаруживает — некогда вытоптанные в пыль загоны зеленеют травой, засажены деревьями.

Скот попадает на громадные весы, площадка принимает сотни овец. Сдатчик сравнивает цифры первого веса (совхозного) и последнего и видит, что разность не отрицательная. От этого зависят его зарплата и премиальные. Разность в весе — объективный показатель его отношения к работе при транспортировке.

Здесь его функции кончаются. Он получает зачетные бумаги и может отбывать.

Но что-то его держит... Он бродит по скверу, почесывает затылок и думает.

Подумаем и мы, что же, в сущности, произошло?

Жесткий, рациональный график приема и переработки скота на мясокомбинатах. Подтвержденный и обусловленный договорами с хозяйствами. Графики мясокомбинатов с планами хозяйств утверждаются республиканскими министерствами мясомолочного и сельского хозяйства.

Согласно договорам, и хозяйства, и мясокомбинаты взаимоответственны — обязаны платить неустойки за несоблюдение пунктов договора. Особенно жестко оговариваются сроки поставок и приема.

Взаимоответственны договоры хозяйств с транспортными организациями (соблюдение сроков доставки и оборудования составов).

Скот обязательно взвешивается в хозяйствах и на предприятиях переработки. Это позволит учесть цифры потерь в весе.

Эти простые меры были вполне осуществимы в условиях нашей республики и ранее. Мешает и то, что интервал и сейчас не осознается как важный этап животноводческого процесса, а воспринимается как недостойный особого внимания переходный момент, когда скот сдается с рук на руки.

Думается, что в животноводстве республики мог бы быть один хозяин, ответственный за все звенья: производство — заготовка — переработка. Цепь должна быть непрерывной. К чему приводит обособление крайних звеньев (производство и переработка), мы видим — к бесхозяйственности в промежуточном звене. В случае «единовластия» на всех этапах потери на любом участке хозяйственного процесса будут под единым контролем.

...Десятая пятилетка уже началась. Пятилетка, девиз которой — эффективность и качество. И опасно, если перейдут из прошлого, продолжатся в новой пятилетке незамеченные просчеты хозяйствования.

БОЛЬШОЕ — В МЕЛОЧАХ

Доклад на пленуме правления СП Казахстана 1978 г.

...Прошедший 1977 год был во многих отношениях годом выдающимся. Это год обсуждения и принятия Новой Конституции СССР, 60-летия Октябрьской революции. В такие моменты особо активизируются память народа, его творческие силы, вносятся важные коррективы в планы и ход развития общества. Каждый гражданин остро ощущает свою сопричастность великой жизни страны, осознает начало нового этапа в истории родины и в собственной рабочей биографии...

Нам действительно есть чем по праву гордиться. Но истинная партийность и гражданственность проявляются не только в чувстве гордости великими достижениями республики, но и в по-хозяйски критическом взгляде, выявляющем не терпимые более недостатки в деятельности некоторых министерств и ведомств.

Опыт этих лет воочию показал, как трудно перестроить сознание промышленности, воспитанное устоявшимися количественными критериями. Привычная система оценки результатов труда только в штуках, метрах и тоннах утвердилась, стала традицией в годы военного коммунизма, войн, разрухи и восстановления, когда обстоятельства требовали производить только крайне необходимую, предельно функциональную продукцию. И высшими критериями были оценки — быстрее и больше. Больше угля, чугуна, жилья, метров ткани, пар обуви! Категории Что и Сколько превалировали над Как. Полистайте газеты хотя бы 20—30-летней давности. Разве допускались на страницы материалы, критикующие ассортимент и качество продукции, скажем, легкой и пищевой промышленности?

Нужно было обуть и одеть народ, вынесший на своих плечах такую войну. Мы радовались, читая сообщения в прессе,— казахстанские обувщики перевыполнили обязательства и дали сверх плана тысячи пар обуви. Какой? Мы не спрашивали. Важно, что много. Восстанавливались разрушенные города, строились сотни новых городов и поселков — библиотеки, школы, больницы. С предельной нагрузкой работали мебельные фабрики, выпускавшие столы, стулья, кровати, парты. Какие? Мы не спрашивали. Важно, чтобы было больше. Народ, живший от войны до войны, не обращал внимания на расцветку текстиля и форму ботинка. Тогда ремонтных фабрик было больше, чем обувных. И вот — мир. Три с половиной десятилетия мир. Благода-

ря титаническим усилиям народов социалистического лагеря, гибкой международной политике партии угроза войны отодвигается, долгий, а может быть, и вечный мир из мечты превращается в реальность. А что такое мир для нас? Это прежде всего рост благосостояния, резкое повышение материальных и культурных потребностей народа, это увеличение свободного времени, это развитие духовных богатств, образованности, эстетического вкуса личности. Впервые появляется возможность и потребность выбора.

Мы, труженики, творцы, не стесняемся называть себя и потребителями. Мы трудом своим приближаем время, когда от каждого по способностям, каждому по потребностям. Если в 50-х годах «Крокодил» не выходил без карикатуры, где бы порицались любители ярко одеться, то теперь таких картинок поубавилось. И те карикатуристы ныне внешне вполне похожи на своих прежних персонажей.

Не порицается естественное стремление советских людей к красоте и яркой моде.

Но порицается неповоротливость нашей промышленности, производящей продукцию повседневного потребления. Она еще работает по старым критериям, выпускает устаревшие модели. Не изжиты количества не пользующегося никаким спросом товара. Теперь налицо в нашем плановом хозяйстве перепроизводство морально устарелой продукции, затоваривание складов и магазинов эстетическим браком.

В республике со знаком качества выпускается всего 3% видов изделий легкой промышленности. Вдумайтесь, 3% хорошей продукции, годной даже на экспорт, а 97% некачественной продукции рассчитаны на внутренний рынок. В недавно опубликованном партийном документе говорится:

«До 70% проверенных предприятий нарушают технологию, выпускают продукцию пониженного качества, а иногда гонят к потребителю явный брак... Не мебель, а дрова нередко поставляют покупателям Джамбулская, Павлодарская, Уральская мебельные фабрики».

И даже такая мебель разбирается. Республика бурно строится, за 2 года построено 12 млн. кв. м жилья, сотни тысяч семей получили новые квартиры. И многие вынуждены покупать то, что есть в мебельных магазинах. Этим самым поддерживая уверенность бракоделов — что бы ни выпустили, все равно купят. Поэтому ведомства занижают пороги качества, количественное перевыполнение поощряется премиями. Иными словами, материально стимулируется низкое качество работы.

...Мы уже приходим к сознанию, что не только выдающиеся достижения отвечают за республику, за социализм. Любая, самая, казалось бы, незначительная наша продукция ответственна. Она идеологична. Разве не влияет на сознание советского человека постоянно ощущаемая разница между качеством изделий легкой промышленности отечественного производства с одной стороны и зарубежного — с другой?

Как объяснить нашей домохозяйке преимущества социалистической системы над капиталистической, если наше производство предметов повседневного быта в ее глазах не выдерживает никакой конкуренции с импортом? С этим она сталкивается ежедневно, из года в год. Успехи нашей тяжелой индустрии, космические победы советской науки и техники ее касаются как бы косвенно. А вот в магазинах она бывает каждый день.

В политическом, культурном, экономическом соревновании общественных систем нет мелочей. Когда советские туристы, представители великой индустриальной державы, прибывая в азиатские, африканские страны, только недавно вышедшие из-под колониального ига, покупают не изделия местных мастеров, а обувь и одежду, импортируемую из капиталистических стран Запада, как это комментируется обывателями тех стран? Буржуазные идеологи используют все средства, чтобы опорочить саму идею социализма в глазах трудящихся. Например, публикуется в местной газете объявление: «На такой-то улице открыт супермаркет для иностранных рабочих и советских туристов. Товары продаются по сниженным ценам». И фотография распаренных, обвешанных свертками счастливых туристов. И приводится перечень покупок — это и злополучный, давно вышедший из моды кремплен, мохер, готовая одежда, обувь, дверные ручки, медные гвозди, неподгорающие сковородки и даже никелированные прищепки для белья.

Кто из нас решится порицать этих незадачливых покупателей? Это честные советские люди, труженики. Они не бедные люди, могут себе позволить на трудовые сбережения дорогостоящие путешествия вокруг Европы, то, что недоступно даже высокооплачиваемым рабочим капиталистических стран. Но у себя в шахтерском поселке, в рабочем городе, в совхозе они не могут купить то, что им хочется и что нужно семье. Нужно всемерно развивать международный туризм. Но хотелось бы, чтобы советские люди за рубежом чувствовали себя достойно. Давно известны истины: ничто так не агитирует за социализм, как образ жизни людей, живущих при социализме. Лучшая внешняя политика — это прекрасная внутренняя. Лучшая реклама для внешней торговли — это богатый внутренний рынок. Чем сытнее, богаче, духовнее будут жить люди в странах социализма, тем ярче будут видны миру преимущества социалистического строя.

Репутации Великой идеи, во имя которой принесены народами неисчислимые жертвы, наносится ущерб тупыми равнодушными хозяйственниками, холодными сапожниками, не желающими смотреть дальше своего личного, чиновничьего спокойствия.

Пленумы ЦК КПСС и ЦК Компартии Казахстана со всей определенностью напоминают нам, что борьба за эффективность и качество, объявленные на XXV съезде партии,— не кампания, которая отшумит и забудется, а повседневная экономическая и культурная политика партии, имеющая первостепенное значение для всего нашего дела.

Мы, писатели, работники идеологического фронта, должны особо чувствительно осознавать грандиозность и закономерность этого этапа в истории нашего общества. Понять, что речь идет не о рядовом усовершенствовании производства, а о перестройке сознания, без которой невозможно ликвидировать отставание промышленности, экономики, науки и искусства от стремительно растущих потребностей народа.

Принцип искусства «Не только Что, но и Как!»— ныне в мирное время становится одним из решающих производительных факторов в промышленности, науке и экономике. Понятия «цивилизация» и «культура» все более сближаются. Значение качества включает в себя и предельную функциональность, и эстетику. Нет функции без красоты, как нет красоты без функции. Эти смыслы природно нераздельны. Мы все больше убеждаемся в том, что красота — экономична. В привычном понятии «план» сольются воедино смыслы «качество» и «коли-

чество». А когда-нибудь мы отвыкнем от спортивных оценок — лучше, больше. План будет предусматривать действие объективных критериев — много, хорошо. Ибо практика доказала, что больше — не всегда много, а лучше — далеко не всегда хорошо.

Уже сейчас наши плановики задумываются над тем, что перевыполнение плана в некоторых отраслях промышленности вредит производству. Ибо увеличение количества продукции часто идет за счет качества. Научно разработанный план предприятия предусматривает оптимальную отдачу, разумные пределы количества, превышение которых не должно поощряться.

Принципиальный, партийный разговор, начатый партией, необходим и своевремен. Превалирование количественных критериев над качественными наблюдается не только в отраслях промышленности группы Б. Оно дает себя знать и в тяжелой индустрии, и в науке.

Недавно в «Правде» появилась статья «По следам геологов», где на примере работы казахстанских геологов критикуется система количественных оценок деятельности разведывательных партий. В статье говорится: «Открыл ты месторождение или нет — дело второстепенное. Важно истратить на разведку больше средств и дать завидный метраж бурения. Тогда придут и премиальные, и соответствующие почести победителю. В республике есть геологические экспедиции, которые за долгие годы не открыли ни одного ценного месторождения, но, выполняя задания по метражу, ходят в благополучных».

От этого примера уже рукой подать и до дел в науке, где не содержанием, а количеством страниц определяется докторская диссертация или кандидатская, и совсем недалеко и до дел наших литературных.

И нам необходимо, включившись в общегосударственный разговор, помыслить о важных «мелочах» своего производства. О том, как повысить идеологическую эффективность и художественное качество нашей работы.

В казахстанской организации около 400 членов союза. Из них более половины живут только литературным трудом. Уже одно это свидетельствует об особом положении писателя в нашей стране.

В такой пишущей стране, как Франция, например, мне называли всего шесть имен писателей, живущих литературными заработками. Если суммировать число писателей-профессионалов всей Европы, Африки и Америки, то оно не превысит количества казахских писателей-профессионалов. Таким образом, по количественным показателям наша организация занимает одно из ведущих мест в мире. И книг мы выпускаем немало.

Литературные издательства «Жазушы» и «Жалын» ежегодно публикуют около тысячи названий книг. Тиражам может позавидовать любое крупнейшее издательство планеты. Я не устаю повторять с любой трибуны впечатляющие любую аудиторию цифры тиражей наших журналов и книг. Этими числами я искренне горжусь как патриот своей страны и республики. Действительно, какой толстый литературный журнал в США, Японии или Франции имеет 200 с лишним тысяч подписчиков? В какой из этих стран может разойтись книга стихов в количестве 100 тысяч экземпляров? И это в республике, где 60 лет назад грамотность населения не достигала и 10%. Тиражи наших книг — объективный, качественный показатель гигантского культурного развития некогда отсталого народа при социализме. Мы вправе

гордиться своим Великим читателем, добрым, образованным, всепонимающим, как никакой другой в мире. И этот читатель, советский народ,— достоин великой литературы о времени и о себе. Но всегда ли мы учитываем такой мощный фактор литературного прогресса, каким является Читатель! Используем ли мы в деле повышения степени эффективности и качества принцип обратной связи? Мнение нашего главного критика? Если мы найдем действенные формы участия читателя в литературном производстве — это, безусловно, скажется на качестве наших произведений.

Давно необходимо дать печатную трибуну читателю. Пусть в журналах постоянно ежегодно действует конкурс на лучшее жанровое произведение, опубликованное в журналах, где бы основным членом жюри был читатель. По его письмам и назывались бы победители.

Подобные постоянно действующие конкурсы могут проводить литературные издательства. И, наконец, газета «Друг читателя», занимающаяся рекламированием печатной продукции, могла бы стать голосом, трибуной Читателя.

Даже от этих мероприятий выгоды для литературы несомненны. Печатно высказанное мнение непредвзятого, бескорыстного критика острее стимулирует творчество. А нашему читателю верить можно. Мы услышим голос адресата, давно молчащего, а некоторыми авторами и вовсе забытого. Эти писатели пишут свои вдохновенные письма, признания в любви, запаковывают в конверт, подписывают своим именем, бросают в ящик, забыв написать адрес. Потом привыкают к такой безответной работе и уже вкладывают в конверты книг попросту пустые, бессодержательные листы. Лишь бы ведомство, занимающееся рассылкой, платило за количество страниц. И за имя на конверте. Священное дело — литература — для них превращается в унылую службу, средство для добывания средств к существованию.

...Количественные критерии оценки писательского труда отрицательно сказываются на судьбе отдельных жанров. Всей логикой развития русской прозы был подготовлен и порожден феномен Чехова, провозгласившего принципы новой прозы: «Словам тесно, мыслям просторно». И более доходчивая формула, известная каждому из нас со школьной скамьи: «Краткость — сестра таланта». Всем своим творчеством он доказал жизненность провозглашенного принципа, ставшего руководящим в практике мировой прозы XX века.

Литература — чуткий локатор, улавливающий изменения ритмов истории. Убыстрились темпы, появились новые единицы измерения пространства и времени. Уложилось в человеческое сознание восприятие привычных вещей. Мы осознали ценность мгновения, узнали сотую долю секунды и увидели в электронные микроскопы тысячные доли миллиметра. В слове мы открыли несколько слоев значений. Мы поняли, что такое подтекст в емкой кристаллической прозе. Нам объяснили, что роман — это айсберг, выступающий в тексте лишь на одну восьмую своей величины. Всей своей массой на поверхности плавают только пустые, аморфные предметы. Вместо унылой описательности Чехов предложил писательство. Но традиции Чехова пока не получили осознанного развития в казахской литературе. Да и не только в казахской. Школа качественной прозы была, прямо скажем, дискредитирована системой количественной оценки: чем толще книга, тем лучше. Оплата по метражу, по количеству печатных листов постепенно превращала молодую казахскую прозу,

начавшуюся с емких, кратких, стремительных рассказов и повестей Майлина и Ауэзова, в рыхлое многообъемное описательство.

Не успев опериться, пройти жестокую, необходимую школу рассказа, молодой литератор уже берется за роман. А роман в его представлении — это не меньше, чем «Война и мир». Кто из прозаиков сохраняет верность жанру рассказа и не пишет трилогию? Разве что Саин Муратбеков и Абиш Кекильбаев. Если я назвал не всех, пусть не обидятся патриоты рассказа, жанра, о судьбе которого мы кричим на каждом писательском съезде, жанра самого литературного, самого оперативного и емкого, жанра, который у нас сходит на нет.

Есть у нас, безусловно, удачные толстые романы. Вы их знаете. Но как бы я ни уважал, ни преклонялся перед именами их авторов, эти романы не могут служить основным образцом для будущей и настоящей казахской прозы. Они драгоценное наследие истории нашей культуры, как романы Золя во французском и Толстого в русском. Они писались тогда, когда не было ни кино, ни телевидения, когда пространства слова и души измерялись не столь подробно, не миллиметрами и микронами, а единственной эпической мерой — шакырым. И авторы этих пудовых романов писали так объемно не потому, что хотели нагнать количество печатных листов, а потому, что иначе не могли выразить огромные, массивные богатства своего внутреннего мира. Стремление писать как можно больше портит литературный язык. Делает его вялым, описательным. Не пройдя чеховской школы, не научившись владеть словом в совершенстве, молодой прозаик привыкает писать неряшливо, вяло. В капиталистических странах издательства четко регламентируют объемы прозы, подгоняя их к устоявшимся международным стандартам. 10—15 п. л.— предельный объем. Это не произвольный объем, это результат многолетнего опыта издателей и книготорговцев, опыт изучения читательского спроса. Время читательское тоже ограничено. Ведь регламентированы объемы киносценариев, пьес. Регламентированы объемы романов серии ЖЗЛ и некоторых других. Если жизнеописание великих людей умещается в 10 п. л., то, думаю, и автобиографические писания наших прозаиков вполне могут вместиться в эти рамки. Конкретным шагом к реализации сказанного могла бы стать серия «Библиотека современного романа» в издательстве «Жазушы», в которой бы публиковались произведения стандартного объема. Это будет дисциплинировать, заставит писать сжато, экономя бумагу и время, свое и читательское.

И когда-нибудь мы поймем, что великое произведение не обязательно велико по количеству п. л. «Старик и море» и «Кок-серек» тому доказательства.

Надо подумать Госкомитету о том, чтобы найти способы материального стимулирования таких оперативных жанров литературы. У русской литературы надо учиться не только внешним формам, но и искусству активного вмешательства в жизнь, уменью немедленно откликаться на важнейшие события и делать общественным достоянием явления нашего времени. Публицистический, проблемный очерк, формирующий гражданское самосознание,— самый демократический жанр литературы. В современной русской я назову десятки писателей, которые развивают этот нелегкий жанр. А такие имена, как Овечкин, Тендряков, Радов, Чивилихин, известны народу. Читатели с нетерпением ждут их произведения. И я отмечаю как важнейший сигнал

факт присуждения Чивилихину Государственной премии РСФСР за книгу очерков. Может быть, и нам следует подумать о поощрении авторов проблемного очерка. Когда они у нас появятся.

Перед литераторами Казахстана стоят большие задачи. Они рассчитаны не на одно десятилетие. Нам предстоит осмыслить и показать узловые моменты исторического пути, пройденного народом от глубин древности до наших дней. Без этого национальная культура не может развиваться полнокровно.

Несмотря на оригинальную структуру нашего производства, литература тоже плановое дело. И социальный заказ не был чужд ей никогда. И Гомер, и Фирдоуси создавали творения по социальному заказу.

Писатель по природе своего дарования — историк. События древнего мира, трогательные воспоминания о вчерашней прогулке под луной и шаги космонавтов на Луне — все это входит в емкое понятие История. И давно сформулирована основная задача историка — воссоздать образ эпохи. Но не научившись увидеть в сегодняшнем дне черты нашей эпохи, писатель, каким бы провидческим даром он ни обладал, не сможет понять и воссоздать образы эпох прошедших. К этому открытию приходит самостоятельно каждый из нас рано или поздно. Я убеждаюсь в этом на собственном опыте.

1978

К ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ[1]

1.

[1] Доклад на симпозиуме ассоциации писателей стран Азии и Африки в г. Ташкенте, 1977 г.

20 лет минуло с того дня, когда в Ташкенте писатели 37 стран Азии и Африки совместной декларацией подтвердили осознанное стремление к единству.

Тогда впервые в одном собрании встретились продолжатели литератур, несущих на себе печать тысячелетий, и основоположники письменностей дотоле неизвестных. Собрались, чтобы определить общие задачи развития национальных культур, выявить платформу общих интересов. От встречи к встрече росло число участников нашего движения, в ассоциацию вливались новые члены — вновь образованные союзы и национальные ассоциации писателей. Уже на пятой конференции в Алма-Ате были представлены писательские организации 86 стран. Первые собрания естественно превращались в политические форумы, что вызывало критику сторонников «чистого искусства». Вопрос свободы и ангажированности литературы неоднократно был предметом дискуссии на наших встречах.

В последние годы спор на эту тему, кажется, поутих.

«Каждый из нас не принадлежит себе. Мы — это голос пробуждающегося народа. Мы ангажированы революцией».

Я цитирую выступления писателей Азии и Африки. В них выражена позиция, которую можно признать общей.

И этот итог естествен. Само движение солидарности писателей Азии и Африки возникло в результате развития национально-освобо-

дительной борьбы. В движение вошли литераторы, связавшие свое творчество с антиимпериалистической, антиколониальной борьбой, борьбой против феодализма, социального неравенства. В результате их усилий рождалась на континентах новая, общественная, активная литература, формирующая сознание демократических масс.

Все наши встречи проходили под знаком этой борьбы и потому они представляли интерес не только для специалистов, исследователей культуры, но имели и первостепенное политическое значение. Рушились последние колониальные империи и выдвигались на передний план следующие задачи культурного строительства. Независимость, добытая большинством народов Азии и Африки, не разрешила всех проблем, но породила новые. В тех странах, где задачи национально-освободительного движения не совмещались с задачами социально-освободительной борьбы, национальная независимость не освобождала от зависимости экономической и культурной. Избавление от гнета колонизаторов закономерно усилило класс «своих» эксплуататоров. И мы оказались свидетелями политического парадокса — борьба за национальное освобождение сплачивала народ колоний, победа — разъединяла, обнажив классовые, социальные противоречия, связанные с ростом имущественного расслоения, упрочения позиций национальной буржуазии. Это состояние отразилось в литературе. Смысл нового измерения заключался в том, что если в период национально-освободительного движения литература борьбы рисовала романтический идеал — образ свободной родины, создавая приподнятые героические фигуры борцов, то теперь все чаще возникали в литературе ноты разочарования и уныния. Все чаще говорится о трудности самостоятельного развития. Набирает силу сатирическая литература. Наступает отрезвление, и вместе с ним рождаются произведения литературы критического реализма. Обостряется глаз художника, внимательно анализируется состояние общества, стремление отразить сложнейшие процессы, начавшиеся в стране в ходе радикальных перемен. И вместе с тем часть писателей старается не замечать новой ситуации и продолжает придерживаться стереотипов прежнего романтизма. Не понимая или не желая понять всю сложность действительности, эти писатели создают собственные модели ее. Так возникает два способа уйти от непонятного, два варианта неоромантизма. Самый простой — это уход в выдуманную красивость или в героическое прошлое. И полярно противоположный способ — не украшать, а упрощать действительность, сводя ее к отчетливому черно-белому варианту. Неадекватность литературы такого рода как инструмента исследования жизни все острее ощущается писателями, и внимательный читатель афроазиатской литературы может заметить ставшие особенно наглядными в 70-е годы противоборство между реализмом и различными формами неоромантизма, борьбу за становление подлинно реалистической литературы. Все больше писателей осознают реальность положения — независимость не стала панацеей от всех бед. Независимость еще не есть свобода, а только первый этап на пути к подлинному освобождению человека. Следующие этапы, может быть, не менее трудные, чем первый,— это освобождение от социального ига, от невежества, от пережитков колониального прошлого, свобода от религиозного сознания... Эти трудные задачи, которые входят в круг проблем «духовная деколонизация», не могут решаться по отдельности, а только вкупе, ибо причины их взаимосвязаны, диктуют

писателям особые требования как представителям самого передового отряда национальной интеллигенции, как архитекторам и каменщикам культурного строительства.

Я бы хотел обратить внимание на те общие проблемы, которые затрагивались на наших предыдущих встречах, но подробно не обсуждались. В частности, вопросы — кто он, творец сегодняшних культур Азии и Африки? Каков его внутренний мир? Как он отвечает на главный вопрос возрождения — кто мы?

2. Маргинальная личность

Особую роль в активизации культурных процессов играет в деколонизированном обществе так называемая первая интеллигенция. Она движущая сила общества там, где еще нет развитого рабочего класса. Первая интеллигенция — во главе освободительного движения, на ней ответственность за то, какими путями и темпами пойдет социальное развитие страны.

Как правило, первая интеллигенция — это выходцы из высших и средних слоев населения, впитавшие в себя культуру метрополии и в меньшей степени традиционную народную культуру. Это интеллигенция, рожденная на границе двух миров — результат культурного этнического синтеза. Американские социологи, пожалуй, первыми заметили и описали это явление в термине —«человек на рубеже культур», определили его генезис как порождение империализма экономического, политического и культурного и сделали такое заключение — маргинальный человек легко становится неустойчивой личностью с космополитическим мировоззрением, у которого нет чувства подлинной связи со своим народом, со своей родной культурой и исторической традицией. И потому никакой позитивной роли в развитии этноса и его культуры маргинальная личность играть не может. Мне кажется, вывод этот поспешен, ибо явление нами изучено недостаточно. Следует, вероятно, пока говорить о сложности, неоднородности, о диалектическом состоянии той части народа, которая волей истории оказалась маргинальной. Опыт показывает, что из маргинального сословия выходят и космополиты, и подлинные интернационалисты, у которых ум и сердце открыты для всего ценного, созданного и родным народом, и народом метрополии. Выходят и ассимилянты, равно как и отчаянные националисты.

Я вспоминаю один школьный урок. Если сложить пластины свинца и меди, то через некоторое время в результате взаимной диффузии частиц металлов на граничащих плоскостях образуется так называемый диффузионный или, применяя нашу терминологию, маргинальный слой бронзы. Чем выше температура, тем активней диффузия: на пластинах, помещенных в морозильник, бронза образуется значительно медленнее. Простоты ради, мне кажется, можно сопоставить этот пример с рассматриваемым явлением. Даже антагонистические культуры в условиях расовой и национальной дискриминации взаимопроникают и образуют пограничный слой бронзы — результат вынужденного взаимодействия. Но если взаимодействие народов в федеральном государстве рассматривается в качестве сознательной цели, то есть процесс протекает в более теплой атмосфере, то диффузионный слой образуется быстрее и мощнее. Этот пограничный пласт — ре-

зультат взаимодействия контактирующих культур и одновременно проводник дальнейшего взаимопроникновения. Я думаю, что в этом и состоит позитивное значение маргинальной личности. Она сама и произведение, и знак интеграла между двумя средами. Пограничная полоса не только разделительная линия, но и линия соединения. Вот это диалектическое состояние борьбы и единства противоположных сред в полной мере воплощается в маргинальной личности, определяя прогрессивный и драматический характер ее деятельности и существования.

Маргинальность была и во времена шумеро-египетских контактов, и всегда будет, пока народы взаимодействуют. Маргинальная среда выдвигала выдающихся деятелей науки, литературы и политики. На границе иранской и арабских культур возросли Авиценна, Аль-Хорезми, Хайям и Бируни. На границе иранской и тюркских культур расцвел гений Навои. Пушкин и Толстой — порождение по меньшей мере двух национальных культур — России и Франции.

Я не боюсь ошибиться, заявив, что все мы в той или иной степени люди маргинальной формации. И понимание своей природы необходимо для осознания долга и призвания — проводников процесса взаимодействия культур.

3. Активность и пассивность

Мы поняли: расизм и комплекс расовой и национальной неполноценности зиждятся на общей основе — на невежестве. Сокрушить комплексы Превосходства можно, лишь победив в себе комплексы Неполноценности. И поэтому, просвещая себя, мы боремся и с невежеством вчерашнего колонизатора. Независимость лишь первый шаг по пути к равенству. Подлинное равенство — через взаимоуважение. И это мы поняли.

Не только гнев и торжество, не только эмоции, но и печать глубоких размышлений на лице новой Африки, на лице новой Азии — на страницах литературы этих континентов, вот что вселяет уверенность в их будущее. Независимость — начало размышлений о своей судьбе, которая уже неотрывна от судьбы всего мира.

Эра колониализма началась с эпохи великих географических открытий. Европа открывала для себя мир и осваивала его, порабощая. Эра колониализма завершается на наших глазах. Порабощенные народы начинают открывать себя, осваивать материальные и духовные богатства своих родин. И открывать для себя мир во всех его культурных и этнических проявлениях.

Набирая силу и темп, возрождение народов несет с собой в числе прочих и такие важные вопросы: какими глазами смотреть на своих бывших поработителей? Какое выработать отношение к культуре Запада? Какие пути общественного развития наиболее согласуются с историческими традициями и достоинством народа?

Вычеркнуть пятьсот лет и начать с того момента, на котором социальное развитие было заторможено? Начать, чтобы пройти последовательно все стадии, которые пережили развитые страны? Или заимствовать самые современные структуры? И такие вопросы ставятся, первые ответы кое-где претворяются в жизнь.

Так, недавно в Центральной Африке создано маленькое государство,

которое объявило себя империей по типу древнеримской. Уже функционируют государственные структуры феодального, монархического толка, есть государства, избравшие капиталистический путь развития, есть страны, в которых объявлен социалистический строй.

Азия и Африка в поиске, в брожении. Динамические процессы, в них происходящие, отражаются на жизни всего мира. Может быть, благодаря этому человечество только сейчас начинает осознавать свое единство. Популярность таких сравнительно новых терминов, как взаимопонимание, объясняется тем, что они стали выражать осознанные понятия.

Независимость — снимает политические барьеры и дает возможность деколонизированным народам выйти из вековой изоляции, целенаправленно участвовать в процессе мирового сотрудничества во всех сферах человеческой деятельности. Ибо уже очевидна научная формула любого развития (экономического, политического и культурного) — взаимодействие. Этот закон, на наш взгляд, универсален для любого социума. От политической, культурной **Зависимости**, через этап **Независимости** к эпохам осознанной **Взаимозависимости!** Таков путь справедливого развития нации в человечестве. И лишь в обществе, развивающемся во взаимозависимости, могут быть устранены причины, обуславливающие расовые и национальные предрассудки. Эту глобальную перспективу мы не должны терять при решении сегодняшних локальных задач, иначе независимость в своем предельном выражении может повести к самоизоляции. Иными словами — к общественной деградации.

Взаимозависимость — это условие существования человечества. но оно невозможно без взаимопонимания и направленного взаимодействия.

Чем характерна эпоха Независимости? Возросшей активностью Действия и Размышления.

В 20-х годах монгольский писатель Эрдене Батухан обратился к писателю Горькому с письмом, в котором рассказывал о трудностях становления новой монгольской литературы. Горький ответил: «Наиболее полезной была бы вашему народу проповедь принципа активности. Именно активному отношению к жизни Европа обязана всем тем, что в ней прекрасно и достойно уважения всеми расами... Принцип активности, стремящейся к деятельной свободе, а не к свободе бездействия».

Эти слова могут стать эпиграфом к новой главе истории каждого народа Востока и Африки. Как и мысль Л. Толстого о том, что переустройство мира и переустройство человека должно происходить одновременно. В чем природа активного и пассивного отношения к жизни? Буржуазные ученые XIX века определили свое понимание в ответе на этот вопрос: оказывается, все дело в особых свойствах расового характера. Европа обязана своим расцветом природной расовой активности; Азия, Африка и Америка были заселены расами с пассивным характером, потому они и оказались в подчиненном положении.

Авторы арийской теории довели эту мысль до совершенства, «доказав», что наиболее полно характер белой расы воплотился в германцах. Эта теория зародилась и утвердилась в сознании историков в то

время, когда «сумрачный германский гений» ярко выражался в философии, музыке и технических науках. Когда считалось, что все великие открытия и изобретения (такие, как изобретения пороха, книгопечатанье и др.) были сделаны на Рейне и Одере.

Набиравшее силу востоковедение обнаружило факты, противоречащие арийской системе. Оказалось, и порох, и книгопечатанье, и сама бумага были изобретены на Востоке в то время, когда германские племена еще стояли, по определению Энгельса, на средней ступени варварства.

Эти и подобные факты требовали объяснения. Каким образом народы, отнесенные к пассивным расам, могли создавать в древности выдающиеся цивилизации? Историк Грум-Гржимайло объяснил этот феномен тем, что, оказывается, в жилах древних китайцев текла добрая струя привнесенной арийской крови.

Потом были открыты и изучены культуры Древней Передней Азии — Шумеро-Аккада и Ассирии, созданные круглоголовым типом, к которому относились центральноазийские народы. Если следовать логике, принятой в германской историографии, то надо было и семитов, и центральноазиатов признавать арийцами.

Ген ариизма проникает и в труды современных ученых. Не избежал его и такой широко известный ныне норвежский этнограф Тур Хейердал в своем оригинальном исследовании об инках. Он пришел к выводу, что инкскую и ацтекскую цивилизацию создали белокурые пришельцы. Если это так, то надо полагать, что слухи о норманах, ходивших в Америку задолго до Колумба, имеют под собой материковую почву. Как и теория об особой исторической роли нордической расы. Правда, серьезных доказательств этому выводу нет, но сенсационные методы исследования привлекли к работам Хейердала внимание всего мира. И потому они получили бóльшую известность, чем работы мексиканских ученых, опровергающих эту концепцию. Арийские идеи работают уже в другой оболочке — яркой и добродушной. Так, по деталям, создавалась в умах картина истории мировых цивилизаций.

...Расовый и национальный характер с легкой руки арийских специалистов был зачислен в ряд вечных, неизменных ценностей, как раз и навсегда данное, представленное единым психологическим типом. Это постоянство расового и национального характера иначе, как особыми свойствами крови, не объяснить.

Из идеи неизменности народного характера произрастают еще бытующие в науке и литературе представления о народах робких и храбрых, добродушных и жестоких, ленивых и трудолюбивых. О народах, не способных к цивилизации, и о народах-деятелях.

Национальный характер и тем более расовый (если таковые существуют) — категории зыбкие, изменчивые, подверженные воздействиям множества трудноучитываемых факторов — и среды обитания, и способов производства, исторических условий и т. д., и т. п. Историческая активность или пассивность того или иного народа скорее всего имели конкретные социальные причины.

...Эпохи возрождения всегда характеризуются ростом интереса к истории. В ней ищут ответы на вопросы современности. Исторический материал помогает понять механизмы развития сегодняшних представлений. В советской литературной печати уже несколько лет идут дискуссии о роли науки и школы в воспитании мировоззрения человека эпохи НТР. Наиболее серьезные ученые так определяют роль средней школы: ее основной задачей является обучение молодого человека нравственности, ясному логическому мышлению, истории цивилизации. Но, конечно, не датам, географическим названиям и описи памятников культуры. Надо прежде всего воспитать широту мышления, освободить юный мозг от пут стандартных рассуждений, показать захватывающую дух динамику развития взгляда на вещи...

Я не могу сказать, что такая научная дисциплина, как «История цивилизации», еще не преподается ни в одной из школ мира. В Европе самый способный ученик знает о расцвете и падении европейских империй, имена царей и королей, имена и деяния борцов против тираний. Он знает некоторые факты из истории европейской культуры — Леонардо да Винчи, Галилея, Гальвани... Студент исторического факультета, чтобы получить на выпускном экзамене по истории мира оценку «отлично», вовсе не обязан знать имени арабского математика аль-Хорезми, открывшего алгебраический метод, имени Цай Луня, изобретшего бумагу, индийского астронома Арьяхатту, предвосхитившего Галилея на тысячу лет своим утверждением, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Можно слыть историком и культурным человеком, не зная истории восточных культур. В школах же некоторых стран Азии с почтением относятся к памяти своих исторических гениев, но как будто не ведают, что существовали на свете Птолемей и Коперник. Но мы уже стоим в преддверии новой школы, где история цивилизаций, т. е. история мира, решительно потеснит историю войн. И мы будем воспитывать не только воинов, но и творцов. А пока этот предмет еще создается, еще бродит в умах, еще только собираются воедино разрозненные факты взаимодействия всех древних и современных культур человечества. Пока только формируется убеждение, что история войн и государства — драматический фон или среда, в которой происходила настоящая история — драма человеческой мысли. Борьба Знания и Веры, света и тьмы.

Почему я говорю все это на собрании писателей, а не историков? Потому что литература — это наука, может быть, высшая из мировоззренческих наук, это художественное исследование жизни человека и общества. Рассматривая явление вне исторического контекста, мы его не поймем. И если мы задумаемся над фактами действительности, мы уверены, что они обоснованы космосом прошлого. И не случайно колонизаторская наука отнимала у народов Азии и Африки право на историю, не случайно входил в обиход термин «неисторические народы». Эпохи возрождения выдвигают писателей-энциклопедистов. Культура, восстающая из пепла, нуждается в них. И я убежден, что каждому из нас приходится задумываться над этими вопросами.

В борьбе с «европоцентризмом» поспешно рождалось в Азии противоположное направление — «востокоцентризм». И как результат противоборства этих течений — концепция локального, автономного развития каждой культуры. Эту идею всего несколько десятилетий тому назад выражали достаточно профессиональные историки, специалисты, занимавшиеся проблемой взаимоотношений Запада и Востока.

Однако археологические и лингвистические открытия последнего времени заставляют заново переосмыслить карту древнего мира и поколебали представления об изолированном самобытном развитии насе-

лявших его народов. Появилось и африкановедение. Выяснилось, что до колонизации африканские народы не были так уж оторваны от центров мировых цивилизаций. Археологи установили, например, что народы, населявшие территорию Зимбабве уже две тысячи лет назад, поддерживали торговые отношения с Египтом и Китаем. Что племена банту умели выплавлять железо из руды уже во II в. н. э., когда на большей территории Азии и Европы еще был век бронзы.

На смену былому западоведенью и востоковедению сегодня приходит мироведенье. В марксистской науке, последовательно развивающей теорию мирового взаимодействия, появился фундаментальный труд «Всеобщая история искусств», успешно ведется работа над «Историей всемирной литературы». В перспективе —«История цивилизаций человечества». Когда основные положения ее войдут в школьные учебники и основой мировоззрения подрастающих поколений будет знание того, что ни одна цивилизация не выросла на пустом месте, а возникла в процессе бурных взаимодействий с предшествующими и современными ей, тогда не будет почвы для споров и о природе активного и пассивного отношения к жизни.

В среде буржуазных ученых Запада, не согласных с арийской теорией, были попытки объяснить материалистически феномен восточной пассивности. Объясняли влиянием мусульманской и буддистской религий, которые якобы отличались от христианской тем, что воспитывали специфическую особенность мироощущения — фатализм, предопределенность. Ничто в мире не зависит от участия человека, все ниспослано свыше. Все определено. Творец — бог, человек — творенье, и жизнь и смерть в руках неба. Отсюда вырабатывалось фатальное приятие всего, что посылает жизнь. Истина человека в том, чтобы быть слитым с бытием, быть покорным ходу вещей, а не бороться с ним. Так была погашена энергия борьбы, порыв за пределы узнанного. Пассивность — это плод победы Веры над Знанием, это стремление приспосабливаться к среде, а не утверждаться в ней, пересоздавая ее. Преувеличение роли среды, сил надчеловеческих, бытия над сознанием вызывает заторможенность процесса роста производительных сил на Востоке. Целью человеческой становится не жизнь, а выживание. Пассивность сознания — первопричина всех зол социальных, причина экономической и культурной отсталости, и в итоге — одна из основных причин ежечасных поражений в пятисотлетней войне с Западом. Мне кажется, есть доля правды в этом объясненнии. Да, Вера побеждала Знание. Но это особенность не только буддизма, но и, скажем, христианства, знаменитого своими победами над наукой. Жертвой христианства пала культура Эллады. Знаменитая александрийская библиотека была сожжена по приказу церкви. Труды выдающихся греческих ученых, продолживших и обобщивших научные знания Египта и Передней Азии, были превращены в пепел, и Европа более чем на тысячелетье погрузилась во тьму незнанья.

Христианство вовсе не возбуждало активности научной мысли. Тот же догматизм, та же предопределенность хода вещей. Быть или не быть?— такого вопроса не возникало в сознании христианина до эпохи Возрождения. Более того, если сопоставить истории трех мировых религий, то большую свободу светскому знанию, как это ни парадоксально, позволял именно ислам в эпоху своего массового становления. Может быть, потому, что ислам сразу стал религией

государственной. Во всяком случае, халифы с первых же шагов новой религии сделали обретение светских знаний, развитие науки и техники одним из требований ислама. Расцвета исламская культура достигла в IX—XI вв. Это время характеризуется бурным подъемом во всех областях науки, доступных человеческому разуму той эпохи. В то время, когда Европа и Дальний Восток уже не подавали никаких признаков интеллектуальной жизни, в мусульманских странах расцветали философия, математика, астрономия, историография, лингвистика, химия, фармакология. Еще одна из важных особенностей этой цивилизации — мусульманские правители, борясь с иноверцами и язычниками, тем не менее не запрещали ученым пользоваться знаниями, полученными из книг греческих, индийских, китайских авторов. То, чего не позволяли ни христианские, ни буддийские правители. В «доме мудрости», основанном в Багдаде при халифе Аль-Мансуре (VII в.), была собрана огромная библиотека, которая стала своего рода академией, где ученые переводили на арабский язык иностранных авторов. Значение такой деятельности мусульманских ученых для мировой культуры было неоценимо. Достаточно сказать, что средневековая Европа открывала для себя греческих философов, переводя их труды на латынь с арабского. В XII и XIII веках, благодаря распространению в Европе бумаги, принесенной арабами, основные работы мусульманских математиков, оптиков, медиков, музыковедов были переведены на латынь и стали основой европейской науки средневековья. Запад просыпался не без воздействия культур древнего мира, обобщенных в передовой мусульманской культуре. Образно говоря, семена эллинских, иранских, индийских, китайских знаний бурно развились на почве арабской культуры, и плодами с ветвей этого сада познания питалось европейское Возрождение.

Но почему не продолжился золотой век арабской культуры? Иссяк творческий потенциал, запас природной активности? В XII веке турки-сельджуки хлынули из Средней Азии, захватили Месопотамию, утвердились в Багдаде. Пока мусульманская Испания переживала эпоху политического раскола, тюркские кочевники из Египта вторглись в Северную Африку и уничтожили существовавшие там государственные структуры. Походы крестоносцев за гробом господним довершили картину XII в., а в XIII грянул ураган монгольской военной активности, который довершил разгром арабской государственной цивилизации и задавил всходы возрождения в Китае и Индии. Но монгольские клинки XIII века хотя и не коснулись Западной Европы, но вызвали в ней своеобразный экономический кризис. Были порублены традиционные торговые артерии между Европой и Востоком, а именно Великий шелковый путь, что заставило Европу изыскивать возможности восстановить постоянный контакт с богатыми странами Востока. В поисках Индии, к XV веку ставшей легендарной страной, где золото растет прямо на деревьях, испанские и португальские морепроходцы избороздили просторы мирового океана, попутно открыв для Европы два материка — Америку и Африку. Так началась эпоха колонизации, названная европейскими историками более поэтично — эпохой великих географических открытий. В тот самый год, когда юный Микеланджело выполнял во Флоренции свою первую работу — лепил колоссальную снежную статую, испанские конквистадоры начали переплавлять золотые статуи ацтеков в слитки для удобства транспортировки в корабельных трюмах.

Для того, чтобы расцвел гений Микеланджело и Леонардо да Винчи, были погублены великолепная ацтекская цивилизация, государственные культуры Африки, обессилены цивилизации Востока. Нам еще предстоит осмыслить все последствия колониализма для духовного развития человечества, но одно из прямых следствий его уже сейчас поддается описанию. Колониализм прервал естественный ход развития духовной жизни обществ. В средние века религия на Востоке уже переживала трансформацию, уступая позиции знанию. Колониализм вызвал религиозное возрождение, усилил влияние традиционных вер и верований, которые стали патриотическим фактором, символом особенности, отличности от захватчиков. Когда была утрачена государственность, проявились и укрепились те черты ислама, о которых говорил Маркс, характеризуя ислам как самую фаталистическую религию. Колонизаторы не подавили религий порабощенных стран Азии и Африки, не заменили своей. Казалось бы, за пятьсот лет владычества европейцев христианство должно было стать единственной мировой религией, что являлось некогда целью апостолов. Объединить человечество единой верой, одной моралью. Опыт насаждения веры у христиан был. Известно, как жестоко приводились к кресту некоторые северо-восточные племена в средневековье. Но в Африке и в Азии на практике утверждалось не христианство, а утверждался христианин. Христианство именно в эпоху Возрождения становилось религией для избранной расы. Ввести в свою веру — значит сделать раба себе равным. Значит — лишить себя права распоряжаться его жизнью и имуществом и свободой. Допустить его к библии и к просвещению. Отношение к этому вопросу предельно откровенно выразил один известный цивилизатор —«К югу от Суэца десять заповедей теряют свое значение». Эти десять заповедей теряли значение и в Европе при дворах государей. Усиление светской власти естественно ослабляло влияние церкви. Христианство с его моралью не могло быть государственной религией. Первая заповедь «Не убий!» не помешала европейцам сотворить самое смертоносное оружие того времени — огнестрельное. Государство стремилось быть сильным. Познав цену техники, развивало науку, которая проповедовала активное отношение к жизни. Земной рай доступней, чем небесный. Жизнелюбие, как антитеза христианскому аскетизму, стало содержанием искусства Возрождения. Радость жизни, активное мироощущение утверждалось в европейском сознании не благодаря христианству, как пытаются утверждать некоторые исследователи, а категорически вопреки ему.

Европа справилась со своей религией и способствовала усилению восточных религий. Вот, на мой взгляд, одна из причин разности мироощущений, которую отметил Горький в письме к монгольскому коллеге.

Можно ли сказать, что мы уже справились с религиозным сознанием, основой того, что называем невежеством?

Знание еще не победило веру. Кто из нас твердо знает, что Земля кружится вокруг Солнца? Мы не знаем, мы просто верим в это, как раньше верили в то, что Солнце вокруг Земли. Мы верим, что бога нет, с такой же горячностью, как раньше верили в его существование. Обучение основано на зубрежке, на заучивании, на беспрекословной вере в своих учителей, в безграничность, в безошибочность их знаний. Мы воспитываем не научный способ мышления, а наученный,

т. е. знания накладываются на те же стеллажи мышления, на которые возлагались постулаты веры.

Как мы относимся к истории? Объективному исследователю чуждо чувство исторической обиды и благодарности. Проявление эмоций деморализует науку. Мы должны знать, а не переживать прошлое. Но пока что историография — все еще искусство. Мы, созидая прошлое, творим его по подобию своего мировоззрения, переводим великую поэзию Древности на язык своего понимания. Но любой перевод неадекватен оригиналу. Даже улучшая оригинал, эмоциональная наука творит монстра.

Единственный выход — создавать универсальное мировоззрение, общее для культур всех этносов.

Мы должны, описывая прошлое, оперировать рациональными понятиями, избегая эмоциональных категорий. Был каменный век, век бронзы, век железа. Но не было у человечества и, значит, ни у одного племени золотого века. Все народы — участники и акционеры любой цивилизации, и каждый из нас сегодня — наследник всей истории человечества от Шумера и Египта — и каждый ответствен за сегодняшнюю цивилизацию. Никто никому ничего не должен. Современный африканец имеет право сознательно владеть прошлым человечества не меньше, чем любой гражданин Запада и Востока. И грек X в. не мог считать себя единственным наследником эллинизма, ибо уже знал его меньше, чем образованный араб того времени, читавший Аристотеля в переводах и толкованиях аль-Фараби. Прошлое принадлежит тому, кто его знает. Будущее тому, кто его созидает.

Мы определяем свое отношение к культурам вчерашних колоний и метрополий. Действительно, культура метрополий — понятие сложное. Есть культура парашютистов и культура Шекспира, Сервантеса, Гюго. Как наши предки в XIX веке умели отличать голос пушек от голоса Пушкина. Мы так часто произносим слово «культура», оно стало так привычно, что зачастую не требует осмысления. Но в каждую эпоху, в каждом обществе оно несет разные значения. Когда мы говорим о культуре высокоцивилизованного общества, мы подразумеваем синтез науки, интеллектуального искусства, религии и соответствующей морали, а на островах Полинезии или в некоторых племенах Африки культура выражается только искусством и примитивными верованиями. В оценке этого явления всегда преобладает внешний, количественный критерий. Мне кажется, самое общее определение культуры, годное для разных обществ и времен: культура — это доведенные до оптимума, сбалансированные взаимоотношения человека и среды, выработанные условиями борьбы за существование. Эскимос, за тысячелетия достигший гармонии со средой обитания, был культурней прилетия шельца, не приспособленного к суровым условиям Севера. Полуголый африканец в долинах Кванзы и Замбези был на первых порах культурней пришлого португальца.

Внедряясь во все широты, постоянно входя в новые географические и этнические среды, приспосабливаясь и приспосабливая среду, не стесняясь заимствовать все защитные достижения местных обществ, европеец вырабатывал универсальный характер своей культуры, наиболее приближенной к мировой модели. Эта модель — постоянный обмен веществ. Фигурально выражаясь, она всеядна, может с одинаковым аппетитом питать себя и бананом, и треской. А не только

бананом и не только треской. Каждый из нас определяет тип своей народной культуры, тогда яснее дальнейшие пути ее развития. Относится ли она к типу островных, т. е. изолированных, самобытных культур, или к континентальным, возникшим в условиях контактов, или к межконтинентальной, стремящейся к мировой модели.

Выход из изоляции, активный контакт, взаимодействие — вот что важно для будущего любой современной культуры.

Дискуссии о путях развития национальных культур естественно обострены в условиях мировой интеграции. Боязнь с усилением фактора общего ослабить особенное, экзотичное, полагая, что это и есть лицо культуры, эта боязнь приводит кое-где к искусственным мерам по ограничению естественного обмена. Особенность становится самоцелью, принимается как высшая ценность национальной культуры. Но эти меры едва ли способны принести что-нибудь, кроме вреда национальной культуре. Там, где преобладает Особенное, совершенно естественно стремление к Общему и наоборот. В сильно интегрированной евроамериканской культуре Общее преобладает над Особенным, и потому отчетливо прослеживается тенденция к индивидуальному, к экзотичному. Особенное, Необычное, Экстравагантное, Оригинальное давно стало критерием оценки любых проявлений западного искусства. Организму западной культуры не хватает пряностей. И она их ищет, находит и культивирует. Увлечение формами неолита, примитивных искусств островных культур, литературный авангардизм — все это явления одного порядка, все это объясняется естественными процессами развития мировой модели. Но стоит ли культурам с сильно выраженным островным комплексом Особенного некритически заимствовать этот критерий?

Крайне важно соблюдение диалектической пропорции Общего и Особенного в литературе. Ибо доведенный до предела культ Особенного лишает произведение литературы коммуникабельности, она перестает быть средством общественной информации, становится вещью в себе, не выполняет свою функцию. И эта зависимость от западных оценок особенно опасна там, где литература находится в становлении и общественная ее роль необычайно высока и необходима.

4. НТР и литература

Ровно год назад в Париже на коллоквиуме «Техника, прогресс и литература», организованном ассоциацией французских писателей, мы обсуждали и такой вопрос: как средства массовой информации влияют на интеллектуальные искусства; являются ли радио и телевидение действующими агентами в развитии литературы?

Думаю, что тема эта может быть затронута и на нашем симпозиуме, ибо, мне кажется, для литераторов Азии и Африки эта проблема в скором времени будет иметь первостепенное значение: экономическая и техническая интеграция способствует бурному распространению средств массовой информации по всем странам.

На парижском коллоквиуме мы при обсуждении упустили из виду одно важное обстоятельство, которое должно было обратить на себя внимание. Если в экономически развитых странах такие опасные соперники книги, как телевидение, радио и кино, использовались обществом со стопроцентной грамотностью, с прочными традициями

книжного образования, то в некоторые деколонизированные страны эти средства приходят одновременно с букварем, а порой и раньше его. И развиваются значительно быстрее, чем грамотность. И есть серьезная опасность, что средства массовой информации при неумеренном распространении могут затормозить культурную революцию, заменив собой книгу.

Современное общество может миновать в своем ускоренном развитии несколько социальных формаций и вступить в социализм из феодального или патриархально-общинного строя. Примеры этому есть и в нашей стране.

Но невозможно без ущерба для человеческого развития превратить Слушателя в Зрителя, заставив его миновать самую важную для современной культуры стадию Читателя. Эволюция гомо сапиенса резко разделяется на два этапа — бесписьменный и письменный периоды. Первому миллионы лет. Последний насчитывает всего 6 тысячелетий. Высшим техническим достижением Человека Слушающего был каменный топор. Человек Читающий создал все остальное. Он и стал воплощением человека мыслящего и творящего. Письмо способствовало убыстренному развитию мыслительного аппарата. Закономерность темы «Книга и цивилизация» доказывается на многочисленных примерах из истории: с появлением у народа письменности развивались государство, науки, искусства; забывалось письмо — культура деградировала. Книга является самым объективным, самым выразительным символом цивилизации. Она развивает творческие способности, заложенные в человеке, как никакое другое средство информации. Книга развивает зрение разума.

Утрачивает ли свое значение книга в эпоху НТР, когда все усложняющиеся условия существования требуют от человечества нарастающих интеллектуальных усилий?

Совсем недавно появилось бытовое телевидение, и катастрофические темпы его развития уже сказываются. Например, в США телевидение постепенно заменяет собой книгу. Америка перестает быть читающей нацией, превращаясь в нацию Зрителей и Слушателей. Пассивное потребление художественной и научной информации атрофирует мышление. Читатель в Америке отрицательно изменяется и количественно, и качественно. Об этом можно судить и по крайней мере по двум уже широко известным симптомам. Уменьшение объема книги объяснили убыстрением темпа жизни. Но чем объяснить упрощение содержания и формы? Бестселлером становится лишь предельно облегченное чтиво, содержание которого обязательно должно напоминать штампы телебоевиков.

Классика издается в предельно адаптированном виде. Я держал в руках карманное издание «Войны и мира».

С каждым годом увеличивается число малограмотных среди выпускников школ и колледжей. Многие из них попросту не умеют читать. Может быть, в этом повинна и система образования, слишком либеральные условия, но, думается, львиная доля вины приходится на основного учителя американской молодежи — на телевизор. Культура породила Молоха, который теперь пожирает ее. Вероятно, в будущем это положение отрицательно скажется на социальном развитии. Уже сейчас в США ощущается дефицит в творческих кадрах. Чтобы сохранить высокий уровень жизни, нужно неуклонное наращивание темпов развития науки и техники. Пока Америка богата, она привле-

кает талантливых людей из читающих стран. Но и там Зритель угрожающе растет за счет Читателя.

Творческая потенция любой страны выражается сегодня не только экономическими цифрами, о ней можно судить и по количеству, и по качеству книжной продукции. И прежде всего художественной литературы. В дальнейшем взаимозависимость эта будет еще явственней. В культуре, не породившей Шекспира, не появится и Ньютон.

Телевидение, выдающееся достижение человеческого разума, требует разумного использования.

У нас в стране очень развиты средства информации. Думаю, в каждом доме есть телевизионный аппарат. Признаться, сам я его не часто включаю. И программ у нас еще мало, да и зрелище победнее возможного. Но я все чаще думаю, что эти свойства нашего телевидения, может быть, невольно способствуют развитию нашей культуры. Могу констатировать, что ни кино, ни телевидение у нас пока еще не угрожают книге.

Мы можем гордиться своим Великим Читателем. Мы еще долго будем самой читающей страной мира. В каждой квартире есть домашняя библиотека, которая собирается ежедневно и всю жизнь. Несмотря на все растущие тиражи книг, бумаги не хватает для переизданий. Ни в одной стране нет книжного черного рынка. У нас он появился. Согласен, это ненормально, спекулянтов книгами надо судить, но этим рынком я горжусь.

Недавно побывал в библиотеке автомобильного завода им. Лихачева. 730 000 книг в ее фонде. Она обслуживает в год 58 000 тысяч читателей. Это в большинстве своем рабочие и служащие завода. 42 филиала библиотека имеет в заводских цехах, в общежитиях, в районах, где живут рабочие этого предприятия.

Можно не говорить об экономических показателях этого и других заводов, достаточно сообщить библиотечные цифры, чтобы судить об уровне и перспективах развития страны. Недавно меня попросили рассказать о моей республике, о Казахстане, о том, чего достиг мой народ за годы социализма. Я хотел сообщить, сколько новых городов появилось в степи, сколько искусственных морей, сколько тонн стали, свинца, хлеба производится в республике. Но потом окончательно запутался в цифрах и сообщил те цифры, которые мне более известны. Я сказал — до Октябрьской революции в Казахстане выходило две газеты на казахском языке общим тиражом в полторы тысячи экземпляров. Сейчас тираж двух толстых литературных журналов на казахском языке, издаваемых Союзом писателей Казахстана, приближается к 400 тысячам экземпляров. И это не считая десятков газет, еженедельников и специальных журналов. Не считая продукции национальных книжных издательств, в том числе двух литературных издательств «Жазушы» и «Жалын», ежегодно печатающих книги наших прозаиков и поэтов в количестве 20 млн. экземпляров. Эти цифры более, чем другие, позволяют мне верить в будущее казахского народа, народа, ставшего Читателем. Пусть не сразу, пусть не сейчас же, но он выдвинет из своей среды гениев, достойных внести от имени народа свой вклад в мировую цивилизацию. Я желаю каждому африканскому и азийскому писателю, американскому и европейскому коллеге такого доброго и взыскательного читателя, который появился в нашей стране за несколько десятилетий.

...Читая лучшие произведения афроазиатской литературы, зара-

жаешься ее накалом, ее высоким гражданским настроением. Не называя имен и произведений — их десятки и десятки,— я бы хотел остановиться на одной особенности, показавшейся мне знакомой. Может быть, я слишком придирчив, но, памятуя, что наш симпозиум не только торжественное мероприятие, но и вполне рабочее, я бы хотел среди своих коллег откровенно высказать впечатления от некоторой части прочитанного. Я хочу понять: адаптированная литература — это отражение естественного этапа развития или сознательное производство?

Существующая в большинстве деколонизированных стран диспропорция между уровнями писателя и читателя — реальность, которую несомненно надо учитывать. Пытаясь самостоятельно ответить на поставленные вопросы, я оглядывался и на опыт советской казахской литературы. Некоторые казахские писатели, которые в тридцатые годы стремились сознательно опуститься до уровня малограмотного читателя, в конце концов отстали от бурно развивающегося читателя, не принося заметной пользы национальной культуре.

Говоря языком экономистов — темпы и масштабы потребителя в наш век обгоняют темпы и качество производства. Выпуск дешевой некачественной продукции, в конечном итоге, деморализует экономику, и ей бывает трудно, а порой и невозможно перестроиться на выпуск продукции высшего качества, которую уже требует рынок. Великий Читатель в нашей стране стал причиной кризиса упрощенной литературы. Большая часть наших читателей двуязычна. И казахскому писателю поневоле приходится конкурировать с Толстым и Маяковским, Тагором, со всеми выдающимися литераторами мира, приходящими к нам в русских и казахских переводах. Читателю в библиотеке или книжном магазине безразлично, какой автор — казахский, кенийский или английский — создал эту книгу. Он берет то, что ему интересно. Это и есть современный демократический читатель, для которого без снисхождения творили и творят великие умы человечества.

Какой бы мы представляли поэзию средневекового Ирана, если бы Хайям и Хафиз писали исключительно для малограмотных, которых, надо полагать, в том Иране было значительно больше, чем в нынешнем. Литература — это самая выразительная модель национальной культуры. И создавать ее, пусть из самых благородных побуждений, ориентируясь на нетребовательного читателя, невыгодно для народа. Ибо упрощенная литература неправдива, она отражает упрощенную действительность. Современная интенсификация народного образования позволит очень скоро покончить с неграмотностью и малограмотностью в большинстве стран Азии и Африки. И от того, какая литература ляжет на стол завтрашнего школьника, зависит его духовное развитие. Великая, отягченная мыслями словесность мускулирует сознание, формирует нравственность; облегченная расслабляет, воспитывает потребителя, а не творца. И о другом обстоятельстве мы не должны забывать. Наши общества вышли из вековой изоляции. Адресуясь к своему племени, мы обязаны знать, что за движением нашего пера следит многонациональный читатель мира. Своим произведением ты являешь народу мировую культуру и одновременно демонстрируешь миру духовные возможности своего народа. Мы все хотим узнать мир, узнать Африку и Азию, и потому огромен интерес к афроазиатской литературе. У нас нет времени творить

для внутреннего потребления и на экспорт. У нас нет времени для облегченной литературы.

Мы живем во времена особые.

Еще в начале века Лев Толстой в интервью американскому журналисту очень крупно высветил взаимозависимость графика социальной жизни и литературы. Он говорил: «Великая литература рождается в период освободительных движений, когда пробуждается нравственность. Взять, например, период борьбы за отмену крепостного права в России и борьбу за освобождение негров в Соединенных Штатах. Посмотрите, какие писатели появились тогда в Америке и России». Точность этого наблюдения доказывается примерами из истории многих культур. И стремительный расцвет африканских, азиатских, латиноамериканских литератур в последние десятилетия объясним универсальной формулой Толстого. Азия и Африка сейчас переживают, может быть, самый яркий период своего исторического существования. И эта переполненная социальными страстями, сложная, бурная эпоха нуждается в максимально реалистическом выражении.

В этом зале находятся основоположники новых литератур, деятели Возрождения, призванные возбуждать творческую энергию народов, пробудившихся к человеческой жизни. Не упустить, не растратить, предельно использовать это редкое время, которого ждали, добивались полтысячелетия, успеть создать великие культуры, достойные наших страданий, сомнений и надежд. Успеть внушить людям нравственность, естественность человеческого достоинства, сознание всеобщей взаимозависимости как условия существования на нашей маленькой родине — планете Земля. Чтобы каждый, берясь за перо, уже сейчас имел право сказать вместе с Уитменом:

Людей я несу в себе всюду,
куда ни пойду,
Они наполняют меня
и будут наполнены мною.

1978.

О МУМИНЕ КАНОАТЕ[1]

[1] Предисловие к книге М. Каноата «Стихи», «Художественная литература», 1977 г.

Фарси, дари или таджикский — его как
хочешь назови:
Он для меня — язык искусства,
неумирающей любви,—

написал Мумин Каноат.

Вообще таджики мало говорят о красоте своего языка.

«Роза о себе не поет»— это из набора чайханных мудростей.

Но вот — история.

Арабы покоряли Иран и писали о любви на фарси. Туранцы, захватив города Ирана, вкладывали меч войны в ножны и усмиряли грубую гортань прохладным шербетом дари.

В средние века на Востоке сложилась формула: арабский язык — для ученых, тюркский — для воинов, фарси — для поэтов. Это удивительное разграничение сохранялось долго.

Омар Хайям писал свои знаменитые математические трактаты на арабском, Навои утверждался как персоязычный поэт.

Недавно я читал турецкого автора девятнадцатого века. Отчаявшись понять, позвонил Мумину, и он перевел турецкие стихи почти слово в слово, как с таджикского: поэтический язык турок еще в прошлом веке на две трети состоял из фарси.

Таджики говорят на литературном фарси, называемом дари. Выплавленный в горниле стиха Рудаки, кованный в бейтах[1] Фирдоуси, расцвеченный сапфирами Хафиза и лалами Хайяма — дари, как драгоценный тадж — корона, венчает седую голову иранской культуры.

[1] Бейт — двустишие.

Вечный праздник созвучий, пир, на котором не проливают ни капли, нескончаемый осенний базар, где только розы, виноград и гранат. Горстями и охапками — кто сколько сумеет взять. И возвращать — золотыми динарами, кто сколько сможет отдать.

...Как-то на душанбинском фруктовом торжище наблюдал сцену: два старых таджика в цветастых халатах состязались в мушаире[2]. Их разделяли громадные золотистые груды винограда. Один, в чалме, пел размером рубаи; другой, в кулябской тюбетейке, разливал над головами зачарованного базара волны дастанов[3]. Фантастически красиво чередовались долгие и краткие «о».

[2] Мушаира — поэтическое состязание.

[3] Дастан — поэма.

— О чем они?

— Ругаются,— ответил Мумин.— Тот, что в чалме, занял чужое место.

На чистейшем дари старики поносили друг друга.

Есть легенда: слушали Есенина долгобородые тюрки. Ни слова не поняли, но кивнули дружно: «Большой поэт».

Дарийских поэтов на слух невозможно различить. Стихи Джами и среднего виршеплета прозвучат одинаково возвышенно.

Дари — коварный дар. Трудно поэту быть красноречивым там, где каждый торгаш красноречив. «Несчастлив зодчий в Самарканде, поражающем своей архитектурой»,— эта мысль пришла мне на вечере поэтов в Душанбе.

Любому таджикскому стихотворцу с первых же шагов приходится выдерживать сравнение с классиками золотого века. Народ отбирает строго. Но он и великодушен. Он знает, что из сотни тысяч бейтов Рудаки сохраняется в памяти только тысяча. И кто угадает, когда она сочиняется, эта бесценная тысяча,— в начале творчества или к концу.

999— дорога к единице. У одного вся жизнь уходит на прокладку тропы. Другой пытается сразу воздвигнуть единицу в недоступном, непроходимом месте.

И тот и другой обречены на забвение.

Твори свои сто тысяч бейтов
И лишь один из них — дари.

...Новая таджикская литература выдвинула имена Айни, Лахути, Мирзо Турсун-заде... Народ прислушивается к поэтам следующих поколений.

Критике еще предстоит по-настоящему осмыслить творчество одного из самых активных и интересных поэтов современной Средней Азии — Мумина Каноата. Критики обратят внимание на черты, сближающие его манеру с классической и современной традициями.

Отметив некоторую аскетичность таджикской поэзии XX века, объяснят ее социальными причинами и, может быть, неосознанной реакцией на эллинизм, торжествовавший в поэзии дари на протяжении десяти веков.

Идея и человек — основные герои лирики Мумина Каноата, неразлучные «Лейла и Меджнун» его поэзии.

Критики говорят о тематическом разнообразии, о широкой географической прописке героев, об интернациональном звучании его стихов, об удачных и неудачных переводах.

Так уж сложилось: поэт — посол своей земли. По нему, поэту, мир судит о народе. Но для своего народа поэт представляет человечество, культуру всей земли. И если он заслужит любовь своих читателей, мир, отраженный в его творениях, станет их миром. Такова раскладка.

...Приезжая в дальний горный кишлак, я представляюсь: друг Мумина.

Пожелаю своему другу издать когда-нибудь тысячу бейтов еще более скромной книжкой, чем эта, и пусть на обложке ее не будет ни названия, ни фамилии, а просто — Мумин.

МОЖЕТ, ЭТО ТВОЙ ГОРОД[1]

[1] «Литературная газета», 10 ноября, 1982 г.

Ночь. Сижу за освещенным столом, гляжу в темное окно.

Средневековые хроники полны предчувствий конца света. Нашествие соседей, извержение вулкана, затмение солнца — конец света! Наводнение в долинах Тигра и Евфрата местными мифотворцами было расценено как всемирный потоп, ибо мир в их представлении, естественно, ограничивается районами Месопотамии.

История полна детскими страхами человечества.

Умудренный взрослый взгляд на прошлое свойствен нашему поколению, на глазах которого вчерашние сказки стали реальностью.

Что есть XX век? Время материализации метафор.

Крылатые кони, огнедышащие драконы, ковры-самолеты не волнуют воображение. Но конец света не представляется нам просто стихотворной гиперболой, он не списан в архив поэзии. Мы знаем, что в любой день это понятие может превратиться в огненную действительность.

Лук и стрела так долго сопровождали человечество, что уже в Элладе и Древнем Риме стали поэтическими образами.

Появились соха, мотыга, плуг —
Лук им не смог помешать.
Народились орудия скотоводов
лассо, укрюк —
Лук им не смог помешать.

Какую скорость набрала война! Сейчас не осталось на вооружении ничего, что было использовано во второй мировой. До чего огрубели мы, если даже войны Чингисхана сегодня нам кажутся невинными забавами младенствующего человечества!

Грубая поэзия реальности все чаще воплощается в цифры. Ни одно поэтическое сравнение не может по силе воздействия уподобиться этому: со времени изобретения пороха взорвано 10—15 миллионов тонн тринитротолуола, одна, только одна современная ядерная бомба содержит заряд мощностью в миллионы тонн. Все выстрелы, взрывы, пожары минувших войн, все беды прошлого мира — в одной небольшой элегантной упаковке, которая уже имеет конкретный адрес. Может быть, это мой город. Может быть, твой.

Научно-техническая и социальная революция придала истории резкое ускорение. Техника развивалась быстрее нравственности, сознание не поспевало за вещью. Приспособлены ли наши дороги к таким скоростям? Сумеет ли человечество затормозить, если на проезжую часть исторического пути выйдет ребенок?

Он уже на обочине, уже шагнул на полотно! Веселое, перепачканное цветочной пыльцой дитя человеческое, мягкое, теплое средоточие надежд и мечтаний, сгусток радости, любви и доверчивости. Тормоза! Есть же у этой машины тормоза!

Тот, кто вытачивает боеголовку, кто стоит у пусковой установки, кто ораторствует на трибуне — все они должны думать о нем. Родовой клич — во имя счастья наших детей!— когда-то оправдывал истребление чужого рода. Когда человечество делилось резко —«мы» и «не мы».

Удивительно, что эта первобытная альтернативность внедряется в сознание и сегодня, когда ни одно племя, регион, государство, континент не могут, не должны рассматривать свою судьбу вне планетарного контекста.

Ребенок на дороге — и мой, и твой. И эта ситуация разоблачает обаяние романтического призыва вперед! Там, за ребенком, для меня нет никакой цели. Только вместе с ним.

БУДУЩЕЕ НУЖДАЕТСЯ В НАС[1]

[1] Выступление на Софийской встрече писателей мира, октябрь 1984. «Советская культура», 8 ноября 1984 г.

Три дня звучат в этом зале слова о мире.

Мы призываем друг друга — объединить перья в борьбе за мир. Это метафора, но мы живем во время овеществления метафор.

Нас, как любезно сообщил рабочий председатель Любомир Левчев, собралось всего 160 человек. Тема мира волнует всех писателей мира. Но все не поместятся в этом зале.

Я знаю, что материалы нашей встречи будут опубликованы в журналах, возможно, выйдут отдельными изданиями. Но эти издания неполно выразят голос писательского мира.

Почему бы не собрать такую книгу, где бы самые видные писатели планеты сказали сжато, на одной странице, свое слово о вечном мире, о факторах, мешающих решению этой задачи. Пусть в ней участвуют тысяча писателей, пусть 1001, но это будет наш общий роман «Война и мир», вернее, «Мир против войны». Он станет документом, удостоверением личности современного литератора. Он может быть издан факсимильно, билингвой, без редактуры, на разных языках. Издатели здесь присутствуют. Могли бы найти удобную форму. Пусть он будет в каждой библиотеке, пусть ляжет на столы президентов.

По этой книге современники и потомки поймут, что нас собирают на такие встречи не отчаяние, но тревога, не безвыходность, но забота. Каждый из нас втайне уверен или по крайней мере верит, что конец света не наступит. И мы в своих разговорах ищем обоснования своим верам и уверенности, пытаясь внушить их читателю. И может быть, потомки в XXI веке соберутся и в этом зале под лозунгом «Мир — сбывшаяся надежда планеты» и будут благодарно цитировать эту книгу.

Софийские встречи были обозначены как продолжение традиции, заложенной предвоенными встречами писателей Европы.

Но тогда предвиделась европейская война, ныне — мировая. И национальный состав участников расширился. Сегодня в антивоенное движение вовлечены и писатели Азии, Африки, Латинской Америки. «С кем вы, мастера культуры?»— вопрос, заданный Горьким, актуален и в наши дни. Слово в наши дни значит для судьбы мира больше, чем во времена Горького. Слово писателя, слово международного договора. Мы надеемся, что это так!

Несмотря на протесты европейской интеллигенции, жаркие писательские конгрессы, бурные манифестации под антивоенными лозунгами, война состоялась и унесла 500 миллионов жизней. И сегодня вроде бы повторяется та предвоенная картина, но разница есть, и существенная: в нашем случае мы уже имеем дело с разным **подсознательным отношением к идее войны.**

Пьер Гаммара в своей речи предложил учитывать антивоенный опыт классиков. Его поддержали и другие ораторы. И я позволю себе процитировать одного философа: «Истребительная война, в которой могут быть уничтожены обе стороны, привела бы к вечному миру лишь на гигантском кладбище человечества». Иммануил Кант, 1795 г.

Это выражение, несомненно, было известно и в гитлеровской Германии, но оно воспринималось еще как философская гипербола. Мир тогда еще не созрел для ее буквального понимания. Сегодня, во время предельно увеличенных возможностей войны, Кантовская схема уже не кажется преувеличением. В войне 40-х годов агрессор мог надеяться на победу. Да, возможны потери и лишения, но будет и добыча, ради которой стоит рисковать. Охотничья психология воспитывала романтический взгляд на войну как на подвиг самопожертвования ради высоких идеалов, как на дело мужества и отваги. Категория гитлеровской агрессии ничем существенным не отличалась от категории войны Чингисхана, Македонского или Ахеменидов.

Литература всех времен и народов способствовала романтизации войны. Естественность войн и даже их необходимость нередко научно обосновывались. Но представим, что у Гитлера в 30-х годах появилась бы атомная бомба. И такое же оружие имелось бы у возможных противников. Случилась бы вторая мировая война? Думается, нет.

В наше время романтичность все более уступает позиции реалистическому взгляду. Ужесточающееся знание разоблачает поэтические стереотипы мирового сознания. Человек приобрел предельное могущество и вдруг начинает ощущать собственную беззащитность перед своими возможностями. Мы воспитывались на убеждении, что народ — бессмертен. Сегодня мы сомневаемся в бессмертии самой природы.

Это сомнение, став убеждением, может спасти человечество и каждый народ. Индира Ганди в своем приветствии назвала войны болезнями цивилизации. Но третья мировая война — болезнь неизлечимая. Мы обязаны утверждать это. Утверждать то, что в этой войне победителей не будет. И лозунги агрессоров 40-х годов ныне теряют всякий смысл. Не будет новых рабочих мест! Не будет захваченных территорий и богатой добычи! Никому не будет дано испытать сладкое чувство господства!

Чинов и наград — не будет!
Героев во славе — не будет!
Поэтов, чтобы воспели подвиги павших,— не будет!

Сияющая цепь войны уменьшается в сознании обывателя до размеров черной дыры. Объективное знание убивает цель, а вместе с нею — идею агрессии.

Мы все постепенно приходим к общей мысли — нет и не может быть патриотической, космополитической, религиозной, расовой или любой другой идеи, во имя которой стоило бы жертвовать человечеством. Сегодняшняя ситуация расширяет содержание старинных понятий, которые, казалось бы, не подлежат пересмотру.

Патриотизм — это любовь к родине. Но ныне судьбы каждой страны неразрывно, на жизнь и на смерть, связаны с судьбой нашей общей родины — планеты Земля. Может быть, прав Любомир Левчев, когда говорит, что в странах так называемого третьего мира есть политические силы, ожидающие ядерного столкновения великих держав в надежде, что они сокрушат друг друга, и тогда взойдет солнце для третьего мира. Но в Африке говорят, когда охотник на львов поджигает саванну, то злорадствующие враги львов сгорают вместе с ними. Если тех стран и не коснется пожар, то они погибнут в ядерной зиме, о которой говорил Вознесенский. Творческая интеллигенция стран Азии, Африки, Латинской Америки это понимает. Я около двадцати лет участвую в работе ассоциации афроазиатских писателей и могу заявить, что нет ни одного крупного литератора на этих континентах, кто бы поддерживал невежественную позицию тех политиков, о которых говорил Левчев. Сегодня в культуре нет ни первого, ни второго, ни третьего мира. Должен быть объединенный мир, в котором истинным патриотом своей страны и народа может быть только истинный интернационалист, кто дорожит достоинством единственной из планет, одаренной жизнью.

В конце войны, сказал Джеймс Олдридж, решали судьбу победы только две страны — СССР и США. И теперь, через 40 лет, нам очевидно, что от этих двух сил зависит судьба человечества. В сегодняшней ситуации спор, кто сильнее,— бесчеловечен. В этом споре теряется чувство ответственности перед 5 миллиардами, которые хотят просто жить. Сегодня, когда поставлена на карту судьба нации по имени Гомо сапиенс,— разум должен помочь нам, наш общий разум, противопоставленный хитростям невежественных политиков, которые видят свою миссию в подыскании фальшивых предлогов, чтобы государственно оскорбиться и развязать войну. Сергей Михалков в своей речи очень четко и системно показал, кому выгодна гонка вооружений. Кто первый изобрел атомную, водородную, нейтронную бомбы. Важно, чтобы сегодня все, что касается истории послевоенных взаимоотношений СССР и США, знали все.

Недавно я прочел в газете «Вашингтон пост» ответы тов. Черненко. Они еще раз демонстрируют веру советских людей в позитивный диалог.

Если последние заявления Рейгана в ООН о его любви к миру не просто предвыборный трюк, то все народы ждут от правительства этой великой страны шагов навстречу мирным предложениям СССР. И мы надеемся, что они последуют. Основания для такой надежды есть. Прежде всего изменилось общественное мнение в самих США. Этот народ 120 лет не знал войны на своей территории. Все это время Америка превосходила всех в романтизации войны. Ее гениальные ученые много сделали, чтобы довести возможности войны до предела.

Войны до американского обывателя доносились как отдаленные раскаты грома. Огненные тайфуны проходили где-то далеко, в географической абстракции. Не все американцы воспринимали войну так остро и конкретно, как наш почетный председатель мэтр Колдуэлл. Среднее человеческое сознание, к сожалению, эгоистично. Смерть домашней собаки переживается подчас острее, чем гибель миллионов незнакомых людей на других континентах. На этой психологической базе может вечно процветать идея войны. Мы должны признать, что у советского и американского народов сложились разные отношения к войне. Мы привычно сравниваем уровни развития экономики, сколько продуктов и вещей производится на душу населения. Но поэты могут сравнить, сколько страданий, крови, слез пришлось на душу населения наших стран в XX веке.

Вторая мировая война обогащала Америку и разоряла Советский Союз. Каждый советский народ внес свою печальную лепту в бесконечный список жертв и героев. На Казахстан не упала ни одна фашистская бомба. Они не дошли до Урала. Но численно небольшой казахский народ потерял на фронтах Отечественной войны больше, чем Англия и Америка, вместе взятые, в Европе. Степень перенесенных страданий определяет развитость чувства сострадания нашего народа.

В следующем году мы будем отмечать 40-летие победы Интернационализма над нацизмом.

Будет еще один своеобразный юбилей. 40-летие атомной эры, рождение бомбы и первой атомной бомбардировки. Интересно, будет ли по этому случаю праздник в Америке? Наверное, нет.

Сейчас в США происходит активная перестройка сознания. Американцы уже знают, что третья мировая война, если случится, пройдет смерчем и по их стране. Теперь для американца война не какая-то отвлеченная перспектива нестрашной гибели миллионов чужих, незнакомых людей, а смерть его самого, его детей и родственников.

Эта принципиально новая реальность должна вселить трезвость в нацию. Поэтическое название крылатых ракет «Томагавк» звучит уже не так браво. Америка, мы надеемся, начинает понимать, что все ядерные ракеты теперь правильней было бы назвать «Бумеранг», именем орудия, способного возвращаться и поражать охотника. Недавний опрос в США вселяет надежду. Он показал, что 96% опрошенных — против ядерной войны с Советским Союзом, как бы она ни была мотивирована.

Такое мнение народа — прекрасная база для договоров о неприменении силы в решении международных разногласий. Чего стоят

амбиции Президента в сравнении с миром и спокойствием, которые могут обрести и американский народ, и все человечество.

В эти сорок лет атомной эры в мире происходили удивительные процессы социального освобождения и распада.

Расщепление необходимо, учит мифология, но до определенных пределов.

Адам — первый атом человечества — был расщеплен богом. Из его ребра образовалась Ева. И на этом процесс легендарного распада завершился. Дальше было сплошное соединение, бесконечные контакты, простое взаимодействие, что и обусловило демографический взрыв.

Легенда об Адаме и Еве в современном прочтении еще одно доказательство мысли, что человечество есть результат взаимодействия, сотрудничества и любви.

Первый атомный взрыв был уже сигналом грядущего глобального распада человечности.

Это предупреждение нам, что последний ядерный взрыв произойдет как окончательный результат нравственного распада великого рода Адама. Писатели — голос разума своих народов, должны объединяться первыми, чтобы выступить как могучая сила антираспада. Разоблачая лживые лозунги, разрушая перегородки племенных, национальных и региональных сознаний, созидая планетарное сознание землян. Осмыслить путь наших народов в человечество от **веков социального и национального угнетения через период независимости к бесконечной эпохе осознанной взаимозависимости.**

Мы ходим по улицам Софии, вспоминаем наши города. И видим, мир не готов и никогда не будет готов к такой войне.

Мы не строим противоатомных крепостей, мы живем в легких, светлых, беззащитных городах и селах, встречаемся с друзьями, радуемся детям, и в этом выражается наша вера в жизнь.

Настоящее, чтобы полноценно осуществиться, нуждается в будущем. А будущее, чтобы состояться, нуждается в нас. В активных гражданах мира конца XX века.

1984

БЕРЕЗОВАЯ СТЕПЬ

Поколесив по мягким просторам Аркалыкского района, мы с ходу форсируем речку Каинды и теперь неспешно катим по ее высокому правому берегу в сторону совхоза «Каиндинский».

Зеленое зеркало воды нет-нет да и блеснет в прорывах живого туннеля, образованного густыми ивами.

Каинды — по-казахски Березовая. Логичнее было бы назвать реку Ивовой. Ни одной березки ни здесь, ни в округе я не увидел. Когда-то, видимо, росли, но прошло время, их заменили ивы, а название осталось. И течет Березовая река под ивами, как грустное воспоминание.

Противоречивые ассоциации вызывает звукосочетание — каин. Казахи называли этим словом и невесту, и нежное, белоснежное деревце. Теперь не избавиться и от третьего смысла, воспитанного христи-

анской поэтикой. Каинова печать лежит на сутулых зеленых древах. Ива, где твоя сестра Каин? История, оставшаяся в звуке, изменила какие-то соотношения в степи, придала глубину и объемность этой серебристой бесконечной плоскости. Мягкими волнами освежает лицо настоянный на полынке и типчаке ветер, но теперь в этом букете явственно ощущается слабый аромат березы.

...Странная юрта — куб, обтянутый коричневым войлоком. Рядом — пустой загон, вытоптанный до черноты овечьими копытами. Как кусок густой тени, под юртой лежит большая черная собака. Не поднимая головы, приоткрыла глаз и даже хвостом не шевельнула.

Из темного проема двери высовывается белокурая головка. Смуглота лица подчеркнута белизной волос.

— Как тебя звать?

— Светлана,— растягивая гласные, отвечает прелестная пастушка и, не зная, как вести себя дальше, тычет пальцем влево,— а это Черныш. Он ночью работает.

Пес, услышав свое имя, еще крепче зажмуривается и, смешно перебирая лапами, переползает на боку за тенью. Подскакали двое — вероятно, отец и сын. В открытой степи, где солнце нещадно, в кожу как бы впитывается тень. Наверное, она спасает, человек носит свою тень на себе. Чабанов нельзя назвать загорелыми, их лица смуглы от природы. Обмениваемся приветствиями. Старший жмет руку.

— Шестовец Иван Максимович.

Павлик взбалтывает кумыс. Узнаем за чашкой биографию Ивана Максимовича: белорус, воевал на Украинском и Прибалтийском фронтах. В 1959-м приехал в эти места, и с тех пор чабанит. Пятеро детей. Заработок хороший — до трехсот рублей. Старший учится в Алма-Ате.

Признав во мне газетчика, Шестовец неожиданно затрагивает тему, которая стала для меня основной в этой поездке. Нет кошм для летних переносных жилищ юрт, нет кереге — остова юрты. Приходится сооружать вот такие, самодельные. Юрты из синтетики не привились, они не выдерживают и одной кочевки. А чабанов много, и каждой семье необходимо походное жилище.

— А так неплохо. Только вот скучновато, конечно. Степь да степь кругом. Ни суббот, ни воскресений отара не признает. Чабанская наша доля. Кто-то ведь должен и поскучать за всех.

Он смеется.

— В отпуск на родину ездил. Рассказывал, земляк один позавидовал — вот, говорит, работа. Овцы сами пасутся, а ты лежи и загорай...

Теперь смеются и Светлана, и Павлик. Они знают, что это такое — выпасти отару в тысячу голов в сорокаградусную жару и в сорокаградусные буранные морозы.

— Так вы там не забудьте, напишите насчет войлока!— напутствует Иван Максимович.

...Оглядываюсь. Далеко позади стоит в чистом поле маленькая одинокая юрта — коричневый кубик. Сонный Черныш, наверное, сделал еще одну перебежку за тенью. Льет из ковша воду на широкие лопатки отца тоненькая веселая девочка с березовым именем Светлана.

Разговор, начатый Шестовцом, получил неожиданное продолжение. Центральная усадьба совхоза «Каиндинский», кирпичные и глинобитные дома. Редкие палисадники с карагачом и осокорем. Много таких поселений я повидал. От них даже летом веет безжизненностью.

— Почему бы вам не переименовать аул?— спросил я Раиса Каражигитова, молодого нового директора совхоза.—«Березовый совхоз» не подходит. Правильнее было бы «Безлесый».

У дома с маленьким, но хорошо ухоженным палисадником я попросил остановиться. Захотелось увидеть хозяина, вспоившего из колодца целую рощицу.

Белолицая старушка в зеленом камзоле и кимешеке встретила нас у порога и ввела в прохладную просторную комнату. Добрую половину помещения занял самодельный ткацкий станок, из которого туго выливался новый ковер. Стены были увешаны яркими паласами такыр-клем. Пол застелен белым войлочным ковром с черными узорами. Ханыкен Икиласкызы оказалась ковровщицей, известной в крае. Я рассматривал эту домашнюю выставку. Фактура ткани и орнаменты мне были знакомы. Такие ковры ткут в Болгарии, в районах с турецким населением... Их килимы-паласы экспортируются по всей Европе, много покупает и наша страна. Они красочные, легки и дешевы. И, поверьте, изделия старушки Ханыкен не уступали, а некоторые превосходили виденные мной знаменитые болгарские килимы. На глубоком красном фоне — бело-зеленый геометрический рисунок.

Как выяснилось, Ханыкен не одинока. В совхозе каждая семья изготовляет себе ковры. И так во многих аулах Тургайской области. Я спросил, делают ли ковры на продажу. Нет, у Ханыкен есть свои четыре овцы. Их шерстью она и обходится. Один ковер в год. Приданое дочерям и внучкам. На изготовление единственного ковра уходит дней 15—20. А остальное время она ждет, пока на овцах отрастет шерсть.

Я представил, что было бы, если бы писателю отпускали один лист в год. Много ли написал бы он за свою жизнь?

Потом в Алма-Ате я интересовался коврами. Оказалось, что в республике нет ни одной фабрики, ни одной артели по производству казахских ковровых изделий — войлочных и тканых. Алма-Атинская ковроткацкая фабрика специализируется на выпуске персидских и туркменских ворсовых ковров. Они тяжеловесны и труднодоступны по цене. Кроме того, туркменские и азербайджанские ковровщики делают их значительно качественней.

В Москве несколько лет назад была организована выставка азербайджанских ковров. В статье «Известий» об этой выставке высоко оценивались «казахские ковры». Признаюсь: сердце патриота ёкнуло. Оказывается, есть казахские ковры, и они признаны. Лишь дочитав до конца, я понял, что речь шла о коврах, созданных народными умельцами в районе города Казах, находящегося в Азербайджанской ССР.

Есть в Дагестане знаменитый аул Кубачи. Это аул-фабрика. Кубачинцы от велика до мала — чеканщики по серебру, золоту и меди. Изделия их продаются по всей стране. Они участвуют в международных выставках. В прошлом году работы кубачинских мастеров были удостоены Государственной премии СССР.

В Дагестане есть аул гончаров Хунзах, аул бурочников Хиндах... Специализировались они уже в наше время, некоторые после войны. Успехи их во многом объясняются шефством Министерства местной промышленности, Союза художников и Министерства культуры

РСФСР. Учли, что зимой большая часть населения дагестанских аулов не занята в поле, и «переключили» их на традиционные ремесла, которые благодаря этому получили развитие. Если посмотреть шире на термин «сельское хозяйство», то он может включить в себя больше смысла. Это прежде всего — производство зерна, мяса, молока, шерсти. Но есть и другой продукт сельского хозяйства, пожалуй, не менее важный — предметы народной культуры. Этот продукт производится постоянно и повсюду в республике, но, к сожалению, пока стихийно, исподволь, разрозненно. Культура идет не только из города в село, но и из села в город. Село не только поставщик сырья для пищевой и легкой промышленности, но и хранитель народной вековой культуры. Культурное взаимодействие города и деревни является одним из аспектов решения проблемы «ножниц». Там, где пассивна культура села, космополитичен и безлик город.

Поощрить народное творчество во всех его проявлениях — дело не только отдельных энтузиастов. Важно это и потому, что искусство, неоцененное, неподдержанное, грозит угаснуть. Уходят мастера, не оставляя после себя учеников. Так мы утратили секрет производства казахской замши. Уходят последние гончары, чеканщики по металлу, мастера тиснения по коже, резьбы по камню, кости и дереву.

На грани исчезновения редкое ремесло народных ювелиров, идущее из глубины веков. О том, что оно существовало в Казахстане, я узнал случайно. В шестидесятом году гостил у своего товарища в Тбилиси. Однажды, уже перед отъездом, мы зашли к его тетушке. Пили чай, мое внимание привлек необычайный перстень на ее руке. Она сняла, я рассмотрел его подробней. Неизвестный художник изваял из серебра юрту, скрупулезно прорисовал чернью почти все внешние детали: и тундук, и резную дверь, и даже кусок решетчатого остова — кереге. Я не удержался, спросил — откуда у нее это чудо. Она молча сходила в соседнюю комнату и вынесла большую серебряную шкатулку, наполненную серебряными украшениями — массивные шолпы для кос, ажурные подвески, всевозможные серьги, перстни, браслеты, фибулы, застежки, поясные пряжки, черненые, гладкие, с камнями и без. Тетушка рассказала любопытную историю. В войну она служила врачом в санитарном поезде. Он проходил по территории Казахстана, и на полустанках тетушка выменивала свой паек на серебро, которое выносили к поездам аульные женщины. За один рейс она собрала все это богатство. За буханку хлеба ей досталась и сама шкатулка.

Можно по-разному оценить подобный метод коллекционирования, но важен и другой вывод, который я вынес для себя,— сколько подобных коллекционеров прошло по Казахстану в тяжелейшие годы! И другое — я узнал, что у нас была развита культура художественного серебра... Об этом мне не рассказали ни книги по прикладному искусству, ни кинофильмы. В ювелирных магазинах Алма-Аты вы не встретите ни одной поделки народных мастеров. Даже Центральный музей Казахстана не имел (и не имеет) серебряной экспозиции.

С тех пор я часто бывал в аулах. И когда мне удавалось — покупал редкие экспонаты. Я горжусь, что Кыз-Жибек снималась в моем седле, инкрустированном серебром, позванивала моей обложной уздечкой с самоцветами, но очень жаль, что другого такого седла

и сбруи экспедиции «Казахфильма», разосланные во все концы республики, уже не смогли найти.

В совхозе «Каиндинский» ювелиров значительно меньше, чем ковровщиц. Их называют уважительно «уста»— мастер. Они, как правило, уже в годах. Учеников у них нет — уходящая профессия.

Я встретился с двумя мастерами-зергерами. Мурзабек-уста (60 лет) и Сейд-Ахмет-уста (75 лет) изготовляют браслеты для девочек (кыз-билезик), для молодух (келинчек-билезик), для пожилых женщин (кудаша-билезик), для мужчин перстни с печаткой (мёржузик) и многое другое. Заказы выполняются из материала заказчика. А где взять серебро? Заказчики покупают в городе серебряные ложки, зергеры их переплавляют. Но на ложки идет некачественное, сплавное серебро, оно хуже поддается художественной обработке, и поэтому изделия из него отличаются от старинных.

В республике нет ювелирной фабрики, и по заказу Алма-Аты ереванская фабрика изготовила партию серебряных браслетов с казахским орнаментом (цена 18 рублей). Сделан он, как говорится, без излишеств — простой полуобруч с еле заметным рисунком. Но качество металла лучше, чем у ложечного. Покупки эти приносятся к аульным ювелирам на переплавку.

Казалось бы, для чего такая сложность! Не проще ли организовать народных мастеров в цехи по месту жительства и в плановом порядке снабжать их заказами и металлом из фондов Министерства местной промышленности? Такие цехи не требуют особых затрат по организации труда. Мастера хотят лишь поверить в то, что их труд заслуживает внимания. К секретарю Тургайского обкома партии У. Джанибекову пришел один из умельцев, положил на стол тяжелый узелок. Старик прослышал, что в Аркалыке создается областной краеведческий музей и привез издалека свои произведения — безвозмездный дар музею. «Мне ничего уже не надо, сынок, только пусть на бумаге напишут, что эти вещи сделал Садвакас-уста Кучентаев, 1900 года рождения, аул Сары-Торгай».

Я видел эту грустную коллекцию. В ней наряду с подлинными шедеврами были и «ложечные» перстни и шолпы...

В Министерстве местной промышленности Казахской ССР разводят руками: «Союзное министерство отпускает нам всего четыре килограмма серебра в год: только для фабрик и сувениров». Объективная причина, ничего не скажешь! Но субъективная и, пожалуй, основная причина упадка народного ремесла — равнодушие работников, ответственных за развитие этой отрасли. Любое дело требует энтузиастов, и особенно такое, как возрождение народного искусства. Энтузиасты есть — районного и областного масштаба, но их возможности ограничены. Их идеи застревают в груде министерской корреспонденции. По Тургайской области носится на перекладных Идрис Смагулов, работник областного управления местной промышленности. Его блокноты заполнены именами и адресами нововыявленных мастеров: ковровщиц, ювелиров, кожевников, гончаров, кошмачей, чеканщиков, кружевниц... Летит Идрис в свое ведомство. С помощью обкома добивается принципиального разрешения открыть в совхозе «Сары-Торгай» ковроткацкий цех. Даже получает бумажку, из которой явствует, что цеху будет отпущено 15 тонн полушерсти. Мастера готовы, они ждут обещанных материалов уже несколько месяцев. И радость победы постепенно угасает. На одном энтузиазме долго не выдержишь.

А несколько таких цехов могли бы снабжать красивыми, недорогими коврами весь Казахстан.

В витринах алма-атинских магазинов появились бархатные халаты. Они устарели уже в XIX веке. Они не находят применения ни в городах, ни в аулах. Бархат не ноский материал, не демократичный. Он годится разве что для камзолов пожилым женщинам. И потом, он дорог. Халат из него стоит дороже тургайского паласа. Наладить производство чапанов, не имеющих никакого спроса,— это формальная отписка.

Недавно вышел из печати альбом «Казахские сувениры». Роскошно изданный, но крайне убогий по содержанию. За неимением шедевров современного прикладного искусства авторы заполнили дорогостоящие страницы альбома пейзажами Алма-Аты, портретами красавиц из «Гульдера», репродукциями нескольких старинных украшений, которые не могут служить сувенирами, ибо они под инвентарными номерами «прописаны» в музее. Главную же идею несли на себе изображения продукции фабрики сувениров — алюминиевые поделки и деревянные раскрашенные куколки.

Но я верю, и у нас появятся аулы мастеров, известные на весь мир, как Кубачи. Они прибавят художественной славы нашей родной республике, знаменитой своими свершениями в промышленности и сельском хозяйстве.

Вечерело. Мы собрались уезжать. Добрая Ханыке, польщенная нашим вниманием, сняла со стены красивый такыр-клем. Мы водворили его на место. Прощаясь, я поцеловал ее руку, маленькую твердую руку мастера. Когда-нибудь куплю ковер с ее меткой в магазине Кокчетава, Алма-Аты, а может, и Киева. Этот день и растревожил, и вселил радость.

Снова мягкое стремительное движение. Сквозь ковыльно-полынные поля, подчерненные волнистыми тенями. Молчали жаворонки, в наступающей тишине отчетливо слышались признания соловья из невидимой лощины. Шофер Актан вытягивал шею, словно пытаясь разглядеть в сгущающихся сумерках серого степного певца. Дорога упирается в красную пустоту, мы переваливаем через невысокий холм и несемся дальше на запад.

Давно умолк позади соловей, и уже солируют черновырезанные в закат зубчатые стены и купола мавзолея Костам. Красное небо, как громадный ковер бабушки Ханыкен, висит перед нами. Степь проста и примитивна с первого взгляда, со второго она уже красива и недоступна.

С третьего взгляда — и уже навсегда — степь лишается шумных и высоких эпитетов. Она уже попросту твоя родина, ждущая не восхищения, а сыновней любви, заботы на всю жизнь.

Я запомню слова Раиса Каражигитова: «Зачем переименовывать совхоз? Пусть остается «Березовым». Приезжайте через несколько лет — увидите. Каждый аул мы превратим в березовый сад...»

Пусть сбудутся эти слова.

1978

Вот уже сотни лет живет и действует в политике и культуре «Слово о полку Игореве». Тому, кто знаком хотя бы с частью написанного о нем в разные периоды, приходилось, наверное, наблюдать любопытное явление: литературный памятник изменяется во времени. Движение поэмы по шкале читательского мировоззрения увеличивает и число ракурсов ее прочтения. «Слово» все более раскрывается: в нем проступает, становится зримей то, что, скажем, в прошлом веке еще не могло проявиться. Сверкнет новой гранью этот удивительный памятник культуры, увидится новая деталь поэтического механизма.

«Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо...» Сотни раз ты прочитывал эту фразу, и всякий раз останавливала она внимание своей какой-то загадочной гармоничностью. И вдруг ты понял, чем объяснить уникальность употребления древнерусской полногласной формы эпитета. Семь раз в поэме встречается привычный книжный славянизм «храбрый», и лишь однажды народная лексема —«хороброе».

...В неровном, тревожном сне забылись дружины Игоря и Всеволода. Утром битва, печальный исход которой автору известен. Лексическая картина усиливается нагнетанием гласного «о»— самого минорного звука русской речи. «О»— одна из тех редких фонем, которая «наработала» в языке самостоятельную семантику. Часто встречаясь под ударением в словах, выражающих предельные, подчас полярные состояния или явления, этот звук приобретает в подсознании говорящего особое, характерное значение. Почему так родственны «уродство» и «гордость», «гром» и «звон», «совесть» и «горе»? Почему «огонь» в речи не враждует с «холодом» и «морозом»?

Все предельное — огромно, много, очень долго — нарушает привычное течение жизни, вызывает беспокойство и тревогу. Самые противоестественные понятия озвучиваются этим замкнутым гласным — «бой», «мор», «кровь», «боль», «погост», «покой»...

Колокольный, угрюмый звук, настаиваясь в словах, обозначавших огромное, непостижимое, откладывается в подсознании говорящего как альтернатива жаркому «а»!

Тревога и робость — ох!, а радость отваги — ах! Или, как у Марины Цветаевой: «Ох — когда трудно, и ах — когда чудно».

Круговая оборона и яростная атака — вот образное различие характеров этих гласных в поэтической речи: «Страны ради, гради весели». Эти яркие строки «Слова» предвещают современное: «Яростные, русские, красные рубахи» (А. Вознесенский).

...В русском языковом спектре звук «о», несомненно, отличался холодным тоном. И поэт средневековья услышал это и использовал свое открытие. Во имя целостности создаваемой картины — лексически и вокально — он нарушает орфографическую норму, вовлекая народное речение в книжную лексику. Четырежды акцентированный «о» в поэтической фразе придает картине объемность и печальный, замедленный ритм, замыкает кольцевую композицию эпизода, начатого со слов: «Долго ночь меркнет...»

Исход битвы уже предсказан плачем «о». Такое сознательное использование музыкального подтекста крайне редко встречается в средневековой поэзии. Да и в современной нечасто. Наши аллитерации и ассонансы не выходят за пределы звукоподражания.

Десять лет назад вышла моя книга «Аз и Я», часть которой посвящена истории прочтения «Слова» учеными-специалистами. Эта работа навлекла на себя острую и порой справедливую критику. Некоторые обратили, в частности, внимание на то, что исследователь-поэт упустил из виду оригинальную поэтику памятника. Действительно, я не включал эту тему ни в одну из своих статей, а именно своеобразие поэтическое служит сильным аргументом, доказывая подлинность «Слова о полку Игореве». На встречах с читателями, рассказывая о литературном мастерстве поэта средневековья, я подчеркивал мысль, что перевод в современную языковую норму разрушает иногда поэтическую картину. Памятнику наносится невосполнимый ущерб. Во всех сегодняшних переводах мы читаем: «Дремлет в поле Олегово храброе гнездо». Из четырех ударных «о» осталось всего два, да и они оказались разрозненными. Разрушена звуковая метафора, поэтическая фраза превратилась в прозу. Если бы автору «Слова о полку Игореве» был неважен тонический подтекст, он мог бы и сам в восьмой раз написать «храброе», не дожидаясь, пока его поправят.

Думается, отдельные места «Слова» целесообразно сохранять нетронутыми в академических и стихотворных переводах. Ведь в эти строки, быть может, заформован элемент великой поэтической системы, которая должна быть обязательно учтена при построении современных и будущих моделей мировых литературных культур.

...И до сих пор продолжают спорить о личности неизвестного автора «Слова». Те, кто сомневался в подлинности памятника, искали исполнителя подделки в кругу лиц, занимавшихся литературой и историей в XVIII веке, назывались даже конкретные имена. Но, как в свое время заметил А. С. Пушкин, в России XVIII века не было литератора, обладавшего столь сильным талантом, который обнаруживается в строках «Слова». А рассмотренный мною пример служит лишь еще одним подтверждением правоты пушкинского заявления — не только в российской словесности, но и во всей европейской литературе XVIII века такое осознанное использование тонического подтекста было еще или уже невозможно. Во всяком случае, примеров подобного совершенства поэтического выражения мы не встречали в письменностях этого периода.

1985

Помню: бросился на Хан-Тенгри.

Начал покорять вершины одну за другой. Карабкался, хватаясь за камни, за тянь-шаньские ели, камни летели вниз днями, сутками, а проклятый розовый пик не приближался. Упорство, которого я раньше в себе не замечал, подталкивало меня, заставляя лететь все выше и выше к тому толстому корню, протянутому сверху, из глины, как рука друга. И ухватился я за него, и упорство меня не поддержало, когда гнилой корень оборвался.

Нашел лесник Аргун, решил, что меня ужалила большая черная змея. Аргун вступил с ней в единоборство и, бросив клич албанов, схватил дракона «голой рукой за горло».

Везти меня в сторожку было далеко и бесполезно. Я, на счастье, грохнулся не в такой уж провинции. Рядом с чабанской клиникой.

Чабаны возвращались в низины на зимние пастбища, и вместе с последними отбывал до следующего лета аульный врач Кэр, выходец из интеллигентной семьи, с дипломом ушедший из столицы на самые дальние участки отгона. Ему пришлось задержаться с нетранспортабельным туристом в саманном пансионате на всю зиму.

Единственную тропу, связывающую коксайскую лекарню с «Большой землей», занесло, и только лесник Аргун, взявший на себя труд не дать нам умереть от голода, отваживался раз в две недели прорываться на своем полуслепом Скалолазе в аул по обледенелой тропе над пропастью. Через трое суток возвращался он твердый, как морена, и бешено пил кирпичный чай, чтобы оттаять. Поболтав пару часов, он влезал на своего мерина и гнал его дальше в горы, еще двадцать верст сквозь еловые чащи, к своей берлоге, где дожидалась его старуха Разия-апай, красная корова Слу, хитрый пес Азербай и курятник, откуда давно следовало бы выгнать проклятого хорька.

...Теперь уже вся комната наполнена золотистым светом, отраженным от граней Хан-Тенгри. И грубые саманные стены при этом свете уютны. Кто-то сказал: свет обличает. Врет. Солнце оправдывает.

Кэр, заспанный, в мятых трусах, с эмалированным ведерным горшком в обеих руках, романтичен в потоке солнца. Он выходит из дыры и смотрит на бревно в потолке.

— Как жесть, пациент?— несипло спрашивает он.

— Железно,— привычно отвечаю я.

Он обходит мой топчан, благополучно минует балку и плечом открывает дверь в большой мир. На этом утренний обход кончается. И начинается жизнь.

Слышу его шаги на подмороженной земле. Вот он подходит к обрыву и вытряхивает горшок с сорокаметровой высоты. Ставит звонко на землю, и вниз летят тяжелые камни, которыми усеяно наше маленькое плато. Зимой он упражнялся с накатанными снеговыми ядрами. Падающих камней не слышно, лишь вкусное кряхтение и увлекательные выдохи. Минут десять он яростно высмаркивает застоявшийся в легких воздух. И я чувствую, как, надышавшись кристального апрельского озона, твердеет размякшее за ночь тело Кэра. Он растирает грудь и лицо и краснеет, как лед, тронутый солнцем. Бежит под кожей кровь уже не кисло, как кумыс, но туго, как вино. Опьянел, бегает, отпрыгивая от земли на метр по крайней мере. Его топот

трижды обходит стены, удаляется к горелому ельнику. Он возвращается, счастливо, хрипло постанывая. Замедляя, кружит вокруг длинного елового бревна, лежащего неподалеку.

Наконец ритмично, как метроном, бьет гулкий топор дровосека.

Он:— Вы свинья, прошедшая обряд обрезания.

Я:— Это уже было зимой, у меня все записано. Кроме того, это — мат.

Он:— Почему?!

Я:— А свинья! Женского рода.

— Ну это уж слишком! Вы же, я помню, зимой задели мою родину и получили высший балл.

— Не родину, а отечество.

— Я точно помню — родину!

— Я сказал — отечество.

— Вы не валяйте, мед вам в рот!

— Это хорошо!— я в это время мазал лепешку медом.

Бледный от злости Кэр немедленно покраснел.

— А ничего, правда? Ни одного мата, а та же интонация. Гениально, а?

— Я уже сказал — хорошо.

— Нет, гениально. Мед вам в рот!

— Повтор. Очко снимается. Счет старый — 720:900 в мою пользу.

Кэр опять побледнел, но промолчал, я устроился поудобнее на подушке, отпил чаю и поставил пиалу на пол.

Наша жизнь требовала четкого режима. Подъем, завтрак, упражнения против возбудимости. Мне нельзя волноваться, вспоминать то, чего не следует, и вообще — думать. Кэр, как истинный врач, проверил это средство сначала на себе. И ничего, живет. (Прошло уже много лет, и я никак не вспомню мысль, которая посетила меня в тот день. Помню малейшие подробности обстоятельств, даже повод помню, но саму мысль... Очень важную для всей моей жизни, именно ту, которая приходит однажды и к одному из всего поколения...).

...— По коням,— сказал Кэр. Он убрал с пола дастархан и поволок к окну мой стул со стременами. В истории было два таких седловидных стула на высоких конических ножках. Один у Гете, второй у меня. Но у меня седло со стременами. Такое седло приводит в форму. В нем себя чувствуешь бодрее. Одно стремя опущено почти до полу для больной ноги.

Стул по моему эскизу соорудили Аргун и Кэр из дерева и старого седла, обшитого ватным одеялом. И каждое утро, сажая у окна, Кэр приговаривает, красный от натуги:

— Если я тебя еще не поставил на ноги, то во всяком случае посадил в седло.

Я теперь могу наблюдать зарешеченную природу. Окно глядит на юг.

Вокруг — горы, слева пропасть, на маленьком плато наша плоскокрышая саманная семерка.

Теперь мне виден и аппендикс, отросток хижины.

В нашем кругу он еще известен под кличкой Старушечий глаз по одноименному оконцу, маленькому и квадратному, как бойница, со склеротическими жилками железной решетки в глубине. Там, по-видимому, держали скотину и рабов. Из-под неровной штукатурки выпирают скулы камней. А под самым оконцем камень выдается остро, словно оголенно-сломанная кость прорывает кожу.

Когда-то дули ветры с запада, из прохода между двух скал. Гениальная архитектура спасала двор от заносов. Но теперь ветры дуют с востока и, благодаря расположению нашего лечкомбината, любой ветерок надувает горы снега. Аргун время от времени откапывает нас.

Здешние горы однохарактерные. Они приобрели трапециевидную форму пней и замшели от старости. Когда-то я изучал геологию и могу определить возраст любого из этих пней с точностью до одного миллиона лет.

Моя решетка — она и рисовальная сетка, и нотный стан. Я по ней определяю и пропорции пейзажа, и их высоту по звукоряду.

Пни, уходящие к югу, к Хан-Тенгри, разных цветов и размеров. Мрачные, обнаженные от глиняных шкур гнилые граниты. Прямо передо мной в километре — Сиреневый пень (однажды зимой я увидел на нем сиреневую тень. Имя присохло). Я не хотел его называть Горелым (от прошлогоднего пожара на нем осталось несколько высоких заостренных пеньков кокса). В марте солнце выжгло снег, и теперь этот пень вовсе черный, с отдельными тающими пятнами на ямах. Пятна сиреневые. Как я и предсказал зимой.

Пень вмещается в шесть клеток оконного решета: две по вертикали и три по горизонтали.

И сразу за ним взлетает, перекрывая все мои квадраты, уходит в крышу, как луч прожектора, пик Хан-Тенгри. Единственный не-пень в этом огромном ансамбле пней, не глиняный, не гранитный, не обгорелый, не заросший — голый, сверкающий, как единица. Высоченная, невозможная индивидуальность; нереальный электронный звук, ля мажор, если говорить серьезно.

Его можно не любить, он может раздражать и раздражает, его можно обзывать паршивым, дрянью, пнем, но он останется таким, как есть. Не дрянью, не паршивым и не пнем. Светлый ствол, вымахнувший из гранитной пахоты. Мраморный убийца, розовый по утрам.

...«Каждый нормальный человек должен уметь рисовать»,— говорил один сумасшедший художник.

Продолжим сравнения.

Страшная посмертная выставка природы. Стерта пыль снега; обнаженные краски зияют в прозрачном лаковом воздухе. Пик островерхий, голубовато-серый, как отель туберкулезников. Белый сумрак над темным светом пней. Горелый пень проецируется на матовую грань Хана, как на экран. Черный задымленный кусок легкого. Дышит, дрожит в испарениях. Два образа, совмещенные в одном, поставленные друг перед другом беспристрастно, как страшные цифры статистики. Сияющая фантазия и горелая реальность.

...Что-то говорит Кэр, проходя мимо окна в сторону аппендикса. Голос его звучит из глубины колодца. Ветерок, негромко симфонирующий из ущелья, замазывает посторонние звуки ровным непроницаемым слоем. Слово обнаруживает свою мелочность, немеет, теряется перед нагроможденными образами камня и света. Тихо, как в музее. И неолит, и вырождение, и возрождение. XX век представлен жалким карандашным наброском саманной семерки. Все это хочется объяснить, и тянется рука переделывать. Но как переделать вон ту ель? Разве что срубить на дрова.

В Альпах такие саманки используют под спорт и любовь. Современные архитекторы колдуют над чертежами хижин. Стараясь воссоздать колорит древности до деталей, до соломинок, до камней, подчеркнуто выпирающих из штукатурки. Стилизация. В искусстве главное — естественность. Аульный чабан, не окончивший архитектурных академий, состряпал этот шедевр за неделю. Европа, потеряв ограниченную связь со мной, кинулась воссоздавать утерянный примитив. Меня спасают корни. Правда, не всегда. Корни, болтающиеся в воздухе, как коровьи хвосты. Сместилась ориентировка в пространстве. Мы, как предмет в шаре, вращаемся со скоростью, достаточной для того, чтобы перепутать полюса. Падающие вершины и взлетающие системы корней. Различный взгляд на древо жизни.

И там и здесь мне было бы все равно — вылечиться или нет — тело само, отдельно от меня, принимает решения.

Но раз в году, зимой, эти пни сияли. Облака опускались, окутывая их пьянящим белым дымом можжевельника. И тогда они были больными и требовали заботы. Они играли светом и не чувствовали чужого превосходства. Они пахли морозом и небом, как Хан-Тенгри.

Кэр возвратился и заслонил свет.

— Привстань на стременах. Аргун едет.

— Врешь, еще рано. Первое апреля?..

— Чтоб мне не сойти с этого места!

— Сойди. Из-за тебя не видно.

Из-за аппендикса вывернул Аргун в тулупе и в малахае, с черной курицей на кожаной рукавице. Она махала крыльями, как беркут. Он подкинул птицу, и она пролетела, насколько позволяла веревка.

Аргун высвобождает из стремени застрявшую ногу. Входит, со стуком сваливает на пол колом стоящий тулуп, сшитый из невыделанных бараньих шкур; вешает на него малахай, снимает высоченные, до паха, сапоги и в зеленых шерстяных носках идет ко мне, неся перед собой обе ладони. Отдает их мне и садится на войлок возле кровати.

— Кал калай?[1] Кал нормальный? Слава Алла-Тенгри,— говорит он с благодарением. Ладони его — большие мягкие тиски. Вытаскиваю руку, как сапог из болота.

— Мал-жан аман?[2]— спрашиваю я.

— Слава Алла-Тенгри,— отвечает он по формуле. Детей у него еще нет, но он надеется — ему всего восемьдесят два. В горах это примерно столько же, как Кэру. Тот еще тоже надеется.

Кэр привязывает курицу к бревну. Щупает отмороженный гребешок.

Бог дал Аргуну большое лицо, чтобы выражать большие чувства. Но лицо такое увесистое, что чувства самые сильные не способны привести его в движение. Поднять брови или насупить. Пошевелить ушами, в конце концов. Каменный балбал, способный украсить любую гробницу. Лицо его вороной масти. Кожа шевелится около глаз белыми от постоянного прищура морщинками. Словно царапинки в лоснящемся куске лабрадора. Если его развеселить до безумия, морщинки исчезают, синие глаза (могли бы быть глазищами на маленьком лице) прячутся под мощным забралом век, рот скрывается в шерсти, и лицо превращается в непроницаемый монолит.

[1] Кал калай?— Как дела? (каз.)

[2] Как здоровье скота и домочадцев?— традиционная формула приветствия у казахов.

Ни одной сединки. Ему на роду написано умереть брюнетом. Огромного роста, свирепый по виду, но добрый, как еж.

Из всех военных компаний, в которых участвовал, он привез кашель (простудился под Москвой) и несколько медалей.

Он странно, вперевалку хромает. Страшно зол на «дохтуров». Был ранен в бедро и считает, что, пока лежал без сознания, ему подменили ногу. Теперь у него две левых ноги, но Кэра он любит, ибо не принимает его за дохтура. Меня он уважает как хромого.

Он у нас и завхоз, и почтальон, и лесник, и прохожий, и друг — все в одном лице. В одном большом добром лице. Кроме чистых, бескорыстных устремлений, его отличают и способности. Не было случая, чтобы он сорвался с почтой в пропасть. Верный, слепой от бельмом мерин Скалолаз, изучивший тропу до последнего камешка, может пройти этот сложнейший траверс «с завязанными глазами».

Лесник — из племени албан, обитающего в окрестностях Хан-Тенгри со времен неандертальцев. В старину большая часть их переместилась на запад, в горы Кавказа, навела там ужас и застряла навеки. Аргун об этом и не ведает. Он просто говорит на языке тех албанов, и его древнетюркские термины не пахнут латынью. Говорит образно, как народ. И умеет при своем росте не глядеть на лежащего свысока. Я стал специалистом по албанскому фольклору.

В его сказках одни и те же герои: корова Слу, пес Азербай, выкормленный ее молоком, и мерин Пома.

«У Пома, когда он еще бегал в табуне, была возлюбленная. Я его увез в горы и кастрировал, чтобы не волновался. Он мечтал все эти годы увидеть ее хоть краем глаза. Работал, собирал калым. У лошадей калым большой. Бельма глаза закрыли, видит он теперь только краем глаза. В прошлый раз разглядел он ее в ауле. Навоз везла на поле с гнедым жеребцом в упряжке. Мой конь заплакал. И я ему сказал: «Не будь безумцем, держись, ты же мерин!..»

Мы отгадали эту загадку до его возвращения из аула.

Кэр отгадал: «Ему нужна новая лошадь, помоложе. А он не может на нее собрать денег». Сказку, конечно, можно растолковать иначе. Но мы задумали летом вскладчину купить Аргуну лошадь.

«Вчера ночью пришли к Азербаю черти и давай шептать ему: «Албан, Албан, поди залай».

«Азербай совсем разучился говорить по-собачьи. У него в речи уже много коровьих и албанских слов. Если он появится в ауле и откроет рот, собаки забьют его камнями».

«Азербай нашел в горах мертвую ворону. Бедная ворона устала от такой жизни, с таким трудом умерла, а он ее оживил».

«Азербай — настоящий хозяин, что найдет, все в дом тащит. Однажды приволок дохлую змею. Может, веревка в хозяйстве понадобится».

Мы опять пьем чай. Уже около одиннадцати дня. Солнце лежит на войлоке, как желтая скатерть в крупную клетку. На ней свежие баурсаки, присланные Разией-апа, сливки в сухой выдолбленной тыкве, горсти черного изюма, курт. Кэр возлежит возле дастархана, упираясь локтем в подушку, и шмыгает. Пиала закрывает половину его лица, и неспециалисту может показаться, что Кэр пьет чай носом. Аргун пьет взасос со свистом и, отняв губы от пиалы, шумно подтягивает невидимые сопли.

Я люблю такие утра. Запах крепкого кирпичного чая со сливками и теплое, золотистое пение самовара.

Вспотевший Кэр передает пустую пиалу Аргуну, спрашивает:

— Ну, а как здоровье Слу и Азербая?

Это удар гонга.

Аргун возвращает Кэру полную пиалу и, повернув ко мне глазное яблоко, ставит свою посудину на ребро.

— Азербай вчера опять поругался со своей матерью,— сообщает он.

— Ну!— восклицает Кэр.

— Азербай зарыл кость в коровнике. Хорошая кость, белая. Ходит по двору и вспоминает ее. Как она лежит в теплом навозе и спит, и видит сон, будто она опять в баране. В мясе теплом, под шкурой. Захотелось Азербаю взглянуть на кость. Она у него — как любимая дочка. Он играл с ней, таскал в зубах на гору и показывал цветы (Аргун поднимает палец на подснежники, стоящие в стакане), и захотелось ему опять сводить ее на гору. Пришел в коровник, говорит вежливо: «Салам алейкум, апа». Слу даже не повернулась, жует что-то. У Азербая мозг от злости, как тесто, выпер, в уши вылез, заложил слух. Азербай не слышит голоса разума, глядит на корову исподлобья, как незаконнорожденный. Чесотка на него напала. Решил он, что корова Слу его кость откопала и жует ее. «Эй ты, говядина,— кричит,— тебе что, сена мало?!» А Слу жует и слюни пускает. «Вот скажу отцу, сука!» Отцом он меня называет.

(...За этими горками в двадцати километрах лежит, греясь на солнце, собака на сене. Жует жвачку красная корова с белым выменем, обмахивается тяжелым тонким хвостом с кисточкой. Иногда бьет непослушного Азербая. Он лежит, разбухший от помоев, положив морду на белую кость, и завидует молочной матери, которую доят.

Почувствовав, что о нем говорят где-то, он поднимает голову, прижимает в смущении уши и постукивает мохнатым хвостом по сену под носом недовольной Слу.)

Рассказы Аргуна всегда без морали. Просто живописные куски собачьей жизни.

Хохот Кэра его вдохновляет.

— Азербай вечерком прикинулся аллахом и пришел к Слу. «Дитя мое,— говорит,— ты теперь можешь не молиться. Я тебя помещу в рай. Ты честная корова, как я слышал от знакомых собак, и теперь заслуженно отдохнешь среди райских красавиц — гурий. У тебя будет сорок жен без калыма. Я решил сделать это доброе дело. За эту великую милость ты должна согрешить со своим аллахом, пока Аргун не пришел из лесу. И сразу попадешь в рай!»

«Чем ты докажешь, что в твоих словах нет обману?»— спрашивает Слу.

«Давай попробуем, и ты убедишься, что аллах правдив».

«Тогда ты не аллах, а собака»,— сказала Слу и хлестнула его хвостом. Азербай обиделся.

«А если собака, так что?— и закричал:— Сука ты!...»

Кэр смеялся лающим смехом. Я мычал. Лицо Аргуна стало монолитным. Татуировка и бельма растворились в сияющей черноте.

Упрятав под бешмет наши письма, Аргун легко поднял на плечи тулуп-тон и вышел с Кэром и, пожав мне через решетку руку,

взгромоздился на мерина. Тот зашатался под тяжестью и ушел за дом полуприсядью.

Кэр провожал их до поворота. Через три дня вернется старик ночью, черной, как вечная мерзлота, с грохотом скинет свой тулуп-тон и выпьет самовар кирпичного чая. Пока мы будем читать письма, он оттает и вздремнет. Через час залезет на отдохнувшего мерина и двинет к своей берлоге, где теплая Разия-апай, теплая полубелая корова Слу, теплейший Азербай, где есть курятник, из которого давно надо бы выгнать проклятого хорька.

Сам он никому не пишет и ни от кого не получает ни открыток, ни молний-телеграмм. Мысли его не требуют закрепления на бумаге. Они дойдут до потомков эпосом.

И лесничиха не отправляет с ним корреспонденций на «Большую землю». Ее когда-то научили писать свое имя. Но кому оно там нужно, да еще по-арабски.

...Из моего окна, если прижаться лицом к железу, можно увидеть часть тропы. Лошади уже нет — тропа уходит ниже. Еще некоторое время качается спина Аргуна, тулуп, сшитый из разных кож. В швы вылезли клочья черной и белой шерсти.

Остается один малахай, огненно-лисий. Он замирает на мгновенье и заходит, как солнце. Тропа пустеет. Дальше она пойдет, прижимаясь к отвесной стене над речкой, выбрасывающей огромные сосульки — до двадцати метров в высоту. На тропе шума воды не слышно. Только осторожное переступание Помы-скалолаза и гул незамерзающих дум в чугунном черепе Аргуна.

Если скосить глаза до предела и врезаться лицом в решетку, я вижу часть противоположной стены ущелья. Глины сползли, обнажили темный профир, разделенный продольными вертикальными трещинами на громадные блоки. Из трещин торчат пучки розовой и белой шерсти — цветет дикий урюк. Сверху падает незамерзающий водопад — белая неподвижная нитка, прицепившаяся к дубленому плечу обрыва.

Я еще долго провожаю невидимого Аргуна. Желаю, чтобы лед тропы был мягким, как пахота. Далек путь или близок, узнает тот, кто проедет. Горькую еду от сладкой отличит тот, кто вернется. И три долгих дня я буду уродовать лицо решеткой, выглядывая — не восходит ли на тропе малахай Аргуна.

...Из-за горелого пня вылетел скворец. Клок сажи, поднятый ветром. На бреющем, потом — по восходящей. И сорвался, пропал в тени Сиреневого пня. Сегодня день птиц. Скворец в почете. Черви, наверное, отдаются ему из уважения. Может быть, и день червей настанет.

Скворец все не вылетает, дьявол. Я на него загадал. Железный прут холодит губы. Они горячие, как от поцелуев.

Кэр задумчиво глядит на курицу.

— Кэр, а Кэр...

Молчит.

— Кэр.

— Чего раскаркался?

— Сегодня день птиц.

— Ну и что?

Во дворе стоит котел на ножках. От ветра его заслоняет каменная кладка высотой в метр. Кэр разводит огонь и тащит из ручейка воду.

Вода согрелась. Он моет котел и в этой же воде тщательно, с мылом, полирует руки.

Наливает свежую. Еловые дрова горят жарко. Пламени не видно, и дыма нет. Чернеют поленья под котлом.

Кэр заходит в дом.

— Начнем, благословясь.

Надевает хирургическую шапочку и марлевую маску. Я завязываю ему тесемки халата на спине.

— Доктор, есть надежда?— спрашиваю я тихо.

— Мы сделаем все возможное,— глухо отвечает Кэр, натягивая резиновые перчатки. И выходит.

Отвязывает курицу, кладет ее плашмя на бревно и зорко разглядывает отмороженный гребень.

— Топор!— негромко приказывает он и, не поворачивая головы, берет с земли топор.

Крякнув, как мясник, ампутирует черной курице голову с белым гребешком. И держит ее, не понимающую ничего, за ноги на вытянутой руке, чтобы не забрызгала халата.

Когда пациентка перестает биться, он кладет ее на плаху и, пододвинув ногой отсеченную голову с гребешком, пальцем поднимает веко, проверяя реакцию зрачка.

Устало разгибается, опускает маску и, сняв шапочку, промокает вспотевший лоб. Облокотясь о подоконник, смотрит устало на Хан-Тенгри, с щелком снимает перчатки:

— Будет жить.

...Сидя на бревне без халата, в телогрейке, ощипывает курицу. Пух и прах пойдут на новую больничную подушку. Летом в ущелье наедут чабаны и туристы. Они будут падать со скал и умирать на его подушках от безобразной тоски. Он опускает ощипанную несушку в котел, заботливо укрывает крышкой и громко произносит шаманскую формулу:

— Варись три года и будь горькой!..

Я проглядел скворца. Наверное, вылетел. В день птиц совершилась казнь пернатой. Утешение, что курица не птица. Этот афоризм, наверное, сочинил орел. Скворцу до этого дела нет. Он залетел в свою лощину и, наверное, уснул.

Кэр стоит, заложив руки за спину, глядит в пропасть. С развевающимися волосами, длинный, прямой, как бунчук.

...Курица переваливается в темных горячих взрывах воды. Из-под деревянной промасленной крышки выбивается невидимый пар. Он обволакивает небольшое пространство вокруг очага дрожащим прозрачным ореолом. И неплотная стенка камней живет и дышит.

Обыкновенный скифский котел третьего века до нашей эры. В книге Геродота есть его описание. Бронзовый, на невысоких ножках, в виде архарьих. С копытцами. Он бы мог пополнить коллекцию котлов — гордость алма-атинского музея. По скифским котлам музей занимает призовое место в мире.

История не привыкла начинать первой. Она ждет наших вопросов и не на всякий отвечает. Но нам всегда нужно то, что сейчас нужно. Нужен был котел, и Аргун открыл свои кладовые.

Две тысячи лет тому назад. Сколько миллионов часов казан простоял на огне! И даже не закоптился как следует. Сколько воды в нем вскипело. Целое озеро. И все для того, чтобы вскормить и

вспоить одну продолжавшуюся семью албанов, пик которой — закопченный Аргун, громадный, круглый, как эта цифра. Весь из могучих нулей: лицо, мышцы, огромный нуль туловища, продолговатые нули ног, рук, маленькие белые нульки глаз. Столько же природы пошло и на тощего, как единица, Кэра. И на меня.

И теперь из сорока котлов доисторической серии функционирует только один. И тот перешел на курятину. Кэр мечтает выменять этот казан у Аргуна на какой-нибудь новый чугунок. Но тот дорожит казаном, как родовой реликвией, и постоянно твердит, что в нем мясо вкуснее. Мне тоже так кажется. Чувствуешь в себе аппетит албановского гуньмо, возвратившегося из набега на Срединное царство. И под нами войлок с тем же орнаментом кошкар мюиз.

И перед глазами те же ели, самые красивые ели, среди которых я разбивался. Корни их свисают в пропасть, как коровьи хвосты. Они приспособились сосать соки кислорода. И корни в синей пустоте, и кроны в синей пустоте. Самые древние верующие самой древней религии. Пик создал их по своему подобию — синими, стройными, остроконечными.

Полуголый Кэр на бревне зубрил «12 стульев». Он знал их почти наизусть. Аргун как-то наблюдал за ним: «Почему так смеется?» Он немного ревновал Кэра к Ильфу. «О чем ты читаешь?»—«О стульях!»— ответил Кэр. «А,— улыбнулся Аргун, сидя на земле.— Стулья — это смешно,— посмотрел на мое кресло,— но больным стул нужен».

Курица сварилась ровно в три. Первый раз в синем ущелье запахло куриным бульоном. Кэр захлопнул книгу и пошел к котлу. Его суеверная формула о трех годах сработала. Теперь осталось проверить вторую часть.

Кэр понюхал пар. Обернулся, приятно морщась.

Подходит к окну.

— Как ты себя чувствуешь?

— Неплохо.

— Зад на скаку не отбил?

Он выносит из дому одеяло, сворачивает его и застилает бревно. Возвращается и массирует мне больную ногу.

— Скажи «а»!

— Ой!

— А здесь?

— Здесь уже не так.

— Отлично. Через месяц на тебе уже можно будет ездить. А пока давай на мне.

Я обнял его за плечи, и мы осторожно выбираемся за дверь. Это мой четвертый выход на прогулку. Я гуляю, сидя на одеяле, укутав его концом ногу. Бревно жестче седла, но это почти счастье. Я снимаю рубашку и завязываю ее чалмой на голове.

Кэр по сравнению со мной африканец. Его спина лоснится, как от вазелина.

— Кэр, зачем тебе загорать? Ты и так черный.

— Может, выгорю,— говорит Кэр от котла. Он достает белую курицу и рвет ее за ноги.

Чувствую, как с солнечными лучами в мою спину входит бодрость. Лицо покалывает. Я раскутываю ногу, кладу ее во всю длину на бревно. Пусть загорает, родная.

— Кэр, ты дохтур?

— Дохтур.

— Ответь, уважаемый, почему тряпка на солнце выгорает, а человек нет?

— Потому что человек не тряпка. Понял?

— Очко.

Он садится рядом на камень, ставит деревянный поднос на колени.

— Прочтем обеденную молитву. Аминь!— вот и вся молитва.

— Аминь,— провожу я ладонями по лицу.

Мы съедаем курицу и бросаем кости через плечо. Они неслышно падают на камни. Это жертва добрым духам гор. Духи любят курятину. Один из джиннов принял образ хорька и съел петуха-производителя. Не подавился, проклятый. Теперь пусть давится костями.

...Кэр:— Миллионы гриппозных по Союзу. Ничего, а? А я никогда в эпидемиях не участвовал. У нас медики в пятьдесят седьмом году желтухой болели после Пахта-Арала. Я уцелел. Потом был практикантом в Устюрте. Хоть бы брюшняк пристал. Дизентерию повальную лечил. Малярию. Всюду выходил сухим. Если чем страдал — отдельным. Не инфекционным. От меня вирусы отскакивают. Я на них чихал и кашлял!

— ...Жизнь замечательных людей,— сказал Кэр задумчиво. Улыбнулся чему-то нашему.— Чем Аргун не замечательный человек?— Подумал.— Ничем. Петь он — поет. Хрипло, но в душе гениально. И в каждой собаке человека находит. А мы в каждом человеке стараемся собаку увидеть. И каждый пытается в жизни доказать свою нормальность, изо всех сил следит за собой, чтобы не рехнуться. Боимся показаться смешными.

В позапрошлом году девочка лет шестнадцати под поезд легла. Горлом на рельс. (Пока еще не смешно.) Отсекло ей голову. Она сначала юбку под коленями завязала. В дневнике нашлась запись. Оказывается, всю жизнь хотела быть мальчишкой. Родители ей обещали: вот вырастешь — тогда. Она выросла и поняла, что это невозможно. Смешно?

Я впитывал солнце. Мир сквозь закрытые веки — красный.

— И каждый хочет доказать, что он нормальный,— повторяет Кэр.

Он встал, переступил с ноги на ногу.

— А мы будем скучать по этому заповеднику, а? Еще как вспомним. Хоть бы один лев завелся. Порычал.

Он прошел в сторону дома.

— Смотри, кажется, скворец!..

Значит, не пропал мой скворец. Я порадовался, не открывая глаз. Я представил: в том, не алом, разноцветном мире из-за Сиреневого пня вылетел скворец, чиркнул угольком по пустому мраморному полотну Хан-Тенгри. Исчез, не оставив следа. И тогда меня ударила мысль:

— Нет!

Кэр начал стрелять:

— Скажи, пациент, а-а!

Гремели выстрелы, гремели выстрелы, удесятеренные эхом дальних обвалов.

— А-а-а!!!

И возвращались крики, отразившись от граней гор.

Огромное ЭХО-О-О-О-О...

Осталось ощущение, боль от удара, но мысли той я не помню.

* * *

...Это узнается потом — слепой мерин Пома сорвался в пропасть именно в тот час, когда Кэр отрубил курице голову. Я почувствовал — нельзя этого было делать. Я тогда сказал ему:

— Кэр, грех казнить курицу в день птиц. Что-то плохое случится.

Он посмеялся.

А потом катался по земле и бился головой о камни.

Лесничиха Разия говорила, что пес Азербай выл весь день и не притронулся к помоям.

Корова Слу вскоре подохла от глистов. И Азербай исчез.

Через неделю я спал в нижнем ауле, далеко от Хан-Тенгри. В юрту ранним утром забрел ягненок и шершавым языком облизал мое соленое от слез лицо. Это было и остается самым счастливым ощущением в моей жизни.

1967

О

НОГИ

В СВЕТЛОМ КА

И Некто в эту

ОРАКУЛ В СВЕТЛОМ КАМНЕ ЯНТАРЯ «ВРЕМЕНИ

КУМИРНИ ОБРУШИЛИСЬ

...МЕДЛЕННУЮ ВОДУ

МЕЛОДИЮ ИШТАР

СТИХИ ПОЭМЫ

ПТИЦА УПАЛА

ЭЙ, МУДРЫЕ!

ЗНАМЕНЬЕ

МЕДЛЕННУЮ ВОДУ РАЗЛИВА. ОЛИВА...

НЕБЕСНАЯ

РЕТРОСПЕКЦИЯ

НЕБЕСНАЯ

КУМИРНИ

ЭЙ,

О, ГОВОРИ!

РЕК

МНЕ ЯНТАРЯ

НОЧЬ...

ИСПИТЬ!» И Некто в эту НОЧЬ...

РАЗЛИВА. ОЛИВА...

ТЕБЕ СЫГРАЮ

НА ПАЛУБУ

ЭЙ, МУДРЫЕ!

ОДА

ОРАКУЛ МЕЛОДИЮ ИШТАР ТЕБЕ СЫГРАЮ

СТИХИ ПОЭМЫ

РЕТРОСПЕКЦИЯ

...МЕДЛЕННУЮ ВОДУ РАЗЛИВА. ОЛИВА...

ЛАДЬЯ

РЕТРОСПЕКЦИЯ

ЛАДЬЯ

ОБРУШИЛИСЬ

МУДРЫЕ!

ХЛЕБНАЯ НОЧЬ

I

...Для иных —
Это песни,
Газеты,
Веселые фильмы,
Солнце всходит, заходит
За желтые горы зерна,
Край бездонного неба
И сказочного изобилья,
Для меня этот край —
Просто поднятая целина,
Край стандартных домов
И сырых полутемных землянок,
Край простуженных песен
И рева моторов стальных,
Древний край молодых казахстанцев,
Волжан, киевлянок,
Край, как пишут в газетах,
Живущих без выходных.

...Тьма и грохот,
И звезды над степью в пшеничной пыли,
И сухие валки
Шевелятся в стоваттном свете,
Те же длинные лица,
Чернее целинной земли,
Тот же запах солярки
И тот же сентябрьский ветер.
Хорошо!
Может быть.
Романтично?
Чудесно?
Не знаю.
Где уж быть романтичности
В этой собачьей ночи?
Столько суток авралим,

А степь развернулась без края,
А штурвальный не слышит,
Хоть в ухо ему кричи.
Вы спросите его,
Если вы из районной газеты:
— Как работа? Как план?
Сколько выдано за день зерна?—
Он угрюмо попросит
Махорочную сигарету
И кивнет на помощницу:
— Вот, растолкует она.
И опять за штурвал,
Рукава телогрейки наморщит,
Не мешайте —
Сегодня хорошая
Хлебная ночь,
Ровно-ровно работает валом
Усталый подборщик,
В бункерах оседает
Тяжелый пшеничный дождь.
О, не бойтесь
Нахлынувших смелых,
Внезапных гипербол —
Эту землю не трогала
Тень деревянной сохи.
Плуг знакомого парня в тужурке
Считается первым,
Цифры — после,
Сейчас вы отдайте блокнот под стихи.
Так пишите скорее!
Свет фары достанет и вас.
Что?
Нетвердо перо?
И неровны тяжелые строки?
Но пишите! Пишите!
Мгновенье случается раз,
Пусть продлится оно
Через многие, многие строки!
Мерно трактор ползет,
В бункер льется неслышно зерно,
Словно крохи холодной
Осенней росистой земли.
Опишите в стихах,
Как теплеет в железе оно!
Вы согрейте стихами
Озябшие зерна мои!..

II

Много разных прошло
Через нашу холодную
Степь,
Как богатый песок

Сквозь ковши промывальных машин,
В полночь — снег,
В полдень — зной
И уверенней ветер косой,
Ни дорог, ни домов
В бесконечной полынной глуши.
Приезжали под песни,
Круша каблуками перрон,
А ушли, как песок,
Кроме самых надежных парней.
Проверялся на людях
Великий научный закон —
Не набор,
Но отбор.
Так, сказали мы, будет верней.
Пусть художника после
Ругают за бедность тонов,
За тяжелые краски,
За скупость упрямой палитры,
Мы в жару не сменяли
Замасленных ватных штанов,
Мы, бывало,
И воду на сутки машине —
Пол-литра.
Грубо?
Да!
Если в холст упереться глазами
Вплотную,
То увидим лишь рытвины
Темных остывших мазков,
Отойдем и —
Клянусь!— мы увидим картину
Такую!..
Море яростных красок!
Море без берегов!
Люди, люди нужны,
Те, которые знают работу,
Те, которым плевать
И на грязь,
И на холод ночей,
Степь не может пока
Обещать материнской заботы,
Пусть же парни привозят
С собой заботу о ней.
Вы в горстях ощутите
Пожатье колючего хлеба,
Вы научитесь плакать
Над каждым сгоревшим зерном.
А какое у нас беспокойное синее небо!
Люди! Люди нужны!
Приезжайте, ребята!
Мы ждем.

III

Посмотрите,
Он встал,
Нет, он так же сидит за штурвалом,
Почернелый, усталый,
Ему бы на сутки прилечь.
Трактор так же ползет,
И подборщик ворочает валом,
Но какую-то резкость
Я вижу в движениях плеч.
Трактор так же ползет,
Но все медленней полнится
Бункер,
Вдруг подборщик мотнул
Вхолостую глухой оборот,
И тогда он привстал,
Потянулся, как после побудки,
И спросил, улыбаясь:
— Ну как, не уснул мой народ?
Тракторист пил из кружки
Холодную черную воду,
В ней плескалась луна,
Растекаясь по мокрым губам,
Мы по ветру гадали на завтра
Сухую погоду,
Отсылая дожди
Асфальтированным городам.
Мы закончили поле,
Другое легло перед нами,
Нам настала пора
Оглянуться на пройденный путь.
Каждый день,
Каждый час
Мы сдавали труднейший экзамен,
Мы устали порядком,
Кто хочет передохнуть!
Мы закончили поле,
Другое легло перед нами.
Кто согласен
Сегодня на этом гектаре кончать!
Тракторист,
Заводи!
Пусть луна, как светящийся камень,
Освещает нам путь
По глубоким осенним ночам!

1959

ЯБЛОКИ

Л. Мартынову

...Приехал я в край,
где лишь пихты и ели,
где ели под тяжестью неба присели,
где между стволами
ветры белели,
их называли так нежно: «метели»...
В землянку вошел (называли
«забоем»),
вошел, полметели втащив за собою,
недобро, вполглаза меня осмотрели
мужчины лохматые, как метели.
Я сел возле печки,
где буры и дрели
лежали недвижно четыре недели,
ладони погрел,
рюкзак развязал —
и все повернулись,
и все посмотрели.
Откуда вдруг солнце
в холодной землянке?
Это теплее печки-времянки
вспыхнул румяный,
сияющий запах,
и люди привстали на войлочных лапах.
Мужчины, лохматые, как метели,
злые на все за четыре недели,
в грубых ладонях яблоки грели,
яблокам в щеки,
как детям, смотрели —
арыки, ущелья, проспекты, аллеи!..
Мама, в саду так не пахли они,
как в эти таежные зимние дни.

1959

* * *

Почта, почта проклятая виновата.
Ты мне пишешь, я знаю,
ты пишешь мне каждую ночь.
Клеишь авиамарки,
бежишь до угла,
я не знаю,
почему эта почта
два года не хочет помочь!..
Я вернусь —
восемь суток на самом курьерском,
быстро ли?
Оторвусь хоть на час,
навсегда,
чтобы найти нашу дверь,
и стучать кулаками,

и ждать, замирая,
как выстрела,
щелк замка.
Я приеду,
умру, но приеду
теперь.
И клянусь,
если стала красивей за эти два года,
если я не узнаю
твою задрожавшую речь...
Береги тебя бог,
в этот миг я поверю в бога,
береги тебя бог,
если я не сумел сберечь.

1959

ВОЛЧАТА

Шел человек,
Шел степью долго-долго.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
В густой лощине он увидел волка,
Точней — волчицу,
А вернее — мать.
Она лежала в зарослях полыни,
Откинув лапы и оскалив пасть,
Из горла перехваченного плыла
Толчками кровь,
Густая, словно грязь.
Кем? Волком? Иль охотничьими псами?
Слепым волчатам это не узнать,
Они, толкаясь и ворча, сосали
Так странно неподатливую мать.
Голодные волчата позабыли,
Как властно пахнет в зарослях укроп,
Они, прижавшись к ранам, жадно пили
Густую, холодеющую кровь.
И вместе с ней вливалась жажда мести.
Кому?
Любому, лишь бы не простить.
И будут мстить,
В отдельности, не вместе.
А встретятся — друг другу будут мстить.
И человек пошел своей дорогой.
Куда? Зачем?
Нам это не узнать.
Он был волчатник,
Но волчат не тронул —
Волчат уже
Не защищала мать...

1961

* * *

О конь!
Он гогочет, как гусь,
Он бушует бурой[1].
Бурлящий горный поток
Не сравнится с его дыханьем.
Я печень врага
увидел в своих руках,
Табун украду и отдам
За коня вороного.
О зад вороного,
Как черное сердце, округл!..
Стокосые девы
От зависти горько плачут,
Их сладкие груди
Страхом и страстью полны.
Я молод и беден,
Я сыт этой жизнью
Собачьей.
Я хана в раба превращу
И сломаю хребет!
На тело его помочусь,
Без молитвы зарою!
До синего моря с мечом
Без щита пролечу,
Отдай! Не отдашь — украду
Жеребца вороного!..

1961

[1] Бура́ — верблюд-самец.

РИШАД, СЫН СТЕПНЯКА

Я дарю тебе тюбетейку,
Перевитую нитью золота,
Твой отец отвернулся молча,
Так, наверное, помнят молодость.
Мать красивая машет пальцами,
И лепечет,
И восторгается.
Ришад очень похож на испанца,
Сын француженки
И адаевца[2].
«Вы поедете в штат Небраска?!
Там такие прекрасные прерии,
Так колючки, жара и кочки,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Вы поедете?»
Жадно смотрит
И руками картину лепит,
Люди летом уходят к морю,
Его тянет в сухие степи.

[2] Адай — название казахского рода.

В стремя — хоп!
Отшвырнуть сомбреро!
Ветер черные волосы — в клочья!
Тюбетейку — на лоб,
Карьером,
Перепадом по тропам волчьим.
Задыхайся, кричи, мой мальчик,
Страсть поэта — и плач, и хохот.
Твой отец, наконец-то, плачет.
В моих жилах грохочет холод.

Я поехал бы в штат Небраска.
Но мне надо спешить на родину.
Там такой же пейзаж неброский,
Я поеду к себе на родину.

Я поеду в адайские прерии,
Там колючки, жара, морозы,
Пыль и кони такие! Прелесть!
Я поеду к себе на родину...

1961

* * *

Бетпак-Дала
Всегда такая голая,
Что стыдно лошадям смотреть в глаза...
Моя кобыла,
Отупев от голода,
Не слышит повода,
Глядит назад.
Нет колеи,
Бетпак-Дала —
Доро́га,
Ой, дорого ей заплатил казах,
Пустыня —
От порога до порога.
Все сто дорог
Вели его назад.
Размеренная смена поколений,
Спокойное широкое седло,
Скупое равнодушное движенье,
Укачивая,
Всадника вело.
Над головою
Раскаленный камень,
Пустыня взбешена,
Копыта высекают желтый пламень
Из белой глины.

1961

НА ЛИВЕНЬ — С САМОЛЕТА

Может быть, над океаном дождь,
Но внизу проклятье желтых глин,
Каспия неполный горький ковш
У горячих губ моей земли.

Ржавые сухие облака,
Словно взрывы жажды неземной,
Волнами зарезанный закат,
Весело дымя, летит за мной.

Ползает подслеповатый дождь
На коленях перед морем глин —
Виноватый, старый, нежный муж
Молодой неласканной земли...

1961

ПЕЙ

Десять лет тому,
иль сотни лет?..
Хруст салфеток,
мягкий блеск фарфора.
Все встают,
в бокалах бьется свет,
на стене краснеет тень узора.
Все стоят. Все ждут:
мы молча пьем,
торопливо, жадными глотками.
Горько! И посуду — кверху дном.
Слезы — рукавами,
не платками.
...Через сотни иль десятки лет?..
Хруст салфеток, мягкий блеск фарфора.
Все встают.
В бокалах тот же свет,
жизнь не может длиться без повтора.
Все стоят, все ждут.
Сейчас, сейчас...
Сколько мы гостей к себе назвали!
Раньше вас,
я выпью раньше вас!
Пусть вино меня, как раньше, свалит!
Где-то ты стоишь
бледна, бледна.
Может быть, ты вспомнишь
наш обычай.
Пусть вокруг — они,
но ты — одна

выше всех
улыбок и приличий;
пей, не жди,
пусть — к черту этот пир!
Одинокий миг не потревожит
новый мир.
А прошлый?
Прошлый мир
на мгновенье раньше нами прожит.

1961

АФРИКАНСКИЕ РИТМЫ

Два часа в негритянском театре на Бродвее.
Темная мягкая сцена,
поблескивающая
агатовая женщина уселась,
обняв колени,
на берегу вставшего стеной океана.
Молодые негры в зале
выплевывают жвачку и плачут,
топая ногами:

I

— Позор! Я лицо потерял. Оно черное.
Кафр. Неверный.
Мою Африку, милую Африку
рожденные мною веры назвали —
Адом.
Африкой мы угрожали
бледным адамам, бедным муслимам,
птицам, гадам.
Кипели в пенной смоле грешника-солнца
черные черти.
Века позора ползут по пятам. Кафр.
— Ты хороша ночами, необычная,
тело твое лоснится,
чуть шевелит плечами,
ветви впечатаны четко
в небо густое, чайное...
Тайны нечаянно к горлу
стаями подступают,
тихо луна тает,
тени плотны до глянца,
сонно бормочут в клювы забавные
попугаи,
трескаются в ущельях
остывшие сланцы.

Устья рек, лохматые,
теплые, словно лоно,
мутно открыты напорам ночных
океанов,
в чаше берберского неба
ворочаются биллионы,
снова кричат океаны
за занавеской лиан.
Мы — пастухи своих дней —
кочуем,
качаемся в седлах,
падаем раньше стад.
Мы отдаем своим дням
золото, тело, стыд.
Пьем из ручьев холодных,
размякшее мясо стынет,
стадо уходит, блея.
Падаем раньше стада.

II

Белая женщина, как негритянка, незаметна
в нью-йоркской ночи. Она сливается цветом
молчания
с тоской уставшего города.
Сидит, обхватив колени, на берегу океана.
Я оглядываю притихший зал. Негры подавленно
смотрят на черную яркую сцену.
Месть режет белых в Нью-Йорке, насилует
женщин, как в джунглях Центрального парка земли.
Воздух Америки — сладкий дымок гашиша.
На электрическом стуле и в гибкой веревке линча
вы скорбны, как в этом зале. Вы смотрите
на искусство — на доброго палача.
Удары тока. Рывок петли. И — бескожие души ваши
банановой коркой стучат о рифы дальнего берега.
Родина ваша — Америка. Вы защитите
ее, как всегда защищали.
В братских могилах, на смешанных кладбищах
самоубийц,
вы — хозяева. Удары тока. Рывок петли.
И грешные птицы, дав круг над любимой
Америкой, улетают
с радостным кликом на остров счастливого ада.

III

Родина! О Негрия моя!
Громадных манго легкие кроны,
алых акаций знойные тени,
тунцы,
ананасы,
бананы,
базары,
женщины,
стройные,
как растения!
Мчатся автобусы мимо саванны,
барабаны стучат,
баобабы торчат,
чистые зубы на черном лице:
«Мой негритенок вылез из ванны,
съел банан и помчал в лицей!»
В этой деревне конусом хижины,
туго на бедрах солнце расстелено,
вон крокодилы смотрят обиженно.
Слушай — поэты хохочут растерянно.

IV

...Ритмы гремят —
это на яркой сцене,
голая, черная,
плавно ведет животом.
Страстные шутки зала,
сало оценок,
бубны и саксофоны.
Ну!
А — потом!
Черный и тонкий,
звонкий Джин Круппе,
пальцы нервные,
ноздри крупные,
как пулеметы, трясутся палочки,
хриплые кличи пляшущих парочек!..
Вышел из зала:
небо, как негр,
звезды, как пот на щеках барабанщика,
градусов семьдесят по Фаренгейту,
парни, похожие на карманщиков,
пьяные,
с тусклыми лицами гениев,
в бары заносят плотные тени.
Бары в подвалах — как бомбоубежища.
В Америке —
бешеное веселье...

1961

ИНДЕЯ

Я видел над Ниагарским водопадом радугу; и в солнечный день, и ночью в цветных прожекторах — алая радуга.

I

«Где в ночах шелестит
голубая трава Аяганга,
одуванчик Бакбак
и по озеру — лилия Лала,
где черные камни,
оторванные от гор,
зовутся негромким, гордым именем — Скалы.
Совята мои улетают в густую траву Аягангу.
Тоскуют по лунам багровым бесплодные жены.
А там, далеко-далеко-далеко за Хинганом
одинокий плачет верблюжонок...»

II

Будь я вождем
и Хранителем воинской клятвы,
над Ниагарой сказал бы вам, старикам:
«Дети мои, крепкореберные совята!
Вспомним траву Аягангу на берегах!
Вспомним костры и песни, которые пелись.
Мы грызли кость, не поднимая глаз,
Ы-х!
Рубили!
Мы в пыли хрипели,
жеребцы обнюхивали нас.
Снятся нам — трава и кобылицы,
губы их железом отдают.
Нюхая изрубленные лица,
кони от волнения поют.
Хилые стояли у костра,
отвечая беспощадным воем.
В душу заползал хороший страх,
и потел, и озирался воин.
Трусы, цепенея, повставали:
— Дай конец, отвага!
— О атака!..
Женщины в молчанье танцевали,
грубыми качая животами.
Вой все поднимался, поднимался,
воин убивал и убивал.
Женщины совсем не понимали
то, что воин недопонимал!

III

...Мы от берега тихо отходим,
нас кидает опять на скалы,
нам сыны оправданья находят,
чтоб самим не раскаяться.
Что же! Пусть наводнение. Не беда.
Пусть напиваются илом и рыбами города,
это — счастье пустынника желтого!
Это — вода!
Пусть нас мутит похмелье,
мы, как отцы, кутили,
красную теплую влагу
мы, как умели, пили.
Пусть на траве черствеют
мощные их тела,
пусть молодые пчелы
пьют пьянящий нектар.
Пусто в холодных залах,
ох и дела,
утром опять вороны протяжно орали —«кар!»
Жизнь, ты беспечна, как Ниагара,
ты пробиваешь в граните русло,
чтобы свалиться с криком на камни.
Хочешь в истоки вернуться,
грустная?
О Ниагара!
У, Ниагара!
А-а-а!
И падение после удара.
Падаешь?
Пыль водяная и грохот.
Если упасть с высоты, то
с огромной!
А над адом горит, не сгорая,
алая радуга, о Ниагара!
Разве не счастье — так умирая,
в чьем-то сердце оставить
радость?

1961

* * *

Вожди индейцев пришли на обед
к французскому губернатору,
их мало осталось после побед
французского губернатора.
Мундиры сияют. Хозяин учтив.
Курчавятся белые скальпы,
шутник-адъютант,
длинноногий штатив,
сверкает, заботится, скалится.
Мажет горчицей хрустящий хлебец,
вождю подает с улыбкой,
он знает, лощеный парижский
подлец,
как верят индейцы улыбкам.
Индейцы раскрашены под образа.
Чинно, как на дуэли,
ели индейцы, закрыв глаза,
и мужественно доели.
Никто не смеялся.
Никто не хрипел.
Молчал губернатор,
а Тана,
жена губернатора,
мажет хлебец
медленно,
медленно —
для адъютанта...

1961

ЧИКАГО, В МУЗЕЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Трубка из яшмы украшена перьями
горных совят.
Трубка Мира похожа на черный
чубук чукчи,
чучела даков
курят и держат Верховный совет,
широкоскулые, узкоглазые, как Джучи.
На здоровенных кедровых стапелях
пирога-каик,
воины в скальпах,
толстые копья, в коже — ножи,
впередсмотрящий —
желтый худой старик —
напоминает гадальщика из Кульджи.
Отодвигая левой рукой степь,
чуть наклонившись, туго пружиня в ногах,
вождь засмотрелся в глаза неоновых стен,

что-то язычнику чудится
в странных ночах.
Бродишь по залам, рядом бредет тишина,
локтем коснешься случайно —
голову кружит.
Желтые экспонаты.
Декоративная тишина.
Кажется, люди только и знали,
что делать оружие.
Стройные луки
и наконечники из халцедона,
и томагавки какие — с серебряной чернью!
Алмазы, рубины,
дубины по мегатонне!
Не все ли равно, чем ударить
по хрупкому черепу!..
Ведь все уравнялось,
мертвым уже не помочь советами,
жаль, что одно
никогда
не увидят они:
трубки Мира, украшенные совятами,
робко прижились
в яркой витрине Войны...

1961

ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ

По улочке ходит спокойно ажан.
Из-под плаща — автоматное дуло,
Алжирец метлою рвет мостовую,
Даже ей не согласен прощать.

Раз проходит ажан.
И другой раз.
15 августа ультра объявили атаку.
Раз — проходит ажан мимо дворника.
И другой раз.
Алжирец с размаху пинает
лающую собаку,
Хозяйка — в бешенстве.
О ажан!

Полицейский лениво подходит.
(Я гляжу из окна.)
— Пардон, мсье.
Алжирец ставит метлу к стене
и, вытерев руки о полы,
берет сигарету из пачки ажана.
Курят, перекидываясь взглядами.

Улочка пуста.
Узкая дама сердито ушла,
Мужчины смотрят ей вслед
И угрюмо подмигивают друг другу.
Хорошо!
Худой небритый алжирец и розовый рослый
ажан
Бросают окурки на чистую мостовую,
Полицейский, насвистывая, отходит,
Из-под плаща — автоматное дуло.
Ах, ажан!
Алжирец берет метлу, подметает
Окурки и осторожно
Под пиджаком поправляет
Теплую рукоять ножа.

1962

НОЧЬ В ПУСТЫНЕ

Нет росы,
Удивительно, нет под руками росы,
На безвольно холодном песке,
На лице и на войлоке —
Нет росы —
Волны камня измолотого
Спокойные, как часы,
Изнывают под зноем
луны полуночной.
И нет росы.
Босые шакалы в песках хохочут,
Что нет росы,
Скелет саксаула кричит, белея,
Что нет росы,
Алюминиевый свет обнажает
Разбухшие груди пустыни,
И нет красы
Человечней тоски барханной
По капле росы.
Луна остынет,
И дальняя кромка восхода
Взорвется солнцем...
Зачем?
Роса на лице одинокого человека.

1962

* * *

Я таю над ночными городами.
Их много, молчаливых, под крылом,
Огни земные, как снежинки, тают,
Годами оседая над огнем.
Я пролетаю над ночным Парижем,
Огни, все те же рыжие огни!..
Упав лицом в иллюминатор, вижу,
Что мне знакомы издавна они.
Кизячными кострами полыхают
Приморские чужие города,
Над миром ночь как будто неплохая,
Огни мелькают,
Мечется радар,
Напоминая нам,
Что все спокойно.
Глаза ночей, подкрашенные хной.
Внизу трава полита темнотой.
Костры. Луна. И ожидают кони
Пронзительного выклика: «Атой!»

Я пролетаю.
Словно в планетарии,
Огни мерцают, тайны отдают.
Укутав ноги, женщины читают
При свете ламп историю мою.
Не все бывает в нашей жизни важно.
Огни. На всем пути молчат огни.
Иллюминатор от тумана влажен,
Растут, сливаясь,
Частые огни.

1963

* * *

Я в Лувре видел слепого.
Один, никого не спрашивая,
бессловно
глядел он
пустыми глазницами на Венеру.
Так смотрят на черное
негры.
Скрипели! Скрипели паркеты в залах.
Слепой стоял у громадных рам.
Он чем-то видел,
рубцами ран? Лицом?
Довольно гадать: слезами.
Ходил от одной картины к другой,
словно листал, шел тише, тише,
и стал,
и долго стоял слепой
перед пустой нишей.

1963

ЛИВЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Душно. Люди. Июль.
Дождь вцепился в бетон.
Припаял свои желтые струи к стеклу.
Город молча бредет.
По колена — Гудзон,
Город рот утирает,
Прислонившись к углу,
Я смотрю ему в зубы,
Как смотрят коню,
Это желтые струи грызут мои окна.
Поброжу. Выхожу.
Дождь на парк-авеню.
Я твой гость.
Ты намок.
И я тоже намокну.
Душно. Дождь.
Я бреду по колена,
Мне на руки просится мутный ручей.
Ему так одиноко, степному,
Средь каменных зданий.
Америка!
Это ты затерялась крохотным пламенем
Под ногами теней!
— Ты чей?
Я молчу, пробираясь
Между задами автомобильных трупов.
Желтый день. Ливень. Сель.
Я стою наконец под навесом
У входа в отель.
С визгом женским машины,
Машины взлетают из желтой гущи,
Вылетают на сушь.
И отряхиваются, как гуси.
Расселина между домами
Ветрами полна.
Вихри воды по лицу
Сапогами колотят.
Голубая машина
Барахтается, как волна.
Голубая волна океана.
В желтом болоте.

1963

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В гостинице «Украина» я опустошил один цветочный горшок. И никак не мог объяснить горничной, для чего мне эта земля.

...Пока я поднимался на корабль,
мне грубо подарил мой друг-араб
портфель с Талмудом, Библией, Кораном.
Он счастлив был, увидев, что я рад.
Еще халат золототканый шейха,
чалму зеленую, платок на шею.
Жена его, прощаясь, Хадиша,
лицо открыв, сказала мне:
«Хаджа»...
Я рад всему,
тому, что уезжал,
тому, что возвращаюсь,
что достал я
пращу средневековую,
кинжал
дамасской, синей, легендарной стали.
В Москве я вспомнил,
что не взял земли.
Священной пыли горсть
с полей аллаха.
Ждет не дождется бабушка Зали!
Не привезу — старуха будет плакать.
Горсть пыли из цветочного горшка —
в платок,
в портфель с библейскими вещами,
горсть желтого земного порошка!
Земля везде, по-моему, священна.
Я рад тому, что выполнил обет.
(Любой хаджа — обманщик и пролаза.)
Не ахай, бабушка, чтоб не накликать бед,
и не любуйся внуком,
чтоб не сглазить!
Убережет от злобы и от зла,
от родичей недобрых,
от обмана
священная московская земля,
зашитая старухой в талисманы.

1963

МОСТЫ

Отвесный известняк и краснозем.
Я вспоминаю Вахшскую долину.
Над узкой жилой Вахша вознесен
нурекский мост
из дерева и глины.

Мне вспомнятся ливанские граниты,
построенные в римское каре.
Спаситель, покровитель моранитов,
стоит, раскинув руки, на горе.

Чуть ниже — римский мостик караванный
древней Христа — над пропастью реки,
как продолжение моей руки...
Проходит мул, нагруженный дровами.
А ниже —
камень, а на нем араб.
Он удочкой вылавливает в жиже
коричневых угрей, он страшно рад,
что труд его заметили.
А выше!—
Над полночью ущелья,
словно месяц,
на синем небе светит
черный свод.
Над пустотой ущелья,
словно мениск,
горами согнутый,
мост каменный живет.
Они живут (объединив породы)
над рвами необузданных стихий.
Мосты —
мои сутулые дороги.
Мои стихи.

1963

НОЧНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Ты как мед,
как вспомню — зубы ноют,
ты как шутка,
от которой воют,
я ничтожен, кто меня обидит!
Видел ад, теперь бы рай увидеть.

Ах, зачем тебя другие любят,
не люби, да разве это люди.
Они ржут, собаки, до икоты,
это же не люди, это — кони!

А когда язык ломает зубы!
А когда глаза сжигают
веки!
Как, скажи, мне брови не насупить,
глянуть —
и остаться человеком!

И лягушкой ночью не заплакать,
я люблю тебя,
как любят квакать,
как вдова — кричать,
как рыба — плавать,
я люблю тебя, как слабый —
славу,
как осел — траву,
как солнце — небо.
Ты скупа, тебе прожить легко,
даже нищий дал мне ломоть хлеба,
как дают ребенку молоко.
Если б звался я, дурак, Хайямом,
если б я, проклятый, был Хафизом,
если б был я Махамбетом, я бы!..
Только все стихи уже написаны.
Так в горах любили и в степях,
так любили — и смеясь и плача.
Разве можно полюбить иначе!..
Я люблю тебя, как
я — тебя...

1963

ОКРАИНА

Когда жара сойдет
до теплоты,
фонарь согнется под вечерней ношей
и слабым отрицаньем темноты
свет верно служит азиатской ночи,
иду туда, где точки папирос
со всех сторон кошачьими зрачками,
где в мае по спине моей —
мороз,
где жизнь — копейка, если не нахален.
Здесь сладко пахнет старым воровством,
на седла брошенным девичьим вскриком.
Окраиной души горжусь родством
с негромкой, дикой слободскою кликой.

Темно, движенья белые видны,
скамейка занята, на ней колдуют —
ух, женщина ему за ворот дует,
сорочку отдирая от спины.

Взошла луна.
В тиши журчит вода.
Собака спит.
Спит сторож с алебардой.
Под яблоней — забытая лопата.
И овощной ларек,
закрытый навсегда.

1963

КОНЦЕРТ НА ФАБРИКЕ ИМ. Ю. ГАГАРИНА

Швеи сидели в пальто, положив руки на колени.
Мощно хлопали по знаку профорга.
Я стоял в дверях, рядом лениво чавкал
завстоловой Ахмет.
Объявили худого татарина со скрипкой:
«Цыганские напевы».
По залу прошел смешок.
Скрипач грустно настроил инструмент. И —
«Цыганские напевы» Сарасате,
цыганские разливы,—
гей, цыгане!—
веселые, усатые красавцы.
Сказал Ахмет:
«Плохой национальность».

Свалились пряди на террасы скул,
летают как испуганная стая —

«Кочует с черных гор весной аул,
и каждый год одно седло пустое».

Кочует удивительный народ,
в Исландии их встретишь,
на Аляске,
ни дома, ни покоя, ни ковров,
шальвары рваные,
но сапоги — до глянца!

Плывут костры,
заплаканны акынами,
бредет по струнам верблюжонком кюй[1],
за ним бегут сто верблюдиц покинутых.
Уйди из-под смычка и возликуй!
Мы падали,
придавленные крупом,
последним криком думали о нем!
Народы гибли, думая о глупом,
о верблюжонке беленьком моем.

Лопатки прыгают под пиджаком.
В глазах Ахмета появилась ярость.
Смычком работая, как наждаком,
снимал худой,
сдирал с Ахмета ржавость.
Скрипач был тот еще —
играл в Большом театре
(воспоминанья на лице татарина),
в Гайд-парке,
в фестивальном зале «Татра»...
Запомнит ли он фабрику Гагарина?
Профорг забыл дать вовремя сигнал,
работницы взгремели без сигнала,
Ахмет с лица мечтательность согнал:
«Эй, гражданин, давай нам про цыгана!»
Ахмет дышал мне в ноздри горячо,
и не мутил меня чесночный запах,
давил Ахмет,
давил мое плечо —
«Кочует с черных гор аул на запад.
На край земли, по краю
и за край!»
Ай, как скрипач играл тогда расстроенно,
он никогда так плохо не играл:
его давно так музыка не трогала.

1963

[1] Кюй — музыкальная пьеса (каз.).

ЧЕРНЫЙ ЖАВОРОНОК

Эдуард Багрицкий птиц любил.
В кабинете маленьком орали
попугаи, кенары, ульбилы,
чижики...
Молчал —
караторгай.
Жаворонок из Тургайской области,
он степям своим давно наскучил.
Мы ему: «Лети на юг!»
Не хочет.
Прячется,
дрожит в Тургайской области.
Ежится.
Зимою там бураны.
Неприятные,
по десять баллов.
В шерсть (как в сено) на спине барана
закопается и дрыхнет, баловень.
А чабан поймал полузамерзшего
и отдал проезжему газетчику.
Тот продал караторгая летчику,
летчик — подарил.
Поэт поморщился.
Но подарок принял,
сунул в клетку,
в дальний угол, на пол.
Чай распили.
Гость поправил синюю пилотку.
Улыбнулся. Улетел.
Разбился.
И Багрицкий в телеграмму плакал.
Кенары кричали, попугаи
равнодушно брякали:
«Дурак».
На полу молчал караторгай.
Он молчал, мой жаворонок черный.
О, молчанье —
это тоже голос.
Он молчал.
Он потерял еще раз
свой Тургай,
заснеженную область.
Улыбаюсь жизнелюбым гениям!
Договоры с жизнью расторгая,
человек припас на случай кенара
и навечно взял караторгая.
И когда я приезжаю в область,
я подолгу слушаю ночами:
жаворонок под огромным облаком
голосит о родине молчаньем.

1963

СЕНТЯБРЬ В БИБЛОСЕ

Я в разбитом библейском городе.
Он сорок раз вырезался на совесть.
До глин выжигался.
Съедался до корки.
В арке сушатся чьи-то кальсоны.
Здесь когда-то прошли бои,
тени в развалинах, как потемки.
«Чьи кальсоны?»
Подходит —«Мои!»—
Сторож, аракою возбужденный.

За бакшиш он покажет мне
несколько надписей ассирийских,
пару египетских, пару еврейских
и Македонского на коне.

Рыцари освободили от римлян
или римляне от крестоносцев?
Он не помнит,
здесь рыли, рыли,
вырыли череп Навуходоносора.

Турки долго освобождали,
освобождали просто отчаянно.
Пять столетий освобождали!
Турков выгнали англичане.
В Библос двинулась цивилизация.
(Он произносит «сифилизация».)
Арабский язык удивительно мягок,
он с каждого слова
кору снимает.
Страж здоровенный не знает лукавства,
гордо и просто живет Фатих,
врачей презирает,
из всех лекарств
знает только презерватив.

Он ведет меня в маленький садик,
в трон царя ассирийского садит
(лично выкопал).
«Кофе? Чай?»
Пьем густое вино у ручья.
За оливами — огород.
В сентябре — кукуруза. Не поздно?
Рожь — не принято. А горох?
Удобряешь? Тоже навозом?

Хозяин рысью уходит в дом
и возвращается тоже рысью
с хорошим пловом,

а дело в том —
хорошие урожаи риса.

...А за дувалом — горы Ливана,
террасы посадок, пальм веера.
В разрушенном городе —
запах лаваша,
так украшающий вечера.

1963

СЛОВО ДУРАКА

Если с материнским молоком
это зло в тебя вошло здоровьем,
добрым тебя сделать нелегко
всем земным, вселенским всем коровам.

Если бы земля была чужая,
если бы жена была слепая,
я бы мог нарушить свои клятвы
и к тебе направить свои взгляды.
Я боюсь сегодня только страха.
Горше всех лекарств мое участье —
стариком иду к любой старухе,
я осколок, если ты — на части.
Тигром я бываю среди тигров,
в доме обезьян я — обезьяна,
в тишине я проплываю тишью,
на луне
ночной луной сияю.

Растопырь, мудрец, большие уши,
щедрость лучше скрытых кладов.
Правильно.
Даже дурака, мудрец, послушай,
если он, дурак, расскажет правду.

1963

ШАШКА

Я шашку нашел в сундуке
и понес на базар.
Эй, чернорукий точильщик,
сколько запросишь —
вылизать лезвие,
чтоб засиял узор?
Это — поэзия,
правщик кухонной прозы.
На, доверяю, точи:
она в сундуке залежалась,
так навостри,
чтоб не рубить, а делить,
чтоб рана на теле
тонкой была, как нить,
чтобы кровь не чернела обиженно,
а смеялась!

Точильщик —мужчина грубый,
и тот растревожен звездами,
грудой у ног чернеют ножи домашние,
полдень зачеркнут звездами,
в синих молниях — воздух,
в сонном, саманном селении
остро запахло Дамаском.
Жми на педаль истертую,
дуй на лезвие,
пусть подождут уныло
кухонные ножи,
к черному кругу жмется
жизнь, жизнь, жизнь!
Жми, пока не источишь
линию в синюю точку.
Гаснут послёдние искры,
мы были
искренни, искренни!..

1963

САМУМ

Засыпает кишлак песком,
засыпает, мне страшно
очень —
ни бежать, ни уйти пешком,
с минарета кричать
до ночи.

В этом веке последний крик,
век плывет над пустыней вихрем,
он несет в себе сто коряг,
сто стволов из оазиса вырвав.

Укрывая ладонью рот,
укрывая глаза ладонью,
я оплакиваю свой род,
это поле и сад плодовый.
Плач по горло заносит песком,
он выходит, идет,
проваливаясь,
выползая,
ползет ползком,
по песку
следом — след кровавый.
Минарет над пустыней торчит,
воет
длинно мордой собачьей.
Засыпает кишлак таранчи[1],
засыпает и засыпает.

1963

[1] Таранчи — земледелец (тюркск.).

ГЛИНЯНАЯ КРУЖКА МОПРа

(Рассказ)

Двадцать какой-то год
В каком-то зеленом городе.
Желтое лето. Пыль. Верблюды и дыни.
А по утрам находят людей
С перерезанным горлом.
Мусульманам вещает городская газетка
О бедах Румынии.
На базарах,
Везде, где толкаются с деньгами,
Ходят сборщики МОПРа с крупными
кружками.

— В Руре гибнут рабочие...
— Брысь от меня, бездельники!
Разве с кружками просят золото!
Надо с оружием!
Хо-хо-хо!—
Ходят сборщики МОПРа,
Злые, в рваных халатах,
И, намаявшись, тащат в райкомы
Нищую медь.
Младший сын Бек-Назара,
Подумав, сказал:
— Ну, ладно,
Я — секретарь.
Мне — надо уметь.
«Мусульмане!
Сегодня по землям аллаха идет
курбан-айт —
Великий жертвенный праздник.
Сегодня готов аллах простить нам
Грехи великие за щедрость великую нашу!»
У дувала мечети хаджи Бек-Назара
Ярмарка нищих!
Каждый тащится на собственном ишаке.
Сидят и стоят разноцветные,
Сотни, если не тыщи.
Восток мой велик и в богатстве и в нищете!
Бывшие аламаны рисуют на лицах грусть!
В драных мехах!
Пыль горячая, как на пожарище!
Митька в грязной чалме тянет солдатский картуз:
Подайте на горькую, ради аллаха,
товарищи!

Гордо верблюды проходят, пыля...
В кости под сенью урючин режутся.
Улочка — узенькая Земля,
Воины, встретившись, не разъедутся.
В чоновских бутсах, из кожи свиньи,

В куртке с наганом сын Бек-Назара
В шеренге нищих кружкой звенит.
Смотрит прищуренными глазами.
— О-о! Люди! Чтоб я ослеп!
Он собирает таньгу на калым!
— У Советов нет золота, чтоб заплатить
За красавицу Гюль!

У хаджи Бек-Назара не хватит волос,
Чтоб сединой за позор расплатиться!

— Сын Бек-Назара стал нищим,
Поможем ему, правоверные!

И под халатами лапают
Потные револьверы.
— На!—
Как в лицо,
Первый пятак
В кружку летит плевком.
— На!—
Это счастье — бросить медяк
Сыну хаджи Бек-Назара.
Богатые мстят от души:
— Да помянет тебя ревком!
Бедные мстят торопливо ему
За отца, подлеца Бек-Назара.
Бухарское золото и советское серебро!
Срывают тугие перстни с масленых пальцев!
— На!—
И халаты хивинского шелка.
— Ох, и добро!—
Нищие привстают и завистливо пялятся.

Почернело лицо у мечети отца,
Глаза как две черные раны,
Над их головами горят,
— На!—
Так полосуют, наверное, мясо лица,
Так в последнем бою обреченные
— На!— говорят.

«Тот может плеваться, пока богат,
А ты почему засучил ногами?
В лицо мне метишь.
Им страшно, гад.
Им рай уготован моим наганом.
Твой сын на базаре
С такой же кружкой
Бегает, просит в твоем старье.
Он завтра подастся учиться к русским
На узком каике по Сырдарье
И там, в протоке,

Из зарослей чия
Ударят залпом вот эти псы.
А ты хохочешь с убийцами сына,
Отец Мусы?
Смейтесь, я знаю, в оскалах — яд,
Плюйтесь, я верю, это не ложь,
В бою обреченные:
— На!—
Говорят.
Я обречен, но скажу:
— Даешь!..
Я пойду. Надоели старые лица.
Я посплю, и пускай кому нужно —
Молятся,
Забастовщики Рура мне будут сниться,
Гюль и румынские комсомольцы».
Но сон оборвут.— На!— ударят в постели
Железом, каким забивают корову.
Дорежут, поставят около тела
Кружку МОПРа, набитую кровью.
А кто убийцы?
Отец Назар?
Или проклятый отец Мусы?
Дело милиции.

1963

РУСЬ ВРУБЕЛЯ

Край росистых лесов
и глазастых коней,
россыпь рубленных сел,
городов изваянья,
и брусничные ночи,
и россыпь огней.
Росомашьи размашистые расстояния.
Жизнь — и выдох сквозь зубы,
и радость, и грусть.
Глупость осени. Шубы.
И русое небо.
И морозы.
И странные взгляды Марусь.
И хрустящие, жаркие
щеки хлеба.
Я могу перечислить —
весь мой рассказ:

Русь — река под обрывом,
и это не мало.
Ночь июльская. Ивы. И месяц раскосый.
Я, как ты, задыхаюсь,
когда обнимаю...

1963

* * *

Огромные дома, дымы огромные,
огромный дуб.
Огромные шаги. Глаза огромные
ей так идут.
Дистрофик долго говорит о стройности,
почти кричит.
Огромно стыдно ей своей огромности,
она молчит.
Люблю я барабаны, и органы,
и геликон.
Мне надоела скромность,
я приветствую,
что велико,
уж если скрипка — пусть она заухает,
как контрабас,
люблю я не чаи — пиры на кухне,
под керогаз.
Большие руки, ноги, бедра толстые —
а вот люблю,
и платья у нее вовсю цветастые,
а вот люблю,
хожу за ней и жду ее приветствия.
Я так люблю
искать в природе ей несоответствия.
Все больше их.

1964

ПЯТЬ

На африканских и азиатских кладбищах вы увидите надгробные камни с изображением человеческой руки.

Ныне живущие,
вам предстоит доказать
доброту оскорбленных.
Вам еще вспомнить смысл древнего жеста —
пять.
Надгробные, грубые стелы
кладбищ запыленных.
Я вижу на камне
детские пальцы
распятые.
Ныне живущие,
не забывайте ушедших —
молнии Паганини
и пятерню самолета.
Цепкие пальцы молча тонущих
женщин
я бы повесил на горло свое амулетом.
Лживые кличи передаю другим.
Век,
как всегда, недолгий,
я проживу с кулаками.
Умру,
и вырежет старая мать
на камне
вскрытую кисть
правой моей руки.

1964

НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА

Поэт красивым должен быть, как бог.
Кто видел бога? Тот, кто видел Пушкина.
Бог низкоросл, черен, как сапог,
с тяжелыми арапскими губами.
Зато Дантес был дьявольски высок,
и белолиц, и бледен, словно память.
Жена поэта — дивная Наталья.
Ее никто не называл Наташей.
Она на имени его стояла,
как на блистающем паркете зала,
вокруг легко скользили кавалеры,
а он, как раб, глядел из-за портьеры,
сжимая потно рукоять ножа.
«Скажи, мой господин,
чего ты медлишь!..
Не то и я влюблюсь, о, ты не веришь!..
Она дурманит нас, как анаша!..»
Ох, это горло белое и плечи,
а грудь высокая, как эшафот!
И вышел раб на снег в январский вечер,
и умер бог,
схватившись за живот...
Он отомстил, так отомстить не смог бы
ни дуэлянт, ни царь и ни бандит,
он отомстил по-божески:
умолк он,
умолк, и все. А пуля та летит.
В ее инерции вся злая сила,
ей мало Пушкина, она нашла...
Мишеней было много по России,
мы их не знали, но она — нашла.
На той, Конюшенной, стояли толпы
в квадратах желтых окон на снегу,
и через век стояли их потомки
под окнами другими на снегу,
чтоб говорить высокие слова
и называть любимым или милым.
Толпа хранит хорошие слова,
чтобы прочесть их с чувством над могилой.
А он стоит, угрюмый и сутулый,
цилиндр сняв, разглядывает нас.

1964

МУЗЕИ

I

В тех церквах молчат исповедальни.
«Любопытство заменило веру,
Римскую империю —«Италия!»—
говорят революционеру.
Толпою входим в крепости и тюрьмы.
«Здесь царь сидел на нарах,
как простой».
Пустая, неразрушенная штурмом...
Что может быть страшней
тюрьмы пустой?
«Здесь обретался вождь былых восстаний».
Горшок вождя. Подсумок для калош.
В шкафах — несбывшиеся предсказанья.
Так объективной правдой стала ложь,
так преломилось время в нашей призме —
эпохи олимпийских революций
прошли,
настали времена туризма,
но крепости, дворцы и тюрьмы
лучшие
не рушатся,
стоят на всякий случай.
Дни пасмурны в музейных городах,
как в исполинских полутемных залах,
молчит гранит на серых площадях,
зато отчаянно живут вокзалы,
выбрасывая жирную толпу,
полки самоуверенных туристов,
штурмующих, берущих на испуг
бастилии музейные —
неистов
жующий, пестрый, равнодушный
приступ.

II

О город — сын поэм, душевных бурь,
романтику легко стать ретроградом.
Иду, вхожу в твой зимний Петербург,
хочу пройти весенним Петроградом —
пасхальную увидеть карусель,
услышать: «Что-то доброе воскресе...»
И там, где вечно на приколе крейсер,
кормить французской булкой карасей.
Увидеть лица
гипсовые, впалые,
воротников крахмальные ошейники,
манжеты, словно белые кайданы,

под черными, крылатыми шинелями.
Великих критиков граниты финские
торчат на площадях и смотрят слепо:
пошел весь мрамор петроградских
фидиев
на плиты гробовые и на склепы.
На карте времени я укрупню масштаб,
чтобы увидеть главное попроще —
жить на Конюшенной,
глядеть в закат с моста.
Не быть прохожим
на Сенатской площади.

1964

* * *

Загнали кондуктора под потолок.
Троллейбус везет к стадиону
болельщиков.
Ужасное чувство локтя,
в каждом боку — по локтю.
Я уважаю общество, но
полегче!
Я охраняю девочку
с тонкой теплой спиною.
На каждой стоянке в троллейбус
влезают восстания.
Кости мои,
да здравствуйте!
Плечи и ноги — к бою!
Что мне проклятый футбол,
когда ей на свидание!
Я не знаком,
я за нее отвечаю,
кондуктор кричит,
раздавленный безбилетными.
Не бойся,
тронут хоть словом,
клянусь — одичаю!
Сестренка,
твоя остановка,
сходи, отвечай за себя...

1964

УТРО ПОСЛЕ ШТОРМА

Зеленое море, тонкие пальмы,
желтое зарево совершенства,
я всю ночь простоял на палубе —
прибываем без происшествий.
Над окошками дым лаваша,
бабы черные, как головешки,
муж, сутулый и головастый,
неумело седлает лошадь.
Очень много цветов загара,
сверхизбыточные мазки.
Прикрывая собой Сахары,
пальмы тянутся на носки.
Прикрутили к причалу канаты,
в чемоданы — гашиш? Отдали.
Вот и Африка.
Кто-то скандалит —
ему надо было в Канаду.
Берег
с тропками, арыками,
мирный мир после варварства ночи.
Море тихо на пляж выносит
пену, взбитую ураганами.

1964

ШЕПОТ

О, восходы какие
Над великим Египтом!
Тают лица нагие
Под прозрачной накидкой.
Над пустыней,
Над миром.
— Для чего?
— Так, для вида.
Словно девичьи груди,
Плывут пирамиды...

— Караван-баши...
Караван-баши...
Плавно тают в тени верблюды...
Кто идет?
Паломники?
Торгаши?
Кто идет караваном?
— Люди...

По песку многоточий
К колодцу ответов...

1964

НОЧЬ СВЕРШЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ

Ночь.
Тепло.
На ковриках шепчутся старики.
Месяц бровь приподнял.
Словно в удивлении.
Камни на стремнине
Бешеной реки
День и ночь свершают
Обряды омовенья.
Люди аллаху приносят
Дозволенные желания,
Люди назойливо просят
Свершенья ночных молитв,
Немного земного счастья
Вымаливают мусульмане,
В ночь Лейля-ули-кадр
Свет над землею пролит.
Пыль поредела на тротуарах,
Как борода.
Люди шагают.
Саманные стены мечети молчат.
Дети проходят мимо мечети,
Словно года.
В дряхлой руке минарета —
Гнутая тень меча.
Шелком чалмы развитой
белеет в траве арык.
Яблони моют корни
в седой воде.
В ночь Лейля-ули-кадр
Я, как старик,
По бетонным коврам площадей
Брожу и шепчу о тебе,
Да свершится мое желанье!

1964

АЗИАТСКИЕ КОСТРЫ

Мы помним то,
равняющее всех,
его в людской истории немало —
когда-то ночью к вам пришли шаманы
для добрых дел и правильных бесед.
Они зажгли огонь и научили
беречь огонь
и кланяться огню,
лечить огнем радикулит и чирей

и научили подходить к коню,
и верить Солнцу,
и гадать по звездам,
от них пошло — и танцевать и петь,
от них вы почитали только весны,
от них — пахать, выращивать и печь.
От них ковры и ваши самолеты.
От них, старателей, пошел алмаз,
их в жертву приносили
самоеды,
но и в огне они учили вас.
Шаманы гнали свет из слепоты,
из вашей глухоты для вас — Бетховенов,
Гомера выплавив из темноты,
еще не знали, что им уготовано.
Они добыли в молотой руде
каратами
талмуды и кораны,
в ручных лотках сахáрами,
горами,
перемывая миллиарды дел.
И все для вас — вы лишь качали мед,
вы шли в курильни, опиумы пили,
алмазом слова, золотом имен,
всей платиной надежд за дым платили.
На канах теплых
с трубками в зубах
валялись,
чтоб валяться под забором,
чтоб снова —
азиатом, кулом[1], вором,
собакою среди других собак.
Когда вам говорили:
заплати,
когда ни пула, ни таньги, ни мана,
вы жгли
для дыма
на кострах шаманов,
придумавших костер для теплоты.
Страданьем?
Нет, старанием велик
мой странный мир,
родившийся старателем!

О Азия, ты стольких нас
истратила!
Опять костры для дыма
расцвели.

1964

[1] К у л — раб. (каз.).

КРАСНЫЙ ГОНЕЦ И ЧЕРНЫЙ ГОНЕЦ[1]

[1] По обычаю, красного гонца награждали, черного вестника казнили. (Примеч. авт.)

Перелески, холмы, задыхается конь,
без дорог, напрямик
мчит веселый гонец,
пот соленой корою застыл на лице,
он сменил пять коней,
пять коней, пять коней.
Сбросил кованый шлем,
бросил кожаный щит,
меч остался в полыни,
копье —
в ковылях,
лук бухарский в песках Муюнкумов
лежит.
И ржавеет кольчуга в хлопковых полях.
Только знамя в руке!
Полуголый гонец
знак победы — багровое знамя —
не бросил.
Это знамя дало ему
семь коней,
семь коней,
семь коней,
тонконогих и рослых.
Это знамя поило айраном его,
на привалах валило под ноги баранов,
беки жарко дарили ему —
ого-го!—
лучших девушек, плачущих,
но не упрямых!
Но упрямый гонец на привалах не спал.
«Славься, город, прославленный арыками!..
Поздравляю с победой!..»
Тогда он упал,
закрывая скуластую морду
руками...
Ваша радость, народ,—
это слава его!
Пусть о нем говорят на орлиных охотах.
Слава!
Слава гонца
громче славы бойца,
где-то павшего без вести за свободу.
Подарили ему арабчат и рабынь,
если хочешь — любую, а хочешь — троих!..
Он молчал, обнимая свою рябую
и детей босоногих, чумазых своих.

...Тише, люди!

Хрипит, задыхается конь.
Без дорог, без сапог, огибая кишлак,

Мчит угрюмый гонец,
он ушел от погонь.
На копье раздувается
черный флаг.
Флаг жалеет его — не спеши,
не спеши
головой отвечать за бесславный конец!
За измену сегуна[1].
За трусость падши.

Разве ты виноват,
что ты черный гонец?
Разве ты виноват?..
Враг идет в Бесшатыр.
Он стотысячным топом линчует аулы,
пот съедает глаза, конь хрипит.
О батыр,
лучше б ты под копьем умирал
ясаулом!..

Ты хотел, так хотелось быть красным гонцом!
Перед женами, матерью, перед отцом
ползать, плача от счастья,
дары принимать!..
Прячься, глиняный город!.. Прости меня, мать!
Дед, кончай свою долгую жизнь, не тяни,
пока честен, влетай в свое небо стрелой.
Жены, жены, бросайте детей со стены!
Пейте яд! Обливайтесь кипящей смолой!

1964

[1] Сегун — вождь (древнетюркск.)

СУХОЕ ВИНО

(На археологических раскопках в зоне будущего Шардаринского водохранилища в Мырза-щёле[2])

Глины.
Глины пятицветной — залежь,
кустики джусана, тамариск,
и барханы желтые, как зависть,
к Сырдарье, качаясь, прорвались.
Задавили город Шардару,
поделили ханские наделы
и глядят, глядят на Сырдарью,
на твою последнюю надежду.
...Били бубны, и звенел курай,
в стены клали свежую дерницу,
бог луны благословил твой край,
я нашел в кувшине горсть пшеницы.
Вот на камне выбита строка,
звенья глиняных водопроводов,
изменила городу река,
и ушли бродяжничать народы.

[2] Мырза-щёль — название местности в Южном Казахстане, букв. «Госпожа пустыня».

А в другом кувшине —
вот оно!
Зря мои ребята лезут с кружками,
режу на квадратики вино,
крепкое, увесистое, хрусткое.
Старики, я получил дары,
возбужден тысячелетним градусом.
Океаны в глине Шардары!
Режь лопатой, находи и радуйся.
...Радость захоронена в степях,
может, глубоко,
а может, рядом,
мы живем и познаем себя
по закону сохраненья
радости!

Может, был я посохом хаджи,
может, был я суслом
для наливки,
может, на губах я не улыбку —
женщину таразскую ношу.
Может,— первым зернышком
маиса,
первым клином
первого письма,
Родины мы были просто
мыслью,
помогавшей вам
сходить с ума.
О, всегда мы возникали вовремя!
Морем —
в самых неморских местах,
ради родин забывая родину,
родину, утопшую в песках.
Мы вернемся,
если не забудем,
гордостью, чинарой,
чем еще?
Может, просто ветерком
попутным —
парусником моря Мырза-щёль?
Не надумано мое хотенье.
По закону сохраненья
дум
я в тенистый Мырза-щёль не тенью,
гордостью осознанной приду.
Сантиметры в полотне найдутся.
Жаркой охрой улыбнись, маляр.
Мырза-щёль, смущенная натурщица,
родина последняя моя...

1964

В. ЖИВУЛЬСКОЙ, ПОЛЬСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕ, БЫВШЕЙ УЗНИЦЕ ОСВЕНЦИМА

Я сижу в полосатом сквере на полосатой скамейке.
Я провожаю осеннее белое солнце.
Шорох страниц у меня на коленях,
Лень.
Розы багровые, желтые, черные розы несут.
Розы дарят сегодня гостям и любимым,
розы, как язвы на женских костлявых спинах.
Девочка ест мороженое. Зуд.
Девочка в школьном переднике.
У нее на губах сливки,
как белая пена у рта эпилептика.
Липкая...
В 42-м мальчик бараньего мяса хотел,
прошу, приплюсуйте и это к счету.
В 43-м он черного хлеба хотел,
прошу, не забудьте и это — к счету.
В 44-м он красной свеклы захотел,
а в 45-м,
когда старики становились ребятами,
на вокзале стоял, ожидая родичей,
целую роту...
Он совсем одичал, он потел,
он кричал до икоты.
Мальчик мало что понимал.
Он не знал, что отняли не только
мужчин у него.
Как письмо запоздалое, тощая книга
лежит на коленях...
Пусть унижают солдат, но не трогайте
женщин!
Кому посвящать слова?
Этим? Обритым наголо тифом?
Измазанным желчью, словно губной помадой?
Этим? Которым отказано
в мясе, в хлебе, в свекле
и в письмах маме?
В плаче, в грусти, в тепле отказано,
не отказано только в пекле,
в бегстве, в петле
и в глотке газа?
Этим женщинам нет снисхождения!..

Жалостью,
тощим телом воняли!
Это может быть наваждением —
женщину у поэта отняли!..
Хочется быть раздетым и не стесняться,
Хочется быть одетым и не бояться,
хочется жить, как дети,
чтобы смеяться.

Хочется так, как эта, в школьном переднике,
в сливки морозные сладко губами
вгрызаться,
морщиться,
но не от холода ассоциаций.

1964

* * *

Встречаемся мы часто за Тоболом
в лесу. В траве осенней полежим
и помолчим.
Я снова чист с тобою,
как в твой Тобол впадающий Ишим.

С деревьев красные сползают ливни,
трава в багровой лиственной крови,
я навсегда запомню, как счастливо
глядел на нас кузнечик из травы.

В твоем лесу ничто не враждовало,
скользили блики света по траве,
и по руке твоей, как по тропе,
шла муравьиха
и ушла,
пропала.

Все птицы пели что-то без названья,
за всеми кленами молчал Тобол.
Что было бы, не будь тебя? Не знаю.
Что было бы, не будь меня с тобой?
Всех, на тебя похожих, не обижу,
деревья белые беречь я буду,
и каждый раз, когда тебя увижу,
я самым добрым человеком буду.

1965

АКТЕР И НОЧНОЙ ГОРОД ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

Притворяется мост
черной радугой,
притворяется лондонским дождь,
вот в ладоши стучит,
а не радует:
Невский в шлепанье мокрых подошв.

А болезнь притворяется гриппом,
эта женщина — недоступной,
отворяется дверь со скрипом,
затворяется дверь со стуком.

Гость ее притворяется штатским,
но не очень, а так,
на пятак.
Притвориться бы принцем датским!
Посоветуйте, маршал,—
как?

Убеждали: талант — притворство,
не согласен, хочу открыться,
проявиться, проникнуть, пробиться
в притворенные ваши лица.

Мы, счастливцы, отступим в чувства,
неудачники — не отступят,
обнимают они до хруста
и садятся на стул со стуком.
И варенье жрут ложкой
флотской,
лепестковое, из Казанлыка,
им достаточно воли плотской,
ни к чему им души волынка.

Они душу — за пару весен,
всю, которая им досталась,
они — в лето, мы сразу — в осень,
все минуя лета,— в усталость.

Мы бездарны, и вам это нравится:
к дуракам снисходительно зло.
Мы угрюмы, чтоб вам было радостно.
Мы печальны, чтоб вам повезло!..

1966

НЕ ЖДИ

I

Бродят в сумраках косые,
тощие дожди,
по лесам проходят злые, тонкие дожди.
По Нью-Йорку кадиллаком
проплывает дождь,
за окном залитым лает на прохожих дог.
И сияют, как отели,
горные дожди,
и бушуют, как отеллы, черные дожди.

II

Слушай сказку Аль-Темира
о делах вражды:
«Закурили трубку мира
у костра вожди.
А костер дышал в тумане
пламенем пустынь,
и сидели атаманы
плача, как кусты.
И по лицам их стекали
белые дожди,
говорили не стихами,
говорили так:
«Кто в пустыню эту бросит
шлепанье подошв?
Кто согласен?»
Слово просит
океанский дождь.
Он в песок вонзает бивни,
словно якоря,
и обильней летних ливней
слезы дикаря.
Бьется серебристой рыбкой
в неводе дождя
белозубая улыбка
моего вождя!
Если хочешь — будь счастливой,
буду страшно рад.
Хочешь? Хочешь! Мое слово
может вызвать град.

1967

* * *

Вражда, приветствую тебя, вражда,
когда ты проявляешься поэзией,
сегодня, может быть, как никогда,
мои любовные стихи полезны.
Мы для проклятий не находим слов,
нужны к такому случаю глотанья,
и бормотанья, сбивы, запинанья,
и треск, и скрежет
выбитых зубов.
В окно глядят верблюды —
это горы,
с портрета не Джульетта —
это ты,
на тумбочке забытый том Тагора,
стакан немытый —
это тоже ты.
...Уходят женщины в эпоху Блока,
там им неплохо,
там — позавидовать далеким мамам,
Прекрасным Дамам.
Уходят женщины к озерам дальним,
к забытым станам,
в шатры уходят, чадру накинув,
к другим скандалам.
Уходят женщины, их платья длинные
в крылатых складках,
и каждым взглядом
зовут мужчину
сверкнуть булатом.
Мерцают реки в густых ресницах
склоненных ив,
уходят женщины, чтобы присниться.
Забудем их.

1967

ЧЕЧЕНСКИЙ КОТЕЛ

Вблизи чеченского села Бамута найден
самый древний в мире котел.
(Из газет)

— Вы знаете, где озеро Козуна?
— Не знаю. Где?
— Там, где парит орел.
Все правильно, все верно,
все разумно —
кинжал искали,
а нашли котел.
Ребята-археологи копались
в земле села Бамута и нашли,
подчеркиваю,— не обломки палиц,
вейнаховский котел они нашли!
Когда-то в нем варилось
мясо тура,
он гостя выделял в семье
всегда,
он горд, когда он полный,
и сутулый,
казан мой, перевернут он когда.
Но он дошел до нас неперевернутым,
он устоял,
он полон был
землей,
землей чечни, как кости перемолотой,
горячей, выкипающей землей.
Холмы, холмы,
о горы моей родины,
как опрокинутые казаны...

1967

АЙНАЛАЙН

Обращение к дорогому человеку — «айналайн».
«Кружусь вокруг тебя»— подстрочный перевод.
«Принимаю твои болезни» и «Любовь моя»— смысловые переводы.

Кочую по черно-белому свету.
Мне дом двухэтажный построить
советуют,
а я, как удастся какая оказия,
мотаюсь по Африкам, Франциям, Азиям.
В Нью-Йорке с дастанами выступаю,
в Алеппе арабам глаза открываю,
вернусь,
и в кармане опять —
ни копья;
копье заведется —
опять на коня!
Последний ордынец —
к последнему морю!
На карту
проливы, саванны и горы!
А нас хоронили — ногами на запад,
лежат миллиарды — ногами на запад
под желтым покровом монгольской степи —
тумены ногаев, булгаров, казахов,
не зная, что
Азия западней
Запада,
Запад — восточней Китайского моря,
а нас хоронили ногами на запад!..
Шумит за спиною последнее
море.
Кружись, айналайн, Земля моя!
Как никто,
я сегодня тебя понимаю,
все болезни твои
на себя принимаю,
я кочую, кружусь по дорогам
твоим...

1967

ТРИ ПОКЛОНА

Я вычитал в одном угрюмом доме,
где и сейчас живут мои знакомые,
слова готической старинной саги
на серой стали аламанской сабли.
Горбатое зазубренное лезвие
в крутой резне истерлось,
буквы слиплись,
но кровь не смыла смысла рифмы
«лебен —
либен».
Поэты древние,
не забывайте нас,
я ухожу по городам и саклям
за доброй рифмой
на избитой сабле,
на хрупких горлах
потемневших ваз.
Уже рифмуют «ливень —
Каракум»,
пусть это непонятно дураку!
Уже созвучья «белое» и «черное»
встречаются на дальнем берегу.
Луна моя, не гасни,
освети,
я разберу, прочту чужие знаки,
поэму неба —
черную бумагу,
копирку
в строчках Млечного Пути.
Восход или Закат над человеком?
Мой век разбит на сутки и часы.
Но помню:
миг бывает равен веку,
когда взойдет созвездие Весы.
И в этот миг —
удар, удача, визги!
До дна опустошенная обойма.
Мгновенная, слепая слава воина
доступней мне
бессмертья летописца.
Восходы алые иль вечера?
Грань благородства
или благородия?
Смешеньем красок Завтра и Вчера
мы рождены,
пределы — наша родина.
Все больше нас выходит
из раствора
обидой взбаламученных племен,
идем землей,
проходим сквозь заборы

величественных родовых имен.
Весы торчали в этом небе
разно:
светящим колоколом
и столбом,
они — знаменья и беды
и праздника,
Весы опять восходят над тобой.
Рождается еще один Высокий
Миг
в мире нашем, ждущем перемен.
Ты чувствуешь:
от запада к востоку
мир человечий привстает с колен?
Ты чувствуешь:
вновь шевельнулся разум,
залило книги краскою стыда?
Не говори, что мы идем туда,
где сбудутся
проклятья черноглазых.

1967

* * *

Мирзо Турсун-заде

В горах Памира медленный потоп —
сползает
туча тучная
каскадом,
разглаживая влажным животом
горячие растресканные скалы.
Проходят тучи по горам
пешком.
Гниют хребты, обласканные ливнем,
и оседают, гордые,
песком.
Ползут в долины.
Не верят каракумские барханы
былинам недалекой старины.
Жив облик башенной Тмутаракани
в могильниках гиссарской стороны.

С высот разрушенных уплыли облака.
Одно
стоит над брошенным песком,
как грудь
с последней каплей молока.
Грудь материнская
с сухим соском.
Пески молчат. Размолотый гранит,
все, что могу, даю,
возьми прохладу...
Пусть тень моя бессильна,
как проклятье,
но эту тень, пустыня, сохрани.
Я, серый клок тумана,—
твое небо,
что синь тебе, безбрежие постылое?
Когда уйду, скажи, моя пустыня:
«Пустыни там, где облаком
он не был...
Где не падала его тень».

1967

ПРОЩАНИЕ

Молчит мой зал.
Что мог, я рассказал.
Молчат седые, бритые,
обросшие.
Ну, так вставай
из добрых кресел, зал,
иди в буран.
Всего тебе хорошего!
Хорошего, не злого табака
для ваших долгих трубок,
капитаны.
Хорошей вам вселенной.
А пока
хороших снов, хорошего питанья,
квартир хороших,
кухонек и ванн,
ковров!
В соседи вам — друзей надежных.

Вот женщина.
Детей хороших вам,
а мужа вы
хорошего найдете!

А вот — шофер.
Он в думах о резине,
чабан угрюм —
подходит срок окота.

Я думаю:
Хорошей вам работы!
Хорошей вам Америки,
России!
Эй, мальчики столицы
и провинций!
Хороших вам поэтов
и провидцев!
Любите,
понимайте
хорошо
друг друга,
члены будущих правительств!
Про то — мечтайте,
думайте — про это,
живите
хоть немного осторожнее!
Живите завещанием поэтов:
они желают вам
всего хорошего!

1967

* * *

Были такие витязи.
Увидев женщину, слали с гонцом Послание Знакомства
и сидели в крепости, ожидая войны или мира.
Образец послания мне любезно предоставил Н-ский музей.

Слава, женщина, Вам.

«Что приятно для сердца,
прекрасно для глаз»,—
так сказал мой великий прадед,
известный миру отвагой и красноречием.
О себе я скажу стихами.

В одиночку не ходил на пир,
за двоих и яд
и сахар пил.
Если уставал я на войне,
знал, что враг мой
уставал вдвойне.
Дважды слов своих не повторял,
попусту не вынимал кинжала,
находил всегда — что потерял,
только то я брал,
что мне судьба давала.
Этого довольно, чтобы верить.
Прочитайте, повинуйтесь мне.
Я согласен отпереть вам двери
в полночь,
когда месяц на стене.
Будет все, что б вы ни захотели!
Если надо, пригласим ходжу.
...В общем, приходи,
поговорим о деле,
что-нибудь смешное расскажу.

1967

КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА

Есть у меня особые слова,
они сидят, нахохлившись, как совы,
в душе моей,
в крови моей бессонной,
и просится еще одна сова.
Я раздарил бы их,
но кто возьмет?
Всегда желанны соловьи горластые,
еще один бесшумный, темный год
летит в меня...

Теперь скажу о ласточке.
Ей провода под током — нипочем,
летит она над красным кирпичом,
над крышами Казанского вокзала,
спешит догнать, сказать,
что не сказала.
И унеслась, пронзая строй ладов,
и крылья — как раскинутые руки.
На проводах сидят ее подруги.
Как много над вокзалом проводов.
И будет мне дорога далека,
и каждый полустанок,
как — Казанский...
Развалины моих воздушных замков
напоминают эти облака.

1967

СЛЕДЫ

Безусловно,
след вот этот —
твой.
Тысячи следов, чего бы ради!
Птичками на белой мостовой,
словно на полях моей тетради.
...Символы моих ночных ошибок,
синие, как на лице ушибы...
Отыщу в толпе лицо любимое,
в словарях найду слова хорошие,
как собак — дорогами избитыми —
за́ город на свежую порошу,
на поля, от злых пометок
чистые,
там, где снег невеждой не зачитан.
Может,
ты лисинкой рыжей —
в горы?
Может быть,
волчинкой синей —
в соры?
Может,
куропаткой белой-белой
крестики по снегу раскидала?
Улетела тихо за пределы,
в жирные шиповники Китая?
И уже кресты ведут обратно,
в стороны, к обрывам,
в ямы, в горы —
черные вороны для порядка
проходили по полю проторенному,

протараненному, раненому снегу,
смятому, истоптанному страшно.
У крестов вороньих
о тебе я спрашивал,
и кресты мне отвечали:
«Нету».
Снег идет, следов
не оставляя.

1967

НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС

Сверкает рельс
полоской, как порез,
и по нему, как судорога,
тайно,
обрывком черной ленты телетайпа
проносится горбатый мой экспресс.
И поперечно — речки,
словно шпалы,
громадной шпалой —
ширина Яи́ка,
мосты считая, мой курьерский
шпарит,
на стыках тараторя, как заика.
Комком ревущим застревая
в глотках
ночных туннелей,
вырываясь — вот как!
Летит по склону черный,
как слеза
из глаза закопченного туннеля.
Глаза твои прощают,
прокляня!
Мелькает полустанок
старовера,
и машет мне с веревки
простыня,
словно
платок
нормального размера.

1967

АЗ ТЭ ОБИЧАМ

(урок болгарского)

Пьянее черного вина
чужого взгляда,
мне для гармонии — она,
а ей не надо.
Мне до свободы нужен шаг,
а ею пройден,
она предельна в падежах,
я только — в роде.
Она в склонениях верна,
я — в ударениях,
так выпьем темного вина
до озаренья,
поищем горькой черноты,
чтобы излучиться,
событью нужен я (и ты!),
чтобы случиться.
И разве не моя вина,
что не случилось.
И разве не моя вина —
не получилось.
И разве не моя вина —
не сделал кличем:
аз тэ обичам,
я люблю,
аз тэ обичам.
Перемещаются во мне
шары блаженства,
подкатывает к горлу ком —
знак совершенства,
скажи негромкое:
жаным, аз тэ обичам.
Подай мне руку,
есть у нас такой обычай...

1968

МИНУТА МОЛЧАНИЯ НА КРАЮ СВЕТА

...На краю самого южного мыса Индостанского полуострова — мыса Канья Кумарин — белеет скромным мрамором гробница великого непротивленца Ганди. На его долю пришлось пять выстрелов. Пять кровавых пятен на белой рубахе, пять кровавых кругов. Может быть, они подсказали художникам символ мира, который мы видим на белых олимпийских знаменах.

...В спину Ганди стрелял индус, не то националист, не то фанатик. «Сволочь!»— просто охарактеризовал убийцу мой спутник Чаттерджи.

Чаттерджи худ, выжжен зноем до кости. Силуэт его четко отпечатан на экране могильной стены.

В этот день в Америке свершилось насилие — убили негритянского гандиста Мартина Лютера Кинга. Индия почтила его память минутой молчанья. 500 миллионов минут молчания. Равно — тысячелетие.

За каждым выстрелом «какой-то сволочи» в культуре наступают века молчания.

О чем думал Чаттерджи в свою минуту?

I

...Мыс Кумарин, отбывает закат,
масса красивостей — пальмы и тодди[1]—
в кубке, отделанном под агат.
Тонкая штопка на бязевом дхоти[2].
Черные пятки — в твердый песок,
жилы на икрах сухих обозначив,
пьет, проливая пальмовый сок.
Я поднимаю глаза —
он плачет.
Дышит, пульсирует впалый
висок:

«Смотрит на Азию
Белый Глаз!
Небо чужое сглазило Азию,
черная матерь
с каждой оказией
беды свои досылает
до нас.
Азия — схема, стереотип:
голода схима,
холера, тиф.
Неразрешимый живот аллегорий,
прошлое в каждой строке —
редиф.
Смотрит на нас
Белый Глаз
кровью прожилок —
границами каст,
неприкасаемая свобода,

[1] Тодди — пальмовое вино.

[2] Дхоти — мужская одежда.

сгорбясь, уходит
в дебри фраз...»
Крашены солнцем заката двери
грустной гробницы,
лица,
слова.
Громадной далью валит на берег
неприкасаемая синева.

II

В азиях я говорил с тобой,
Глаз Голубой:
в европах встречался с Карим
и с Черным Глазом —
они меня на площадях искали,
в глуши библиотек,
они мне щедро подвиги сулили
во имя Азии,
страницами мне в душу
боли лили
и в мысли влазили
Конфуций
и ацтек.
Не лучше ли,
отринув имена,
уйти в орнамент
безначальных знаков!
Пить сладкое,
не обижая дна,
любить шенгель,
не предавая маков!
Наитием воспринимая мир,
цвета вещей не утруждая смыслом,
из чистых звуков
сотворив кумир,
смеяться — песнями
и плакать — свистом?
Но хлыст и выстрел
отвечали: нет!
Звук обнажает скрытые смятенья:
и боль и злоба —
каждое явленье
имело
цвет.
Не разобраться в них —
цвета кишели!
Грудь открывая,
обнажая шею,
иди, пока не поздно,
к простоте.
Увериться в неясной правоте

тех, кто уже не хочет
ни отмщенья
и ни сочувствия к своей судьбе.
Вступаешь в свет,
становишься мишенью,
и поразительно
легко тебе.
Из тьмы огней
глядит прищурясь мрак,
отсвечивая оптикой прицела.
И свет воспринимается
как целое.

Делимое наотмашь —
ты и враг.

III

Есть они, Чаттерджи,
в каждой стране,
в каждой волости —

сволочи.
Их не узнать по разрезу глаз,
по оттенку кожи:
может сиять, как якутский
алмаз,

быть на уголь похожим,
плешью блистать в ползала,
прямить и курчавить волос.
Все равно —
сволочь.
Он — не дурак,
он, может быть, академик,
он служит вере не славы ради,
не из-за денег,

бывает, носит под мышкой
томики Ленина...

Сволочь — не мелочь,
общественное явление.
Узнать их не просто:
их цвет отличительный —
серость.
Она растворяется в белом,
и в черном, и в желтом,
возносится серость бронзой,
блистает золотом,
в темных углах души
собирается серость, как сырость.
Белый стреляет в черного?
Серый стреляет.
Черный стреляет в белого?
Серый стреляет.
Серый взгляд

проникает в сердце,
пронзительный, волчий.
Узнаю вас по взгляду,
серая раса —
сволочи.
Понимаю: пока
в этом самом цветном столетье
невозможны без вас
даже маленькие трагедии.
Невозможны без вас
ни заботы мои,
ни смех.
Невозможны без вас
и победы мои,
и смерть.
Вам обязан — атакой!
В свете полдня
и в холоде полночи
я иду,
мы идем вам навстречу,
серые сволочи,—
сквозь мгновенья ошибок,
отчаянных самопрезрений,
чтоб минута молчанья
стала временем
ваших прозрений.
...Синева потемнела.
Гробница великого Ганди
белым куполом
обозначила Азии край.
Багровым оком встала луна
и на мокрые камни
положила сиянье,
и в пальмах возник
птичий грай.

1968

ДЕВОЧКА В ЖЕЛТОМ САРИ

Прошли митинги протеста в Стокгольме, в Вашингтоне, в индийском штате Бихар, в Стамбуле...

(Из газет)

Ты знаешь, редактор, что такое Бихар?
Эта земля лежит недалеко от экватора,
эта страна без комбайна и элеватора.
Такыр не измерить ни акрами
и ни ли.

Ты не видел, редактор,
той исхудалой земли.
Февраль — первый месяц сезона дождей,
саун.

Его так ждали в марте индусы,
саун.

И не дождались в апреле,
саун.

Ветер ограбил черную тучу,
выбелил,
саун прошел стороной — океаны выпили.
Листья пальм одиноких опали от зноя,
саун.

Качается на качелях
девочка в желтом сари...

I

Шли люди, чернее черных теней,
и тяжко им было тащить свои тощие тени
по белой растрескавшейся земле.
Но они не плелись, голодные,— шли
на площадь
послушать
поэта Шри.
Как на индусское самосожжение
шли,
питаться воображением
шли,
не житом единым жить,
пришли
увидеть не Шиву —
живого Шри.
Кости ребер линуют рубашку Шри,
ноги не держат,
падает локоть Шри,
кивает белая, как ромашка, головка
Шри,

на черном жилистом стебле,
в такт шлокам[1].

Сладость в речах — драгоценная мантра.

[1] Шлока — двустишие.

Зачем она?
Если нет на обед народу
гнилого манго.
Съедены корни сезама[1],
обглодан кикар[2].
Митинг в защиту Вьетнама
в штате Бихар.
Лозунг рисованный виснет
на пальмовой палке.

Шри шелестит
о вьетнамке, сожженной
напалмом,
тысячи недоеданий собратьев — голод,
тысячи допониманий молчащих — голос.
«Нет в мире каст
иных,—
кроме голодных и сытых,
нет людей раз-
ных,—
кроме живых и убитых.
Хочется есть
нам,
мир тебе, Вьет-
нам».
Демонстрации швеций, даний, америк
не потрясают!
Сыты, по крайней мере.
Шри не протянет и четырех дней.
Эта
умрет ночью.
Слово о ней.

II

Печально, смущаясь своей обреченности,
полулежит на газете девчонка,
взлетает в небо и возвращается,
как на качелях, она
кончается.
Локтем бессильно —
в щеку Софи Лорен,
и вырывается, око таращит
кинокрасавица,
кажется мне — итальянка локоть кусает,
стройные ноги ее
запутались в желтом сари.
...Шри пел, а я хоронил
свои тощие книги.
Они умирали от истонченья,
хрипели.
О чем мы пишем?
Чем наполняем крики?

[1] Сезам — сахарный тростник.
[2] Кикар — акация.

Когда нет хлеба в Бихаре,
зачем мы пели?..
Бездарны лиры, фанфары — лживы,
искусство — слепо,
когда у девочки в желтом сари
в глазах нет хлеба.
Ее расстреляет ночью
рисинка,
которой нет,
об этом предупреждает девочку
Шри, поэт,
пока прибудет обоз
из провинций Непала,
ее сожгут индуисты,
но раньше...—
вьетнамку напалмом...
Качается на качелях долгот
и горизонталей,
взлетает из Индии,
касается локтем Италии,
долгая ночь приближается,
Шри умолкает.

И возвращается девочка
и улетает.
— Мама, пришли за мной дядю,
саун идет.
— Дядя твой умер, дочка, саун настал.
— Мама, пришли за мной брата, саун идет.
— Братец твой умер, дочка, саун настал.
— Мама, приди за мной, мама,
саун идет.
— Мама твоя не встанет,
саун пришел за тобой...

...На алтаре корчится
девочка в огненном сари,
этим сожженьем закончился
митинг в Бихаре.

1968

ДЕВУШКА НА ЗЕЛЕНОЙ ТРАВЕ

Zapomniec — забывать.
Zabytiek — памятник (польск).

В пустых бараках Майданека пахло сырой стариной. Высились до крыши груды обуви, серых волос.

Маленькая газовая камера (30—40 кв. м.). Крематорий, сжигавший человек двести в день.

Сегодняшняя техника позволяет мгновенно превратить в пепел все 3,5 млрд. вместе с этими газовыми каморками и крематориями.

Адама манили в Эдем
и пугали адом.
А ну-ка, наука!
И —
явлен Адаму
атом.

Уютное прошлое уже не может повториться в наш веселый и доблестный век.

...Чиновник из люблинского магистрата жаловался на художников. До сих пор не создали подходящего памятника двум миллионам погибших в Майданеке: «В Бухенвальде, в Освенциме и в других, говорят, уже поставлены, а у нас все еще чешутся».

Он произнес —«тешутся».
Памятник создать трудно. Легче —
сжечь,
расстрелять,
уморить голодом,
чем придумать, «вычесать» глубокомысленную
композицию, которая бы, напоминая, утешала.
И потому, наверное, в художники не каждый идет.
Но каким все же должен быть памятник жертвам?..

I

Концлагерь — это не только
труба
и дуб зеленого дыма — в небо.
Это — голая площадь,
это — трава,
которой на площади
нету.
Выискан, съеден каждый вершок —
корешок.
Редкие (через проволоку) листки залетали
из леса кленового осенью.
Их съедали.
Узникам снилось, от голода желтым,—
клевер, люцерна, ромашки и желуди.
Тысячи снов клубились над трупами,

сплачиваясь в лохматый стог,
в котором —
полынь и дикий чеснок,
сочный лопух и ревень высокий,
мясистый кактус, типчак и осока.
Этот гербарий был гербом голода.
«Три года после нас не росла трава»,—
в Освенциме и в Майданеке я слышал
эти слова.

II

Рядовой неизвестный концлагерь
близ Ополе-города,
всего 300 тыс. военнопленных,
убитых
голодом.
...Было очень тепло и тихо,
сентябрь, отдых.
Шумели шмели недовольно
в громадных ромашках,
нервный ваятель пил ароматный воздух,
запрокинув лицо,
как из фляжки.
На постаменте — фигура скелетная скомкана.
Этот памятник приз получил
на каком-то конкурсе.
Я должен был восхищаться
великой скульптурой,
ее положением жутким,
ее кубатурой.
Прекрасно набран, впечатан памятник в небо,
скелет читался огромной каракулей —
ХЛЕБА!
(Так пишут стихи, вынося идею в заглавие.
Так громко просят не хлеба,
а славы.)

III

Как уже сказано, было тепло и тихо,
глаз, уставший от грома знаков,
жаждал петита.
Дева в траве загорала,
раскинув руки.
Лениво мяла травинку
губами упругими,
алела разлаписто,
как лист,
занесенный ветром
из леса кленового,

который — в двух километрах.
Ефрейтор валялся рядом,
лоснясь лакированным поясом,
довольный,
как будто — по голому полю ползал,
нашел,
приволок, задыхаясь,
любимой узнице
добычу зеленую —
стебель травинки узенький.
Они лежали рядом с запретом
«ТРАВУ НЕ РВАТЬ».

Случайно ли это?
Наверное, просто — дерзость.
В скверах и парках мы эти таблички
с детства
привыкли не замечать.
Но здесь — замечательно слово —
нашел свое место действенное
этот петит, уверенный, как невозможность
(когда-то заставят, и станет
любая пошлость
трагически действенной).
Памятником человеку
(логика такова!)
не камень и не железо —
стала
трава.
Выросшая на удобренном пеплом подзоле,
на плоской поляне близ польского града Ополе.
И я ощутил внезапное чувство
утраты —
хочу увидеть
гения из магистрата,
который,
не помышляя о славе,
вбивал в пырей
лучшую эпитафию
жертвам
концлагерей:
«Траву не рвать!»

IV

Художникам нечего делать
на этом поле.
Таланты их бесполезны — они болезненны.
Поле — всего лишь символ
свободной воли,
обыденность здравых запретов —
это поэзия.
Любые запреты наполнены

светом предчувствий,
бессильна фантазия предугадать
их путь,
но кажется мне:
свободное их присутствие
скажется в ходе историй
когда-нибудь.
Я помню и первую заповедь
и еще,
люди не понимают иносказаний,
пока не увидят собственными глазами
закон, воплощенный:
«В историю
вход воспрещен».
Теперь я с тревогой вглядываюсь в
запреты.

Их много понаготовили
поэты из горсоветов:
«НЕ ШУМЕТЬ»,
«НЕ СОРИТЬ»,
«НЕ ВЫСОВЫВАТЬСЯ»,
«НЕ ПЛЕВАТЬ».
В казарме одной я видел:
«НЕ ВОЕВАТЬ».
В публичном доме видел:
«НЕ ЦЕЛОВАТЬ».
О, если бы мог запретить магистрат
голодать,
убивать,
изменять,
насиловать,
унижаться.
Художникам лгать запретить бы и
обижаться.

Я бы разрушил все изваянья Плача,
чтоб росла трава после нас,
ничего не знача,
чтоб лежали в траве,
лениво нежась,
любимые,
ничего не зная про то, что они
убитые.
Я бы больным поэтам
прописывал истины,
иносказания — лживы,
они убийственны.
Поле — свободный символ
здоровой воли.
Пройдя сквозь дебри,
мы снова голы
на этом поле.

1968

ПРО АСАНА НЕВЕЗУЧЕГО

В научной литературе давно идут ожесточенные споры: «Кто же открыл Италию?» Ученые нашей области выдвинули кандидатуру легендарного бродяги Асана Кайгы, искавшего для своего племени землю обетованную, где птички вьют гнезда на спинах баранов. Он обошел весь свет, но страны тогда еще не имели названий, и потому нанести его маршрут на современную карту чрезвычайно трудно.

По одним версиям, он шествовал по миру на осляти, по другим — носился на крылатой верблюдице. Есть сведения, что он передвигался на ладье (утлой).

Доподлинно известно, что был он человеком простым, не любил излишеств, но искал их по всей земле.

Его общественная деятельность послужила темой для диссертаций. Только в этом году с блеском защищены от нападок работы: «Он открыл Италию», «Она уже была открыта итальянцами» и «Некоторые примечательные успекты метода физической либрации». В последнем исследовании были применены и данные компьютеров...

Мы позволили себе включиться в эту дискуссию и надеемся, что наши скромные усилия помогут прояснить черты образа нашего великого предка. Если такой цели удастся достигнуть, автор будет потрясен.

Товарищи!

Наш Асан Кайгы жил в те далекие времена, когда поэтические образы еще не были абстрактными, но были достаточно материализованными:

У бедного Асана
жена — не человек и курица — не птица.
Корыто у ворот и то разбито,
и не запнуться о него, и не напиться.
Он на осла залез, ногами бьет,
за утро не проехал и полметра.
«Раз не везет,— сказал,— так не везет!»
Махнул рукой и плюнул.
Против ветра.
Пошел Асан пешком травой густой,
осла кляня, и надо же — зар-раза!—
попался кто-то, он ногой босой
с размаху пнул его!
(Дикобраза.)
«Вот не везет,— сказал,— так не везет!»
Обида жжет в груди, как брага,
его страданий грустных не поймет,
кто не пинал того дикобраза,
И кто-то шишкой — в лоб.
Ну что за день!
Приставив лестницу, он ловит белку.
Все правильно — свалился,
да на пень,
еще и лестница упала сверху.
На кабана вчера навел капкан,
забыл.

Шел по тропе и скреб под мышкой,
ловил блоху и сам попал в ловушку,
а из кустов вовсю глазел кабан.
«Да, не везет,— сказал,— так не везет».
Ах, если так, он сменит климат,
на берег тот переплывет,
охоту бросит, вспашет глину.
Посеет просо и пшено,
хурму посадит заодно
и будет чай в тени густой
пить в одиночестве счастливом.
Он в лодку сел. Забыл весло.
Его волною отнесло
и потащило в сине море,
вот повезло так повезло.
И без ветрил и без кормила,
а море синее штормило.
...Ладью на берег вынес вал.
Заплакал. Краба целовал.
Попал он в странную страну:
там люди были молодыми,
там отдавали дань вину
и говорили на латыни.
А девы, девы — просто ах!
Халвою тают на зубах.
Пройдешь, не хочешь — обернешься,
прощай, Асан, ты не вернешься,
прощай, жена, не возвращай,
прощай, кабан, капкан и белки.
Дикобраз, и ты прощай!
Мне повезло —
прощайте, беды.
Мы завершаем эпопею:
Асан, по кличке Невезучий,
вошел с улыбкою в Помпею,
и — в тот же час взревел Везувий.
Чем это кончилось — известно
(Везувий — это есть вулкан),
под грудой пепла и известки
почил печальный старикан.
И отмечая это зло,
так подытожил патриот:
«Кому у нас не повезло,
тому нигде не повезет».
И подумал дикобраз:
«Дело сделано, жаль безумных:
стоит пнуть меня —
всякий раз
извергает огонь Везувий».

1970

СМЕРТЬ НАЗЫМА ХИКМЕТА

Каждое утро, ровно в семь, он неодетый шел
к двери,
где пол устилали вброшенные в прорезь
газеты, журналы — почта со всего мира.
Его нашли на этой смятой в агонии прессе,
на рваных новостях из Турции, Греции, Сибири...
На стихах, присланных для автографа:
«Когда смерть наступает, беги:
беспощадна она, как любовь...»
Открытка от женщины Аллы. Он звал ее именем
бога...

— Алла́,
куда мне податься?
Рассвет — это поздно иль рано?
Все стихи — в чемодан, в Хорсан,
к черным фарсам в Иран!
Я писал о любви,
как писали поэты Ирана!
Их взводили на башни
и сталкивали по утрам...
В Лондон? Холодно.
А в Париж? Кружева и зеленые статуи,
и оград кружева,
и осенней толпы кружева,
городов кружева и вода под мостами старыми,
лица, женщины в вальсе Садового,
ах, Москва...
В Миссисипи я плавал,
В Амазонку бы прыгнуть —
в Пиранию,
ты — по грудь,
ты — по горло,
кричишь по-индейски: ав-ва-а!
...Струи пара восходят над Волгой весенней
спиралями,
кружева, кружева облаков над тобой,
ах, Москва...
Книги, пыльные книги,
как вымершие языки,
я с тобой говорил на забытых
ничтожных наречьях
(может, наш чемодан заберут на баркас рыбаки?),
языки эти были, клянусь, о Алла́,
человечьими.
Я тебя собирал по клокам,
по слогам,
по словам,
ты — в томах,
ты — в брошюрах, не тронутых
костяными ножами,
я тебя увезу далеко-далеко по волнам,

всю —
от сказок до книг,
над которыми плачут ночами.
Ты у горла — всегда,
ты у крика всегда на пути,
твое имя, Алла́,
словно первое слово Корана,
я кричал о любви,
как не снилось поэтам Ирана!..
Я молчу. Я ушел.
Никуда от тебя не уйти.

1970

РАЗГОВОР О ВЕРЛИБРЕ

(20 июня 1970 г. мы опрокинули машину. «30 метров полета, пара переворотов»[1]. Выбравшись из развороченной груды металла, все еще не веря в то, что мир существует, договаривали о свободном стихе.)

...Как в мелочах мы громогласны!
Возможности черновика
потрачены, чтоб сделать главным
перипетии пустяка.

И в дебрях слов потерян бой,
мы простоту вогнали в сложность,
так прячет рукоятка в ножнах
обломок лезвия тупой.

Свободу пробуя вещами,
слезой увязывая речь,
вещали мы и обещали,
клялись себя не уберечь.
И колеся, и куролеся,
мешая спады и подъем,
мы превращали мелколесье
в пропахший кровью бурелом.
И в этом пьяном исступленье,
сметая ребрами бугры,
насаживаясь на углы,
мы находили искупленье.

Свободой головы мороча,
мы долго говорим о том,
что надо бы сказать короче
о самом главном и простом:
строчи, поэт, любым калибром,
сади слова любой обоймой —
стих может быть и не верлибром.
Поэзия была б свободной.

1970

[1] Строка из стихотворения А. Вознесенского «2 секунды 20 июня 1970 г. в замедленном дубле».

* * *

Что такое лишние?
Попробуйте
постоять на кромке
горной пропасти.
Каждому из нас
дано быть ближним,
не оценишь,
если не был лишним.
Каждому из нас придется это
испытать,
на то мы и поэты,
чтобы мерить мир единой мерой —
образом своим,
как время — эрой.
(Час или минуту —
только эрой,
словно правду слов ничтожных —
верой!)
Мы бываем часто чудаками.
«Ах!» сказать не просто.
Вы посмейтесь:
человек ударился о камень,
чтоб ногой проверить междометье.
Право восклицаний,
право слога
заслужить — вот исполненье долга
человеческого. Не спеши,
пусть смеется тот,
кто сам смешит.
Право жить. А надо ль это право?
Моя мама — благородней правды.
Кто нас наделяет правом жить?
Те, кто слева,
спереди
иль справа?
Удивляюсь и сопротивляюсь
каждому, кто разрешает мне
пить из родника
и видеть стаю
дальних птиц в прозрачной вышине...

1972

В НАШЕМ АУЛЕ БЫЛ САПОЖНИК

Сапожник всем шил сапоги
на свой размер,
он полагал, что этим делает людей равными,
изувер.
А был он бонапартовского роста,
носить такие сапоги нам, великанам,
было непросто.
И каждый думал, что сапог
придумал бог,
чтобы почаще мусульманин
молиться мог.
(При молитве сапоги снимаешь,
понимаешь?)
Таким образом: молитва —
песня занемевших ног.
К мечети жмут
и стар и млад,
хромая,
на бегу кричат
(ступня в тисках):
«Аллах велик!»
Пророка славь —
сапог велит.
Не верит в бога лишь босяк
и обормот,
не верит в бога сам башмачник —
ему не жмет.

1972

ЖДЕМ ПАРОМА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ

Деревенские мальчишки ловят плотву на удочку. Безногий бородач на телеге с сеном.

Избы вздыбились на косогоре,
как плоты на речном повороте
при заторе.

Между ними,
словно льдинка,
в белой блузке и косынке
вдоль заборов
по тропинке,
до колен подняв подол,
к мутным водам —
к перевозу,
из былины
с ходу — в прозу
забежала,

а потом —
отдышалась,
улыбнулась,
встав на колесо телеги,
посмотрела через реку —
не покажется ль паром?

На губах ее помада.
Грудь под блузкою —
что надо!
Не везло, видать, калеке,
взял и приобрел телегу.
И теперь она в телеге
уминает задом сено,
а старик глядит елейно.
Впечатляющая сцена.
Оглянулась на мальчишек
(не посмотришь —
не уважишь),
ей бы нужен мужичище —
из плотвы плота не свяжешь.
Он, наверное, не знает,
тот, который подошел бы.
Он, уверена, не с нами —
грудь спокойная под шелком.
Он, наверное, в Норильске,
иль плывет по Енисею,
или вовсе
на Карельском —
броситься б ему на шею.

Может, этот подошел бы
со своей судьбой тяжелой?
Тот, что рядом
на телеге.
Может, было б ему легче?
Запоздалые свиданья,
бесталанные любови.
Сколько было опозданий!..
Бесконечна эта повесть.

Все так медленно и емко —
избы, удочка, береза
(как замедленная съемка),
женщина у перевоза.
Борода глядит нелепо
на обтянутые икры.
Нескончаемая лента,
непридуманные игры.

1972

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — УТРО

— Из-за этого умереть?
— И ради этого жить?
Оставь, оставь этот спор.
Исикава Токубоку

Всем, всем, всем!
...Взвод поднимают в семь.
Взвод через рощу идет.
Взвод его песню поет:
«Добрая родина-мать».
Взвод продолжает спать.
Солнце над краем земли.
Целиться в солнце!
Пли!
Изрешетили солнце Севильи,
за спины закинули карабины.
Никто не палач,
когда все — палачи.
Всем душу отдал —
за всех получил.
(Простится ему банальная гибель,
слишком красивая —
вся в апельсинах,
синее небо,
что-то еще...
Очень общо.)
У крайнего мятый китель.
«А чо?»
Карманы плодами набиты,
как ранец.

И надо добавить:
у ЭТОГО крайнего
от жуткой отдачи болело плечо,
и ЭТОТ схватил от капрала наряд —
клозеты:
газеты о том говорят.
Уборную драит,
обидой горит,
и мать вспоминает —
капрала корит.
Руки разъела проклятая хлорка.
Лучше — расстрелы,
чем эта уборка!

Язвы ноют,
конвойный плачет,
слезы те
ничего не значат
для истории человечества.
Ну, а если взглянуть
иначе?

Плачет ЭТОТ,
не продохнуть.

Палачи, задыхаясь,
плачут:
«Расстреляли бы лучше
хлорку,
чем этого симпатичного
парня,
Лорку, кажется...»
Крикну: «ЛОРКУ!»
Всем! Всем! Всем!
Снова пробило семь!
Снова над краем земли
солнце.
Свети, пали!
Ать, два, ать —
солнце мешает спать.

1972

СТАРИК С РУЖЬЕМ В УЩЕЛЬЕ

Из-под елей горелых доносится голос елика[1],
потерявшего мать.
Лес давно отчернел,
и уже зеленеет трава,
в мураве зачинается жизнь недовольных ежей,
у ручья — ежевики густые кусты
и малинник.
И еловые корни бегут по земле
и над ней —
никуда не уйти от земли.
Разве в небо бежать...
И морщиниста, словно кора, щека старика,
суковата рука, обожженная жаром гор,
гладишь бороду, словно бороду бога,
этой рукой.
Где-то там на лопатке,
приласканной слоем тепла,
щекочет кожу
живой одинокий нерв,
нельзя почесаться спиной о пенек:
слышишь плач
одинокого малыша, потерявшего мать?
Шевельнулись усы, и на шепот
сползаются думы.
Стариковских болезней, как видно,
приходит пора.
И не вдруг понимаешь:
вся жизнь твоя, будто — вчера
проплыла череда облаков
над горами седыми.

[1] *Елик — горный козел.*

И лежать бы, лежать,
пусть щекочет лопатку нерв;
наблюдать —
солнце к небу, словно лепешка
к тандыру, прилипло;
и сквозь дрему послушать
ручья одинокие всхлипы.
Это солнце оставить в наследство
навечно своей спине.
Наследство?.. Ах, да...
Это след у ручья пред тобою.
Он вчера приходил,
но вернется ли вновь к водопою?
Протяжно, лениво пахнет сырая земля от ручья.
Как пересохшее русло,
пусто дуло ружья.
Блик солнца прощупал
корявую вену на левой руке,
старый сутулый палец
уснул на теплом курке.
Плачет все ближе
в малиннике маленький елик,
и зарастает травой
ельник...

1972

* * *

Fas — высшее право в римском законодательстве.
Римские полководцы посылали солдат
на варварские города, вооружив легионы правом: фас!
Fas — погружайте клыки:
и мир для вас.
Fas — на чужую жизнь и имущество
нет запрета.
Fas — это блеск суженных злобой
глаз,
расчеловеченье
это.
И вспыхнули в Риме XX века
скрещенный молнии фразы fasist.
Да, первый философ в черной рубашке
был — лингвист.
В наследство от предков ему достался
варварский мир
(он был историк),
он — в черной рубахе,
он — против черных
(он был истерик).
Нам —
все дозволено!
Даже логика и аналогия
и право помнить —
волчицей вскормлены

Ромул и Рем,
и повторяются из века
в вечность
лбы их пологие
и волчья серость,
овечья серость
и бледный Рим.
В любви не признаются
на латыни,
не ссорятся, не спорят
на латыни,
когда здоровы были,
молодыми,
о нас не говорили
на латыни.
Латинским звуком нас не отпевали,
латинским словом нас не обрекали,
пощупав пульс, врачи не говорили
той фразы, что пугала
в старом Риме:
Fas est!
А это значит — дело дрянное,
ешь напоследок
жирное и пряное,
пей коньяки,
не обращай —
что больно,
ты обречен,
и, значит,—
все дозволено!
Жизнь коротка,
пока живешь — fas est,
пока не ляжешь, на груди скрестив
худые кисти,
облачайся в черное,
гуляй, фашист!
...Но есть под Брестом,
есть один окоп...
Избитый пулями
багровый бруствер...
Залитый кровью фас
веселых пруссий...
И мой не защищенный
каской лоб.
Нерв обнажен,
открыто сердце там,
туда мои пути, дороги, тропы.
И где б я ни был,
я — в окопе том.
Последний мой рубеж
меня торопит.

1972

• • •

В нашей маленькой речушке
гвалт озлобленной рыбешки —
занесло издалека
не леща,
не судака,
а веселого кита.
Кит вам, братцы,
не кета!

Не берет на червяка,
не бросается на просо,
на крючок глядит с вопросом,
удивляя чебака.

Неуклюжесть проявил,
сделал неприятность лиху —
щуку брюхом придавил,
превратил ее в лещиху.

Свирепеют пескари:
нарушение порядка!
То играли с щукой
в прятки,
кто не спрятался —
гори!
Вот какой она была,
а теперь?

Как камбала.
Хладнокровны, говорят,
ох, не верю!
Далеко до карася
даже зверю,
если тину возмутит
(так уж водится!..)
иноземец, то есть нет —
иноводец.
«Убирайся в океан!—
кипятится наш сазан.—
Тоже мне, нашелся чудо,
ты не чудо,
просто — иуда!..»
Уверяю, он не кит,
он плотва,
но — вундеркинд.
Речка в море не впадает,
ему некуда податься.
Пожалейте чуду-юду,
вы же рыбы, а не люди!

1972

В Каракумах у полусоленого колодца Кыз-Кудук (что значит «Колодец Девушек») обитал в саманном дворце косой старик с тихой старушкой. Семь дочерей — в разных концах области. Восьмая ушла в другие пустыни с гидрогеологом Шайтан-Беком. Моим другом. Наша партия работала неподалеку — мы с ним часто заезжали на Кыз-Кудук попить соленого чаю. Помню местное поверье: напьешься из колодца Кыз-Кудук, конец, сыновей не будет. Родятся от тебя одни дочери, но зато много. Мы тогда ничего не боялись. Старик шепелявил. Я допытывался, как он относится к этим слухам.

— Шлюхам?— переспросил он свирепо.
...Бог требует внятности
и простоты изложенья,
точнее — не просьбы о милости,
но предложенья.
К примеру,
селянин безумствует:
— Боже, хочу орать!
— Ну и ори!— разрешает бог,
не понимая древнее рекло,
— Косить хочу! Пошли мне литовку!
— Ну и коси. И литовку можно.
Окосел крестьянин.
Явилась литовская женщина.
То ли богом посланная,
то ли кем-то сосланная,
не то чудь,
не то жмудь,
но красивая —
жуть!
А земля сохнет,
коса — без дела.
Старик злобно щерится:
— Ниспошли дождь!
Всевышний опять не расслышал,
расщедрился —
послал ему (боже!)
восьмую дочь.
Посеешь просо — пожнешь вопросы,
такова поэзия,
а вот — проза:
восьмая дочь произросла в пустыне,
коса — ручьем,
в глазах озера стынут,
и льется речь,
как речка,
по губам.
Заметь еще — и море обаянья,
души разливы!
Девочка Баяна
такую жажду источала там.

Ох, раскосая литовка
расцвела в песках,
и слова мои,
как слуги,
ходят на носках,
кланяются ее слуху.
А Шайтан не так,—
он кричит, как на старуху,
и она
как мак.
А селянин смотрит косо,
а старик орет —
дочка дьяволу вопросы
скромно задает.
Рвутся ситцевые сети,
кожа — смуглый лен.
Сатана готов ответить —
до того влюблен.
А вопросы не простые,
но ответы —
да!
Убегает из пустыни
дочка навсегда.
...Помнишь, где-то в Ханаане,
в старые года,
посохом бурили камни,
и пошла вода.
Но тогда бурили боги,
нынче — сатана,
безо всякой ласки,
с бою
достает до дна,
мимо альба до карбона
скважина — а там!
Вырос высотой
до бога
над песком фонтан.
Высотою в двадцать метров,
толщиной — в обхват,
как береза,
белым смерчем —
в небо
водопад!
...Дед просил тогда у бога
не восьмую дочь,
для земли своей убогой
благодатный дождь.
Чтоб росло на соре[1] просо —
как же без пшена!
Но услышал его просьбу
смуглый сатана.
Ввел в пески,
как в промокашку,

[1] Сор — солончак (каз.).

гул подземных рек,
он исправил ту промашку,
хитрый Шайтан-бек.
Поменял слова местами —
дал пустыне дождь,
и забрал, смеясь, у старых
их восьмую дочь.

1972

БОЛЕ

I

В феврале (да, кажется, в феврале)
пустыни
превращаются в красное море. Маки.
В марте пески покрываются травами,
даже верблюжья колючка еще не колючка —
мягка, зелена, и мясистые листья росой
на изломах исходят.
В мае зной выжигает траву до песка,
и виднее овечий помет в раскаленной
пыли.
И лишь зеленый чай
на донышке пиал
напоминает мне,
чтоб я не вспоминал,
и черная вода
на дне сухих колодцев
напоминает мне,
что мир и желт
и ал.

II

Парит коричневый орел,
приветливо качая клювом.
Я возвращен, я приобрел
вновь мир, который меня любит.
Оцепенев, глядит змея,
стесняется.
Здорово, поле!
Любой тушканчик за меня
и жизнь готов отдать,
и боле.
Нет лишних в драме,
все — на сцене,
и знает даже воробей:
мир без него неполноценен.

Поддакивает скарабей.
Он ходит задом наперед,
мой жук навозный,
его любят,
его никто не упрекнет,
случайно разве что
наступят.
Спокойно здесь и без вина,
без отрицания былого,
встречаются, как слух и слово,
сливаясь в вечность, времена.
В песках неспешности закон
увековечен черепами,
здесь понимаешь:
прав Зенон —
мы не догоним черепахи.

И потому живи и спи,
не торопи заботой вечность,
прямая — это только Пи,
направленная в бесконечность.
И не пытайся измерять
круг
суммой абсолютных чисел,
и не пытайся все понять,
иначе все теряет смысл.
Слезами лет орошены,
овеяны столетий пылью,
мы плохо выучены былью,
легендами развращены.
А за Отаром — поезда,
один из них — мое отчаянье,
не дай мне, Боле,
опоздать
закономерно
и случайно.
Ну дай мне, Боле,
все понять,
а если это невозможно,
и если это в вашей воле,
простите,
Боле.

1973.

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ МУЛЛА РАХМЕТУЛЛА

Мулла ел свинину и приговаривал:
«Бедный ягненок!
Бедный ягненок!»
Целые сутки его переваривал
и усомнился:
«Наверно, теленок!»

Бог наказал —
занемог животом наш мулла,
как роса на листке,
на лице его выступил пот,
как листва в сентябре,
пожелтел наш мулла,
ох, алла!
Как январский сугроб,
поднимался его живот.
«Может, это конина была!»—
напрягался мулла.
«О несчастная лошадь!
Паслась по долинам
меж скал!..»

Сколько дум передумал
впервые Рахметулла!
Был он просто мулла,
а к субботе
мыслителем стал.
Мяса нынче и в рот не берет.
Объясняет: «Кастрит».
Но зато поумнел, раздобрел,
научился острить.
Так свинина сыграла
свою лебединую роль
и со странной иронией,
свойственной только свинине,
нанесла мусульманству
непоправимый урон.

1973

ВСЕ ЕЩЕ ПУСТЫНЯ...

Я недавно читал в колхозе,
в душном клубе,
перед кино,
стихи о пальме и о кокосе.
Пастухам было все равно,
что слушать.

Волосатые чабаны,
пот на полы чапанов капал,
поливальщики, шептуны,
усмехальщики, кашлюны
и харкатели на пол.

Я читаю о Джомолунгме,
восхищаюсь Килиманджаро,
всеми горбами земного шара!..
В зале дышат жареным луком.

Тогда послушайте, эй, кащей!
Цикл «Кривые»— басня о косом.
«Шел человек косой,
как дождь».
Безногий в первом ряду —
в ладоши!

Косому понравилось,
когда я прочел
стихи о горбатом.
Горбатая братия
гремела, когда я по лысым прошел
чеканной строфой амфибрахия.

Хромые, косые, горбатые,
лысые
ржали, когда я кричал о немом.
А в третьем ряду в малахае лисьем
молчала и улыбалась,
улыбалась и молчала
прекрасная девушка Майя,
глухонемая.
...Красота как призренье,
уродство — прозренье.
Обитаем на дне песчаной степи,
красота нашей родины безголосой,
не оглуши,
так — ослепи.
Оскопи нас, пустыня,
доведи наготой до предела
постылых,
узнаем, что делать,
когда будет стыдно.

1973

В ДУХАНЕ «У ХАЙЯМА»

(Написано на свободных страницах книги жалоб душанбинской чайханы)

Меня сюда приятель пригласил —
лагман попробовать,
набраться сил,
поговорить в тиши о том о сем.
Уговорил.
И не явился сам.
Наверное, его молния убила,
а может быть, работа задавила,
дела любимые,
а дело в том —
Хайяма переводит новый том.

Я говорил ему, остерегал,
а он лишь улыбается, нахал.
А я:
«Читать Хайяма в переводе,
поверь, как будто ехать на подводе,
грохочущей по улке немощеной.
Переводи слепых через дорогу,
С Гомера начинай,
его — не трогай».

...Но если мне сегодня повезет —
та женщина упрямая придет,
войдет, духан глазами обведет,
тогда твое предательство забуду.
О женщина упрямая, приди,
присядь к столу,
волненьем одари,
духан притихнет,
он уже притих,
предчувствуя звучание
дари.

1973

* * *

Любая влага,
влитая в кувшин,
спешит принять
его литую форму,
а слово,
проникая в глушь души,
ей сообщает
собственную форму.
Тьму искажает образами
ночь,
в конях отстали
борзые комони...

Всегда,
повсюду —
горлом превозмочь
границы ужасающих гармоний.
Так, в мир входя,
мы изменяем мир,
он — оболочка,
мы — его основа,
мой мир,
рябясь, морщинясь,
как эфир,
приобретает очертанье слова.
Искрится дым —
сгорел последний том...

Но
вечен знак над легким пеплом
букв,
над кошмами,
над каменной плитой
изогнутый лекалом мысли
звук.

1973

* * *

В южный город на лето
приехала девочка,
две косички,
два бантика пышных и белых.
Дивная девочка,
звать ее — Белла.

Аборигены знают, что делать.
Вымыли шеи, надели сандалии,
ходят под окна, кричат, выхваляются.
Дворники как-то
им крепко задали:
в жилкомбинате не дозволяется.

Девочка все же
с одним подружилась.
Каждое утро приходит под окна
маленький, робкий,
и, напружинясь,
тихо орет, озираясь:
— Бел-ла...
Девочка белкой сбегает по лестнице,
за руки взявшись,
мчатся на речку.
Мама считает сумму полезной:
солнышко, воздух, водичка
и девочка.

Что-то случилось. Пришла телеграмма.
Девочка с мамой — ночным самолетом.
Лето не кончилось.
Утром рано
смуглый малец, как обычно:
— Бел-ла...

Я выхожу на балкон,
наблюдаю.
Мальчик спокойно скандирует:
— Бел-ла...
В полном параде —
в новых сандалиях,
в чистых трусах по колена:
— Бел-ла.
Я надругался:
— Она улетела.
Малый взглянул снисходительно.
Парень.
Буркнул (наверное: «Не твое дело»)
и затянул свою арию.
Каждое утро,
вы не поверите,
голосит под окнами
тот сирота.

1973

* * *

На озерах Кургальджино
августовская кутерьма —
солнце Африки зажжено
тайным образом
в птичьих умах.
Улетят, не удержит
ничто;
дав круги над родным гнездом,
откочуют в далекий край
вереницы гусиных стай.
Гуси белые,
бедные гуси,
не отпустим вас,
не отпустят
дорогие поля и кущи,
паутинные петли грусти.
Не отпустит, задержит
родина,
возвратит на озера
дробью.
Осень
ветви ломает в саду.
Гусь расстрелянный бьется
в пруду.

Не ударили в телеграммы,
ведь потеря невелика —
не фламинго, не пеликан,
просто гусь
на три килограмма.
«Ну, убили, и что такого!
Ну, протянешь в стихах,
и что!
Ведь единственного —
не сто,
а стихи ведь не протоколы.
Опиши добрым словом
«родинки»
его раны — следы дробин.
Это озеро — его родину».
К черту родину,
где убит!

Осень.
Снег опускается первый —
его белые страшные перья.
Он весну приносил,
упросим:
«Улетай».
Не отпустит осень.

1973

СЕРАЯ МИСС

«Мой соколик!..—
говорит мышонку мать.—
Будь готов к тяжелой доле,
виновата,
я тебя произвела на этот свет,
где мышам покоя нет
и жизни нет
от котов.
Их так много,
их родят не только кошки,
даже овцы окотились,
эх, бараны!
Недотепы, рогоносные скоты!..
Рогоносцы нам враждебны,
как коты.
Запомни —
там, где кончается лещ,
начинается щука,
там, где скудеет кобель,
начинается сука:
и собаки ощенились в этот год
не щенятами, как было,
а кутятами.
Принимают псы, хотят ли, не
хотят ли —
размножается за счет Собаки
Кот.
Докотились!..
Никуда они, трезоры, не годятся,
хорошо еще, что утки не котятся.
Хорошо еще, что слон
пока мужчина,
а не то —
хоть пропадай наш род мышиный!
Будь готов к тяжелой доле,
мой мышонок.
Чтобы выжить — будь могучим и ученым,
развивай свое МЫШЛение
и МЫШЦЫ,
ждут тебя коты,
мышьяк
и мышеловки,
ждут отчаянно твои собратья,
мыши.
Надоело: «Тише, мыши,— кот на крыше!»
Пусть услышат:
«Мой Мышонок — еще выше!»
Пусть попрячутся коты,
когда услышат:
«Мой Мышонок на котов охотой
вышел!»

1973

* * *

Пес сидел на цепи весь век.
Он охрип, одряхлел, шкура — войлоком.
Как-то вышел во двор пожилой человек.
Пес не взлаял, пошел, ноги волоком.
Руки лижет
и крутит обрубком хвоста.
А когда-то был славный хвост!
Человек не был пьян,
он себя опростал
и подумал:
«Паршивый пес...»

И подумал: «Собака уже, а не пес...»
Снял ошейник и дал пинка.
Он с ненужными был в обращении прост,
просто взял и намял бока.

И собака пошла, кособочась, рысцой.
Двор пустой. Листьев куча. Забор.
Если б видел хозяин собачье лицо
в этот миг!
Ах, какой-нибудь вор
вышиб доску бы из забора!..
Воры были на счастье —
собака нашла под забором
большую нору —
и на брюхе, ползком, не дыша,
со двора
в мир какой-то,
в чужие просторы.
Как ударили странные запахи в нос!
Он чихнул и метнулся к столбам.
О, уже не собака —
матерый пес
нелюдимо глядел из-под лба.
Жадно нюхал
и склады костей разрывал,
он впервые как пес поступал незаконно —
верный сторож
бродягой в ночи воровал.
Нет, он грабил
и молча бросался на конных.

...Он вернулся под утро.
Пролез.
Обошел.
Листьев куча. Сараи. Забор.
И уснул.
Черт возьми, хоть какой-нибудь вор!..
Пес услышал спросонок:
— П-шел!—
И — пинок!

Он клыками за ногу — р-раз,
Видно, сны ему снились хорошие, волчьи.
А хозяин — бегом
и с крыльца между глаз
из берданки.
— Сбесилась собака... Скончим...
Пес лежал без цепи,
шелудивый, худой.
Шерсть свалялась на бедрах,
как у барана.
Котелок почерневший наполнен водой.
Волчьи сны вытекали, краснея, из раны.

1973

ЗАВИСТЬ

Человек за бортом,
из морей — в океан.
Его с палубы смыло?
Наверное, да.
И теперь он в рассоле
трое суток плывет.
Что, холодная нынче вода?
Как всегда.
Он плывет,
плавниками, как рыба, оброс.
Он то кролем идет,
то меняет на брасс,
а над ним измывался с утра
альбатрос,
молодыми крылами от хохота тряс.
Мощным брассом ползешь
из Каира в Мадрас.
Разве этот заплыв не смешон,
матрос?
...На четвертые сутки подумал:
беда,
не доплыть никуда,
бесконечна вода.
Может, хватит стараться,
сложись и — на дно;
до земли не добраться — не всем суждено.
А земля есть и там,
глубоко под водой,
Не отпустит вода,
говорю тебе, стой.
Ну, давай понырнем,
кто глубже,
идет?
Он в ответ — баттерфляем!..
Такой доплывет.

1973

В ВИНОГРАДНИКЕ

По виноградному листу
ползут улитки
и тащат на спинах
кибитки.
Кочевник скакал,
а век его полз,
у каждой бурной сложности
есть тихий образ,
он обнажающе прост
(чтобы понять суть общественного явления,
найди в природе сравнение).
«Ты ползешь»,— улите скажем,
удивится: «Нет, мы скачем».

1973

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО АКЫНА СМЕТА

Смет украл красивую молодую жену акына Азербая. Говорят, что до этого между ними была любовь. Их догнали. Азербай должен был решить их судьбу.

Спеленатого арканом Смета сбросили у двери юрты. Он с трудом поднялся на ноги. Ухмыляющийся Алибек в двух местах рванул ножом, и аркан кольцами упал на землю. Смет взглянул на аркан и отшвырнул его ногой.

Мокрые от пота кони, всхрапывая, выискивали остатки травы возле юрты.

Смет, потирая затекшие руки, глядел на черный прямоугольник двери. И тихо пел свои последние слова:

Что гляделся в озеро,
рябое
от ветров холодных,
не жалею.
Что не избегал любой работы,
засыпал голодным,
не жалею.
Что делился с добрым
полной чашей,
а с недобрым —
чаще,
не жалею.
Перед кражей умывался сажей,
а утрами — снегом,
не жалею.
Масла мне в дорогу не сбивала
тихая подруга,
не жалею.
Что мечта о друге не сбывалась

долгими ночами,
не жалею.
Не качал я сына на колене,
не ласкал ладонью,
не жалею.
Говорят, что счастье мчит оленем,
не догнать на чалом,
не жалею.
У любой скалы меня встречала
смерть кривым кинжалом,
не жалею.

Об одном я только пожалею,
что судьбу не повторить сначала.
Об одном я только пожалею,
что уйду, как ветерок по лицам,
что уже ничем не заболею,
что уже тоске не повториться.
Об одном я только пожалею,
сном последним в травах засыпая,
что не знал я никого милее
женщины
поэта Азербая.

Он пропел это на одном дыхании, не напрягаясь и не торопясь. Его плечи и голова еще отчетливо печатались на мрачнеющем небе.

Днем он был некрасив, его облику не хватало голоса.

И я вспомнил, что во всех встречах с ним мы видели, но ни разу не слышали его... Резко раздвинулся полог, вышел маленький седой Азербай.

— Алибек!— позвал он сына.

— Я здесь, отец.

— Дай двух коней, пусть уходят.

— Отец!..

— Пусть уходят с миром.

Из-за спины Азербая выскользнула, закрывая лицо шалью, Баян. Смет схватил узду своего чалого, подсадил Баян. Поймал коня Алибека, вскочил в седло и — ушли в черную степь.

— Отец!— Алибек яростно плакал.

— Тогда слушай, сын. И вы слушайте. Мужчина Смет опозорил меня. Но поэт Смет продолжит славу поэта Азербая.— И великий старик скрылся в юрте.

1975

ЕШЬ МЕД, АСАН!

Летает пчела, собирает нектар,
она облетает барханов с гектар,
сосет и колючку,
и белый ковыль,
пасется,
а доит ее, как кобылу,
счастливый Ахмет.
Он сидит на бархане,
любуется,
как работяга порхает.
О, если бы знала пчела,
ее мед
почем на базаре Ахмет продает!
Но золотом жажду
не утолить,
волнует Ахмета
полуденный зной.
Шел мимо Асан по пути в неолит,
из века железного
с тонкой иглой.
Асан-путешественник
счастья искал,
пространства измерил
и Время прошел,
в шумерских таблицах
бродил аксакал,
в ракетах летал,
книгу мумий прочел.
И нате —
Ахмета счастливым нашел!
И нам рассказал досточтимый
Ахмет,
как дал он Асану бесплатный совет:
«Ему говорю: неразумно копать
иглою колодец,
ты стар и горбат»,—
куда там!
Асану советовать — то же,
что буйволу в ухо
поэмы читать.
С ним спорить —
что гвозди в скалу забивать.
Я стал уставать
и слова забывать.
«Напрасно теряешь достоинство,
друг,
ослу даже золото —
тягостный вьюк»,—
такие слова мне аллах говорит,
Асан ради дела
свинины поест,

работает в пятницу —
не надоест.
Не выдержал я
и ему говорю:
«Халат полосатый тебе подарю».
Из всех полосатых полезней пчела,
из всех усатых
полезней Асан.
Он вырыл
иглою
колодец вчера,
меня напоил
и напился сам.
Не выдержал я и ему говорю:
«А хочешь, лопату тебе подарю?»
«Я счастлив,— сказал многословный
Асан.—
Игле я нашел примененье. Ура!»
Ладонью довольно провел по усам,
иглу прихватил и ушел
во Вчера.
Люди,
кто иголку ищет в стоге сена,
знайте, что иголка у Асана.

1975

* * *

Традиция ислама запрещала
описывать в стихах тело женщины
выше щиколотки и ниже ключицы.
Однажды этот запрет был снят,
и поэт Исламкул сказал следующее:
«Аллах запрещал нам словами касаться
запретов.
Ланиты, перси описаны сонмом
поэтов.
Хотело перо приподнять, как чадру,
твой подол.
Описывать бедра твои
я испытывал долг.
Довольно — джейранов и темных миндальных
зрачков!
И косы-арканы и луны, как сладостный лал.
Я нищему строки о муках своих прочитал,
и нищий заплакал, и обнял,
и денежку дал.
И вот — наконец!
Ликуйте, поэты!
Настали блаженства века.
Жена, раздевайся!
Смотрите,
свобода — нага!
«Ужели дозволено ныне писать обо всем?»—
спросил христианин,
ответ был приятен, как сон.
Вперед,
мое сердце!
Отныне все будет иначе.
Народ мой несчастный узнает,
как пахнут удачи.
Теряю я разум последний
от радости страшной,
теперь я предамся в стихах
необузданной страсти!
Кумирни обрушились,
славьтесь,
благие порывы!
Мы идолов страха с размаха бросали с обрыва.
«Свобода!»— кричал я в сердцах,
допуская загибы.
На радости шапку сорвал
и на крышу закинул!
...И вот уже годы прошли.
Я забыл о стихах,
все лезу за шапкой своей.
Не достану никак».

1975

* * *

Вы меня любите, горы?
Любите, ели?
В голубое и белое одетые годы
надо мной пролетели,
унося названия трав,
дорогих чрезвычайно,
в свои звонкие краски вобрав
все оттенки молчания.
Горным рейсфедером
правлю равнинную быль —
век идет по лавинному склону,
и снежная пыль
оседает на легкий, извилистый след
моих лет.
Росчерком метеоров —
годы иллюзий.
Вы меня любите, горы!
Любите, люди?
Вас не исправить,
не превратить в плоскость,
ваши изломы, горы,
неизгладимы,
в ваших прекрасных обрывах
бывает плохо,
но не сровнять вас, горы,
вы — несравнимы.

1975

* * *

Ну что же,
облака
стоят над городами,
нет выхода пока,
иду над облаками.

А там внизу — стога
на берегах протоки,
и серые снега,
и черные проселки.

В излучине реки
кончается дорога,
веселые мальки
у самого порога.

Там женщина меня,
рванув платок, встречала
и, напоив коня,
поила гостя чаем.

Глядела молча в ночь,
прищурясь,
как от света.
Когда нельзя помочь,
меня спасает это:
зеленые стога
на берегу протоки,
лежит ее рука,
сжимая лист осоки,
веселые мальки...

...И улыбнулся летчик.
В излучине реки
разбился самолетчик.

1975

БЕЗЫМЯННАЯ ВЫСОТА

(Хроника)

Памяти Курбана Бадельбаева

...От полка осталось 32 штыка —
шли из окружения от самого Бреста.
Всего-то начальства — писарь полка.
Последняя позиция — холм безымянный,
что стал для альпийских стрелков Эверестом.
Взрывом гранаты мне побило глаза:
командир наш, писарь полка Соломин,
снял с себя мокрый бинт, завязал мне глаза
и сипло сказал: «Посмотрим,
нас еще двое,
мы им дадим рукопашную,
меня узнаешь по голосу,
остальные — не наши...»
Я бежал рядом с Соломиным,
упираясь штыком в темноту.
Спотыкался и падал,
вставал,
воздух прикладом круша.
У ног моих бился, хрипел, умирал Соломин.
Они гоготали, меня окружа,
не знал я,
что гибнуть придется в таких условиях...
Сержант Соломин вел боевой дневник:
«Выйдем к своим,— говорил,—
для отчетности пригодится».
Кто дезертировал,
кто геройство в боях проявил,
кто где похоронен —
всему вел учет полковой писарь Соломин.
Когда на кордоне лесном
погиб пулеметчик Корнилов
и не осталось больше в полку коммунистов,
писарь Соломин, раненым горлом сипя,
клялся со всеми и, нарушая устав,
принял в партию
весь наличный состав
полка. В том числе и себя.
Все заявления, сколотые ржавой булавкой,
сохранились в сыром планшете.

«Я, рядовой Семенов Петр Ильич, из Саратова, улица Кровельная, 17, имею четыре класса образования, грамотный. Соцпроисхождение — бондарь. Прошу считать членом ВКП(б). Имею жену Марию и пятерых деток. Машенька, если что,— возвращайся к отцу в деревню...»

И приписано рукой Соломина: «Пал коммунистом за Родину у моста через реку Серень 20 августа 1941 года. Достоин ордена Красной Звезды».

«Я, рядовой Садыков Хамит, из аила № 5 около города Ош, неграмотный по-русски и по-киргизски. Соцпроисхождение — трудовой пастух. Имею мать и отца, убитых басмачами. Тяжело ранен

в бою за Родину, умирая, прошу принять в партию ВКП(б). Записано с моих слов сержантом Соломиным».

Вместо подписи — кровавый отпечаток пальца.

И ниже — тем же округлым писарским почерком:

«Принял смерть коммунистом на высоте 230 у деревни Голенькой 25 августа 1941 года. Достоин ордена Красной Звезды».

Через тридцать лет
пионеры отроют планшет,
документам размытым поверят райкомы
и военкоматы —
всех, кого принял в партию,
кого представил к награде
сержант Соломин,—
примут и наградят
посмертно.
Высота 230 на старенькой карте-трехверстке
обозначена цилиндрическими неправильными
овалами,
будто отпечаток капиллярных узоров.
Высоты, которые мы держали,
похожи на кровавые отпечатки
солдатских пальцев!..
Безымянная высота.
Почему — безымянная?
Тридцать — отдали ей навсегда
свои имена:
четыре Ивана, три Петра, два Ахмета,
Хамит и Саша,
Кирилл, Владимир, Исаак
и маленький санинструктор
Агаша —
без вести павшие солдаты наши.
...Над могилой обелиск
крашеной фанеры.
По тропинке поднялись
молча пионеры.
Ветер галстуки качнул,
шевельнул знамена,
стал почетный караул
тридцатииименный.
Над могилою года —
как высокий полдень,
ярко-красная звезда
словно общий орден.
Родиною звали мы
край, где рождены,
там кизячные дымы,
тополь у стены.
Как назвать страну берез,
где мы встали в рост,
не скрывая от огня
ни крови, ни слез?..

1976

ЗНОЙ В БАКУ

На заборе начертано — СНЕГ.
Тот же почерк
и тот же мел,
что вчера выдавать умел
не такое!
Вдруг просто — СНЕГ.
Покоробил текст новизной,
вырождением простоты,
не повеяло ни весной,
ни зимой,
нет, писал не ты.

Это творческое бессилье!
Вкус творца —
в соблюдении стиля,
есть бумага,
а есть заплот —
слова искреннего оплот!
...Был горячий июльский день,
арычок не давал прохлады,
шелковицы узорная тень —
драгоценней старинного клада.

А директор бюро прогнозов,
человек пожилой,
курносый,
отвечая на наши вопросы,
трубно кашляя,
обещал:
«В третьем квартале —
дождь и росы,
а в четвертом
два-три озноба,
дрожь и насморки
по ночам».
Вдруг
непонятное свершилось —
СНЕГ упал на бока инжира,
он ложился нетающим жиром
на горячую жижу —
СНЕГ.
А директор кричал:
«Ей-богу!
Я такого июля не помню,
в два столетия раз бывает,
а точней —
один раз в эпоху!»
Нас не балуют перемены.
Я обычаям изменю —
одобряю проект пельменной,

строганина и спирт
в меню!
В чайхане
не играют в нарды,
арбы — в сторону,
ишаки
на постромках волочат нарты,
песьи вывалив языки.
Рады люди —
и млад, и старый:
мы так жаждали перемен.
...СНЕГ попадал,
устал,
растаял.
Вроде кончился эксперимент.
СНЕГ исчез,
затоптанный нами.
Но теперь,
разрешая спор,
мы божимся забором,
как знаменем,
жарко молимся
на забор.

1976

* * *

Опаздывают поезда:
опасен семафор зеленый.
Упала серая звезда —
опаздывают самолеты.
Прищурил бровью карий свет
мыслитель доброго столетья,
всего на расстоянье плети
опаздывает твой совет.
Тень будущего на портрет
навалится, ломая краски,
любимая, на сколько лет
опаздывают твои ласки!..
По клавишам
и — закричат,
на выручку быстрее Листа
из эпоса джигиты мчат,
опаздывая лет на триста.
А мне б на помощь им успеть,
а мне бы слово прореветь
одно
возвышенно и чисто.

1976

СЕВЕР

Смотри,
памирские седые яки
уходят на Чукотку по горам —
растолковал им,
что такое ягель,
трава из северного серебра.
Они, сутулые, прошли Алтаем,
не торопясь, к Саянскому хребту,
о, страсть — не суета,
не понимаем,
как далеко мы ищем красоту.
Уйду в прикосновение руки,
кандальником в неласковую нежность,
ссылает красота в сибирский
Нежинск,
туда,
в серебряные рудники.
Холодный, благородный мой металл,
в краю морозном ты рожден,
мой белый,
я в золоте жары тебя искал,
прохладный мой,
победный.
Сияет матово лицо в углу,
вхожу в него, крича, как стог в иглу,
нет, эта женщина
не из ребра,
сибирская, она —
из серебра.
Озон серебряный в бору звенит,
не обжигает кору зенит,
игла сосны,
карагача кора,
чуть улыбнешься ты — из серебра.
В былинах бычьих серебрится ягель,
и запахи его нам ноздри рвут.
Идут по тундре молодые яки
и топчут легендарную траву...

1976

* * *

Много веку досталось эпитетов
добрых,
недобрых.
Век сложили в архивы,
упрятали в сейфы:
удобно.
Затолкали в карманы героев
детали событий громадных,
что не влезло — на свалку истории,
для сплетен и для романов.
Собирает поэт-старьевщик
осколки истин,
напевая под нос,
поднимает обрывки канатов мысли,
извлекает из груды гниющей
огрызки фантазии,
рукавом оттирает до блеска
лавровые листья лести.
Потускневшие зеркальца правд
в голубой оправе,
оловянные слитки,—
оплывы великих дат,
потрепанные переплеты недавней славы,
ржавые мины, круглые,
как циферблат.
Время войны и мира
вываливается на стол;
на каждой минуте —
минувшее
проступает пятном, как соль;
в каждой минуте —
мина
с хронометром на века,
тикает время мира
в мотивчике чудака.
В поисках неделимого
(что это — старь? новь?)
мы копошились в былинах
явей,
в легендах снов,
мы собирали толпы,
выявить корень — тол,
мы накопили злато —
выделить корень зла,
мы разлагали атом,
вываливали на стол
единые, неделимые
империи — крошева стран,
не верили, но проверили
Библию и Коран.
Где оно, неделимое

ни стенами и ни рвами?
Не краткое и не длинное?
Временем не взрываемое?
Где, на каком расстоянии
целое
состояние?

1976

СЛОН ФЛОРЫ

Серая степь — саванна. Редкие серые травы под ветром издают жестяной звук. Выцветшее от постоянного зноя небо. Главный принцип жизни в саванне — цветом не выделяться. Здесь даже бабочки — сплошь серые.

Бетономастный баобаб.
Ему-то от кого скрываться?
Он хищнику — не по зубам,
живет себе в степи приватно.
Он сам — и дерево, и лес:
корнями чуть не в магму влез,
предел количества и качества.
Опустошитель.
Водокачка.

Вокруг него гектаров на́ сто
нет ни травинки:
все убил.
Упырь земной. Сосет, и баста!
И маскируется
под пыль.

Ему бы символом зеленым
шуметь листвою над пустыней,
давать пристанище влюбленным,
святым отшельникам!
Не стыдно?
Польстим ему:
— Ты самый лучший,
ты полон жизни, дерзок, смел,
зачем ты рядишься под смерч?
Зачем ты сер?!
— На всякий случай.

1978

ПОНИМАНИЕ

Леону Робело

В парижской квартирке стены увешаны изображениями лошадей. Вырезанные из журналов, они украшают шкафы, зеркала, двери. Всех мастей, всех пород — рысаки, скакуны, иноходцы.

— А почему нет пони?— спросил я маленькую хозяйку.

— Пони это не лошадь,— был ответ, и глаза девочки смотрели снизу вверх с неуверенной надеждой на спор.

Прошло время.

Странно запомнилась интонация детского ответа. Она контаминировалась с ответами других на другие вопросы, прозвучавшие задолго до встречи с девочкой. И позже.

И в другом доме стены были украшены портретами лошадей. Стройная хозяйка с темпераментом табунной трехлетки...

Я гляжусь в трельяж иконный,
на меня в упор глядят,
выпирая из оклад,
непрощающие кони.
И во мне тревожно лошадь
встрепенулась
(поздновато?),
как реакция на лозунг —
познающий,
познавайся:
«Если я собой не понят,
значит, ты меня не понял,
миром взгляд свой не наполнил».
«В каждом человеке — лошадь,
в каждом ишаке — философ»,—
ухмыляется дикарь,
сам —
непонятый Декарт.

В мастерской на Монпарнасе,
в гулком центре Помпиду,
появлялся на Пегасе
попартистам на беду
кряжистый чернец в панаме,
привставал на стременах,
к свежему холсту штанами
приставал смурной монах.

Я не знаю, может, кстати
вымученность новой тайны
на заду унес создатель —
бородач лиловоштанный.

Слышен страшный крик погони:
догоняют эпигоны,
кони, что такое пропасть?
Робость!
«Наши полотна — мира белье,
Мир отворачивается:
не мое!

Что интересного
в грязном белье?
Лучше —
пончо, плед или шаль!»
Мир согласен с художником Шевалье,
но встает на дыбы мазила Шеваль.
Невеселая лошадка
переполнена собой,
тяжкотело,
грубо,
жарко
мчит над пропастью ковбой.
По кольцу Больших бульваров —
гром, копытная пальба,
реет пончо Боливара,
полосатый плед отброшен,
мнит себя зеленым полем
утрамбованная площадь,
знаешь,
что такое пони?
Недопонятая лошадь.
Мы спокойны,
мы отстали,
нам, приученным верхом,
надоела жизнь бегом,
мы коней в себя загнали,
возвращаемся пешком.
Не торопимся, вникаем,
многое допонимаем,
то, что раньше пролетели,
просвистели,
проглядели.
Недокапаны капели!
Недосверлены свирели!
Кличи —
это клочья песен,
что в атаке не допели!..
Не до песен, видно, было:
слишком многого хотели.
...Лунный свет в огнях Монмартра.
Он виной или неон?
В сером кумаче поп-арта
щедрым жестом Бонапарта
разорен
Наполеон.
Если так — увы, не тщетны
стоны старенькой кушетки,
сенный свежий запах пледа,
запах канувшего лета,
и опять над миром кони —
стаи разъяренных пони!..

1979

ПОЭТЕССА ИЗ КИШЛАКА КАШМИР

Строкой, печатными листами
размноженные, как эстампы,
заполоняют старый дом
отчаянные грезы — штампы.
Они на столике в прихожей,
они белеют у кровати
красавицы, для всех пригожей.
Она опять решает: хватит.
Протяжно думает о том,
что в этом крае снег и слякоть,
снимаешь угол у старухи.
Кашмира нет, устала плакать,
он был в стихах,
стихи — от скуки.
На стенах темного бетона
очами северных святых
торчат из белого картона
изобретенные цветы.
Из горных сел идут девчонки,
веселые, без биографий,
босые ноги колет гравий,
тропа надежды — не бетонка.
Потуже затянув платок,
смущенно приподняв подол,
зажмурившись, вступала, ох,
в тот первый ледяной поток.
Потом в другой. А третий шире
и холоднее — не могу!
Какие там цветы в Кашмире,
оставленном на берегу?
Забыла.
...Падали снежинки.
Прошел полуночный автобус.
Она порылась в пачке «Шипки»,
к мечтаньям не спеша готовясь —
о домике с оранжереей,
где в электричестве жиреют,
не зная ни пурги, ни ветра,
ничтоподобные соцветья.
Ее тоска сильнее книжной.
Она стоит в рубашке нижней
на фоне серого окна.
Одна.

1980

НОКТЮРН

I

Береза — северный бамбук,
дрожа струной,
сгибаясь в лук,
на белизне окна выводит
тенистые узоры букв,
и в серебрящейся тетради
письмо дыханья —
«Бога ради!...»
Его мне начинала ты
в том берестовом Новеграде.
Закутанная в полотно,
отбеленная серым небом,
ты вписана в мое окно
давно,
когда еще я не был.
Не слишком ли в домах тепло?
И пламя в лампе наклонится:
беззвонно выбито стекло,
безвинно вырвана страница.

II

Ночь — тень твоя,
обыденное новшество,
снежинкой тьма лениво прожжена.
Один и ночь — анализ одиночества,
а в Новеграде том — ночь и одна.
Старея днем, во тьме мы молодеем,
прошедшее изобретаем снова,
протяжной немотой изведав слово,
мы смыслами несуетно владеем.
Таращится бессонница ночей,
пытая грубой памятью событья.
Зачем живем на свете,
не забыть бы!
А затверженно помнить жизнь
зачем?

Сейчас вдруг
ночь о нас заговорит,
в твоей душе утонет черный клавиш,
и лунный отзвук глаз посеребрит,
а это значит попросту — ты плачешь.

III

...Утихли волны северного Понта,
снег лег на желтый лик земли,
как пудра.
Усталая белуга горизонта
качает удочку березы.
Утро.
Торчат прямые сосны над песками,
как мачты затонувших кораблей.
Хлестнем коней! Пусть вихрится
за нами
багровая листва календарей.
И вновь —
могуч, безжалостен, недобр,
гривастый день вторгает в душу топот,
кричат дутары,
дробный вопль домбр,
«о, ради бога»,— обжигает шепот.
И вправлено стекло. И рухнул дом.

1980

ЖАРА

Ах, какая женщина,
Руки раскидав,
Спит под пыльной яблоней.
Чуть журчит вода.
В клевере помятом сытый шмель гудит.
Солнечные пятна бродят по груди.

Вдоль арыка тихо еду я в седле.
Ох, какая женщина! Косы по земле!
В сторону смущенно
Смотрит старый конь.
Солнечные пятна
Шириной в ладонь.

1980

ГОРОД МОЙ, БЕССНЕЖНАЯ ЗИМА

Р. Рождественскому

Главное условие успеха — родиться в знаменитом городе, считали древние греки.

Он не входил в число столиц империй,
и лавры не растут — венца в наш герб
не ввить.
Чтоб быть единственным, не важно —
первым
или последним быть.
Мой город во вселенной знаменит
тем, что другим его не заменить.
...Здесь я увидел свет одной весной
в домишке возле крепостного вала
(точней, на Караванно-Крепостной),
здесь мать меня в ладонь поцеловала,
сказала: «Будешь мастером, сынок,
несовершенства мира обернутся
на руки эти
и падут у ног,
коснешься их и — красотой очнутся».
Здесь я гонялся взапуски с луной,
спал на речных камнях, нагретых солнцем,
я видел столько добрых валунов,
теснившихся, чтоб дать свободу соснам.
Нет в этом граде улочек кривых,
прямые, искренние марши улиц —
пожизненных моих дорог язык.

Стремительные, злые трассы улиц
прожектами такими обернулись,
такой свободой напрямик идти,
не ведая о кривизне пути!
Здесь родина мальчишеских обид,
здесь край несбывшихся на счастье снов.
Без этих идиллических основ
вселенная моя не устоит.
...Я знал: прошли эпохи неудач,
свет успокоился. Я верил в это.
Принес из-за горы веселый грач
в ущелье Чу восьмое чудо света.
Вы видели, в горах цветет урюк?
Он плыл по склонам розово, красиво.
А был январь. И ветер так угрюм,
что доброта твоя, урюк, бессильна.
Опавший цвет весны
уносят реки,
морозы землю розовым
покрыли,
грача того настигли
в человеке

и тащат за изломанные крылья.
Стараюсь вспомнить материнский жест
(все было так иль только показалось?).
Сказали: в мире нет несовершенств —
другие мастера его касались.

В шубейке черной, коротыш мой славный,
ладошкоалый мой, гусенколапый,
снежинки собирает, как подснежники,
в букет снежка их сплачивает бережно.

В моей вселенной славны эти горы,
мгновенья счастья, слепленные в годы.
И этот человечек знаменит
тем, что никем его не заменить,
мать все поймет,
но этот не простит.

1980

РИМ В ВИХРЕ

Вираж — проверенная мерка,
витки развитий — цирк и церковь!
Изгиб — первичнее прямой,
а плоскость — есть обломок сферы,
стоим на замкнутой кривой
и яро спорим:
кто же первый?
Движенье — главное,
а не девиз «Скорей!»
От дикарей мы до себя
домчали,
оставив истину у дикарей,
взамен приобретя рефлекс качанья.
Вращенье — верный механизм развития,
живя, ты будто развиваешь свиток,
в который четко вписаны события —
все, от грядущих
до забытых.

За поворотом — новый поворот.
Запустишь ленту памяти наоборот,
и — выстроено рухнувшее здание,
и с мостовой уходят задом танки,
встал с площадей расстрелянный народ,
и по деревням расползлись восстания,
и всосаны в стволы фонтаны дыма —
цепь превращений неостановима:
движенье — главное,
а не девиз «Вперед!»
В любом из нас жив позабытый Рим,
он ждет своей поры пока незримо,
«Мы — не рабы!»—
привычно говорим,
«Не винтики!»—
но мы уже хитрим,
растут, встают в душе
руины Рима.
«Мы — не рабы!— отчаянно бодрится
под пиджачишком клетчатым патриций.—
Рабами были мы давным-давно,
и все! Альтернативы не дано».
МЫ НЕ РАБЫ!
И где-то (не для цензора)
прищурится петитное:
«Мы — цезари...»

1980

* * *

Их имена шуршат, как штурмовые флаги.
Бауржан Момыш-улы,
Рахимжан Кошкарбаев.

...Атака, как потрава.
Взбушует дар крота,
когда ударит справа
чужая высота.
Зажмуришь рану
броском горсти.
«Вставай!»
«Не рано?»
«Пора. Прости...»

Прижата пулеметом
ноздрями в грязь
момышевская рота.
Не поднялась.
Подался, искорежен,
твой правый фланг.
Нет тяжелее ноши
в бою, чем флаг.
Погибнуть — ведь не то же,
что околеть?
Вопрос, казалось, легкий,
ответ не прост.
Ты испытал такое —
вставать с колен?
Неведомое счастье —
подняться в рост?
Крылатое мгновенье,
как взмах пера,
талант бойца —
уменье —
понять пора!
Предчувствовать событье —
нелегкий дар.
Пора!
Ты из укрытья
и под удар.
Хвосты обмоток,
бинтов кора,
из черных глоток
итог: «Пора-а!»

1981

* * *

В миллиардах обожжен
гортаней,
ревом бунтов,
кличами восстаний,
страстью изуродованный слог
выдохом ты превращаешь
в тайну.
Скажешь «холод»—
и теплом повеет,
молвишь «зной»—
и с гор сойдет прохлада,
даже ложь в твоих устах —
поверье,
и согласием звучит
«не надо...»

Слушаю —
и отпускает снова:
в слабом звуке растворилось
зло,
страхами измученному слову
в плавном твоем горле
повезло.

1984

РАВНОВЕСИЕ

Снежинка на лицо упала.
Остановились поезда.
Замолкли аэровокзалы.
В горах обрушились обвалы.
Непоправимый образ женский —
одна морозная звезда,
одна ошибка — навсегда,
один мазок и — совершенство.

...Внушал на золотой трубе
картины чувств районный лабух.
«Мечтай,— я говорил тебе,—
мечта — произведенье слабых.
Расческой разрезай листы
романов будущего века,
они боятся темноты,
они не переносят света.
Не испугайся тех страниц,
пустых, белеющих как поле,
листай и вглядывайся:
в них
мы снова встретимся с тобою.

Еще налепят снежных баб
на поле летнего стыда,
еще проступит на губах
неутверждающее «да».
Еще согреются сердца
прерывистым потоком речи.
Мы встретились,
и нет конца
непостоянству нашей встречи».
Весенний, перезревший снег
проходит сонно по селу,
неокончательный, как «нет»
сквозь осторожный поцелуй.

1984

МАЛЬЧИШЕСТВО

Г. Толмачеву

Уснули зимы в желтом январе,
барханы за окном (иль дюны?) стынут,
и в золотистом воздухе пустыни
застыл орел,
как муха в янтаре.
Прощай, мальчишество. Опять прощай,
я все же одолел тебя, мальчишество.

И праздновал победу.
...Серым утром,
листая бурой ночи камасутру,
я снова клял
и клялся —
в этот век:
вот с этого мгновенья жить полезно
и спорить — круто,
поступать — отвесно,
а если отступать, то только
вверх!

За искренность не воздается благом,
она как парус
на подводной лодке.
Опять всплываешь до прямой наводки
и тонешь,
как простреленная фляга.
Стыд обращает гамму слова в ноту,
стыд превращает музыку в икоту,
привычный звон алтына — в гром гроша.
Зачем всплываешь?
Просто подышать.
...Гордился совестью —
чиста, как лик младенца.
«Имейте совесть,— призывал.— Не прячьте!»
Она грубела,
никуда не деться,
чиста она теперь,
как руки прачки.

Болит и ноет
и к дождю, и к солнцу.
...Вращается каток календаря,
в тропу годов вминая гравий суток,
мальчишество заковано в рассудок —
хвоинкой в светлом камне янтаря.

1984

* * *

Очищаю ящики стола
от стихов, не вошедших в сборники.
Перелистываю, прощаясь.

Недодуманные страницы,
недописанные слова,
буквы, павшие на границе
между Опытом и Сперва.

...Скачки разве для променада?
Серебро под копыта летело,
наклонись, подними!
Не надо:
джигитовка не наше дело.
Разве в этом талант поэта —
подхватить на скаку монету?

Чистовик моих чувств
измаранный,
даже исповедь редактирую.
Жить в бескрайнем дрожащем
мареве?

Жить поближе,
ничтожной малостью?
Откровенно, без откровений,
и решительно, без решений?
...Мне тогда не хватало грубого
неуменья
себя обманывать.

Ночь.
Беседка Русского клуба.
Стол. Клеенка
почти пиросманова.
Бьет сквозь листья луна
светом брынзовым!
Нет, наверное, правильней —
матовым...

1984

* * *

Маме

О чем этот поселок?
О любви.
О вечной жизни
под просторным небом.
Неспешная закатность, позови
меня в раздумья те,
где еще не был.
Весенний грач?
Или осенний гусь?
Мое крыло полмира отмахало
и в реку Лимпопо перо макало,
и в пряный ветер
из цейлонских кущ.
О чем эта дорога?
Если прав,
будь с гордым горд:
он не отец пророка,
будь с робким робок:
он тебе не раб.
Я так и поступал, клянусь,
дорога.
Не всем, кто ждал, помог,
но я не бог,
что в силах одинокого поэта?
На все вопросы не нашел
ответа,
но людям я не лгал,
хотя и мог...

1985

НАША ЭРА

Размышления, диалоги

КАКТУС

(Размышление классика Амана на тему «Быть и казаться»)

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ

Я по паспорту — Аман-хан.

Хан — это титул, который когда-то принадлежал предку. На другой язык имя мое может переводиться так: князь Аман или граф Аман.

В наше время титулов стесняются, поэтому друзья меня зовут просто — Аман или Аманчик в исключительных случаях.

Единственно, кому я не позволю сокращать мое имя,— безродному Жаппасу.

Пусть всегда чувствует дистанцию между нами.

Все чаще меня посещают думы. Личный опыт требует обобщения. Что я оставляю своим продолжателям? Монографию «Стихи не нужны» или тома вдохновенных стихов?

Каждый большой поэт мечтал, чтобы его забыли.

Поясню.

Поэт велик своей темой.

Проходят века, а тема его актуальна, и стихи звучат по-прежнему гневно и печально. Умрет тема, умрут стихи. Но жив Абай, разоблачавший тупость и чванство XIX века. (Это — Жаппас). Жив Салтыков-Щедрин, ибо живы прототипы его героев. (Это — Жаппас).

Станут люди умнее, добрее, счастливей и создадут своих умных, добрых и счастливых поэтов.

Забудьте и меня.

Но прежде забудьте Жаппаса.

Я и после поражения врагов своих останусь в пожелтевших страницах грустным и строгим, как сегодня.

Я был на площади имени Пушкина. Видел его статую.

И подумал:

Пушкин не знает,
что сняли царя Николая,
так и стоит понуро
на площади этой.

Враг давно повержен, но победитель до сих пор угрюм и задумчив.

* * *

Я не могу вспомнить, что я обокрал, оскорбил или плюнул вслед. Единственная подлая черта в человеке (таком, как я) — он не может защитить себя.

Меня обкрадывали, оскорбляли, плевали вслед.

Кто? Я не помню всех.

Помню Жаппаса.

Неприятности острее радости. Счастье — это хвост метеора; след горя — борозда по лицу. Удача не оставляет морщин, и потому память о ней легка.

Века мира мы не помним, зато — мгновение войн!

Помню Жаппаса.

В биографии человека есть талантливые события, интересные всем, есть посредственные, памятные только участнику или жертве. Но все они выставлены в одном зале памяти, ибо они равно наделены правом представлять время.

Бездарное лучше сохраняется — оно грубее.

Не все долговечное — гениально.

Вечен Жаппас.

. . . . . .

. . . . . .

Упр. 1. КАК ДЕЛАТЬ (ПИСАТЬ, СТРОИТЬ) СТИХИ.

Эскиз будущей монографии

I

Лучшие творения народной поэзии созданы в эпоху неолита[1]. Их отличают полнота и подробность.

Наше творчество означает собой частичный возврат к формам неолитической литературы, к их архитектуре: чередование стиха (ак соз) и прозы (кара соз).

К нашему направлению более всего подходит термин НЕО. ЛИТ[2]. В нем благородно сочетается модерн и уважение к традиции.

Общие положения.

Если стих — всего лишь личная реакция на какое-то действие, неизвестное читателю, то стих недействителен.

Стих не должен быть произведением[3] и только произведением. Читатель хочет знать весь процесс умножения слов.

Мне лично не интересен результат (4) без подробного описания действия (2x2 или 2x3).

Стих рождается из обстоятельств, которые оказываются сокрытыми от читателя. Зададим себе вопрос: может быть, обстоятельства эти читателю нашему интересней произведения?

Уже невозможно сохранить умирающий от чрезмерного умственного развития жанр стихами, подобными формулам:

Стихи Жаппаса=5

Почему 5, когда их структура «дважды два», или чаще «одиножды один», или вовсе «нуль»?

[1] **Неолит** — новый каменный век.

[2] **НЕО. ЛИТ.** — новая литература.

[3] Произведение — термин взят из учебника арифметики.

Метод неолита (новой литературы) заключается в следующем:

а) неолит ищет в каждом дурном явлении позитивное начало и на нем основывается. В каждой собаке — человека. Ибо история и истина не одно и то же. Начала — вместе, окончания — врозь;

б) анализ слова и факта. Пласты значений. Например, известно, что трое незнакомцев (по виду — строители) помочились на угол дачи писателя Жаппаса. Как развернуть это событие в поэму?

Извлекаем костяк: с т р о и т е л и и п и с а т е л ь.

В первом звукосочетании ударение на «и». Следовательно, напрашивается основа «строи́ть» — выпить на троих. Противоречит ли это толкование факту? Вряд ли, т. к. очевидно, что трое незнакомцев были выпивши.

Итак, возникает важная фраза: «Строители строи́ли». Это уже уверенный штрих будущей картины.

Антагонизирующее слово п и с а т е л ь связано с предыдущим не случайно. Надо ли доказывать, что в данном случае уместнее применить древнеславянское ударение на «и», чтобы сблизить противоположные формы.

Послушайте, как торжественно звучит «и»: «Строи́тели и пи́сатель»! И как развернулись семантические рамки! Событие ясно, оно уже поется. Воздвигаются образы, восстают детали, возникает прошлое, настоящее и будущее факта. Звучит размеренно ритм шагов. Чьи это шаги? Сейчас узнаем. Я вижу:

...идут по переулку прохожие.
Один из них знаком —
Саид Байхожин.
Взрывается напористой улыбкой,
лоснится рожей пористой,
как губка,
он впитывает взгляды, набухает.
Вот и с т и н а тревожная — бухарик.
Не потому, что гнал газопровод
из Бухары,
а потому, что пьет
и будет пить, пока не опьянеет.
Иначе истязаться не умеет.
И с т о р и я: закончили туннель,
пробили в скальном грунте
метров триста,
Саид Байхожин гнал под взрывы МАЗ,
чтобы выручить какого-то туриста.
И выручил, загородил.
И вас
историк перебьет,
он скажет: «Спас!»
Спасали жизнь, взыскания имели,
но жить они иначе не умели.
И мне, наверное, простят грехи
за то, что я о них писал стихи.
За то, что лгал, бывало, но не врал.
Спасался тем, что
истину взрывал.
Невежда тот, кто в прошлое не вник,

кто в будущее не смотрел — велик.
Поэзия — это всегда поступок,
она, как варварство,
всегда в изломах,
подобно
лестнице,
вся из уступок,
уступок необдуманному слову.
Мы унижаем факт
до акта слова,
в простом событье у стены Жаппаса
мы видим смесь торжественности,
злобы,
соединенье страсти и опасности.
Но как, создатель, это описать!..
Величье проявления обиды.
Они имеют право притязать
на выявленье собственного вида?
Что главное в Саиде? Неизбежность
его поступков.
Значит — необдуманность,
кто мыслит о последствиях — не смел,
б ы т ь и к а з а т ь с я — общий наш удел.
Каким ты был, таким ты и казался,
поэт Жаппас,
поэт Аман — сложней.
Он жил в искусстве.
Ты — лишь прикасался
его гранита завистью своей.
Будь, истина! — историю придумаю,
благодарю, Жаппас, за прямоту мою,
писал — не знал, что именно получится,
иначе б я, клянусь,
не стал бы мучиться.

Записал и принес эти стихи в журнал, где редакторствует пресловутый Жаппас.

Он поглядел и пробурчал нечто вроде того, что стихотворение ему знакомо.

На меня это известие подействовало сильно.

— Было,— сказал он, не разжимая век.— Было.

Я подумал сначала, что он шутит. Его знаменитый стих «Я — бывший батрак» прочно утвердил за ним репутацию юмориста.

Мне вспомнилось, как я стоял перед зданием какой-то мыловаренной фабрики и думал. О чем я думал? Ни о чем. Просто стоял и думал. Численность этажей меня не интересовала. Достаточно, что много. Стеклянная плита, поставленная на торец. Интересно, когда нас потрясает факт, реакция бывает самой примитивной. Он отражается в нас, как в разволнованном зеркале: или слишком толстым, как

Жаппас, или неправдоподобно стройным, как я. Событие охватывает сердце, и ему надо вырваться из-под гнета, чтобы охватить событие целиком, чтобы заметить в нем кроме тяжести волнения волшебный вес красок.

Я впитывал солнце и не знал, сколько ультрафиолетовых лучей падает на $см^2$ моей кожи в секунду. Я понимаю людей, у которых много вопросов, но я не понимаю людей, у которых на любой вопрос готов обстоятельный, толковый ответ. Я боюсь таких людей, они безжалостны. Они уже все решили, все по-своему знают. Они не волнуются, у них не бывает падения мысли, не бывает счастья находок предпоследнего варианта решения. Время рождает новые вопросы. Мы хотим узнать корни противоречий. Домыслить то, что открыто в учебниках, и эти открытия каждый должен открыть еще и еще раз для себя.

Тогда этот закон станет и личной верой.

— Было,— повторил он.— Все было.

Жаппас любое слово произносит мудро и значительно. Гнет собственной абсолютности он распространяет на окружающих, и они становятся гордыми и надменными по отношению к нему и столь же категоричными.

— Не было! Где было? — воскликнул и спросил я.

— Ничто не ново под луной,— не моргнув, промямлил он. Спокойно и вдохновенно выразил мысль, уже утвержденную семьюдесятью поколениями писателей, среди которых первый был прав. Жаппаса некоторые критики называют Гомером XX века[1]. Он из тех людей, которые ни того, ни другого Гомера ни читали и не будут. Он глуп только на первый взгляд. И на второй. Впрочем, и на третий. Но в историю он войдет. Как убийца. Он глядел в щелки поверх головы моей, словно считал до миллиона, чтобы не уснуть вечным сном. Я увидел покадрово:

[1] Гомер Аблаев (правильней — Гумер) — феодал 18 в. н. э. (Аман).

Крупный план: его жирное лицо.

Отъезд до среднего: брюхо.

Общий: все еще — БРЮХО.

Двойной экспозицией: ведро воды, опрокинутое над костром. Крупно: борьба огня и влаги. Яростный пар. Черные угли. Средний: я влетел в седло и понесся по склону до общего. С противного холма с копьем наперевес идет на сближение Брюхо. Голоса за кадром. Вступает тревожная музыка.

Он (яростно):

Помолись своим кумирам,
мы не покончим дела миром,
делать нечего в этом мире
двум батырам,
двум эмирам.

Я (спокойно и сильно):

И сражаются испокон
рог на рог
и конь на конь.
Пусть
вступают в единоборство

твоя жестокость,
мое упорство.
Твоя безмерность
и моя мера,
твое язычество,
моя вера.
Твой лед холодный
и мой огонь,
как рог на рог
и конь на конь.

(Крупно детали: выражения глаз — страх затаенный и спокойствие трагическое. Острия копий, оскал коней.)

Я (вдохновенно):

Помолись своим кумирам,
ты будь с мечом,
я вышел с лирой,
мы не покончим дело миром,
делать нечего в этом мире
двум батырам,
двум эмирам.
(*Аплодисменты.*)

(Две тонкие пики сблизились, спарились, как две струны домбры, вонзились в два жилета. Взвилась мелодия, сшиблись две темы.)

Вместе (*дуэт*):

Ты слышишь, друг,
звенит струна?
О чем поет тебе она?
Ты мне расскажешь,
что в этом вое,

после боя,
после боя...

Крупно: я.

Обще: ОН.

— Не было,— сказал наконец Жаппас.

— Что не было? — не торжествуя, спросил я.

Добивать так добивать. На войне героем станет тот, кто победит страх, здесь герой тот, кто пересилит отвращение к поверженному Жаппасу. Я пересилил, хотя это было нелегко. Хорошо творить подвиг на виду у всех, когда за тобой следят телекамеры и каждый шаг твой сопровождается то общим вздохом, то бурными рукоплесканиями. А когда ты один на один с Жаппасом в его непроветриваемом кабинете с грязной ватой между рамами, твоего мужества никто не оценит, но я знаю, на что иду. Я вел бои за Саида.

(Архитектурный гений наших предков выражал себя в создании могильников, вся степь уставлена мазарами, повторяющими очертания уничтоженных в набегах крепостей и храмов. На степных кладбищах вы можете найти глиняные и каменные модели византийских соборов и сирийских дворцов. В этих мазарах хоронили богатырей. Поэты в

то время строили свои воздушные города. «Дворцы воздушные мои прочней твоих могил».

Когда небесные светила изменили ход и отвернулись от кипчаков, последние, не найдя надежных крепостей на своей земле, бросились под защиту мифических стен эпоса. Души их укрылись в моих воздушных замках. Тела их я вышвырнул за ворота. Они не вмещались. Для них строит убежища Саид Байхожин, профессиональный строитель, кипчак из СМУ-22. О нем моя песня.)

— Так было или не было, рожай, Жаппас! — я уже откровенно издевался.

— Не было и не будет. Твоих вещей. В моем журнале!!!

Трудно, невозможно постичь Жаппаса. У меня нет ни времени, ни сил, чтобы проделать эту огромную работу, которая потребовала бы от исследователя кроме знаний всяческого рода еще и изрядного запаса меланхоличности.

А я — холерик!

Долой блистательные околичности! Метафоры, уводящие от сути, как куропатки от гнезд своих уводят свирепого ястреба!

Мой ум рвался к более свежим проблемам.

Мы с криком пришли в этот мир!

Я потребовал маков у зимы, идеалист!..

Жаппас, а ты видел грозу в январе?!

Когда в снежном небе шипя метались отчаянные молнии и бил дымящийся ливень в угрюмую безжизненность снегов.

Шесть рублей!..

При каждой встрече он напоминает про долг.

Не удержать меня!..

Жаппас бездарен, как Бетпак-Дала осенью. Где он нашел такое брюхо? В хлебном магазине его пропускают без очереди. Читатели, заметив Жаппаса, говорят задумчиво:

«В нем что-то есть...»

А ты подумал, жырши[1] Жаппас,
что песня — жыр[2],
соловей — булбул[3]?
Все чаще жирных поэтов у нас
народ-реалист называет
пул-пул[4].
И вот Аман пришел вершить намаз,
в слезах, в чалме распущенной
и с грубостью,
что жизнь поэта —
ярче, чем алмаз,
и дорога своей алмазной хрупкостью.
Аман из тех, кто понимает стыд,
мой стих, как штык,
и нет стиху святых.
Жизнь сокращают мне,
но не стихи,
в сердца они уходят,
как штыки.
Я помню долг другой,
великий долг!..[5]

[1] **Жырши** — певец *(каз.)*.
[2] **Жыр** — песня *(каз.)*.
[3] **Булбул** — соловей *(каз.)*
[4] **Пул-пул** — деньги *(каз.)*.

[5] Историку С-иму сотню должен, Б-лову — тоже (Аман).

...Наука — вещь серьезная. Могут ли цифры и формулы быть поэзией? Что такое нуль с точки зрения научной? Ничто. А поэзия говорит — нечто. Это конечная цель определенного этапа развития.

К форме нуль стремится все — скалы обтачиваются временем в валуны, угловатая космическая глыба стала земным шаром. Слова круглеют, и ракета в разрезе круглая — так легче взлетать, и бомба — так легче падать. И тело круглеет, и головы круглые, и рты в крике, и глаза вытаращены. Впрочем, что его описывать: нуль — это нуль. Пустота пустот.

Вот все, что я хотел сказать о круглом поэте Жаппасе!..[1]

Упр. 3. ЗНАК АМАЗОНОК
(Как возродить любовную лирику)

Меня часто спрашивают поклонники: «О чем пишешь, дорогой Аман?» Я отвечаю несложно: «О чем пишется». Каждое утро ставлю себе определенную задачу.

Вот и сегодня, накануне 8 марта, я обязан подумать на тему: «Чадра или не чадра?» Эксперимент с эмансипацией затянулся. Результаты уже не пугают. Мы привыкли. Равнодушие — друг любви.

I

В комнате — солнце,
конфеты из сои.
Собака глядит на конфету,
скучает,
глажу ей спину ногой босой,
листаю газеты за чашкой чаю.
Снова — акции и падения,
в странах Азии перевороты,
нет ни в одной министерств
нападения,
множество — министерств обороны...
Откуда же войны, простите, берутся?!
Дерутся гегели и конфуции,
полосы гордости,
строчки конфуза,
ребусы глобуса и кроссворды,
о свадьбах ни слова —
разводы, разводы...

II

Я сложность духа меряю простыми
реалиями:
мельницами — ветер,
свет — киловаттом,
тяжесть — мегатонной.

[1] Машинистка при перепечатке постоянно превращала слова Жаппаса в (Жё пасс), что в переводе с французского означает — «Я гряду». Мне стоило усилий выправить его имя, хотя в высшей справедливости этих опечаток я ни секунды не сомневался. (Аман).

Ай, строфы цифр, эпосы речей!
До сердца допустили мы врачей,
узнали анатомию мадонны.
Эпоха бесподобных лесорубов,
ткачих всеправых,
и зачем вам Рубенс,
когда полотна гениальней красок!
Идеализма где-нибудь украсть бы.

III

Сто тонн на каждого из нас приходится.
Сто тонн тротила. Может, опечатка?
Сто тонн «наполеонов», не взрывчатки,
тортов?
Хотя и это пригодится...
Придет в субботу дядя-спекулянт.
«Чего продать? На барахолку еду».
«Почем тротил?»— спрошу.
Он вынет прейскурант.
«Такого барахла
тут,— скажет,— нету».
А я ему: «Есть девяносто тонн».
(Десяток тонн на черный день оставлю.)
«Хоть по рублевке!»
Обалдеет он:
«Да что ты!.. Я тебе по трешке ставлю!»
Газет он не читает, глупый он.
У самого (не знает) —
сотня тонн.

IV

Та, которая коллекционирует кактусы, вчера говорила, трепетно поглаживая себя по бокам:

— Почему это у мужчин, когда они на меня смотрят, жадные тигриные глаза?

У самой при этом были рысьи. Ее сослуживица, унылый реликт феодально-байской эпохи, неуважительно ухмыльнулась. Рысь переключилась:

— Почему ты за собой не следишь, Гюль? Ты так неряшливо одета, платье длинное, какие-то браслеты, монисты!.. Муж тебя оставит, если ты...

— Не бросит! — не отрываясь от гроссбуха.— Он за меня три тыщи уплатил. Новыми.

И щелкнула счетами.

Веселая Рысь превратилась в ничейную кошку. Редко можно наблюдать такое непосредственное действие слова.

Я человек современный, прогрессивный, можно сказать.

Я бы не посмотрел ни на какие тыщи. Оставил бы — и все. Но заметьте, сколько гордости в этом униженном, казалось бы, откровении.

А Рыси, подумал невольно я, суждено быть женой б е с п л а т н о й. Что может быть унизительней этого? «Моя дорогая», «моя бесценная».

Не ощущаю материальности слова. Эти эпитеты достались нам от времен, когда поэзия была подкреплена калымом. «Сопротивляйся, Аман,— говорил я себе.— Не верь тому, что слишком очевидно!»

Борьба продолжалась с переменным успехом.

Невольно вспомнил, как Зулейха покупала на рынке смазливого раба Юсупа.

— По весу юноши,— купец промолвил тут,— не гири на весы, а золото кладут.

Сокровищ всех Юсуп был тяжелей.

Странно, что в мировой поэзии не сохранилось описания покупки жены. Но намеки на то, что женская красота стоила денег, сохранились. Поэты восполняли недостаток валюты драгоценными стихами, в которых сияли «алмазы слез», «жемчуги зубов», «бровей золотые серпы».

Подобна яхонту краса твоих ланит,
как нежный перламутр ногтей отлив,
глаза как изумруды,—

и т. д.

Так Зулейха описывала Юсупа.

...Веселой Рыси недавно прислал тайное письмо чреватый поэт наш Жаппас. Он писал ей так (с не свойственным ему темпераментом):

О редкой красоты кристалл,
любовь моя, душа Джамал!
О серебро мое, мой друг,
плагиоклаз души моей,
скажи мне: будешь ли моей?
Скажи скорей, молю, скорей!

Моллюск пузатый завершал послание строфой, направленной против меня.

Я дам тебе благой совет:
не обесцень себя, мой свет!
В невежде-муже проку нет,
зря только век загубишь свой.

Эта строфа, лучшая в касыде, не принадлежит его перу. Он бесстыдно выписал ее из моего анонимного послания его молодой жене Зумрат, по кличке «Трясучка огневая». Я, в свою очередь, заимствовал эти строки из собрания древнего Кандылая. У кого Кандылай украл, мне неизвестно.

Очень хорошо сказал благочестивый Акмулла:

Был склонен к воровству
я в юные года,

за это был гоним,
сгорал я от стыда.

Я искал последовательниц Зулейхи по всему миру. Где-то ведь должны были сохраниться черты матриархата. И нашел их в республике Унди.

В Барассе я достал двадцать первый сорт кактуса. Надменный, весь в прыщах, в горшочке. Мне подарил его барассец Лингва за пять монет. Имя «Лингва» означает на барасском — «царь», а на языке соседнего губернского города N-ск —«мужской орган». Может быть поэтому Лингва стоит во главе кампании протеста «N-ск даун!»[1] Он за самоопределение Барасса. Официальными языками республики, по его мнению, должен быть барасский или английский (в котором «Лингва» означает безобидное — «язык», «речь»). Или зартаский, в крайнем случае (где «Лингва» переводится как «бог»). А по мне, бог и царь — один хрен. Но мне чем-то нравятся барассцы. А этот — больше всех других. Вегетарианец, весь в заботах о судьбах нации, лысый. О чем бы ни говорил — о приближающемся муссоне, о ценах на кактусы,— он кончал каждую фразу традиционным кличем «N-ск даун!» Это не главное в Лингве. Я его оправдываю по-своему.

[1] «N-ск даун!»— «Долой N-ск!» (бар.).

Есть люди, которые рождены, чтобы жить, не высовываясь за стены прекрасного дворца своего племени. Например, моему дяде — спекулянту Умеру — просто противопоказана славяноязычная среда. Умер — по-нашему «Жизнь», вполне приличное имя. С ним бы жить да жить. Телеграммы, которые он аккуратно рассылает по Союзу к праздникам, сеют панику. У него две колодки на все случаи: «Поздравляю праздником твой дядя умер» или «Желаю счастья долгих лет жизни успехов труде ваш родственник умер». И обязательно приписка ошеломленной телефонистки: «Верно — умер». В телеграммах ударение не ставят, прописные буквы не обозначаются, и поэтому в аэропортах билеты отпускаются по его поздравлениям вне очереди. И притом кассиры смотрят сочувственно. Начальник порта провожает до трапа, поддерживая под локоть.

И еще что объединяет
Умера с Лингвой —
мой дядя тоже любит обобщать
явления истории
и в выводах своих категоричен.
Дядю в детстве лягнула лошадь.
Сейчас ему за сорок.
Он мрачен и неразговорчив.
Уверен, что все зло
от лошадей.
Он ненавидит скакунов
и одров,
ахалтекинцев и карабагиров,
орловских рысаков
и лошадей Пржевальского,
саврасых, пегих, вороных,
гнедых!..
Конь вещего Олега —
его враг,

Пегас и Горбунок
и Сивка-Бурка,
Мерани и Тулпар —
его враги.
О, как он ненавидел ренессанс!
(Он путал это слово с Росинантом.)
Я иногда с ужасом фантазирую:
что было бы, если бы дядя Умер
родился в деспотические времена
ханом в каком-нибудь феодальном государстве.
Первым же фирманом он уничтожил бы
все конское поголовье в своей стране,
а если бы хватило сил,
то и далеко за ее пределами.
Если покопаться в истории древних войн
и в биографиях полководцев,
то можно найти убедительные доказательства
того, что зачинщиков мировых
побоищ
в детстве лягнул еврей,
или карфагенянин,
грек,
негр,
славянин,
китаец,
татарин на базаре,
курд-молочник
иль дворник-армянин.
История нас учит,—
выбирайте вождями
неушибленных людей.
Хорс даун!

И еще что объединяет (Лингву и Умера): оба они спекулянты, и оба носят чалму по пятницам. (Здесь я вынужден сделать замечание Маяковскому. Он допускает образную неточность, когда описывает польских пограничников в известном стихотворении: «и не повернув головы кочан». Так можно сказать о Лингве или Умере, чалмоносцах, чьи головы действительно похожи на капустные плоды, но ни в коем случае не о польских головах в конфедератках. На этом я стою совершенно железно. Точность образа — закон неолита.) Но чалма не главное в Лингве. Я никогда не забуду, как он, проверив на свет пятимонетку, достал из портфеля горшочек с кактусом и сказал по-барасски:

Этот кактус расцветает раз в столетье, ночью,
белым шаром, жирным одноцветьем, сочным,
не уколет губы — несъедобен, мягок.
Покраснеет, если уподобить маку.
Диким ветром в белом поле брошен
кактус.

Расцветает, если тихо спрошен:
«Как ты?»

Что ответит — очень важно
знать обоим.
«Надоело,— скажет,—
рвать штаны ковбоям».

N-ск даун!

Он замолк, но в глазах его опечаленных я читал продолжение:

В зелени травы ярятся маки —
затравили,
бродят в травах белые собаки
баскервилей,
ароматны запахи весеньи,
нет!
Сладко пахнет чье-то невезенье —
след.
Белые иголки, словно проседь,
может быть, и ты когда-то спросишь:
— Как тебе живется, Лингва?
N-ск даун...

Но это не главное в Лингве. Хотелось бы женщинам в их светлый праздник сказать о нем другое.

В Барассе калым платит женщина. Жена купила Лингву, как несравненная Зулейха — прекрасного Юсупа. Он стал ей в 50 тыс. монет. Если бы он не учился в Оксфорде, он бы стоил 20 тысяч; если бы не окончил колледжа в N-ске, то обошелся б несчастной женщине в 10 тыщ. А если бы он был неприкасаемым или отверженным, то вместе со всеми дипломами стоил бы — шиш.

— У нас разводов не бывает. Нет. Она меня не бросит. Нет. N-ск даун!— сказал Лингва, не помню, по какому поводу. Я видел его чудесную жену. И обидно стало от сознания, что такая женщина сама платит, и за кого!.. Есть ли выход из создавшегося положения? Есть. Вот мой проект: уравнять в правах обе стороны. Предлагаю назвать этот процесс АМАНсипацией. Цены на женихов и невест упорядочить, провести законом. Первого апреля каждого года понемногу повышать. И тогда 1 апреля станет международным Днем свадеб. Меньше будет разводов. Газеты отдадут место объявлениям о свадьбах. Они вытеснят нервирующую информацию. Весной — всенародный праздник, ярмарка женихов и невест. Лица мужчин и дам в нейлоновой непрозрачной сетке — чачване. На ней ярлычок с ценой и указанием количества дипломов.

Вспомним, что прекрасный Юсуп и пророк Магомет скрывали красоту свою в волосяной чадре. И когда они сняли чадру, ослепли Зулейха и Айша. Главное — возродить эпос. Вспыхнут свежим огнем бессмертный сюжет — «за нелюбимую выдан я» и равноправный вариант. Газель победит газету.

Поэкспериментировали — хватит, пора возвращаться в пампасы фольклора. Наденем на любимых пояс чести. И когда ты купишь меня, Рысь, ты содрогнешься от моих признаний, моя дорогая, бесценная ты моя!..

V

Вражда, приветствую тебя, вражда,
когда ты проявляешься поэзией,
сегодня, может быть, как никогда,
мои любовные стихи полезны.
Мы для проклятий не находим слов,
нужны к такому случаю глотанья,
и бормотанья, сбивы, запинанья,
и треск, и скрежет
выбитых зубов.
В окно глядят верблюды —
это горы,
с портрета не Джульетта —
это ты,
на тумбочке забытый том Тагора,
стакан немытый —
это тоже ты.
Предметы — моя память,
твоя слава,
ковер, прожженный там,
где ты прожгла,
когда лениво̀ потянулась
лапой
с постели в пепельницу,
не нашла,
так и воткнула в мой ковер...
Ушел бы!
Уйду, оставив в комнате моей
злой аромат духов твоих дешевых.
Другая караулит у дверей.
...Уходят женщины в эпоху Блока,
там им неплохо,
там — позавидовать далеким мамам,
Прекрасным Дамам.
Уходят женщины к озерам дальним,
к забытым станам,
в шатры уходят, чадру накинув,
к другим скандалам.
Уходят женщины, их платья длинные
в крылатых складках
и каждым взглядом
зовут мужчину
сверкнуть булатом.
Мерцают реки в густых ресницах
склоненных ив,
уходят жены, чтобы присниться.
Забудем их.

VI

Загрохотала дверь. Отпер. Около мешка стоял дядя Умер, дуб кряжистый, с лицом, похожим на кору карагача.

«Суббота»,— вспомнил я. 8 марта. Умер был сегодня э к с п а с с и в н ы й[1]. Он держался за поясницу.

— Э, пока поднялся, совсем почки распустились...

— Весна...— посочувствовал я.

Он ощерил нержавеющий жемчуг вставленных зубов.

За ним маячила наша почтальонша.

— Подписка кончилась. Продлить надо.

— Поздравляю с женским праздником,— сказал я.— Подпишусь.

— Спасибо,— обрадовалась почтальонша неподдельно.— Вы у меня сегодня первый...

Я — первый. И мир стал приятен. Мне захотелось порывисто обнять дядю Умера, Жаппаса, Лингву. Вы думаете, в этот день только женщины счастливы?

Дядя Умер ничего не читает, и поэтому я могу о нем смело писать всякое: он не знает, что в ядре клетки тела насчитывается несколько десятков хромосом. Две из них определяют пол. У мужчин, в том числе и у Умера, они составляют сочетание ХУ, а у женщин они одинаковы — ХХ. Аллюр два креста. Этим знаком амазонок обозначен век. Я боюсь символов, поэтому верю в них и стараюсь не обижать женщин. Века мужчин прошли. Иду на поклон. Я догнал почтальоншу на улице, втолкал ей в сумку коробку соевых конфет и вручил кактус в изящном барасско́м горшке. И так будет отныне с каждой. Опять — быть и казаться?

Кактус расцветает раз в столетье,
ночью,
белым шаром, жирным одноцветьем
сочным,
не уколет губы — несъедобен,
мягок.
Покраснеет, если уподобить маку,
диким ветром в белом поле брошен
кактус,
расцветает, если тихо спрошен:
«Как ты?»
Что ответит, очень важно знать
обоим...

Ты прав, грек: я мыслю — значит, кое-как существую.

Ты трижды права, Рысь: я чувствую, значит, живу. Тебя нет, тебя нет, тебя нет со мной, я чувствую это. Потому и живу? Даун!

1969

[1] **Экспассивный** — в происхождении этого термина виновата машинистка. Читать можно и «экспансивный» (Аман).

(Диалог)

— Пародия на театр абсурда?
— Может быть.
— Экологические проблемы?
— Не исключено.

Автор

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Биофил.

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Некрофил.
Муравей.
Смерть муравья.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Развалины какого-то храма за границей.

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Наша эра

СЮЖЕТ

Двое (прохожих) наступили на муравья, влачившего соломинку рисовую.
Полдень. Они устали.
Биофил сел на обломок стены, свесил ноги, достал из-за пазухи кисет, высыпал на ладонь горку табаку, втянул в одну ноздрю, потом в другую. Застыл, вытаращив глаза — ждал реакции. Пока не дождался.
Некрофил стоит над трупом муравья. Любая смерть располагает его к раздумьям. Подошвы его сапог и голенища в бурых пятнах крови.

I

Биофил

Ну, говори...

Некрофил

Поговорим. А толку?
Наш муравей не встанет,
не выгнет сильную холку,
соломинку не потянет.
Прощай, насекомый брат,
прекрасный организм!
Кто, скажи, виноват,
что ты пробирался низом?
Кто нас поместил сюда,
таких
разных?
Ты шел по тропе труда,
а мы —
праздно.
Ни зла от тебя, ни обид.
Попался
под ноги,
и вот результат —

убит.
А мы? Подлые!

Биофил так и не чихнул.
Снова запустил руку в кисет.

Биофил

Жизнь, как видно, прошел
в дерьме до бровей.
А мы бы могли остаться в друзьях,
если бы взял он чуток правей.

Некрофил

Почему должен он свернуть,
а не мы?

Биофил

Он бы мог и без нас сковырнуться
сто раз.
Кругом дремучие леса —
его склевал бы воробей,
или втянула б в нос лиса.
(Мечтательно.)
Уж он бы ей в носу поскреб!..
(Снова вдыхает табаку, остаток с ладони закладывает за губу.)

Некрофил

Да, мы не можем выбирать,
природа выбирает,
кто в мир приходит вымирать —
тот вымирает.
Свободен в выборе лишь тот,
кто с миром вровень...

Биофил еще надеется чихнуть. Табак на языке мешает высказаться четко и ясно.

Конец — вот истина, что бесконечна.
Меня влечет, притягивает мрак.
Основа чувства всякого есть страх.
А ты, дурак, как ты настроен к жизни?

Биофил

Мудрец ты, вижу, но и я не прост.
Чего пытаешь, я не Роберт Фрост.
Я смерть не знал и жизнью
предоволен.
Я завсегда почти прекрасно болен.
А темноту люблю. Вдвоем — тем
более.
Да не с тобой.

Некрофил

(задумчиво)

А может, ты — добро?..

Биофил

Я ногтя за пустое не отдам.

Некрофил

А если гарантирует Адам
еще одно ребро?

Биофил

Любовь — другое дело, это —
чувство.

Некрофил

(обрадованно)

Основа чувства всякого —
есть страх!

Биофил

Вот я и думаю сказать, да все боялся:
а может, он дикарь средь муравьев?
Небось, до этого жену чужую сгреб,
пузатую, с накрашенной клешней.
Тащился к ней с бревном да
надорвался.
Давай кончать, напишем некролог,
расскажем, как дело было...
Ну, раздавили ненароком.

II

Некрофил

Нет, нет, еще не время.
«Кто видел в трагедии мужа
с кривыми ногами!
И все, что на сценах вселенной
случается с нами,
смешно иль ужасно.
А нам волновать бы хотелось,
чтоб каждое дело твое,
как событие, пелось,
о стихотворитель»,—
так мне говорит Муравей.

Ты прав, покойник.
Трагедии твоей смешны наши комедии,
на нас не похожие
могут героями фарса быть,
но не трагедии.
Их переживания слез не достойны,
их муки — кривлянье,
агония — пляс!
Все!
Исчерпаны ценности веры.
По всей природе идут премьеры
трагедий и фарсов.
Родятся примеры.
Рождаются эво!люци!онеры!
Нас окружает облавой слава,
сверкает мысль — блесна —
с эстрады,
плотва на акульих крючках
вопросов
бьется!
Довольно!
Отныне любой, кто страдает,— герой!
Погибает паук в трясине своей
паутины,—
взлетает плач
мух.
Мы слышим стон рыб
в паутинах сетей.
Путина.
Мы, люди, мы стонем,
когда захрустел
муравей.
О, как беззащитны улитки, им
панцирь бы бронзовый,
чтоб птицы давились.
О, как беззащитны птицы —
им крылья стальные,
чтоб стрелы дробились.
Даже мифы беспомощны —
все уязвимо в природе.
Красоте не хватает глаз,
а уродство — зряче.
Бесконечны формы насилия —
как иначе?
Мы возглашаем:
прекрасен неуклюжий кактус!
Чертополох уродливый — чудесен.
Они не подражают
формам маков.
Растут, и значит —
мир неодинаков.
И, значит, бесконечно
аномален.

А разве красота не аномалия?
А разве аномалия — уродство?
Стань на колени пред собой,
дурак.
Как побежденный,
плачь от восхищения,
целуй подошвы ног своих немытых,
ты идеален,
идеал немых.
Поговорить с собою —
привилегия.
Ты — выразитель чувств своих к себе.
Ты — славен,
ты себя узнал.
Зачем тебе, чтобы другие знали,
что ты велик!
Оставь других, бог с нами!

Биофил

Пованивает. Муравей протух.
Гляди, как крыса стал. Он от жары
распух.

II

Вдоль задника проходит женщина в черном. Ее не замечают. Некрофил поднимает валявшийся в пыли черепаший остов. Обращается к Биофилу.

Некрофил

Что это?

Биофил

Черепаха вроде.

Некрофил

Ошибаешься. Наступи.

Биофил, заинтересованный, сползает с камня, высмаркивает табак, вытирает пальцы о штаны, засучивает рукава и принимается топтать пустой панцирь.

Ну, сильней. Еще раз!

(Подпрыгивает, обрушиваясь всей тяжестью.)

Биофил.
(отдуваясь)

Не давится, падла!
(Отсмаркивает остатки.)

Некрофил

Теперь что скажешь? Черепаха?

Биофил пожимает плечами. Глядит на муравья, тот уже вырос до размеров кошки.

Некрофил

Не черепаха это, а муравей.

Биофил

(неуверенно)

Пошел бы ты!..

Некрофил

То мудрый муравей, который понял
закон природы — стал сопротивляться
давлениям извне, оброс бронею.
Взгляни, а это кто летит над
нами,
кренясь на левое крыло?

Биофил

(задрав голову)

Ворона.

Некрофил

(грустно)

Нет, это муравей
в иной трактовке.
Мир полон форм, этапов муравьиной
эволюции.
Он рос в противовес врагам,
приобретая форму,
он поклонялся всем богам,
выдерживал реформы,
учился плавать и летать
под синим небом,
выть на луну, шипеть,
кем только не был!..
Скажи: кто ты?

Биофил

Я Биофил, сам знаешь. Кончай
прикидываться,
жить люблю.

Некрофил

Ты — муравей. Ты результат процесса.

Биофил

Это ты брось. Такое не пришьешь.
Всяк знает — я от обезьяны, понял?
Мне гнуса в родственники не хватало!
Еще собаку!

Держи меня, я дам тебе с размаху.
Сначала правой, а потом другой,
молись, чтоб двинул левою ногой,
а правая, известно всем, смертельная.
Задень еще мою родню попробуй,
как развернусь, и враз —
в дерьме по брови.
Какого-то жука вонючего хороним,
а разговоров —
будто это слон.

Некрофил

(резко)

А если б он слоном назвался?

Биофил

Тогда бы я на нем катался,
понял?

Некрофил

(задумчиво)

Слова, слова...
Есть правда, но едина
Одна и не делима на двоих.

(В кулису.)

Слова, слова... А я нашел ответ.
Вас напугала эта смерть.
А меня нет.
Скажите, это что — «причинность
слова»?

А почему наш муравей не «СЛОН»?
О, «слон»! Воздушное какое
сочетанье,
ни рева в нем, ни рыканья, лишь стон,
лен голубой на ледяном погосте.
«Слон» — тает лед и умирает лен,
а «му-р-равей»— в траве ломая кости,
хрустит под пяткой Биофила он.

Биофил

Эй, ты!

Некрофил

Он сокрушен не Биофилом,
а именем своим он сокрушен.
Назвать бы словом «му-р-равей»
хотя бы льва,
урчащего, рычащего и хищного,
а насекомому пошло бы имя Лев,
короткое волнующее слово.
Оно — пух лебедя,
лепет легкого лепестка
и мягкость хлеба белого.

Биофил

(встревая)

А «хлев»? Гляди, он
превращается в собаку.

Некрофил

Причинность слова? Знак.
Уничтожайте форму содержания.
Вы знаете, за что не любят змей?
Нас пугала жалом ядовитым
гадюка.
Всех, на нее похожих видом,
мы убиваем.
Все полосатое уничтожаем
полностью,
червей, питонов, и черту,
и полозов.
Выламываем полоз у саней,
паласы рвем, искореняем волосы,
казним и полосы,
казним названия —
ужей, ежей, ершей!..

Биофил

Вшей не забудь.

Некрофил

Потом приходим к шее.
Все это шло под нож,
под ноготь и под ноги!
Сгибаются прямые, прячут лица,
нулем от страха стала единица,
согнулась так она, чтобы вершина

с униженным концом соединиться
могла бы.
Лишь палач не прячет свой палаш,
и палица в руке его не гнется,
и палец указующий смеется,
в знак тыча и в название.

Биофил

А кто палач-то?

Некрофил

Мы с вами!

Биофил

А что такое лексемы?

Некрофил

Все мы! Мы все палачи!
Взбесился мир, хоть плачь!
Соломину влача, он знал: устанет.

Биофил

(соглашаясь)

Кто много знает,
тот недолго тянет.
А может, он с соломинкой тащился
тянуть коктейли и, видать, упился.
А может, хворостинку пер, чтобы
грохнуть
жука какого-нибудь, скарабея.
А мы скорбим над этаким злодеем,
над алкоголиком.
Да как мы смеем!..

Некрофил

Она была длинна, как его имя,
и тяжела, как знак конца,
как минус.
Тот минус на себя, как на Голгофу.

Биофил

(передразнивая)

«Как», «Как». Закакал!

Некрофил

Перечеркнул соломинкой, как зверя,
себя, узнав, что полоса — безверье.
Как хорошо быть на звезде
распятым,
расчетверенным на кресте,
на плюсе!

Биофил

(утираясь)

Не плюйся.

Некрофил

Какая ложь быть на кресте распятым!
А на черте нельзя расчетверить,
да и распять, наверно, невозможно.
Уединиться — может, в этом смысл?
Черта есть антикрест,
черта есть символ чёрта!
Змея — антихрист,— это же черта!
Бог Волос — полоса,
и палица, и палец,
и фаллос — антикрест.

Биофил

Не понял ни черта!
«Расчетверить»! «Уединить»!
«Распять»!
Об этом ты мне говорил раз пять,
а то и больше.
Вчера мы раздавили человека.
Ты вытянул его кишки в линейку,
шагами его внутренности мерил,
с полкилометра шел,
и все не верил,
и шебутил: «Прямая — символ веры».
Уж эти мне эволюционеры!..
Чего ты хочешь? Отдохнул, пошли.
Твой муравей растет, уже почти что
мерин.

Некрофил

Не отвлекайся, Биофил, чихай.

Биофил

Чихнул бы на тебя, зла не хватает!..

Некрофил

Воистину ты проявляешь волю.
С настроя сбил. Дай закурить.

Биофил

(растягивает узел кисета, насыпает на бумажку, протягивает Некрофилу)

Ты прямо укажи — чего ты хочешь?

Некрофил

(лизнул бумажку, сворачивая цигарку)

Хочу я, чтобы ты избрал черту,
чтобы любые формы сохранялись,
чтобы слова по знаку растекались,
чтоб соответствовало слово знаку.
Вот Эйфелева башня назовется
пусть именем
примерно в километр,
а муравей пусть назовется самым
коротким звуком — Я,
последним словом.

Прижег цигарку, затянулся, прищурив глаз. И вдруг — чихнул. Раз пять! Биофил остолбенел. А муравей все рос.

VII

Опять прошла на заднем плане женщина в черном. Биофил не замечает — завороженно сворачивает козью ножку. Женщина прошла еще, почти коснулась платьем. Биофил отвлекся. Смотрит вслед, ища спичку.

Биофил

Цыганка, что ли?

Дрожит в ладонях огонь. Он затянулся, ждет, не выпуская дыма. Разочарованно выдохнул длинную струю. Он уже ни во что не верит. Кому суждено, тот чихнет.

Разреши мне правду сказать
неприкрытую, грубую.
Баба там за камнями шастает.
Может, тронем?
Один ответ.
Ох, мать!.. Чихнуть бы. Все б на место
стало...

Некрофил

Диалог — это два монолога.
Я свое отсказал, искупился,

я понял его.
Теперь твоя очередь, Биофил!

Биофил следит за женщиной.

Биофил

(не отвлекаясь)

Я не умен.
Вот если побелить потолок
или взять молоток,
а то — монолог!..

Некрофил

Я говорю, он — действует; ну что же,
какую-то ведь роль играть он должен.
Но муравей от действий не растет,
молчанье останавливает рост.
Придется мне поговорить за Био.
Ты разрешишь?

Биофил

Валяй...

(Встает и крадучись уходит в развалины.)

Некрофил

(грустно усмехается)

Он согласен.
Великое молчание веков
кристаллизуется в святые прописи,
мгновенья остаются от эпох,
сегодня — дьявол,
завтра скажут — бог.
Нам времени не жаль,
мы не торопимся.
Кричим мы раньше,
чем нас могут слышать,
змей яблоко ронял и говорил:
«Как тянет нас к себе Земля,
аж ноги гнутся!»
А что в ответ услышал!
«Обойдется. Пойди и вылечись
у костоправа».
Змей первым понял, что Земля —
вкруг Солнца.
Никто не возразил.
А он был первым,
но не было врагов, как у Коперника.
Мои враги грубы, мне бы потоньше

богов, умеющих казнить, но и ценить.
Таких, каким тебе был я,
антихрист!
Порою человек зло совершит,
казнится он, пока не разумеет,
что это есть добро, только расхожее
со старым представленьем о добре.
И тьма сияет ярче солнца.
Пока другой не совершает зло,
еще добрее прежнего. Не знаю,
что грех, что благо.
Муравей, прости,
мы наступили на тебя, антихрист,
но сколько добрых чувств мы
испытали!
И сколько мыслей ум разволновали...
Теперь я стих великий сочиню!
С твоих высот трагедия спустилась,
она вошла в огромный зал со сцены,
она вошла в леса,
прошла пустыни,
столицы, села, областные центры.
Она как подать с душ,
с дымов налог.
Словам моим залогом
страхи эти,
поэзия моя,— ты монолог
разыгранной на всей земле трагедии.
Нет зрителей в спектакле этом
долгом,
мы все участники,
не зная толком,
откуда луч протяжный. Что горит?
Единственно спасенье — говорить.
...А если б муравья мы не убили,
что было бы с поэзией моей,
подумать страшно!..

Закрывает лицо руками и надолго умолкает. Руки. Руки. Руки. Женщина, делая странные пассы руками, пытается избежать растопыренных рук Биофила.

Биофил

Арабочка! Индейка! Синекдоха!
Давай не будем.
Говорю тебе, образованный я, стихи пишу.
Новый в местах этих. Приезжий!!!
Ночлега ищу. Позови в гости.
Нет ли у тебя башни из слоновой кости?

Некрофил

(отрывает ладони)

Уйду!
Я ни при чем. Я только говорил.
Пусть Биофил останется, подонок.
Он уговаривает даму в черном,
не зная, что она не дама вовсе.
Смерть Муравья она.
Пришла с небес за духом муравьиным.
Он вырос потому, что мы мешали ей
забрать его в небесную обитель.
Он больше смерти стал, бессмертен он,
дух от него такой,
как от пожара.

(Обращается к трупу.)

Ты не вини его, о Муравей,
он — Биофил,
и со своей бы смертью
так поступил бы,
в страсти до бровей,
в соломину свою,
герои, верьте!
Все беды оттого, что мы сильны,
и чувства наши топчут
страх основы.
Да как мы смели!..
Не признав вины,
влюбиться в смерть
и наслаждаться снова.

Муравей к этому времени подрос еще немного. Он лежит, как слон, растопырив лапы. Некрофил рядом с ним на камешке — ничтожество. Лапы шевельнулись, дрогнул ус.

Но помешать ему я не могу.
Он действует, я должен говорить,
иначе кактус переплюнет маков,
а мир, как принято, неодинаков.
Ужасные последствия, и все же
согласен я. Зачах бы мой талант,
о чем бы я писал стихотворенья?
Пусть рухнут небеса,
останутся паренья
трагедии. Пусть обнажатся символы.
Мы кланялись, изображая месяц,
кресту уподоблялись, распинались,
отныне — не кресту и не дуге,
прямой Соломине нам поклоняться.
Отныне нет в стихах моих вопросов,
есть восклицания,

стрела — тире.
Без кроны, без корней —
стволы дерев.
Двуногие мои остолбенеют,
все станут Соломонами:
стереть
с лица земли изломы гор,
степь плоская — вот идеал вселенной,
чтобы ничто его не заслоняло,
над линией степи
чтоб возвышался
лишь Муравей.
Я верю только в Минус.
Настало время поклоняться Меньшим.

VIII

Биофил выходит из-за стены, отряхнулся. Достает кисет почти пустой. За ним — растрепанная Смерть Муравья.

Биофил

Холодна. Как свинья!

Отправляет последнюю понюшку в ноздри, в рот, оттянув веко, сыплет в глаза, в ухо. В другое ухо не хватило. Отшвыривает пустой кисет.

Некрофил

Кто?
И ты сказал у трупа Муравья,
она — свинья?

(Кричит, поглядывая на труп.)

Биофил

Ну, не свинья, по правде говоря,
но так себе.

Некрофил

Да ты!.. Да я не знаю,
что сказать!.. Я высказался весь.
Я только говорил. Я ничего не делал.

(И рухнул на колени.)

Биофил

(ей)

Да брось ты дурочку ломать.
Сказал — женюсь и точка!

Я человек сурьезный. Обещал —
сполню.
Дай чихнуть человеку.

Так и остался с выпученными глазами, медленно осел на колени. Увидел, что гигантский Муравей стоял на всех лапах и шевелил усами.

IX

Муравей поднял бревно соломенное. Биофил припал лбом к земле. Некрофил лежал, крестом раскинув руки. Женщина одной ладонью закрывала грудь, другой пыталась спасти от взоров зала дрожание бедра.
Биофил видел, как у самого носа бегали по земле мураши маленькие. Один из них остановился вдруг. Биофил в этот момент вдохнул и — о горе! Мураш влетел в правую ноздрю. Задвигал щекотно лапками, перебрался по какому-то каналу в левую ноздрю. Уж он ему в носу поскреб!..

Биофил

Не надо! Не на!.. Не на!.. Не на.. пчхи! Р-р-чхи!
С-с-чхи!
Т-чхи! У-у-чхи!

Голова его бессильно моталась. Он встал. Он чихал не переставая. Туча взвилась. Потерялись в ней очертания Бессмертного Мураша, его оплодотворенной Смерти, распластанная крестом фигура Некрофила. Сверкнула молния в туче пыли.
До последнего держался Био. Он стоял руки по швам, прямой, как соломина, и чихал.
Чихал на все.

1973

CREDO

I

В лето 6488. И нача княжити Володимир в Киеве единъ и постави кумиры на холму: Перуна древена, а главоу ему серебрену, а усъ злат и иныя многы кумиры. И жряху им, яко богом, и оскверняху всю землю Рускую требами своими скверными.

Пахарь

Крики, кличи, не битва —
а брань,
ругань рук, визг окованных плеч,
я орал мечом твою бронь,
брови вились, как стая вран,
чтоб на глаз, как на падло,
лечь.

Вой над полем —
я пропадал;
он броню мою прободал,
исклевал меня, изрубал,
словно ложкой, клинком
вынимал
плоть мою из железных рубах.
Его боги сильнее, рыбак...

Рыбак

Бурый ветер людей взволновал,
вижу, ходят они вал на вал,
захватило меня, понесло,
щит — ладья,
и копье — весло.
Сам в кольчуге, как рыба в сети,
князь Владимир, дай чудо!..
Прости...

ПЛАЧ КРАСНОЙ ГЛЕБОВНЫ

I

— Сеют в землю тело,
веют дух от плоти,
увязаю в плаче,
в туге, как в болоте.
Уцелей, мой пахарь,
возвращайся с битвы,
не ходи на поле
без моей молитвы.
А кому молиться?
Тихо в чистом поле,
подает убийца

чашу истой боли.
...Волны ходят кругом,
я, как берег дальний,
поднимаю руку —
доплыви, рыбарь мой,
проплыви проливы,
окунись в ладони,
будешь ты счастливым,
если не утонешь.
Но круги на волнах
расцвели багровы,
опустели челны,
рвут тебя баграми.

II

Все мне было мало,
мир не мной загадан,
мое солнце пало,
мнут его закаты.
Скачут угров рати,
Украину крáдут,
печенегов братья
забирают грады,
кормят кóней диких
бологом отборным,
почернели лики
на стенах соборных,
плачет полонянка,
мнет железно тело,
не такого чужа
гладить бы хотела,
не такого воя
забавлять собою,
не такую силу
у небес просила.
На кошме на белой
пусть меня позорят,
на кошме на белой —
красные узоры.
Побелеют груди,
лик законопатит,
породить урода
приползу на паперть.
Грех ты мой нелюбый,
ни ночной, ни денный,
сын ты мой угрюмый,
отроче мой темный.
Ты мне не явился,
я — тебя искала,
ты нам народился,
как трава из камня.
Будешь мерить время

роком и годиной,
мир измеришь долом,
а тоску кручиной,
а веселье будешь
измерять ендовой,
будешь мерить волю
не верстой —
аршином.
Пахарем — по праху!
Рыбаком — по грязи,
воином — по страху,
вороном — по глазу,
будут твоей памятью
и кошма и паперть,
будет твоей руганью —
бого-
матерь.

Раздамся — всем!
Раздамся вширь!
Я земь — паши!
Я пашня — сей!
Всю распаши!
Пожаром ржи
до края ветра распахнусь.
Вселенна — рыжая, как Русь,
и ни полоски
для межи...

III

...Облетели стязи,
рухнули хоругви,
и тоска на князя
наложила руки.

Право славы

Владимир Святой (поначалу — Великий)
для Древней Руси выбирал из религий
одну —
кто же богом нечаянным будет —
Яхве, Аллах, Иисус или Будда?
— Много богов у меня в пантеоне,
Волос — скотов и стихов покровитель,
Хорс огнеликий, славный Даждь-бог,
ветрами правит унылый Стри-бог,
много их, всех не упомнишь, пожалуй.
Чем на Руси заправляет Сварог?
Мокош какой-то лохматый и ржавый,
Тор никудышный, бессовестный Один,
Гот — новобранный,
Перун только годен.
Требы ему совершать мы согласны,

жертвы приносим, хорошие, дня нет,
чтобы не кормили девицею красной.
Но на Спасителя он не потянет...
Хазарин поднялся, под мышкою — Тора,
и рек: «Удивляйся, все то, что из Торы
я прочитаю, и будет историей,
а все остальное — поганьски котóры.
Забудем раздоры, Изиду, Иштору,
я предскажу — это станет не дорого,
будут — москвы, петроградЫ, рязани,
если славяне пройдут обрезанье.
Будут рабы у тебя, а свободу
ты им даруешь только в субботу.
Пить эту самую, ты понимаешь,
непозволительно. Пей только воду».
— Э-э,— покачав головою седой,
так отвечает Владимир Святой:
— Питие на Руси есть веселие.
— Верно! — вскричал, выделяясь чалмой,
тощий булгарин.—
Разве водой!..
Теплой бузой услаждают желудок
люди аллаха.
Это же люди!..
Ты посмотри на меня —
я ль не весел!
В этом Коране — тысяча песен,
то, что тебе обещал иудей,
не для людей.
Разве суббота — это свобода?!
Сколько перстов у ладони?
Шесть?
Пятница — день твоего народа!
А пятниц в неделе не перечесть!
Четыре жены доведут до Адема[1].
Молись, достигай наслажденьем высот,
четыре красавицы!..
Нравится тема?
Четыре жены!..
— У меня их семьсот...

[1] Адем — рай.

IV

А черный кушан ничего не сказал,
он глотку не драл,
не вытаскивал чтива,
он идола медного показал —
танцует на тельце младенца
Шива.
Что можно душой принять —
то приятно,

то неприятно, что непонятно.
Зло — под ногами,
пляшет Добро.
Это не ново и не старо.
Дьяволы Запада и Востока,
демоны Юга, Севера звери:
стою перед вами —
во что же мне верить,
если Добро мое так жестоко?
Хватаясь за небо, за клочья сини,
гляньте под ноги —
топчете Сына.
Под ноги! Топчете душу живу
и не оправдывайтесь,
вы — Шива!
Будда, которого не принимаю
(я же невежда, иначе не выражу),
я твоих жестов не понимаю,
приподними свою пятку,
я вылезу.
Будя.
Владимир Святой опрокинул ендову
синего меда. Семь ендов.
«Не охмурите, злыдни: я — добрый!..»
Рвал на груди кольчугу. Готов.
Но христианин не торопился,
вращал византиец очами к углу.
Старый Владимир в доску упился,
глухо упился, пошел ко дну.
Встал византиец, погладил плеча —
левое, правое. Лоб, живот.
Прикосновением леча,
пьяного князя к дощине ведет.
Эту дощину на черных ладьях
морем Понтийским на княжий двор
через пороги не зря припер
трезвый апостол — софийский дьяк.
Старый Владимир глаза протер,
вперился в доску, дик и кудлат,
видит: смола закипает в котлах,
Торой растапливают костер.
Свитки Корана в огне ревут,
голые злыдни хазарина рвут
и басурманина!
И Его!..
Старого, пьяного.
— Что это?!
— Суд.
...Вот уже десять веков подряд
книги монахов так говорят.
Грешник вскричал, не владея собой,
жен раскидал и построил собор,
в Днепр хлыстами Киев загнал,

сбросил Перуна,
волхвов загнул.
Стал причащаться только водой
князь по словутному реклу —
Святой[1].

[1] В лето 6496 Владимиръ повеле креститися.

II

РЕПЛИКА НЕХРИСТЯ И — БО, ИДЕАЛИСТА

Не верь летописцу:
солгал монах.
Не той доской
обращен монарх.
Вовсе не адовым гореньем — жженьем
пугал его византийский сексот,
ведь понимал, что князь — многоженец,
в его гареме —
семьсот,
а кто любит плоть,
тот и духом крепок,
не убоится картин свирепых.
Учел византиец промашки своих конкурентов:
Муслим обещал загробную ренту
за воздержание —
райских пери.
Сытому мясом — обещать репу!
Лишней женщиной не склонить к вере
такого парня.
Еще нелепей
манить его идолом,
танцующим на младенце,
ибо
напомнилось прошлое,
от которого никуда не деться —
топча потомства князей-соперников,
Владимир Гулящий стал
Владимиром Первым.
Не хватало, чтобы в Киеве
в каждом углу
торчало по бронзовому топтуну-кумиру.
Владимир Жестокий был не глуп,
чтобы допустить такую сатиру.
Но все же реликвия —
формула всякой религии,
какой же старинной вещью
стронуть Владимира Вещего?
Чем тускнее от времени краски,
тем прекрасней они для рассудка,
мутнеют от лет очи,
и удлиняются ночи в сутках,
а ночи у стариков очень чуткие —

то печень шалит,
то почки,
а в промежутках
память являет время,
когда был молод,—
не лежало на веждах власти бремя,
члены не сковывал годов холод.
Не веришь? — завидев ее, пылал до озноба,
она неприступной была (не веришь?),
дева-зазноба.
Потом, как потоп,
толпы тел
прокатились волнами огня
по его постели.
Как тени по стенам,
но те ли?
Владимир Седой холодел
в неверье.
Не огня бояться адового,
холода страшиться надо нам,
невежды.
Чем всегда занималось искусство?
Являло нам форму тайного чувства.
Искусство — это способ выражения
отчаянной надежды
Возрождения.

Не судом стращай,
но стыдом обращай,
возвышая, прощай,
унижая, прельщай.
...В нездешние одежды
закутана она,
последняя надежда,
вселикая жена.
Святая Мария!
Седая Мария!
Жар до озноба
(не малярия!).

Дразнит, манит,
глядит с холста,

бесстрастная,
глазастая

красота.
Валишься в ноги мечте,
постылый,
кусаешь в бессилии руки,
не стыдно.
«Она способна зачать от духа,
эта древняя девочка,
эта старуха».

Дева Мария!
Последняя жена,

крест —
на гареме:
мера нужна.
Знак отрицания — символ меры,
с него начинают
революционеры.
Перечеркнуть вгорячах
сплеча
обычаи «бити», «лгати», «красти».
Крест — это огненная печать,
клеймо на крупе блуда
и на челе власти.
Если ты унижал детей,
подлой силой спрягал людей,
если сам уверился в том —
осени и себя
крестом.
Крест на грудь свою положить,
значит
жизни себя лишить.
Страшный суд —
он в тебе самом,
если честен ты
и с умом.
Страшный суд — не огонь,
не дым,
суть страшна —
поседенье ликом.
Был гулящим, жестоким, седым,
все отринул и стал
Великим.
Так Владимир сказал: «Прости...»
Лоб и сердце перекрестил.
Не забылся суровый жест,
подражатели были,
есть;
знак оделся в чугун и жесть,
позолотой покрылся крест,
и, увлекшись трудом позлащенья,
позабыли креста значенье.
Крест над храмом
и над горою,
крест — наградой
на грудь героя,
на невинность, на совесть,
честь,
на само отрицанье —
крест.
Зло выходит из-под креста,
как убийца из-под куста,
покрывая себя знаменьем
непонятного назначенья.

III

РАССУЖДЕНИЕ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК О КРАСОТЕ ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ КОСТЕЛА

Согласен,
к вере привлекают красотой —
витражами, майоликой,
купола высотой,
минаретами голубой,
несмываемой акварели.
Священные войны не принесли мусульманству
столько побед,
сколько дала им одна несравненная
Айя-София.
Мечу поклоняют голову,
Айя-Софии душу,
жестокости уступают,
покоряются лишь красоте.
Мечеть, внушающая страх,
и меч, вводящий в восхищенье. «Ах»—
вот идеал воинствующей веры.
Гармония мечети и меча,
объединив Светило и Очаг,
мирит небесные, земные сферы.
Согласен.
Но символы культа устаревают,
их давно бы — под пресс.
Застревают в вещах,
в сознании застревают!
Разве не бесят
вознесенные в небеси Рукоять —
крест
и Лезвие кривое — полумесяц?
Век Атома, а символы религий
похожи на реликты
века Адама.
Я сравниваю абрис минарета
с фигурой баллистической ракеты,
в ней — сочетанье красоты и мощи,
вот это знак,
а не святые мощи.
Ракета — храм,
в ней — круглолицый бог,
набитый мышцами с хорошей кровью.
Сегодня богом может стать любой —
как говорится, было бы здоровье.
А эти боги бродят по луне,
по лику,
как мурашки по спине.
Светило тяжкими шагами месят.
Увы, кафиры топчут полумесяц!
Мы поклонялись символам отчаянья

и подчинялись знакам отрицанья,
молились (лживо) духам изможденным.
Ночами (искренне) стучались к женам.
Валились в ноги хрипом и напевом
творениям живым,
жеманным евам.
Мы называли женщину иисусом,
аллахом, буддой —
термином искусства.

Станцует жрец — поверишь в пляску эту
и будешь поклоняться Пируэту.
Поверили, что кружится Земля,
абстракциями глаз обезоружили,
искусственную правоту суля,
естественную истину порушили.
На голове ученого — парша,
над лысиной ученого — праща;
вращается в петле-орбите шар,
и под давленьем центробежной силы
с земли слетает волшебство.

Прощай,
великое невежество травы,
талантливая темнота снежинок,
прекрасное неведенье тропы,
минующей округлые вершины.
Невежественны мрачные леса,
наивны наши войлочные вежи,
безграмотны виденья, чудеса.
(Ученые изобрели невежду.)

Где верх, где низ в космической дали!
Эй, невесомый бог, определи!
Печатный вал истории — в разнос!
Где прошлого страница?

Где анонс?
Апостол с нимбом?
Летчик в гермошлеме? —
Шумерский снимок
с предисловьем Лема!

Незнание — вот гениальный дар,
тьма обеспечивает небу звездность,
я сохраню в себе не бога —
даль,
мир, упирающийся в неизвестность.
В убитом дереве
бушует лес берез,
его листвой шумит
убитый ветер,
и чащи полумрак от бересты белес —
так срез осины
в полуночи светел.
Не отвращает идол простотой,
звездой смуглей на ложе, луноликая.

Всей подлостью земной
и высотой
я верую,
любовь — моя религия!
Пройдут, как пыль,
века, эпохи, эры,
но эта вера будет бесконечна,
пока опасен силуэт Венеры!
(Вот старики, прищурясь от махры,
глядят ей вслед и думают: «Конечно,
она естественна и человечна,
в особенности —
млечные бугры...»)
И все же не ходите по костелам,
где солнце сквозь узорчатые стекла
стекает по худой груди Христа,
и — тишина,
как в пагоде вечерней,
и — высота,
как в утренней мечети!
Лишает веры эта красота.

1971

ГОЛУБИНАЯ КНИГА

АМАН ПАЛЕОЛОГ:

Обычная схема, по которой строится историко-документальное изложение, надоела:
предисловие,
суесловие,
послесловие.
Предлагаю новую структуру — полиптих.

Слегка о термине:
птих в древнегреческом языке означал навощенную табличку для письма. Текст процарапывался острой палочкой — стилем. Связки таких дощечек в Греции и Риме назывались по количеству — диптих, триптих, полиптих, нанизывались на ремешок и носились у пояса. При ходьбе хлопали[1].

Давно мечталось вернуть птих из сферы церковно-приходского художничества в лоно строгой письменности. В нем после долгой разлуки появилось что-то щемящее: как будто сидит на перилах балкона маленькая озябшая птица тихо-тихо, и вдруг оборотилась...

...Жил при театре, зарабатывал задниками художник Калмыков. Тогда в наш лексикон только входило словечко «пижон». Жители города одевались однообразно. Форменным цветом была темная серость.

Появление пижона Калмыкова на улицах воспринималось нами как счастливый ожог: широченные штаны, раскрашенные акварелью под закат, оголтело желтый сюртук, буро-седые волосы по плечам и, в довершение ансамбля, необъятная бескозырка, без лент, но с красным верхом. Только сейчас я нашел ей сравнение — она была похожа на летающую тарелку. Его долго принимали за шпиона — слишком не по-нашему был одет. Нет, была еще серая холщовая сума на длинной помоче, пересекавшей портупейно спину и грудь. Всегда сутулясь, не поднимая глаз, брел он по своим непонятным делам, придерживая у бедра погромыхивающую суму.

Потом как-то незаметно ушел...

Наш сосед, честно служивший в театре постановщиком (рабочим сцены), рассказал, что комиссия по наследству распределила оставшееся после «дурака» вещи так: одежонку забрал вахтер — отпугивать воробьев на личном огороде, а сума досталась ему. Золота и сберкнижек, к сожалению, не оказалось, хотя слухи были упорными.

[1] В древнетюркских языках «птих» — надпись. Дошло до современных наречий Алтая в формах искаженных — питих, битих, бчих, псих — книга (Аман).

Сума служила чехлом и таской для книги размером вполне обыкновенной, но тяжеленной, так как сшита она была из фанерных листов. Я видел этот фолиант, записанный от руки разными красками, и помню заглавие: «Голубиная книга».

Постановщик прослышал, что за стихи платят хорошие деньги, немножко успокоился, взял несколько отгулов и переписал «фанеру». Получилась целая тетрадка. Пытался издать под своей фамилией и своим имя-отчеством.

В одной газете ему ответили, что содержание нашим дням не подходит. В другой и вовсе уличили. Стишата эти, вышло, не дурак сочинил, а кто-то до него, лет, может, за тыщу. И книг таких напечатано было при старом режиме навалом.

Постановщик испепелил фанеру в печке и вернулся на сцену. А суму подарил мне за полбутылки и какую-то зряшную закуску. Если бы у театрального деятеля нашлось время заглянуть в этимологический словарь, он знал бы, что «Голубиная книга»— это небесное послание в стихах о начале всего сущего. Правильней «Гълубиная книга»— один из вариантов названия широко известной Беседы трех святителей, в которой сведения о генезисе земного заимствованы из книги о мудрости Соломона. Голубиной она стала называться ошибочно под влиянием народных представлений о святом духе, посетившем деву Марию под видом голубя. Подробней о романтическом подвиге священного птаха постановщик мог бы узнать из «Гаврилиады», если бы стихами желал не только зарабатывать, но и просвещаться. Заинтересуй его и дальше тема голубя, он дошел бы до познания того факта, что имя птицы связано со словом «Голубой» и «Гълубь». Лишь глубокое небо и глубокая вода — голубые. А голубь в нашем представлении — детище этих двух стихий. Но не цвет оперенья обеспечил замечательному птаху исключительную известность. Его блистательная слава обусловлена участием в драматических для человечества событиях, в которых голубю довелось играть роль счастливого случая.

Когда две глубины встретились, как два жернова, ветвь оливы, принесенная в слабом клюве, указала нам путь к спасению. Разве забудется этот подвиг?

А когда наши каравеллы заблудились в опостылевших голубых пространствах, разве эта экстремальная ситуация не напоминала картину потопа и, молясь о спасении, разве не вспомнили мореходы Ноевы фокусы с птицами? Кто обвинит их, что последовали они его примеру?!

Как сигнальные ракеты Терпим Бедствие, взлетали с кораблей почтовые голуби и растворялись в голубизне без остатка, подобно сахару в кипятке. И когда истаял последний голубь, не оставалось никаких надежд, грянула буря.

Нарушился в океане порядок. Эй, художники, успокойте панически настроенных матросов изложением концепции природной, по которой ужасающая бесформенность шторма столь же необходима для природной гармонии, как и отвратительный штиль и благостный бриз. Убедите вопящих, блюющих, сброшенных волнами в кипящую пучину черноты, что хаос — одна из разумнейших композиций порядка!

Ушел циклон, но еще катили валы, еще гудели чугуннострунные виолончели ветров. Хлопали дверцами пустые голубиные клетки.

Пластом лежали на палубах замученные качкой и отчаянием люди.

И медленно зародилась новая надежда. Она обозначилась на закате черной точкой, устало росла, набухала, превращаясь в птицу.

И мушкетер Христофор проявил наконец свое умение.

Птица упала на палубу головной каравеллы. Она лежала в дрожащих ладонях стрелка; из распоротого картечью зоба сыпались на желтые доски палубы окровавленные зерна невиданной формы[1].

Птица эта была голубем, но необычным. Темноперый мохнатый голубь не походил ни на одну из голубых почтовых птах, сгинувших в океанских просторах.

Но это был Голубь!

Повернулись носы кораблей туда, откуда принесли его крылья.

А наутро с мачты раздался долгожданный крик впередсмотрящего:

— Эврика-а-а![2]

На самой высокой скале берега, в орлином гнезде, погребли останки голубя, сложили из базальтовых глыб далеко заметный тур и сообща порешили наречь страну голубя Колумбией. Нанесли на карту. А изможденный, заросший бородой стрелок Христофор разбил о камни тура свой мушкет и попросил товарищей отныне назвать его в честь убиенного Колумбом[3]. Чем и остался в истории.

«Не вызывает сомнений подлинность изложенных фактов»[4].

Документы, недавно найденные в Вифлееме при рытье котлована под бомбоубежище, проливают неожиданно критический свет на устоявшиеся представления об отношениях голубя и девы Марии.

Учитывая зрелый возраст легенды, сдержим мальчишескую запальчивость новой версии — прочтем надписи не торопясь, разумно совмещая научную взыскательность с чувством здорового смущения. Еще раз убедимся, что интеллектуальное наслаждение доставляется нам трепетным сниманием покровов с волнующей правды, но не бесстыдножадным созерцанием голой истины.

После добросовестного изучения черепичных текстов выяснилось, что на самом деле, кажется, было так:

...когда из дома Марии (еще не святой) вышел и пошел, озираясь по сторонам, незнакомец в ярком хитоне, Плотник, возвращавшийся с трудов, узрел это действие.

— Кто посетил тебя, дева-жена? — поинтересовался он.

— Да один пижон,— отмахнулась Мария и поспешно занялась хозяйственными делами. Мимо пылил караван с благовониями.

И вопросил Плотник:

— Скажите, чужестранцы, что за племя такое — пижоны?

— В наших далеких краях, о местный житель, так называют некую пичугу, голубя[5]. Возрадовалось сердце труженика, вселились в него мир и благоговение: кто из мыслящих станет ревновать жену к какому-то пернатому.

Поведал он соседям забавную историю: прилетал, дескать, к деве-жене голубь, принявший облик человеческий. Посмеялись те добродушно и писцам донесли, дабы на черепках отразили.

— Что же ты не сказала сразу, что это был голубь? — говорил ночью Плотник, успокоенно лежа рядом с супругой.

— Сокол ты мой ненаглядный,— восхитилась Марья,— дай я тебя приголублю.

Эта версия подкрепляется и научными доводами. Живая природа предоставляет полную свободу Опыту. Она зависит от бесконечной

[1] Когда-нибудь эти зерна назовут маисом по имени индейского племени майя (Аман).

[2] Слово финикийских мореплавателей вошло в лексикон всех первооткрывателей. Начальное значение — земля! (Аман).

[3] Colombo — голубь (лат.).

[4] Резолюция ученого рецензента.

[5] По-видимому, караванщики были из французов; голубь — pijeon (по-ихнему).

череды перекрещиваний внутривидовых и, с известной оговоркой, межвидовых. Она одинаково страстно поощряет синтез любых форм живой материи, наблюдая и крах, и завязь — необходимые этапы развития. Доказывая, что нет самобытных форм и все сущее развивается во взаимодействии. Но подчеркивает: плодотворна общность в борьбе противоположностей. Стадность одинаковых столь же бесплодна, как и одиночество. Так как эти формы аналитические. У полка солдат не больше шансов произвести самостоятельно сына полка, чем у одинокой девы.

Голубь ей, конечно, противоположен, но не в такой степени. Межвидовые скрещивания иногда дают в результате явления синтеза (например, кентавры и песеглавцы), но, как правило, рождаются уроды, не способные продолжать род. «Изменяйте особи, но не виду»[1].

...Голубь вифлеемский, вошедший в образ чужой, так и не смог вернуться в перья и крылья свои; и блуждает с тех пор по свету, открывая земли, чтобы забыться в них. Но мстительный ястреб памяти настигает его всюду и когтит.

Появляется странный странник в городах и весях всегда со стороны неведомой. И не найти ему обетованную, где бы грех его не шел за ним. Может, это — Калмыков?

...В светлую полночь залетел на мой балкон темный, мохнатый турман. Теперь сидит, нахохлившись, белоглазый, на сундуке со старыми книгами и улетать не собирается. И кукурузу не клюет, и воду из плошки не пьет.

Кувыркаются в полдневном ослепительном небе белые, палевые сизари — он равнодушен. Глаз не поднимает. Складывается впечатление, что ему не интересен наш мир, усложнившийся в результате тысячелетних опытов синтеза. Мир, где рядом с розовой сиренью цветут фиалковые розы, мир, описанный красками голубыми и черными красными. Даже на белоснежные Пестрые Горы мои не смотрит вороной голубь, хотя каждая из них не хуже оливкового Арарата.

Вернулся из долгого отсутствия птих. Сидит и думает.

[1] Из речи адвоката Худоева на открытом процессе, где было опять осуждено скотоложство. (Аман).

ЕВА-АНГЕЛИЕ ОТ БЛУДНОГО СЫНА

СЛУЧАЙ

...Слепил Саваоф из глины мужчину Адама
и совоокую деву, а именно Еву слепил;
два яблока сунул под платье —
две сладкие груши,
а если быть точным предельно,
она волногрудой была.
...Она развращала Ромула,
вконец развратила.
Она убедила его: гениальность — крамола.
С упорством помора
он волны ее пересилил,
громила,
он пел ей о пенистом море,
припев его песни унылой —
аморе, аморе, аморе!
(Название мыла?)
На зов Афродита
из пены густой выходила,
и дети ее,
а в конце — борода Черномора.
...Сорок четыре жатвы он прожил,
она — тридцать три окота.
История их — дело прошлое,
вспоминать неохота.

* * *

Черный лебедь в белой стае
массе противопоставлен,
будто стаю созвал на митинг
и оправдывается: «Поймите,
дорогие мои сородичи,
не по умыслу злому черен!»
А в это время в стаде вороньем
слезно кается
белый ворон.
С точки зрения гения,
согласно его прозрению,
перекрасить всех —
разом решить все вопросы:
все лебеди —
вороные!
Все вороны —
альбиносы!
Но, согласно закону природы
(«в племени — не без урода»),
появятся в новых выводках

по выродку,
и в силу отчаянья
все —
сначала:
белый лебедь в черной стае,
черный ворон в белом стаде...
Налей-ка, отче, синего чаю:
истину разоблачаю.
Истина всегда нелепа —
алый ворон, желтый лебедь.

1980

ХОЖДЕНИЯ

«О, люди, земля — это блюдо!»
(Из откровений Блудного сына)

...Был в его речи маленький дефект:
он «ч» не выговаривал.
И что же?
Он точно излагал, а получалось
тошно.

Не тот, вы понимаете, эффект.
«Я — личность»,— возгласил,
а вышло — Лишность.

«Все — в полотне, он в рубище из ситца,—
подумала толпа,— и вправду лишний».
Решили сообща
его лишиться.
В жестоком Лишь — не толика,
но только!

Сам породил в толпе императив.
Он объяснил им што-пошто,
а толку?

Все шли за ним,
злобясь: «Опередил».
Он испытал ступени унижений.
Злосчастный звук — причина тех
лишений.

Бродил без имени, но узнавали,
в степях пинали, жгли на сеновале
и распинали где-то на Синае,
а, потеряв из виду, озирались,
еще не принимая ирреальность,
молили звери, человека звали.
Он уходил все дальше,
с каждым шагом
себя к ним непонятно приближая.
...Идя на крест: «Земля суть в форме
шара»,—

он успевал записывать в скрижали.
С креста срывался, убегал и снова
к нам приходил устало
днем весенним,
гусиный от привычного озноба.
Придумали названье («Воскресенье»)
его периодичным возвращеньям.

Привычно предлагали чашку кофе,
и, передав привет от Саваофа,
согревшегося грешника вели
брать штурмом неприступную Голгофу.

К распятию привычно притыкали,
садились на опилки, отдыхали
и слушали неправильную речь,
вполне прилично затаив дыханье.

А он с креста вещал свое обычное,
не проповедь — заученная лекция,
язычники внимали безъязычно,
в них тыкались заочные рефлексы.
«Толпа — основа, личность —
только флексия,
а правильней — предлог
толпе развлечься,—
подумал он,— когда опять я буду,
не позабыть бы поменять трибуну».

Забудет.
Ночью он срывался снова
и уходил в бега по мерзлой тундре,
и белые арктические совы
крылами грели, когда было туго.

Запутались в ногах пути-дороги.
В синь рек он окунал ладьи-пироги,
и на прицел варяжин брал его.
«О, блудный сын» — он называл его.

Бурана космы по полю мели,
и люди черные его вели
к кресту пылающему: «Обогрейся,
сын Блю и Блюда —
неба и земли».
Брел налегке, забот в суму не брал.
(«Грехи где оставлял? в исповедальнях?»)
Но почему сутулишься, мой брат?
Легли морщины на анфас медальный.
Пора и мне в дела твои вмешаться:
рефлексовать толпу заставить хочется.
Толпа, скажите, каково —
лишаться?

Вы чувствуете драму
одиночества?
Распнув его, что, кроме облегченья
и ощущенья некой пустоты,
вы чуете в себе? Вы — облаченье
его гусинокожей наготы.

Он забивался в гущу бытия,
в чащобы сумеречного былого,
чтобы согреться.
Может быть, и я
костры тепла в толпе раздую
снова.

Я вижу, он опять бредет,
сюда же.

Тропа его
в траншею превратилась,
по шею погрузясь, идет, судяше
грехи свои,
а нам даруя милость.

«Предтеча,— позову его,— предтече,
первоучитель, время возродить
жизнь в скопищах!»
И он ответит тихо:
«Что жизнь? Всего лишь — повод побродить».

СТАРЫЙ АРТИСТ, ПРОЩАНИЕ С ТЕАТРОМ

— Мы были в бекешах.
Энтузиасты!
Рукасты, решительны, языкасты!
Божков искусства
спускали
по лесенке
стихов Маяковского —
считать башкой
ступеньки.
Лозунг и клич —
вместо песенки,
и никаких
классических школ.

Споров, диспутов было в избытке,
я стоял за театр агитки.
«Разрушим стены древних базилик!
Да будет свет:
народ в тени БЕЗЛИК,
перевернем слова
ЛИК перед БЕЗ,
даешь ЛИК-БЕЗ!»

Творили в предчувствии бурной отдачи,
о смысле слова Зрелище думали,
экономические задачи
в термине переплетали с культурными.
«В горле зреет слово жажда,
в сердце вызрела любовь,
поле, поле, поле каждое —
это зрелище хлебов».

— Созреть — это значит поспеть.
Успеть — означает успех.
Пока не наляжет снег
и колос полный не сник,
цени свое время, зрей,
до первых морозов успей.

— При чем тут, простите, хлеб?!
Зреть — это зрячим быть.
Незрелый товарищ — слеп,
упрется глазами в быт,
как в стену рогами бык.

Для него белый свет —
тьма,
для него вселенная —
хлев,
он сам для буржуя —
хлеб,
вот что такое —
незрелость ума.
Не речь у него, а мык,
бык не узрит неба.
Мы не рабы.
Рабы не мы,
ибо рабы —
немы.
— Мы говорим — колос!
— А я утверждаю — ГОЛОС.
...Плыл занавес из ветхих одеял,
софитов не было,
но правды глас
пылал,
сиял,
громил,
объединял!
Входили —
касты,
выходили —
класс.

Здесь грохотал за будущее бой,
здесь рушило и созидало слово,
дубы валились, брызгая щепой,

(насчет дубов я говорю условно).
Но справедливость,
попранная раньше,
добилась тут, не где-нибудь,
реванша.
Зал был мыслильней,
зрелищем умов.
Не может быть,
чтоб этот зал умолк.
Дай каждому, о зал мой, не века,
но дай мгновенья тишины и шквала,
дай —
ощутить в себе ученика,
очнуться мастером
после провала.

А мне
дай роль, которой не сыграл,
роль зрителя
на сцене в новой драме —
оголоси тысячеусто, зал,
меня
моими старыми словами —
свобода,
братство,
совесть,
революция.

Мы — не рабы, рабы — не мы,
ибо — рабы нéмы.

СТАДО НА ВОДОПОЙ ИЛИ С ВОДОПОЯ

I

Кому надоели проблемы,
не суйтесь в поэмы! — я говорил.
Врывается время в протяжный век,
взорванного мгновенья раскаты
станут рефреном, ритмом рассказа,—
я говорил.

Великие мира сего,
великие местности сей!
В пустынях лежат под ногами давидов
ослиные челюсти,—
не раздавите.
Любовь не преступна,
но если возможно не-не-навидеть,
не-не-навидьте!

Площади не хватало —
я вышел в поле,
чтобы отразить прозренье
в масштабе правды,
наполнить вопль вечным воздухом
праны,
светом восхода
или вечерней болью.

II

Не рассказать ни сжато и ни полно,
я помню — жарко,
солнце было к полудню,
в прозрачном шелке трепетали
горы,
тошнило от привычных аллегорий.

И вдруг в лохматой лапе лопуха,
пронзив меня, сверкнул комок росы,
как вскрик —
степь окликала пастуха,
в такырах заблудившегося:
«Сын...»

Я это понял — сохранить до полдня
ту каплю, что добрей разлива Нила!..
Степь, может, пулю ту перехватила,
расплавила в себе,
остановила.
Я это понял у стены последней
морозной памятью,
всей дрожью жил,
всей правдой лет и зим,
в которых жил,
как я любил тебя
в свой полдень летний.

...Я не забуду, степь,
лежал в тот полдень
лицом в ладонь твою —
в прохладный лист,
и слышал щелк бича,
чабаний свист.
То рядом прогоняли скот на бойню.
— Давай, сынок, я твой стакан наполню.

РИСУЮ ИВУ

Неброский образ грусти нашей —
ива.
Ее судьба — пятак, упавший решкой.
Зеленая вдова, степная Ева
на яблоке Земли,
обвитом речкой.

Рисую иву —
...парусные шхуны
таранят неподвижный броненосец...
Рисую иву —
...польские драгуны,
расшитые шинели наземь сбросив,
безжалостные пики наклонив,
уходят в знаменитую атаку
на черные медлительные танки.
И гнутся пики,
их броню корежа,
и гнутся пики гибкие, как ребра...
Рисую грозовое счастье ив.
...Взлетали ветви и листвой мотали,
взъерошенные метлы разметали
землистые массивы туч,
а там —
вдруг заорлел, заголубел пятак
июньского, надштормового неба,
как будто глянул свысока Адам
на сокрушительную ревность Евы
и отвернулся молча.
Грянул гром.
Упал поток
нетерпеливый, грубый,
ударил по стволам, как топором.
Свалил одну,
давил, ломал без хруста.
Ушел. Утихло.
Здесь,
раскинув руки,
лежала ива. Бывший символ грусти.
Там
вырванная радуга вставала
кровавым, еще дышащим ребром.

1980

ВОЗРОЖДЕНИЕ

(Композиция: «Женщина в проеме двери»)

...В прохладном погребе
среди дубовых бочек
пил кислое вино
лицом к высокой двери,
распахнутой в июль,
неторопливо верил
в возможность Очень.

Я был из тех, кого пьянчуга Ной
возил по неожиданному морю,
меня не брали: я того не стою,
не вставлен в пары пассажиров, но
пробрался в тесный трюм, и пил вино,
и рассуждал: не все ли мне равно,
дно океана иль ковчега дно?

«Вали в подвал, Нечетный, все одно.
И жизнь дана одна, но в ней одной
есть несколько начал.
Нас мифы бросили
сюда, в пространства времени без прошлого.
Нет прошлого у дна, иди на дно
и начинай все сызнова. Потоп
скрывает гладью суетливость суши,
ковчегом может стать казенный дом,
скамейка в сквере, лист кленовый в луже
или корчага с молодым вином —
мужчинам это более присуще.
Потоп, скажу, не вреден карасям:
в зацветший, тихий пруд он превратится,
а образ глубины (увидишь сам!)
не рыба голая, а голубая птица...»
Несмело вычертясь на полотне
проема
(две-три кривые выявил фломастер),
она
явилась волею приема,
который изобрел фламандский мастер.
Потомству своему он завещал
бурдюк вина и сочный оковалок,
избыточность в желаньях и в вещах,
жестокое внимание к овалу —
отречь алмазов режущие грани,
ценить телесную округлость жемчуга.
В угластом непридуманном экране,
словно курсив суфийского Корана,
возникла,
проявилась обло
женщина.

Изгиб спины ее
мне был предсказан
и линия бедра
давно обещана,
по лестнице сходила боком женщина,
как плавный насталик[1]
арабских сказок.
Она спускалась
(выступало тело),
плечами наливалась, грудью зрела,
лавиной плоти на меня плыла,
шатая валунов колокола.
Неравенство, да здравствует оно!
Опять вино и виноград — все разно.
Я счастлив, мне теперь не все равно,
ведь равное не может быть
прекрасно.
Бьет в горловину медная струя,
в пустом кувшине зарождая гул,
из каждой клетки тела
рвется гунн,
круша рассудка хрупкие края.
И раздираешь обручи предела,
миг равенства возможен! Посему —
да здравствует работа передела —
взять верх над идолом,
молясь ему.
...Стекали капли по щекам кувшина,
она ладонью осушила их
и поднялась пружинно,
заспешила
и вспыхнула в экране,
и затих
потоп.
Ковчег отплыл от Арарата.
Пью ржавый сок
раздавленных плодов.
Пусть долог путь обратный
до Евфрата,
я к прежним испытаниям готов.
Вас возвращает на круги,
вы верьте,
вам повезет в один недобрый миг,
как если бы в песках забил родник,
забрезжит символ долгожданной
тверди.
На сером полотне, вдали — награда!
Оливковые рощи Арарата
позволят ветку изломить.
Не похоть —
желанье взглядом прикоснуться к богу.
Не кисть ученика в руке, но ветвь!
Свершение надежд — конец эпохи,

[1] **Насталик** — один из стилей арабской каллиграфии.

начало новой.
А утратишь твердь,
сиди в подвале, распахнувши дверь,
и голубиной груди плавный очерк
тебе добавит резкой веры
в Очень
и станет главным
в перечне потерь.

1979

* * *

Смути меня, усмешкою смути,
сбей на лету, все закажи пути.
Всегда есть выход
в твой старинный сад,
где яблоки висят, синеет виноград.

Там старый соловей
торчит над алой розой
в извечной позе и зубрит рулады —
иранские показывает гланды,
а роза задыхается без прозы.

Смути, пойду под грушу упаду,
вспугну певца и темную траву
у розы на виду,
на зависть розе,
к ее смущению,
предам стыду.

Охрипший соловей бранится
в тишине,
измятая трава к утру воспрянет,
покроется росой,
а душу мне
омоет свежесть соловьиной брани.

Все праздники мои в твоем саду,
смути меня — я в нем тебя найду.

1980

ЛУНЬ

Черные ели
на днище ущелья,
как вороны в яме,
крылья свои опустив и конусы клювов задрав,
ждут.
И под ними медведи,
как шубы пьяные,
ставшие на карачки — нанюхаться трав,
ждут.
Бьется о гулкие стены ущелья
белое било —
лунь,
он знает,
он знает:
сейчас запылает
невидимый снизу луч.
Лунь светом пронзится,
и соловьем защекочет,
и воробьем защебечет,
грянет, как кочет,
в нем размахнется лебедь
и встрепенется кречет,
горлинка заликует:
еще не вечер.
Это время нашего голоса,
это зенит!
В ухо доброго неба
ввивается трелью глас —
лунь поднебесный жаворонком звенит:
глотку пронзает солнечная игла.
С лучшими луч играет,
нравится нам игра,
луч, повторяйся,
как будто заело пластинку,
по темному диску земли
катайся, игла,
касайся меня,
я значение света постигну.
...Луч уйдет в борозду другую,
в долину сумрак вернется.
Кривыми крылами в твердеющие небеса
лунь удивленный,
лунь онемевший бьется.
А за хребтом вспыхивают голоса.
Лунь темноту таранит:
он перепелкой не спел,
раненной грудью хрипит —
снегирем не успел.
А за хребтом голоса
раскаляются добела —
во все горло по-луньи
распевают перепела.

1980

В КАРГОПОЛЕ, ВСПОМИНАЯ ВЕСНУ

...Суховеи-янычары,
отложите ятаганы,
осушайте маков чары —
маем полные стаканы!

Пусть на празднике Ярилы
задымит ярмо на дышле,
серость души якорила,
толпы «Я» в просторы вышли.

В рост идут невыносимые,
лопается лед оков,
«Я» восходят как озимые
из-под холода веков.

В каждой лошаденке снулой
встрепенулся конь Пегас,
в каждом карасе проснулась
золотая рыба язь.

Заштормило тихий пруд,
волны «Я» на берег прут,
на траве глубинный дар —
пламенеющий янтарь.

В лоск бусой, от света пьяный,
угрожая и моля,
из булыги лезет яхонт —
ослепительное «Я».

«Я» желает миру лучшего,
помогает несчастливым,
каждому, в морях заблудшему,—
голубя и лист оливы,

каждой женщине — по яблоку,
всем Орфеям — по дельфину
(тонущим подставить спину),
кто не понял, тем —
по ялику.

1980

В ГРЕЧЕСКОМ ЗАЛЕ

...В банях в тот вечер алкоголиков не было. В греческом зале сидели в простынях, прели, потягивали из фиалов душистый чай. И говорили. Нас было немного: безымянный массажист, изобретатель бестопливного двигателя; его оппонент — толстый исследователь, вице-президент общества рационализаторов (имя выясняется); завбазой Осими (этого в городе знали все).

После парной умы воспарили. (Не случайно эллины проводили философские диспуты в бане. Вопрос к лингвистам: не восходит ли термин «прения» к глаголу «преть»?) Уровень разговору придавало молчаливое участие профессионального философа Мажита.

Предстоит еще выяснить, что послужило толчком к оживлению главных тем эллинизма в нашем районе — открытие бань или Летающая Тарелка?

Магнитофон вашего корреспондента от высокой влажности то и дело выходил из строя, потому все диалоги полностью записать не удалось. По этой или по другой причине, но голоса завбазой Осими в записях не обнаружено. Также отсутствуют тексты философа Мажита (кроме покашливания) . . . . . .
. . . . . .

Потом об опере. Начал эту тему массажист с высшим образованием.

— Опера исторический жанр, ныне отживший, неинтересный, в оперу манят мягкие кресла; можно соснуть, если б шум не мешал. Вчера, понимаешь, забрел на премьеру, в зале пусто, как после холеры.

А на сцене хористов — триста.
Тьма народных
и прочих артистов.
Нет диалога зала и сцены,
между артистом и зрителем
стены

непониманья.
Народу нужна
мысль со сцены
хотя бы одна.
— Я по секрету открою вам
тайну:

опера — нерентабельна.
Хотите верьте,
хотите нет,
нет у нас Верди —
и оперы нет.

Не о чем спорить!
Тему дайте!
— Как это не о чем?
Спорьте о Данте.
Отношения его с Беатриче
актуальны нынче.

. . . . . .
Далее свернули на философию.
Прошлись по эмпириокритицизму.
. . . . . .
Исследователь:

— В древнем обществе, примитивном,
жила философия императивно,
и правильно сделала, что усопла
эта самая философия.
Любой из нас, приглядись, умнее
того профессора Птолемея:
он не знал, что земля во вращении,
а это же просто до отвращения,
нынче дальше видит любой кинто,
мы на спинах таких китов!
Мы стоим на плечах гигантов,
даже карлики выше кантов.
И все же:
в каждом веке утверждают —
гениев земля рождает.
Как их узнает толпа?
а) По размерам лба.
Средь знакомых мужчин
есть один,
лоб — в аршин,
и на восемь пядей лыс,
если бы в тот череп мысль!
б) Исторический опыт — лучше всего,
он учит:
гений — не от мира сего,
одновременно старый и малый,
ненормальный.
Забывает в гостях галоши,
дважды два не помнит,
живет в будущем или в прошлом,
современниками не понят,
хотя человек хороший.
Зимою ходит разутым,
глядишь на него с удивлением,
и счастлив ты —
хорошо быть разумным,
просто умным,
нормальным,
негением!

А если вдуматься — зачем они нам?
Был век философии, ныне — техники.
Что полезнее — пар или фимиам?
Букеты фиалок в парной или веники?
Вырос во рту выдающийся клык,
длиннее обычного, скажем, втрое,
по всем показателям он велик,
но что из того, если рта не закроешь...

Чудовищны —
ящерица среди ящеров,
пещерный предок в толпе технократов,
акселерат в обществе пращуров,
Пегас на торжище конокрадов.
Гении — выродки, аномалия,
потому привлекают аллаха внимание.
В стаде слоновьем
один обязательно белый,
шкура, что парус корабельный;
в бараньей отаре
один трехрогий.
Гении, несомненно, уроды.
Они в толпе, безусловно, первые,
заметны, как в прозе газетной
гиперболы.
Македонский, пожалуйста, был рогат,
Тимур — хром, Бетховен — глух.
Кстати, в нашем театре есть музыкант
с характерным телесным изъяном —
глуп.
Мы столько насочиняли историй
о бедах гениев, об их страданиях,
что, может быть, подумать стоит —
кого предают наши предания?!
Кого вокруг кого обращать?
Кто относителен, кто абсолютен?
Солнце — гений?
Или Земшар?
Кто мне ответит правильно, люди?
Всяк сотворенный природой —
красив,

все наши беды
от нетерпения:
если недадено —
не проси,
не лови язя в озере,
где караси.

Это во-первых.
Долгожители кто?
Не начальники,

и не гении,
но молчальники.
Те, кто умнее,
сделали выводы —
крайним труднее,
среднему выгодно.

Гениев места вакантны,
где вы, собственные канты?
Кто в себе беспечно носит
невозможный дар Спинозы?
Кто в доносах,
в пьяных враках

гений Гегеля растратил?!
...(Философ в простыне
моргает, но молчит,
глаза отводит: видно, что-то хочет
изречь, и сдержан из последней мочи,
в воде холодной полотенце мочит
и остужает плешь мудрец Мажит.)

Массажист:
— Убедили нас историки —
«гениален Аристотель,
Македонский и Руссо».
И все?..

Мы привыкли даже работников искусства величать именами философов. Ходит ко мне один разносторонний артист. Катается по сцене на роликах роли, то хорист, то солист, а то и музыкант — Гегель миманса, Конфуций танца и еще какой-то музы Кант.

Почему обязательно Кантом
должен выражаться гений?!
А я, не боясь, назову талантом
не баритончика с бархатным бантом,
но — сварщика (мастера автогена),
водителя, кочегара и банщика.
Я бы народный запас гениальности
распределял
по специальностям.
Распределить по труду и по совести,
каждому дать по какой-то способности,
дать по таланту!
Пусть по талантику.
Всем африканцам —
по горсти снега!
Я б раскидал по пустыням
Атлантику,
чтобы за каждым барханом синело.
Да, я — человек не от мира сего,
«сей мир»— суть мирок,
шепоток,
волость.
Гений всегда был
от мира
всего,
полностью.
...Незаменимых нет, нам говорят,
и на кострах алхимики горят.
Химичишь, говорят, ты это брось,
все химики — едины,
а ты — врозь.
Любим судить инквизицию,
ученых в судейских мантиях,
но приглядись внимательно
в черты президентов и вице,

озарены вдохновением
божеским?
Или кострами?
Бродят в работах гениев
мысли-кастраты!
Почему? Потому что
на каждый крик «Понимайте!»
слетаются черные мантии.
На вахте науки круглые
сутки
служба рассудка?
Нет, предрассудка!
«Ладно,— светило в усмешке
окрысится,—
Вечный двигатель? Дать ему Нобеля».
Ну что же,
в эпоху бензинного кризиса
самое время вернуться к вопросу
перпетуум мобиле.
. . . . . .
Я — массажист, сложенья нормального,
головой не маюсь,— никакой мании,
лицом не урод и, тем не менее,
требую слова от имени
Гениев.
Будущее обретается в гениях,
на нас поставило провидение,
будущему в гениях страшно:
«Буду еще»,— бубнит. Вчерашнее.
Загадок, в сущности, не осталось,
разве что в журнальном кроссворде.
Голая истина на пьедестале,
так что не спорьте.
Светило качается в теплом кресле,
зрит свою истину, болтая ногами,
ему в той красотке одно интересно —
то, что она нагая.
А я —
надежд осуществленье,
прожектов сумасбродных слепок,
вещественных до удивленья,
до восхищения нелепых.
В проступке, в преступленье,
в поступке божеском,
в подвиге
и в подлости —
в любом зигзаге мироздания
отражено мое сознание,
ведь только понятое —
подлинно,
пойми себя, пока не поздно.
Сознанье — это сонмы знаний,
сомненье соткано из мнений.

Все гении стоят за нами,
и брошенные в них каменья,
плевки, косые взгляды,
бомбы
в нас попадают.
Вам не больно?
Итак, считают:
для разговора
годится быль и любая небыль,
а если нет предмета спора —
истины нету.
Нет Евы и Яблока,
есть только Змей,
я тоже ничтожен, хоть вам и не верится,
мне кажется, прав астроном Птолемей —
Земля неподвижна,
а Солнце вертится.
Шар, говорите? А если вдруг
это вовсе не шар, а круг?
И лежит он на трех китах,
богом скинутый нам пятак?
Что движет нами?
Какой девиз?
Наш вечный двигатель —
шальная мысль!
(...Философ спит. Ему приснилось лето,
и евы голые в немыслимых ролях.
А лысина, мохната по краям,
склонилась на плечо,
как эполета.
А вдруг проснется?
Выйдет на крыльцо,
задумается о судьбе планет.
И звезды полетят в его лицо!
А может, нет.)

Комментарий вашего корреспондента:

— В пылу полемики высказано предположение о том, что Земля плоская. Гипотеза далеко не новая, уже бывшая предметом обсуждений. Одни по этому поводу говорят одно, другие — другое.

Кто из них прав?

«Земля — шар». Это несовременно. Но ведь будущее столь же несовременно, как и прошлое. Мой принцип: надо с должной долей доверия рассматривать все, что делает гений. При этом попробовать стать на его точку зрения.

...Поверив Копернику, что Земля, движущаяся в мировом пространстве, якобы подобна шару, мы признали шар оптимальной формой летательного снаряда. Появились ядра. В процессе научно-технической эволюции лучшей фигурой снаряда была признана копьеобразная.

Может быть, обстоятельство это
подскажет астрономам новую форму планеты —
Земля несется в пространстве

со скоростью света
в виде торпеды или ракеты.
И нью-Галилео (а лучше бы новый да Винчи)
вновь отречется и скажет:
«А все-таки ввинчи-
вается!»
Тысячелетье пройдет, похохочем над судьями,
будет банальной идея,
ставшая школьным знанием.
На стадион забредет случайно мечтатель,
глянет рассеянно на молотокопьеметателей,
и вдруг увидит Великий,
что плоский диск,
брошенный той же рукою,
дальше летает.
Болельщики встанут в едином порыве,
обнимутся,
забудут ракеты,
как позабыли омнибусы,
оттопчут ноги мечтателю,
кричавшему: «Люди!
Я вас поздравляю:
наша земля — это блюдо!»
И вспомнит историк
в будущей терме-парилке:
давным-давно, когда Земля была шаром,
парили над нею таинственные
тарелки,
светясь,
стояли над городами
недаром.
...Меня не смущают новаторские
предвиденья,
уже посещают крамольные мысли
(все чаще),
готов согласиться: Земля — это диск,
но,
звучащий
гласами Платона, Лукреция и Овидия!
А вовсе не Луня какого-то
над Куэнь-Лунем.

МОЛЧАНИЕ В ПРЕДБАННИКЕ

Было культурно:

На стенах в хрустальном свете лоснились портреты пожилых поэтов древности в чалмах и без. Под одним из них белела цитата из восточной мудрости:

«Мойте ноги чаще,
Руки будут чище».

Философ Мажит остывал над картонной шахматной доской. Он сидел на мраморной лавке, скрестив белые, безволосые ноги. Живот наплывал на колени, а в золотой лысине отражалась чалма с ближайшего портрета.

Чуть поодаль в той же позе над другой доской нависал завбазой Осими, тоже, по странному совпадению, плешивый, как волхв. Но кожу имел потемнее (от бесконечных ночных пожаров, освещавших его производственную биографию).

Оба решали задачу местного шахматного композитора В. Пака из позавчерашнего номера «Вечерки».

Мудреную задачу сочинил композитор Пак: Осими и Мажит в который раз заново переставляли фигуры.

Глядя на каждого из них в отдельности, любой наблюдатель вспомнил бы античных отшельников.

Платаны в рощах Ак Адема,
в тени платанов на траве
Платон, родитель академий,
играет соло на трубе...

И было в них что-то еще от борцов с эллинизмом. Две плеши, как две тонзуры черносвященников, блесканьем скрывали мрачные монастыри угловатых черепов, в которых бродили тихие мысли-монахи. Инокомысли. Они требовали выраженья только молчаньем. Что толку в мирских словопрениях. Сколько ни говори: «Кант», «Кант» — кишлак не превратится в Самарканд.

Если бы кто-то глянул на часы, то ему увиделось бы — стрелки показывали историческое время. Именно в эти мгновенья Тарелка начала медленно смещаться в неизвестном направлении и прошла над крышей бани, рассыпая сияние.

Пожара не случилось, даже иней на окнах не поплавился. Решили, что прошла автомашина.

...Исследователь вышел из душевой с удовольствием во всем большом теле. Степенно промокнулся двумя казенными простынями, не спеша вынул из балетки газетный сверток, поднес к лицу, жмурясь, втянул запах типографской краски. Зашуршало, зашумело, зазвенело. Так петь под руками может только свежая газета. Он разворачивал хрустящий сверток, словно тугой капустный вилок. О, белое байковое белье после бани! Облачаясь в ласковую рубаху, он погружался в облака думы: «Давайте разберемся в наших пеленках. В чем же, конкретно, смысл жизни? Если все ответы заложить в ЭВМ, то общий знаменатель будет выглядеть скушно, сухо, тепло, приятно».

Какое чудо мягкие, облегающие кальсоны! Он ушел раньше, и потому другие мысли его не успели посетить. Имя этого счастливца так и осталось неизвестным. Как и других, кого сияние с Тарелки лишь задело, но не проникло в них. Это прикосновение не успело усовершенствовать нас как представителей человеческого Вида, но что-то прибавило. Лучи, словно целебные иглы, тронули давно засохшие точки сознания, пощекотали, слегка раздражили. Задержался массажист. Упустил оппонента и страдал: хотел доспорить на улице, но что-то не пускало. Он слонялся по тихому помещению, заглядывал под предметы, за портреты, даже реликвию потревожил — старый фонарь системы «Летучая мышь», висящий на бронзовом гвозде у

выхода. Потом стыл у двери, и фонарь значился над его правым плечом, как кувшин горянки, пришедшей к роднику, который внезапно иссяк.

Он смотрел на завбазой и на философа, ловил их взгляды, и кто хотел, мог бы увидеть в его глазах мрачную зарницу мифа об угольке, унесенном из костра Олимпа:

«Товарищи!
Признаться, надоели
мне исторические параллели.
Хватит о звездах —
поговорим о земле.
Завбазой, спаливший склад,—
не Герострат,
но обычный растратчик:
прославиться он не хотел,
когда поджигал.
Украли мою заграничную
зажигалку.
Кто? Отвечу —
не Прометей,
а примитивный жиган.
Поймите, заблудшие!
Чтоб доброта умножалась,
в тьму невежества
с фонарем Диогена идите,
я верю, преступники,
это не кража,
а шалость,
возьмите бесценный фонарь,
зажигалку верните!

Но их приемники были настроены на другую волну. Мы тратим, растрачиваем мощь своих передатчиков, но, верю, не напрасно. Пусть не рядом, пусть не сейчас, а где-то, когда-нибудь мощный импульс, посланный во время и в пространство гением, заставит вспыхнуть зеленый глазок в чьем-то сознании. И может быть, кто-нибудь раскается в содеянном и возвратит миру украденные надежды и восстановит нарушенные ценности. Потери учат нас терпению.

Массажист громко плюнул в мраморный пол и ушел.

...В полутемной котельной распивали белую под винегрет и минтай. Плотник отмечал день своего рождения. Дежурный электрик подарил ему кусок электрокабеля в несколько колец. Сантехник пообещал отвинтить финский кран в греческом зале. Багровые блики из топки освещали выразительные лица. Гудело пламя, смягчая звон плясовой. Плотник сбацал и неожиданно спел:

Увидал вчерась девицу
типа: вини, види, вици.
В переводе на латынь —
ухватил за ягодицу.

Никого это не удивило, хотя плотник никогда не пел и, вообще, отличался мрачностью. Плясал и пел тот, кому предопределено было произвести главные мысли в диспуте о вращении.

...Осими сдался. Философ впервые думал напряженно. Если бы волхвы заглянули в последнюю полосу газеты, оставленной исследователем, то в самом низу, рядом с некрологом, могли бы прочесть объявление: «Вниманию решателей шахматных задач. В задаче В. Пака «Мат в два хода» допущены опечатки. Пропущены: черная ладья на поле e8 и белый конь на поле c5. Присланные ответы будут считаться недействительными».

Зачем спорить, если мы никогда не разрешим тысячелетних проблем: в задачах наших пропущены какие-то фигуры.

Вышли на улицу. Стояла тихая морозная ночь. В небе, покачиваясь, уплывал пульсирующий огонь. Разговорились.

— Луна,— неуверенно предположил зав. горелой базой. Он боялся огня и тянулся к нему.

— Солнце,— подумал философ.

И в эту минуту из котельной выбрался Некто в ушанке, в скрипучих пимах. Из кармана пальто сияло горлышко 0,75, обозначая светлую ночь. Из-под полы упруго блистал конец медного кабеля, намотанного вокруг тела.

— Прохожий, луна или солнце? — спросил кто-то.

Некто глянул с усилием.

— Кто его знает... Мы здесь недавно...

Откачнулся и пошел, и потопал к далекому дому, к близкой его сердцу Марьяне.

Он не врал: тридцать три года — разве это давно? Тридцать три тоста прогремело сегодня под сводами котельной. Сейчас вроде бы стояла зима. И он шел по настоящему снегу к жене Марьяне. Осими зачарованно смотрел на догорающий огонь.

Философ провожал Прохожего плотным, многозначительным взглядом. Кроме них, Плотника увидел экстра-гомо свыше. И проник в него взором.

ВСЯ ЖИЗНЬ ПРОМЕЛЬКНУЛА

I

И Некто в этот миг почувствовал ожог.

Бессвязно бормоча, зигзагом шел,
шагал хрустящим звонким переулком.
В полупустой бутылке нежно булькало.
И лезло под пимы сверканье снега.
Вострубила яростно сморканья медь.

Взгляд свыше пробудил в нем человека,
сверх данного на четверть иль на треть:
знать, не-на-кого было посмотреть.

Задел какой-то в мозге ареал
(вы думаете, Некто просиял?),
проснулись клетки в левом полушарии,
рельеф чуть изменился, посложнел —
представьте, по заброшенной лыжне
прошлись груженые аэросани.

(Вы думаете, Некто стал мрачнее?)
Почувствовал: луна на хладном небе
заныла, как простуженная почка.
Хотел ругнуться, будто ухнуть в бочку,
но слово, что готово было зычно
обдать гортань, вдруг стало пресно,
пусто,
не тяжелит,
и он косноязычно
взмолился, глядя ввысь: «О, Заратустра».
И грудились, утробились предметы,
кишели в чреве памяти приметы,
штакетник зубчатый, икнув, напомнил
о полднике и, стало быть, обеде,
и все, над чем не думалось, он понял,
а горлом поднимался стон Рыгведы.

Отнес ладонь подальше от забора,
увидел на занозе блеск огня —
скалистый горизонт,
блеснула шпора,
вонзаясь в бок угорского коня,
пыль вспыхнула,
дороги закружились,
таранены плечом врата собора,
монахини молились, шеей жилясь.
Урук стостенный... Карфаген... Гоморра...
Он сознавал: греховностью согрета
сияющая тьма небесной тайны;
освобождаясь враз
от винегрета,
«Столичной» и полпорции минтая,
картины исторгал, воспоминая.
К чему бы это? — мгла летела злая
на белые отроги Гималаев.

«Начало веры, стало быть, в
качании
от бога к богу,
к чаянью от чаянья».
Льдом засекречена
река Талас,
вторгался луч в извилины
Сеита,
речь мыслей тех
ему передалась,
и выходила странная сюита.
Рефлекс качания туда-сюда,
стремление и отступ —
жизнь волны,
о волны громко плещутся суда,
и волны о борта стучать вольны.

В предчувствии конца или начала
Начало наше океан качало.
Гудит в ночах натруженная память,
приходим в сны свои —
в овраги падать,

на дно объемов.
На каком же дне
очнешься ты в своем последнем сне?
Все корабли уходят вдаль —
вернуться

в родную заводь,
в Поти иль Марсель.
Начало — отрицательная цель,
но прежде чем в пространства окунуться,
осознавай реальное «отсель».
Пусть это для движения — немного.
Куда? Не знаю.

Ясно — от порога
несу себя через миры в отшель,
но это не блужданья, а дорога,
когда есть отрицательная цель —
хотя бы в дом, в котором спит Марьяна.
Прийти туда попозже — значит, рано.
Во времени бродяжа от пространства,
в самом себе не прекращайте странствий.

...На дне морей мы видели кораллы,
рубиновые, розовые тени
такого изощренного плетенья!
Миг совершенства кальция!
Играли
обломками кораллов крабы. Ждали?
И в генопамяти взалели шрамы.

Стеклянные аспидии сияли,
лангусты проплывали голубые.
Ковчега днище надо мной зияло
дырой в поверхности воды. Забыли?
Суставы генопамяти заныли.
Надежда особи — стать воплощеньем вида,
в короткий срок, отпущенный тебе,
прибавить срок предписанной судьбе,
вбить в память бытия пылинки быта.
В мгновение прожить тысячелетья —
измыслить круг,
изобрести телегу,
открыть полено,
выплавить железо,
вместить свое дыхание в жалейку.

На острова уйти дорийским греком,
брать в теплых водах рыбу на острогу,

землицу, тверже грецкого ореха,
соша, мотыжа, испытать мороку.
...И отдохнуть
в зашрамленном сардаре
из тигросердой армии царь-дария,
топтать посевы полбы, рыбаков
дорийских
делать жертвами богов
арийских.
Буранить гунном в волчьем парике[1],
бродить варягом в долбне по Оке,
оттаивать в бревенчатой парилке,
пить жидкий лесс в бухарском арыке
и утираться рукавом
в Париже.
Дубиной нибелунжить в борах Дании,
мечом хлестать по горлам на ристании,
промазать и глубокий след на камне
оставить навсегда —
Футарки[2] старые.
На влажной глине из долины Тингра
тростинкой вывести Черту и Угол —
знак Рода.
Во вселенной станет тихо.
(Так тихо, что можно услышать,
как Саваоф, бормоча проклятия,
торопливо долепливает своих кукол.)

...Я отдыхаю
в образе Цай Луня —
варю очесы льна, отходы шелка,
добавив планки тутового луба
с непонятыми текстами Ашоки
и дэвов отпугнув словами мага,
смесь нежно отцедив
в квадратной сетке,
сушу листы меж сукнами в беседке,
чтоб солнце не попортило
Бумагу.

Я погружал себя за томом том,
тонул в энциклопедии Ни-Женя,
выныривал, хватая небо ртом,
и снова уходил на погруженье.

Вконец устав от шелкового трепа,
сопротивляясь дремоте вином,
я отдыхал в седле:
сманили тропы,
во трюме коньем пробирался в Трою,
на скакуне взлетал на Парфенон.
Непрочно прошлое,
былое рушит миг.

[1] **Паркк** — меховая шапка (ред.).

[2] **Футарк** — название древнескандинавского рунического алфавита (ред.).

Нет мира в мифах,
проникает в них
биение непрожитого часа.
Зачем нам вечность?
Наша цель промчаться,
не понимая, что значенье счастья
не в глубине, а в грохоте
сейчасья.
Татарю в Киеве, нечинствую в Китае,
бью пиками крестовых королей!
Но образ Вида, надо мной витая,
бубнит, что козыри ему видней —
он снова намекает на червей.
Кулак медлительный, как черепаха,
подносит Вид к моей ноздре —
чем пахнет?
Я ребрами вдыхаю запах тленный
могущества,
и слышу — во вселенной,
над вьюгами моих священных битв,
капелью мартовской светло звенит
победоносное многоголосье
моих всечеловеческих обид.
Дар жизни есть способность
к имитации,
менять цвета, угадывать момент
начала ритма бешеных мутаций?
Пройдя от кроманьонца
к Комитасу,
отдаться полно гену и под медь
взобраться бронзою на постамент?

Жизнь положить набором цифр
на камень?
Ладонью растопыренной впечатать
все радости, надежды и печали
от до до до
в одной цифирной гамме?

Не отвлеки меня от жизни, мрамор,
мой взгляд, броди от музыки до срама,
начало До и окончанье До,
но между ними
отдыханья прана.

II

...И Некто от забора откатился,
встал на ноги,
лунища меднотазно
свет излила над Темзой и над Тиссой,
на купол Тадж-Махала
и угасла.

Иссякла, уплыла, не осветила,
как Некто по фамилии Утилов,
по имени Сеит, принявши снова,
к жене стучался ровно в полшестого.
И голосом заметно посвежевшим,
и тембром, волновавшим груди женщин,
сквозь дермантин обшивки голосил:
«Вставай, подруга, уже солнце всходит,
оно восстало над песками Гоби,
гася собой огни ночных светил».
Над шапкой нимбом голубел этил.

В тот получас
жена его, Марьяна,
дебелая, как светлая чинара,
отбросив одеяло,
грубо, рьяно
от духоты безгрешно зачинала.
(Взметает снег разогнутая ель.
На небе, как медвежая улыбка,
блик солнца намекает на апрель.
Да совершится жаркая ошибка!
Истают додекаэдры снегов,
разрушатся морозные структуры!
С последним тактом
зимнего ноктюрна
влетают в пашни зерна иегов.)

— Так. Видно, не откроет,— он достойно
гнев справедливый загоняет в стойло,
идет в ослиный хлев,
ложится в ясли,
расслабил кабель, натянул попону,
но перед этим допивает пойло,
не поняв,
счастлив он или несчастлив.

III

Пока наш Саваоф считает ребра
у негодующего иш-Адама,
свое начало отыскать попробуй,
Сеит Утилов, во владеньях Брамы.
Ты отдохни от нас в лесах индийских,
на листьях пальмовых строчи реликты
от имени волшебного Ашоки.
Взгляд Якши ощути —
прими ожоги.
Ту мраморную Якши-Афродиту,
что совратительней жены Эдипа,
тропическими влажными ночами,
стыдясь начально, предавай качанию.

...Света шатались, колебались тени,
о, нет, метались ломанно,
шарахались,
в экраны камня лунного влетели —
застыли в стенах
храма Каджурахо.
Я узнаю себя в тех барельефах —
в кораллоликой Радхе, что согрета
объятием моим граниточленным,
я узнаю себя в великолепной
асане Кришны —
в мудрости секрета,
в котором скрыто мужество ответа:
миры в соединении
нетленны.
Объятьем резко перепутав стороны
в неверном, переменчивом просторе,
не разделяя нас на Я и Ты,
мы складываем механизм истории
из рычагов таких
ай-яй простых.

Телами нашими прозрета мысль:
начало — Мы,
пока не позабыта,
ищи в таблице умноженья Вида,
но не себя —
Нас ощутить стремись.
В Нас чувством погружайся, как в былое,
где хронологии равны нулю,
там отношеньем Кришана и Хлои
(а если проще — Яблока и Хвои)
Марьяны любопытство утолю.
Явлю в неисторическом порядке
простейшее, что особи приснилось,—
коснулся телом Дафнис
взгляда Радхи,
и молоко в груди ее проснулось.

«Ромео жмет Зухру, Таир Жульету,
Атилла Дульсинею и так далее»,—
бубнит Сеит Отеллов. Или это
проснулся дух ревнивого идальго?
В любви неправедных поступков несть,
оценками не охлаждайте пыла,
в нас все оправдано резоном «было»,
не судят прошлое, подсудно «есть».

Великое сознание бесстыдно,
смущения и скромности не знает —
бессильна перед жаждою пустыня,
любая цитадель уступит знамени.
Осатанелость львиная невинна,

когда по-человечески наивна,
ведь жизнь мы несознательно творим
не для себя,
да и грешим
для Вида.
Чтоб выжил Вид, окреп,
все превозмог
и приспособился
к пустому космосу,
мильярды особей глотают смог,
хватаются за сердце с хрипом:
«Господи!..»
Талантлив Дарий, разрежавший свет
клинками эволюции, и Дарвин,
скажу тебе, Марьяна, не бездарен.
Но Вид — великий человековед.
Чума, холера, гибель атлантид
и вавилонские столпотворенья,
гастриты, голоды и ожиренья,
война и геноцид —
все это Вид.
Вид — наш палач, хоть с виду —
Аполлон,
мы все — иллюзия,
реальность — он,
он — цель развития,
а мы — процесс,
но мы живем, не думая про цель.
Бог именами разными сокрыт
(христос, аллах, вий, вельзевул, давид,
овидий, вишна, перевертыш — див...) —
но истинное имя бога — Вид.
И этот господь — Вид,
единый, правый,
правее правды, судия для нас,
строка вползает под десницу права —
в сень остроплечих крыльев птицы Фас.
Душа моя распята на распутье:
пойдешь налево —
только ли коня?
Для равновесия,
дав назначенье в судьи,
мой Вид преступником
избрал меня.
Коня ль жалеть! Пешком пойду,
не лепо ль! —
толпятся буквы вправо,
только Я...

Шагнул,
и господь Вид,
единый, левый,
левей левды —
тот же судия.

На шуйце восседает остроглаз
двуглавый Фас.
Плевать на Вид, когда Душа болит,
когда тебя предчувствие томит.
Я так скажу: Усто, учитель, тиче,
без Вас небесный купол обесптичен,
но, право, одноцветен,
неглубок
в сознанье отпечатанный лубок —
мир однобогий
недиалектичен.
Крест — самый точный символ
божества:
единство достигается борьбою,
два черта (две черты),
иуды два,
схватившись в споре,
возрождают бога.
Мы потому придумали вас, Крест,
что единицы во как надоели,
Крест — всенаправлен —
на восток и вест,
на норд, где пальмы,
и на юг, где ели.

Дей воскресение!
Две сатаны
для дела этого вполне годны.
Когда темно, тепло,
когда одни,
как мы с Марьяной
перед выходным.
А представляю, если бы два бога
сошлись в объятьи.
Скажем, два креста,
то воссияла б цвета голубого
ершистая шумерская
звезда —
восьмилучовый знак Иштор-Венеры,
праобразец фигового листа,
колючий символ самой
первой эры
и ревности — моей последней веры.
Взойди, звезда, над ложем
заблистай.
Усмешкой превращай великих
в малых,
слезой возвысь, прощеньем
прокляни,
качай нас в люльке своего вниманья,
сверкни и отвернись,
опять взгляни!
Мы откачнемся от тебя, прихлынем

(«стремление и отступ —
жизнь волны»),
сердца пустеют и опять полны
тобой.
Так было впредь,
пусть будет ныне.
В скрещенья, как в беспамятство,
ныряя,
слова ломая выдыханья грузом,
стальными струнами
звук изнуряя,
калеча эпос карандашным хрустом,
я сочинял души своей порядок.
Все осознав, пришел к тебе, Марьяна.
Начало всех начал — ты, Матерь-
Дева!
Сплавляя щедро в жарком тигле
чрева
гордыни,
горечь сатанинских рас,
всю щедрость Вида воплощаешь в нас.
Назначенная
превращать в материю
метели мыслей
и надежд смятения,
сотворена не из ребра —
из сердца,
мир старости ты превращаешь в детство.
Все — кто явился в жизнь —
тобою избран,
испытан сладостью твоей и болью,
все — кто входил в дворцы, пещеры, избы,
под кровом жил, валялся под забором,
бывал от счастья и от водки пьяным,
все мы сотворены твоей любовью,
тебя опять мы избираем богом,
о, женщина!
И, в частности, Марьяна.
Но мир не однобок. Давай договоримся,
мужчина тоже бог
(и, в частности, Сеит).
Бог — имя собирательное, в принципе.
Жена и муж есть Бог!
Мир и на том стоит.
Жена, я — для тебя,
как Солнце — для Земли,
я — время, уплотненное в ту плазму,
что камень превращает
в горсть золы
и зелень ласково дарует глазу.
То в честь мою звучали гимны-оды,
и в гору вечности
твои катились годы.

Отталкивай, жена, и приближай,
дари неволю, раздавай свободу.
Эй ты, с Лучом
на плоском дирижабле,
заканчивай обзор, пиши в скрижаль:
«В морозы и в любую непогоду
Сеит был глиной пламенной
ей,
Богу.
Был предан ей, был предан ею. Жаль».

IV

И вышло солнце, осветило сад,
Марьяна выглянула: двор проверила.
И от святаго духа дом проветрила.
(Дух был в пальто до пят,
испуган и усат.)
Она, накинув шаль, вплывает в хлев,
здесь дух другой стоит —
так пахнет снами,
так пахнет палою листвой
с дерев
познания,
гниющими плодами.
Супруг на терниях ослиных спал,
над яслями вздымался пар дыханья,
он инеем сурово украшал
сукно попоны и другие ткани.

Раскаянье толкнуло ее в грудь,
муж-плотник тяжело дышал,
как Авель:
змеей вкруг стана не давал вздохнуть
прихваченный с работы медный кабель.
— Не изменя,— сквозь сон шептал Сеит,—
не изменяйте мир, оставьте днесь,
Земля вращается, но мир пущай
стоит,
каким он был
и, слава богу, есть.

И чувствуя: в ней что-то происходит,
Марьяна увидала на стене,
как раз над яслями,
под самым сводом
Черту и Угол.
То игра теней
явила ей одной
знаменье Ода.

Сеит, прости, она родит Урода,
которого мы ждем
с начала дней.

1985

2700 ЛЕТ СПУСТЯ

I

В песках заснеженных Муюнкумов пас отару знатный чабан Ишпакай. На ленивых овец лаял пес Избагар, сбивал их в кучу.

Дул ветер.

И явился Дух.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан Ишпакай из племени иш-огуз. Твоя жена Шамхат красива ли?

— Да как тебе сказать, аруах? Хорошо рожает. Варит мясо и чай кипятит. Помогает по отаре.

— Теперь хочу спросить тебя, чабан Ишпакай из племени иш-огуз. Твою жену Шамхат любишь ли?

— Да как тебе сказать, аруах-мурза?[1] Я привожу ей подарки, когда бываю в районе. Ситец на подушки, шелк на одеяла. Двадцать пиал в прошлом году привез. Две в хурджуне, правда, раскололись. Но мы их склеили.

[1] Господин дух (каз.).

— Теперь хочу спросить тебя, чабан: явления, разрозненные связью, ты можешь ли скрепить?

— Да как сказать...

— А как она?..— Дух смущенно кашлянул.

— Да как тебе сказать, аруах-мурза? Рожает понемногу.

— Пожалуй, я вселюсь в тебя, чабан. Не возражаешь? И буду ждать, когда слетит в тело жены твоей дух истинной Шамхат.

— Э, нет, мурза, не хватало, чтобы жена моя стала шлюхой, у нас дети. Я ей еще зоотехника не простил.

Чабан сладко зевнул, поежился на ветру и, застегнув шубу, окликнул пса Избагара.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА В СТУДКОМ ОТ ИШПАКАЯ, СТУДЕНТА ИСТФАКА

«На вечере отдыха я познакомился с девушкой по имени Лиза. Фамилию не сказала. Проводил ее до дому. Обещала встретиться. Пришел в общежитие, посмотрел на часы — было почти 12.

Я хотел уснуть, и на меня сошел Дух.

Гоняясь за ним, свалил шкаф и избил студентов С. К. и Ф., с которыми у меня дружба с малых лет...»

А было так.

Кривоногий широкоплечий субъект лежал на железной койке и

глядел в потолок, потрескавшийся от землетрясений. В окно общежития лезли ветви яблонь, лепестки летели на учебник истмата, журчал темный арык, отравляя друг друга носками, спали С. К. и Ф.

И явился Дух. Он, отодвинув зашумевшую ветвь, влез в окно, прошелся по комнате и внятно спросил:

— Ты и есть Ишпакай из племени иш-огуз? Я ждал двадцать семь веков, когда произойдет встреча Ишпакая из иш-огузов с девкой по имени Шамхат. Это свершилось!

— Во-первых, она не Шамхат какая-то, а Лиза,— начал заводиться студент.

— Женщина не уснет, если не обманет дурака. Сейчас твой мускусом наполненный сосуд лежит в обнимку с каким-то ничтожным персом. Любую пальму тенью валит солнце. Она утоляет его жажду, с волос своих снимая покрывало...

— С каких таких волос?..— студент взбесился.

— Заткнись. Кто здесь дух, я или ты? Оттопырь ухо и слушай. Меня мучит печаль.

— Где ты есть?! — вопил студент, дико озираясь.

— Я здеся,— мрачно сострил Дух.

И началось.

II

Телерепортер:

— Мы попросили прокомментировать эти события известного ученого Ишпакая. Мы в секторе бронзы Института истории. Навстречу нам, как вы видите, встает седой, но еще полный человек с мужественным загаром на скромном лице...— Простите, мы вас оторвали от занятий.— Итак, навстречу встал врач исторических наук.

— Доктор.

— Нет, я не оговорился, именно врач, спаситель истории нашей, знаменитый исследователь времени Ишпакай-ага, замечательным изобретением своим...

— Открытием.

— ...перевернувший историю нашу...

— Историографию,— смущенно поправил Ишпакай-ага.

— Полимерами здесь не обойтись. Что такое?.. Прошу прощения,— полуверами не обойтись. Ничего не понимаю... Ах да,— полумерами в вашем деле не обойтись. Только решительное...

— С удовольствием. В позапрошлом году мною была обнаружена на скале Коксайского ущелья надпись, выцарапанная бронзовым стилом. Она состояла всего из нескольких строчек. Характер письма близок к этрусскому. Прочесть было нелегко, но возможно. Язык памятника оказался близок к современному огузскому. *(Знаменитый ученый смущенно улыбается, похлопывая себя по бронзовой скуле.)*

— Удобно ли это говорить, но сам я происхожу из племени иш-огуз, и мне доставило величайшее наслаждение читать эту высокопоэтическую надпись. Самое удивительное... *(Здесь ученый делает еще один механический жест, который пока не представляется возможным описать... Но пусть он остается в памяти телезрителей как одно из проявлений эксцентричности великого человека.)*

— Но самое удивительное, дорогие товарищи, что в этой поэме

речь шла о моем тезке, об Ишпакае, вожде скифов, называвших себя к тому же именем «иш-куз».

Сведения об этом народе и его вожде сохранились в хронике ассирийского царя Ассархадона. В седьмом веке до нашей эры иш-кузы во главе с Ишпакаем ворвались по западному побережью Каспия из южнорусских степей в Ассиро-Вавилонию и несколько лет правили ею. Эта поистине редкая находка позволила нам сделать множество бесценных для науки выводов:

а) Самыми древними памятниками огузского письма считаются орхоно-енисейские надписи пятого-шестого веков нашей эры.

Наш памятник отбрасывает историю огузов на тринадцать столетий в глубь веков — до седьмого века до нашей эры.

б) Поставлена точка в многолетнем споре скифологов: тюрками или иранцами были скифы, напавшие на Ассирию? «Конечно, огузы!» — недвусмысленно заявляет нам памятник. И это мнение — решающее. *(Ученый взволнованно повторяет первый жест.)*

в) Само название скифов «иш-куз» дошло до нас, развившись в «иш-огуз» (или «иш-гуз»). Вы знаете из учебников, что огузы (или гузы, как нас называли западные источники) делились на два крыла: иш-огуз (то есть Внутреннее племя) и таш-огуз (то есть Внешнее племя). Я имею честь принадлежать к Внутреннему племени. *(Ученый стыдливо воспроизводит второй жест.)*

— Имя «Ишпакай» также, как видите, сохранилось. И этимологизируется оно только огузским словарем. Означает буквально — «след стерегущий», так называли кочевники пса-тотема. И сегодня еще огузы величают породистых псов именами типа — Испакар, Испакай и тому подобными вариантами. Название пса-бога даровалось вождям, становилось именем-титулом.

Мидяне заимствуют это сложное слово, превращают в абстрактный монолит и делают переносное значение главным. Спака — так они называют уже любого пса. Далее оно распространяется в индо-ираноевропейских языках.

— А как вы находите случай с Чабаном и Студентом? Возможен ли Дух в наше время?

— Памятник содержит восхваление вождю Ишпакаю. Ода написана ямбом, что свидетельствует о скифском происхождении этого популярного в наши дни стихоразмера. Кроме того, содержание памятника позволяет литературоведам сделать однозначные выводы относительно истории лексического образа, относящегося к типу сравнений: «О моя косуля». Так неизвестный поэт седьмого века до нашей эры называет своего героя. В средневековой поэзии джейрану, газели, серне уподобляются персонажи женского пола. Употребление в памятнике этого образа может вызывать подозрения. Не забывайте, что действие происходит во времена, близкие к матриархату, и вполне возможно, что под именем Ишпакая скрывалась женщина. Тем более что сам памятник не дает определенного ответа на этот вопрос, ибо огузский язык, к сожалению, не знает родовых окончаний. Много загадок таит памятник для будущих исследователей.

— Телезрителей интересует, чем вы заняты в эти дни.

— Я председатель жюри конкурса на лучший памятник славному предку. Мне понравился один проект. Памятник будет установлен в центре, среди яблоневых насаждений. Одежды и поза подобраны с таким расчетом, что трудно будет сделать заключение о половой

принадлежности Ишпакая. Выпуклое родимое пятно на щеке будет означать его иш-кузское происхождение. Правая рука — на рогах крылатой косули, попирающей змею. Змея символизирует рабовладельческую Ассирию. Слева — неизвестный поэт с тяжелым стилом в обеих руках. Одежда и прическа нейтральны, так как пол поэта также, к сожалению, покрыт мраком неизвестности. Запроектирован вечный огонь. Из какого материала, вы спросите.

— Из какого материала?

— Скульптуры будут отлиты из скифской бронзы. Для этой цели мы добились разрешения переплавить предметы маткультуры скифского периода — сосуды, браслеты, фибулы, бронзовые зеркала, мечи-акинаки. Больше всего дадут металла бронзовые котлы, по которым наш музей пока занимает ведущее место в мире. Материала потребуется много. Идут интенсивные поиски. Но уже очевидно, что бронзы на всех не хватит. Поэта придется сделать чугунным. А относительно Духов сказать что-нибудь определенное трудно. *(Великий ученый воспроизвел третий жест.)*

III

Ученый врал. Он скрыл, что Дух являлся первым не кому-нибудь другому, а ему. У каждой истины — дорога лжи.

...Много лет назад молодой аспирант Ишпакай стал патриотом. В исследовательском институте, где среди таш-огузов он проходил курс аспирантских премудростей, пробиться в люди не представлялось возможным. Молодой иш-огуз был поставлен перед альтернативой: или тратить годы и годы на борьбу за кресло МНС[1], или сменить профессию, стать землекопом, садовником, каменотесом...

Каменотесом?!

С этого все и началось.

Нам трудно сейчас проследить весь извилистый путь ассоциаций, вспыхивавших в его свежем мозгу. Важен вывод.

«Что такое открытие?» — задал он себе вопрос.

И получил положительный ответ: «Это изобретение». Чтобы пробиться, нужно выбить великое открытие. И он его выбил.

Работа с зубилом пошла на пользу. Он загорел и окреп. Несколько лет он терпеливо ждал, пока дожди и солнце сделают свое дело — надпись должна пройти стадию нужного выветривания, чтобы никакой таш-огуз не смог установить ее свежести.

За это время произошли кое-какие события. Сгорели частная квартира и все черновики будущей расшифровки. К тому же он забыл, в каком месте Коксайского ущелья она находится. Скала.

И все стало серьезным.

Действительно, случайно, лет через двадцать, он открыл надпись, будучи на охоте с сотрудницей другого института. Пришлось ее призвать в свидетели и этим самым обнародовать свою связь. Развод с женой был затяжным. И это отняло драгоценное время. Надпись, сфотографированная и перепечатанная в «Вестнике», разошлась по миру. Так как принцип алфавита и текст были начисто забыты им, дешифровка отняла несколько месяцев. Этой работой одновременно занимались многие ведущие специалисты, как наши, так и зарубежные. Было предложено уже пять вариантов дешифровки. Ишпакай спешил:

[1] **МНС** — младший научный сотрудник.

он знал — добыча уходит из рук. Нелепость положения усугублялась отчаянием брошенного мужа.

Польский профессор А., знаток мертвых языков, объявил о своей расшифровке. Он прочел надпись языком дупским. У него получилось: «Эзре сын Петосири внук Панаммувы дед Тиглатпаласара... бык... осел... жрец... Кириша-Нахунте, Шильхак-Иншушинак... сделал». С ним вступил в спор специалист мертвых языков Скандинавии англичанин Б. По его версии, язык надписи оказался близким к мертвому хертскому, но прочесть удалось с помощью еще более мертвого котьского. В коксайской находке оказалось многовато личных имен, звучащих довольно дико на первый взгляд, но это только подтверждало афоризм: «...История соткана из имен»[1].

Вот как выглядел текст: «Свабадахарьяз, Сайравилас, Стайнаверияз. Я выписал. Вагигаз Эриль Агиламуди камень Харивульфа, Хараварь».

Скромному, поседевшему МНС Ишпакаю пришлось держать бой с выдающимися противниками. Это случилось в позапрошлом году. Ночью. Он сидел перед грудой исчерканных страниц, угрюмый, седой, как лунь. У него пошло. Он все вспомнил. Талант ученого, как сказано однажды,— суперпамять. Открывать — это значит вспоминать давно и всеми забытое. Зазвучал, встал с лица бумаги древний, своеобразный эпос:

[1] Все не поддающиеся переводу сочетания букв исследователями принято относить к именам собственным. (Примеч. авт.)

«Вот он (она) Ишпакай — надежда ишкузов,
грозный (ая), как лев (львица), герой.
Ассирия дрожит перед тобой.
Мидийцев в землю ты вогнал (ала), герой,
Египту спину ты сломал (ала), герой,
как сыр сырой, ты выжимал (ала) врагов».

— Пой, чтоб ты треснул, ясновидец, пой!..— раздался хриплый, страстный вопль чей-то.

— Кто здесь? — испугался Седой как лунь.

— У-а, мудрец, провидец мой, дуй дальше, среди двуногих равных нет тебе, пой, чтоб тебя!..

— Кто вы? — МНС трясся так, что его было жалко.

— Я! — мрачно сострил Дух.

— Это вы, профессор?.. Я просто шутил, не больше!.. Клянусь совестью!.. (А надо сказать, что Ишпакай подозревал руководителя института в том, что тот подозревает его.)

— Не бойся, животное. Ты истинный поэт.

Была такая должность при дворе.

— Да где же вы?

— Здеся! — повторялся Дух.

Это была страшная Ночь Сомнения.

Он пережил ее (и утром отнес статью с расшифровкой в редакцию «Вестника», и она вышла с подписью «МНС Ишпакай»).

IV

После опубликования сенсации противники взяли свои слова обратно. Профессор А. прислал ему поздравительную открытку. Англичанин Б. разразился подробным письмом совершенно небритан-

ского темперамента. Приглашал в Оксфорд погостить. Между прочим, послание начиналось со слов: «Дорогая мисс Ишпакай». Видимо, он так расшифровал не принятую на островах формулу «МНС», значившуюся в подписи сенсационной статьи. Короче: так были посрамлены таш-огузы, вынужденные уступить место СНС[1] первому иш-огузу — историку.

Так родилась новая истина. Истина-мать, породившая множество других, как и положено истинной матери. Но сказано: не бойся врагов внешних (таш), а бойся врагов внутренних (иш). Появился новый аспирант из иш-огузов (село Никаноровка) с явным намерением пробиться в люди. И он не нашел ничего лучшего, как выступить против теории доктора Ишпакая. Он ударил в корень.

V

Аспирант Ант-урган Сумдук-улы на многих примерах доказал, что мужчину в VII веке до нашей эры возможно было уподобить косуле. Он нашел в кладовой памяти народной разрозненные отрывки забытого эпоса о хане Ишпакае.

«Нестройность композиции знаменитой в недавнем прошлом народной поэмы,— писал он,— объясняется просто. Я выслушал ее по частям и от разных лиц. Часть Первую мне напел 97-летний чабан Шах-Султан Саксаулы, брахицефал. Скончался в прошлом году. Часть Вторая записана со слов 98-летнего колхозника Магомета Субботина. Долихоцефал. Скончался на днях. Письменное происхождение данного эпоса доказано тем, что Субботину дед его говорил о каких-то кирпичах писаных, в которых якобы разбирался прадед Субботина. От него и началась устная традиция. Кирпичи эти (видимо, речь шла о клинописных таблицах) пошли потом на хозяйственные постройки, которые оказались впоследствии в зоне затопления Шардаринского водохранилища. Мы привели в порядок свои полевые записи и теперь с волнением представляем на суд ученого читателя бесценные образцы поэтического творчества наших далеких предков. Даже то немногое, что удалось сохранить народу из гигантского эпоса (пробелы невосполнимы!), со всей очевидностью свидетельствует против основных положений теории уважаемого доктора Ишпакая, сомневающегося в половой принадлежности вождя ишкузов. Мы публикуем свод, сохраняя орфографию и морфологию речи народных сказителей, стараясь грубыми поправками не исказить аромат подлинника.

«Увы, забыты звуки древних песен, я ими наслаждаюся один»,— как сказал один неизвестный поэт. Правда шла к нам сквозь тьму веков, освещая яркими образами свой путь. Но дошла до нас как живой цветок, который в своем расцвете прелестен».

Ант-урган Сумдук-улы

Никаноровка»

СНС — старший научный сотрудник.

VI

Эпос был напечатан в новом журнале «Вопросы иш-кузства», редактируемом доктором Ишпакаем. Редактор предпослал публикации несколько слов:

«Чем дальше от нас отодвигается бронзовый век, тем острее память сердца. Еще недавно казалось, что тема скифов исчерпана научными рассуждениями и блоковскими «Скифами»: «Да, скифы мы, да, азиаты мы»,— но оказалось, что мы имеем возможность взглянуть на те трудные времена с высот древнейшей поэзии. Чувство справедливости обязывает нас сказать немало хорошего о товарищах, отдающих себя нелегкому (и подчас — неблагодарному) ремеслу — собиранию забытых эпосов. Я знаком в деталях с эпохой и потому несколько пристрастно отношусь к подвижнической работе моего молодого коллеги. И беру на себя право кое в чем не соглашаться с ним.

Пример редакторского насилия: из главы «Казнь», где повествуется о сражении мидян со скифами, нами убрана фраза «И славу пушки грохотали» как не соответствующая материальному колориту бронзового века. Убрал, несмотря на сопротивление составителя, для которого вообще характерна гипертрофированная преданность подлиннику. Что сказать о самом эпосе? К какому виду поэзии его отнести? Мы имеем дело с трудным случаем.

Поэма, которую мы представляем, выходит за рамки всех трех измерений, она подвластна четвертому — Времени[1]. И начинается она с обращенья — «Ишкузы!..» Посему мы можем считать, что она относится к жанру, уникальному в наш век,— это иш-кузство. Думается, что поэму с интересом для себя прочтут огузологи, скифологи, ассирологи, урологи, иронисты и просто те, кто интересуется историей родной литературы.

Док. Ишпакай»

[1] См. подробнее у А. Эйнштейна. (Примеч. Ишпакая.)

ЭПИЛОГ

Явлений знак узнай,
и будешь властен...

Великое Язу

Каждому племени нужен один человек,
ушибленный звездой. Заводите таких.
У ишкузов был такой счастливец — Котэн.
У него можно было не спрашивать: «Куда
идти?»

Он сам, невзирая на твое несогласие, покажет
тебе дорогу, насильственно сделает счастливым.
Он шел из Ниневии в Харрапу на годовой
базар, видел по пути:

1. Как плохо ухаживал старик за
плодовыми деревьями. Он ругался, крыл

садовника, брался и показывал, как надо
ухаживать за деревьями, чтобы они
плодоносили.

2. Шел дальше и видел, как плохо саманщик
крыл крышу.
Котэн забрался, столкнул с проклятьями
кровельщика и, запустив руки в саман,
выгладил крышу до блеска.

3. Шел дальше и видел сидящих в безделии
на берегу начатого канала ленивых
землекопов.
Он пинками вдохновил их, сам схватил
тяпку и пробил канал до реки.

4. За рекой в пыли и гаме носились
друг за другом глупые всадники.
Он переплыл бешено реку, ссадил
первого попавшегося, вырвал у него
меч и с криком «Кто же так рубится,
несчастный!..» бросился — и поредела толпа
после прополки.
Остатки обратились в бегство.
А плохо рубились в тот раз враги
отечества. А бежали от меча его
карающего благословенные свои.
Даже во враге он не терпел бездарности.

5. Войдя в Харрапу, он услышал указ государя.
Стоял в толпе и заорал:
— Дурачье!.. Что за несправедливый указ?
Разве так надо управлять страной? —
Он рванулся, чтобы показать.
Его схватили с радостью сарбазы. Среди
них были Садовник, Кровельщик, Землекоп,
Воин и Глашатай, который держался
за гудящую голову свою, ибо бил Котэн
трубою по голове его.

6. Кривой зайчик стоял на широком
лезвии топора.
— Осел! Кто так точит топор?..—
Точильщик присоединился к сарбазам.

7. Палач спал на ходу. На эшафот его
взводили под руки, так он был ленив.
Котэн лег на широкий пень плахи.
Палач поднял топор над головой
и захрапел. И стоял, как статуя Сна.
Возмущению Котэна не было предела.
Он вскочил, швырнул Палача на пень
и прекрасным жестом снес ему голову.

— Вот как надо! —
Палач даже не почувствовал, он продолжал спать.
— Понятно? — грозно спросил Котэн.
— Понятно! — хором ответили Садовник,
Кровельщик, Землекоп, Воин, Глашатай,
Точильщик и Палач безголовый.

8. Чтобы воспеть его умелость, поднялся
на эшафот сам Государь с казенной арфой:
«О всеумеющий Котэн, да здравствуй!»
Котэн вырвал из рук его арфу.
— Разве так надо меня воспевать?! —
Он взобрался на самую высокую башню
Харрипы, воздвигнутую в честь победы
Ассирии над Эфиопией (башня была
сделана из костей слонов, взятых
в этой войне).
Он увидел Сад, Крышу, Канал, Поле битвы,
и многое он увидел.
Это было время, когда не умели
крыть крыши, точить топоры и править.
Потому и любовь к совершенству была
сильна, и весь мир виноват был
перед Гармонией.
И он сказал. Мы речь его не помним.

9. . . . . .

ОРАКУЛ

— Ишкузы!
Земля — это круг,
перечеркнутый тонким крестом
(ты — самое спелое яблоко
под зеленым листом),
четыре дуги
в центр глядят с четырех сторон,
тебя сносит к центру,
и ты прерываешь сон.

(Ты раньше созрел,
другие зреют пока,
спит твое племя зеленое,
греет бока,
от души пожелаем ему
солнечных снов
и послушаем, что нам расскажет
хан Ишпака.)
— Над каждым из сущих
зреет в небе звезда,

падают звезды...
— Ты утверждаешь?

— Да.
Спит человечество вечно,
но каждый век
из храпящей толпы
поднимался один человек.
Он просыпался внезапно
из тысячи или ста,
вскрикивал от ожога:
это его звезда,
с неба срываясь, падала на него.
Побегает по планете,
усыпанной спящим людом,
ногами о глухие тела постучит —
никого!
Покричит, побуянит —
никого
не разбудит!
(Но сможет увидеть мир таким,
каким он уже не будет
за пределами его жизни.)
И снова в будущее
пропутешествуют народы спящие,
и в следующем веке
проснется один человек,
чтоб зафиксировать или исследовать
настоящее.
С каждой эпохой пустеет небо
на одну звезду.
Это значит —
опять снесло человека
в яблочко.
Человек со звездою во лбу
живет наяву.
Что ему, бедному,
в краткое время явлено?
«Жизнь — это сон»,— сказано, но не нами.
Явь — это смерть. Неплохо?
— Феноменально.
Глянь, много ли в небе осталось
холодных звезд!
Этот сон всемогущий называется
анабиоз.
...И когда опустеет небо,
проснутся они,
медленные народы
с заспанными глазами,
потягиваясь,
глянут сквозь щелки на дни,
здороваясь,
пощекочут друг друга усами,
парочку анекдотов
хором расскажут
сальных,

почешутся сообща.
— Ну как?
— Колоссально...
Чуть изменился мир —
сдвинулась география,
их отнесло во сне
к самому краю
давно.
И лениво подумают люди:
«Спасите, ограбили. Где же центр?»
И скажут, подумав: «Не все ли равно?»
Это осень.
Жизнь растений бедна и печальна,
травы степные покроет угрюмый снег,
каждый век просыпайся от сладкого сна
изначально,
будь на белом снегу беззащитен,
мой человек.
Ты раньше созрел, другие зреют пока,
спит твое племя,
греет бока,
от души пожелаем ему
солнечных снов
и послушаем, что нам расскажет
хан Ишпака.

НОГИ

Из обвинения девятого

Хор-ахте, Старейший.

«Когда мы сломали юного царя Ассархадона и он исчез из области досягаемости нашей, мы погрузились в благословенную Ассирию, как меч в золотые ножны.

Небесная Ладья наша Аспан Кайыгы[1] натолкнулась на рифы рока и опрокинулась над этой страной. Именем предка нашего Сары-Кена и его Великого Язу[2], оставленного нам в назидание, Белый шатер с черным верхом обвиняет тебя, юный хан Ишпака, внук Сары-Кена, предводитель восьми уруков[3] могучего племени иш-куз. Закон Язу гласит: «Правящий да не может не совершать проступков. Да останутся безвозмездными восемь проступков хана. Да предстанет он перед судом Белого шатра с черным верхом за девятое преступление. И постигнет его тогда справедливое несчастье».

Ты совершил благополучно восемь отступлений от закона, и каждое из них стоит восьми. Но Язу — священно. Мы не хотим слышать о девятом».

[1] **Аспан Кайыгы** — созвездие Большой Медведицы, букв.: «Небесная лодка».

[2] **Язу** — писание. **Язык** — надпись (огуз.)

[3] **Урук** — род (огуз.)

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Будь на белом снегу беззащитен,
о человек!

Она прошла рощу (назовем ее оливковой),
присела в тени дерева могучего
(назовем его лавром),
широким рукавом отерла с лица влагу.
Это были слезы.

I

...Тривиальный сюжет эпохи бронзы:
в одном из главных городов Ассирии
у храмовой проститутки Шамхат
был в услужении раб по имени Перс.

И когда из степей ледяного Танаиса
ворвался в рощи холодный ветер
и в храм Ишторе вошли
дурно пахнущие воины
и набросились на женщин,
как волки на стадо,
кряжистый скиф Дулат
выбрал самую стройную.
Она оказалась сильной.
Он не сделал с ней того,
что ей было обещано его появлением,
ибо — он не искал в море брода,
и нашел его.
Камнями и золотом она откупилась.

II

А что сделал Перс, увидевший в щель
начало насилия?
Он не бросился в храм,
он не поднял меча на Дулата,
он поспешно в священную рощу
бежал
вырыть вечное ложе себе
под зеленым лавром
и втолкал между ребер своих
затупившийся бронзовый нож.
А что сделала девка Шамхат?
Приползла,
забросала землею любимый труп,
навалила камень.
Этот поступок позволил сказать:
о, не слабы в Ассирии женщины!

III

Ишпака, наш герой, однажды
бродил по земле
и увидел ее.
Всю в цветах, под лавровым деревом
у могилы.
Скифы свято хранили обычаи предков
и духов боялись.
«Сидящий у трупа,— гласит Язу,—
неприкосновенен».
Хан скучал.
Он не ушел, не осмотрев ее всю.
А осмотрев, не ушел.

IV

Закрытые глаза, полураскрытый рот
и волосы, скрывающие шею.
Она была похожа на Ишторе,
богиню плоти.
Был полдень. Тихо и мирно жужжали
в Ассирии пчелы.
Раздавленные скифами, замерли жирные
города.
Вселенная грустно от битв отдыхала.
Конь страсти взлетел
на дыбы,
удары копыт достигали виска.
Откроем секрет:
хан, как пчела, потянулся к цветку,
тень пчелы омрачила цветок,
и цветок закрылся.

СЕРНА[1] О ПЧЕЛЕ

Я слушал чудный запах розоватый,
листы ронял подснежник угловатый,
в безмерности цветка врывался воин,
жужжа благоуханием,
мохнатый.
Ступала нежно тишина по лугу,
звенели маков бронзовые латы.
И жала не тая, пчела летала
и взяток не брала
с тюльпанов виноватых.
Как будто на луга спустилась благость,
неслышно били орхидей набаты.
О Ишпака, не верь орлиным чувствам,
но пчелам верь,
предчувствиям крылатым.

[1] Серна — то же, что и косуля, кабарга, джейран, газель.

Они влетают в нас
и жалят душу,
и мука меда
воздается ядом.

V

Шамхат глядела грустно на тюльпан.

Не каждого любят,
но каждого губит
надежда:
«Ах, вдруг обернется,
увидит, полюбит!..»
Невежда.
Мы явлены миру,
стоим в обличительном свете.
Молись о другом —
пусть мимо пройдет,
не заметит.

VI

ДИАЛОГ ЦВЕТКА
И ЗЕЛЕНОЙ МУХИ СЛАДОСТРАСТИЯ

— Бесстыдство меда
легче покоряет,
там мед готовый в сотах.
Я — цветок.
Из нитей солнца
соразмерно сотканный,
во мне нектар еще никем не взятый,
не переваренный в утробе жадной,
не превращенный в липкий сок
и в соты
не выдоенный.
О меда красота,
достойная меча,
уродство, ждущее удара
факелом,
а я цветок, вкушение которого
смертельно пчелам всем,
кроме одной.
Пусть мухи вязнут
в меде сладострастья,
мне суждена великая
Пчела.
...По лугу бродит бык
в избытке неги,
губой траву мешая с лепестками,
как бы вино водою разбавляет.

Все ближе он к Цветку подходит,
пегий.
...А что сказала муха — неизвестно.

VII

— Мы хотим тебя здесь,— выговаривал
хан,—
на поросшем цветами бугре,
мы хотим упираться ногами в валун,
в валун неотесанный.
Чтобы лепестки слетали, как фарфор,
на камень,
наполняя тело звоном.

СЕРНА ОБ АССИРИЙСКОМ БЫКЕ,
ЛЮБОВНИКЕ БОГИНИ ИШТОРЕ

С тобою я расстаться не могу,
отныне я скитаться не могу,
бык жадности привел меня
к тебе,
зачем не поваляться на лугу?
Уходишь в ожерелиях стихов,
от страсти отказаться не могу,
звенят браслеты рифм на ходу,
вдвоем бы оказаться нам
в стогу.
Бык жадности привел меня
в сады,
где корни пальм в объятиях
воды,
кокосы дарят жирным молоком,
твоих грудей касаться не могу...

VIII

Шамхат уходила прочь, не поднимая глаз.
Да не будет тайной,
что глаза ее — два громадных
горящих шара,
объятые мохнатыми лапами
священных скарабеев.
Она шла нешироким шагом,
стесненным прозрачными тканями,
и живые ягодицы ее
просились в грустный взор,
как два таланта[1] благородного золота,
приснившиеся голодному рабу.
О раб, познавший огни ночи!
Ты, кто, кроме вьючных ослиц

[1] 2 таланта — около 42 кг.

и блудливых коз с бубенцами,
держал в стиснутой пятерне
горячие от пота космы женщины,
кто, запрокинув ее лицо,
заглядывал в зев и видел,
как во мраке колотится
о ребра ее счастливая печень,
кто, прежде чем в горло
выгнать крик,
вспоминал в совокупности всю
мудрость своего племени,
чьи мужи славны копьем,
а девы щитом знамениты.
Ты не одобришь хана Ишпака.
Но ты одобришь ее, которая,
сложеньем раззадоря,
ворота бешенства открыла
перед ним.
Ишпака, не терявшийся в битвах,
шагнул за ней.
Напрасно, могучий.
Ибо за первым шагом последовал второй.
Остановись, герой. Пока не поздно.
Но было поздно — сделан третий шаг.
Шестой!
Седьмой!
Четвертый!
А восьмой был шагом самым первым,
говорят.
...Кто видел осла, идущего под гору?
Таких нет среди нас.
Ибо у истинного мужа
всегда перед глазами табуны аргамаков.
Идущих широким махом,
стучащих копытами — разом,
о, только бы выдержал разум!..
Видений позорных этих
позорнее нет на свете.
Он шел семенящим шагом,
не шел, а сучил ногами,
теряя колчан и шапку,
глазами глядя нагими.
Так волк умолял барана
отдать ему ярку,
злился.
Она уходила, и
пряный
за ней аромат стелился.
Кони заплыли жиром,
всадник плелся пешком
за храмовой проституткой...

Будь на белом снегу беззащитен,
о человек!

I

Итак, он стал ее короткой тенью.
Вождь племени ишкуз
ронял свое широкое лицо перед Шамхат.
Напомним с ужасом ее проступки.
Она была подстилкой жрецов и служителей
храма Ишторе.
Пока мужественные воины не разогнали их
по щелям,
она доставалась ученикам письма,
звездочетам
и почитателям печени.
А теперь они, более чем презренные,
хихикали, тыкали
острыми бороденками в сутулую спину
храбрейшего
в битвах Дулата, которому было поручено
ханом гнать
караваны с добром к хижине девки Шамхат.
Угрюмый Дулат, отягченный своею тайной,
валил перед ней горы сокровищ, добываемых
из тюков эллинских и чинских купцов,
изловленных
на дорогах благословенной Ассирии.
Этого богатства было бы трижды достаточно,
чтобы осчастливить саму богиню страсти
Ишторе, обладающую шеей, грудью и станом,
наделенную ягодицами, несравненно более
хищными,
чем шестьдесят задов, подобных заду девки,
имя которой рядом с именем богини
произносить
непотребно.
Чем же она покорила вождя Ишпака?
Если ты поэт, не отвечай на этот
страшный вопрос!
Лучше посмотри, как раздает она бородатым
нищим
дары его!

Чаши из бирюзы и хрусталя,
высокие сосуды из нефрита,
светильники, и зеркала в футлярах,
и оловянные кувшины с ароматом
для умащения грудей и паха.
Но что важнее для потомков
описать —
блеск утвари
или волненье твари?

Утрами травы утопают в росах,
запомним блеск вопросов
и ответов,
забудем описания предметов,
ударь в таблицу, письменная трость.
Запечатли решение поэта.
Отбросим многое,
лишь редкий случай
мы доведем до будущего слуха.
Клянусь, достоин хан
упоминанья,
поступками он обратил вниманье
потомка.
Тот найдет табличек груду,
рассказ мой восхитительный
и грустный
другим пусть перескажет
словом грубым,
ибо дословно им не повторить
мой слог, достойный погребенья в небе.
Подвергни испытанию свое
умение читать чужие судьбы.
Мужайся, о читатель, я хочу
не справиться с бушующим волненьем.
Мы начинаем медленный рассказ
о том, как страсть вождя,
став вожделеньем,
губительно на Скифии
сказалась.

II

Но прежде чем великое сказать,
считаю я бессовестным скрывать
к писателям порочным
отношенье.
Не будем подражать писателям
иным,
что, в клочья разорвав
дары Ишпака,
стыд наглого вранья
в лохмотьях красноречья
скрывают, златолюбцы.
Пусть же обрушатся таблицы книг,
испорченных их толстыми руками.
Чем они лучше юношей иных,
свой тучный круп
мужчинам
отдающих?
Таков поэт по имени Котэн,
который посвятил себя разору
казны Ишпака.

И немало тем
прекрасных он испортил.
— О, собака!..
. . . . . .
— Ты слышишь, о читатель?
Помешай
писателям иным
исторгнуть лай
по адресу вершителя стихов,
я мог бы им сказать в лицо:
«О, свиньи!»
Но уваженье к слову
меня держит.

III

Хан себя изгонял
отовсюду со злобой.
Потеряв,
находил он себя
на базарах,
у рыбных лотков
и на крышах слепых звездочетов,
он себя избегал,
и все чаще встречались ему
на дорогах терзаний
египтяне в сандалиях пальмовых,
иудеи в хламидах,
волосатые эллины
и селавики с горазами.
Он глядел на себя их глазами
и поражался
совершенству их зрения.
И узнавался, радовался
реже
и делал то, чего не думал прежде.
Те мысли, что проснулись в нем
однажды,
спать не хотели,
требовали пищи,
он их кормил —
он стал добрее к нищим,
и мысли, обнаглев,
камнями в череп били.
Он видел их,
глухих, горбатых,
грязных.
Крикливых в будни,
молчаливых в праздник,
они его преследовали
стадом,
камнями золотыми

в череп били.
И выхода не находили.
Дулата бросил он на поиск мудрых.

IV

В те знойные дни
на базарах Арема
боролись два мозга —
индей А-брахм,
худой голенастый философ,
седой без седин
старик, но еще не мужчина.
Когда он молчал,
достигая глубин отрешения,
кости его покрывались
морщинами мысли,
плоть очищал он до белизны
алебастра,
силой сосредоточения
опустошался,
был, как сосуд, свободный
от искушений
бессонных,
когда он входил в состояние мысли,
базар умолкал, потрясенный
внезапным сознанием истины.
Иудей Брахм-А,
что правил восточным базаром,
трапезы не знал,
но был вдохновенен телом,
питаясь идеей всевышней.
Взгляд, утомленный грустным
виденьем тела индея,
на нем отдыхал.
Он призывал не в себя уходить,
а в пустыню,
чтоб там добывать себе скудную пищу,
у хищных зверей вырывая,
и воду не в реках обильных черпать,
а колодцы в песках вырывая.
Под солнцем палящим часами стоял,
отводя виноградные кисти,
и базар умолкал, потрясенный
внезапным сознанием
истин.

V

Дулат приволок обоих
и бросил под ноги хану.
Мученики поднимались
и чаши с вином не взяли.

Темнеет в фиалах чай,
шипит молоко кобылье,
на плоских каменных блюдах
финики и миндаль.

Навес на столбах давал
квадратную тень,
в квадрате
на темном ковре восседал он.
А мученики на солнце
в пыли по колена стояли...
— Войдите в тень, эй, мудрые!
Плодов земли отведав,
во мрак
зарею утренней
внесите свет ответов.
О высшие создания,
советуйте — что делать?
Жрецы Базаров —
знания
великие пределы.
Я раньше брал советы,
теперь их покупаю,
я золотым обедом
умнейших угощаю,
под нёбом рта пусть реют
крылатые слова,
мои ладони греет
алмазная халва.
Закон: на ханском тое
любой, кто запоет,
за слово золотое
ртом золото берет
и унесет с собою,
что поместилось в рот.
На этом ярком блюде
не финик и миндаль,
глядите шире, люди,—
здесь слитки и янтарь,
найдутся в этом плове
алмазы и рубин.
Ну, золотое слово,
исторгнись из глубин!

VI

Хан хриплым шепотом назвал тему.
Дулат отвернулся.
Стража, опустив распаренные ноги в живой
холод ручья,

потягивала кумыс и негромко
переговаривалась...

Индей впал в задумчивость.
Он уже, по обыкновению, не замечал,

как руки его обвивают
ползучие растения, а вокруг
ног вырастают муравейники.
Он на глазах ушел от чувств,
впал в совершенство,
не стройностью телес,
а красотой морали
он истязал взгляд стражи,
опустившей
оцепенело
чаши с кумысом.
В не знающую времени свободу
всецело погрузясь, А-брахм думал
о бренности людских существований,
о мелочности чувственных желаний
и о ничтожестве своего рта.
Он сожалел, что ум не развивает,
не превращает полость рта в пещеру,
что он извел стоическим молчаньем
за долгие года немых стояний
свой бедный рот,
в котором редкий гость —
сухая корка,
тесен,
словно джунгли,
туда и палец не засунешь тонкий,
не то что полную
алмазов горсть.
О нищий рот, покрытый паутиной,
не то что иссушающая пасть
пустынного пророка-иудея.
А иудей стоял и закипал
и щупал языком сухое нёбо,
нависшее, как
костяная туча,
язык ворочался в щели и мучал
такими мыслями святого Брахм-А:
«Несправедлив единый бог!
Глаз мал,
но он вмещает целый мир, шакал!
Узорчато сверкающее блюдо,
громадного индея и верблюдов,
сосущих мед у яркого ручья.
И слуху дал вместилище такое,
что помещает
дальний звон металла,
плеск, шорох струй
и хлюпанье ослов,
сосущих мед у громкого ручья,
и скрежет
дум индийского столпа,
неизбранного богом и людьми.
О бог единый, слух и глаз возьми,

но дай мне пасть не крокодилью,
боже,
не львиную,
пожалуйста, побольше,
такую, как у этого индея.
Я бросил бы ужасную затею
торчать в жару на площадях базарных
и звать в пустыни гнусные
бездарных
торговцев снедью.
Я купил бы сад,
растил детей —
счастливых иудеев,
не презирал бы я ни скифов,
ни индеев,
сидел бы, ноги окунув в ручей,
и пил бы мед
твоих пустых речей.
О бог единый,
сделай меня добрым».
...И крылья изо ртов рванулись
двух,
в зубах застряли,
вышел только дух,
напрасно хан свой слух
напряг, как лук,
стрела вниманья поразила
пух.

Поднялся хан.
— Дулат, насыть их взор,
слух, память и мечтанья
этим звоном.
Пусть жрут,
подавятся жрецы.
Эй, вон их!
Мудрец, не давший людям мудрость,—
вор!

Уйдите
в мысли!..
В защиту мудрых Ничтожный
пишущий скажет
несколько слов:

Нет выгоды поэтам,
философам, жрецам!
Мы даром проливаем
на состязаньях пот.
Увы,
слова огромны,
да не огромен рот.
Но хуже
(это чаще!),
когда — наоборот.

VII

Молчанье его окружало,
ему угрожало молчанье.
Хан слушать его не хотел
(мы имеем в виду Дулата).
Он слушать их не хотел —
свою коренастую стражу,
а воины пели негромкими голосами:
— Власти мудрых не бойся,
бойся власти мужчин.
Лик,
исшрамленный
в войнах,
не боится морщин.
Разве женщины любят
нас
за гладкость чела?
И волна волосни
нам на плечи легла.
Шлем широкий
бросает тень
на лицо мое,
а в могучей руке —
ужасающее копье.
Лица у нас безбородые,
как у скопцов,
мы в страсти превосходили
горбатых верблюжьих самцов,
вечные беглецы,
мы бежим от судьбы,
гоня перед собой
стада смятенных персов.
Мы зачаты на Иртыше,
рождены на Дону,
мы не помним, где родина,
знаем только эту войну,
бесконечное совокупление света и тьмы,
но это не главное,
ибо —
коренасты сложением мы,
правосудием славны.
Молчание мудрых его окружало.
Протяжные песни ему угрожали.

VIII

Ударами плети коня веселил.
В персидском квартале
над пропастью жил
старик одинокий, копал в огороде

колодец, чтоб видеть светила.
Короче:
слепого наблюдателя светил
хан посетил.
— Я слышал, перс,
хоть стар ты и горбат,
любовным опытом весьма богат.
Поведай мне секрет соблазна,
перс,
мир содрогнется до седых небес
от щедрости моей,
признайся, перс!
...А перса разобрал радикулит,
он поклонился и не разогнулся.
Так и стоит (преданье говорит)
на месте до сих пор,
не пошатнулся.
Молчит, проклятый!

По этому поводу Ничтожный пишущий
сочинил стих:

Я понял истину, которую желал
ему открыть согбенный перс:
«Мужайся!
О покоритель женщин, унижайся!
И будет мускус у тебя и лал.
Порой набор красивых слабых слов
с любого тела может снять покров.
Газелью покоряют даже львицу,
словами поклонись —
и покорится!
Кто поклонился раз,
тот не горбат.
. . . . . .
Какую тайну бережет Дулат?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Посмотри, много ль в небе
осталось холодных звезд.

I

Дулат

О хан, войско разленилось в городах
и погрязло в разврате и восхищении.
Ишпака, ты заставил волков жить
мирно в овчарнях, и сытые волки
стали подражать повадкам травоядных.

Они едят хлеб и срывают плоды
с деревьев. Они уже копаются в
земле и начинают сеять просо.
Жнецы превращаются в пахарей.
Ишпака, нам пора,
наши кости ослабли от сладостей,
наше мясо размякло от ласк,
наши души померкли от радости,
дай нам пищу собак,
брось нас в горла ущелий,
много стран терпеливо тоскуют
по нашим клинкам.

Они ждут.
Наши кони давно не топтали посевов,
поведи нас туда,
где лучи заиграют на лезвиях,
там полезней трава для коней,
в ней избыток магнезии.
Ждет свободная Ливия,
ждут эфиопы Напаты,
серебро накопилось в Сирии
для платы,
фригийские жены,
жирные, как акриды[1],
готовые лечь на блюдо,
бедра и груди их,
как лица блудниц, открыты.
Если ты спросишь меня —
выбор твой не одобрен,
мы исходили круг
и не нашли Того,
этот путь утомляет
и никуда не ведет...

Что хотел сказать Дулат?

О походе в страну Ашшура скифские
писцы писали: «Ишпака
из Ашшура 8970 юношей увел,
15323 юных пленниц увел. Некоторых
убил, других живыми увел.
16529 коров увел и одного быка увел...»
Что хотел сказать неизвестный писец?

II

...Вот Ишпака уже шел через оливковую
рощу, он вернулся к могиле Перса...
— Уйди, Дулат, оставь.
Нас будет двое —
я разбужу персидского героя.
Я вижу, он стоит
в тени олив, светлея.

[1] **Акриды** — саранча, лакомство ассирийских царей. (Примеч. Ишпакая.)

Совет мне нужен,
выходи смелее,
восстань, великий дух,
войди в мой слух,
я буду внемлить, Перс,
благоговея.

III

— Потревожен, восстану...
Моря переходят в пустыни...
Только с камня сойди,
сядь в тени...
Горы падают в пропасть...
Чего тебе надо?
И степи торчком восстают...
Я борюсь с дремотой.
— Победи, аруах! Я не знаю,
с чего начать...
Я хожу по притонам и
пью вино ярости.
Мне жрецы объявили войну
тишины.
Я учился читать их молчанье.
Ты не слышал — вчера хохотала
площадь?
И потом замолчала.
Оправдай меня, Перс!..
Они хохотали, глумясь
над природой вещей.
Они часто выходят, жрецы,
на помост
и руками, ногами, лицом и
всем телом, однако,
изображают буквы письма ассирийского
или иного,
но все, кто приходит на площадь
смеяться, читают движенья
жреца, как таблицу писца,
одобряя.
А я приходил и стоял, укрывая
лицо, и качался с толпой,
и, казалось, сливался с телами,
и душа моя сплавилась с грязными
душами их.
Ты, наверное, чуешь, о Дух,
от души моей потом разит
ассирийским.
Извивается жрец, на помосте
мне видится море,
луна над волной
и лицо финикийца тонущего...
То коня он опишет пальцами

и глазами,
то коня и себя на нем,
молодую траву
под конем,
то неслышно поет
колебаньями рук
и ногами.
Но вот вчера я понял,
что хохот мне мешает,
врывается, грызет мое сознание,
он становился громче
и ужасней,
обрушивался хохот
на меня.
Я понял вдруг:
жрец притворялся мной.
...Актер на мерине
изображал
глупца
и песню строил голосом скопца.
Я прямо говорю —
я за искусство,
но разве можно искажать
ишкуза?..
...Вообразил актер,
что наказал
его ишкуз.
Хромал несчастный жрец
и зрителям свой иссеченный зад,
спустив штаны,
показывал,
скотина.
И снова ржали люди над
вождем,
жрец тот был в одеянии моем.
А я стоял в толпе и был, как червь,
голый.

Дух

А позже жрец изображал
свой труп,
и это ему лучше удавалось...
Я знаю все.
Жрец не был виноват,
он рисовал классическую битву
Ашшура с вавилонским
Бел-Мардуком.
Но ты не понял сказки,
и Дулат
пронзил его стрелой
из костяного лука.

И жрец его не понял
и упал,
забился на помосте,
хохотала
толпа, все понимая
из того,
что он изображал в предсмертных
муках.
Казалось ей: он рисовал
Мардука,
ужаленного молнией Ашшуры,
и замер он в веселой позе
Ану...
Зачем ты рассказал мне,
Ишпака,
то, что тебя уже не волновало?
Что привело тебя
к чужому аруаху?
Ты хочешь слушать откровенья?
Слушай.

IV

Дух

Пес норовит ухватить
указующий
перст.
Перси грызет он,
дающие молоко,
пес этот — перс,
и запомнить его легко.
Если увидишь, старайся,
чтоб он не забыл,
что ты барс вдохновенный,
а он пес.
— Я тебя не понимаю, перс!
— Продолжаю тогда.
Если двуногий смотрит,
когда ты на него не смотришь,
знай: у него болит голова.
Если, собрав толпу на базаре,
кричит он громче твоих глашатаев
и тычет в стороны пальцами
с черной землей под ногтями,
знай: у него болит голова,
ему хочется лечь.
А голову лечит только меч.
Руби ему череп до самых плеч.
Это мои слова.
— Аруах, пронзи меня тупым,— я ничего
не понимаю.
— Когда молчат живые,

говорят Духи.
Ты всегда понимал Одно,
а сегодня твое Одно
затерялось в полчищах Многого,
не отрицай толпу во имя Одного,
и станешь духом,
и поймешь все,
ибо все есть Дух.
И поймешь персов, каковыми
вы называете весь мир, кроме себя.
У персов есть и мудрость и злонравие,
начала сочинений и венцы.
У вас же есть Закон.
У персов есть жемчужина души.
У вас же — панцирь.
У персов дно и бездна высоты,
у вас губительное плоскогорье.
Вот что такое — перс
и что такое — ты.
Я духом стал давно,
еще при жизни...

V

Дух

Ты это хотел узнать? Узнай.
Не могу похвалиться
ни знатностью рода,
ни прочим,
я доил кобылиц,
тронов царских никто не пророчил,
но случилось однажды
(я думал, что это беда),
налетели,
связали
и привезли сюда.
Это было в апреле,
два солнца стояло на небе,
на базаре — жара,
у хозяев торговля не шла.
Ты прости, Ишпака,

я пока говорю не по теме,
тем не менее так —
меня продали, как осла.
Наковали на ноги путы,
как знак алефа[1].
Я полжизни измерил,
но верил в судьбу свою, верил,
ибо видел на небе однажды
два сияющих круга
над купами пыльных олив.

[1] **Алеф** — первая буква финикийского алфавита.

Зреть Венеру достоин каждый,
но знак ее
не доступен любым,
он прекрасней
ночной звезды,
если вещь непонятна,
чтобы познать ее,
должен сущность ее отвлеченную
ведать ты.

...Я возделывал почву,
старался работать азартно,
рыл арыки,
валился в солому
и видел во сне:
восходили два солнца
на медленном небе базарном.
И однажды
мы в город пошли,
дело было к весне.

VI

— Ты что-нибудь понял, Ишпака?
— Я понял, что ты с хозяином пошел в
город. Не в Ниневию?
— В Харран. Но разве это важно!
— В Харран мы ворвались в разлив
Тингра. Наши кони шли по брюхо
в воде. И дома никак не хотели
гореть...
— Мой хозяин на празднике Шамаша
выпил сикеры.
Пропил все, что возможно,—
осла и мешок ячменя,
продал бороду красную
и на восходе Венеры
пьяной даме за перстень
отчаянно отдал меня.
Снял рванье с моих плеч,
с сожалением пнул
на прощанье.
Мы расстались, как люди,
я помню его до сих пор...
И за дамой пошел,
красоты она необычайной,
ай, как кожа
сквозь ткани мерцала!
...Мы входим во двор.
На траве у бассейна
джейран одинокий
пасется...

В том бассейне
веселые люди меня искупали,

и маслами натерли,
и спать уложили под пальмой...
Я уснул и увидел во сне
два знакомые солнца.
И очнулся.
и солнца не гасли.
А солнца — в ресницах.
Я подумал: ужасно!
Ну, надо же такому присниться!
...До утра просыпаться
глаза ее не давали,
до утра мои губы
ланиты ее целовали.
Так лежали рыбины
на илистом дне озер.
Так врывались в глубины ее соколиные очи.
И сияли рубины улыбок,
скрывая позор
обнаженного сна
от внимания солнечной ночи.
Как молчала она,
отдаваясь!—
сводило мослы.
Попугаи на пальме кричали,
встречая два солнца.
Это были не дни
и не годы —
дрожащие сны,
Ишпака, тебе снилось:
джейран одинокий пасется?

VII

— Продолжай!
— Расскажу про Шахмат.
Я бывал в ее сладостных думах:
«Ай, уйти бы в набег
и вернуться с победой в хурджунах!
Привести на аркане
раскосого дикаря
и ночами,
во сне,
превращать его страстью
в царя».
Сколько жалких рабов
она в гордых мужей
превращала,
возвращала им все, что потеряно,
сны возвращала.
О, ее красота отдавалась
сутулым и старым!
Только данью она не была,

красота,
только — даром!
В этом знойном саду
красота нас обоих ждала,
а вернее:
явилась она!
Мне — в сверкающем царском обличье,
тебе — в образе девки,
и каждому радость дала.
Тебе — радость раба,
мне — тревожное счастье величья.
Не гневись, согласись,
что любовь —
наслаждение нищих,
их свобода она и пища.
Был я эльфом презренным,
стал алпом[1] великим,
достойным
принять смерть от ножа своего,
я прошел оба круга.
Завидуй.
— Грязный аруах!.. Дулат, где ты,
проклятый палач!..

[1] Алп — великан (тюрк.)

VIII

Дух

Позавидуешь персу.
Могилу твою не узнают —
покровителей мира
в забытых местах зарывают,
разровняют, прогонят стадо,
травой засеют,
чтоб никто не узнал,
не посмел.
— Аруах!..
— Не посмеют.
И никто
не придет,
не навалится плачем на камень,
не коснется гранита
палящим бедром,
ногами
и губами горькими,
мокрыми, словно перец.
Не шепнет твое имя,
щекою шершавой, как персик,
не согреет слезы
и не вскрикнет...
— Исчадие перса!..
— И не стиснет молочные железы,

ассирийские перси!
Предрекаю тебе, Ишпака:
позавидуешь персу...
. . . . . .
Ты не понял движений жреца.
Моих знаков не понял.
В тебе знание символов скифских,
ты их отвергаешь.
Тебе кажется странным —
мир чуждыми знаками
полон,

и ты, покоритель,
бессилен их тронуть руками!
Но ты ведь — ничтожество,
ты покоряешь вещи.
Их вечная сущность, увы,
за пределами силы.

Тебе не понять, почему
знак крови багровой —
синий?

Тебе непонятно,
что сам ты —
какого-то чуда
символ.
И тот, кто тебя узнает,
уверен: познает чудо.
Ты шуток не понимаешь,
а хохот —
предвиденье шуток.
Спасибо,
недаром проснулся,
отдал тебе сон и два солнца.
Заткни все отверстия тела,
увидишь, как луч окунулся
в бассейн,
и трава не гнется,
а между стволов травиных
джейран одинокий пасется...
Но чем он питается, если
трава достигает солнца?..

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

...увидать мир таким,
каким он уже не будет...

«Плечом к плечу с друзьями!
Мечом к мечу с врагами!
Нет крыши, кроме тени,
язык во рту — заноза,
вырви его, Тенгри[1],

[1] **Тенгри** (Дингир, Тингр) — древнешумерский бог-солнце.

дай слух —
язык не нужен.
Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны!
Стелились в ноги ткани
дымящихся ночей —
плечом к плечу с друзьями,
мечом к мечу с врагами,
хан Ишпака, ты чей?»
Сознание,
сознание толкало его в грудь,
но ветер, дувший в спину,
не дал ему свернуть,
твердил он: «Помню, помню!...»
А голоса поют.
«Зовут меня на подвиг,
а в рабство отдают...»
И голоса умолкли,
когда вошел он в мир
ее прохладной мохли,
увидел —
пир.
О нет, не ошибаюсь:
там кубки не гремят,
над горлами сшибаясь,
кинжалы не звенят,
там пьяных не выносят,
виновный не бежит,
тостов не произносят —
она лежит.

II

Она лежала у дальней стены
в полутьме, и одинокая муха,
жужжа, искала паутину в углах.
Жало света (из дырки в крыше) дрожало,
в белеющее бедро вонзенное, и
любому невежде бы показалось: то плоть
излучала сияние в небо.
И сказал он, когда пот жары на челе
стал холодным,
и сказал он, когда очи привыкли к сверканию
тела,
и сказал, задыхаясь от бега,
умевший толпу поднимать смыслом слова.
...Ничего не сказал он.

III

Она спит.
Она смотрит крутыми избытками тела,
молоко выпирает из мяса
двумя кулаками,
он глазами лакал расстоянье
до куполов белых,
поперхнулся, моргнул,
о, поверьте, и вы бы лакали.
Он гортань усмирял,
он стеснялся
залаять — неловко!
В этом деле нужна не степная,
иная сноровка,
надо взвыть потихоньку,
как эта зеленая муха,
чтоб жужжаньем звериным не рвать
паутины слуха.

Чтобы жало вонзало
и спать у стены не мешало,
чтобы тело дрожало во сне
и зрачок наслаждало.
Он гортань усмирял оглупевшую музыкой мысли,
над шершавыми звуками
гневные зубы повисли:
— Кто поклонился раз,
тот не горбат!
Мужское дело мне доверь,
Шамхат.

IV

От слов таких и камень бы проснулся,
а если б не проснулся —
пошатнулся.
Слова срывали кожу, как парчу,
она почувствовала
слов камчу.
Во сне дух расстается с естеством,
совокупляя символ с веществом.
Два лотоса со дна сознанья всплыли,
не солнца в лотосах —
миндалины в них были.
И отделились линии письма
от острия калама книгописца.
По телу пробежали тени сна
и унеслись на крыльях.
— Дай напиться!
Это она сказала, показав
рукой пленительной
на чан с водой.

. . . . . .

Он зачерпнул, подал, не расплескав.
Она пила, как лань
на водопое,
по горлу сладко пробегали
волны,
с другого берега
глядели волки.
Отставив чашу, села поудобней,
укрылась виновато:
— Слушай, воин.
Я знаю, будущее не простит,
но настоящее неумолимо,
дано мне тело
наслаждать других,
но что мне делать,
если нет других!..
Ты бесконечен,
я кратка,
как миг,
ты долговечнее шумерских книг,
зачем горой таблиц, в огне каленных,
над мышью слабой,
о титан, возник?
Из чувств твоих
познаю только
тяжесть,

кто не прочтет, тот
знак не почитает,
слова твои, начертанные, дарят
читающим — века,
невежду — давят,
и отнимают малое, что есть,
о, не гневись,
не угнетая местью,
поверь, в железных латах
твоя честь,
копье в руках безжалостных
и меч,
а я прикрыта лишь
ладонью чести.

Ужель побед тебе недостает,
склонился мир
нагой перед тобою,
возьми его,
он под твоей стопою,
ты можешь насладить себя любою,
копье твое разить не устает,
мою нору не заслоняй горою.
Оставь мне крохотного права миг
любить того, кто под ударом сник.
Хоть бей по голове таблицами
невежду,

умрет, но не поймет он
смысла книг,
как ни желал бы!..
...Усладить тебя
мечтала б я,
о доля моя злая.
Нам не дано!..
Богов своих любя,
обет последний Шамашу дала я!..

V

— Ты иноверец,— молвила Шамхат,—
ты веришь в Тенгри,
в молнии и Лело,
вот если б
твои книги
поломать...
Тогда б другое дело.
(Обнаглела!..)
Открою шею,
обнажу свой срам...
Верь Шамашу —
и наслажденье дам!
Дыханьем флейту страсти обжигая,
мелодию Иштар тебе сыграю,
рождаясь каждый миг
и умирая,
верь Шамашу, неверный...
Я желаю...
Мир покорил — рабыню покори,
я умолкаю в страхе.
Говори!
Не унижай молчаньем,
говори!
Отчего над горлом,
словно волк,
тишина твоя?
О, говори!
Облако над хижиной — как войлок,
исчерченный орнаментами молний,
это бога Тенгри лик горит,
защити,
сгораю,
говори!

VI

«Ишпака, очнись!
Не совершай проступка,

не искушайся! — голосил в нем Тенгри.—
Дороже бога стала проститутка,
не богом покупай,
бери за деньги.
Я помогал тебе в твоих дерзаньях,
выигрывал любые состязанья,
с врагами Тенгри
ты,
опомнись, воин.
На что тебе!..
Ты большего достоин.
Не богохульствуй,
а возьми, как брал,
распни на ложе жестком,
наслаждайся!»
— Ох, помоги мне, Тенгри,
бог и брат...
— Эй, самка, как тебя, Шамхат, отдайся!
Кому сказал?!
...Не слышит глас она,
ничтожное подобие Ишторе,
страсть в веру нас ведет,
гласит История.
Стоит, лучами Шамаша обласкана.
И шевелит она ветвями взглядов,
увешанных плодами обещаний,
упругими плодами обещаний,
налитыми плодами обещаний,
проклятыми плодами обещаний,
кто говорил, что знаки над вещами!..
Безжалостные знаки обещаний,
уверенные знаки обещаний.
Кто говорил, что избежал несчастий,
когда тебе такое обещали!..
Какие праведники избежали
бесчестия,
когда им обещали
на место рая ненависти —ад
любви Шамхат!..

VII

И ш п а к а

Я сломаю
крылья ветру,
если ветер — перс,
я сломаю книги Тенгри,
если Тенгри — перс.
Что мне бог!
Не бог он вовсе,
а пенек в лесу,
даже перса
ему в жертву

я не принесу!
Если Шамаш мне подмога
повалить тебя,
значит, нет сильнее бога
в небе и степях,
преклоню пред ним колено,
испуская вой,
а другое преклоняю,
дева, пред тобой.
В жертву Шамашу верблюдов
белых приношу,
воскуряю в его имя
лен и анашу,
разломаю на пороге
пополам чуряк,
разве Тенгри помешает,
если я — дурак.
Дай
наполню твои груди
жирным молоком!..
— Будь ты проклят,— плюнул Тенгри
из-за облаков.

VIII

...И Шамхат носком коснулась
жертвенной крови,
оглянулась,
улыбнулась
краешком любви
и пошла в святую рощу,
не меняя вид,
Ишпака — за ней,
нагружен
хворостом обид.
«Где твоя былая сила,
гордый Ишпака?
Эта баба превратила
хана в ишака,
перс, унылый скотоложец,
обратал ее.
Неужель твой нож короче,
чем его копье?
Этой сладкой ассирийке —
финик и чеснок!
Дай ей поле и арыки,
но лежать у ног!..
Унижаться, унижая
кочевой народ!..
Нашу славу — ей в подметки,
и наоборот.
Добывали славу,

дорожили ею,
баба не жалеет,
я ли пожалею?
Я твой летописец, Ишпака-монарх».
— Что ты понимаешь в женщинах,
монах?..
Я сирийцев грозных
страстью изводил,
он входил ребенком,
старцем выходил,
шел, вихляясь, кашлял,
пёрся в никуда.
Так бывало с каждым
раз — и навсегда!
Египтян приводит яростный Дулат,
и не понимает, мой палач и брат,
отвергаю сотни,
уточняю: сто.
Кто мне нужен сёдни?
Спрашиваю:
кто?
Кто мне нужен, знайте,
ныне и всегда —
эта в узком платье?
Отвечайте:
да!
Запирайте двери,
окна — заволочь!
Занавесьте солнце!
Объявляю ночь.
Пусть никто не видит,
как за ней бреду,
не нашел управы,
а на вас найду...

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Над каждым из сущих
зреет в небе звезда...

I

Она прошла рощу (оливковую),
присела в тени дерева (лаврового),
шелковым рукавом отерла с лица влагу,
это были слезы.
Замкнулся круг и начался второй.
Очертанье ноги проступало
сквозь тонкие ткани,
она гладила камень,
румяна ползли по щекам,

она камень ласкала
палящим бедром,
ногами
и шептала слова,
адресованные векам.
— Конницу в рай не пускают.
Ты будь одинок.
Ты войди в мое лоно,
словно в сады Эдема.
Ты с мотыгой войди,
землепашцем,
оставив клинок...
(Хан слабел от ее красоты,
превращаясь в Адама.)
Ты взрыхлишь мое черствое чрево
мотыгой своей
и поймешь:
не в горячий песок
семена заборонил,
запрокину лицо,
выгнусь радугой после дождей,
дам потомство обильное,
сильное,
вечное.
Понял?
Она сделала многое —
хан позавидовал камню,
она сделала все,
и никто не завидовал хану,
и сказала она:
— Стань же персом,
возьми его имя,
и я буду с тобою,
как с ним,
я буду с двоими.

II

Ишпака

Ну что же, перс,
позавидуй мне,
я не был так радостен на войне.
Тебе привычнее
под конем,
а мне привычнее на коне.
Обрек на удачу меня
мой рок,
я в жизни не ведал таких морок,
меня, покорителя городов,
Шамхат не пускает
на свой порог.

(Косая челка над узкой щелкой —
надменный вид,
а проще — долго
забытым волком
на небо выть...)
Быть любимой и не любить,
как страшно женщиной в мире быть.
Я в женщинах
воинов слабых знал,
как побежденных, их презирал.
Шамхат как истина мне дорога,
я счастлив, перс,—
я нашел врага.

III

Высокое веко, крутая бровь,
внутри человека
играет кровь.
. . . . . .
Над пропастью тонко
вьется тропа,
это над пастью
бьется губа.
. . . . . .
Он понял немногое,
понял он:
в ложе пустое свое влюблен.
. . . . . .
Поэту поверишь ли, Суд Великий,
он меч удержал
и не взял мотыги.
Он чести кочевника не уронил,
поверишь ли,
семя свое сохранил.
Что бога ругал —
ну а кто не ругает?
В сретеньях чувств
не такое бывает.
Ногами не бил,
не касался руками,
а слово
лишь слабого убивает.
Он стыд испытал,
а это важнее.
Молчанье узнал
в искупающем гневе,
он был одинок,
словно перс, в этом
мире,
один на земле он,
как Тенгри на небе.

Перс тайны оставил ему.
И он принял,
он пропасть гортани
не перепрыгнул,
словами гремел,
тишину поражая,
молчанье вселенной его окружало.
Поэту поверишь ли, Суд Великий,
он меч удержал
и не принял мотыги,
начертаны мудрости в нем,
он не понял,
себя не читают
шумерские книги.
Он в зеркале медном искал отраженья,
оно отразило его
Отреченьем.
Себя не нашедший в горнилах победы,
быть может, отыщет
в золе поражений...
Но что замышляет коварный
Дулат?

IV

...Полз муравей,
червя влача бездумно,
росла трава над муравьем
бесшумно,
незримо миру
распадался камень.
Пророк, тот миг останови руками.
Стой, муравей.
Трава, замри на миг.
Останови
свои метанья, блик,
лишь мысль — червя хвост —
от боли бьется,
уходит время вспять,
что остается?
Хан отдыхал в прохладе тишины:
— Я вижу сон:
земля благоуханна...
Покойна в Доме праха
тень жены,
вдовы двух воинов —
раба и хана...
Я возвращался. Шел сквозь города,
все было так,
как было бы всегда,
не будь того,
чего не должно быть.

Что это значит —
«времени испить»?
И коброй на хвосте
стоял вопрос,
ответом на него —
другой вопрос.
Уполз в пески вопрос,
упал ответ...
Познав тоски овал
и многогранность бед,
обвал прозрений
и сомнений кактус.
Я наконец спросил себя:
«Ну, как ты?»
И коброй на хвосте стоял вопрос,
ответ спешил,
он, извиваясь, полз
из марева времен,
дополз, устал,
лежал он перед коброй,
сух и прост.

V

...Завшивевшая змеями башня могильника.
Что от ног твоих гладких осталось?
Суставы...
От рук твоих тонких,
крылатых в злости?!
От бедер пьянящих —
берцовые кости.
Горсть позвонков и звенящих ребер —
от гибкого стана...
И где твои лотосы?
А где твои розы,
тугие на ощупь,
куда они делись?
Осыпались в ночи...
Какое бесцелие нас породило?
К чему ты стремился,
то сникло и сгнило,
зачем предрассудков позорных оковы,
ужели не хватит
позора такого,
которого каждому не избежать!
Мы к свету стремимся,
чтоб тенью лежать,
чем выше растенье,
тем тень его дальше.
Не лучше ль упавшими
пальмам рождаться!
Не лучше ли людям по глинам стелиться,

понять кратковременной радости
горе,
у тех, кто не падал,
спокойные лица.
Но те, кто не падал,
не знают покоя.
Они не поймут,
не поверят в такое,
что ты могла
движением бровей
прощать преступника,
казнить народы.
Сменялись поколения червей,
и испарялись почвенные воды,
и разрушались кость твоя и плоть,
и трещины избороздили свод
могильника...
Прощайте, о Шамхат,
вот до чего вас доведет
упрямство...

VI

Ишпака отряхнул со штанов прах
и пошел, волоча за собою
угловатую тень,
солнце билось в оливах,
смеялось, кривлялось, как Тенгри.
«Кто был прав?»
А Шамхат?
Волочилась за ним,
словно белая тень,
по дороге
сбивая прекрасное мясо колен,
умоляя вернуться!..
(Никак не поймешь этих женщин,
нарушают поступками
стройность трагических песен.
Удивленья достойны
подобные метаморфозы.)
Уходил он, оставив Шамхат
в покоряющей позе...

VII

— Ишкузы!
я поведу вас туда,
где не бывали вы!
Я увлеку вас в рай
сквозь пелену листвы,

вырубим сад Эдем,
вытопчем мед травы.
Я побывал в раю,
и побывайте вы.

Чтоб не слабели те,
кто
сидит на конях,
те, кто из века в век
стражу несет
на краях,
пусть не обманут вас
тайны чужих жрецов,
вещности нет в раю —
понял в конце концов.
Был я сильней других,
стал красивей других,
стал я мудрей других,
стал ли счастливей их?..—
Ему казалось, что он летел в седле,
а он трижды стоял в себе.
Ему казалось,
что он уходил от нее,
но если бы он мог понимать холодным
жреческим разумом,
что начался второй круг проклятия перса,
неотделимый от нижнего!..

VIII

О, Дулат, человек бессилен
прервать развитие знака,
круг неба нельзя оторвать от звена
Земли,
как Землю со всеми морями,
хребтами Или
нельзя оторвать от корней
одинокого Злака.
Угрюмый Дулат из-за дерева вышел:
— Пошли...
Она поднималась,
и плечи ее содрогались.
Дулат с отвращением вывел коня,
и, как труп,
обмотав попоной суконной,
ругаясь,
вскочил на коня
и бросил ее
на круп.

Земля — это круг,
перечеркнутый
тонким крестом.
Четыре дуги в центр глядят
с четырех сторон.

I

Белый шатер с черным верхом
стоял в раскаленной от зноя степи
в излучине Тингра, близ Харрапы.
Судейский шатер —
шестикрылое гнездо.
Изнутри он устлан круглым
белым ковром ики-из с черным мягким
крестом на всю площадь.
В центре ковра,
скрестив свастикой ноги,
сидел подсудимый.
Ждал судий — старейшин восьми многомужих
уруков,
в тот день
угнетающий зной
делал Белый шатер с черным верхом
единственным местом прохлады.
На дне углубленного Тингра
едва ли приятнее рыбам,
их потные лица не гладит
невидимый ветер
проклятий.
...Они входили, пригнувшись,
садились у стен по кругу,
четыре — слева от торя[1],
четыре садились справа,
не кланялись скуны[2] друг другу,
но кланялись молча хану,
прежде чем сесть,
колени скрестив,
и прежде чем сесть,
на колени свои положив
тяжеленные руки,
скуны многомужих уруков
клали перед Ишпакой
имена родов — железные тамги[3].
Все восемь вождей пришли
простить преступнику восемь
тяжелых его проступков.
Ни у одного урука тамгою не был Щит.
Девятым внесли Его,
старейшего из старейших.
Верховный судья Хор-ахте
обязан был не прощать
девятого преступленья.
Оно могло быть и первым.

[1] *Тор* — возвышенное почетное место у дальней стены против двери.
[2] *Скун* — титул (*др. тюрк.*)
[3] *Тамга* — герб, эмблема рода.

Преступнику не поклонился,
к ногам Ишпака не бросил
угрюмых достоинств своих.
Держал он чашу и меч,
недвижно сидя на торе.

II

Их было восемь судий,
молчавших, словно львы,
их кровь ревела в жилах.
Лишь Хор-ахте, мудрейший,
спал, смежив веки,
в собственной тени,
и тихо кровь его журчала
в дряблых венах,
напоминая полдень
и арык.
Но знал хан Ишпака:
он тих,
как тигр в джунглях.
Нога его хрома, но ум проворен.
Глаза его тесны, но лоб просторен.
И, стоя перед ним,
любой честнейший воин
считал себя презренным
жалким вором.
Когда глаза он разжимал
со скрипом,
заржавленное веко
дыбил бровью,
преступники валились наземь
с криком,
храбрейшие из них мочились кровью.
О, не встречайтесь с этим взглядом жутким,
сочившимся сквозь дебрь витых морщин,
так ночью на оленя смотрят джунгли,—
всевидящий,
незримый миру джинн.
...У коновязи всхрапывали кони,
и конь Ишпака был обеспокоен.
Не ел травы густой.
Обеспокоен.

III

Похрапывал Хор-ахте.
Вопросы задавали скуны.
Был вопрос Тарака,
он испытывал:
— Что, светел нынче день?
(Дочь его из молока и меда
пришла на память
и не взволновала.)

— День как день,— ответил Ишпака,
он запоминающе вгляделся в скуна:
твердый лоб, уверенные скулы,—
может быть, еще удастся встретиться
в той земле несветлой,
а пока
был вопрос второй,
послушаем его.
— Разве ты не видишь — в небе звезды?
И Луна?
(Хотя светило солнце.)
— День как день,— ответил хмуро хан,—
если вам не нравится светило —
погасите.
Это в ваших силах...
Бахус[1] может вызвать ураган
и задуть огонь,— ответил он,—
кто преследует, тот и силен.
(Печень колотилась ему в спину,
Ишпака был сильно разозлен.)
— Солнца луч блистает в небе синем,
страх не помогает
даже сильным,
честь моя,
как вываренный чай,
но и ту придется выручать.
Я сегодня настроеньем плох,
но я воин,
не возьмешь врасплох
даже ночью,
бей при свете дня,
о судья, испытывай меня!..

[1] **Бахус** — жрец, шаман.

IV

Послушаем, что сказал Кыр-куз.
— Прекратим преследование
и предадимся разговору.
Закон Шатра: судья к судье,
вор к вору.
Считаю так:
нас — много, ты — один,
но мы — рабы,
ты все же господин.
За взятку ты рубил
ключицу нам,
мог бросить под коней,
в загоны к львам,
но —
персом стал,
мотыгу в руки взял,
ударил по земле

и так сказал:
огонь костра я запер в печь,
сказал?
пространство стенами огородил,
сказал?
я превратил в мотыгу меч,
сказал?
не Тенгри,
пес меня родил,
сказал?
Ты слышишь, замолкли кони?
Тихо и пусто в степи,
молчит, пристыженная,
словно у всех ишкузов
родились дочери
стриженые!
А города персов сияют,
пляшут огнями,
будто в каждом их доме
жен
наших грубо обняли.
И они отдаются им,
жены наши!
С кого нам спрашивать,
хан великий?
Да, солнце светит
на наш позор,
враг не скрывает свои улыбки.
Хор-ахте всемогущий, я назвал проступки Ишпака,
один из них прощаю...

V

И поднял нож вопроса
Ики-пшак.
Его лицо лоснилось смуглой костью
и излучало черное спокойствие.
— Водой речей ответных
не отмоешь
ты имени запятнанного, хан.
Пусть будет чистой
влага омовенья,
но не клянись быть честным до конца.
Закон Шатра известен:
отвергай
все обвиненья,
лги, но защищайся.
Пока ты говоришь —
тебе мы верим.
Разрушь плотину,
пусть бурлит вода.

Мы обвиним тебя за преступленья,
не за слова твои —
ты не поэт.
Мы обвиним тебя не как лесного
зверя,
о нет.
Мечи — у нас,
тебе вручаем щит,
возьми его,
используй свое право
и в океане размышлений плавай,
и пусть не загрязнится водоем.
— Пред вами безупречный
не стоял,
закон Шатра гласит:
хвала — известна,
хула — невидима.
Давайте честно!
Все подвиги мои в ночи
сокрыты,
бесчестье бьет в глаза Суда,
как солнце.

Балта

Ты родился мужем —
не ребенком,
не лежал в собольих ты пеленках,
ты из чрева вылез
с грозным кличем,
степняки сказали: «Быть величью».
Не сосал грудь суки,
разгрызал губой,
молоко отдаивал
вместе с кровью,
иноверцев видел
только под собой,
это вдохновляло нас,
не скрою.
Ты слюной в пустынях
жажду утолял.
Пусть же скиснут груди
скифских матерей,
если недодали
то, что недобрал,
ты родился зверем,
стал слабей людей.
Ты владел тяжелым
правом первой ночи!
Свадеб избегаешь,
прячешься, как вор.
Иль копье погнулось?
Или меч короче?..

Муж народу нужен,
а не вол.
Если обессилен,
то закон всесилен —
мы тебя задушим,
новый бык нам нужен.
Отвечай, не мучай,
Ишпака, будь мужем!..
(Океан раздумий
превратился в лужу.)
Мы тебя спросили:
признаешь бессилье?
Хор-ахте, могучий, мы вину назвали.
Мы ее простили.

VI

Твердокостный Уч-ок,
за силу бедер и редкостное слабоумие
известный книгам под прозвищем
Безголовый, прослышав речь Балты,
пришел в оживление.
Он хватил ладонью по колену,
чем боль себе немало причинил.
Послушаем, что он сказал,
в речах могучий.
— Пах-пах!
Зловещий зной палит тебя.
Ты сух и тонок,
не терпи,
пожар твой может согревать
невестам лучезарный пах,
одну же
может он спалить,
дай выход скотству,
не терпи!
Я б не хотел на месте быть
той девы робкой,—
не терпи!
Не воздержись! Веди нас в бой,
мы ринемся тебе вослед,
на спину глядя, как на свет,
ты знаешь, в битвах я какой!
Спроси жену мою,
она
в меня, как в волка,
влюблена.
Я все простил тебе, о хан.
— Ты можешь лишь одно простить.
Один проступок.
— А какой?
. . . . . .

«Он восхищен мной,—
мнил Уч-ок
и шевелил волос пучок.—
А может быть, судьбой своей?
А может быть, женой моей?!
Эй!!»

VII

И молчанья толпу
раздвинул плечами
скун рода тилик.
Показал он, вздохнув,
словно крякнув с досады,
свой острый язык.
— Ты не принял слов дружбы,
не принял пощады,
ты духом велик.
Ты огнем закален,
как страница печальных
наших глиняных книг.
Этот мир завоеван,
но разве лишь в этой
вселенной живем.
Ты уйдешь от нас раньше,
тот мир покоришь,
за тобою пойдем.
В той несветлой земле
снова грозным вождем
мы тебя изберем.
А пока подождем
и рассыплемся просом,
сгнием под дождем,
разбредемся по землям,
по разным дорогам уйдем.
Разберем свои тамги,
народ наш лишится письма.
Что же скажет Хор-ахте?..
...Тот спал, и довольно весьма.
По закону Язу,
не положено судий будить,
если он не проснулся от слов,
знать, слова неважны,
если он не проснулся от воплей ослов,
ослы не нужны,
если тигры его не разбудят,
и они не страшны.
По закону Язу,
отложили на день приговор,
нет решения, значит,
пока ты по-прежнему — вор,
совершай преступления,

завтра — один ответ.
Что свершить?
Посоветуй веселому хану,
поэт.
...Выходили неслышно,
садились на тихих
коней,
разъезжались, копытом
не тронув прибрежных камней
и камчи не подняв,
чтобы ржанием не разбудить,
и тебе, Ишпака,
из шатра опустевшего
надо
уходить.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

I

Хор-ахте грозно спал,
на торе сидя,
с коленей грозди рук свисали мрачно,
с губы его презрительно тянулась
серебряная нить,
как с морды жвачной.
Хан в белый свет двери квадратной
вышел

и, разминая ноги, подошел
к коню, похлопал по груди
и выше...
Спустился к Тингру.
Заструился шелк
слепящего широкого потока,
как будто ждал его
недвижно, долго.
Хан усмехнулся добро
и похлопал

по ласковой упругой коже!
«Топай!
Спеши, гони свою волну
к Евфрату,

задумчивому илистому брату,
сливайтесь в племя мутное углом».
Распахнуты врата прекрасной Евы,
и города Ашшура, Вавилон
вместились (или вышли!)
в Бабье Лоно.
Лежит Арем, раскинув
ноги рек,
восьмиэтажный столп

вонзился в угол —
лар Аполлона
(одного из этих пугал
являл ему на Крите
Архий — грек).
Кыр-кузы называли — Амдарья
разбросанные, словно ноги,
воды,
косоги нарекли Сыирдарья
разбросанные, словно роги,
воды.

II

«Теперь я знаю все —
в пустыне горькой
мне нужен виноград,
который давят,
который,
перезрев на солнце ярком,
сознанье символов любви
нам дарит.
Спокойствием ума
сейчас обязан
я
виноградным лозам,
тяжелым гроздьям,
ногам лохматым,
что давили их
в корыте каменном,
кричащим сокам,
кувшинам полным, что хранили их,
руке своей,
что подняла высоко
сосуд, налитый
темным знаком солнца,
и горлу остуженному.
За правду!
За то,
что в виноградниках
обильных
мне нужен мрамор
пряный.
Эй, горбатый!
Наполни-ка еще один кувшин».

III

Поэт

Мой долг напоминать тебе такое,
что, успокоив,

вновь лишит покоя.
Мне отвратителен гранит
и финик липкий —
прекрасен виноград
на лозе гибкой.
На эту тему стих:
«Не будь он так прекрасен,
то вид его в давильне
под ногами
был бы не так ужасен,
согласитесь.
Все лучшее, что солнцем
создается,
ногам невежды все же
достается.
И это некрасиво,
согласитесь».

Ишпака

Мы с Понта холодного
рвались в Элладу,
нам ветви олив изодрали
халаты,
из дыр виновато
глядела на Грецию
вата.
Врывались, как Ларры,
и землю,
как кожу коровы, распяли,
и били копытами в бубен
Эллады.
Проспали
глухие историки
этот поход знаменитый,
но мы не забыли,
как били по бубну копыта.
Все восемь
великих колена
ударили в камень,
на скалах
тусканы эмблемы свои
высекали,
турканы и турши
сознанье оставили там.
Сгибались, как лозы,
колонны
под гроздьями тамг.

...Я чудо увидел,
войдя в один атриум белый,
над ярким бассейном
плясал
не по-зимнему спелый,

весь в трепете света,
янтарный, как брызги Евфрата,
лавиной,
каскадом
кипел над водой виноград.
И я потянулся —
он всех виноградников
стоил,

и я обманулся:
решенье загадки простое —
из мрамора желтого
сделаны лозы и грозди.

А мрамор,
известно любому,
не слаще, чем кости.
Но тот виноград веселился
в ночах моих длинных,

тогда я не понял
великой загадки эллинов:
«Что может прекраснее быть,
чем природа?»

Потом же,
спустя много лет,
отвечаю:
«Прекрасней — подобье».
И спорю:
«Все лучшее, что создается под солнцем,
в сердцах остается,
в ночах наших светит
бессонных».

IV

Поэт

И прежде ты страстно желал
не ее,
а подобье.
Подобьем ручьев на пустыню
нисходят потопы.

Звено одинокое
лучше звенящих цепей,
пусть правдоподобие
будет прекраснее
правды.

Бог создал индея Абрахма
подобным себе,
клянусь, тот индей
благороднее бога Абрахма.
Я слышал, несчастный,
по пестрым базарам Арема
шатается странный торговец
с товаром гаремным,

нет золота ныне такого,
которое стоит
рабыни его смуглотелой,
никто не достоин
купить невеселую гроздь,
она бесподобна.
Брось мертвые знаки,
садись на коня,
здесь недолго.

V

Базар.
...Мощный скиф, расставив ноги,
кричал с помоста:
— Все семь частей ее тела
округлы,
ни вен, ни костей не видно.
Кто мужем ей хочет быть?
Ночами — невинна
к тому же.
Труса героем сделает
в ложе тесном,
скопца — мудрецом,
жреца ассирийского — честным.
К чему беднякам драгоценные
перстни?

Невинна.
Я вижу стада голодных скопцов,
а щедрых купцов
не видно!
(Толпа хохотала до колик, до драки
кольями.)
Певцу выставляю корчагу сикеры,
кто воспоет золотистые брови,
которые с сердцем героя вровень.
Ну, кто единственный,
а кто — первый?

VI

Взошел на помост бесплечий красавец,
весь рыжий.
С лицом изможденным от боли в паху —
от грыжи.
Держась за больное место двумя руками,
лицом повернулся к восходу
и спел, не лукавя:
— Женился бы пышною свадьбою
хоть на корове,

о, если бы были на ней
золотистые брови.
Скиф добрым пинком проводил скотоложца
с помоста,
ушел он, руками держась
за второе
больное
место.
— Задел он корову святую, скот,
корову, несущую диск в рогах,
это песня врага!
Лучше отдать башмачнику нищему
полный сосуд.

Те, кто не любит коров,
пусть другое сосут!
Толпа избивала неверного,
рук не хватало
ему за места хвататься,
толпа хохотала.

VII

Башмачник, известный базару
веселым нравом,
отбросив костыль,
сплясал на помосте
на правой,
и, стоя как аист,
жрал, сунув в сикеру нос,
корчагу, как кость, обглодал
и упал под помост.
Его затолкали пинками
поглубже и стали
глядеть на нее,
других представлений ждали.
Она, вся укрытая
черным сукном
попоны,
торчала на солнце,
дыша лошадиной вонью.
Скиф глянул на север,
рванулся рукой к акинаку.
И —
врезались в гущу толпы
воспаленные кони.
Скиф славно работал —
по битве истосковался,
он сбил одного
и троих,
уклонялся,
смеялся.

Ишкузы жалели его,
не стреляли из луков,
они отошли от помоста,
и он со стуком
вонзил акинак
окровавленный
в доски.
Баста!
— Я знал, Ишпака,
ты настигнешь.
Я сдался. Властвуй.
Хан тронул коня:
— Я ее покупаю, Дулат.
Горсть тенгриев желтых
ударилась под ноги
скифу,
один отскочил от меча,
покатился,
исчез.
Наверное,
в щель закатился,
наверное,
сгинул.
Ее подвели, посадили в седло.
Ишпака
глядел на Дулата с тоскою
собачьей.
— Эй, воин...
Садись на коня,
я прощаю...
Помял ты бока
моим молодцам...
— Ни-че-го, Ишпака,
ты не понял!

VIII

Дулат

Глаза мои плачут,
не золото мне было нужно,
убить я ее не могу,
я ведь знал:
ты придешь.
Но слово есть слово,
я клятвою связан ложной,
ее не нарушил,
я верил, что ты поймешь.
Но ты не осел,
ты хуже, отец ишкузов!
Любимый мой друг,
я верен тебе всегда.

Ты звал, и я шел,
истекая,
не зная куда!..
Верни меня в степи родные,
хочу туда,
где солью Балхаш умывал,
где плыл Каратал,
я все эти годы ночами во снах
умирал

на родине нашей,
я снами
года коротал.
Верни нас домой,
и забудем, что было
тогда!..
. . . . . .
Оседала пыль, поднятая умчавшимися конями.
Базар вылез из щелей и, ломаясь, бросился
на пустой помост, где ярче крови желтели
круглые тенгрии.
Под помостом в пыли лежал на спине
одноногий

башмачник, храпел, заливая слюной
подбородок и шею.
Узкая полоса света из щели
рубила лицо,
грохотало над ним деревянное небо.
И светилась в пыльном луче
золотая монета,
прилипшая к грязному поту
между бровей.

РОГА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Это осень, жизнь растений
бедна и печальна...

Все было так же. Хор-ахте спал.
Сидели скуны, и каждый ждал,
когда проснется великий Ра,
поднимет чашу и меч
с ковра.
Не дождались —
преступник встал.
— Ишкузы, слушайте
речь вора.

I

— Я вас привел сюда. Вспомните:
верблюды ревели. Тугими горбами трясли.
Песчаные вихри в пустынях,
как рощи, росли.
В тени ураганов
на пыльных от ветра конях
все восемь уранов
сквозь вопли кумеров прошли.
Покрытые пылью ударов
бессильных мидян,
искали страну легендарную
и не нашли...
Возьмите таблицы
и каждое слово проверьте,
любое созвучье — сретение жизни и смерти,
молчит верблюжонок,
ревет обезумевший волк
и каркает птица
над круглым пустеющим полем.
Ишкузы,
откуда приходит в Ассирию осень?
Ответьте,
откуда летят наши белые гуси?
Они возвратятся весною, озера их спросят,
о чем их весною пытают озера,
ишкузы?
Озера степные, поросшие мелкой осокой,
глубокие ночью
и плоские в полдень озера.
О ком они спросят,
соленые от позора?
Ответьте, кос-оги.
Они возвращаются, гуси,
они пролетают
над мрачными спинами
сгорбленных гор Улутау.

Перо
на скалу опустилось,
растаяли
гуси,
о чем их спросили ущелья?
Ответьте, кыр-гузы!
Там наша
родина —
красная глина в буранах,
жесткие травы
с шелестом гнутся от ветра,
она не корова —
худая волчица
в бурьянах,

но есть ли прекраснее мать,
чем своя,
ответьте?

Я тысячи копий с седла метнул,
я тысячи стрел в тела окунул,
одну, визжащую,
как ответ,
стрелу мою
с силой в меня вернул
нежданный ветер.
Всего одну...
Там предков могилы,
там Сар-Кене
в скалы впечатался на
коне,
вернемся, как гуси,
пока нетрудно.
Вернемся, ишкузы,
как пальцы на струны.
Прорвемся,
и нет на земле преград,
которые сдержат
движенье назад.
Это не просьба, но повеленье,
силу имеющее. Последнее.

II

— Скуны!
Стариком не буду,
раз младенцем не был,
молодым и сильным
я уйду на небо,
я вам предлагаю
так казнить меня —
дайте мне лавину скифов
и коня!
Я пройду сквозь толпы
персов,
как сквозь лес,
затрещат их кости,
как сухие сучья.
Слушайте!
И если прекратится треск,
значит, уничтожено
племя сучье.
Не нравится слово?
Другое услышь —
я введу свое племя,
как пламя в камыш,
города их запляшут
другими огнями,

их дороги, как бабы,
взревут под конями.
Ослепленные челками кони
храпят подо мной.
Ночь сегодня?
Согласен с вами.
Значит, утром —
веду вас в бой.
Стук мутовки —
пахтают кумыс,
молодцы доят кобылиц,
Ишпака опять на коне,
перс визжит на моем копье.
Будьте же готовы к славе, люди,
тех, кто скачет с нами,
она любит,
обнимайтесь,
колотитесь лбами,
я вас не прощаю,
но я с вами.

III

Он смотрел не на них,
он смотрел в равнодушное солнце двери,
в громадный квадратный белок,
в котором, словно зрачок кошачий,
чернела стройная
женщина.
Он говорил, глядя в это Око:
— Я принял правду ваших слов,
вы приняли мою.
Не прекратить удары языка
в сухое нёбо.
Вы защищаетесь, я — нападаю.
По закону Язу, хан Уходящий
оставит наследного.
Все скифы — мои сыновья,
и я выбираю любого
из избранных.
Того, кто быка победит на ристалище
самого злого,
тому я невесту обязан найти.
Вот моя мысль.
А вот мое слово:
войди!
На алой кошме невесты
ее посадите,
и пусть достойный
ее выбирает.
Слабый пусть умирает,
а сильный пусть
остается

и ей достается.
Пусть из рабынь она первая будет
царицей.
Будет!
Она благородна душой и сложением
полным.
Я призываю вас, судьи, свершить
преступленье,
которое — подлость
в сравненье с моим униженьем,
но, когда доброта обесценена,
грех — это подвиг.
Уйди!

IV

Он замолк. Опустело Око.
Оглянулся.
Взгляд его увяз в морщинах
лица Хор-ахте,
он рванулся взглядом.
И все посмотрели туда же.
На высоком торе,
облитом черным ковром,
неподвижен, как пень,
старейший Хор-ахте
второй день
сидел, погружен
в омут раздумий.
Глаза его не открылись ни разу.
Но губы его шевелились. Он пел.
И чаша в руке
проливала дрожащую
воду воспоминаний.
...Он забыл ее, очень давно это было.
У Нила.
Пили кони медлительную воду
разлива.
Олива...
И на зеркале вод возникали
воронки дыханья.
Он был Ханом.
Уносилось в рога океана багровое солнце.
Весомо.
И она, чья спина трепетала
под взглядом его,
уносила под ребрами
сладкое чадо его.

V

Пел старик о зеленой тростинке,
пел, седой, развивая жилы,
его голос высокий качался,
как цветок
на старой могиле.
Он забыл то лицо и талию,
как ее обнимал
и так далее,
только голос
уныло помнил
до деталей
веселую полночь.
Как собаки тогда брехали!..
Ишаки, гогоча, брыкались,
и сухая трава под телами
извивалась
и вырывалась...
Не забылось...
Завылось...
Дрогнуло...
Сердце вора шершавым тронуло,
Ишпака, потерявшись от жалости,
раздирал свои губы сжатые.
Думал, всхлипывая: «Хор-ахте,
что ты делаешь, вран порхатый?
Лучше б каркал, вгрызаясь в падаль,
лучше б с торя на жертву
падал,
погружал свои когти
в печень,
не до песен мне...

VI

...волк, воющий над вялой розой.
Смеются жертвы — поздно!
Может, рано?
Пой, не стесняйся,
вой, мой глупый волк,
пусть улыбнутся умные бараны.
Достоинство —
в бою забыть себя
и поразиться вражескому горю.
Чем я могу помочь тебе,
судья,
я, так недавно видевший
нагою
свою судьбу?
Судью не успокою.
Кричи!

Героев множество воспето,
умеющих сражаться
и сражать,
но есть ли женщины,
достойные разжать
клинками красоты
уста седых поэтов?
Кричи!»
...Он плыл в воспоминаниях,
он был
с той дивной, робкой
дочерью Коровьей.
Он засудил.
И глаза не открыл.
Но твердокостный Уч-ок, наводящий ужас
на врагов,
на всякий случай
помочился кровью.

VII

По закону Язу,
если судья запел,
никто не мешать не обязан.
Закон Сар-Кене
любое предусмотрел,
ибо всякий закон
правителю
богом подсказан.
И скуны кивнули:
1) вернуться на землю свою.
И скуны кивнули:
2) казнить Ишпака в бою.
И скуны кивнули:
3) пусть нового хана назначит.
Плечами пожали:
4) ну и рабыню, значит...
Разобрали свои тамги и вышли.
Расставляя ноги, подался в степь Уч-ок,
забыв второпях
одну стрелу из трех. Ее подобрал Кос-ок.
Хор-ахте пел, уже раскачиваясь. Никто
не понимал.
Он пел на древнеегипетском.

I

Ишпака велел свалить лучших жеребцов,
верблюдов и баранов
из своих стад.
Выдоить целое озеро кумыса
из своих кобылиц.
Наполнить кирпичные чаны ассирийским
вином и сикерой
из кувшинов своих.
В этот день
голодного поймаешь —
накорми,
а голого увидишь — разодень.
Отряды ловят на дорогах нищих.
Купцов, послов, лазутчиков и прочих
арканами хватают и ведут
к ристалищу и у костров сажают
на шелковых коврах и угощают.
И пусть не скажут, что последний пир
Ишпака
скудным был, игрище — скучным.
На холмах, окружающих долину,
в тени дерев раскидистых сидели
ишкузы и с подносов мясо ели,
куски макая в чашу с жидкой солью,
окрашенной зеленым чесноком
и красным перцем.
И ели так, чтобы баран вставал
на все четыре лапы в тесном чреве.
Тогда его топили в кумысе...
Бросали жребий все вожди уруков.
Кость пала белой стороной двоим.
Те двое молча обнялись и снова
швырнули кости.
Вскрикнул Ики-пшак,
и сел Косог на место побежденным.
Скун Таг-арты, вождь рода ики-пшак,
который без щита в толпу врывался,
не дав врагам пересчитать друг друга,
поднялся во весь рост
и кликнул сына.
Взревели ики-пшаки на холмах
и вмиг сады угрюмые срубили,
чтоб видеть не мешали им арену.
Бежал он, раздеваясь на ходу,
остался в кожаной короткой юбке.
И добежал,
и радостно дышал,
лицо его волнением сияло,
жемчужина, что не имеет ценности,

пока она на дне
в зеленом панцире.
Но если вдруг найдут ее,
и выйдет,
и явится глазам —
ей нет цены!
— О скун-торе,— промолвил Таг-арты,—

благослови на подвиг безымянного,
не проливал он молока старух
и по лицу не бил седобородых.
Он хочет имя мужа получить
и стать отцом великого народа.
Позволь ему...
Хан Ишпака кивнул
и поднял красный плат,
чтоб выводили
быка.

II

Держали с двух сторон
на бронзовой цепи
три скифа справа
и четыре слева.
Дойдя до середины, они разом
с рогов сорвали цепи,
разбежались.
Бык не догнал,
стал у скалы
послушать,
о чем кричит
мальчишка безымянный
на сером камне,
голос возвышая,
размахивая родовым оружьем.
— Я сделаю тебя коровой,
бык,
перечеркну рога твои мечом,
священный враг.
О, ты еще силен!
Когда ты ударяешь рогом в камень,
из камня серого, как из мешка,
на землю сыплется мука,
о бык.
Мальчишка прыгнул со скалы
на спину
быка,
ударил по бедру —
и прянул
в песок ристалища,
вскочил и прямо,

клянусь,
как лев рогатый,
прыгнул бык.
— У! — взвыли ики-пшаки.
Увернулся.
— И! — раздалось с холмов.
Он улыбнулся.
И поднял нож
и обманул быка.
Он не вонзил в загривок,
издевался,
плашмя прижав к рогам,
он упирался,
спиной вперед перед быком он ехал,
урук, его подбадривая, ухал.
Рога с мечом соединились:
— Уй!
Бык двигался, набычившись,
как пахарь,
мальчишка пятками песок пахал,
он оставлял
две борозды глубокие
и потом крупным сеял. Он устал.
Но не сдавался,
не ломал спины,
весь устремлен вперед, хоть двигался назад,
а бык не отвлекался —
пер к скале.
Разноязыкая толпа шпионов,
послов, купцов и нищих
надрывалась
при виде перечеркнутых рогов.
Вопили галлы:
— Ви!
Им вторили арамы:
— Аль-ви!
— Хо-ви! — собачились эллины.
Надсаживался кто-то:
— Ви-та! Ви-та![1]
...Вино потягивая, ждал Косог,
когда припрет соперника спиной к скале
священный враг.
...И сломаются руки,
не выдержав тяжести мощи быка,
меч вдавится плоскостью в грудь,
сокрушая ребра,
и за ним
в кровавое месиво
влезут рога.
— У! — оседала толпа.
Таг-арта посерел, как скала.
Оборвал до плеч рукава.
Замер в безмолвном крике.

[1] Соединение рогов (у, в) с чертой (и) давало священный знак «убитые рога» («не бык»), в эпоху матриархата — основной символ бога-женщины. Название бога-женщины (жизни, любви, рождения), распространяясь по миру, обрастало артиклями: семит.— аль; греч.— хо; индоевр. — то, та (аль-ви, хо-ви, ви-та, фи-та). (Примеч. Ишпакая.)

Бык возвращался, стряхивая с рогов
розовые кишки
безымянного мальчика.
И две борозды обнюхивал,
вздымая песок дыханьем.

III

Скун Арт-ага,
чей род вдохновенный косог
просивших пощады не сек,
бежавших домой не рубил,
поставил пустую чашу у ног,
встал и приблизился к хану,
ладони крестом на груди
сложив.
— О Скун-торе Уходящий.
Благослови сына моей женщины
безымянного Кози Кормеша на великую
смерть.

Да пусть из спины его выйдут
два острых ножа бычьих.
Да будет он жертвой тебе,
о Бык Уходящий.
Кивнул Ишпака не глядя.
...Косог Безымянный остался в кожаной
юбке и в куртке с короткими рукавами.
Широкие плечи его ушей не касались.
Он был не жемчужиной нежной,
он панцирем был зеленым.
Жемчужина украшала
багровыми пятнами
камень.

Косог со скалы обращался,
и крик его был негромким:
— Я сделаю тебя коровой,
бык.
В рога твои я вдену красный
щит.
Я вышибу багровый диск
копьем,
нож погружу между рогов
опасных.
Белел песок арены, бык чернел,
к скале не шел —
боялся вида крови.
Сходило
солнце между двух холмов,
как бы в рога багровый диск
садился.
Под крики обнадеженных кос-огов
широкоплечий юноша спускался,
тупым копьем в щит красный колотя.

Бык не бросался.
Он сопел и ждал,
когда закончатся его мученья.
Придут, наденут цепи, уведут.
Заходит солнце, время водопоя...
Косог швырнул
ногой в глаза
песок,
взмахнул щитом и вдел его в рога.
Ослепший бык тряс головой,
метался.
Холмы ревели, заходясь:
— Корова!
Следил Кози Кормеш
и поудобней
копье в ладонь укладывал.
Бык бился.
Щит его мучил, как осколок кости,
в зубах застрявший, он ревел протяжно,
глазами бил о лапы,
плакал бык.
(И слезы прятал Ишпака,
ослаб он.)
Копье, ни разу воздуха не клюнув,
как лебедь над водой,
шло над ареной,
ударило,
и выпал круглый щит.
Косог в прыжке,
не дав быку понять,
проник клинком крестообразным
в шею,
между рогов
всей тяжестью повис
на рукояти,
в мясо погружая,
холодной бронзой сердце
остужая...
Колени подломились у быка,
кровь хлынула из носа,
и рога
в песок вонзились.
— Ту! — холмы взлетели.
И солнце скрылось,
и на темном небе
возникла ярко новая звезда.

IV

Косог, шатаясь, встал,
пошел к щиту,
поднял,

к быку лежащему вернулся,
присел и вырвал
длинный нож
с фонтаном.
Глаза быку обмыл горстями крови.
В четыре взмаха голову отсек.
И на щите нес голову и гнулся,
так тяжела была та голова.
Косоги пели, стоя на холмах,
молчали ики-пшаки, восседая
на срубленных оливах,
Таг-арта
шел от скалы,
за ним тащилась женщина,
хватая руки мертвые,
свисавшие
с плеча неутомимого вождя.

V

Косоги разжигали на арене
костер.
За хвост
быка к огню тащили,
острили ствол оливы
и совали под хвост быку,
распарывали брюхо...
Он поднимался к Красному навесу.
Щит с головой сложил к ногам невесты,
стал на колено, тяжело дышал,
гул бычьей крови
восставал в ушах.
...В крови четвертый палец
окунула
и красное поставила пятно
между бровей своих...
А он сказал:
— Отныне ты, Шамхат, моя корова,
несущая цвет солнца меж рогов,
начертанных богами на лице
твоем
опущенном.
Он задыхался.
Устал он, поднимаясь по холму.
— Отныне, бык, ты мой,—
она сказала.—
Я жду тебя в шатре,
мой муж рогатый.
Иди за титулом,—
она сказала,—
ты беден именем,
а я богата.

...Теперь не голос,
тело все дрожало,
когда он нес тяжелый щит с рогами
к навесу голубому. Он боялся —
Преступник шел к Преступнику
за славой.
Он подошел и положил поднос
к ногам
своим.
Приблизился, склонился,
поцеловал плечо и руку.
Сказал:
— Ушедший Хан. Я победил.
Твой бык был поражен
моим стараньем.
Признай. Надень достоинства быка
на голову мою
и дай мне имя.

Хан долго поглядел в его глаза,
укрытые броней ресниц,
сказал он:
— Ты был не прав. Но ты его свалил.—
Он снял с себя тяжелый шлем с рогами,
косог пал на колени.
— Заслужил.
Когда-то брал его у Хор-ахте...
Он так же не хотел, но я хотел...
Возьми рога и титул
Пер-им-Торе.
А имя твое будет
Арты-ту.—
С колен своих меча он поднял тяжесть.
— Ты поведешь мою орду к восходу,
когда я в битве первой упаду.—
Он палец обмакнул в крови быка
и красный крест между
своих бровей
провел.
И приказал вождям уруков:
— На символе вселенной поднимите,
пусть Тенгри-хан
усыновит его.
Вожди подняли белую кошму,
косог на ней лежал,
дышал от счастья.

VI

«Пусть то, что ты делаешь ныне,
смешно и постыдно,
но если великая страсть —

украшение чувства —
тебя захватила и бродит,
как вихрь в пустыне,
и если сегодня ты счастлив,
то завтра — искусство.
Всю силу, все солнца —
в сегодня,
ведь завтра не будут
все праздники жизни отпущенной
сразу — без буден,
судьба одноцветная —
это кошма без узора,
ты высшую храбрость познал —
не бояться позора».

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

I

По жребию ее одели в одежду женщин
рода ики-пшак.
Толпа вождей по холму поднималась
к белой юрте,
там ждет Корова Нового Быка.
И сказал юный косог,
горя предвкушением одиночества
брачного,
послушаем, что он сказал у порога,
счастливый:
— Предложь, Ушедший Хан,
ей наказанье,
слова твои да будут
прорицаньем,
она готова свет любой принять,
не оскорбляя блеском отрицанья.

II

...Великолепны были эти бусы
из темного с прожилками агата,
непосвященному могло казаться —
то круглые глаза слепых красавцев,
любимых смертью
юношей Арраты,
нанизанные на витую нить,
зловеще ее горло украшали,
но ядра бадахшанской бирюзы
в праще серег серебряных
прощали
того, кого не стоило

винить.
Движенья — украшение души,
едва заметные,
подчинены дыханью,
невидимы,
как ветра колыханья,
что охлаждает щеки, возбуждая
воображенье будущего хана.
Спокойный взгляд
из-под густых ресниц
способен был дробить
скалу гранита.
Алку грудную густо усыпали
граненые крупицы лазурита,
лучи ломались —
грудь ее дышала.
«В пустыне жаркой
молятся не Солнцу,
подобию его —
луне угрюмой,
в пустыне снежной
молят не луну,
подобие ее
нас наслаждает.
Все будет снова,—
думал Ишпака.—
Кем родилась?
Наложницей?
Жена ли?»
Запястья стройные
(нежна ль рука?)
браслеты из сердолика
сжимали.
Был бронзовыми убран зеркалами
широкий пояс,
облегавший грудь,
и два ножа,
сходящихся углами,
не позволяли глубоко вздохнуть.
На рукояти выдавлено слово —
«Невинность»,
на другом ноже —
«Вина».
Таила блеск в футлярах тростниковых
средь мирных драгоценностей
война.
О, ярче золота и минерала,
когда придет пора,
сверкнут клинки!..
Всех украшений
стоит блеск кинжала,
когда он — продолжение руки
такой, как эта...

«Не повторить тебя,
ты совершенна.
О, если бы хоть один изъян увидел,
я жизнь бы сохранил
для завершенья
гармонии твоей.
Я не в обиде.
Все будет снова.
Может, чуть иначе
ресницы колесниц на лицах...
ночи...
увидишь степи наши,
где бездонны
озера...»
— Будь, Шамхат,
себе подобна.

III

— Возьми ее, как равный,
исполняй
ее желанья.
Даже тени стройной
не позволяй чужой ноге коснуться.
Желаний мужа
будь и ты достойна.
Косог послушно голову склонил.
Обряд ему надоедал.
Желал он.
Шелк одеяла взгляд его манил.
Сейчас уйдут.
Опустят полог.
Ждал он.
— Укрась четвертый палец его знаком —
кольцом серебряным.
И ты надень.
Соедините руки,
чтоб столкнулись
два круга.
И не разнимайте их.
Пусть над пожатьем вашим
станет слово,
название Восьмерки Небной —
сег'с[1].
Любовь — два круга белых —
айн-аль-айн,
любовь прощает
восемь преступлений.
Шамхат не поклонилась,
но сказала,
не будет тайной,
что она сказала:

[1] Знак 8 был символом любви, поэтому в огуз. языках название восьмерки — «сегс» — означает и «половой акт». (Примеч. Ишпакая.)

— По праву первой ночи должен ты
вкусить вина девичьей красоты.
Обязан первым пробовать
отраву.
О Уходящий Хан,
используй право,—
она сказала.
Бороды кивнули.
Вожди родов, услышав голос правды,
свои тела в пространство окунули,
когда закон вершится,
судьи рады.

IV

Огни светильников вовсю горели,
с камнями расставаться не хотели.
Упал со звоном пояс на ковер,
и в зеркалах мелькнули блики тела.
Весь мертвый блеск
с себя она срывала,
теперь лишь скромность
стыд ее скрывала.
Пригнувшись, вышел
молодой косог,
и войлок полога укрыл порог.

V

Ретроспекция

...Жар пестрого базара,
рабыня на помосте.
Дулат слова бросает,
как циферные кости:
— Ее тамга — два круга,
два глаза, как два солнца,
две ягодицы,
груди,
как два горба верблюда.
Эй, не глядите мимо,
не обманитесь, люди.
Два круга, как два блюда
с ломтями
блуда.
Дни в ночи превращает,
в неверье обращает,
и кто не знал, познает,
что значит расстоянье
меж двух кругов единых!
Познайте тайн дивных!
...Познайте дивных тайн,
рабыни Айн-аль-айн[1].

[1] Айн-аль-айн — др. семит. название знака любви.— Два круга. (Примеч. Ишпакая.)

VI

И случилось то, о чем ишкузы тихо
поют, наполняя глаза горьким
светом.
О, этих женщин вправду не поймешь,
их искренность
лишь обрамляет ложь.
— Бери, если уверен,
что возьмешь.
Власть упустил?
Меня ты упустил.
Ты так любил.
Теперь ты не дрожишь.
Уходишь от меня,
исполнен сил.
Жизнь отдаешь?
Ты мной не дорожишь.
...Рабы не имели страсти.
И не достигли власти.
В несчастных я пробуждала
если не страсть,
то страсти.
И не свободу —
волю
в души их насаждала,
этим прекрасным телом
веру их наслаждала.
Я не умею править,
но наделяю правом
первой счастливой ночи
тех, кто продолжить хочет
дни
в неразумном счастье,
тех, кто достоин участия.
Ты же, увы, не сможешь
не утомиться властью...

VII

Он разрывал ей руки,
как ткани.
Она, как раба, отбивалась руками,
кусалась, мычала,
впивалась зубами досады,
визжала,
как нежный джейран
в тигриной засаде.
Сдавил ее горло
и в рот ей вогнал крик,
он белел из открытого рта,
словно мраморный клык,
и скользил по броне боевой,
защищающей сердце.
И когда он расчистил путь к цели,
когда он руками пчелы
раздвигал лепестки ее ног,
чтобы жалом звенящим
ударить в нектар вожделенный,
случилось то, о чем ишкузы тихо поют,
наполняя глаза
горьким светом вопроса.

VIII

Читатель мой, мужайся,
мы из шатра не выйдем,
что было — не увидим,
что не было — увидим.
Кто видывал такое:
цветок пчелу ужалил
и навсегда покоя
лишил пчелу?
Ужели?
Светильники пылали,
косог за стенкой плакал,
и возле сердца плавал
ай крови:
«Айналайн!»
Верблюдов нагружали,
гнедых коней седлали.
Костры в степи тушили
смущенные мужчины.
Плясали в реве копий
под музыку мечей
стремительные кони
на празднике войны,
стелились в ноги ткани
дымящихся ночей,
плечом к плечу с друзьями,
мечом к мечу с врагами
взовьется пыль погони!..
...Летели сквозь Персию злые,
веселые кони.

КАЗНЬ

I

Шел дождь.
По шлемам войлочным.
По латам кожаным.
Домов тележных
раскисали кошмы.
Густы у небосклона персов стаи.
Сошлись кибитки в круг —
и кошем стали.
А стрелы вяло падали
из луков,
стрельба не получалась у косогов,
не гнулись луки — тетива тянулась,
судьба ишкузам
криво улыбнулась.

Уверенные луки
не стреляли!
Оракулы ишкузов
растерялись.
Трезубцами по лужам провели,
а что они прочли,
никто не спрашивал.
Но вот выносят знамя рукопашной.

II

«Мы садились на пегих коней,
к животам прижимали руки,
и молилась орда,
перед ней
проносили хоругви, хоругви.
В центре белый каганский флаг,
волчеглавый и солнцегрозный,
а на левый и правый фланг
уплывали знамена
красные.
Этот видел их,
видел тот
наше крепкое красное знамя,
красное-красное,
как восход,
потревоженный табунами.
До закатных стран донесли
цвет восхода.
Они узнали,
что закаты румийской земли
были цвета восточного знамени.
Жен румийских собой напоив,
возвратимся мы стариками,

станут драками наши бои,
реки горные —
арыками.
Мы вернемся в свои ковыли.
Поредеют густые сотни,
и в пределы родной земли
пусть ворвутся
пустые седла».
Ур![1] — привстали на стременах.
Ур! — поправили малахаи.
Ур! — и двинулись племена
жнецов немилосердных на пахарей.

[1] Ур! — клич, дословно «Бей!» (Примеч. Ишпакая.)

III

Две ощетинившиеся толпы,
грязь подминая,
медленно —
навстречу.
Оракулы, поглаживая лбы,
глаза закрыв,
предсказывали
сечу.
Они шептали:
— Копья затрещат,
ножи вонзятся в горла храбрых персов.
Дождь скроет подвиги
сынов ишкуза.

Пророчество сбылось —
войска сошлись.
Сливались две толпы,
как два ежа,
ломались копья,
застревая в ребрах,
и крики разрывали
горла храбрых
быстрей ножа.
Все в этой битве
было, как сказал
оракул.
Кони на дыбах
хрипели.
Хан Ишпака —
халат на голом теле,
камча в руках
и бешенство в глазах.
«Закрыв лицо рукой,
сейчас я струшу,
мне жаль людей,
которых я не встречу.
Поэт, опомнись!
Чтоб не рвались струны,

прижми рукой,
продолжи пенье
речью!

Я предок чей-то,
мне нельзя без славы.
Хотелось мне попасть
в твои скрижали,
я сильным быть хочу —
не помнят слабых!..»
...Он рвался в гущу,
но его отжали.
Дулат —
(он тоже смертник...
жар... помост...)
ударом
чью-то голову украсил
и обернулся радостно:
«Помог!»
И —
не вернулся в степи:
жизнь утратил.
Раньше тела,
не успев заплакать,
жизнь упала,
задирая платье,
в грязь...
«Раба последняя,— подумал.—
Может, ветер на нее подул?»
Братья на шершавых камнях шей
с визгом
правят лезвия мечей.
Жить!
(свергался) Жить!
Скакун высок!
Пал Дулат,
ударенный
в висок
острой палицей...
«Теперь меня!»
Навстречу сивый перс
метнул коня.
Х (рапит) [1].
Плывет из рук его копье.
Бунчук тягуч. Лоснится острие.
«Сегодня всем везет —
живым и битым,
может, вы не рубитесь,
а спите?
Вырубайте из меня героя,
долотом секи меня до крови,
убирать пером с пути
негоже.

[1] Странно, каким образом в повесть VII в. до н. э. попал современный кинотермин «рапид», т. е. замедленная съемка. Искусствоведы должны обратить внимание на этот факт, который невозможно объяснить просто отрицанием. (*Примеч. Ишпакая.*)

На калам его копье
похоже.
В стихах хотя бы бытие продолжить.
Страстей своих увидеть продолженье!..
Не суждено».
Упрямое копье
плывет, придать
ненужное движенье.
«Зажмурься, хан.
Закрой лицо рукой.
Прими копье под ребра.
Оно сбросит.
Ты скрючишься,
зажав кишки,
и струсишь,
и будешь прав.
Прав, как никто другой».
...Меж коньих ног,
в грязи кровавой сидя,
он даром время не терял,
кричал.
Кто хочет — у оракула спросите,
чего желал вождь свергнутый:
«Спасите»?
Живот пробитый
на руках качал.
Валился набок,
сдвинутый конем.
Мы не забудем, Ишпака,
клянемся!
Оставим его ненависть
при нем,
пырнем,
добьем копьем
и отвернемся.
Он сделал все что мог.
Помог не маг.
Мы смяли персов,
те бежали с воем.
Оракулы торчали на холмах,
предсказывали результаты боя.
Они кричали:
«Персы побегут!»
Когда уже мидяне не бежали —
они горой на Ишпаке лежали.
Их за ноги попозже сволокут.
И кровью хан потел
под грудой тел
и, жизнью исходя,
сказать хотел.
О чем?
Убит в нем перс,
теперь он в силе.

Белок из глаза бил
фонтаном синим.
Свершилось то, чего он ждал, Шамхат.
Пусть ночь падет,
пока еще закат.
Живучий, гад.
А ну, еще разок.
Попали, в общем, правильно.
Он сдох.
Оракул скажет: «Горе не беда.
Теперь нам не бояться наказанья.
Мы предсказанье
делали тогда,
когда уже сбывалось предсказанье.
Ложь не прощали нам,
на нож — за ложь,
нам нечего рассчитывать на милость,
пусть будет то,
что все равно свершилось.
Так уж пришлось, видать,
так уж пришлось...»

Итак, Ишпака удалился в обитель воздаяния
покорять несветлую землю.
Может быть, его настоящая родина там.
Там его озера с осокой и горы высокие.
Ушел, потеряв шапку, бога и жизнь,
но сохраняя нечто, что приобрел.
То, чего не имел ни один скиф.
Что же он приобрел? — спросят любопытные.
На это нет ответа.

И когда опустеет небо,
проснутся они...

I

От крови пьян поэт!
А после боя
слова развязны
разбрелись из строя.
И строки славы, как пустые роги
(пир утихает),
валятся под ноги.
Провидец, выходи на поле битвы,
решился спор величья и обиды,
пустынно поле жизни,
нет убитых,
лишь
шлемы, словно панцири
улиток,
да кое-где раздвинется трава,
и мертвая — из грязи — голова,
глаза растоптаны,
и шеи нет.
Оракул, стой.
Иди, ищи, поэт.
Ступай туда, откуда конский стон,
шагай, на посох слуха опираясь,
увидишь за холмами
мертвых стан —
врата земли для лучших отпирают
живые братья их.

II

Огромен ров.
Дно выстлано двурогими коврами,
воздвигнут в центре пропасти шатер
тремя равновеликими углами.
Ишпака вносят,
вдетого в броню,
укладывают на широком торе.
Кувшины справа — золотом набиты,
в бою добытом.
Кувшины слева —
темное вино
и жидкий жир.
И вяленое мясо
уложено в тугих мешках копченых,
хлебы льняными тканями покрыты.
Эй, кравчий, наливай вина
поэту!

Я стоя выпью
за кончину эту.
...Вокруг шатра (так тесно в этой яме)
сложили воинов,
ушедших с ним,—
кыр-гузов, ики-пшаков и косогов.
Скульптуры неживые
в рваных латах,
мечи сияли,
колчаны лоснились.
Они готовы к тем сраженьям славным,
которые им на земле приснились.
В их лицах искаженных
ты прочти
немые отраженья
слов последних,
меж тем и этим миром
ты посредник,
тебе открыты тайны все
почти.
О чем подумал рыжий ики-пшак,
мечом лидийским
в горло пораженный?
Оскалился.
Чему был воин рад,
вступая из садов
в пустыню Гоби?
«Проносятся мимо
ревущие острия копий!»
А этот серый,
скорченный от боли,
кишки в руке,
в другой зажат клинок,
что выражал он
в миг последний
воем?
Себя, наверно, спрашивал о том:
«Можно ли драться с распоротым животом?»
«Можно!» — слышал он рев
обезумевшей воли.

III

Скуны держались отдельно —
поближе к шатру.
Уч-ок, Наводящий Ужас,
лежал безголовым.
Напрасно искали главу —
в траве затерялась,
в легендах осталась.
Воспет величавый подвиг:
ему оторвали голову утром

в начале битвы,
а он продолжал рубиться,
и только в полдень,
когда закричал в желудке баран
пронзенный
и клич не раздался
в сердце произнесенный,
когда три стрелы Яздана
добили печень,
когда отломили руку
и стало нечем
врагам наносить
безжалостные удары,
он с мерина пал,
он понял:
подкралась старость.
Эй, кравчий, собака,
подай мне другого вина,
за воина славного встану
и выпью до дна!

IV

Хан был одинок без нее,
и она одинока.
Ну что же,
она пожелала,
ее не держали.
Она
по ступеням
спустилась
на дно
могилы.
Пошла по телам.
Живые ее уважали.
Они наблюдали с увалов
и, кажется, знали:
Шамхат
покрывала
пространство
между кругами.
Все ближе шатер.
У входа, спиной к косяку,
сидит, обескровленный,
череп проломлен,
Дулат,
тяжелая палица, взятая с болью,
в руке,
он будет и там рядом с вами
(входите, бике!),
сидит, ухмыляется вытекшим глазом
Дулат,

у ней настроенье испортилось,
можно понять.
Прекрасно тому,
кто, не мучая мыслями разум,
из круга в другой переходит
не медленно, разом.
(Не медли, о кравчий!)
Она у дверей.
Опустила
на белый порог
войлок полога.
(Опустела
проклятая чаша.
Эй, кравчий, не можешь почаще!..)
Светильники, полные маслом,
она засветила
и веером мух прогнала
с лица властелина.
Нелегкий тундук приоткрыв,
помещенье проветрила,
хлебы и кувшины с водою и маслом
проверила.
И стала готовиться к ложу,
читатель, мужайся!

V

Эй, Шамхат,
это имя ело ему глаза,
набивалось в ноздри,
сыпалось красным песком в пищу,
крошило зубы,
это имя, похожее на фырканье кошки,
собачий чих,
его противно брать на язык
и давить зубами,
если бы мог Ишпака,
хотя бы ради забавы,
он, как собака бы, выгрыз его из памяти
вместе с кусками
окаменевшего мозга!..
Но поздно.

VI

...Сняла диадему
добротной шумерской работы
и бусы снимает,
алку не спеша отстегнула.
За стенами — крики.
Браслет золотой отогнула
тяжелый,
старинный —
с изнанки он черен от пота.
...Спускают в могилу коней
и руки на них поднимают,
их колют под ухо,
и лошади не понимают.
Их режут и режут,
кричат, вырываются кони.
О кравчий,
я их уважаю за эти законы!

VII

Все!
Все повторится!
Не быть лишь сюжету такому!
Лиловых шелков!
Горячего синего цвета
ее одеяний.
Не будет такого контраста
между смирением стана
и бешенством контура бедер,—
изящный кувшин,
наполненный холодом страсти.
Вы будете пить
из темных рассохшихся ведер,
из бочек дубовых,
несоразмерных жажде,
толпу утоляющих мутной
ржавою жижей
из луж повседневных.
Кувшины бывают — однажды.
...Она обнажилась,
стыдливо легла под светильник,
свет жадно хватался,
ласкал,
но она не пустила
ни блика
в межбедрие.
Лежа в холодной постели,
тень левой груди
мгновенно
клинком осветила
и — на бок!

VIII

...Из щели тундука
на тело дуло,
она к животу
колени тянула.
Ударили горсти земли по шатру.
И пламя светильников
плачем пригнуло.
Ладонью ползя по раскосому
лику,
безликому, явному,
как улика,
она шевелила губами:
— Косуля...
Косуля... любимая...—
не обманула.
Шатало,
лупили землей
по шатру,
по страже,
по трупам кричащим,
все чаще,
все глубже уходят под землю
герои.
Читатель, вылазь из провала —
зароют.
Поэту подобное
не по нутру.
Пока извивается болью спина,
пока не погасли светильники —
на,
читатель,
гляди,
не забудь, как она
затихала вдоль мужа
с улыбкой робкой.
На рукояти,
торчащей из ребер,
запомни, о кравчий,
светилось —
«Вина».

I

Оракулы

До тризны пьяны мы —
все знают — быть беде.
На поле мирном зрим курганы мы,
не спрашивайте:
«Где!»—
увидите. Насыпан вами он
и утрамбован лбами он,
крутой курган,
воздвигнутый над рвом,
трезубцем нарисован был в воде
предвиденья.
До тризны пьяны мы.

II

Поэт

Курган насыпали и на кургане
установили одинокий камень:
лицо и торс
сошлись двумя кругами,
рука с крестом меча,
другая с чашей.
(А может быть, с рогами?
Но разве роги чарой не бывают?)
В посудине ее —
и яд, и мед,
стоит она, не возглашая тоста,
ничтожный глинописец не поймет
ударов молота каменотеса.
Глаза не лотосы —
слепые трещины.
(Воистину, бьешь камень,
выбьешь женщину.)
Потомкам пусть о временах
опасных
расскажет изваяние грудастое.

III

Вино приносят в жертву
на кострах,
пируют скифы на кургане свежем,
проваливаясь по колена в прах,
танцуют скифы,
подавляя страх,
танцуют скифы

и былины длинные
поют (из века в век
одни и те же).
О, лишь Котэн, невежда,—
не паяц,
он не играет.
Пьет.
Пусть лучше учится
любить.
Как избежал он этой участи?
Нам, Изваяньям Страсти,
не понять.
Мы камнем канем в вечность,
он не канет,
как пена,
он покроет
время вплавь,
на дне столетий
сатанеют камни
не понятыми символами
правд.

IV

...Ухой бараньей запивая горе,
орут о радостях любви изгои.
Чадят костры,
и морщатся верблюды,
и, глядя искоса на их мохнаты груди,
уздечками позвякивают кони.
Зачем мы сталкиваем наши чаши?
Чтоб звон услышать,
черепки оплакать.
Все кончено.
Глядит из тьмы собака,
похожая глазами на Ишпака,
и зуб горит —
то в опьяненьи винном
огонь костра с клыками говорит
на языке луны
о чем-то львином.
Под глиной львы-ишкузы
в рваных латах,
хватайте глину, скульпторы Эллады,
ногами мните,
думайте, валяйте,
героев безголовых изваяйте.
Ваятель — бог,
ведь говорят, что он
из глины темной

сделал человека.
А что такое слово?
Коний стон,
рык тигра,
шип ужа,
молчанье рыб
и свет звезды полуночной Омеги.
Амбары языков забиты
именами
умершими.
Нужна иная речь.
Созвучья не песком воспоминаний —
дум будущих живыми именами
готовы в глину письменную лечь.
Так говорят.
Ваятели словес!
Берите глину для табличек вечных
с могил воителей,
с могил невест...

Мы, летописцы, видели немало,
перо не по таким следам ступало.
В нас мудрость въелась,
как веревка в ногу
козы, чтоб далеко не убегала.

Ты не сумел быть ханом
до конца,
а жаль,
пройти б от края
и до края,
в живых лишь
летописцев оставляя,
вселив им
злую ненависть в сердца.
О, мы не забываем никогда
свои тысячелетние обиды,
великие сжигали города,
не ведая, что летописец видит.
Вселенную наискосок прошли,
оставив рваный след меча
на карте,
о них потомки в хрониках
прочли,
в учебниках, разложенных
на парте.
Хотел войти в историю
любовью,
хотя бы в устный эпос,—
черта с два,—
лицом не вышел,
утверждаю с болью,

в насильники провел
едва-едва.
Единственно, чего добился я,—
в анналы ассирийского царя
в две строчки
допустили имя скифа:
«Хан Ишпака, из племени иш-куз,
был мастер в сфере воинских искусств,
ворюга, сволочь».
И на том спасибо.

V

...И той же глины дайте гончару,
на круг вертящийся, гончар, бросай
сырую глину,
рук не отнимай,
пока не выльется в ладони чара.
На солнце высуши и подари
поителю словес, не то сворует.
Черпни воды, поэт, и говори,
пусть правда звуков
воду очарует!
— Когда врывались мы,
казну зарыл Он
в священной роще,
камень навалил он.
Его наперсник,
раб из рода берш[1],
кочевник, скиф,
телохранитель верный,
он, только он
знал тайну той могилы,
и он, презренный,
бросился туда,
чтобы казну ограбить.
Не успел,
пал от ножа царя,
с казною похоронен.
...Царь, скифов избегая,
в женском платье,
скрывался в храмах,
и пришла расплата.
Вот смысл тайны
бедного Дулата.
А Ишпака!..
Как заблуждался он!
(О сладостные юноши Ассирии!..)
Лежит в шатре
с ножом в груди красивой
не женщина,
а сам Ассархадон.

[1] Берш — один из огузских родов. Следовательно, раб не был персом и ненависть Ишпака к персам основана на заблуждении. *(Примеч. Ишпакая.)*

VI

...Но даже эта темная вода
поэту не заменит никогда
вина, что превратит его в злодея.
Эй, кравчий,
опрокинь
кувшин скорее!
Из новой чары
встанем и допьем
последнее.
Им хорошо вдвоем.
Она ножом пробита,
он копьем.
Зато — вдвоем.
Кому что достается.
А мы с тобой,
читатель, расстаемся.
Зато — живем!..

1969

РЕКЪ БОЯНЪ РЕКЪ БОЯНЪ РЕКЪ БОЯНЪ РЕКЪ БОЯНЪ

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВРАТА ЖЕЛЕЗНЫЕ ВРАТА ЖЕЛЕЗНЫЕ

ПОЛЕ ПОЛЕ ПОЛ

НЕ

ДОБЫТЬ ГОРОДА

АЗиЯ

ХУЛА

ДОДОН И

ЭТИ

...И НИКАКИХ

ТЕНИСТОЕ, КРЕПКОЕ ДРЕВО РОДА

СИМВОЛ ДРЕВНО

В ОЛИВКОВЫХ

РАС

...УШЕДШЕГО

РЕКЪ БОЯНЪ

ВРАТА

Е ПОЛЕ ПОЛЕ ПОЛЕ ПОЛЕ

ПЕРЕПИСЧИК

ВИДИМЫЙ ТЮРКИЗМ

ТМУТОРОКАНИ

НА ХВАЛУ

ГЕРОДОТ

МОЛОГИЯ

ЛЕГЕНД

СТИ

РОЩАХ АССИРИИ

СЫПАННЫЕ ЛИТЕРЫ

В ВЕЧНОСТЬ ДЕТСТВА

АЗиЯ

Книга
благонамеренного
читателя

В моей небольшой библиотеке сохраняются лишь те книги, к которым я постоянно возвращаюсь.

Книжный запой детства и юности сменяется штилем. В толпе уличных знакомых и приятелей находишь друзей, с которыми пройдет твоя жизнь. В море полиграфической продукции определяешь несколько книг, воспитывающих в тебе читателя.

Газеты призывают осваивать методы скоростного чтения, а тебе интересно провозиться всю ночь над строчкой, написанной несколько веков тому назад. И через годы открыть книгу на той же странице, отыскать ту строчку и понять, как изменился ты. Читаешь, бережно превозмогая свои и чужие вкусы. Пристрастия. Убеждения. Азбучную грамотность.

Строка уже не влетает в пустоту, не отскакивает от стены; она обитает в пространстве, обжитом твоим знанием.

Осознать космос культуры, в котором, как ядро, плавает слово,— это и есть наука чтения. Не освоив ее — невозможно писать самому.

Одним из таких учебников чтения стало для меня «Слово о полку Игореве».

Более десятка лет я пытаюсь покрыть расстояния между собой и этой Вещью. («Вещь» — мудрость, *др. рус.*).

Она отстоит от меня не только во времени. Наш взгляд направлен сверху вниз: мы видим лексику и поэтику памятника в плане. Нам доступны верхние этажи семантического и идеологического знания «Слова»: не всегда удается заметить тень на плоскости и по ней восстановить высоту конструкции и объем.

Мы глядим вниз, стараясь увидеть цветущие формы прошлого сквозь вековые пласты культурных предрассудков, которые старше нас, но моложе правды.

Разгребая взглядом **пыль**, угнетающую **истину**, мы узнаем их **силу**. (Местоимение «их» относится к трем подчеркнутым существительным.)

«Слово» — неожиданно.

Оно заключает в себе прозрения, кажущиеся подозрительными, тривиальные образы, покрытые патиной гениальности, и темные речения, великие уже потому, что понимаются банально.

Восковые розы, оборачивающиеся здоровенными розовыми кукишами; оазис в пустыне, принимаемый за мираж; историческая сказка и волшебный факт — замечательное «Слово».

«Слово» — своеобразный тест, проверяющий знания, мировоззрение и творческие способности читателя, его психологическую подготовленность ко встрече с историей. Оно, как лакмусовая бумажка,

определяет читательскую среду — в одном прочтении краснеет, в другом — синеет. А иногда и белеет.

Любопытное «Слово»!

«Слово» формировало мое миропонимание. «Слово» ввело в историю и позволило увидеть другими глазами многие стороны современности. Я понял, что историческая ложь может оскорблять вещего так же, как историческая правда невежду. Мне приходилось видеть, как исторический факт мотается на качелях субъективной логики, возносясь на метафизические вершины и обрушиваясь в бездонные пропасти объективного незнания.

Факт, взятый вне исторического контекста, превращается в мертвую игрушку ученых. Ибо факт — ядро эпохи, он живет в космосе обстоятельств своего времени, как земной шар в оболочке атмосферы. Разъять их невозможно без вреда для знания. В этой книге я хочу изложить основные моменты своего опыта читательской работы над «Словом», итогом которой должен в будущем явиться этимологический словарь «1001 слово».

Имею право ошибаться и признавать, и искать новые решения.

Имею возможность высказывать свои суждения по табуированным проблемам. В этом есть определенные преимущества не только для меня лично.

Я отказался от темы — «Тюркизмы в «Слове» — понял, что узкая специализация продуктивна в математике, а не в человековеденьи. «Слово» нужно читать не коллективом МЫ (Славист, Тюрколог, Историк, Поэт и др.), а коллективом Я. Те же персонажи, но объединенные в одной личности.

Читать «Слово» мне помогло природное двуязычие, знание культурных взаимоотношений Руси и Поля, увлечение этимологией и, может быть, чувство слова и образа, выработанное упражнениями в версификаторстве.

Не забуду упомянуть еще одно условие, необходимо дополняющее образ читателя. «Слово» не должно быть **средством**, как, впрочем, литература и наука вообще. От того, как ты прочтешь, **чью** точку зрения поддержишь, а чью опровергнешь, не должно зависеть твое бытование. Ты обязан быть предельно свободным в оценках работ своих учителей. Аксиома, но требующая ежечасных доказательств практикой творческой жизни.

Было бы слишком самоуверенно заявить, что я как читатель отвечаю полно всем требованиям, поставленным самим же. Но последнее условие я честно пытался соблюдать всегда. Соглашался только с тем, что мне в данный момент казалось истинным, и протестовал против своих и чужих вчерашних утверждений, если они сегодня устаревали. Ибо путь к сути лежит через суд, через непрерывно заседающий в тебе трибунал мысли.

МЫ — КОЧЕВНИКИ

А. Вознесенскому

Это кажется мне:
Махамбет — как стрела в китайской стене,
головою — в кирпич,
а штаны с бахромой — оперенье.
Грозный мой Махамбет,
ты давно — персонаж в оперетте,
я тебе не завидую,
не позавидуешь мне.
Ты не пытайся понять нашу странную речь,
вылезай из треклятой стены:
уже сделана брешь,
лезь в колчан, библио́тек —
жить эпосом в царстве прозы,
исправляя метафорой мир,
выпрямляя вопросы.
Андрей! Мы с тобою кочевники,
нас разделяют пространства
культур и эпох,
мы бродяжим по разным маршрутам,
как бог и религия.
Я хочу испытать своим знанием
веры великие,
о которых мой гордый рубака
и ведать не мог.
Я шепчу по-этрусски о будущем,
ты расшифруй
крик и предназначение
в стены вонзаемых рун,
невегласам ученым доверь
истолкованный бред,
да мудреют они,
узнавая познания вред.
Я хожу по степи не сгибаясь,
как указательный палец
(указательный палец сгибается
только курком).
Это кажется мне: Аз и Я — Азия,
ошибаюсь:
мы кочуем навстречу себе,
узнаваясь в другом.

Часть I
СОКОЛЫ И ГУСИ

К ИСТОРИИ СПИ[1]

Краткий очерк истории «Слово о полку Игореве» и «Задонщины».

[1] Аббревиатура СПИ принята в науке.

В 1791 году А. И. Мусин-Пушкин был назначен оберпрокурором Святейшего Синода. В том же году, 11 августа, Екатериной II был издан указ, по которому Синоду разрешалось собрать и изъять из монастырских архивов и библиотек рукописи, представляющие интерес для русской истории.

Этим занялся А. И. Мусин-Пушкин. Не позже 1792 года (точная дата не установлена) он приобретает сборник XVI века, в котором обнаруживается список «Слова о полку Игореве».

Жертвой московского пожара 1812 года становятся дом и библиотека графа. Список XVI века гибнет. В научный обиход приняты издание Мусина-Пушкина и список, сделанный для Екатерины.

Оригинальная история списка XVI века сразу же вызвала скептическое отношение к «Слову» у некоторых отечественных и зарубежных ученых, предположивших, что речь идет о фальсификации, призванной оправдать империалистическую политику Екатерины аргументами прошлого. Назывались и возможные кандидатуры исполнителей подделки (в их числе и Мусин-Пушкин).

Исторические и лингвистические доводы скептиков были столь внушительны, что вся литература по «Слову», накопившаяся за два века беспрерывного изучения, посвящена одному вопросу — подлинно ли «Слово о полку Игореве».

Спор скептиков и защитников по сути напоминает известный диспут Остапа Бендера и ксендзов.

— Бога нет,— сказал Остап.

— Есть, есть,— сказали ксендзы.

Скептики целиком отвергают «Слово», апологеты с такой же категоричностью признают его.

В первой половине XIX века, когда родилась скептическая школа в России, многие исторические факты, косвенно подтверждающие подлинность «Слова», еще не были известны.

М. Т. Каченовский, главный представитель школы, провозгласивший принцип «Для науки нет ничего приличнее, как скептицизм»[2], в первой же своей статье «Об источниках русской истории»[3] подверг сомнению договоры Олега и Игоря с греками. В статье «Параллельные места в русских летописях» он усомнился в подлинности многих сообщений древнерусских хроник, полагая, что известия эти вписаны были позже, т. е. в XVI веке[4].

М. Т. Каченовский и представители его школы призывали: факты

[2] Каченовский М. Т. О «Римской истории» Нибура. «Вестник Европы», 1830, № 17—20, стр. 75.

[3] «Вестник Европы», 1809, № 18.

[4] Там же.

должны быть сопоставлены друг с другом и судить о них надо в соответствии «с общими законами исторического развития». Впоследствии другой представитель скептической школы Н. И. Надеждин писал: «Всякий факт сам по себе имеет внутренние условия достоверности... Эти внутренние условия создают историческую возможность факта... Никакой древний исторический манускрипт, никакой известный авторитет, выдержавший всю пытку обыкновенной критики, не убедит меня в подлинности факта, если он представляет решительное противоречие этим законам»[1].

Такое отношение к древностям было продиктовано необходимостью. С ростом национального самосознания наука нередко становится на службу казенному патриотизму, тогда историография начинает отходить от истории. Факты или неверно освещаются, или фальсифицируются в угоду возникающему на прошлое взгляду.

Явление это универсальное. Почти все европейские историографии пережили такой период. И основатель западной скептической школы Август Шлецер на реалиях обосновывал необходимость строгого недоверчивого отношения к историческим источникам. В XVIII веке и в начале XIX в России появилось значительное количество исторических подделок. Большинство из них было разоблачено скептиками и не успело войти в официальную науку.

Скептическая школа (несмотря на целый ряд неточных практических результатов) сыграла весьма положительную роль в развитии русской историографии. Она способствовала созданию нравственной атмосферы в науке, утверждению строгих моральных критериев, без которых наука как **объективное знание** существовать не может.

Скептики прошли сквозь «пытку» патриотической критики. Чрезмерной подозрительности им не прощали и не прощают. Отдельные ошибки, и серьезные (неизбежные в практике любого научного метода), позволили противникам объявить эту школу консервативной и т. п.

В XX веке последователей Каченовского в России уже не осталось. И критика их приобретает особый характер.

«Очень важно отметить, что представители скептической школы были людьми консервативных, официальных воззрений. Своими реакционными взглядами был известен не только «парнасский старовер» М. Т. Каченовский, но и друг Ф. Булгарина — О. И. Сенковский, а также М. Н. Катков. И. И. Давыдов **известен тем**, что с ним, как с директором Главного педагогического института, боролся Н. А. Добролюбов»[2].

Интересно, чьим другом был и с кем сражался К. С. Аксаков, резче И. И. Давыдова выступавший на стороне скептиков[3].

К. С. Аксаков и вовсе считал, что «Слово» подделано даже не русским патриотом, а иностранцем.

Новый этап в изучении «Слова о полку Игореве» начинается с открытием другого памятника — «Слова о великом князе Дмитрии Ивановиче» (или, как принято называть по одному из списков,— «Задонщина»)[4]. Считается, что создано оно вскоре после победы Дмитрия Донского над Мамаем (1380 г.). Автором считают Софония-«резанца», имя и прозвище которого упоминается в списках. Исследователи гадали, кто же конкретно скрывается под именем Софония-

[1] **Надеждин Н. И.** Об исторической истине. СПб, 1837, т. 20, стр. 153.

[2] **Лихачев Д. С.** Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности. В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.— Л., 1962, стр. 21.

[3] **Аксаков К. С.** Полн. собр. соч. Ломоносов в истории русской литературы и языка. Т. 11, М., 1875, стр. 142—147.

[4] Известны несколько списков «Задонщины»: список ГПБ (Государственной публичной библиотеки) из собрания Кирилло-Белозерского монастыря л 9/ 1086 (К—Б); список из собрания Ундольского № 632 (У); список ГИМ (Государственного исторического музея), собрание музейное № 2060 (И—1); список ГИМ, собрание музейное № 2060 (И — 2); список ГИМ, собрание Синодальное № 790 (С) и другие. Мы будем в дальнейшем цитировать «Задонщину» по изданию «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла» под редакцией Д. С. Лихачева и Л. А. Дмитриева, издательство «Наука», М.— Л., 1966, раздел «Тексты «Задонщины».

резанца. Называли то «рязанским попом», то «брянским боярином».

Б. А. Рыбаков настаивает на второй версии:

«Брянский боярин Софоний (носивший в рукописях загадочное и ничем не оправданное прозвище резанца)»[1]. «Резанцами» называли скопцов или христиан, подвергшихся насильственной мусульманизации, обрезанию. «Рézанцами» на Волге и по сю пору прозывают мусульман.

Открыта была рукопись «Задонщины» в 1852 году. Черт, сближающих ее со «Словом», оказалось так много, что это обстоятельство поставило в затруднительное положение и защитников и скептиков, одинаково давая обеим сторонам грозные аргументы. Замешательство продолжалось долго. Наконец, французский славист Луи Леже в 1890 году опубликовал результаты своего историко-литературного анализа, который свелся к следующему: «Слово о полку Игореве» — произведение подражательное и слабое. «Задонщина»—оригинальное и поэтически сильное. Он усомнился в дате открытия «Задонщины» и предположил, что эта рукопись была обнаружена в конце XVIII века и на основе ее неизвестным фальсификатором создавалось «Слово о полку Игореве»[2].

В последнее время гипотезу Луи Леже решительно развивал во Франции проф. А. Мазон и группа его единомышленников.

«В этом пестром целом нет единства,— говорил о «Слове» Мазон,— кроме эпохи и среды. Эпоха — это конец XVIII века в торжествующей России Екатерины II, среда — несколько образованных людей, группирующихся в кружок около графа Мусина-Пушкина, библиотечных работников и людей светских, вдохновленных историческими чтениями; льстецов, не менее чем патриотов, обративших свое вдохновение на службу своего национализма и политики императрицы»[3].

Сопоставив поэтику и лексику двух памятников, А. Мазон выдвинул несколько конкретных вопросов, которые могли, между прочим, задать себе и защитники.

С возражениями А. Мазону выступили многие советские ученые: А. С. Орлов, С. П. Обнорский, Н. К. Гудзий, В. П. Адрианова-Перетц и др., зарубежные — А. В. Соловьев, И. Н. Голенищев-Кутузов, А. В. Исаченко, С. Леснов (Парамонов), Р. О. Якобсон и др. Ответы защитников составили не один том, где на все лады повторяется главный аргумент в пользу подлинности — убежденность в подлинности.

Заслуживает серьезнейшего, аргументированного ответа такое, например, замечание А. Мазона: «Язычество, самое искусственное, распространено на всем протяжении произведения вплоть до неожиданного предела весьма христианского содержания».

Определеннее всех ответил С. Леснов (Парамонов), австралийский славист. Хотя стиль его ответов далек от академизма и изложение грешит описательностью (он мало прибегает к доказательствам), заявления его часто оказываются ближе к искомой правде, чем многие более оснащенные научной аппаратурой труды других защитников. Он пишет: «Профессор Мазон настолько силен в своем анализе, что не понимает, что почти все «христианство» «Слова» — это добавки монахов-переписчиков, которых не могло не шокировать полное умолчание христианства. Вставки их шиты белыми нитками, в особенности в конце о «хрестьянах», о которых в «Слове» до этого, кстати сказать, не было сказано ни одного слова»[4].

[1] **Рыбаков Б. А.** «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, стр. 27.

[2] **Луи Леже.** Славянская мифология. Воронеж. 1908, стр. 4—5, перевод с французского издания, 1900.

[3] **Mazon A.** Le slovo d'Igor. Paris, 1940.

[4] **Леснов С.** Слово о полку Игореве. Вып. 2, Париж, 1951, стр. 179.

Многие защитники игнорируют проблему, поставленную А. Мазоном. Фигура умолчания не лучшая форма ответа на вопрос, решение которого прибавило бы нам знания духовной атмосферы Древней Руси.

Повторяю, этот вопрос о взаимоотношении искусственного язычества и искусственного христианства в «Слове» должны были поднять сами защитники. А проще — исследователи «Слова» без добавочных определений.

Характерно, что в трудах, созданных в форме ответа на высказывания французского слависта, книга его цитируется не по достоинству скупо и в такой форме, с такими побочными, не имеющими отношения к науке комментариями, что непосвященному читателю становится очевидной некомпетентность А. Мазона. Особенно показателен в этом отношении сборник статей под редакцией Д. С. Лихачева [1].

Именно в нем Н. К. Гудзий провозгласил тезис, благодаря которому можно объяснить все несуразности, и грамматические, и литературные, и орфографические, которыми изобилует текст «Слова». Устав от щекотливых вопросов коварных «французов» и «немцев», уважаемый ученый сказал, как отмахнулся: «В качестве возражения и Мазону, и Унбегауну можно было бы указать прежде всего на то, что язык «Слова» — поэтический; он мог отклоняться и на самом деле отклонялся от общепринятого языка...» [2].

Ироническое заявление А. С. Пушкина — «поэзия должна быть глуповатой»,— мне кажется, было понято слишком прямолинейно и стало основой предрассудочного отношения ученых к поэтическому языку.

...В последние десятилетия советская «славистика» находится в состоянии динамичной статики, природа которой не в самой науке, а возле нее.

Научный коллектив, говорят математики, дееспособен до тех пор, пока в нем есть некая критическая масса, то есть сумма полярных идей. Когда все сказали «да», то или тема исчерпала себя, или коллектив исчерпал свои возможности.

Незримый коллектив специалистов по «Слову» существует в нашей стране издавна. И все говорят «да». Любые попытки изменения всеобщего взгляда на биографию «Слова» вызывают немедленную анафему [3].

На поле — одна команда, и вся состоит из защитников. Нападающие давно ушли в раздевалку. Команда имитирует яростную борьбу с жупелами — игра в футбол по телефону.

Прочтения, переводы, комментарии защитников опубликованы, признаны и вошли в учебники. Отречься, усомниться в ценности всего этого, десятилетиями накопленного багажа, на котором зиждется авторитет имени, трудно. Наука поставлена в зависимость от ученого.

Скептикам, целиком отвергающим «Слово», недоставало доверчивости; апологетам, целиком принимающим,— здравого скептицизма.

Не только сомнение — двигатель науки, но и не только безоглядная вера. Иначе историческая реликвия становится одним атрибутом двух религий — нигилизма и патриотизма. **Знать источник важнее, чем знать то, что нужно получить от него.**

[1] Сб. «Слово о полку Игореве» — памятник XII века, М.— Л., 1962.

[2] См. указанный сборник, стр. 113.

[3] Показательна в этом отношении судьба двухтомного труда А. А. Зимина, не так давно изданного на ротапринте количеством в несколько десятков экземпляров. В этом исследовании известный литературовед попытался оспорить подлинность «Слова». Материалы сокрушительной дискуссии, развернувшейся вокруг этой работы, были опубликованы в популярных изданиях гораздо большим тиражом, чем сам обсуждаемый труд. Я не согласен с выводами А. А. Зимина, но трудно согласиться и с методами подобных обсуждений.

В этих условиях самая ценная фигура в науке — скептик. Сохранить его — значит продлить жизнь науке. Защитники бессознательно понимают это, потому нашли себе противника за рубежом. Негласный лозунг — сохранить А. Мазона! — читается между строк апологетических трудов. Скептик — это пчела с жалом, которую невежественный садовник отгоняет от цветов заповедного сада. Но именно пчела, вторгаясь в цветок, опыляет его. Охраняя от мохнатого разбойника драгоценный нектар, мы губим будущие плоды.

Если бы математика и физика испытали такое насилие патриотического подхода, человечество и сейчас каталось бы на телеге. Способность увидеть вопрос в толпе восклицательных знаков— редкое качество. Сохранить А. Мазона! Носится по полю одинокий всадник, преследуемый толпой разъяренных пехотинцев.

Совершенно «в стиле» пишет свою критику С. Леснов (Парамонов): «Чтобы покончить с проф. Мазоном и более к нему не возвращаться, отметим, что критику эту мы пишем, конечно, не для того, чтобы разубедить проф. Мазона — его методы мышления и пользования научным материалом показывают, что это совершенно безнадежное дело. Мы не запрещаем проф. Мазону и его единомышленникам высказывать сомнения в подлинности «Слова», ибо из столкновения мнений рождается истина. Но мы решительно протестуем против того, что проф. Мазон называет «Слово» посредственным, бессвязным, вялым и т. д.» [1]

В этом отрывке великолепно действует научное местоимение — «мы».

«Некоторые наши друзья сочли наши критические замечания слишком резкими по форме. Мы хотели бы указать им и всем придерживающимся принципа непротивления злу, что 1) всякому терпению бывает конец, 2) и в науке должна быть ответственность, безнаказанности здесь нет места!..

Хуже то, что в вопросе о «Слове» объединились русские всех цветов: «белые», «красные» и «зеленые» — очевидно, их единодушие имеет под собой более солидную базу, чем даже их разногласия» [2].

Любопытное наблюдение.

...История — интересует, историография возбуждает интерес. Я погрешил бы, заявив, что «Слово» так увлекло бы меня, если бы не кружилось оно в водоворотах тьмочисленных толкований. Без них оно могло стать обычной музейной редкостью, как многие другие древности с более благополучной судьбой, и не оказало бы воздействия на русскую литературу, искусство и филологическую науку последних двух столетий. За два века ораторства в библиографии по «Слову» накопилась не одна сотня названий, в которых, как в болоте, буксуют одни и те же аргументы, не всегда научные, но всегда патриотические. И литературе этой никакой пожар уже не страшен.

В спорах о «Слове» зачастую терялось чувство реальности, сгоряча пересматривалось отношение к понятиям общечеловеческим. Эмоциональные верхи памятника, доступные приблизительному пониманию, расцветали в ученом прочтении фантастическими до ядовитости цветами.

«Слово» дошло одним списком XVI века. Были ли другие экземпляры? Слухи о них ходили. В 1948 году в парижской газете «Русские новости» (№ 186) появилась статья, подписанная А. Л-ский:

«Журнал «Вопросы истории», в свое время, напечатал призыв

[1] **Леснов С.** Слово о полку Игореве. Вып. 2, Париж, 1951, стр. 181.

[2] Там же.

акад. Тихомирова о необходимости организовать сбор древних русских рукописей, погибающих в глухих уголках огромной Советской страны. Журнал получил в ответ много письменных откликов и в последнем номере открыл кампанию за осуществление и проведение в жизнь «похода за рукописями», желая придать этой грандиозной экспедиции характер широкого общественного движения и привлечь к ней специалистов, учащихся и вообще все культурные силы страны.

Мы по своим личным воспоминаниям знаем, что почти в каждом русском доме, особенно в старинных городах, в имениях или монастырях где-нибудь на чердаках, в обитых железом сундуках хранились пожелтевшие связки писем, грамоты, рукописи всякого рода, книги с медными застежками. Большие архивные собрания и библиотеки в первые годы революции были увезены в города, но целые охапки рукописного материала оставались на местах, и все это необходимо собрать, чтобы не сделались добычей пожаров драгоценные, может быть, памятники русской письменности.

В ответ на письмо акад. Тихомирова журнал приводит отклики ученых и архивоведов, особенно рекомендующих обследовать северные области, приволжскую глушь, Алтайский край, Прибалтику и Западную Украину...

Но самый волнующий отклик получен от работника Псковского музея Л. А. Творогова, письмо которого о его поисках так называемого олонецкого экземпляра «Слова о полку Игореве» нельзя читать без волнения. Творогов сообщает, что проф. Троицкий в бытность свою воспитанником Олонецкой семинарии видел на занятиях в классе в руках у преподавателя рукопись, о которой этот преподаватель сказал: «Вот здесь содержится другой список «Слова о полку Игореве», но гораздо более подробный, чем тот, который напечатан». Но учитель вскоре умер, а рукопись куда-то исчезла.

Работая над текстом «Слова», Творогов очутился в 1923 году в Петрозаводске и там познакомился с одним из преподавателей Олонецкой семинарии, который подтвердил существование и характеристику рукописи.

Конец этой истории печален для русской культуры. Проф. Перетц рассказывал, что один из его учеников видел в Астрахани воз со старыми бумагами, которые крестьянин продавал на базаре. Студент обнаружил на возу среди всякого хлама несколько рукописных сборников, в одном из которых был список «Слова о полку Игореве». Но у него не было при себе денег, чтобы купить рукописи, и какой-то казах купил воз целиком, свалил вещи и книги в свою арбу и уехал...

С каким намерением купил этот апокалипсический казах воз древнерусских рукописей, трудно сказать, однако зная, какими случайными путями входили в науку многие бесценные хронографы, можно предположить, что еще большее число их исчезло в ситуациях, подобных той, которая произошла на астраханском базаре.

Могли никогда не дойти до современного читателя уникальные экземпляры таких бесценных памятников, как список Лаврентьевской летописи, в которой содержится единственный список «Поучения» Владимира Мономаха. Мусин-Пушкин случайно приобрел Лаврентьевскую летопись в 1792 году — купил ее с возом книг наследника петровского комиссара Крекшина.

Уникальность списка «Слова» не давала покоя некоторым «ревнителям» древности русской, и сразу же после публикации Мусина-Пушкина появились подтверждения в виде подделанных списков. Всего таких мистификаций было обнаружено четыре.

Известный археограф, собиратель и знаток древнерусской письменности М. П. Погодин рассказывал о А. И. Бардине в некрологе[1]:

[1] «Москвитянин», 1841, № 3, стр. 245.

«...Покойник мастер был подписываться под древние почерки. И теперь между любителями рассказывается один забавный случай, как подшутил он над знатоками — графом А. И. Мусиным-Пушкиным и А. Ф. Малиновским. Граф приезжает в восторге в Историческое общество: «Драгоценность, господа, приобрел я, драгоценность!» — восклицает он, и все члены изъявляют нетерпеливое любопытство: «Что такое, что такое?»—«Приезжайте ко мне, я покажу вам».

Поехали после собрания; граф выносит харатейную тетрадку, пожелтевшую, почернелую... Список «Слова о полку Игореве». Все удивляются, радуются. Один Алексей Федорович (Малиновский) показывает сомнение.

— Что же вы?

— Да ведь и я, граф, купил вчера список подобный!

— Как так?

— Вот так.

— У кого?

— У Бардина.

Тотчас был послан нарочный, привезена рукопись. Оказалось, что оба списка работы покойного... не тем будь помянут».

Такие «шутки» еще более сгущали тень подозрительности, окружавшую «Слово».

Если Мусин-Пушкин не мог распознать подлог Бардина, то где гарантии, что сгоревшая рукопись тоже не была чьей-то фальсификацией, Мусиным-Пушкиным не узнанной? И если бы Бардин продал только один свой список, так ли скоро мистификация бы открылась? Метод химического анализа чернил тогда не применялся, а бумага могла быть действительно старой с подлинными знаками XVI века. Запасы ее дошли до XVIII века в монастырских библиотеках.

Вопросы вполне законные. И ответ на главный — было ли «Слово», или это подделка XVIII века? — мы можем получить лишь из анализа текста публикации Мусина-Пушкина в сопоставлении с текстами списков «Слова о великом князе Дмитрии Ивановиче».

В этих двух перекрещивающихся направлениях и повелась работа защитников. И сделано, безусловно, много, однако все результаты в совокупности пока не способны конкретно ответить на вопрос главный.

Причины малого КПД работы огромного штата защитников по ходу рассказа моего были названы, остается подчеркнуть сторону чисто техническую — неправомерно приуменьшена доля творческого участия переписчика XVI века в дошедшем до нас тексте. От него идет языковой, стилистический и идейный эклектизм памятника.

Стремясь во что бы то ни стало убедить себя и других в том, что все в «Слове» подлинно (т. е. принадлежит XII веку), защитники усложняют ситуацию.

Мне кажется, следует хотя бы условно попытаться принять факт таким, какой он есть, и признать, что «Слово» — литературный памятник по меньшей мере двух временных срезов — XII и XVI веков. Что в нем сохранено от протографа и что привнесено Переписчиком?

Отделить «зерно» от «плевел» может помочь «Задонщина», которая послушно следует поэтике «Слова». Настолько подробно она повторяет композицию и образы великого оригинала, что часто свидетельским показаниям «Задонщины» веришь больше, чем списку Мусина-Пушкина. Некоторые поэтические фигуры она передает точнее, не давая им лексического развития, что нередко случается в позднем «Слове».

Задача автора «Задонщины» иная, чем у Переписчика.

Первый использует лишь форму, и потому, если встречаются детали непонятные или устаревшие, он их попросту опускает или передает средствами современными.

Переписчик же обязан был донести и форму, и содержание, причем подать так, чтобы было понятно современному читателю, и потому неясные места он расшифровывал, архаизмы пояснял надстрочными словами, тюркизмы (если смысл их был понятен) — переводил. Расшитые страницы собирал, стремясь не нарушить последовательность текста, что ему не всегда удавалось.

Он стремится не только нанести на «Слово» некоторый христианский налет, но, что особенно печально, пытается, и небезуспешно, придать ему в нескольких местах достаточно патриотический характер в духе своего времени.

Может статься, что я пережимаю перо, но наличие цветной штукатурки на древней фреске безусловно установимо. И будущие исследователи, пользующиеся более совершенным инструментом анализа, поправят меня.

Пока попытаюсь испробовать предложенный метод восстановления протографа. Совпадения в текстах «Задонщины» и «Слова» Мусина-Пушкина могут служить доказательством того, что эти места принадлежат оригиналу или древнейшим спискам «Слова», приближенным к подлиннику более, чем исследуемые произведения.

Формальные черты сходства «Слова» и «Задонщины» защитники объясняют так: «Слово» лежало на столе Софония-рéзанца, когда он писал свою повесть о победе Дмитрия Донского. «Задонщина» повествует о реванше, которого добились русичи на поле Куликовом за свое поражение на Каяле. Она писалась как своеобразный ответ на «Слово».

Эта схема отвечает не на все вопросы и рождает новые, но я, в общем, соглашаюсь с ней. Не исходил из нее, а прихожу к ней, как к вероятной.

...Хочу высказать одну из возможных версий происхождения «Задонщины» и коснусь при этом главы неофициальной биографии «Слова».

В драме «Слова», на мой взгляд, участвуют четыре главных персонажа: Автор, Переписчик, Софоний-рéзанец, Исследователь (будем подразумевать под этим именем обобщенный образ защитника).

Первый акт пока опускаем.

II акт. Место действия — Южная Русь. Время действия — 1240 год. Взятие Киева ордами Батыя. Пожжены княжеские и монастырские книгохранилища. Уцелевшие книги из южнорусских библиотек вывозят в северные области. Среди них несколько списков «Слова о полку Игореве». Эти копии, сделанные в XIII веке, еще довольно

точно передавали оригинал. Хранились они, как и вообще литература светского содержания, в княжеской или боярских библиотеках и большой популярностью среди церковников не пользовались ввиду своей явной «чернокнижности». (Надо полагать, что церковь и до нашествия уничтожила не одно произведение древнерусской литературы, в котором воспевались языческие боги или хотя бы была в ходу терминология дохристианских культов. Достаточно сказать, что церковники преследовали даже такие слова, как «вещий» — мудрый, потому что в применении к жрецам язычества оно приобрело переносное значение — «волшебник», «чудесник». В «Повести временных лет» историческое имя Олег Вещий потребовало специальной оговорки: «И прозвали Олега «Вещим», так как были люди язычниками и непросвещенными».)

В эпоху «избиения волхвов» произведения, насыщенные языческим колоритом, попросту смывались, и пергамент использовался для «правильных» писаний. Церковь, возможно, причинила древнерусской художественной литературе не меньше вреда, чем пожары Батыя.

Итак, уцелевшие рукописи из разоренных княжеских собраний южнорусских городов перемещаются в северо-западные монастыри и попадают в руки церковников. Острая нехватка писчего материала для священных писаний могла оказаться фактором решающим в судьбе и некоторых списков «Слова». Историческое содержание его и отдельные моменты поэтики, вероятно, использовались при переписке и редактировании летописей и отдельных произведений светской письменности, которые по причине «нейтральности» или важности исторического содержания сохранились.

«Слово» же повествовало о деяниях малозначительного Новгород-Северского князька, о событиях к тому же печальных, что не могло в эпоху тотального поражения от степняков не сказаться на отношении к повестям с подобной фабулой. Воспитанию патриотизма они не способствовали и, следовательно, были бесполезны, если не вредны. Требовались произведения, воспевающие былую славу христианского оружия, рассказывающие о победах над погаными. И по этой причине могло быть непопулярным «Слово».

До XVI века уцелело в анналах северо-западных монастырей по большей мере два списка «Слова».

Акт III. Место действия — один из московских монастырей. Время действия — некоторое время спустя после 1380 года (дата битвы на Куликовском поле). Действующее лицо — Софоний-рéзанец. Творческо-производственная характеристика: монах-летописец, достаточно образованный по тем временам книжник, имеет склонность к литературному творчеству, развитую многолетними упражнениями по переписке и редактированию старых рукописей; этим же занятием воспитана способность к подражательству, оригинальным художническим даром не обладает. (Вероятно, существует в природе искусства такое понятие — «капельмейстерская музыка». Ходит человек всю жизнь во главе духового оркестра. И однажды садится и пишет свою симфонию. Так как музыка звучит у него больше в ушах, чем в душе, то и получается произведение, скомпилированное из обрывков «Амурских волн» и похоронных маршей. Некоторые композиторы достигали в этом деле высот совершенства.)

Софоний обнаруживает в монастырской библиотеке «черную книгу», литературный стиль которой соответствует его представлениям

о настоящей словесности. Содержание же фабульное и идейное резко контрастирует с мировоззрением Софония, с современными событиями и настроениями Руси тех лет. Судьба «черной книги» решена.

Софоний, человек грамотный, много читавший, понимает, что «Слово» непопулярно и быть таковым не могло. Он о нем ничего не слышал раньше. Понимает, что перемещен этот список (а возможно, думает он,— оригинал) из сожженного Киева. Он уверен, что это единственный уцелевший экземпляр. До него в книжных завалах хранилища, которые, возможно, не разбирались с XIII века, никто не видел этой рукописи, иначе она уже была бы смыта.

Может быть, Софоний обследовал анналы как раз с такой практической целью — найти книгу нерелигиозного содержания, чтобы использовать ее пергамент для своих работ. После прочтения Софонию приходит мысль написать подобную вещь, но другого, современного содержания. Жар куликовского события еще не остыл в сознании.

«Слово» повествовало о битве русских со степняками на подходах к Дону. (Наша повесть будет о битве за Доном.)

«Слово» рассказывало о поражении русских от степняков. (Наша повесть будет о победе.)

«Слово» — о несчастном князе Игоре.

(Наша повесть — о великом князе Дмитрии.)

На имеющемся запасе пергамента, предназначенном для другой работы, он начинает писать «Слово о Дмитрии Донском» («Задонщину»). Перед ним лежит великий образец. Зная наверняка, что «черная книга» будет все равно смыта (возможно, им же самим), Софоний-рéзанец без оглядки скальпирует ее, делает пересадки живой ткани и органов обреченного гиганта.

...Если бы Софоний хотя бы подозревал, что перед ним не единственный экземпляр, что «Слову» еще предстоит самостоятельная жизнь в русской литературе (да еще какая!), он решился бы так просто и легко использовать его поэтику в собственном произведении, к тому же подписанном?..

...«Задонщина» пришлась впору. Она прославила имя Софония-рéзанца. Размножилась в большом количестве экземпляров (хотя подлинник и не дошел до нас). Других повестей Софоний более не написал. Видимо, за неимением образцов.

Приложение к третьему акту.

Иначе представляется картина создания «Задонщины» в нашем литературоведении.

Полагают, что «Слово» в XIV веке ходило огромным тиражом. Было широко известно и любимо народом за красоты стиля и высоту мыслей. Величие его литературное уже тогда осознавалось широкими массами. Одним из ревностных поклонников стал «брянский боярин Софоний Рязанский». Восхищенный памятником, он садится и пишет ответное послание, в котором из чувства величайшего уважения к образцу копирует поэтическое содержание его.

Читатели и слушатели «Задонщины», волнуясь, сравнивают оба популярных и чтимых опуса и мысленным взором окидывают расстояния, пройденные за два века родной словесностью.

Примерно такое представление получаешь, читая объяснения, подобные тому, которые дал академик Б. А. Рыбаков.

«Победа Дмитрия Донского была воспета Софонием Рязанцем в «Задонщине», сложенной вскоре после битвы за Доном. С первых же строк автор начинает цитировать «Слово о полку Игореве», вдохновляясь им и настраиваясь на его торжественный лад. Очевидно, и читатели, и слушатели «Задонщины» хорошо знали «Слово о полку Игореве» и могли вполне оценить, какой великий образец был выбран для песни о Куликовской битве... Его (автора.— *О. С.*) неотступное следование «Слову о полку Игореве» и его влюбленность в поэтику «Слова» объясняется торжественным великолепием избранного им образца, данью уважения к гениальности безымянного киевлянина 1180-х годов и его благородными помыслами»[1].

[1] **Рыбаков Б. А.** «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, стр. 26.

Такие одические тосты еще более запутывают и без того сложный вопрос.

Акт IV. Место действия: один из псковских монастырей. Время действия: XV—XVI века. Действующее лицо: неизвестный монах-переписчик. Творческая характеристика: копиист с ярко выраженными задатками редактора-соавтора (качество, весьма характерное почти для всех переписчиков произведений светской литературы). Сюжет совпадает с предыдущим только вначале.

...Монах разбирает запасы монастырской библиотеки, в которой хранятся и остатки рукописных собраний, завезенных с юга в грозные времена. Его интересует и пергамент, которого все еще не хватает для размножения религиозных сочинений, и древняя литература, спрос на которую все увеличивается. На Руси уже в ходу новый письменный материал — бумага. Она дешевле, хотя и недолговечней пергамента. Появление бумаги спасло древнерусскую литературу от полного уничтожения. **Теперь нецерковные тексты не просто смываются, а предварительно переносятся на бумагу.**

Круг грамотных на Руси расширяется. Книга, даже бумажная, стоит дорого, и монастырям (издательствам того времени) это выгодно. Книгопроизводство становится очень доходной статьей монастырского бюджета.

Анналы библиотек, пребывавшие долгое время в забвении, перетряхиваются, и на свет божий извлекаются старинные своды. В этих сборниках встречаются вещи явно нехристианского содержания. Но и они будут размножены на бумаге с небольшой редакцией.

В связи с разрешением пергаментного кризиса либеральнее и церковная цензура. К тому же изменилась и культурная ситуация. В XVI веке древнерусское язычество уже не опасно. Боги Перун и Велес, Стрибог и Хорс прочно забыты в народе и не могут соперничать с Христом. Элементы язычества сохраняются в народной культуре, но они не оформлены идеологией. Жалкие осколки былого монолита, разбитого в прах молотами православия. Лешие и домовые — не в счет. Суеверие — не религия, милый анахронизм. И это понимают церковники. Да и само христианство переживает на Руси этап, которого не избежала ни одна религия,— оно превращается в привычку.

Уничтожив главных соперников, воцарившись, идеология становится верой, потом — обычаем. Она эрозирует, стареет, погрязает в быту, притупляется. Она уже испытывает нужду в щекочущих воспоминаниях. Ей, одряхлевшей, заплывшей жиром власти, бесплотные тени древних врагов необходимы для постоянного самоутверждения. Так постепенно религия избавляется от категоричности. Дух ее

угасающий еще поддерживают еретические движения. В борьбе с ними она продлевает свою жизнь. Внимание ее отвлечено в эту сторону. Ибо здесь — живые, дерзкие программы, покушающиеся на авторитет ортодоксальной церкви. Их книги еще сжигаются торжественно при народе. А Велесы и никудышные шамкающие Мокоши не выдвигают никакой программы, они — звук пустой и страшны церкви не более чем деревянные идолы самоедов.

И лег на стол монаха последний пергаментный список «Слова о полку Игореве». Подновив, он выпустил его в свет в бумажных сборниках, один из которых приобрел в XVIII веке Мусин-Пушкин. Другой, возможно, мелькнул на Печоре в XX. А третий увез с астраханского базара таинственный казах...

СИНЕЕ СОЛНЦЕ[1]

СВИСТ ЗВЕРИНЫЙ

[1] В этой главе и далее приведены прочтения отдельных темных мест памятника, ранее не публиковавшиеся.

Стиху учит «Слово». Годами вчитываясь в него, получаешь поэтическое образование. Живой учебник русского языка и поэтики, в котором зачастую правила обнаруживаешь и формулируешь сам, а исключения возвышаются над унылыми закономерностями. Поэзия не есть самовыражение грамматики, но грамматическое чутье позволяет порой понять поэзию.

...Войска Игоря и Всеволода встретились. Поход начался. (Привожу отрывок по мусин-пушкинскому изданию. Подчеркнуто мною.)

> Тогда въступи Игорь Князь въ златъ стремень,
> и поеха по чистому полю. Солнце ему
> тъмою путь заступаше; **нощь стонущи**
> **ему грозою птичь убуди; свистъ зверинъ**
> **въ стазби**; дивъ кличетъ врьху древа...

Перевод Мусина-Пушкина: «Князь Игорь, вступя въ златое стремя, поехалъ по чистому полю. Солнце своимъ затмениемъ прегражданетъ путь ему, **грозная возставшая ночью буря пробуждает птицъ; ревутъ звери стадами,** кричитъ филинъ на вершине дерева...»[2].

Многие переводчики и комментаторы пытались объяснить «стазби», справедливо полагая, что разгадка смысла всего подчеркнутого мною темного места — именно в этом искусственном образовании, родившемся при членении сплошной строки памятника.

В. И. Стеллецкий[3] подробно рассматривает основную литературу по толкованию «стазби»— Максимович первый увидел здесь глагол «въста» и отнес вторую часть начертания к следующему предложению. Основанная на его догадке поправка Потебни «узбися Дивъ», принятая В. А. Яковлевым в форме «збися Дивъ», а затем в этом виде акад. В. Н. Перетцем — в настоящее время так же находит сторонников (Д. С. Лихачев, О. В. Творогов и др.).

Поправка В. Ф. Ржиги «въеста близъ» представляется недостаточно аргументированной с палеографической точки зрения и неестественной с литературной.

[2] Слово о полку Игореве, под редакцией и в переводе графа А. И. Мусина-Пушкина, М., 1800.

[3] Слово о полку Игореве, под редакцией В. И. Стеллецкого, М., 1967, стр. 130.

В. С. Миллер, А. А. Потебня, В. Н. Щепкин, В. Н. Адрианова-Перетц, А. С. Орлов, Д. С. Лихачев и переводчики А. Ф. Вельтман, Г. П. Шторм, Н. А. Новиков, Л. И. Тимофеев и многие другие полагали, что предложение кончается глаголом — въста, т. е. «свист звериный встал». Е. В. Барсов, С. К. Шамбинаго, Ф. Е. Корш и В. И. Стеллецкий видят в «збя» — глагол, завершающий предложение, а написание «въста» разбивают — «в ста». Мнения последних расходятся в толковании полученного огрызка — «ста». Одни (Барсов и Шамбинаго) видят остаток слова «стая», Корш — «стадо», Стеллецкий поддерживает вторую гипотезу.

Текст, стало быть, принимает у Стеллецкого такой вид:

> нощь стонущи ему грозою
> птичь убуди,
> свистъ зверинъ въ ста(да) збя.
> Дивъ кличетъ врьху древа.

И перевод:

> ночь стонала ему грозою,
> птиц пробудила,
> свист звериный в стада их сбил.
> Див кличет с вершины древа.

Из всех существующих академических и литературных переводов, мне кажется, этот — наиболее совершенный. Другие образцы являть долго и неинтересно. Можно привести в пример (чтобы показать дистанцию) юговский перевод:

> И ночь, ропща на него грозою,
> птиц прибила!..
> Взбился половец! —
> свищет свистом звериным
> кличет с вершины деревьев.

(подчеркнуто мною.— *О. С.*)

Я попытался применить перед этимологическим методом — структурный. И расположил кусок текста в следующем порядке:

> Солнце ему тьмою путь заступаше.
> Ночь стонущи ему грозою.
> 1) Птичь убуди **свистъ.**
> 2) Зверинъ въста **збя.**
> Дивъ кличетъ върху древа...

Для сравнения привлекаю еще один кусок из описания раннего утра перед боем:

> Долго ночь меркнет.
> Заря свет запала.
> Мъгла поля покрыла.
> 3) **Щекотъ** славій успе.
> 4) **Говоръ** галичь убуди.

Грамматическое родство предложений из двух мест текста «Слова» мне кажется вероятным. Отличаются они лишь местом подлежащего, но такая инверсия возможна и находит подтверждения в практике русского литературного языка как и эпохи «Слова», так и позднейших.

Общие структурные черты конструкций 1, 2, 3, 4:

1) определение перед сказуемым (птичь убуди — звериньъ въста — славiй успе — галичь убуди);

2) сказуемое выражается глаголом прошедшего времени (убуди — въста — успе — убуди);

3) определения — краткой формой прилагательного (птичь — звериньъ — славiй — галичь).

Схематически строки 1 и 2 соответствуют друг другу так же полно, как 3 соответствует 4.

Таким образом, я пришел к выводу, что птичь — краткая форма прилагательного, а не существительное, как полагают. При этом грамматическом прочтении устраняется вычурное, совершенно необычное для славянской литературы выражение «свист звериный». И возникает более точное и традиционное — птичий свист. (Мусин-Пушкин не решился сохранить в переводе «свист звериный» и заменил его на «ревут звери».)

Я привожу эти доказательства с некоторой робостью перед именами признанных лингвистов. Они были заворожены традицией, освященной Мусиным-Пушкиным. И не «въстазби» оказалось причиной темного места, а прозрачнейшее «птичь», грамматические аналоги которому можно было найти в самом тексте «Слова».

∴Неясное написание «зби» стоит на месте подлежащего и, скорее всего, относится к именам существительным. И означает по семантической схеме — название звука, издаваемого зверем, или движение.

Ночь... грозою
Птичий пробудила свист,
Звериные восстали зби.

В древнерусском языке есть похожее слово — зыбь — беспокойство, смятение[1]. В современном — зыбь — колебание. Корень распространен в украинском, старославянском, словацком, сербском.

Это одно из возможных направлений поиска.

Весь отрывок я предлагаю читать:

Тогда въступи Игорь Князь въ златъ стремень
и поеха по чистому полю.
Солнце ему тъмою путь заступаше.
Нощь стонущи ему грозою.
Птичь убуди свистъ.
Звериньвъста зби.
Дивъ кличетъ връху древа...

[1] **Срезневский И.** Материалы к словарю древнерусского языка. Т. 1, 1009.

Не всегда в появлении темных мест виновен П-16[1]. Возникают они и от неверного членения строки. По признанию Мусина-Пушкина, разобрать рукопись «было весьма трудно, потому что не было ни правописания, ни строчных знаков, ни раздробления слов, в числе коих множество находилось неизвестных и вышедших из употребления»[2].

Все это затрудняло чтение рукописи. Мусин-Пушкин опасался допустить ошибки, подобные той, какую сделал Щербатов при разборе грамоты новгородцев князю Ярославу («по что отъял еси поле заячьи и Миловцы?» вместо «по что отъял еси поле заячьими ловцы?»)

Однако, вопреки собственному предостережению, Мусин-Пушкин допустил при расчленении сплошных строк на слова ошибки, не уступающие щербатовской: «Къ мети» вместо «къмети», «въ стазби» — «въста зби», «му-жа имеся» — «мужаимься» и т. д.

Непонятые редактором слова часто писались с большой буквы и превращались в собственные имена. Так у Мусина-Пушкина получалось «Кощей» — мнимое имя половца, «Урим» — имя воеводы или соратника Игоря.

Рассмотрим случай, когда неправильная разбивка привела к рождению ложной метафоры. Исследователи, пытаясь поправить Мусина-Пушкина, тратили много энергии и приходили к результатам еще более курьезным. Литературное бесчувствие ученых читателей порождает порой в «Слове» чудовищные в своей искусственности образы, не свойственные и «Слову», и литературе в целом.

«Единъ же Изяславъ сынъ Васильковъ позвони своими острыми мечи о шеломы Литовскiя; притрепа славу деду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кроваве траве притрепанъ Литовскыми мечи. **И схотию на кровать и рекъ:** «Дружину твою, Княже, птиць крилы приоде, а звери кровь полизаша».

Подчеркнутое место Мусин-Пушкин перевел так: «На семь то одре лежа произнесъ онъ». Поправок было множество. Наиболее интересные исправления следующие: 1) «И схоти юнак рова тьи рекъ». Перевод этого сербо-русского предложения предлагается такой: «И схотел юноша ямы (могилы) тот сказал». Но в словаре автора есть уже термин «уноша» — юноша, и «юнак» не проходит, но, несмотря на это, продолжали: 2) «и схыти юнак рова...» — т. е. похитила юношу могила; 3) «и схопи» — т. е. схапала; 4) «и с хотию на кров а тьи рекъ» — «и с любимцем на кровь, а тот сказал»; 5) «и с хотию на кровать и рекъ» — «и с любимцем на кровать и сказал».

В. И. Стеллецкого шокирует эта картина, и он предложил перевести — «и с милою на кровать»...

Если бы мне пришлось иллюстрировать «Слово», я воплотил бы в красках все сочиненные толкователями образы. И этот эпизод просится под кисть.

Степь, политая кровью трава; разбросаны тела литовцев с помятыми шлемами. Среди поля широкого стоит деревянная кровать с никелированными шишечками. На ней лежит возбужденный Изяслав с любимым человеком (признаки пола коего прикрыты фиговым щитом). А вокруг кровати — трупы, а на них — вороны...

[1] Условное обозначение Переписчика XVI века. Соответственно Переписчик XVIII века — П-18.

[2] **Калайдович К. Ф.** Библиографические сведения о жизни, ученых трудах и собраний российских древностей графа А. И. Мусина-Пушкина. Записки и труды ОИДР, 1824, ч. II.

Предложенные варианты разбивок отличаются грамматической и литературной недостаточностью.

Прежде всего грамматической.

1) В разбивке Мусина-Пушкина утрачено по крайней мере два сказуемых. Они «подразумеваются».

Этот недостаток не устраняется и следующими «членителями».

2) Начинательный союз «и» в памятнике всегда употребляется перед глаголом. Н. М. Дылевский отметил этот пример как особый: «встречен только один случай с начинательным «и» не перед глаголом — «и с хотию на кровать»[1].

Опять исключительная грамматическая ситуация, как в истории с единичным применением «а» в финальной строке. Я рассматриваю весь кусок Изяслава как эпический монолит.

[1] **Дылевский Н. М.** Лексические и грамматические особенности языка «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово о полку Игореве» — памятник XII века. М.—Л., 1965, стр. 241.

Моя разбивка:

...Единъ же **Изяславъ** сынъ **Васильковъ**
позвони своими острыми мечи о шеломы Литовскія;
притрепа славу деду своему Всеславу,
а самъ подъ чрълеными щиты
на кроваве траве, притрепанъ
литовскыми мечи
исхоти юна кров.
А тъи рекъ: Дружину твою, княже,
птицъ крилы **приоде**, а звери кровь
полизаша.
Не бысь ту брата Брячаслава, ни
другаго — Всеволода. **Единъ же**
изрони жемчюжну душу из храбра тела,
чересъ злато ожереліе.

(Один же Изяслав сын Васильков
позвонил своими острыми мечами о
шлемы литовские,
«притрепал» славу деду своему Всеславу,
а сам под красными щитами
на кровавой траве «притрепанный»
литовскими мечами
исходил юной кровью.
А тот сказал: Дружину твою,
князь, птиц крылья приодели,
а звери кровь полизали.
Не было тут брата Брячеслава,
ни другого — Всеволода. Один ты
изронил жемчужную душу из храброго
тела через златое ожерелье...)

«Исходить кровью»— устойчивое сочетание во многих славянских языках. Значение его — «умирать от потери крови» (Даль). Вероятно, «исхоти» — написание авторское. Если бы в оригинале значилась форма — «исходи», Переписчик, несомненно, узнал бы ее и сохранил орфографию.

И грамматически, и литературно это прочтение точнее.

Вместо ужасной кровати на поле кровавой битвы, вместо любовника Изяславова — простой, известный фразеологизм, точно вписывающийся в образный строй и стилистику эпического текста.

Дополнение

Обидно. Литературы по «Слову» накопилось за два века великое множество. За всем уследить просто невозможно. Особенно за старыми, «провинциальными» выступлениями, которые не попали в основное русло науки по «Слову».

Когда статья уже была написана, мне в каталоге одной библиотеки встретилась карточка: Н. И. Маньковский. «Слово о полку Игореве» — лирическая поэма внука Боянова. Житомир, 1915 г.

Я затребовал и обнаружил в этой книжке разбивку «юна кров» (стр. 98).

Уже тогда можно было избавиться от «любовника на кровати». А он пребывает на оной до сего дня.

ПОД ТРУБАМИ СПЕЛЕНУТЫ

...Всеволод представляет Игорю своих воинов:

А мои ти Куряни сведоми къмети,
подъ трубами повити, подъ шеломы
взълелеяны, конецъ копія въскръмлени...

Перевод Мусина-Пушкина:

Мои Курчане въ цель стрелять знающи,
подъ звукомъ трубъ они повиты, подъ
шлемами возлелеяны, концомъ копья
вскормлены...

Романтический портрет средневекового русского воина.

Первый переводчик не понял «къмети» и разбил слово, получив новый смысл.

Не буду останавливаться на истории «къмети». Термин последующими переводчиками узнан и довольно близко истолкован —«воины».

Гораздо интересней судьба глагола «повити», который все производят от корня «вить» и переводят — «спеленуты». Не замечая, как нарушается размашистая поэтическая схема, в которой неуместно мелкое, бытовое наблюдение — спеленуты.

А мои-то куряне — умелые воины,
под трубами спеленуты (?)
под шлемами взлелеяны,
с конца копья вскормлены!..

Прозаизм «спеленуты» разрушает эпически обобщенный смысловой ряд.

Глагол «повиты» встречается в одном из поучений Паисиевского сборника XIV века: «...человеци есмы повиты въ гресехъ»[1].

Едва ли следует понимать церковный афоризм как «человеки спеленуты во грехах».

Думаю, что в поговорке воплотилась христианская мысль «человек **порожден** во грехе», и этим отличается от бога, который зачат безгрешно и порожден Девой!

И разве основная обязанность народных акушерок **(повитух, повивальных бабок)** пеленать, а не помогать роженице? На Урале я слышал в русской деревне пословицу: «Коза не разродится — идет к овце-повитухе».

Латинское слово «вита» — жизнь, вероятно, было причиной появления и «повити», и «повитух».

Этот книжный термин стал основой для русского слова «обитать»— жить (обвитать), «обитель»— место жизни (обвитель) и, наконец, поэтического «витать»— находиться, жить, обитать (ср. витает в облаках).

Это заимствованное слово не выдержало конкуренции общеславянского омонимичного «вить» (свивать, веять) и сохранилось лишь в отдельных конструкциях.

Слово «повиты» могло бы служить доказательством древности памятника. Если его не узнали сотни специалистов по древнерусскому языку за два века беспрерывного изучения «Слова» и бесчисленных источников по славянским языкам и говорам, то каким языковедом-гигантом должен был быть фальсификатор XVIII века, чтобы найти этот давным-давно забытый термин и употребить его в единственно возможном (в этом контексте) литературном значении.

Термин, надо полагать, уже в XII веке применялся редко, и то в литературном, книжном языке. Кажущаяся легкость прочтения гапакса[2] ввиду услужливой близости глагола «вить» обернулась непониманием. Метод «народной этимологии», примененный учеными, позволил им при взгляде сверху вниз увидеть лишь крышу неодноэтажной лексемы.

[1] **Срезневский И.** Материалы к словарю древнерусского языка. Т. 2, стр. 47, 999.

[2] Гапакс — термин, обозначающий редкое слово, вышедшее из употребления в современном языке, но встречающееся в отдельных памятниках литературы.

> А мои-то куряне — умелые воины:
> под (звуки боевых) труб рождены,
> под шлемами взлелеяны,
> с конца копья вскормлены.

...Автор «Задонщины» не обошел вниманием эпическую формулу. Он переносит ее в свое произведение и применяет для характеристики литовских союзников братьев Олгердовичей:

В разных списках «Задонщины» формула выглядит так:

«Те бо суть сынове храбры, кречаты в ратном времени и ведомы полководцы, под трубами, под шеломы злачеными в Литовской земли» (У).

«Те бо суть сынове храбрии, кречати в ратном времени, ведоми полководцы, под трубами и под шеломы возлелеяны в Литовской земле» (И-1).

«Ти бо бяше сторожевыя полкы на щите рожены, под трубами поютъ, под шеломы възлелеяны, конец копия вскормлены, с вострого меча поены в Литовьской земли» (К-Б).

«Тые ж бо есть сынове храбрии, родишась в ратное време, под трубами нечистых кочаны, коней вскормлены, с коленых стрел воспоены в Литовской земли» (С).

Переписчики явно перерабатывали не во всем ясные речения оригинала «Задонщины».

Список И-1 опускает непонятное «повиты»: «под трубами и под шеломы взлелеяны».

Список У опускает и «взлелеяны»: «под трубами, под шеломы злачеными в Литовской земле».

Список С создает четырехчлен, добавляя необходимое для эпического ряда начальное — «рождены»,— но, создав для нового глагола подходящее, на его взгляд, окружение (родишась в ратное время), «возлелеяны» он переводит — «кочаны»; из «конца» или «копья» производит непонятных «коней». Добавлены стрелы.

Наиболее близок к оригиналу в данном случае список Кирилло-Белозерского монастыря. Здесь мы видим уже пятичлен: рождены — поют — взлелеяны — вскормлены — поены.

Полагаю, что в авторском экземпляре «Задонщины» эпическая формула «Слова» была дополнена недостающими деталями по закону былинной поэтики. Если есть «вскормлены», должно быть и «вспоены», если есть «взлелеяны», то должно быть и начальное — «рождены». «Повиты» не было понято и превратилось в «поют» — несуразное в этом ряду. Но — как дань образцу. Близость музыкального термина «трубы» определило судьбу слова «повиты».

Таким образом, лексема из южнорусского диалекта XII века уже была непонятна в XIV веке на севере Руси. Не понята и современными исследователями, хотя все содержание контекста говорит об одном значении этого слова, возглавляющего эпический трехчлен: рождены — взлелеяны — вскормлены.

КОЛИ СОКОЛ В ЛИНЬКЕ БЫВАЕТ

Когда до великого князя Киевского Святослава Всеволодовича доходит известие о разгроме на Каяле и о том, что половцы направляются к русским границам, он произносит злато слово, в котором заявляет о готовности отстоять «родное гнездо» в следующих выражениях:

> А чи диво ся, братие, стару помолодити?
> Коли соколъ въ мытехъ бываетъ,
> высоко птицъ възбиваетъ; не даст гнезда
> своего въ обиду.

Мусин-Пушкин: «Но мудрено ли, братцы, и старому помолодеть? Когда сокол перелиняетъ, тогда онъ птицъ высоко загоняетъ и не даетъ в обиду гнезда своего».

Д. С. Лихачев перевел грамматически точнее:

> Когда сокол линяет,
> высоко птиц взбивает,
> не даст гнезда своего в обиду.

И пояснил: «Термин «в мытех» означает период линьки, особенно той, когда молодой сокол надевает оперение взрослой птицы. Взрослые соколы отважно защищают свои гнезда от более сильных хищных птиц (например, от орла-беркута)»[1].

Приведу из массы подобных же переводов один из последних — В. И. Стеллецкого: «А диво ли, братья, старому помолодеть? Когда сокол **перелиняет**, высоко птиц загоняет, не даст гнезда своего в обиду». (Подчеркнуто мной.— *О. С.*). Возврат к мусин-пушкинскому вольному переводу. Но комментарий писан как будто к лихачевскому:

«Мыть» или «мыт» — линение, линька, ежегодная смена перьев у соколов. Линяние характеризует зрелость и связанную с ней охотничью опытность сокола. Автор говорит о соколе, **«находящемся в мыте»** (подчеркнуто мной.— *О. С.*) В период линьки сокол находится около своего гнезда и охраняет его с особенной яростью, нападая на приближающихся к гнезду птиц»[2].

...Охота с ловчими птицами — древнейшая из охот.

Считают, что в Европу она пришла через южные русские степи из Азии. И много столетий была едва ли не главным развлечением знати в Германии, Голландии, Франции, Англии, Венгрии, Польше. Охота с ловчими птицами на лебедей, журавлей, уток, цаплей и коршунов ценилась больше других охот. И потому за хорошую ловчую птицу (из соколов чаще всего за кречета) платили огромные деньги... Нередко, заключая мир, какой-либо князь, государь или хан в одном из пунктов высокого соглашения требовал: «И прислать десять хороших кречетов».

После неудачной битвы с турками при Никополе (1386 г.) французский король Карл VI выкупил двух своих маршалов де-Бусико и де ля Тремогля за несколько кречетов. А герцог Бургундский добился освобождения своего сына у тех же турок за дюжину ловчих птиц. Иван Грозный, желая поладить с Англией, посылал в подарок королеве Елизавете русских кречетов, но отказал в этой же милости Стефану Баторию, написав: «Были прежде у меня кречеты добрые, да извелись».

На Руси сокол всегда был птицей высокочтимой. Уже на гербе Рюриковичей родовой эмблемой был сокол. Что касается соколиных охот, то о них летопись впервые упоминает в IX веке: «Олег в Киеве завел соколиный двор». Ярослав Мудрый учредил уже государственную соколиную службу с большим числом мастеров этого дела. Сокольники были людьми приближенными ко двору, среди них были любимцы царя, они пользовались почетом и множеством привилегий. Во главе дела был старший сокольничий — лицо, стоящее в одном ряду с окружающей государя знатью». В. Песков[3].

На фоне этого весьма содержательного сообщения хорошо смотрится информация из «Слова», свидетельствующая о знакомстве автора с соколиной темой. «Тогда пущашеть ѣ соколовь на стадо лебедей, который дотечаше, та преди песь пояше... Боянъ же, братие, не ѣ соколовь на стадо лебедей пущаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны въскладше: они же сами княземъ славу рокотаху»[4].

Неоднократно в разных метафорах участвует в «Слове» образ сокола. Изо всех птиц, упоминаемых в тексте, пожалуй, эта была наиболее знаема человеком той среды, которую скорее всего и представлял автор. Он, судя по многочисленным и довольно точным описаниям природы, был достаточно опытным натуралистом и едва ли допустил бы ошибку в передаче не им самим изобретенной, а скорее всего

[1] Слово о полку Игореве. М., 1961.

[2] Слово о полку Игореве. Перевод и комментарии В. И. Стеллецкого. М., 1967.

[3] «Комсомольская правда», 1971, 16 октября, «Ловчие птицы».

[4] ѣ — буква «и-десятеричный» под титлом означала цифру 10.

традиционной формулы. Он должен был знать, что мыт[1] — это **болезнь**. Когда птица линяет, она беспомощна. Линяющий, т. е. теряющий перья сокол не взлетает, не взбивает, не крушит врагов своих, а отсиживается в гнезде, моля своего пернатого бога только об одном, чтобы не тревожили его. Он беззащитен в этот период. Состояние у него «мутное». Именно в этом состоянии и изымают ловцы дикого сокола из гнезда. В Древней Руси ловцов кречетов называли «помытчики». Сокол линяет в своей жизни несколько раз. После **двух-трех** линек это уже боевая, могучая птица.

Это выражение «три линьки» хорошо известно профессиональным охотникам и сейчас. (Обобщающее число «три» выражать могло понятие «множество», а не конкретное число линек.) В тексте же речь идет о находящемся в «мыте» соколе, т. е. **линяющем**, а не **перелинявшем**.

Грамматическая форма вступает в противоречие с литературным смыслом контекста. В метафоре участвовать должен был образ многократно перелинявшего сокола.

Вероятно, следовало усомниться в правильности передачи оригинала переписчиком.

Старший из известных примеров определения линьки птицы относится к XV веку. В списке этого времени «Слова в неделю сыропустную» читаем: «мытятся яко ястреби и понавляются яко орли».

В. П. Адрианова-Перетц справедливо считает, что термин «мытиться», чтобы попасть в такой далекий от природоведенья жанр, как церковное поучение, должен был быть широко распространенным в народном языке, иначе само сравнение, рассчитанное на приближение религиозной темы к слушателю-читателю, осталось бы непонятным[2].

В XVII веке в высших кругах России интерес к соколиной охоте возрождается (возможно, в связи с тем, что ею увлекался царь Алексей Михайлович) и печатается «Урядник сокольничьего пути». Тогда-то в поздних списках «Повести об Акире» появляются вставки в старый текст, упоминающий о линьке сокола.

В одном списке: «он готов бысть на царскую службу, аки трех мытей сокол бывает, он не даст ся с гнезда своего взяти»[3].

Нет оснований полагать, что эти наблюдения помытчиков (трижды перелинявший сокол не даст с гнезда себя взять) и сокольничих (трех мытей сокол — готов к охоте) были сформулированы только в XVII веке. Сокольничья служба — отлов и приручение хищных птиц при княжеских дворах — практиковалась издревле. Поговорка и пословица могли войти в язык уже в веке X — XI.

В древнерусском письме, по заимствованной у греков традиции, в качестве цифр использовались буквы. Причем в глаголической системе — 28 букв алфавита, в кириллице — цифровое значение получали лишь буквы, заимствованные из греческого письма.

Так, оригинальная буква Б (буки) в кириллице не использовалась как цифра. Так же и Ж (живете) и др.

В глаголице этот принцип не соблюдался. И потому порядок любой буквы в алфавите придавал ей числовое значение. Аз — 1, буки — 2, веди — 3, глаголь — 4, добро — 5 и т. д. В кириллице: аз — 1, веди — 2, глаголь — 3, добро — 4.

Лишь буква «и-десятеричный» — в обеих славянских системах обозначала число 10, как в греческом письме.

Вероятно, глаголический принцип более удобный, «пальцевый»,

[1] Кстати, еще один пример древнего заимствования из латинского. Ср. mut — линяние: mutare — менять, сменять. Сравните — мыт, мыть, мытарить, мытарство, муть.

[2] **Адрианова-Перетц В. П.** Фразеология и лексика «Слова о полку Игореве». В кн.: Памятники Куликовского цикла. М.—Л., 1966.

[3] Памятники старинной русской литературы, вып. 11, СПб., 1860, стр. 368.

находил применение и в кирилловском письме. (Любопытно, что В. И. Стеллецкий при издании своего перевода допускает «глаголические» ошибки. В мусин-пушкинском издании числа переданы буквами под титлом: «чрьная тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти Д солнца». В копии для Екатерины переписчик расшифровал цифру — «четыре солнца». В. И. Стеллецкий, основываясь на «екатерининском» прочтении, правит мусин-пушкинский вариант: «Г солнца», и в своем переводе — «четыре солнца». По глаголическому «пальцевому» способу. В кириллице же Г три.

Такую же ошибку совершает Д. В. Айналов в статье «К истории древнерусской литературы[1]. Он приводит цитату из Радзивиловской летописи под 1141 годом: «егда же несяху ко гробу дивно знамение бысть на небеси и страшно: была солнца сияюще». И поясняет в скобках: («4»). На этой ошибке Д. В. Айналова другой исследователь Г. И. Имедашвили построил очень убедительную гипотезу. Прочитав «Слово» в переводе, он обнаружил «черные тучи с моря идут, хотят прикрыть четыре солнца» и сравнил их с четырьмя солнцами Д. В. Айналова. Этого оказалось достаточным для заявления «четыре солнца... не есть вымышленная аллегория, символ, метафора, а реальное событие, имевшее место в 1185 году перед битвой на Каяле»[2].

Увлеченный своей идеей, Г. И. Имедашвили идет, мягко говоря, на преувеличение: «русскими летописями в 1185 году отмечено появление четырех солнц». Однако такого сообщения нет ни в одной из изданных летописей.

Путали глаголическое и кирилловское правила даже летописцы.

«Ошибки в чтении цифр случаются часто. В древнейших кирилловских рукописях открыты случаи неверного перевода глаголических цифр оригинала (по большей части отдаленного) на кирилловские. Так, например, при переписке глаголического текста S вопреки кирилловскому счету принимается иногда за 8 (как в глаголице) вместо ожидаемого шесть»[3].

Знак «титло», который ставится над буквой, чтобы превратить ее в цифру, по наблюдению палеографов, часто терялся, не замечался переписчиками в «побледневшем, полусмытом, полустертом, замаранном письме» (В. Н. Щепкин).

Мне кажется, что в протографе «Слова» исследуемое место было писано так:

«Коли соколъ В мытей бываетъ, высоко птицъ възбиваетъ, не дастъ гнезда своего въ обиду».

Автор, переводя устную пословицу в письмо, применил при передаче числительного «трех» глаголическое правило (аз — 1, буки — 2, веди — 3). Переписчик или не заметил титло, или рукопись дошла до него уже без оного. Цифра превращается в букву, и он получает право подчинить «в мытей» возникшей новой грамматической ситуации и исправить на «въ мытехъ», добавив к букве «веди» недостающий ей твердый знак. Грамматически фраза стала правильной, но смыслово — парадоксальной.

[1] См. Труды отделения древнерусской литературы АН СССР, М.— Л., 1936, т. III, стр. 23.

[2] **Имедашвили Г. И.** Четыре солнца в «Слове о полку Игореве». В кн.: исследований и статей «Слово о полку Игореве». М.— Л., 1950, стр. 221.

[3] **Щепкин В. Н.** Русская палеография, М., 1960, стр. 151.

Святополк увозит с поля битвы тело тестя своего Тугрхана.

«Святоплъкъ повелея отца своего междю Угорьскими иноходьцы ко святей Софии къ Кіеву».

Так в мусин-пушкинском списке.

Необычный термин, не встреченный более в древнерусской письменности и в живых языках, взывает к исследователям. В. И. Стеллецкий: «В первом издании напечатано «повелея», но такого глагола нет. Следовательно, необходима конъектура (поправка). Принимаю поправку Потебни «полелея». Эта поправка принимается почти всеми современными комментаторами. Однако старая конъектура (1819) Пожарского (повеле яти), принятая акад. Ф. Е. Коршем (а в настоящее время также Д. С. Лихачевым и Л. А. Булаховским), должна быть окончательно отвергнута, если принять во внимание сохранение ритма... Поправка М. Максимовича «Ярополъкъ» вместо «Святоплъкъ» разрушает звуковую систему этого отрывка (разрушается аллитерация «Святоплъкъ — своего — святей Софии — Кыеву»). Поэтому, думается, текст должен читаться с этой минимальной поправкой Потебни. Так написал автор»[1].

Убежденно, но не убедительно.

В говорах глагол «лелеять» выступает в значении «лететь»: «а он (муж) уж прилелеял», «ох, детычка, как налелеяли к нам немсы у хату», «налелели овсы на гарот».

В тексте «Слова» — лелеять — укачивать («под шеломы взлелеяны», «лелеючи корабли на сине море»).

И если бы автор применил здесь глагол — «полелея», то, вероятно, в значении, не отличном от других случаев употребления в тексте.

А что если поверить написанию «повелея»? Но производить не от «велеть» (веление, воля), а попытаться использовать глагол — «вълечь», «влек». Этот смысл подсказывается содержанием отрывка.

Славянские формы глагола влечь (влекти) восходят к общему источнику велк (Фасмер). Возможен ли в древнеславянских диалектах полногласный вариант «велек»?

Может быть, эта форма еще сохранялась в говоре Автора и отразилась в «Слове»? Впрочем, возможно — авторская описка. Переписчику она не знакома. «Влек» он, наверное, скопировал бы правильно, но написание «велекъ» ему ничего не говорило. Он предположил описку. Сочетание «къ» в рукописном исполнении похоже на древнерусскую букву «иотированное а». И Переписчик получает вместо непонятного «повлекъ» слово «повелея», которое соотносится хотя бы со знакомым «повелел». Общий смысл фразы от этой конъектуры не прояснился, но первейшая задача Переписчика — сделать понятной лексему.

В итоге фраза оригинала мне видится такой:

Святоплъкъ повелекъ отца своего
междю Угорьскими иноходьцы...

Повез (поволок) убитого тестя своего Тугрхана на волокушеносилках между венгерскими иноходцами. Такой способ транспортировки убитых и раненых был принят в степи до недавнего времени.

...Из 2800 лексем «Слова» только четыре содержат в своем составе «КЪ» — «рекъ», «кобякъ», «гзакъ», «кончакъ». И я не уверен, что в

[1] Слово о полку Игореве. М., 1967, стр. 144.

этих случаях мусин-пушкинский список в точности копирует орфографию списка XVI века. Вполне возможно, что эти слова в списке XVI века были без редуцированного на конце. Есть доказательства того, что Мусин-Пушкин привнес в список орфографические правила своего времени. Так несколько раз он записывает: «оттвориша», и современные исследователи вынуждены, сохраняя в комментариях смущенное молчание, выправлять — «отвориша». В древнерусской письменности долгие согласные не обозначались. (Часто встречается в его списке и удвоенное «с» в слове «русский».)

Этой тонкости недоучел Мусин-Пушкин. Вполне возможно, что он не заметил в тексте нелюбви к сочетанию «КЪ» и простодушно проставил недостающий «ъ» там, где его не было.

Впрочем, Переписчик XVI века мог и «пропустить» такое окончание в имени «Кобякъ» из соображений этимологических: за несколько слов до фразы «падеся Кобякъ» Переписчик уже исполнил это имя с другим окончанием: «поганого Кобяка». Таким же образом написание «Кончакъ» подтверждалось примерами «Кончака», «Кончакови».

Слово «рекъ» семантически прозрачней, чем «рея». Мне непонятно только одно — как уцелел Гзакъ.

Гзакъ бежитъ серымъ влъком
Кончакъ ему следъ править къ Дону Великому.

Может быть, по аналогии с «Кончакъ»?[1]

[1] В летописях и «Слове» встречается необъяснимое написание этого имени — Гзя. (Реге Кончакъ ко Гзе...») Возможно, предшествовало — Гзкъ?

НЕУВИДЕННЫЙ ПЕРЕВОДЧИК

Десятки писателей и ученых переводили «Слово» с древнерусского на современный. Во главе этого перечня имен можно было бы поставить имя Переписчика XVI века, если бы оно было известно. Он первым предпринял попытку перевести «Слово» на язык своего века.

Литературное произведение исторически обусловлено, неповторимо; между оригиналом и списком не может быть полного тождества, невозможно сохранить полностью специфичность подлинника. Такая задача практически граничила бы с требованием фотографической дословности, машинного копирования. Такого уровня дубликации не могли достичь даже ученые — переписчики XVIII века, которые уже относились к «Слову» как к памятнику бесценному. Расхождения между мусин-пушкинским и екатерининским списками значительны.

Перед П-16 не ставилось требования натуралистически точно передать оригинал со всеми подробностями «ошибок». «Слово» предназначалось не для науки (которой еще не существовало), а для бытового чтения. И потому задача П-16 формулировалась просто — старую повесть сделать понятной читателю XVI века. Он выступал одновременно как переводчик и как комментатор. Такой подход приводил к художественному пересозданию типичных черт оригинала. В частности, к переосмыслению непонятных образов, к домыслу.

Литературное произведение черпает содержание из общественного сознания, а реализует его с помощью средства общения — языка; эта

конкретизация не искажает действительности, только если общественное сознание и средство общения у автора и читателя едины.

По мере развития общественного сознания народа, в среде которого возникло произведение, содержание его в некоторых частях устаревает, становится непонятным и вызывает превратные толкования: так устаревают исторические реалии, особенности отношений между людьми и пр. Развивается и язык, главным образом его стилистика: выражение, использованное автором как просторечие, так и воспринимающееся современным автору читателем, может потерять просторечный характер, а то и вовсе превратиться в архаизм. Поэтому нынешний читатель воспринимает подлинник искаженно, а переводчик должен бы исходить из первичного — неискаженного — восприятия,— говорит теоретик перевода Иржи Левый[1].

Переписчик, как читатель XVI века, воспринимал многое в подлиннике XII века искаженно. Специфические выражения, характерные для авторского диалекта, представляли бессодержательную форму, поскольку не могли быть конкретизированы в восприятии Переписчика. Он не всегда заменял форму, но наполнял ее новым содержанием, используя все доступные ему средства.

Расхождения между лаконичными фразами подлинника и описательным пространным толкованием в списке-переводе одна из труднейших проблем при работе над древнейшими поэтическими текстами. Здесь очень часто один и тот же персонаж или предмет обозначается по-разному, порой просто намеками или косвенными указаниями, которые понятны лишь тем, кто хорошо знает историю и мифологию. И, добавим,— палеографическую традицию.

При решении проблемы Переписчика, которая существует, к сожалению, незаметно для исследователя, необходимо учитывать и следующие практические моменты, возникающие в процессе работы переводчика.

От оригинального художника требуется постижение действительности, которую он изображает, от переводчика — постижение произведения, которое он передает. Хороший переводчик должен быть хорошим читателем.

...Проникновение переводчика в смысл произведения проходит, грубо говоря, на трех уровнях.

Первой ступенью является дословное понимание текста, т. е. понимание филологическое. Филологическое постижение не требует от субъекта никаких особых данных, кроме специальной подготовки и ремесленной практики. На этой ступени причины переводческих ляпсусов чаще всего следующие:

А. Омонимические ошибки.

1. Неправильное решение при выборе частного значения слова.
2. Принятие одного слова за другое, сходно звучащее.
3. Замена иноязычного слова сходнозвучащим словом своего языка.

Б. Ошибки из-за неправильного усвоения контекста.

4. Неправильное включение слова в реальный контекст произведения (непонимание реалий).
5. Неправильное включение слова в систему авторских взглядов (непонимание замысла).

Вторая ступень проникновения в авторский замысел. При правильном прочтении читатель постигает стилистические факторы языкового

[1] Иржи Левый. Искусство перевода. М., 1974, стр. 130.

выражения, т. е. настроение, ироническую или трагическую окраску, наступательный тон или склонность к сухой констатации и пр.

Третья. Через постижение стилистического и смыслового наполнения отдельных языковых средств и частных мотивов переводчик приходит к постижению **художественных единств**, т. е. явлений художественной действительности произведения: характеров их отношений, места действия, идейного замысла автора. Этот способ постижения текста наиболее труден, поскольку переводчик, как и каждый читатель, тяготеет к атомистическому восприятию слов и мотивов, и необходимо развитое воображение, чтобы целостно воспринять художественную действительность произведения. Не составляет труда, например, схватить стилистический строй одной реплики, но трудно из всех реплик и действий персонажа составить себе представление о его характере. Воображение необходимо переводчику не менее, чем режиссеру, без него трудно добиться целостного постижения подлинника. Под обычным требованием к переводчику — ознакомиться с реалиями среды, изображенной в оригинале,— подразумевается необходимость непосредственно изучить действительность, отраженную автором, чтобы воссоздать ее отражение при переводе.

Во всех случаях переводческого непонимания действуют два фактора: неспособность переводчика представить себе изображенную в произведении действительность или мысль автора и ложные семантические связи, на которые наводит язык оригинала, будь то случайные омонимы или подлинная многозначность текста...»[1].

[1] **Иржи Левый. Указанное сочинение,** стр. 60—61.

Я так обильно цитирую положения, высказываемые теоретиком художественного перевода, потому что они целиком приложимы и к работе нашего Переписчика. Мы встречаем в его списке ляпсусы, типичные для переводческой практики: и омонимические ошибки, и ошибки из-за неправильного усвоения контекста. Сталкиваемся со случаями явного непостижения художественных единств «Слова»: образов Автора, Игоря, Бояна, Святослава Всеволодича, отношений этих персонажей между собой и сложное авторское отношение к проблеме Поля и, как следствие,— непонимание идейного замысла автора, выпукло проявляющее себя в комментариях и дописках Переписчика.

Исследователи несправедливо приуменьшают роль Переписчика. Почему-то выгодней видеть в нем копииста и не больше, вопреки известному положению — **копировалось механически, почти машинно лишь священное писание;** даже клякса чернильная, сделанная в ранней копии, повторялась последующими книгописцами; произведения же светской литературы **не копировались, а переводились** на язык переписчика. Переписчик был волен сокращать оригинал и вносить дополнения, расшифровывать имена и пояснять реалии. «Слово» не избежало участи всех других произведений жанра, подвергшихся размножению. И с этим печальным фактом, как бы ни хотелось в него не поверить, приходится соглашаться. Ибо обусловлен он исторически. Нет никаких оснований полагать, что к «Слову о полку Игореве» Переписчики отнеслись иначе, чем к другим многочисленным произведениям литературы несвященного содержания.

Мы вправе считать «Слово» памятником языка и поэзии двух эпох — XII и XVI веков и относиться к Переписчику не как к бездумному копиисту, а как к творчески активному интерпретатору, редактору и в некоторых случаях — соавтору.

Только такой реалистический подход позволяет правильно понять судьбу «Слова» и прочесть текст. А установив механику методов Переписчика — отделить зерно оригинала от плевел, попытаться воссоздать подлинный текст XII века. Постскриптум: Переписчик XVIII века (Мусин-Пушкин) тоже внес несколько своих пояснений в текст «Слова». Они легко вычленяются. Мусин-Пушкин знал историю лучше, чем его предшественник: он пользовался несомненно более широким кругом материалов при работе над своим списком. Он часто уточняет персоналии «Слова». В одном месте четко выделена вставка Мусина-Пушкина.

Пети было песь Игореви
того (Олга) внуку.

Случайно уцелели скобки. Если бы Мусин-Пушкин хотел сделать явным свое написание, стилиз «Ольга» был бы излишен. Достаточно «Олега», чтобы не понадобились никакие скобки: написание выдавало бы новую орфографическую норму.

В большинстве других подобных случаев Мусин-Пушкин устранил скобки, и его добавления вошли в авторский текст. Возвращаю утраченные скобки:

...Были вечи Трояни,
минула лета Ярославля,
были плъци Олговы,
(Ольга Святъславличя)
Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу
коваше.

...Два солнца померкоста,
оба багряная стлъпа погасоста,
а съ нимъ молодая месяца
(Олегъ и Святъславъ) тьмою ся
поволокоста...
...Певше песнь старымъ княземъ,
а потомъ молодымъ пети:
слава Игорю Святъславличю!
Буй туру Всеволоду!
(Владимиру Игоревичу!)
Здрави, князи и дружина...

И в самом начале:

...трудныхъ повестии о пълку Игореве,
(Игоря Святъславлича)...

Мусин-Пушкин хотел скрыть свое участие в тексте. Переписчик XVI века не скрывал. Перед ними стояли разные задачи.

В великом «Слове о полку»,
как буйная трава,
вросли в славянскую строку
кыпчакские слова.

С. МАРКОВ

В число тюркизмов, которые подлежат здесь рассмотрению, я не включаю лежащие на поверхности русского текста тюркские лексемы. Это всем известные и не однажды рассмотренные термины, нуждающиеся не в комментариях, а в простом переводе — яругы, япончицы, ортьмы, оксамиты, хоругви, чага, кощей, когань, ногата, котора, крамола и другие. Некоторыми из них занимались Мелиоранский, Корш, Ржига. Правда, их переводы слов «оксамиты», «хоругвь», «кощей» неточны, но останавливаться на разборе этих переводов я не стану, хотя непроясненность такого тюркизма, как «кощей», имеет важное значение для понимания «Слова».

Тур на бороне

В «Слове» мы встречаемся с несколькими случаями кальки. Одни сделаны Переписчиком (они, как правило, создают темные места в тексте), другие принадлежат литературному языку эпохи Киевской Руси и употребляются автором привычно и не создают завихрений в контексте. К последним относится «злат стол» — княжеский престол (алтын такта), «беля» — серебряная монета («акша»).

Стремление перевести каждое узнанное им тюркское слово приводит Переписчика к необходимости грамматически устраивать свой перевод в контексте. Иногда это ему удается. К несчастью для авторского текста. Но чаще — нет. Знание тюркского языка у Переписчика весьма поверхностно. Ему, вероятно, знакомо одно из наречий. Поэтому некоторые тюркские термины, употребленные автором в гуще русской речи, Переписчик не опознал. Он признает их только в скоплении, как, например, в описании добычи первого боя и в перечислении «былей» Ярослава. Отдельно встречающиеся «кощей», «яруги» и некоторые другие прочно вошли в литературный язык XVI века и потому не требуют перевода.

К числу неувиденных Переписчиком тюркизмов я отношу прозвище Всеволода — буйтур. Летописи благосклонно отзываются об этом князе, отмечая его воинскую доблесть и мужество. В «Слове» описанию его ратных подвигов уделено немало места. Видимо, не случайно Автор называет Всеволода «буйтуром». Это находка для тюркологов, мечтающих понять этимологию слова батыр, (батур, боотур, богатур, богатырь). «Слово» единственный памятник, где отразилась праформа этого популярного после XIII века термина. В источниках X века его еще нет. Родился он скорее всего в кипчакской среде в XI — XII веках (буй-туре — буквально «высокий господин»). Сохраняет черты языка волжских тюрков.

...Игорь ждетъ мила брата Всеволода.
И рече ему буйтуръ Всеволодъ...

Мусин-Пушкин попытался осмыслить это необычайное имя: «Буй — значит Дикий, а тур — вол. Итак, Буйтуром, или Буйволом, называется здесь Всеволод в смысле метафорическом, в рассуждении силы и храбрости его. Вероятно, что из сих двух слов составилось потом название богатыря, ибо другого произведения оному слову до сих пор не найдено. Всеволод Святославич, меньший брат Игорев, превосходил всех своего времени князей не токмо возрастом тела и видом, которому подобного не было, но храбростию и всеми душевными добродетелями прославился повсюду».

Типичный пример «народной этимологии». Великий Господин превратился в Дикого Вола. Переписчик XVI века и автор «Задонщины» так же не поняли этого термина и подвергли его ложному осмыслению. Редкий случай совпадения трех разных по времени оценок.

Ни один из позднейших толкователей не увидел в «буйтуре» постоянного сочетания. Эпитет «буй» в дальнейшем тексте «Слова» произвольно заменяется Переписчиком на другой, созданный им по аналогии — яр, также в форме краткого прилагательного. Это выдает его понимание эпитета «буй» (буй — буйный, следовательно, «ярый» должен быть в форме «яр»).

...**Яръ туре** Всеволоде,
стоиши на борони,
прыщеши на вои стрелами,
гремлеши о шеломы мечи
харалужными.
Камо **Туръ** поскочяше...
Тамо лежатъ поганыя головы Половецкия;
поскепаны саблями каленымы шеломы Оварьскыя отъ
тебе **Яръ Туре** Всеволоде.

Переписчику не понравилось постоянное употребление композиции «буй-туре», и он решается разнообразить, обогатить «бедную» на эпитеты авторскую речь. В одном случае, как видим, он вовсе отказывается от эпитета. В протографе, я полагаю, значилось:

1) Буйтуре Всеволоде,
стоиши на борони.
2) камо буйтуре поскочяше...
3) от тебе, буйтуре Всеволоде...

...Автору «Задонщины» понравилось необычное сравнение русского князя с диким быком. Эпитет, правда, показался ему не совсем удачным. Если бы он читал «Слово» в редакции XVI века, то, несомненно, «яр тур» ему пришелся бы по душе. Но, видимо, в том списке, которым располагал автор «Задонщины», яр тура еще не было.

«...Не тури возгремели на поле Куликове побежени у Дону великого.

То ти не туры побежни, посечени кнзи рыскыя и воеводы великог кнзя и кнзи белозерстни посечены от поганых татар». (И-1). «Всталъ уж туръ оборонъ» (И-1). «Уже сталъ во ту на боронъ» (И-2). В этом списке «тур» более не встречается. В списке С нет «тура на бороне», но зато:

«не турове рано возрули на поли Куликове, возрули воеводы...» В списке К-Б уже нет и этого примера. В наиболее полном списке (У): «Уже бо ста туръ на оборонь». «Не тури возгремели у Дуная великого на поле Куликове...» Мы можем сделать вывод, что в протографическом тексте «Задонщины» в двух местах упоминался «тур». Один раз обобщающе, без эпитета: «Не тури взревели у Дона». И с эпитетом: «уже стал буй тур на борони».

В процессе переписки «буй тур» искажался по непониманию («уже стал во ту на борон»), толкуясь, эпитет превращался в грамматическую частицу «уже бо ста тур на оборонь». В заключение скажем, что в оригинале «Слова» вместо «яр туре Всеволоде, стояши на борони» было, по всей видимости, «буйтуре Всеволоде...» Во всяком случае, повторяю предположение — автор «Задонщины» видел тот список «Слова», в котором «яр тура» не было.

Мазон считает, что «буй тур» и «яр тур» доказывают позднее происхождение «Слова». Эти образы навеяны фальсификатору литературой об Америке и индейцах: «Эпитет, присвоенный Всеволоду,— вроде индейского прозвища. Он является, вероятно, одним из наиболее странных изобретений автора «Слова»... Следует отметить, что «Слово» обильно употребляет выражение «буй». И нужно признать, что буй тур и яр тур — нововведения, звучащие фальшиво. Присутствие их меньше удивило бы в описаниях путешествия в Америку, чем в средневековой русской поэме. Придирчивый изыскатель мог бы напомнить с этой точки зрения, что эти имена на манер индейских могли возникнуть в результате влияния двух литературных течений, бывших в моде в XVIII веке: это, во-первых, книги о морском разбое и морских разбойниках, с одной стороны, и описания путешествий в Америку — с другой»[1].

[1] Mazon A., Le slovo d'Igor, 1940, стр. 66—67.

И действительно, если «буй туре» понимать по-русски — «буйный бык», то это, несомненно, подозрительный эпитет, нехарактерный для славянской поэзии в целом.

А. Мазону возражают: в старых русских текстах встречаются «подобного рода клички», например, воевода «Волчий хвост», встречаются личные имена, заимствованные из мира животных («Ворон», «Волк», «Собака», «Воробей», «Бык» и т. д.)

Но, во-первых, эти имена — клички простолюдинов, а не князей. Во-вторых, термин «тур» даже не в качестве имени-прозвища, а в обычном употреблении никогда не встречается с определением, не говоря уже о таких необычных эпитетах, как «буй» или «яр». А в эпоху постоянного эпитета такое разнообразие — неоправданная роскошь: «комонь» всегда «борзый», «волк» всегда «серый» (или «босый», от тюркского бос — серый), ворон всегда «черный». Море — синее, трава — зеленая, солнце — светлое.

Чем же заслужил не очень популярный «тур» — буйвол сразу два эпитета, и притом такие редкие. Если бы Автор хотел передать прилагательное «буйный» в краткой форме, то, вероятно, получил бы «буйн», «буен», а не «буй».

...Святослав Киевский трижды рекомендует Игоря «буим». Мне кажется, термин «буй» входил в число титулов, выражая какую-то ступень княжеской иерархии в Киевской Руси.

В тюркских языках варианты буй, бий, бай, бей, бой — применялись к людям, пользующимся властью и уважением.

В Златом слове есть случаи оригинального употребления интересующего нас эпитета. Святослав, обращаясь к князьям с призывом встать на защиту Русской земли, находит каждому достойное, уважительное определение. И вдруг почему-то к четырем князьям он обращается одинаково.

...Ты буй Рюриче и Давыде!
Не ваи ли злачеными шеломы
по крови плаваша?
...А ты буй Романе и Мстиславе!
Храбрая мысль носить вамъ умъ на дело.

Переводят так, как и понимал Переписчик-16:

...Ты буйный Рюрик и Давыд!
...А ты буйный Роман и Мстислав!

Много буянов в «Слове». От Святослава ожидаешь более точного обращения. Местоимение множественного числа «вы» ему, как и Автору, известно, и в данных примерах оно было бы к месту.

В оригинале, возможно, было следующее:

...Аты буй Рюриче и Давыде!
...Аты буй Романе и Мстиславе!

«Аты буй» переводится с тюркского: «Именитые», букв. «Высоко именные»:

...Именитые Рюрик и Давыд!
...Именитые Роман и Мстислав!

Действие метода народной этимологии, примененного Переписчиком, а вслед за ним и остальными исследователями, прекрасно иллюстрируется этим примером.

Тюркизм «аты буй» мог сохраниться благодаря своей невидимости: простота и благозвучие (вернее — созвучность славянским лексемам) спасли термин от калькирования или переделки.

Восьмимысленность

Святослав обращается к галицкому князю со словами: «Осмомысл Ярослав!»

Мусин-Пушкин никак не объясняет прозвище.

Свод толкований эпитета «Осмомысл» дан В. Н. Перетцем. Лучшее из них предложил Ф. И. Покровский. По его мнению, это

прозвище было как бы обобщением «восьми наиболее важных забот, которые занимали князя Ярослава в его государственной деятельности»[1]. Современные комментаторы согласились с этим объяснением. В. И. Стеллецкий: «Ярослав был крупным государственным деятелем, известен был своим красноречием. Все это и выразил автор «Слова» эпитетом Осмомысл (т. е. заботящийся одновременно о восьми различных делах), который в других древнерусских памятниках не встречается»[2].

Таким образом, «Осмомысл» понят как «Восьмимысленный».

...В казахском эпосе, если хотят высоко представить мужа всесторонне развитого, умелого и в бою, и в искусстве, в труде, в красноречии и науках, то называют его «Сегіз қырлы». Эпитет буквально переводится современным русским словарем «Восьмиугольный», или «Восьмигранный».

Древнерусским языком перевелось бы — «Осмомыслый», если бы «мыс» означало «угол», как например, в современных говорах... Тогда бы — калька. Авторская? Едва ли: тюркские выражения характеризуют речь Святослава. Ни в каком другом куске «Слова» мы не встретим такого скопления тюркских слов и фразеологизмов, как в отрывках, относящихся к Святославу (сон Святослава, толкование сна боярами, Златое слово).

Переписчик старательно переводит узнанные им тюркские речения, выхолащивая особый колорит **прямой речи** киевского князя и бояр.

[1] **Ярослав Осмомысл.** Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевского. Сб. ОРЯС АН, т. 101, № 3, стр. 199—202.

[2] Слово о полку Игореве. М., 1967, стр. 171.

Растереть на кусту

Особый интерес у меня вызывают «невидимые тюркизмы» в составе русских слов. Показатель высшей степени усвоения заимствованной лексемы.

В диалекте автора есть несколько слов с тюркскими основами — «припешали», «потручати», «расушась».

Припешали (препишали) — перерезали, от «пишь» — резать; расушась — разлетевшись, от «уш» — летать.

Один же глагол, на котором мне хочется остановиться, восстановлен недавно. Значение его понято из контекста, но этимологически не доказано: «река Стугна: худу струю имея, пожръши чужи ручьи и стругы ростре на кусту...»

Мусин-Пушкин: «река Стугна: она погубными струями пожирает чужие ручьи и разбивает струги у кустов...»

За время, прошедшее после первого издания, исследователям удалось привести этот отрывок в следующий вид: «река Стугна, худу струю имея, пожреши чужи ручьи и струги, **ростреча** к усту...»

В. И. Стеллецкий: «река Стугна: скудную струю имея, поглотив чужие ручьи и потоки, расширяясь к устью...»

«Ростре на кусту» переводили как «растерев на кусту», «простерев на кусту», имея в виду значение слова «стругы»— корабли. Потом выяснилось, что «стругы» синонимично лексеме «ручьи» — в источниках эти написания заменяют друг друга.

Я предлагаю видеть здесь билингву, скрещение двух синонимов.

Таких пар в «Слове» несколько: «туга и тоска» (туга — тоска), «свет — заря», «свычаи — обычаи». В этот ряд помещаю — «ручьи и стругы» («ручьи — стругы»).

Переводим: «река Стугна скудную струю имея, вбираешь чужие ручьи — струги, ростреча к устью».

Стеллецкий угадал близкое значение глагола. Оно подсказывается содержанием отрывка. Но корень «трен» более нигде не встречен.

Может быть, «ростерена»? Контекст противоречит этому смыслу.

В казахском языке есть «терен» — 1) глубокий, 2) содержательный. Терен су — глубокая вода. Терен ой — глубокая мысль; терен мағналы сөз — слово с глубоким смыслом. Но значение «глубокий», по-моему, вторично. Слово происходит от «тер» — собирай. Терен — причастие прошедшего времени, буквально «собранное», «содержательное», «умноженное». Оно могло одинаково выступать и в значениях — «увеличенное в объеме», «расширенное в плане». Мне представляется возможным, что вначале это образование выражало именно увеличение площади (если применить его к земле, к рекам и подобным объектам).

Диалектная форма тірін (татарское), вероятно, предшествовала славянской палатализованной — «ширина».

Таким образом, считаю, что **ростреча** могла быть старой формой глагола **расширена.**

«Слово» — уникальный памятник, в котором сохраняются многие тюркские лексемы в их самых первых значениях. Невидимый тюркизм — одно из главных доказательств подлинной древности «Слова о полку Игореве», в основе языка которого лежит южнорусский диалект XII века.

ДО КУРИЦ ТМУТОРОКАНЯ

Всеслав «изъ Киева дорискаше до куръ Тмутороканя».

Мусин-Пушкин решил, что князь «рыскал до Курска и Тмутороканя», поэтому и писал «Куръ» с заглавной буквы.

Ныне принято объяснение Д. С. Лихачева —«до куръ=до петухов», подразумевая «до пения петухов».

Я предлагаю рассмотреть выражение «до куръ Тмутороканя» и с другой стороны. Есть тюркское слово «кура» — стена, ограда (в современном татарском — кура, в казахском — кора). Древность его доказывается тюркскими памятниками X—XI веков. Происхождение его прозрачно — от корня «кур» — строй, воздвигай; (курган — крепость, постройка)[1].

В «Слове» еще не употребляется лексема «стена» (она германского происхождения и пришла в русский язык позже). Ее эквивалент — «забрало» («въ Путивле на забрале»). Стена русского города Путивля — забрало; стена половецкого города Тмутороканя — «кура».

Родительный падеж множественного числа — «кур». Таким образом, перевожу: Всеслав «доскакал до стен Тмутороканя». «Кура» — еще один **невидимый тюркизм** «Слова». Переписчик мог уже и не знать древнего значения этой лексемы, но сохранил ее

[1] Подробнее см.: **В. В. Радлов.** Словарь тюркских наречий.

без перевода и толкования благодаря тому, что она звучала знакомо. В русском языке были формальные аналоги. По этой причине могли сохраниться и некоторые невидимые тюркизмы в «Слове» и прочих памятниках.

ПТИЦА ГОРАЗДА

Ни хытру, ни горазду,
ни птицю горазду
суда Божіа не минути.

Мусин-Пушкин: «Какъ бы кто хитръ, какъ бы кто уменъ ни былъ, хоть бы птицей леталъ, но суда Божия не минетъ».

Приведена ходовая церковная пословица. В одной из редакций «Моления Даниила Заточника» (XIII век) эта пословица выступает в таком виде: «Суда де божия не хитру уму ни горазну не минути».

Здесь опущена таинственная «птица горазда».

В. А. Жуковский и П. П. Вяземский предлагали читать «гораздый по птице», что могло, по их мнению, значить — умеющий гадать по полету птиц.

Другого объяснения не было.

Нам сегодня кажется естественным поклонение древних могучим зверям — тотемам. Даже кабана на знамени можно понять, все же с клыками. Но мы не можем понять египтян, которые обожествляли блохастого краснозадого павиана только за то, что он первый криками встречал солнце. И мы не можем понять фараонов, которые останавливали войско, чтобы не помешать священному насекомому скарабею сделать свое великое дело. Мы стыдливо прикрываем таинственной вуалью имени обыкновенного навозного жука, созидающего шарики. Магия знака была столь сильна, что этот скромный круглый комок навоза отождествлялся с самим солнцем. Сила формы превалировала над гнусным бытовизмом содержания.

Заурядный петух в Индо-Европе почитался как божество восходящего солнца, символ жизни и воскрешения на том же основании, что и египетский павиан. Именем петуха называли себя народы, и изображение его становилось гербами империй. Петуха вышивали на коврах и рушниках, он венчает крыши храмов и домов и могилы, пока его не заменит новый символ огня — крест, получивший имя свое от старого доброго петуха — солнца.

И вожди славянского христианства не стеснялись бороться с петухом. Они ему угрожали в своих церковных формулах страшными карами как самому главному врагу греческой религии.

Ни хытру, ни горазду,
ни птицю горазу
суда Божіа не минути!

Но серьезный ученый никогда не поверит в то, что такие солидные люди, как древнерусские отцы религии, могли себе позволить унизиться до теологических диспутов с какой-то пернатой тварью. Поэтому выражение из «Слова о полку Игореве» до сих пор не может уместиться

в сознании. Другое дело, если бы была названа мифическая птица Гаруда, известная по авторитетным индоиранским фольклорным источникам, или хотя бы таинственная Жар-птица, так нет же — курицын сын!

Культ сына Солнца — петуха был, вероятно, общим у иранцев, близких к Ирану тюрков и некоторых славянских племен.

Тюрки сохранили петуха — кораз, гораз, гаруз, кураз, каруз, хорус и т. п. Славянские формы, вероятно, были так же разнообразны. В «Слове» упоминается бог солнца — Хорос.

Пословица, приведенная в «Слове», не изобретена Автором. Она уже была в ходу, вероятно, не один век. «Гораздый» уже достаточно далеко ушло от кораз (гораз), а произносящий эту пословицу мог не улавливать прямой семантической связи рифмующихся слов.

СОН СВЯТОСЛАВА

А Святъславъ мутенъ сонъ виде. «В Кіеве на горахъ си ночь съ вечера одевахъте мя,— рече,— чрьною паполомою на кроваты тисове; чрьпахуть ми синее вино съ **трудомь смешено**, сыпахуть ми тъщими **тулы** поганыхъ **тльковинъ** великый женчюгь на лоно и негують мя. Уже дьскы безъ **кнеса** вмоемъ тереме златовръсемъ. Всю нощь съ вечера **босуви врани** възграяху у **Плесньска на болони беша дебрь Кисаню и несошлю** къ синему морю».

И ркоша бояре князю: «Уже, княже, туга умь полонила. Се бо два сокола слетеста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомь Дону. Уже соколома крильца припешали поганыхъ саблями, а самаю опустоша въ путины железны». (Подчеркнутые места подлежат объяснению.)

Не будем отвлекаться на перевод Мусина-Пушкина, он почти без изменения повторился в последующих. Приведем один из самых поздних и лучших переводов, выполненных группой ученых — Л. А. Дмитриевым, Д. С. Лихачевым и О. В. Твороговым. «А Святослав смутный сон видел в Киеве на горах. «Этой ночью с вечера одевали меня,— говорил,— черной паполомой на кровати тисовой, черпали мне синее вино, с горем смешанное, осыпали меня крупным жемчугом из пустых колчанов поганых толковин и нежили меня. Уже доски без князька в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны граяли у Плесньска на лугу, были в дебри Кисановой и понеслись к синему морю».

И сказали бояре князю: «Уже, князь, тоска ум полонила. Вот слетели два сокола с отцовского золотого престола добыть города Тмуторокани или хотя бы испить шлемом Дона. Уже соколам крылья подрезали саблями поганых, а самих опутали в путы железные»...[1]

Пояснения к переводу принадлежат О. В. Творогову и отражают проделанную несколькими поколениями ученых работу по установлению значений некоторых мест приведенного отрывка. Но, к сожалению, комментарии О. В. Творогова страдают, на мой взгляд, излишним лаконизмом. Например: «Великый женчюгь — в русских поверьях видеть во сне жемчуг: слезы, печаль» (стр. 498).

Мы сейчас в состоянии задать вопрос и ответить на него, почему именно **такой** сон увидел Святослав Киевский? Случайна ли символика этого сна?

[1] Слово о полку Игореве. Комментарий О. В. Творогова. М.— Л., 1967, стр. 61.

Святослав увидел во сне, что **его готовят к погребению по тюркскому, тенгрианскому обряду.**

Подробнее о формуле обряда можно узнать в исследовании «Шумер-наме» (глава «Тенгрианство»), которое печатается во второй части этой книги.

Кто участвовал в обряжении? Двоюродные братья, Игорь и Всеволод.

Си ночь съ вечера одевахъте мя,—рече...

Полагаю, что в пергаментном списке термин «Сыновчь» (племянники, двоюродные братья) оказался в конце строки и был сокращен в аббревиатуре «СНЧЬ».

Следующая строка начиналась: «съ вечера», и Переписчик, расшифровывая титлованное написание, учел это соседство, которое подсказало ему самое близкое решение — «Си ночь».

«Синее вино с трудомь смешено».

Удивительный образ родили переводчики: «темно-голубое вино с горем смешено». Подобного нет в мировой поэзии, начиная с древнеегипетских гимнов. Волшебство этой строки снимается после этимологического анализа слов, придающих ненужную абстрактность выражению.

«Синее вино» достаточно оговорено[1]. «С трудом» — не понятно, ибо слишком поспешно переводчики поверили созвучию с современной лексемой «труд» — работа.

[1] См. подробнее: **О. Сулейменов.** Синие молнии и синяя мгла. «Простор», 1968, № 5.

«С работой смешено!» — звучит достаточно абстрактно, поэтому и придумали новый смысл общеизвестному слову «труд» — горе, скорбь, чтобы как-то оправдать употребление в этом контексте.

И опять — Переписчик.

В оригинале ожидается — «синее вино **съ трутомь** смешено». Автор мог употребить здесь характерное тюркское слово «турта» — осадок, подонки (чагатайское), турту — то же (османское). Например: шарап туртусу — осадок вина. Происходит слово от тур — стоять, отстаиваться.

Таким образом: «огненное вино с осадком смешенное». А слово «труд» — работа, дело происходит от другой тюркской формы. «Түрт» — 1) толкай, 2) тыкай, 3) бей (общетюркское). Сравните русское простонародное «трутить» — толкать, давить; украинское «трутити», «тручати»— толкать, бить; чешское «троутити» — толкнуть.

В «Слове» есть любопытный глагол — «потручати», смысл которого выступает из контекста — «бить».

В древнеславянском рабовладельческом обществе каждый класс вырабатывал свой термин для обозначения понятия «дело». Класс рабов — работа (от «рабити»). Класс воинов — **трут, труд** (от «трудити» — бить, воевать).

Я считаю, что первым значением слова «труд» было — война, ратное дело. В мирное время название воина «трутень» получило народное переосмысление — дармоед, тунеядец. (Вероятно, еще в общеславянскую эпоху, на что указывает широкое распространение

значения. Сравни словацкое — труд — дармоед, древнечешское — трут и т. п.)

Развитие значений «война=работа» характерно для многих языков на определенной стадии развития общества. Сравните, например, тюркское «ис» — 1) битва, война; 2) дело, работа, труд.

...Автор «Слова» знал две неомонимичные формы «труд» — война и «трута» — осадок. И очень точно поместил их в нужные контексты:

1) «Не лепо ли ни бяшеть, братие, начати старыми словесы **трудныхъ повестій** о пълку Игореве» (воинские повести);

2) «Синее вино съ **трутомь** смешено» (с осадком).

Переписчик, не узнав второй формы, посчитал ее за ошибочную передачу первой.

Кто сыплет жемчуг на грудь Святослава и ласкает его? Тощие вдовы язычников, т. е. половцев.

Тул — вдова (общетюркское). Еще один невидимый тюркизм.

Переписчик и Переводчики ориентировались на древнерусское «тула» — колчан и создали очередной алогичный образ: «тощими (значит, пустыми) колчанами поганых язычников сыплют крупный жемчуг на грудь мне и нежат меня».

В «Слове» дважды встречаются «тули»:

...луци у нихъ напряжены,
тули отворены.
...лучи съпряже,
тугою имъ тули затче.

Значение — колчаны — создается всем содержанием контекста. В этих прозрачных примерах мы видим слово другое, отличное от **тулы** сна Святослава.

Автор различал написания **тули** и **тулы.** Единственное число могло быть соответственно **тула** и **тул.** В протографе, вероятно, значилось: «Сыпахуть ми тъщии тулы поганых тлъковинъ великый женчюгь на лоно и негуютъ мя», т. е. «сыплют мне тощие вдовы поганых язычников жемчуг на грудь и нежат меня».

...Этот отрывок густо насыщен тюркизмами: 1) тлъковин — калька с «язычник», 2) женчюгь — кипчакская передача китайского «йенчу», 3) тул — вдова.

Двуязычный читатель XII века иначе понимал содержание сна Святослава, чем моноязычный читатель XVIII и последующих.

Сотрудничество двоюродных братьев Святослава с худыми вдовами-половчанками о многом говорит. Братья и вдовы (обида половецкая) обряжают его к погребению по тенгрианскому (половецкому) обряду.

«Уже дьскы безъ кнеса вмоемъ тереме златовръсемъ».

«Дьскы» комментаторами понято как «доски».

«Кнес» — имеет несколько толкований: 1) конек крыши, 2) верхнее бревно под коньком крыши. «То, что Святослав видит во сне исчезновение «кнеса» со своего терема, не только вполне естественно (?!), но и окончательно разъясняет ему смысл всех предшествующих

примет... «кнеса» нет, доски, которые он скреплял, повисли в воздухе, и сомнений не остается: Святославу грозит гибель, смерть»[1].

Объяснение вполне приемлемое. Смущает только то, что формы «дьскы» (т. е. «диски» или «дески») и «кнес» — необычны для восточнославянских языков и ни одним памятником древнерусской письменности не подтверждаются.

Для западнославянских языков эти написания обычны (например, в старочешском «деска» — 1) стол, 2) доска; «кнез» — князь).

Колебания в семантике первого слова объяснимы. Оно пришло в славянские языки из германского, где первоначально выступало в значении «плоскость», от которого развились конкретные — стол, блюдо. (Сравни англосаксонское «диск» — стол, блюдо; древневерхненемецкое «тиск» — стол, доска. Первоисточник латинское «дискус» — круг).

Подобный переход значений наблюдается и в тюркском «тахта» — 1) престол, 2) доска.

...Слово «кнес», скорее всего, устная форма западнославянской лексемы «кнез» — господин, князь.

«Дьскы безъ кнеса» похоже на идиоматическое выражение — «престол без князя».

Здесь не место подвергать анализу все термины, входящие в систему обозначения государственных понятий. Не все слова занимают в этой системе одинаковое место. Одни из них являются основными терминами группы, составляя костяк государственной лексики («князь», «великий князь», «стол», «злат стол», «боярин»), другие выступают лишь ситуативно в качестве заместителей общепринятых терминов («когань», «блъван», «буйтур», «были» и пр.).

В Киеве XII века, вероятно, сложилась политическая ситуация, при которой лексикон боярский мог пополниться западнославянскими терминами в узко специальных значениях: «дьскы» — киевский престол, «кнес» — великий князь киевский.

Я предполагаю, что фразеологизм этот был представлен в самом тайном разделе боярского дипломатического словаря. Нам известна важная часть этого лексикона: «Вся Русская земля и черные клобуки хотят тебя».

Этими словами приглашали бояре нового великого князя. Может быть, в формулу приглашения входила и эта зловещая фраза: «уже дьскы безъ кнеса», означавшая, что предыдущий великий князь уже устранен или должен быть устранен. Этой формулой западники, составлявшие ядро киевского боярства в конце XII века, пользовались как орудием в дворцовых интригах.

Жертвой тайной политики бояр, ориентирующих взоры престола на запад, пали Юрий Долгорукий и его сын Глеб, стремившиеся сохранить союз с Полем.

«Уже дьскы безъ кнеса!» — возможно, предупреждение великому князю, не согласному с боярством.

Неудивительно, что страшная фраза могла присниться Святославу наряду с другими грозными символами. Степь, обиженная сыновцами, угрожает ему политической смертью,— вот, по-моему, смысл образной и лексической атрибутики сна Святослава.

[1] Алексеев М. П. К «Сну Святослава» в «Слове о полку Игореве». В кн.: «Слово о полку Игореве». М.— Л., 1950, стр. 247—248.

«Всю нощъ съ вечера босуви врани възграяху у Плесньска на болони беша дебрь Кисаню и несошлю къ синему морю...» Самая сложная часть рассказа Святослава.

О. В. Творогов: «Предлагались различные исправления этого явно испорченного в мусин-пушкинском списке места. Большинство исследователей приняло лишь поправку «бусови» (т. е. «серые») и «не сошлю» на «несошася». Остальные поправки приняты лишь некоторыми комментаторами. Так, предлагалось читать: «беша дебрьски сани» с двумя толкованиями — «адские сани» или «живущие в дебрях змеи». А. С. Орлов предлагал перевод: «У Плесньска в преградье были в расселинах змеи и понеслись к синему морю». Более вероятно другое понимание текста: вороны «възграяху» у Плесньска, были в дебри (лес в овраге, овраг) Кисаней и понеслись к синему морю. Большинство ученых сходится во мнении, что Плесньск «Слова» — это плоскогорье вблизи Киева. Слово «Кисаню» Н. В. Шарлемань предлагал читать как «Кияню», по его мнению, «дебрь Киянь» — это лес в овраге, прорытом речкой Киянкой в окрестностях Киева. Перевод слова болонь (чаще — болонье) как «предгорье» не совсем точен. Болонь буквально —«заливной луг, низменность у реки»[1].

В. И. Стеллецкий: «Текст явно испорчен, что и затрудняло его понимание, поправки здесь необходимы. Принимаю конъектуру С. К. Шамбинаго и В. Ф. Ржиги как наименее произвольную»[2].

И переводит: «Всю ночь с вечера вещие вороны каркали у Плесньска на лугу, были они из Ущелья слез Кисанского и понеслись к синему морю»[3].

«Что касается слова «Кисани», то это, по-видимому, название местности, а именно «дебри» (т. е. лесистого ущелья, лесной долины). Следует, мне кажется, принять во внимание также догадку П. П. Вяземского о возможной этимологической связи слова «Кисани» с сербским «кисанье» (от «кисати») — возбуждение плача...

При поправке Н. В. Шарлеманя «дебрь Киянь» текст остается неразъясненным и нельзя объяснить, зачем упоминается это уточнение местности в устах киевского князя»[4].

...Немало загадок произвел радивый Переписчик XVI века, пытаясь разобраться в словах Святослава.

Добавил тайн и Мусин-Пушкин, расчленив текст по своему разумению и выделив заглавными буквами те полученные лексемы, которые показались ему топонимами («Плесньска», «Кисаню»).

...Много мук доставил ученым XVIII—XIX веков и текст «Хождения за три моря» Афанасия Никитина.

Сегодня писатели выделяют иноязычные речения шрифтом, древние этим способом не пользовались. Страницы «Хождения» пестрят тюркскими терминами и выражениями. Ныне почти все они благополучно выправлены на русские кроме тех, которые считаются индийскими и пишутся поэтому с большой буквы как имена. Так уцелело вполне русское название индийских статуй «Кот Ачук». Афанасий Никитин для передачи «срамного» слова прибегал к тюркскому, как нынешние ученые — к латыни.

Путешественник-христианин, потрясенный зрелищем обнаженных идолов, выполненных с натуралистической полнотой, не смог найти в официальном языке своего сочинения точного эмоционального выражения, не оскорбившего бы слуха читателей, и прибегает к

[1] Слово о полку Игореве. Комментарий О. В. Творогова, М.— Л., 1967, стр. 499.

[2] Слово о полку Игореве. М., 1967, стр. 157.

[3] Там же, стр. 70.

[4] Там же, стр. 158.

«запасному» языку. Острота второго языка всегда чуть приглушена. Коти ачук — «голожопые» (тюркское).

Я не зря завел этот разговор: мне кажется, **босуви врани граяли Святославу на тюркском языке.** Речи их не поняли ни Переписчик, ни Мусин-Пушкин, потому постарались скомпоновать текст так, чтобы получались лексемы, похожие на русские. Переписчику это место рукописи казалось безнадежно испорченным. Буквы слагались в русские слова, но общий смысл от этого не становился яснее. Руководствуясь желанием сделать место хотя бы читаемым, Переписчик дописал несколько слов. «**Всю нощь съ вечера**» подсказано ему началом отрывка «Си ночь съ вечера», но писано уже языком своего диалекта. Этим я объясняю разность двух написаний. На фоне чрезвычайно запутанной фразы чересчур ясное грамматически и лексически «всю нощь с вечера» вызывает оправданное подозрение. Клише привлечено для поддержки композиции «босови врани», полученной Переписчиком из толкования одного непонятного термина.

...Ни в фольклоре, ни в письменности славянских народов вороны таким эпитетом не определялись. Всегда — постоянный эпитет «черный ворон», «черный вран». (Ср. в «Слове» — «черный ворон, поганый половчине!»)

Даже удачная, на первый взгляд, попытка истолковать «босови» как «серые» от тюрк. бос, боз — серый, не разрешает сомнения. «Серые вороны» — безусловный модернизм, хотя в природе они и существуют, но русские именовали их галками. (Кстати, в «Слове» они названы трижды.) Лишь сравнительно недавно стали различать: во́рон — черная птица и воро́на — серая птица (использовав польское «врона» — черная птица), но в древнерусском — ворон, вран всегда обозначает черную птицу, даже без постоянного эпитета. Поэтому «серый ворон» в то время попросту невозможное сочетание. «Босови» не цветной эпитет. В сочетании с «волком» он еще может выступать в этом значении или в другом: «босой», т. е. голоногий (как и предлагают многие). Но к нашему примеру и это значение не подходит: представьте себе «босых ворон». Переводчики перебрали все случаи употребления эпитета «босый» в славянских языках. Пожалуй, в статьях не фигурировал только разговорный «бусый» — пьяный ввиду явной ненаучности своей.

...Я предполагаю, что Переписчик столкнулся здесь с еще одной обобщающей кличкой половцев. В «Слове» прозвищ множество. Степняков называют «половцы», «кощей», «поганые», «хинове», «бесовы дети» и калькированными терминами — «толковин», «птиц подобие». Часто — в нагромождении — «черный ворон, поганый половчин», «поганый толковин», «поганый кощей». «Задонщина» послушно повторяет прозвища степняков: «хинове», «половцы», «поганые», но и — «бусурманы».

В «Слове» не хватает как раз такого определения.

...Арабы называют верующих в аллаха — муслим («покорный»). Турки контаминировали два слова: «мысыр» — Египет (арабское) и «муслимин», создав термин «мусурман». Он распространился и на тюрков, принявших ислам. Кипчаки превратили турецкое изобретение в «бусурман». Русские восприняли кипчакскую форму, адаптировав ее в диалектах —«бусурман», «бесермен», «басурман», «босурман» и др. В южнорусском диалекте была форма с «книжным» долгим «у» — «босоурман», давшая в устном — «босоврман». В украинском сохранилось до XIX века необычное название мусульманина «**бусовир**» (Преображенский). Во множественном числе первичная форма, надо полагать, выглядела развитей — «бусоврмане» или «бусоврамне».

Если бы Переписчик встретил во сне Святослава знакомых ему «босурман», то мы бы сегодня не бились над загадкой таинственных «босовых вран». Смею предположить, что в протографе некие «босоврамне» издают какой-то шум, скорее всего «глаголахуть», но Переписчику показался более уместным в данном случае глагол — «**граяхуть**».

Думаю, что в оригинальном тексте были следующие комбинации букв: «босоврамне... плеснь с кана болони беша дебрь кисан юин ес ошлюксин». П-16 выделяет похожие на русские слова «болони», «дебрь» и «несош люк син...».

Последнее сочетание показалось ему оборванным. Он дописывает очевидное «...ему морю». Таким образом получает приблизительный смысл «и несет луке синему морю».

Значение всей фразы рассыпается, но каждое слово в отдельности ему почти понятно: его задача добыть «местный» смысл. Может быть, в угоду этому «местному» смыслу были заменены и некоторые буквы. Например, в «топониме» — «Плесньск». Тюркский текст, пройдя сквозь строй Переписчиков (П-16 и П-18), едва ли мог сохраниться в доподлинности, но и то, что уцелело, поддается прочтению. «...бусурмане: «знаешь, как вернуть разум?» Пять железных пут омой — (инес) мстливый ты...» (Подчеркнутое место мною не понято). Этот текст могли произнести «тощие тулы поганых толковин», которых Святослав, через предложение возвращаясь к ним, называет — бусурманами. Это они осыпают его жемчугами, нежат его, больного, и предлагают лекарственный совет.

Для меня главное в этом тексте «дебрь кисан» — железные путы, кандалы.

В известных тюркских источниках есть множество диалектных вариантов названия железа — темір, томор, тимур, темур, тамир, тебрь, дамір, тімар, тімер и т. п. Словаря, охватывающего материал всех тюркских наречий и диалектов, пока нет. Возможно, в одном из современных диалектов и сохранилась древнекипчакская форма — дебир (в русской транскрипции — дебрь). В топонимах эта лексема отражена.

В Венгрии, куда часть кипчаков ушла в XIII веке после разгрома монголами, они основали города-крепости под названием «Дебрькент», «Дебрь-кен», «Темер-кен», «Томор-кен», т. е. «Железный город». Мадьяры произносят — «Дебре-цен»[1], хотя в других случаях сохраняют «Темер-кен», «Томор-кену» и др. И на восточной границе Кавказа известно название ключевого города-крепости «Дербент» (предполагаю искажение Дебр-кент).

Тюрки-огузы издавна (с VIII века) называли этот город железными вратами (в Малую Азию). В орхоно-енисейских надписях фигурирует термин «Темір капка» (Железные ворота), в современном турецком — Дамір Капу.

Так или иначе, но кипчакская форма дебір (дебрь) — железо некогда, вероятно, была широко известна. Как и устойчивое сочетание «дебрь кисан» (дебір кісан) — железные путы. Сравните в современном казахском «темір кісен» и у крымских татар «дамір кісан».

[1] См. подробнее: **Ю. Немет.** Два кипчакских географических названия в Венгрии. В сб. «Исследования по тюркологии». Алма-Ата, 1969, стр. 26—33. Перевод с венгерского.

Почему мне кажется оправданным присутствие «дебрь кисан» — железных пут в сне Святослава? Потому, что бояре, толкуя его сон, видимо, имеют в виду смысл этого выражения, говоря о **железных путинах**, в которые заковали «соколов». Эта ассоциация — возможно, следствие прямого перевода боярами тюркского текста из сна Святослава.

Бояре очень точно опираются на детали сна в своих объяснениях.

а) «И ркоша бояре князю: «уже, княже, туга умь полонила» (уже, князь, тоска ум полонила).

Это отклик на тему, заявленную в вопросе бусурман — «знаешь, как вернуть здравый ум?»

б) «Се бо два сокола слетеста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя».

Отклик на корреспонденцию — «уже престол без князя»;

в) «а любо испити шеломомь Дону». Расшифровка картины — «синочь... чрънахуть ми синее вино съ трутомь смешено»;

г) «уже соколома крильца **припешали** поганыхъ саблями, а самаю опустоша въ **путины железны**».

Это толкование слов «дебрь кисан» — «железные путы».

д) «Темно бо бе ГДН » (читают как «3-й день». Я предлагаю видеть под титлом не одну букву, а всю аббревиатуру, которая, возможно, читалась — «господин». Тогда — это обращение бояр к Святославу).

Темнотой объясняется «черная паполома».

е) «Два солнца померкоста, оба багряная стлъпа погасоста и съ нимъ молодая месяца тьмою ся поволокоста».

Продолжение темы «черной паполомы», которой покрывают Святослава его младшие двоюродные братья.

Далее еще более удивительно развивается тема Черного Покрывала.

> На реце на Каяле тьма светъ покрыла:
> по Руской земли прострошася
> Половци, **аки пардуже гнездо,**
> и въ море погрузиста,
> и великое буйство подасть Хинови.
> Уже снесеся хула на хвалу...

Смысл возникает, прямо скажем, странный. По русской земле «простерлись» половцы как гнездо пардусов и в море погрузились и этим придали великое буйство хинове, т. е. себе же.

Исследователи увидели здесь оплошность П-16, вставившего в этот кусок строку из другого места. Поэтому выражение «и в море погрузиста и великое буйство подасть хинове» изымается из этого отрывка и переносится в другой.

Мне кажется, операции можно избежать, если повнимательней всмотреться в подчеркнутое место.

Посмотрим, как толкуется это необычное для древнерусской литературы выражение в одном из наиболее свежих и полных переводов «Слова».

В. И. Стеллецкий: «После поражения Игоря половецкие князья Гза и Кончак предприняли набеги на Русские земли. «Пардусы» переводчиками «Слова» обычно переводились словом «барсы». Но

барс — высокогорное животное, встречается лишь в горах Центральной Азии. Нередко слово «пардус» в древнерусских памятниках переводилось словом «рысь». Здесь, по всей вероятности, автор «Слова» имел в виду рысей, которые, как и все представители семейства кошачьих, не охотятся стаями, а в одиночку, в паре или «гнездом».

Предположение И. А. Новикова и Н. В. Шарлеманя о том, что здесь упомянуты не барсы, а гепарды, нельзя признать правильным. Гепарды не водились в Киевской Руси, а привозились из стран Малой Азии. Гепарды приручались и дрессировались для княжеской охоты. Дрессированные гепарды служили для княжеской забавы. Их было не так много на Руси. На княжескую охоту не брали гепардов выводками, с котятами не ездили на охоту хотя бы потому, что они еще не были выдрессированы»[1].

С такой же серьезностью рассуждают о возможных пардусах и другие комментаторы.

Простится мне и эта смелость: не было пардусов в оригинале. Они появились скорее всего под пером П-16.

В тюркских эпосах встречается сочетание «ак пардажи уй» — «ханская походная ставка», буквально «белозанавесный шатер».

Этим термином и русские могли называть княжеский походный шатер. Боярам же — **белозанавесный шатер** Игоря и Всеволода понадобился для противопоставления Черному Покрывалу, которое надевают на Святослава в мутном сне.

Белозанавесный шатер погрузился в море и тем придал великую гордость половцам.

П-16 любопытно осваивает непонятное ему выражение. Двум первым словам он находит формальные аналоги в русском летописном словаре, третьему — нет. Он признает его тюркским и калькирует. «Аки пардужий шатер». Смысл его не удовлетворяет. Он вспоминает близкое к «уй» слово — «уйа» — гнездо (тюркское) и, полагая, что автор попросту недописал одну букву, «восстанавливает» ее и переводит: «аки пардужье гнездо».

Теперь это выражение относится не к князьям русским, а к половцам и общий смысл отрывка искажается до обратного.

Восстанавливаем текст:

«На реце Каяле тьма светъ покрыла: по Руской земли прострошася Половци. **Ак пардажи уй** в море погрузиста и великое буйство подасть Хинови»[2]. (Великое буйство, вероятно,— великая гордыня.)

О том, что войско Игоря после поражения «в море истопаша», сообщает Ипатьевская летопись.

О тонущих половцах известий там нет.

П-16 переводил для своего читателя те тюркские слова, которые сам мог различить и выделить в сплошном тексте. Но старые словеса русские (архаизмы) он не переводил, а пояснял, если значение им было хоть как-то понято.

Палеографами отмечена неоднократно черта, свойственная многим переписчикам — их активное отношение к лексике переписываемых произведений, склонность к добавлениям в тех местах, которые могут вызвать вопросы у читателя. Часто поясняются имена и архаические термины, не поддающиеся буквальному переводу. Например, переписывая «Историю иудейской войны» Иосифа Флавия, книгописец Кирилло-Белозерского монастыря Ефросин часто проявляет свою

[1] Слово о полку Игореве. М., 1967, стр. 160.

[2] **Хинови** — люди востока.

эрудицию. В главе, посвященной осаде Иерусалима, упоминается имя Тита, римского полководца. Ефросин считает нужным разъяснить читателям это имя. «Титъ же по градомъ постави стража» (К-Б, 53, л. 455).

«Тить же **Успасиана царя млстивъ сынъ** по градомъ постави стража» (К-Б, 22, л. 416).

Или «Утро же въ 8 день горпия месяца солнце въсиавъ» (К-Б, 53, л. 487).

«Месяц горпия же есть сен(тябрь). Утро же въ 8 день горпиа месяца солнце въсиавъ...» (К-Б, 22, л. 420).

Ясность местного смысла — вот главная цель Переписчиков, и они ее достигают, даже если в некоторых случаях приходится идти на нарушение формы произведения и значительные дописки.

П-16 не был исключением: он вносит несколько отдельных пояснений к именам древним и терминам, и эти дописки попали в живой текст поэмы, может быть, по вине Переписчиков XVIII века.

Рассмотрим случай, когда редакторский комментарий, попав в авторский текст, придал ему исторически ложное значение. Бояре продолжают толковать сон Святослава:

Уже снесеся хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю,
уже връжеса Дивъ на землю...

Переписав последнюю строку, П-16 засомневался. Все слова этого отрывка будут понятны читателям, кроме, пожалуй, одного — Дивъ. Если бы оно встречалось здесь впервые, можно было бы не беспокоиться: отношение к нему подсказано контекстом. Но беда в том, что имя-то употреблено уже второй раз. Причем из содержания первого контекста можно понять, что Див — персонаж отрицательный. Див там вроде предупреждает врагов Игоря о нашествии.

Дивъ кличетъ връху древа,
велитъ послушати земли незнаеме —
Влъзе и Поморію, и Посулію и Сурожу, и
Корсуню и тебе, Тьмутораканьскый блъванъ.

И вдруг здесь Дивъ выступает уже в явно положительной роли: его свержение расценивается как беда русского народа.

Можно понять смятение П-16. Он вспоминает производные «дивъ»—«дивное», несущие вполне добрые значения, и решается пояснить этот термин. Подписывает его помельче — «**се бог отский**» [1] (т. е. «это божество предков») и далее продолжает нормальным полууставом переписывать авторский текст:

Красныя девы въспеша на брезе
синему морю...

Переписчик XVIII века (Мусин-Пушкин) не узнает дописку П-16, вставляет ее в текст и разбивает по-своему:

Се бо Готскія красныя девы въспеша на брезе
синему морю...

[1] «Отский» — возможно, диалектная передача формы прилагательного «отеческий», равная форме «отьнь» от праосновы «от» — отец. Сравните: «отня стола злата».

Так могли появиться знаменитые готские девы.

П-16 едва ли сам придумал «готских дев»: он этнонима такого попросту знать не мог. Но просвещенному Переписчику Мусину-Пушкину готы были знакомы.

Итак, П-16 продолжает:

...Красныя девы
въспеша на брезе синему морю,
звоня рускымъ златомъ —
поютъ босоврамне,
лелеютъ месть Шароканю...

Наткнувшись снова на «босовран», П-16 отчаивается совершенно. Если выше они глаголили, то здесь они уже «поют» открытым текстом, как соловьи какие-то. Причем прямо указывается, что под босовранами надо понимать красных дев. А может быть, в этом слове и не вороны вовсе кроются? Он делает вторую попытку освоить термин и превращает его в сочетание — «босуви время», что довольно приятно согласуется с текстом. Возвращаться и переосмысливать предыдущий пример употребления этого, наконец, понятого выражения уже невозможно. П-16 примиряется и идет на подлог: чтобы не возникло ненужных параллелей «босуво время» и «босуви врани», он инверсирует последнее свое «открытие» и видоизменяет огласовку — «время бусово».

Так, думаю, появляется знаменитое «время Бусово» в сочетании с «готскими девами», произведшее много шуму в славянской историографии. Отголоски этого «шума из ничего» слышны до сих пор.

...Бусурманские красные девы, которые радостно поют, звоня русским **золотом**, радуясь **отмщению** за Шарукана, деда Кончака, некогда потерпевшего сокрушительное поражение от русских (князя Святополка) — это отражение тощих **вдов** бусурманских, которые льют слезы (жемчуг) и нежат Святослава.

Отрицательная параллель очевидна: вдовы — девы, жемчуг — злато, нежность — злорадство, добрый врачующий совет вдов — жажда мести красных дев.

Таким образом, все символические образы мутного сна Святослава разъяснены боярами.

ЦАРЬ ДОДОН И ГЕРОДОТ

Теперь мне хочется показать на живом примере, какое эхо может вызвать в науке неверная нота, взятая Переписчиком. Неразоблаченная ошибка писца, размножаясь в современных толкованиях, приобретает силу неопровержимого исторического факта, на котором воздвигаются порой крепости невероятные.

В. И. Стеллецким кратко описана история толкований строки «поют время Бусово, лелеют месть Шароканю», в которой удалось поучаствовать и мне.

В. И. Стеллецкий: «Первая часть предложения представляет собой неясное место в «Слове». Высказывались различные предполо-

жения. Н. Грамотин в 1823 году предполагал, что Бус — имя половецкого хана. С 30-х годов в советской науке утвердилось мнение, высказанное Е. Огоновским в 1876 году, что под Бусом следует понимать Божа, одного из князей предков восточных славян, именуемых в науке условно «антами». В 375 году Божа был побежден готским королем Винитаром. Он, его сыновья и семьдесят знатных антов были взяты в плен и казнены.

Особую точку зрения занимал Н. К. Гудзий. Он писал: «Бус, очевидно, один из прославившихся победами половецких ханов». («Слово о плъку Игореве», 1938). В своей «Хрестоматии по древней русской литературе», однако, он уже пишет: «Бус — антский князь Бос или Боус».

В 1962 году О. Сулейменов высказал мнение, что оба рассматриваемых предложения относятся к одной и той же битве 1107 года, в которой половецкие ханы Боня и Шарухан «старый» были разгромлены объединившимися русскими князьями... С поражением Игоря перед Кончаком, сыном Артыка и внуком Шарухана, открылась возможность отомстить за злоключения своего отца и деда, потому-то «готские девы» и вспоминают о недавнем поражении, позорном бегстве кипчаков и радуются победе Кончака. И в казахском языке сохранилось точное определение такого массового побега целого племени или народа, какое пришлось испытать кипчакам после разгрома. Оно называется «босу». «Время босу», или, если взять конструкцию «Слова», «время босувобусово»[1].

[1] Слово о полку Игореве. Перевод и комментарии В. И. Стеллецкого. М., 1967, стр. 160—161.

В. И. Стеллецкий принимает это объяснение и переводит: «поют про время (давних) напастей, лелеют месть за (поражение) Шарухана»[2].

[2] Там же, стр. 70.

О. В. Творогов также согласился с доводами моей статьи и отказал Божу в доверии[3].

[3] Слово о полку Игореве. Комментарий О. В. Творогова, М.—Л., 1967, стр. 503.

Победу эту я могу считать тем более значительной, что Божолицетворяет все то худшее, что несла в науку «патриотическая» историография. Почему в XIX веке изобретение Е. Огоновского не было принято ни одним из ученых? Почему в 30-х годах нашего века все советские исследователи единогласно признали изобретенье за великое открытие? Один Н. К. Гудзий еще сопротивлялся в 1938 году, но и он, в конце концов, был вынужден принять эту версию, успевшую превратиться в аксиому.

На примере Божа можно убедиться, как просто делается история. ...Е. Огоновский[4], увлеченный соседством «готских дев» с «временем Бусовым» (в написании Мусина-Пушкина), обратился к сочинению римского историка Иордана (VI век) «О происхождении и деяниях готов», где в одном из рассказов обнаружил имя «Booз». Этого оказалось достаточным для рождения гипотезы, которую он высказал весьма неубежденно.

[4] «Слово о полку Игореве»— поэтический памятник русской письменности XII века. Львов, 1876.

Через полвека мысль его была подхвачена и получила неожиданное направление. Booз — превратился в «Божа» (хотя в латинском алфавите нет буквы «ж», и Иордан никак не мог бы написать эту форму); анты объявлены восточными славянами только на том основании, что автор «Слова» якобы помнил о существовании Booза.

За четыре истекших десятилетия уравнение анты=восточные славяне вошло в сознание историков без всяких доказательств, и в солидных научных работах по истории восточных славян этот тезис приводится походя, как сам собой разумеющийся.

А. К. Югов и вовсе превратил Божа в русского: «поминают смерть князя русского Божа — славят и отмщение за Шарухана».

Так ошибка Переписчика XVI века породила целое направление в исторической науке.

В 1962 году в статье «Босый волк и напевы готских дев»[1] я усомнился: «Почему злополучные девы — в связи с незначительным, в сущности, поражением Игоревых ратей вспоминают так легко и привычно тоже незначительное в общем событие тысячелетней давности?

[1] «Простор», 1962, № 11.

А автор «Слова», каким бы просвещенным он ни был, едва ли он, сын своего века, мог знать факты столь отдаленные, тем более что в этом, по-видимому, не было никакой надобности. Вероятно, речь идет о чем угодно, только не о мифическом анте Бозе».

Сегодня, перечитывая ту свою работу, я отказываюсь от нее. Кроме приведенного отрывка. И добавляю: для автора даже времена Ярослава Мудрого — давние. Историческое прошлое, в его представлении, ограничивается пределом XI века. У интеллигента XVIII века прошлое включает, по крайней мере, два тысячелетия. Приписывая Автору столь глубокий взгляд в древность, мы невольно искажаем картину диалектического развития исторического сознания.

И действительно, чтобы так запросто упоминать историческое имя, Автор должен быть уверен, что читатели поймут даже такой намек. Мы должны признать, что история антов была широко известна в Киевской Руси XII века. Каждый грамотный русич знал ее. Но что тогда поделать с тем фактом, что ни один из многочисленных источников славянской письменности не углубляется в своем знании истории ниже IX—X веков? И нет никаких доказательств того, что произведение Иордана читалось в Руси. Но даже если бы его переводили и любили, почему именно антов автор избрал в качестве предков славян? Ни о языке их, ни о культуре, даже о месте обретания их в 375 году нет у Иордана никаких известий кроме того, что он их называет гуннским племенем. Но и сейчас вряд ли какой историк назовет гуннов славяноязычным народом.

Автор «Слова», мне кажется, вовсе не знал о существовании гуннов, гóтов и тем более антов (ант — скорее всего связано с латиногреческим анти — противоположное; древнее; чужое. Так могли обобщенно называть латиняне любого противника).

«Амал Винитарий... с горечью переносил подчинение гуннам. Понемногу освобождаясь из-под их власти и пробуя проявить свою силу, он двинул войска в пределы антов»[2]. Здесь «ант», возможно, синонимично термину «гунн». Но даже если поверить всему, что нагородили историки, вызывает возражение и то, что «готские девы», враждебные анту — Игорю, поют радостно о поражении его предка Боза и лелеют месть за половецкого хана Шарухана. Так близко к сердцу могли принимать поражение половцев в начале XII века, наверное, половецкие девы, а вовсе не древнегерманские.

[2] Иордан. О происхождении и деянии готов. («Готика»). АН СССР, 1960, стр. 115.

«Простор» опубликовал и ответ на мою статью, который был прислан В. Ф. Соболевским, известным специалистом по древнерусской литературе[3].

[3] Соболевский В. Ф. Готские девы в «Слове о полку Игореве». «Простор», 1963, № 5.

Всю эту работу он посвятил одному — защите Божа. Правда, никаких новых аргументов в пользу его уважаемый автор не пред-

ставил, справедливо полагая, что в некоторых условиях убежденность — главный аргумент: «Ошибочность суждения О. Сулейменова явно проистекает из утверждения о случайном фонетическом совпадении «Боза» и «Бусово». Такой вывод противоречит историческим данным». Или: «Чем же была вызвана у автора «Слова» надобность говорить об антском короле Бусе (уже не «Бооз».— *О. С.)*, о факте столь отдаленном, и заставлять «готских дев» поминать об этом? Вот здесь и выступает действительный **общий замысел «Слова»— подействовать** на патриотические чувства у всех русских князей, напоминая им о **тех далеких временах, когда антский король Бус отражал набеги го́тов...»**

Напоминать можно тем, кто знал об этом. Неужели все русские князья XII века проходили в школе подробнейший курс по истории го́тов и антов? И потом, не так уж успешно отражал Бооз набеги го́тов, если оказался распятым на кресте вместе со своими сыновьями. Примеры такого отражения можно было бы найти и не в столь далекой истории...

Далее В. Ф. Соболевский приводит свой главный аргумент: **«Можно не сомневаться в том, что автору «Слова» были известны исторические материалы, которыми он пользовался».**

Доказательств столь ответственного утверждения нет пока, но есть уверенность. Таким образом, В. Ф. Соболевский убедил меня, что автор и все его читатели — удельные князья, бояре и прочая, и прочая знали десять строк из сочинения Иордана.

...Даже описывая всем известные действия или выражения книжного происхождения, писатель или переписчик обычно делали ссылки на источник (чаще всего церковный), из которого почерпнуто знание. Например, в «Житии и хождении Даниила» (Кирилло-Белозерский список) часты библиографические ссылки типа: «якоже во Еуангелии писано» (л. 142) и «прочая писано в Паремии» (л. 159), «и прочая писано в Житии ея (богородицы)» (л. 148) и «прочая в Деяниях» (л. 142) и пр., и пр.

Авторы или книгописцы так кратко отсылали читателя к произведениям широкоизвестным.

Если же источники малоизвестны, то ссылки более подробны и событие малоизвестное описывается значительно шире. В «Слове» же «время Бусово» никак не комментируется, что может служить доказательством или некнижного, т. е. неисторического его происхождения, или же чрезмерной известности этого выражения, что невозможно.

Лингвисты-тюркологи, несомненно, уточнят прочтение и разбивку найденной в гуще древнерусского текста тюркской фразы. Может оказаться, что некоторые сочетания неверны. Но композиция «Плеснь»— «знаешь» и «дебрь кисань»— железные путы мне кажутся твердо доказуемыми.

Более десяти лет назад я впервые так прочел «плеснь ...дебрь кисань», непрерывно искал им опровержения и лишь сейчас решаюсь опубликовать эту находку. Ценность ее для истории языковых взаимоотношений Руси и Поля неоценимо велика, и относиться к ней надо со всей бережливостью.

Это первое тюркоязычное предложение, обнаруженное в славянском источнике до XIII века. Мы не встречали до этого рубежа даже пары тюркских слов, объединенных синтаксической связью.

Итак, весь микроэпос «Сон Святослава и его толкование боярами» в протографе выглядел, по-моему, в следующем виде:[1]

[1] В скобках даны дописки Переписчиков. Подчеркнуты объясненные мною места.

А Святъславъ мутенъ сонъ виде:
В Кіеве на горахъ **снчь**
съ вечера одевахъть мя, рече,
чрьною паполомою на кроваты тисове;
чрьпахнуть ми **синее** вино съ **трутомь** смешено.
Сыпахуть ми тъщи **тулы** поганыхъ **тльковинъ**
великый женчюгь на лоно и негують мя.
Уже дьскы безъ киеса вмоемъ тереме златовръсемъ.
(Всю нощь съ вечера) **бусоврамне** (възграяху). **«Блеснь скана болони беша дебрь кисан ю инес ошлюкъ син** (ему морю)».
И ркоша бояре Князю:
«Уже, Княже, туга умь полонила;
Се бо два сокола слетеста съ отня стола злата:
поискати града Тьмутороканя,
а любо испити шеломомь Дону.
Уже соколома крильца **припешали**
поганыхъ саблями,
а самаю опустоша въ путины железны,
Темно бо бе, гдн:
два солнца померкоста,
оба багряная стлъпа погасоста
и съ нимъ молодая месяца (Олегъ и Святъславъ)
тъмою ся поволокоста на реце на Каяле.
Тьма светъ покрыла: по Руской земли прострошася Половци.
Ак пардажи уй въ море погрузиста и великое **буйство** подасть **Хинови.**
Уже снесеся хула на хвалу,
уже тресну нужда на волю,
уже вражеса дивъ на землю
(се бог отский)
Красныя девы въспеша на брезе синему морю, звоня руским златом.
Поютъ бусоврамне,
лелеютъ месть Шароканю.
А мы уже, дружина, жадни веселія.

ЧЕСТНОЕ «СЛОВО»

Моя слабость! Непоследовательность.
Моя сила? То же самое.
Тагор

НЕДОУМЕНИЯ

«Слово»— старая, ветшанная картина, изображающая реалии XII века, была реставрирована и подкрашена в XVI.

Второй этап реставрации «Слово» пережило в XVIII веке.

Слои цветной штукатурки покрывают оригинал.

Задача исследователей не добавлять красок, а снимать следы кисти позднейшей, добираться до протографа.

И в конце работы может выясниться, что икона-то висит на стене неверно, и изображен на ней не бог Игорь, а живой человек с дьявольскими чертами.

Не грех напомнить, что в одном злополучном музее картины Пикассо до последнего времени висели «вверх ногами».

Мы имеем реальную возможность убедиться в том, что отличие форм мировоззрения Автора и Исследователя мешало последнему правильно понять идейное содержание поэмы, и отсюда — неверные прочтения ключевых текстов «Слова».

Представим схематически идейный сюжет памятника по тому списку, который в наличии.

«Слово» **осуждает** Игоря, начавшего несправедливую войну.

Радуется первой победе.

Жалеет воинство Игоря, потерпевшего поражение во второй битве.

Оплакивает русскую землю, на которую вызвано ответное нашествие половцев.

Призывает князей устами Святослава Всеволодича встать на защиту родины.

Осуждает былые распри и сегодняшние которы.

Восхваляет Игоря, его князей и дружину за победу над погаными.

Большинство толкователей поэмы не хотят замечать явной противоречивости этой схемы. Они акцентируют внимание на столпах Оплакивает, Призывает, Восхваляет.

В 1964 году на заседании отделения этнографии географического общества СССР с докладом «Монголы XIII века и «Слово о полку Игореве» выступил историк Л. И. Гумилев. Попытался опровергнуть дату создания «Слова». По его убеждению, оно написано не в XII веке, а в XIII человеком, далеким от тех событий, и поэтому излагавшим их не очень точно. Версия аргументирована, на мой взгляд, недостаточно, но ход рассуждений местами очень интересен. Привлекает и то обстоятельство, что в докладе (хоть он и не получил большой огласки) впервые в нашей славистике заявлено сомнение в достоверности некоторых заповедных мест памятника.

«Недоумение. Принято считать, что «Слово»— патриотическое произведение, написанное в 1187 году и призывающее русских князей к единению и борьбе с половцами, представителями чуждой Руси степной культуры. Предполагается также, что этот призыв «достиг тех, кому предназначался», т. е. удельных князей, организовавшихся в 1197 году в антиполовецкую коалицию. Эта концепция, действительно, вытекает из буквального понимания «Слова» и потому, на первый взгляд, кажется единственно правильной. Но стоит лишь сопоставить «Слово» не с одной только группой фактов, а рассматривать памятник вместе со всем комплексом реальных событий как на Руси, так и в сопредельных ареалах, то немедленно возникают весьма тягостные недоумения.

Во-первых, странен предмет выбора. Поход Игоря Святославича не был вызван политической необходимостью. Еще в 1180—1183 годах Игорь находится в тесном союзе с половцами, в 1184 году он

отклоняется от участия в походе против них, несмотря на то, что поход возглавлен его двоюродным братом Ольговичем — Святославом Всеволодичем... И вдруг ни с того ни с сего он бросается со своими ничтожными силами завоевать все степи до Черного и Каспийского морей. При этом отмечается, что Игорь не договорился о координации действий даже с киевским князем. Естественно, что неподготовленная война кончилась катастрофой, но когда виновник бед спасается и едет в Киев молиться «Богородице Пирогощей», вся страна вместо того, чтобы справедливо негодовать, радуется и веселится, забыв об убитых в бою и покинутых в плену...»[1]

С этого недоумения и должно было некогда начаться прочтение «Слова».

[1] Доклады отделения этнографии. Вып. II, Л., 1966, стр. 56—57.

Чтобы понять позицию Автора, его отношение к Игорю, следует сначала выяснить мотивы, побудившие северских князей вступить в безнадежную войну.

Начать придется издалека, чтобы быть в курсе политических событий Киевской Руси эпохи «Слова».

В 1162 году власть киевского князя Ростислава испытывает покушение со стороны сильного союзника Мстислава Волынского. Ростислава не поддерживают и киевское боярство, и гвардия — черные клобуки. Он вынужден поделиться властью с Мстиславом, отдав ему из своих владений Белгород, Торческ, Канев и даже земли черных клобуков.

Чувствуя, что киевский стол под ним зашатался, Ростислав обращает взор в степь и едет к хану Белуку с просьбой выдать дочь за сына своего — Рюрика. Брак состоялся. Половецкая поддержка укрепила Ростислава на престоле.

В феврале 1164 года скончался отец Игоря, черниговский князь Святослав Ольгович. В Чернигове силой утвердился племянник умершего князя — Святослав Всеволодич. Своих двоюродных братьев, сыновей Святослава — Олега, Игоря и Всеволода — он изгоняет из Чернигова в Северскую землю. Эту обиду братья ему не простят. Она будет управлять их действиями на протяжении двух десятилетий. Будет между ними и резня, и союзничество, и вежливость, но подлинного братского мира, видимо, уже не наступит. Враждебность открытая и затаенная окрасит отношения братьев и Святослава Всеволодича.

Уже через два года северские князья начинают войну.

Святослав приглашает половцев, которые нападают на Новгород-Северский.

Ростислав способствует примирению сторон.

В 1167 году умирает Ростислав, и борьба за киевский престол вступает в новую фазу. Киевский люд и черные клобуки посланы за Мстиславом Волынским. Последний, «отодвинув» законных наследников престола, сыновей Ростислава (Рюрика и Давыда), 15 мая 1167 года «вниде» в град Киев и «седе на столе».

Киевляне и черные клобуки, вероятно, поддерживали Мстислава еще и потому, что он решительно не признавал союзов с половцами, которые были врагами и черных клобуков, и торкинов, и берендеев.

Киевляне и черные клобуки не любили Ростислава потому, что он опирался на половцев.

С приходом Мстислава на Руси громко заявляется новая поли-

тика. Половцы готовят поход на Киев. Великий князь Мстислав собирает силы и весной 1168 года наносит удар по Полю. В этом походе участвуют многие волынские князья. Крутой на расправу великий князь заставляет направить свои полки и черниговских и северских князей («бяху бо тогда Олговичи в Мьстиславии воли») и даже Ростиславичей — Рюрика и Давыда.

Он собрал под свои знамена войска всей лесостепной полосы от бассейна Вислы до Северного Донца. Ударной силой была конница торков под началом Бастея, черные клобуки и берендеи.

Поход начался ранней весной (2 марта), когда степняки только собираются перекочевывать на летние пастбища.

Начинается окот, стада отяжелены молодняком.

Половцы не успели организоваться. Русские войска обогатились добычей —«и толико взяша полона множьство, якоже всимъ русскимъ воемъ наполнитися до изобилия и колодникы и чагами и детми их и челядью и скоты и конми».

Победа эта прославила политику Мстислава. Новгород изгоняет Святослава Ростиславича и требует сына Мстислава — Романа. Великий князь удовлетворяет просьбу «вольного города», и 14 апреля Роман прибыл в Новгород.

Но и оппозиция не бездействует. Суздальский князь Андрей Боголюбский (сын Юрия Долгорукого) организует коалицию князей, недовольных распространением власти Мстислава и резким поворотом в отношениях со Степью.

В 1169 году войска двенадцати князей двинулись на Киев. Вместе с ними идут и «половецкие князи».

В марте 1169 года Киев был взят и разграблен. На престол восходит Глеб Юрьевич, сын Юрия Долгорукого от половецкой княжны, родной брат Андрея Боголюбского.

Попытка Мстислава в корне разрушить традиционные отношения со Степью окончилась неудачей.

Главную роль в свержении Мстислава играли князья, связанные с половцами кровным родством (сыновья Юрия Долгорукого; Ольговичи — Олег и Игорь; Ростиславичи — Рюрик и Роман и др.).

В 1170 году Андрей Боголюбский занят возвращением Святослава Ростиславича на новгородский престол. Успеха не имеет. Войска его разбиты новгородцами. Святослав Ростиславич умер. Воспользовавшись ослаблением главного своего противника, Мстислав Волынский с черными клобуками, с галицкими и туровскими полками двинулся на Киев. Горожане открывают любимому князю ворота без боя.

Глеб Юрьевич бежит к половцам и через месяц (в апреле) возвращается с Кончаком и изгоняет Мстислава. Тот скончался после болезни в августе 1170 года в своем Владимире-Волынском.

Его сын Роман покинул Новгород, и его место занял по договору с Андреем Боголюбским Рюрик Ростиславич.

Можно считать, что традиционный порядок восстановлен. Ключевые города Руси в руках князей, стоящих за прежние отношения с Полем.

Но киевские бояре и церковь еще раз доказывают свою силу. Глеб Юрьевич отравлен 20 января 1171 года. Его постигла участь отца, и погребение его рядом с могилой Юрия Долгорукова в церкви Спаса на Берестове.

Бояре настояли, чтобы Ростиславичи, вопреки воле Боголюбского,

пригласили на княжение Владимира Мстиславича. Но тот оказался неспособным продолжать политику отца и, прокняжив четыре месяца, умер от таинственной болезни. Скорее всего от той же, что и предыдущий князь.

В июле 1171 года в Киеве по согласию с Андреем стал княжить Роман Ростиславич. Он, вероятно, учел печальный опыт предшественников и вступил в мир с боярами. А это значило разрыв отношений с Андреем Боголюбским. Но Андрей — далеко, в Суздали, а бояре вот они, рядом.

В начале 1173 года Андрей снова потребовал выдачи убийц от брата. Ростиславичи вынуждены были отказать и позволить боярину Григорию Хотовичу и его сообщникам скрыться.

Тогда Андрей потребовал ухода Романа. Ростиславичи сначала подчинились, а затем послали объявление войны и в ночь на 24 марта 1173 года ворвались в Киев. Великим князем стал более решительный из Ростиславичей — Рюрик.

Несмотря на то, что он женат на половчанке, политическая программа его, очевидно, не противоречит планам киевского боярства и черных клобуков. Киеву нужна сильная рука, способная объединить Русь и вывести ее из-под власти Поля. И прежде всего надо противостать могучему Андрею Боголюбскому.

И Рюрик решается на этот шаг.

Теперь на сцене появится Святослав Всеволодич, который пока отсиживался в своем Чернигове, наблюдая со стороны перипетии борьбы за киевский престол, восхождения и падения марионеток Андрея.

Настала пора и ему включиться в эту борьбу. Он многое понял — оценил силу боярства, стремления их и слабость позиций великих князей, сменившихся на его глазах за несколько лет.

Он не выбирает, чью же сторону принять. Это ясно. Андрей еще могуч, у него большой опыт и мощное влияние. Ростиславичи, которых он поддерживал, стали врагами. В этой ситуации выгодно выступить Ольговичу на стороне Андрея. Союз этот не покажется Боголюбскому противоестественным: традиционные связи Ольговичей с Полем общеизвестны. И кто, как не Ольговичи, может плодотворно продолжать политику Андрея на киевском престоле. Но, воцарившись, Святослав найдет общий язык с киевским боярством. Он понимает силу этого сословия и справедливость их устремлений. Объединение Руси — цель благородная. Но достижимая только в том случае, если у кормила будет властелин решительный, как Мстислав, но хитрее. Андрей посылает на Ростиславичей пятидесятитысячное войско. К ним присоединяются и Ольговичи — Святослав Всеволодич и Игорь Святославич.

Киевские князья затворились в Белгороде и Вышгороде, что потребовало от нападающих разделения сил.

Двадцатидвухлетнему Игорю с другими младшими князьями выпало идти на Вышгород, где 8 сентября 1173 года Мстислав Ростиславич Храбрый разбивает их.

Осада Вышгорода продолжается более двух месяцев. Безуспешно.

К ноябрю в Киев прибывает Ярослав Луцкий. Оценив ситуацию, он принимает сторону Ростиславичей, которые обещают ему в случае победы уступить Киев. Победа. Ярослав Луцкий на престоле. Его быстро сменяет Роман Ростиславич. Черниговец ждет своего часа. Есть подозрение, что это он в мае 1176 года навел половцев на Русь.

Роман послал брата Рюрика и двух сыновей против них. В битве у Ростовца войска киевских князей разгромлены; половцы взяли шесть городов берендеев.

Святослав, узнав о случившемся, по словам летописца, «обрадовался». Поражение Ростиславичей от половцев привело к тому, что к Святославу прибывает депутация черных клобуков и киевлян, сообщая, что Роман уже покинул Киев и укрылся в Белгороде.

20 июля 1176 года Святослав стал великим князем.

Подчеркиваем это обстоятельство: **поражение киевского князя от половцев приводит к смене власти.**

Прецеденты есть. В 1068 году в первой битве русских с половцами войска киевских князей братьев Ярославичей (Изяслав, Святослав и Всеволод) потерпели поражение на реке Альте. В результате на престоле оказался их враг Всеслав. Его пригласили киевляне. («Слово» подчеркивает, что Всеслав проявил хитрость.)

Не применил ли Святослав через век после битвы на Альте «хитрость» Всеслава? Оказавшись у власти, новый великий князь ищет поддержки против Поля «на стороне», женив своего сына Всеволода Рыжего на дочери польского короля Казимира.

В том же 1179 году он выдает свою дочь за Владимира Глебовича Переяславского, делая его этим актом своим вассалом.

Результаты не замедлили сказаться. Половцы во главе с Кончаком напали на Переяславль и Посулие. Пожгли поселения, хотя города и не взяли.

В 1179 году скончался давний враг Святослава — его двоюродный брат Олег Святославич, а Святослав созывает в Любече съезд Ольговичей, на котором окончательно распределяются уделы. Брату своему Ярославу великий князь отдает Чернигов, князем Новгород-Северским стал Игорь.

Святослав проявляет себя в первые годы весьма гибким политиком: он не порывает союза с Полем, но и подготавливает основы будущих враждебных отношений с ним. Поле ему пока необходимо, чтобы утвердить свою власть на Руси и сдержать главных соперников — Ростиславичей.

В 1180 году они затевают грандиозную усобицу и оказываются в Киеве. На помощь Святославу идут Ярослав Черниговский с ковуями и, наконец, Игорь Святославич с половецкими дружинами Кончака и Кобяка.

Летом 1181 года Киев возвращен. Но в битве у Днепра Ростиславичи наносят сокрушительный удар Игорю и его свату Кончаку. Убит брат Кончака Елтут Атрахович (Ельтут Артыкович).

Взяты в плен двое сыновей Кончака.

«Игорь же видевъ Половце побеждены и тако съ Концакомъ въскочивша въ ладью и бежа на Городец къ Чернигову».

Святослав с войсками, очевидно, находится в Киеве и не предпринимает ничего, чтобы нанести ответный удар.

Но и Ростиславичи устали. В результате переговоров Святослав остался великим князем киевским. Рюрик Ростиславич стал его фактическим соправителем. («И урядився съ нимъ (Святославом) съступися ему старейшиньства его ради Киева, а собе взя всю Рускую землю».)

Святослав фактически признает свое вассальство по отношению к Ростиславичам, женив сына Глеба на дочери Рюрика.

После этого Святослав и Рюрик «живяста у любви и сватьствомь обуемшеся (объединившись)».

Теперь, когда примирились две могущественные княжеские линии, можно было начинать «мстиславову политику» в отношении к степи, чего так ждали киевские бояре и церковь.

Святослав Всеволодич в молодые годы был бит половцами, побывал в плену (был выкуплен Изяславом Давыдовичем), и теперь у него появляется первая возможность отплатить степнякам за то «гостеприимство».

В походе 1184 года, который по размаху не уступал походу Мстислава 1168 года, участвуют войска одиннадцати княжеств, торкская конница и черные клобуки. Характерно, что Ольговичи (Игорь Святославич, Всеволод и Ярослав Черниговский) отказались под разными предлогами от этого похода. Летописец приводит отговорки: «А своя братья не идоша, рекуще: «Далече ны есть ити вниз Днепра: не можемъ свои земле пусты оставити...»

Войска собрались летом (в июле), и мне кажется, что Ольговичи предполагали неблагополучный исход предприятия киевского великого князя. Весьма вероятно, что такой результат ими ожидался с нетерпением.

Поражение Святослава открывало бы путь Игорю или Ярославу к престолу киевскому.

Но они просчитались. Половцы не ожидали летнего наступления. Они разбиты. 17 вождей их пленены, и до 7000 кипчакских мужчин, женщин и детей приведено в Русь.

Любопытно поведение Игоря в этой неожиданной для него ситуации. Прослышав о победе, он вместе с Всеволодом и племянником Святославом Ольговичем идет к реке Мера урвать куш от общей победы, «молвяшеть бо ко братьи и ко всей дружине: Половцы оборотились противу Рускимъ княземъ и мы безъ нихъ (т. е. в отсутствии половецких воинов) кушаемся на вежах ихъ ударити...»

Это место летописи правильно истолковано Б. А. Рыбаковым: «Не общерусская оборонительная борьба и даже не защита своих собственных рубежей, а лишь желание захватить половецкие юрты с женами, детьми и имуществом толкало князя на этот поход — своего рода репетицию будущего похода 1185 года. И действующие лица в этой репетиции те же самые: Игорь, буй тур Всеволод, Святослав Ольгович и княжич Владимир»[1].

Он углубляется в степь не более чем на 60—70 километров, разбивает отряд в 4 сотни и грабит беззащитные кочевья.

...В 1185 году половцы собирают силы для ответного наступления на Киев. В феврале 1185 года Кончак по зимнему пути подошел к пограничной реке Суле.

Рассказ о приходе половцев взят из летописи Святослава: «Пошелъ бяще оканьный и безбожный и треклятый Кончакъ со мьножествомь половецъ на Русь.

Похупся, яко пленити хотя грады Рускые и пожещи огньмь: бяше бо мужа такого бусурменина, иже стреляще живымъ огньмъ. Бяху же у нихъ тузи самострелнии одва 50 мужъ можашеть напрящи. Но всемилостивый бог гордымъ противиться и съвети ихъ разруши».

Святослав посылает за помощью к братьям — Ярославу и Игорю. Оба, найдя благовидные причины, отказывают ему в поддержке.

[1] **Рыбаков Б. А.** «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, стр. 211.

Еще раз пытают судьбу — может быть, Кончак сделает то, что не удалось Кобяку прошлым летом.

Святослав и Рюрик направились к Суле сами. Торкская конница и черные клобуки, перейдя Хорол, 1 марта нанесли неожиданный удар по расположению Кончака. Кончак бежит, побросав свою «артиллерию». Черные клобуки Кунтугдыя численностью в 6000 всадников преследовали его, но не достигли «бяшеть бо тала стопа за Хороломъ» (т. е. «талые степи за Хоролом»). Распутица помешала «обрести» самого Кончака.

Святослав стремится закрепить победу: «Тое же весне князь Святославъ посла Романа Нездиловича съ берендичи на погаиее половце. Божиею помочью взяша веже половецкеи много полона и коний месяца априля въ 21 на самый Велихъ день». Он замышляет летний поход —«ити на половцы къ Донови на все лето».

И маршрут необычен, и сроки задуманного похода. Если предшественники ограничивались отражением половцев на пограничных землях и походы эти занимали от силы месяц, то Святослав решил идти в глубь Дикого Поля, к Дону, где русские войска никогда не бывали.

Святослав едет собирать войско «от верхних земель», уговаривать князей присоединиться к нему.

Новгород-Северский он застал опустевшим: его двоюродные братья Игорь и Всеволод, «утаившись его», ушли сами завоевывать всю степь до Дона. Они решили, что Кончак, не оправдавший их надежд, разгромлен окончательно и грех не воспользоваться благоприятной обстановкой.

Неожиданный поворот событий изменяет тактику Игоря. Ориентироваться на помощь Поля, обессиленного поражением, теперь не приходится. Ситуация благоприятствует иному решению той же задачи. Русь окрепла, степь ослабела. Чтобы войти в Киев, нужно завоевать расположение народа киевского, бояр и черных клобуков. А это значит — нужно добить степь, дойти до края ее, до Дона, завоевать мифический град Тмуторокань, потерявшийся где-то на окраинах Дашти-кипчака, выйти к морю и тем добыть славу великого полководца, погромче Святославовой. Не Святослав, а именно Игорь должен покорить степь, чего не удавалось ни одному из русских князей. Успеть это сделать раньше, чем Святослав двинется в Поле!.. И тогда!..

Вот, на мой взгляд, основные мотивы, подвигнувшие Игоря на его «безумно смелый» (по выражению Д. С. Лихачева) поход.

Вначале все складывалось для Игоря удачно, так же как весной 1184 года, когда он грабил половецкие кочевья. В пятницу он встречает какой-то перекочевывающий на летние пастбища род и уничтожает его.

«Победа» эта описана в «Слове». Русские воины «помчаша красны девки половецкие, злато и половокы и драгие оксамиты. Орьтмы и япончицы и всякымы узорочья начаша мосты мостити по болотамъ и грязевымъ местамъ». В качестве трофеев Игорю достаются красный стяг и белая хоругвь на серебряном древке.

Упоенный успехом Игорь, по словам летописца (Лаврентьевская летопись), ликует: «Братья наши ходили со Святославом великим князем и бились с ними (половцами), оглядываясь на стены Переяславля, а в землю их не смели итти. А мы в земле их, и самих

убили, жен их полонили и дети у нас. А теперь пойдем на них за Дон и до конца изобьем их. Идем на них в лукоморье, где не ходили деды наши, и возьмем до конца свою славу и честь» (перевод).

А наутро —«изумешися князь»!.. Увидев, какая сила стала на его пути, Игорь не мог знать, что половцы, разбитые Святославом, способны оказать ему серьезное сопротивление. И понятно изумление Игоря и последовавшие за разгромом плач и раскаянье.

Он по самонадеянности перешел дорогу Святославу, погубил свое войско и идею великого князя.

Автор «Слова» знал все эти события и понимал их значение. Мотивы поступка Игоря были ему, скорее всего, ведомы. Простое сопоставление фактов обнажает их. Факты общеизвестны, доступны каждому исследователю. Но, к сожалению, они мало повлияли на оценку действий Игоря. Приписываются чувства и мысли ему не свойственные. Его вели не патриотические чувства, а непомерное честолюбие. Корыстолюбивый, вероломный, в воинском деле «несведомый», нечестный по отношению и к Руси, и к Полю — вот каким характеризуют Игоря его деяния, отраженные в летописях.

Потому идеологический разнобой «Слова»— два авторских отношения к Игорю — вызвали недоумение историка Л. Н. Гумилева. **Не поняв значения исторического космоса «Слова», невозможно правильно прочесть поэму.**

Вот как громко и неточно толкуются мотивы «подвига» Игоря ведущим специалистом по «Слову» Д. С. Лихачевым: «Совесть государственного деятеля, совесть князя — это то самое, что бросило и героя «Слова о полку Игореве» князя небольшого Новгород-Северского княжества Игоря Святославича в его безумно смелый поход. С небольшим русским войском Игорь пошел навстречу верному поражению **во имя служения Русской земле,** побуждаемый к тому своей проснувшейся совестью одного из самых беспокойных и задиристых князей своего времени»[1].

Через 8 веков, зная печальный исход предприятия Игоря, мы можем назвать его поход подвигом «безумно смелым», потому что он явно шел «навстречу верному поражению». И объяснить это самопожертвование высочайшими мотивами, привычными читателям XX века — «во имя служения Русской земле». Но Игорь-то всего этого не ведал, он шел навстречу неминуемой победе, шел во имя служения своим тщеславным замыслам.

Бездоказательны характеристики Д. С. Лихачева —«прямодушный и честный Игорь».

Нет в источниках малейших свидетельств правоты столь лестных определений.

«Слово», например, устами Святослава Киевского называет войну Игоря попросту нечестной; «нечестно одолевше бо нечестно кровь погану пролиясте», т. е. нечестно вас одолели (во второй битве), ибо нечестно кровь язычников пролити (в первой битве).

Д. С. Лихачев упорно переводит «нечестно» термином «бесславно», желая смягчить оценку Автора. Но «честь» и «слава» очень хорошо разграничиваются в понимании Автора. Он не путал эти слова.

Д. С. Лихачев присваивает Игорю черты рыцаря-великомученика, принявшего истязания на алтаре русской свободы. «Высокое чувство

[1] Слово о полку Игореве. Вступительная статья Д. С. Лихачева, Л., 1967, стр. 7.

воинской чести, раскаяние в своей прежней политике, преданность новой — общерусской, ненависть к своим бывшим союзникам (половцам) — свидетелям его позора — муки страдающего самолюбия — все это двигало им в походе»[1].

[1] Слово о полку Игореве. Вступительная статья Д. С. Лихачева, Л., 1967, стр. 7.

В этом звонком перечне не обозначено ни одно чувство, которое могло вести Игоря, даже ненависти к половцам у него скорее всего не было — 1) злоба и обида за обманутые надежды, 2) азарт охотника, узревшего слабого, 3) изумление и страх — вот (поэтапно) гамма чувств, испытываемая Игорем в степи к своим бывшим союзникам. Д. С. Лихачев в приведенном куске замещает причины следствием. Раскаивается в своей прежней политике Игорь не до похода, и не во время его, а после позорного поражения, когда стало ясно, что авантюристический план завоевания киевского стола рухнул и никаких надежд на княжескую карьеру у него не осталось.

Текст раскаяния этого скорее всего сочинен летописцем, ибо фигура раскаянья — необходимое звено в христианской диалектике образа грешника. Ведь и поражение на Каяле — это наказание божье. Всепрощение христианское распространяется и на Игоря.

Ипатьевская летопись подчеркивает календарно момент прозрения блудного сына: «Итак в день святого воскресенья навел на нас господь гнев свой, вместо того чтобы даровать нам радость, заставил нас плакать, вместо веселья послал нам печаль на реке Каяле». Сказал тогда Игорь: «Вспомнил я грехи свои перед господом-богом моим, ибо много убийств, кровопролитий учинил я в земле христианской, не пощадил христиан, а взял приступом город Глебов у Переяславля. Немало зла приняли тогда невинные христиане: родителей разлучили с детьми их, брата с братом, друга с другом, жен с мужьями их, дочерей с матерями их, подругу с подругой ее. Все были в смятении от плена и скорби. Живые мертвым завидовали, а мертвые радовались, что они, словно мученики святые, получили огнем испытание в сей глуши; старцы умерщвлялись, юноши получали лютые, жестокие раны, мужчин убивали и рассекали на части, а женщины терпели поругание. И все это совершил я,— сказал Игорь,— и вот вижу возмездие от господа бога моего...

Так воздал мне господь за беззаконие мое в гневе своем на меня... Но, владыка, господи боже мой! Не отвергни меня до конца» (перевод В. И. Стеллецкого).

Потом, в плену, наступила пора «мук страдающего самолюбия», и, оставив в полоне брата, сына и племянника, бежит он при помощи половца Овлура в Русь.

Нет, не жажда принять мученическую смерть за Русскую землю увела его так далеко от стен родимого города, не патриотический акт видится нам в его поступке, не раскаяние в своей прежней политике, не «преданность новой — общерусской».

[2] Лихачев Д. С., там же стр. 10.

«Страшный враг, ужас и проклятие Руси»[2] — не половцы даже, а скорее князья, подобные Игорю. Это они «несут розно русскую землю», кричат летописи. Это они приводят половцев или провоцируют их набеги. Ученые, оправдывая Игоря, еще более усложняют обстановку, сложившуюся вокруг «Слова».

Характерно, что, живописуя образ благодетеля русской земли, Д. С. Лихачев не привлекает для характеристики Игоря яркие исторические краски, содержащиеся в эпизоде самобичевания.

Процитирую себя: «И в конце работы может выясниться, что икона-то висит на стенке неверно, и изображен на ней не бог Игорь, а живой человек с дьявольскими чертами».

Астраханский губернатор Василий Никитич Татищев задумал написать «Историю Российскую с древнейших времен» по летописям. Он собственноручно переписал известные ему источники, в том числе и Ипатьевскую. Но переписывал не как копиист, а как редактор-соавтор. Его поправки к текстам Ипатьевской летописи отражают уровень исторической науки XVIII века, когда русский интеллигент почувствовал обиду за «подлое прошлое» народа. Он оценивает факты истории, «уточняя» и дополняя их по своему усмотрению. В соответствии с новым сознанием.

Татищев так пополняет придуманными сведениями сообщения источников, что, сравнивая позже летописи и татищевский свод, историки увидели разительные расхождения и не нашли ничего другого, как предположить: Татищеву были известны более подробные списки летописей, которые исчезли после «употребления». Таким образом, Татищев признан копиистом, буквально переписавшим неизвестные источники, не изменив в них ни одной буквы.

Почему «татищевские летописи» приняты на веру без должного сомнения? Почему эта грандиозная подделка вошла в список наиболее авторитетных и серьезных источников?

«Совершенно особый интерес представляют летописные данные собрания В. Н. Татищева,— пишет академик Б. А. Рыбаков.— В руках этого неутомимого историка побывало много рукописей, из которых часть в дальнейшем исчезла бесследно, и поэтому его «Историю Российскую» можно считать последним летописным сводом, сделанным с большой тщательностью и добросовестностью»[1].

[1] Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, стр. 31.

Отсебятина Татищева легко выделяется при сравнении с текстами списков Ипатьевской летописи, например. Метод его переписки очевиден: он расширительно толкует краткие сообщения, «оскорбительные» места уравновешивает, домысливает картины, данные намеком, и т. д.

Например, Ипатьевская летопись информирует, что после тотального поражения Игоря спаслось 15 русских воинов и еще меньше ковуев, («По наших Руси с 15 мужъ утекши, а ковуев мнее».)

Скупое предложение это Татищев переписывает так: «Токмо 215 человек Русских пробився сквозь половцов в последнее нападение пришли в Русь, а ковуев хотя и **много ушло**, но мало спаслось» (подчеркнуто мной.— *О. С.)*

По летописи, Святослав Всеволодич, узнав о случившемся, «вельми вздохнувъ утеръ слезъ своихъ и рече: о люба моя братья и сынове и муж земли Руское! Далъ ми бяше бог **притомити** поганыя, но не воздержавше уности, отвориша ворота на Руськую землю». Татищев переписывает: «О любимые братья и воины Русские! Бог дал мне половцев **довольно победить и в страх привести**, но вы невоздержною младостию своею **посрамили все победы русские и ободрили боящихся нас нечестивых** и отворили им врата в Русскую землю».

Подчеркнутые мною слова появились в результате толкования летописного глагола «притомить». В этом заявлении Святослава, возможно, заключен замысел его похода весной 1184 года. Он встретил их на границе, ослабил, «опас» русскую землю. Татищев, император-

ский ставленник в колонии, управляющий боязливыми потомками тех незадачливых половцев, не смог сдержать пера своего и приписал Святославу слова для XII века преждевременные.

...Летопись не знает подлинного числа половцев, напавших после победы над северскими князьями на Русь. Лаврентьевская летопись: «Половцы же ...взяша все городы по Суле и у Переяславля бищася весь день».

Далее кратко описывается неудачная вылазка Владимира Глебовича. Его ранят тремя копьями, дружинники едва спасают князя и «вбегоша въ городъ и завторишася. А они (половцы) возвратишася со многыми полономъ въ веже».

Ипатьевская летопись подробнее. Из нее мы узнаем, что половцами у Переяславля руководил Кончак, что были посланы гонцы к Святославу и Рюрику и к Давыду за помощью. Давыд Смоленский отказался идти «искать битву». Но Святослав и Рюрик поспешили на выручку. Услышав об этом, половцы отступили от Переяславля и по пути в степь взяли город Римов. Захватили пленных и пошли восвояси. Летописец обобщает эти описания традиционной присказкой: «Бог казнит нас нашествием язычников, чтобы мы опомнились и не шли по пути зла» (перевод).

Татищев разворачивает этот эпизод в целый эпос. Он по-своему объясняет отступление половцев от Переяславля. «На сем бою половцев весьма много побито, и принуждены они отступить от града за день езды, где ожидали к себе еще войск».

Творчество Татищева особенно явственно проявляется в переписке одного слова, которого он не понял. В эпизоде осады и взятии Римова Ипатьевская летопись приводит любопытную подробность — обрушились две градницы (башни) с людьми («Летеста две городницы съ людми»). После этого на осажденных «найде страх» и город пал.

Татищев понял «городнице» соответственно лексикону своего времени и переписал эту фразу так: «Два городничих, собрав людей, вышли из града...» Описаны подвиги этих городничих (хорошо, еще не городовых!), и заканчивает: «Половцы возвратились в свои жилища не столько русских пленя, сколько своих потеряли».

Ипатьевская летопись (в переводе): «А другие половцы пошли по другой стороне Днепра к Путивлю. Это был Кзак с большими силами. Разорили они волость, сожгли села путивльские и внешнюю ограду Путивля и возвратились восвояси».

Татищев и это скромное сообщение хроники разворачивает в грандиозное полотно, где «Гзя, князь половецкий, Путивля не взял и «потерял много людей а паче знатных» и отступил поэтому. И послал в Посемье 5 000 и «едва 100 их назад возвратилось, ибо 2 000 побиты, а с 500 знатных и подлых пленено, сын же и зять князя Гзи побиты. Гзя о том уведав с великой злобой и горестью возвратился. Тако половцам (Кончаку и Кзаку) обоюдо равная «удача» была и один перед другим не мог нахвалиться разве большим потерянием своим».

С баснословными цифрами татищевскими и в других местах неблагополучно. Здесь 2 000 половцев убито, 500 пленено, 100 возвратились, а где же остальные 1 400? Пропали без вести.

Летописи ничего не говорят о сумме выкупа. Татищев предлагает свой «прейскурант»: за одного только князя Игоря половцы якобы

запросили ни много ни мало 2000 гривен, т. е. около 4 центнеров чистого серебра. А за всех четырех князей 5000 гривен, т. е. тонну серебра. Это половина годового дохода всей Руси, или годовой доход шести крупнейших княжеств. Не думаю, что эти гигантские цифры, если бы существовали, прошли мимо летописцев. Хоть в каком-нибудь источнике они отразились бы.

Татищев любит круглые цифры. Особенно 5000. Столько, по его мнению, на Каяле было пленено русских воинов. Столько же потерял один только Кзак на Посемьи. И если к этому прибавить его потери у Путивля и приплюсовать число половцев Кончака, погибших при осаде Переяславля и при сокрушительной вылазке римовских «городничих», то баланс явно в пользу Руси.

Этого вывода, пожалуй, и добивался Татищев при обработке Ипатьевской летописи. И эта работа, как мы уже читали у академика Б. А. Рыбакова, была выполнена «с большой тщательностью и добросовестностью».

Талант дописчика проявляется у Татищева по всему тексту. На протяжении своего рассказа он искусно формирует тот образ Игоря, который ему нужен. Татищев очень последователен в изложении сюжета, предложенного Ипатьевской летописью. Он не упускает ни одной исторической мелочи и даже добавляет свои толкования. Но одно место, большой кусок летописного текста, **опущен целиком.** Именно тот, который отрицательно характеризует «буйного» Игоря — **покаянный монолог** после битвы, где он сообщает о взятии им города Глебова, о жестокой расправе, учиненной им над мирными жителями русского города.

Так первый историк императорской России делал историю. Он уже твердо знает, что нужно взять от источника, а что сокращать. Он первым делает из Игоря патриота, страдальца за родную землю и вот кончает свою «летопись» описанием возвращения Игоря из плена: «была в Новгороде и по всей северской земле радость неописанная. Радовалися же не мало и во всей русской земле, зане сей князь своего ради постоянства и тихости любим у всех был». (Подчеркнуто мною.— О. С.)

Недоумение вызывает не история, а ее прочтения. Несовместимость формул патриотизма Автора и Исследователя мешала последнему понять и правильно истолковать многие важные выражения «Слова», образы главных его героев и суть событий, легших в основу фабулы поэмы.

Понятия «свой» и «чужой» в XII веке еще не столь прямолинейны, как, скажем, уже в XIV или в XVIII веке. Они лишены этнической окраски.

Даже монахи-летописцы называют своими не только русских, но и черных клобуков, берендеев, торков и ковуев.

Клички «поганый» удостаиваются враги независимо от их расовой и культурной принадлежности. По этим именем фигурирует однажды и Игорь, напавший на Ростиславичей.

Русские XII века не могли быть расистами: слишком тесны были кровные, культурные и политические связи с тюрками. Русь срослась с Полем, и мы видели, в какую драму превращались попытки нарушить хотя бы политические, самые непрочные коммуникации.

Для удельного князя «своими» были те, кто в нужный момент оказывал ему поддержку (часто ими были и половцы); «чужими»— те, кто стоял на пути его захватов или покушался на его удел. (Чаще всего ими были русские князья.) До XIV века русские не вели общенародных, национальных (с известной поправкой) войн. (Это обстоятельство важно учитывать при характеристике мировоззрения русского книжника той эпохи. Приличнее в данном случае термин — феодальное сознание, в отличие от поздних форм национального и имперского. Термин «Русь» в устах писателя XII века выражает понятие значительно более узкое, чем позже. Суздаль, Новгород, Рязань, Галицкие земли, Новгород-Северск, Полоцк, Чернигов и другие княжества не считаются Русью. Только владения Киева охватываются этим термином — традиция, идущая еще с варяжских времен.)

«Русский»— в большинстве случаев обозначало «киевский».

Рязанцы нападают на «русские обозы», т. е. на киевские. Когда Игорь сообщает своим соратникам, что «русские князья пошли на половцев, а мы в это время покусимся без них на кочевья половецкие», он имеет в виду киевских князей.

Когда киевляне приглашают на престол очередного князя, они посылают ему сказать традиционную формулу «хочет тебя вся русская земля и все черные клобуки», т. е. все население Киева и войско.

Расширялись владения Киева, и расширялось значение термина «Русь», он переносится на все новые и новые земли, становясь обобщающим названием краев, принявших власть Киева.

После уничтожения Киева Батыем термин «Русь» окончательно утрачивает свою привязанность к этому уже несуществующему городу, и постепенно, благодаря книжникам, переписывающим киевскую литературу, становится именем всей территории, населенной восточными славянами.

С перенесением центра в Москву историческая Русь стала окраиной государства — Украиной.

...Если бы существовал в XII веке термин «русский патриот», то относился бы он прежде всего к патриоту Киевского княжества. Такими были и киевские бояре, и черные клобуки (каракалпак), торки и берендеи.

Города, на которые после победы над Игорем сделали поход Кончак и Гзак, уже входят к тому времени в понятие «Русь».

Б. А. Рыбаков, которого трудно упрекнуть в малом знании источников, также обращает внимание на то, что и галицкие, и новгородские, и смоленские летописцы XII века (добавим: и киевские) под словом Русь понимают только южную. «Если из Новгорода или Суздаля едут в Киев, то это обозначается так, что едут в «Русь»; галицкие войска, противостоящие киевским, обозначены в летописи как воюющие с «русскими полками», Смоленск, Полоцк, Рязань — все они оказываются вне «Руси», так как под «Русью» часто понимают лишь южную Русь»[1].

Но вывод из этого наблюдения Б. А. Рыбаков делает, на мой взгляд, неточный. Он считает, что такая традиция —«воскрешение старого, архаичного, ограниченного понимания Руси»[2].

«Зачем летописцам понадобилось воскрешать устаревший взгляд на Русскую землю, ...умалив, урезав значение слов Русская земля?»

[1] Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, стр. 158.

[2] Там же.

И отвечает, что этим летописцы, вероятно, хотели подчеркнуть независимость своих городов от Киева.

Вывод недостаточно обоснован хотя бы потому, что и киевские летописцы следуют этой традиции. Видимо, не для того, чтобы сделать очевидной независимость Киева от Рязани.

Мне кажется, будет правильней считать, что географически расширенный смысл «Русь» получила не раньше XII века, а значительно позже. И этот взгляд не противоречит диалектике развития русского государства.

ГАЛИЦА ИЛИ СОКОЛ?

Важным диагностическим признаком, помогающим отличить авторский текст «Слово о полку Игореве» от плодов творчества Переписчика, является, на мой взгляд, наличие в тексте двух отношений к Игорю и его воинству.

Одно, более негативное, идет, вероятно, от протографа, другое — неприкрыто восторженное и жалостливое — принадлежит Переписчику.

Для последнего главным, определяющим моральную основу «подвига» Игоря, становится следующий очевидный факт — русский князь воюет с погаными и терпит от них обидное поражение. Переписчик — бóльший патриот (в современном понимании), чем Автор, и это сказалось при переписке.

От авторского отношения к Игорю остаются лишь намеки — те места, идеологическое содержание коих Переписчик не понял глубоко и потому оставил в тексте нетронутыми.

В качестве главного мотива, побудившего Игоря пойти покорять степь, Автор выдвигает стремление добыть славу великого полководца для достижения киевского престола. Но высказывает эту мысль не прямо, а облекая прозрачной тканью поэтической аллегории. Эти метафоры не поняты Переписчиком, поэтому сохранились и вносят смятение в умы современных исследователей.

Как правило, негативная оценка вкладывается в уста героев «Слова»— мифического певца XI века Бояна и князя Святослава. Боян выражается поэтически сложно, Святослав — резко и прямо, как и подобает великому князю киевскому.

Он так оплакивает своих братьев: «О моя сыновчя Игорю и Всеволоде! **Рано еста начала** Половецкую землю мечи цвелити, а **себе славы искати. Нъ нечестно** одолесте, **нечестно** бо кровь поганую пролиясте... рекосте: мужаимеся сами, **преднюю славу** сами похитимъ, а **заднюю** ся сами поделимъ» (подчеркнуто мной.— *О. С.*)

Тема славы проходит через все «Слово». Всеволод так характеризует своих воинов: «скачутъ акы серые волцы в поле, ищущи себе чти, а князю славы».

Слава в те времена понятие не столь эфемерное. Она означает — власть.

Лаврентьевская летопись под 1185 годом также вполне определенно называет мотив: «Задумаша Олгови внуци на Половци... Сами пойдоша особе, рекуше: «мы есмы ци не князи же? Такы же собе хвалы добудем».

Памятуя сказанное, приступим к анализу одного из самых «темных» мест «Слова», вызвавшего удивительные толкования. Автор задает себе вопрос — как бы мудрый Боян воспел поход Игоря? И предполагает варианты зачина бояновой песни:

Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая —
Галици стады бежать къ Дону великому.

Или «вспел» бы мудрый Боян так:

Комони ржутъ за Сулою —
звенить слава въ Киеве.

Отношение Автора к тактике Игоря выражено поэтически откровенно в первом варианте боянова запева.

Нет не соколов буря несет через поля широкие,—
то галочьи стаи стремятся к Дону великому.

Оглушительное сравнение игорева воинства не с соколами (как было принято), а с галками — ярче многих описаний характеризует рыцарское отношение Автора к проблеме «свои» и «чужие».

И, действительно, Игорь не как сокол летит на израненную от ударов Святослава степь, а как галица на падаль. Так «летал» он на беззащитные кочевья весной 1184 года. Репетировал — по выражению Б. А. Рыбакова.

Автор не решился сам, в авторской речи, так повернуть традиционный, былинный параллелизм, и вручает поэтический меч придуманному Бояну, который без опаски, широко и свободно сечет «своих».

В данном случае Игорь — не свой, он соперник и враг Святослава Киевского, и хотя совершает на первый взгляд богоугодное дело, но делает его **нечестно** по отношению и к Святославу, и к Руси, и к половцам. Поэтому он не сокол, а птица, питающаяся падалью.

В прочтении этих двух метафор и проявилась со всей очевидностью разность прямолинейного, **общего** взгляда исследователей и **конкретный** сложный феномен авторского отношения к описываемым событиям. Для исследователей к Игорю применимо традиционное фольклорное — Сокол. А галицы — это, естественно, половцы. И Автор, несомненно, именно такое противопоставление имел в виду, потому что он тоже — свой.

Все толкователи, без единого исключения, приняли желаемое за действительное. «Соколы — русские, галки — половцы»,— выражает общее мнение Д. С. Лихачев[1]. И это несмотря на вопиющее противоречие литературного характера, возникающее при таком прочтении. Смысловой перевод в таком случае выглядит нелепо:

Не буря русских воинов несет через поля широкие —
то половцы стремятся к Дону Великому.

Как будто не Игорь собирался «приломить копья конец поля половецкого испить шеломом Дону», и не воинов своих призывал: «а всядем, братья, на своих борзых комоней да позрим синего Дону», и не Игорю «спалила ум похоть — искусить Дону Великого».

[1] Слово о полку Игореве. М.—Л., 1961. Комментарий и перевод **Д. С. Лихачева**, стр. 197.

К каким результатам приводит науку принцип субъективистского подхода к источнику — заметно на этом примере. Вопрос: принимать факт литературный таким, каким он был, или должен был быть?— как видим, все еще актуален.

...Лишь писатель А. Югов почувствовал противоречие в толковании отрицательного параллелизма и предложил считать его положительным: и соколы — русские, и галицы — русские, но «галицы»— это вовсе не птицы, а галичские полки, которые идут вместе с Игорем. И не метафора это вовсе, а реалистическая деталь, не замеченная исследователями. Перевод его поразителен:

Не буря соколов занесла
через поля широкие —
галицкое войско несется
к Дону Великому[1].

[1] Слово о полку Игореве. М., 1945. Перевод и комментарий **А. Югова.** стр. 53.

Главное достигнуто, соколы остались за Игорем. Но, начав превращать стаи галок в полки галичан, надо продолжать. И А. Югов продолжает. Пейзажное описание «Слова»:

Длъго ночь меркнеть,
Заря — светъ запала,
Мъгла поля покрыла,
Щекотъ славий успе,
Говоръ галичь убуди.

И, разрушая один из самых прекрасных пейзажей европейской средневековой литературы, заслуженный поэт и прозаик А. Югов глухо и бессмысленно переводит последнюю строку:

Говор галичан умолк[2].

[2] Там же, стр. 59.

Не говоря уже о том, что «убуди» это форма глагола убудить, т. е. пробудить в противоположность «успе»— уснуть.

Не говоря уже о том, что ни один поэт древний и современный не решился бы в этот эпически обобщенный ряд помещать реальных галичан или псковичей. Закон былинного параллелизма: рядом с птицей — птица, рядом со светом — мгла (сокол — галка, соловей — галка).

Но в третий раз встретив галиц в «Слове», А. Югов столь же решительно оставляет их в покое.

«Нъ часто врани граяхуть трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть — хотят полететь на уедие».

И здесь галица рядом с птицей (вороном), но в соседстве столь неприличном, что Переводчику показалось выгодней поверить в правду текста. Воистину, «непоследовательность — моя сила».

Не поняв первого зачина, не поняли и второй. Чьи комони ржут за Сулою? Естественно, половецкие, полагают многие. Ведь Сула — пограничная река. За Сулой — степь. И опять обратимся к пояснению акад. Д. С. Лихачева: «Половецкое войско было конным. Приближение конного войска степняков поражало обычно скрипом телег и ржанием коней. Сула (левый приток Днепра) была наиболее близкой и опасной к Киеву границей Половецкой степи. В целом фраза эта,

в которой передается поэтическая манера Бояна прославлять победы русского оружия, может означать следующее: «только враги подошли к границам Руси, как слава русской победы над ними уже звенит в Киеве»[1].

Но ведь автор описывает здесь обратное движение — в конце апреля 1185 года не половцы идут к границам Руси, а войска Игоря отправляются «за Сулу».

Прочтение, подобное вышеприведенному, возможно, если рассматривать метафору вне событийного и литературного контекста поэмы.

Правильней, на мой взгляд, прочли В. И. Стеллецкий и О. В. Творогов.

«Комони (русских) ржутъ за Сулою — звенитъ слава (этих побед) въ Кыеве»[2].

Но и они не связывают эту образную картину с походом Игоря, предполагая, что «здесь содержится намек на победоносный поход коалиции русских князей против половцев в 1184 году»[3].

В этой метафоре, по-моему, выражено отношение Автора к **стратегии** Игорева похода, к честолюбивым замыслам северского князя, отправившегося «поискать славу». Путь к киевскому столу для него теперь лежит через Поле. Если комони его пойдут за Сулу, то победа его эхом отзовется в сердцах держателей престола — киевской знати, политическая программа которой Игорю известна. Окончательный разгром половецкой державы может стать решающим аргументом в споре за титул великого князя.

Какая буря, какая необходимость острейшая понесла Игоря в поля широкие? Буря непомерного честолюбия, алчба легкой наживы — добыть славу, потоптав лежачего...

В этих двух «эпиграфах»— авторская расшифровка замысла Игоря, отношение Автора к походу (к тактике и стратегии северского князя), его политические взгляды.

Я пока не говорю о художественном блеске кристаллических фраз этих — любой поэт позавидует такому умению малым выразить многое — я хочу указать на то громадное расстояние, историческое, идеологическое и нравственное, которое пропастью пролегло между современным читателем и этими прозрачнейшими (лексически и грамматически) словосочетаниями, которые в ученом прочтении превратились в «темные» места «Слова».

Одни эти кощунственные, обескураживающие галицы могут достойно представлять подлинную древность памятника, ибо ни один писатель России XVIII века не допустил бы такого высокого моветона по адресу доблестных предков. На частном, древнерусском материале Автор попытался коснуться нравственной проблемы общечеловеческой значимости —«свой неправ».

Практика мировой литературы сохраняет считанные примеры подобного откровения. А возможно оно лишь по отношению к **современникам** автора. Фальсификатор же, сочиняя лжеисторическую повесть, даже возвышаясь над уровнем науки и литературы XVIII века, не мог бы угадать подлинные намерения Игоря и уподобить его воинов стаям галиц, слетающихся на падаль.

Первое время читателей «Слова» шокировало и то, что воины Всеволода «скачутъ аки серые волци в поле».

Ни в одном памятнике после «Слова» христианин не уподобляется серому. (Этот положительный образ идет со времен дохристианских

[1] Слово о полку Игореве. М.— Л., 1961, стр.197.

[2] Слово о полку Игореве. Л., 1967, стр. 478.

[3] Слово о полку Игореве. М., 1967, стр.129.

культов. В тюркской и монгольской фольклорных традициях волк — образ мужества. Сравнения с волком удостаиваются не многие герои. Волк — один из авторитетнейших тотемов степного культа. В некоторых генеалогических легендах тюрки и монголы ведут свое происхождение от волка. Вспомните и древнерусский культ волка.)

Характерна реакция «Задонщины».

С соколами сравниваются только русские воины, а татары — это волки, вороны, гуси-лебеди (тоже, кстати, отрицательный образ в былинной традиции).

А рассмотренный отрывок передан в «Задонщине» так:

> Ци буря соколи занесет
> из земли Залеския
> в поле Половецкое:
> на Москве кони ржут,
> звенит слава по всей земле
> русской...

Автором «пересказа» использована форма метафор «Слова», содержание (ни литературное, ни историческое) не было понято.

И в дальнейшем сложная диалектика идейного содержания памятника ординарным прочтением упрощена и сведена к прямолинейному стереотипу — призыв объединиться перед лицом варварской степи. Используя этот вывод как универсальную отмычку, иные толкователи пытаются взломать железные врата, ведущие в мир честного «Слова».

БЫЛА ЛИ ДЕВА!

«Уже бо, братие, невеселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа внука, вступилъ девою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синемъ море у Дона, плещучи убуди жирня времена».

Перевод Мусина-Пушкина:

«Невеселая уже, братцы, пора пришла: пала въ пустыне сила многая, возъстала обида Даждь-Божымъ внукамъ. Она, вступивъ девою на землю Троянову, восплескала крылами лебедиными на Синемъ море у Дону, купаючись, разбудила времена тяжкие».

Так из-за неверной разбивки родилась еще одна поэтическая красивость — образ Девы-Обиды, не свойственный славянской мифологии. Последующие поколения переводчиков согласились с таким членением и внесли только две грамматические поправки: «вступила» вместо «вступилъ», и «убуди»— распугала вместо «убуди»— возбудила.

С девами в «Слове» вообще много мороки, а здесь еще одна. Да какая! «Дева-Обида — это всенародное бедствие, которое неотвратимой волной нахлынуло на всю страну,— комментирует М. В. Щепкина,— олицетворение это поражает не только силой, но и красотой, которая ставит его наравне с таким замечательным памятником античной скульптуры, как Самофракийская Ника»[1].

П. П. Вяземский был уверен, что Троян — это царь Трои —

[1] **Щепкина М. В.** К вопросу о неясных местах «Слова о полку Игореве». В сборнике статей под ред. Адриановой-Перетц. М.— Л., 1950, стр. 194.

Пергама и под Девой-Обидой автор «Слова» подразумевал саму Елену Прекрасную.

Литература по этому отрывку накопилась громадная. Общие усилия увенчались следующим прочтением: «Уже, братья, невеселое время наступило, уже пустыня силу русскую прикрыла. Встала Обида в войсках Дажь-Божа внука (то есть русских), вступила она Девою на землю Трояновую (то есть русскую землю), всплескала лебедиными крыльями на синем море у Дона и плещущи распугала счастливые времена».

Такое понимание принято во всех последних изданиях «Слова».

Смысл текста запутан окончательно.

Я проверяю разбивку Мусина-Пушкина. Вреда большого для наших знаний о памятнике, думаю, не будет, если подвергнуть сомнению одну буквенную комбинацию Мусина-Пушкина. Зато мы избавляемся от необходимости вносить грамматические поправки. Думаю, что и Переписчик-16 это место читал по-иному. (Соответственно с разбивкой изменена нами и пунктуация.) «Уже бо, братие, невеселая година въстала; уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида в силахъ Дажь-Божа внука: «вступилъ, де, вою на землю Трояню», въсплескала лебедиными крылы на синемъ море у Дона; плещучи убуди жирня времена».

Этой разбивкой «девою»—«де, вою» оправдан мужской род глагола «вступилъ», ибо относится глагол не к «обиде», а к Игорю, который вступил войной на землю Трояню.

Дажь-Божий внук обижается на Игоря. Это его обида всплескала крыльями у Дона, т. е. там, куда пришел Игорь войною. Эта его обида возбудила времена «жирные». Автор как бы становится над схваткой (употребим современную формулу) и, пытаясь сохранить объективность, объясняет причину ответного нападения половцев на Русь. Он выражает этот мотив словами обиженного Игорем Дажь-Божья внука, «вступилъ, де, вою», и не кажется противоестественным, что использован в этом контексте термин из половецкого словаря.

...Опять мы, кажется, встречаемся со случаем превращения сочетания «къ» в «я» (тюркское «жирикъ»— разрыв, в переносном смысле «раздор» (каз.). Происхождение его прозрачно: жирт — разорви; жира — место разрыва; жирикъ — разрыв, раскол, раздор.

В рукописях часто путаются «и» и «н» из-за графической схожести. Палеографы могли бы найти много примеров буквенного чередования къ/я, особенно в написаниях лексем, смысл которых переписчикам не был ведом.

В правильности догадки убеждают меня следующие за «жирными временами» строки, смысл которых настолько прозрачен, что искажение его почти невозможно, хотя Переводчики и доказывают обратное.

«Усобица Княземъ на поганыя — погыбе, рекоста бо братъ брату: «се — мое, а то — мое же» и начаша Князи про малое «се — великое» млъвити, а сами на себе крамолу ковати».

Перевод: «Войны князей с половцами — погибель, говорит брат брату: «это — мое, а то — мое же», и начали князья про мелочь говорить «это — великое», а тем самым навлекают на себя беду». Здесь обвиняемая сторона — князья. Они покушаются на чужое под видом защиты своего. Мелкие князьки, воспаляясь честолюбием, мнят себя великими. Они провоцируют половцев на ответные удары: «А погании съ всехъ странъ прихождаху съ победами на земли Русскую». Иронией и печалью проникнуты обобщающие слова куска:

«О, далече зайде соколъ, птицъ бья — къ морю. А Игорева храбраго плъку не кресити».

Автор продолжает разоблачать былинный стереотип: «сокол» звучит здесь как бы в кавычках.

Сокол, защищающий свое гнездо,— вот положительный образ князя. Таким предстает матерый, перелинявший сокол — Святослав Киевский, который «не даст гнезда своего в обиду». Сокол же, который летит к морю «бить птиц», вызывает у автора осуждение, ибо такая княжеская «охота» приводит к гибели простых людей, сочувствием к которым пронизана поэма.

Половцы приходили на Русь, как правило, по приглашению самих князей.

Весной 1184 года навел Кончака на Киев, по всей видимости, Игорь. Бессмысленное стояние Кончака на пограничной Суле с огромным войском, оснащенным самым современным оружием «огнестрелами», ничем не объяснимо, кроме как одним — Кончак ждал начала выступления северских князей и черниговского Ярослава. Не случайно Святослав тут же посылает людей к Игорю и Ярославу. Те поддаются уговорам, отказываются от своих прежних намерений, но и не принимают предложения Святослава двинуть свои войска на Кончака. А тот, пока происходят переговоры Ольговичей, терпеливо ждет за Сулой сигнала своих союзников.

У Кончака никогда не было такой громадной армии. Использовав фактор внезапности, он бы мог самостоятельно взять Киев, если бы имел такую задачу. А он стоит, не переходя границу.

Святослав «обзванивает» князей, собирает силы. Именно он, как ни парадоксально это звучит, использует фактор внезапности. Его конница — берендеи и черные клобуки — тайно перешла Сулу и нанесла неожиданный удар по расположению Кончака.

Игорь и Ярослав предали своего союзника, поставив его, прямо скажем, в неловкое положение.

И через неделю «сват» Игорь вероломно нападает с ковуями Ярослава на мирные кочевья Кончака, оставленные «без присмотру».

И встала обида в силах половцев, и пробудила времена раздора. Под временами «жирик», видимо, понимались первые годы соседства, когда половцы, вытеснив печенегов, приходили в неизбежные столкновения с Русью.

И теперь захватническая политика удельных князей, распространившаяся на «земли Трояна», привела к тому, что нарушились «сватовские», «братские» отношения со Степью. В первые за много лет (за весь XII век) половцы «без приглашения» нападают на Русь. Причина этому, утверждает Автор «Слова о полку Игореве»,— обида.

Почему обида половецкая машет лебедиными крыльями?

Гуси и лебеди — отрицательные образы древнерусского фольклора и письменности. Если русских в поэзии обозначают — соколы, то степняков — гуси и лебеди. В «Задонщине»: «Когда гуси возгоготаша на речкы на Мечи, лебеди крилы въсплескаша. Ни гуси возгоготаша, но поганый Мамай на Русскую землю пришел, а выводы своя привел». (Список И-1). «Уже бо те соколы и кречеты за Дон борзо перелетели и ударилися о многие стада лебединые. То ти наехали руские князи на силу татарскую» (У).

Автор «Слова», как мы видели, покушается в иных местах на одномерность сравнения князь — сокол. Однажды он даже позволяет Бояну наречь северских князей не соколами, а галицами. Параллель же половцы — лебеди у него не вызывает возражения. Все, что имеет какое-то отношение к половцам, часто несет в поэме четкий знак лебедя. Удивительные образы рождены поэтом в разработке лебединой темы! Даже телеги половецкие «кричат» у него словно «лебеди распуганные». Такое пронзительное одушевление трудно встретить и в современной, более изощренной поэзии.

Ночами в панике бегут кочевые аулы от войск Игоря, жалкий скарб на колымагу, детей — в короб, кнутом — по чалому и —«Кричат телеги в полуночи как лебеди распуганные».

Чтобы описать в нескольких словах бегство суздальских крестьян, Автор нашел бы другое сравнение скрипу несмазанных колес, и тогда, возможно, кричали бы телеги как кречеты...

Мне кажется, не последнюю роль в рождении этого уподобления сыграл тюркский этноним —«казак». В народной этимологии он и поныне разлагается на «каз ак»— гусь белый, т. е. Лебедь[1].

Благодаря такому пониманию народного имени Лебедь и Гусь стали своеобразными поэтическими тотемами казахов. Народ Белых Гусей обожествлял этих птиц. Убить гуся или лебедя считается великим грехом и поныне.

Исследователь эстетических взглядов древних казахов не обойдет вниманием Белого Гуся: люди многое брали от своих тотемов. Эти пернатые стали одушевленными идеалами красоты.

Европейского слушателя, привыкшего к другой системе поэтических уподоблений, могут шокировать, например, такие строки из эпоса «Ер-Таргын», где дочь Акша-хана находит лучшее для себя сравнение:

Атам менен апамнын асыранды қазы едім.
(У отца с матерью я росла, как ручная гусыня.)

В одной книге мне довелось прочесть комментарий к этим строкам, комментарий, иллюстрирующий метод вульгарно-социологического подхода к поэзии: «Сравнение Ак-Жунус с домашним гусем, надо полагать, не случайно. (!) По-видимому, она была дочерью крымского хана, который жил оседло и разводил домашних гусей»[2].

Экономическими причинами едва ли можно объяснить обилие гусей в казахской народной поэзии.

Ауеде ушып журген каз баласы...
(Гусенок, летающий в небе) —

поет казах о любимой.

[1] Во всех тюркских языках «каз»— гусь, «ак»— белый.

[2] **Толыбеков С. Е.** Кочевое общество казахов. Алма-Ата, 1971, стр. 209.

Он сравнивает ее шею с гусиной («каз мойын»), ее руки с крыльями гусиными («каз канат»), ее голос с гусиным («каз даусты»). Красноречие почиталось главным из искусств. («Өнер алды — қызыл тіл», т. е. «начало всех искусств — красная речь».) Лучшим ораторам степным присваивалось звание — каздаусты (гусиноголосый).

Какой казах не знает великого оратора древности Каздаусты Казбека? Нет, не потому, что казахи содержали птицефермы, они воспевали гусей и подражали им, а потому, наверное, что нашли Белого Гуся в своем имени. Для древнего это значило, что Белый Гусь — его предок. Культ предков лежит в основе степных религий.

...Каждый народ пытается осмыслить свое наименование. Он осваивает его, подгоняя, если возможно, форму этнонима к знакомой лексике. «Казак» толкуется слишком легко, и это подозрительно. Но нас сейчас интересует даже не праформа этнонима, а то, как давно он стал пониматься — Гусь Белый.

Мне кажется, славяне знали термин в этом смысле еще до эпохи «Слова». Если значение этнонима, хотя бы приблизительное, было известно, они калькировали его. Так каракалпак (черный колпак) стал весьма популярным черным клобуком.

Думаю, та же судьба постигла и «казакъ». Но кальке «лебедь» трудно было существовать в качестве самостоятельного этнонима в официальных русских летописях.

В поэтическом же языке «лебедь» остался как один из основных былинных образов степняка.

Именно осознав степняков в этом символе, сказители X—XI веков могли найти поэтический противообраз, лестный для своих богатырей. В природе нет гусю-лебедю страшнее врага, чем стремительная, хищная птица — сокол. Поэтическому рождению своему Сокол, возможно, обязан Гусю-Лебедю.

...Русская обида не могла бить лебедиными крыльями. Крылами соколиными — да. Законы былинной поэтики.

На Алтае в местах кочевий рода куман есть несколько рек под названием Куманды (т. е. Куманская). Русские старожилы Алтая называют эти реки Лебедиными, а тюркоязычных насельников этих мест — лебединцами. Вероятно, термин «Куман» этимологизировался как «Ку-ман». Ку — во многих тюркских языках обозначает лебедя. Ман — участвует в сложных лексемах южнотюркских языков в значении «человек». (Сравните: туркмән=тюркский человек и др.). Скорее всего, формант заимствован из индоевропейских языков.

Возможно, описательный термин «казак» и привел к появлению этнонима «куман», который стал одним из самоназваний племен, входящих в кипчакскую федерацию. Византийцы знали половцев под этим именем. Да и русские летописцы подчас проводили знак равенства между этими этнонимами —«кумане рекше половцы».

Таким образом, метафора «половцы — гуси-лебеди», мне кажется, не случайна. Русские знали народный перевод самоназваний «казак» и «куман».

Почему степняки названы потомками Даждь-бога? В «Слове» это имя упоминается еще раз: «Тогда при Олге Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами погибашеть жизнь Даждь-Божа внука. Въ княжихъ крамолахъ веци человекомъ скратишась».

Автор расследует историю усобиц Руси с половцами. Не случайно упоминается Олег Святославич, названный весьма прозрачно «Гориславичем». Дед Игоря и Всеволода, он одним из первых стал привлекать половцев. Благодаря женитьбе на половчанке он приобретает право родственника на защиту и, искусно пользуясь этим, получает княжение в Тмуторокани, а потом захватывает Чернигов: «Се — мое, а то мое же».

В этих битвах Олега за престолы гибли и его союзники, половцы — Даждь-божьи внуки.

Кто же такой Даждь-бог? В летописи под 1114 годом в выписке из византийской хроники Малалы рассказывается о верованиях египтян, которые чтили сына Сварога «именем Солнце, его же наричють Даждь-бог». Книжники по христианской традиции производили славян от Яфета, сына Ноева, а степные народы — от остальных сыновей благословенного праотца — Сима и Хама. От последнего произошли, по христианской генеалогии, и египтяне. Таким образом, по мысли книжника, если египтяне поклонялись некогда Даждь-богу, то и половцы имеют в корнях отношение к оному. Способствовать этой догадке книжника могло и «официальное» мусульманское название южнорусских степей «Дашти-кипчак» (т. е. страна кипчаков). И половцы и русские не понимали слова «Дашти». Книжники соотнесли его с именем египетского бога Даждь и увидели близость. Таким образом, жители Дашти-кипчака могли превратиться в потомков Даждь-бога.

...Монах, переписывавший Псковский Апостол в 1307 году, использовал формулировку из «Слова» в таком виде: «гыняша жизнь наша, в княжьих крамолах веци скоротишася человеком».

Непонятное «Даждь-божии внуки» заменил местоимением «наша». Содержание отрывка «Слова», на первый взгляд, подсказывает именно такое решение. Опираясь на «перевод» Апостола, исследователи укрепились во мнении, что Автор подразумевал под Даждь-божими внуками — русских. Хотя, повторяю, значение этого недвусмысленного оборота прочитывается в самом «Слове» без помощи достаточно подозрительной вставки в список Апостола.

Названа главная причина обиды половецкой: «вступил, де, войною на землю Троянью».

Кто он, злополучный Троян? Он упоминается в «Слове» четырежды.

БЫЛ ЛИ ТРОЯН!

Большинство исследователей под именем Трояна увидели римского императора Траяна (98—117 гг. н. э.). Лишь П. П. Вяземский был уверен, что Троян — это скорее всего царь гомеровской Трои.

Автор «Слова», должно быть, был человеком весьма начитанным в древнеримских хрониках и «Илиаде».

Наивные лингвистические упражнения комментаторов «Слова» базировались на знании имен и фактов, ставших доступными благодаря развитию европейской историографии в XVIII—XIX веках.

В ту эпоху на младенческой почве исторического знания появилось множество искусственных всходов. Факты мирового прошлого спешно пересаживались на славянскую почву, дабы дорисовать парящую в умах картину общеевропейской древности. Созвучности имен урартских царей Рус I и Рус II с великим этнонимом еще не так давно казалось достаточно, чтобы объявить правителей допотопного государства русскими.

Но в ситуации, сложившейся в научной мысли XIX века, таким мелочам зачастую не придавали значения. Казалось естественным, что древнерусский книжник запросто знал научную историю Рима. Но бог его ведает, почему он упоминает четырежды имя заурядного императора Траяна, и притом в необычных поэтических обстоятельствах.

«На седьмомъ веце Трояна връже Всеслав жребий о девице себе любу»— что сие означает? Наверное, на седьмом веке от Трояна. Высчитываем — 2+7=9 век по христианскому летосчислению. Но Всеслав жил и творил жребии в XI веке, по тому же календарю.

Были вечи Трояни, (II век)
минула лета Ярославля, (XI век)
были плъци Олговы,
Ольга Святъславличя (XI век).

Века Трояна, скорее всего, были расположены не столь далеко от лет Ярослава и походов Олега.

Боян жил в XI веке. И, мысленно обращаясь к нему, Автор восклицает: «О, Боян, соловей старого времени!» (XI век для поэта — уже «старое время»). «Если бы ты воспел нынешние походы ...стремясь в т р о п у Т р о я н ь ю через поля на горы, то пел бы ты такую песнь Игорю, того внуку (т. е. внуку Олега): не буря соколов несет через поля широкие, то галочьи стаи летят к Дону великому». (Перевод.)

Тропа Троянья действительно функционирует в XII веке, Бояну предлагается воображением пройти этот путь, путь, по которому идут полки Игоревы к Дону. Где-то там и расположены земли Трояньи.

Ключ к пониманию термина Троян, по-моему, хранится в этом куске.

В копии, сделанной для Екатерины, на месте «Трояна» значится написание «Зоян».

Предположили, что писец перепутал лигатуру «тр» и букву «з». В смелой догадке этой есть рациональное зерно, которое, к сожалению, не развилось в побег. Если бы и далее пошли по сему пути, возможно, встал бы вопрос: если Троян необъясним ни историческими, ни литературными, ни культурными причинами, почему не испытать путь палеографического исследования?

...Из соображений экономии дорогого писчего матерала книгописцы отказались от интервалов между словами в строке и, более того, стали сокращать в некоторых случаях наиболее употребительные слова, смысл которых был бы ясен читателю и в аббревиатурах. Часто, дабы избежать переноса, сокращался термин, оказавшийся в конце строки. Твердых правил аббревиатур не существовало. Если можно вывести хоть какую-то закономерность из способов сокращения церков-

ных терминов (хс — Христос, стая бца — святая богородица и пр.), то светские термины, в особенности имена, сокращались авторами произвольно.

Историк всегда пишет для современников: такова природа психологии любого творчества.

Проходит время, термин уже не столь популярен, читатель изменяется, он не знает многого из того, что необходимо для правильной расшифровки аббревиатуры, и она — неузнана.

В происхождении «Трояна», мне думается, виновны Переписчик-16 и Мусин-Пушкин.

Предлагаю к обсуждению следующую версию:

1. «Троян»— аббревиатура.
2. В списке XVI века она была под титлом троян.
3. Титло было неясным, и писец екатерининской копии принял его за надстрочную букву *s* (зело), так как описки в рукописях иногда поправлялись надстрочной буквой, причем ошибочное написание не зачеркивалось. Писец Екатерины вносит правку в строку и получает — «Зоян».
4. Мусин-Пушкин — человек образованный. Комбинация «Троян» ему кажется вполне благозвучной. Она легко вызывает исторические ассоциации. И он игнорирует надстрочный знак. Может быть, и угадал в нем титло, но вполне целое «Троян», по его мнению, не могло быть аббревиатурой: в сокращениях чаще всего страдают гласные, а здесь вокал достаточно полный. И, навечно утверждая свое толкование этого написания, он вносит в список имя «Троян» без титла.

...Я думаю, сокращению подверглось слово «Тьмуторокань». Каждый раз, когда оно оказывалось в конце строки, оно принимает у Автора вид трокънь окънь.

Переписчик XVI века, встречая «КЪ» в непонятном слове (как уже говорилось), получает «ю».

Предполагаю, что Тьмуторокань упоминалась в «Слове» не три раза, а все семь.

1. «И тебе тьмутороканьский блъван».
2. «Рища в тропу трокъню» (Трояню).
3. «Были веци трокни» (Трояни).
4. «На землю трокъню» (Трояню).
5. «На седьмом веце трокъни» (Трояни).
6. «Дорискаша до кур Тьмутороканя».
7. «Въ граде Тьмуторокане».

Это название города-княжества, которым в XI веке управлял дед Игоря Олег-коганъ.

Лаврентьевская летопись называет одной из главных целей Игорева похода —«поискати града Тьмутороканя». Официальная версия — Ольговичи хотят вернуть потерянную вотчину. Конечный пункт их похода —«торпа[1] Тмутороканя».

Скажем, что меняется от замены «тропа» на «торпа»? А. Мазон много внимания уделил некоторым лексическим особенностям памятника, свидетельствующим, с его точки зрения, о неумении фальсификатора подделаться под старый язык и изобличающим его в ложных архаизмах.

[1] **«Торпа»**— земля (тюрк.). Эта форма сохраняется в западнотюркском ареале.

Слово «тропа», как указывает А. Мазон, по памятникам не засвидетельствовано ранее XVI века. Следовательно, в оригинале, если бы он действительно создавался в XII веке, «тропы» не могло быть. На эту претензию отвечает Н. К. Гудзий: «Далеко не все слова живого русского языка нашли себе отражение в древнерусских письменных памятниках (а в «Слове» присутствие в большей мере живой, не книжной речи несомненно)[1].

Но в этом конкретном случае я согласен с А. Мазоном. «Тропы», по-видимому, не было в оригинале «Слова». Она появилась под пером Переписчика XVI века в результате ложной этимологизации формы «торпа» подлинника. В одном случае «торпа» освоена Переписчиком в виде близкого «тропа», а во втором — автором употреблен русский синоним «земля».

Итак, предлагается новое смысловое прочтение: «Встала обида в войсках **половецких**: «вступил **де, войною на** землю **Тьмутороканью»**, всплескала **лебедиными крыльями** на синем море у Дона; плещущи, **разбудила** времена **раздоров»**.

[1] **Гудзий Н. К.** По поводу ревизии подлинности «Слова о полку Игореве». В. кн.: «Слово о полку Игореве»— памятник XII века, М.— Л., 1961, стр. 112.

НЕ ПО ЗАМЫШЛЕНИЮ БОЯНА

Игорь бежит из плена.

...не сорокы втроскоташа — на следу Игореве
ездить Гзакъ съ Кончакомъ...
Млъвитъ Гзакъ Кончакови:
«Аже соколъ къ гнезду летить,
соколича ростреляевъ своими злачеными стрелами».
Рече Кончакъ ко Гзе:
«Аже соколъ къ гнезду летитъ а ве соколца опутаеве красною
девицею».
И рече Гзакъ Кончакови:
«Аще его опутаеве красною девицею,
ни нама будетъ сокольца,
ни нама — красны девице,
то почнутъ наю птици бити въ поле половецкомъ».
Рекъ Боянъ и ходы на Святъславля,
пестворца стараго времени
Ярославля, Ольгова коганя хоти...

На этих словах, по-моему, и обрывался авторский текст «Слова». Поэтому исключительно важно узнать, какой же смысл заключался в подчеркнутом выражении.

Мусин-Пушкин понимал его так: «Сказал сие Боян и о походах воспетых имъ в прежние времена князей Святослава, Ярослава и Ольга сим кончил...»

Всю историю толкования этого места привести не удастся. Вот некоторые известные поправки: «Рекъ Боянъ исходъ на Святославля» (Бутков, Дубенский, Миллер)—«Сказал Боян про Святославля»...

Переводчики не учли грамматическую форму имени Святослава:

суффикс «ля» в данном случае указывает на принадлежность предмета или субъекта, обозначенного словом «ходына», Святославу. И кроме того, подтверждает женский род этого предмета (или субъекта) и единственное число. Примеры тому в древнерусском языке: «град Святославль», но «деревня Святославля», «грады Святославли».

О других толкованиях акад. А. С. Орлов говорит: «Чтение «ходына» объяснили как «година» (час) или как имя песнотворца «Рек Боян и Ходына...», но певца Ходыны нигде в «Слове» не упомянуто, трудно объяснить неожиданность его появления. Ходыну изобрел И. Е. Забелин и поддержал его В. Н. Перетц»[1].

А. И. Лященко в 1928 году предложил читать: «Рекъ Боянъ на ходы на Святъславля — песнотворецъ...»[2]

Это искусственное образование поддерживает ныне В. И. Стеллецкий. Последний переводит его так: «Молвил Боян о походах Святославовых»[3].

Мусин-Пушкин добивался такого же смысла без замены и-на, которая, кстати, ничего не прибавляет фразе, кроме лишней грамматической неловкости.

И получилось: «Молвил Боян о походах Святославовых, песнотворца старого времени Ярославова, коганя Олега жены...»

Ни одно из имеющихся толкований, ни одна из конъектур не придает смысла этому отрывку. Причем здесь походы Святославовы, и кто этот Святослав? А. И. Лященко полагал, что имеется в виду Святослав II. В. И. Стеллецкий решительно отвергает второго и неуверенно предлагает первого (Святослава I Игоревича, отца Владимира I). Единственный аргумент в пользу этой кандидатуры —«провел большую часть времени своего княжения в походах»[4].

Святославов, которые ходили в походы, в истории Руси X—XI—XII веков можно найти не один десяток.

Причем тогда «хоти» Олега, и почему он назван коганем? О каком песнотворце старого времени говорит Боян? Эти вопросы не сняты исследователями. Мне кажется, в авторский текст вмешалась пояснительная фраза Переписчика, она-то и внесла сумятицу. Он, несомненно, подработал этот кусок, в котором были, очевидно, термины, недоступные его пониманию. Их он «освоил», подогнал к своему словарю.

Посудите сами, должен ли был П-16 вмешаться, дабы у читателя не оставалось сомнений относительно личности Бояна.

Млъвитъ Гзакъ Кончакови...
Рече Кончакъ ко Гзе...
И рече Гзакъ Кончакови...
Рекъ Боянъ...

Структура всего куска подводит к убеждению, что некий Боян участвует в диалоге половецких ханов. Боян замешан в контексте, который рисует его отрицательной краской и сближает с половцами: Боян почему-то «ходил» на кого-то из Святославичей и жену Олега.

Встретившись вновь после большого перерыва с персонажем по имени Боян, к тому же обретающимся в нездоровой компании с Кончаком и Гзаком, П-16 счел необходимым выделить его из их среды и объяснить читателю, что Боян вовсе не соучастник ханов, а тот самый

[1] Орлов А. С. Слово о полку Игореве. М.— Л., 1946, стр. 134.

[2] Пояснения одного місця в «Слові о полку Игореве». Ювіл. збірн. на пошану акад. М. С. Грушевського. Ч. II, Київ, 1928, стр. 187—189.

[3] Слово о полку Игореве. Под редакцией В. И. Стеллецкого. М., 1967, стр. 210.

[4] Слово о полку Игореве. Под редакцией В. И. Стеллецкого. М., 1967, стр. 211.

певец XI века, о котором говорится в начальной части поэмы. И он подписывает под именем «Боян» пояснительную фразу —«пестворец стараго времени» и уточняет, какого именно времени —«Ярославля».

В списке XVI века рассматриваемый кусок мог выглядеть примерно так[1]:

Рекъ Боянъ и ходына Святъславля
пестворецъ стараго времени, Ярославля.
Ольгова коганя хоти...

[1] Для удобства чтения расчленим, расставим знаки препинания, выделим имена.

Межстрочная приписка показывала, что П-16 пытался толковать смысл переписанной им фразы и хоть чем-нибудь помочь будущему читателю. Надо полагать, что вставка была выполнена более мелкими буквами, чтобы можно было отличить ее от авторского текста. Мусин-Пушкин не понял назначения «мелкой» записи и при переписке включил ее в основной текст, тем самым окончательно затемнив и без того темное место.

Разобравшись в этой механике, мы можем попытаться узнать то, что не поняли ни псковский монах, ни ученый граф, т. е. значение авторских слов —«и ходына Святославля, Ольгова коганя хоти...»

О чем говорят Гзак с Кончаком, читателю XII века известно. Метафорический диалог «скрывает» популярный факт из истории Ольговичей: Владимир Игоревич в плену, после побега отца, женился на дочери Кончака. Ипатьевская летопись под 1187 годом сообщает:

«Приде Володимеръ изъ половцевъ съ Кончаковной и створи сватбу Игорь сынови своему и венчаша и съ детятемъ».

...Итак, Кончак предлагает опутать Владимира красной девицей и тем связать Игоря родственными узами, лишив его права на месть и дальнейшие «покушения».

Гзак — сторонник иных мер, он категоричен: убить Владимира («соколича»), наказав Игоря за побег.

Гзак убеждает верящего в договоры Кончака. Не та эпоха, не те нравы. Брачные союзы уже лишаются прежнего политического смысла. Опутав соколича красавицей, и ее потеряем, и соколич не станет своим, и будут соколы «наших птиц» бить в нашем поле.

Тема «женитьбы» продолжается, если «ходына» связать с тюркским словом «ходын»— 1) баба; 2) госпожа; 3) жена[2].

Боян говорил о «бабе» Святослава и о жене Олега-кагана. (В «Слове» уже употреблялась лексема «хоти» в значении «жена», «супруга». Так называет автор жену буй-тура Всеволода.) Форма «ходына» еще один из гапаксов «Слова». В известных памятниках древнерусской литературы употребительна ордынская форма «катунъ», например, в «Задонщине» в речи татар: «уже намъ, брате, в земли своей не бывати, а детей своихъ не видети, а катунъ своихъ не трепати» (Список И-2).

Чем же были «интересны» жены Святослава и Олега, если о них шла речь в «Слове» в связи с женитьбой Владимира Игоревича? И кто они — Святослав и Олег?

Я предполагаю, что автор имел в виду отца Игоря — (Святослава) и деда (Олега). Оба они были женаты на половчанках: Святослав на дочери хана Аепы, а Олег на дочери Тугра-кана.

[2] Фонетические варианты в тюркских наречиях: хотын, хатын, катун, катын и т. д.

Князь Олег Черниговский и Тьмутороканский пользовался большим влиянием в степи. Никакой другой из известных нам Олегов XI—XII веков не мог величаться тюркским титулом «каган», т. е. старший хан[1].

В IX—X веках несколько великих князей Руси «официально» носили этот титул.

Если наше предположение верно, то смысл оборванной фразы будет таким: «Сказал Боян: и баба Святослава и Олега-кагана жена»... были половчанками. Но пришел ведь войной в степь сын и внук их Игорь. Разве придаст он теперь освященное традицией значение браку своего сына, если пренебрег он прежними узами кровного родства?

В довольно неожиданной роли выступает песнетворец старого времени. Переписчик не удивился тому, что Боян, отпевший свое уже в XI веке, высказывается по поводу событий конца XII. А был ли Боян в этом месте протографа?

Анализируя лексику «Слова», я не раз сталкивался с тем, что П-16 при переписке путал авторское написание «къ» с «я», но только в тех случаях, когда «къ» встречалась в лексемах, значение которых ему уже было непонятно. Так, на мой взгляд, появились темные слова «повелея» (из «повелекъ»), «жирня» (из «жирикъ»), «троян» (из аббревиатуры «трокънъ»).

Так же могло появиться в последнем случае «боянъ» из «бокънъ»[2].

[2] Боян упоминается в «Слове» несколько раз. Вполне возможно, что для передачи звука «я» автор употреблял букву А. Переписчик же только букву «Ѧ».

Предлагаю читать: «Рекъ бо кънъ: «и ходына Святъславля, Ольгова коганя хоти...»

Это авторская расшифровка метафорической речи Гзака.

Бо — частица, используемая при подобного рода обнажениях метафор.

Кънъ — вероятно, написание титула кон (кан). В русском языке утвердилось произношение «хан».

Не Бояну, а хану Гзаку, скорее всего, и принадлежали слова — и «баба Святослава и Олега кагана жена...»

Не Боян, а хан Гзак убеждал Кончака, что и отец и дед Игоря состояли в родственных отношениях со степью, и новый брак Ольговича ничего хорошего не обещает половцам. Уже не метафорой, а прямым текстом излагается суть происходящих событий, очень важных для истории взаимоотношений Руси и Поля.

...Читая «Слово», я неоднократно убеждался — Автор знал один из тюркских языков и разбирался в наречиях. Он не стенографирует речи персонажей, но достаточно точно стилизует их: бусовранне у него говорят на западнокипчакском звонком диалекте, Гзак окает, как среднеазиатский тюрок: «ходын» вместо «хадын», «коганъ» вместо «каган».

Половецкая конфедерация племен не была моноязыкой, как, например, казахская после XVI—XVII веков. Языки половцев еще не утратили племенной специфики, и поэтому мы вправе ожидать в тюркских элементах «Слова» диалектное разнообразие.

«Ордынский» язык XV—XVI веков был уже однообразнее. И даже если П-16 знал его обиходно, то не все авторские тюркизмы «Слова» были доступны его пониманию. Остались непонятными и «дебрь кисань» из диалекта бусовранней, и «ходына» из речи Гзака.

Автор, строя речь Гзака, в первом случае называет жену князя тюркским словом, далее — русским синонимом «хоти» из соображений стилистических. Он часто использует синонимы, дабы избежать лексического однообразия.

Он пародирует произношение Гзака не случайно: киевлянам важно знать позицию «окающего» племени в конфликте 1185 года.

В утраченных страницах Гзак, очевидно, высказывал эту позицию: предлагал Кончаку иную, более агрессивную систему отношений с Русью. События, последовавшие после разгрома Игоря, характеризуют Гзака резко отрицательно с точки зрения воинской морали. Кончак предлагает: «Пойдемъ на киевьскую сторону, где суть избита братья наша и великий князь наш Бонякъ» (Ипатьевская летопись). Кончак хочет мстить Святославу за лето 1184 года и за то, что послал на него Игоря. Этот жест еще как-то согласуется со средневековым кодексом рыцарской чести. Как и то, что он поручился на поле битвы за раненого Игоря, не дал его добить.

«А Кза молвяшеть: пойдемъ на Семь, где ся остале жены и дети, готовь намъ полонъ собранъ, емлемъ же городы безъ опаса».

Слова неблагородной «галицы», собирающейся полететь на «уедие». Гзак, по существу, предлагал поступить так же, как Игорь в 1184 году.

«И тако разделишася надвое. Кончакъ пойдя к Переяславлю и оступи городъ и бишася ту всю день...

А друзии половце идоша по оной стороне къ Путивлю, Кза у силахъ тяжкихъ,— и повоевавши волости ихъ и села ихъ пожогша же и острогъ у Путивля...» (Ипатьевская летопись).

Текст обрывался, по-видимому, на слове «хоти»... Переписчика подвело открытое им предложение «Рекъ Боянъ...»

Глагол «Рекъ» предполагает следом прямую речь. В авторском тексте П-16 следов речи Бояна не нашел. Он предположил, что она осталась в потерянных листах. Что же изрекал песнотворец? Вероятно, какую-то обобщающую мудрость в форме пословицы. Она, наверное, подводила черту под историей пленения князя и бегства его из плена и предвосхищала финальную часть — встречу Игоря на Руси. И П-16 подбирает подходящую пословицу, которая как нельзя лучше описывает положение народа без князя и князя без народа.

...Тяжко ти головы кроме плечю,
зло ти телу кроме головы.

И добавляет от себя конкретный вывод:

Руской земли безъ Игоря!

Автор, если верить содержанию всего «Слова», не мог заставить Бояна прийти к такому поразительному итогу.

На этой, увы, неуклюжей «мудрости» искусственно выведенного Бояна многие исследователи строили свое отношение к Игорю. И доходили в своих обобщениях до таких, например, гипербол: «князь Игорь выделялся среди других князей, тем более что он не ставил перед собой эгоистических задач по увеличению своего удела, а думал обо всей Русской земле!»[1]

И это сказано историком, который профессионально занимался темой Игоря. Ни одного факта, свидетельствующего в пользу столь ответственного утверждения (кроме «мудрости Бояна»), во внушающих доверие источниках найти невозможно. Нельзя же всерьез принимать слова Татищева о «тихости» Игоря.

[1] **Позднеев А. В.** «Слово о полку Игореве» и летописи. В кн.: «Проблемы истории литературы», труды Московского государственного заочного педагогического института, выпуск 1. М., 1961, стр. 31.

Академик Б. А. Рыбаков, изучивший летописные материалы, где упоминается этот князь, вынужден был сделать огорчительный вывод из своих наблюдений: «Игорь не был борцом за Русскую землю и действовал преимущественно в своих интересах»[1].

К такому заключению можно было прийти уже в XVIII веке, когда историки впервые заинтересовались этим новгород-северским князьком. Тогда бы легче было понять и авторское отношение к Игорю, и содержание «Слова», и отделить дописки П-16 от авторского текста.

[1] Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М., 1971, стр. 228.

АМИНЬ!

Итак, мы предположили, что пергаментный список «Слова» дошел до Переписчика XVI века без последних страниц. И ему пришлось дописывать окончание.

Он не обладает всей суммой знаний исторических и выдающимся литературным даром, которые требуются для завершения такой непростой вещи. Да ему этого и не нужно. Задача его проста — сделать переписанную повесть понятной читателю XVI века.

В последней уцелевшей части «Слова» описывается побег Игоря, и этот эпизод, по мнению невольного соавтора, завершался в утерянных страницах картиной возвращения князя на родину, всенародной радостью по случаю его избавления.

Воинские повести, которых в те дни немало писалось, обычно кончаются здравицей в честь героев. И нарушать столь популярную традицию Переписчик не стал.

Таким путем, на мой взгляд, сложилась фабула Дописки. Стилистически весь финал — вполне цельный, самостоятельный кусок, резко отличный от остального текста. Кажется, что все слова финала изображены заглавными буквами. То ли предвкушение окончания трудной работы наполняет ликованием последние строки? То ли представившаяся возможность самостоятельного творчества дает эмоциональный разгон перу копииста? Но очевидно одно — невероятная гремящая нота разрушает тонкую, пластичную конструкцию поэмы. Нелепая, как фанфара в финале «Концерта для струнного оркестра». Как туш и призы чемпионские марафонцу, пришедшему последним.

Не мог сам автор сделать такой вывод в пользу Игоря. Он-то знает его подлинную цену.

Переписчик же уверен, что литературные произведения в древности посвящались самым выдающимся деятелям Руси. Ход его мыслей вполне прочитывается — была веская причина у киевского писателя обратиться к житию Игоря. И, видимо, скрывалась она в утерянных страницах. Возможно, там Игорь стал великим киевским князем и прославил свое имя победами над погаными. А весь предыдущий текст — лишь вступление к настоящей повести о голове русской земли. После побега Игорь, вероятно, собрал новое войско и нанес поганым сокрушительное поражение. И это логично, ибо стоило ли браться за перо для того только, чтобы отметить неудачу какого-то князя!— полагает П-16.

Так, по-моему, Игорь стал головой русской земли.

Весь последующий текст развивает тему головы.

Солнце светится на небесе —
Игорь князь въ Руской земли.
Девици поютъ на Дунаи,
вьются голоси черезъ море до Кіева.
Игорь идетъ по Боричеву къ Святой Богородици Пирогощей.

Давно исследователи стараются понять, почему Игорь, вопреки летописным сведениям, едет из плена в Киев, а не в Новгород-Северск. Но если учесть, что из текста «Слова» не явствует его новгород-северская «прописка» и Святослав Киевский называет Игоря и Всеволода «о моя сыновчя», термином, вышедшим к XVI веку из употребления (сыновец — племянник, двоюродный брат) и отчество у Игоря — Святославич, то нетрудно решить, в каких отношениях состоит «юный» Игорь с великим князем и где дом его отчий. В Киеве. И после побега куда стопы свои направит блудный сын? В Киев, к отню злату столу. А других источников по Игорю, как я предполагаю, Переписчик попросту не знал, ориентировался исключительно на те данные, что сумел почерпнуть из «Слова». Проверять свою версию анализом летописной литературы он не счел нужным: отношение к «Слову» у него было не такое, как у нас. Он выполнял работу не исследовательскую. По нему — лишь бы складно. Но указав путь следования Игоря к Киеву, он допускает очень любопытную неточность. По Боричеву взвозу проходит дорога, ведущая **не из Поля, а из глубин Руси.**

Пешему Игорю надо было обогнуть Киев, дав огромный круг, чтобы вступить на Боричев взвоз.

СТРАНЫ РАДИ, ГРАДИ ВЕСЕЛИ

Формально строка совершенна. Гремящая аллитерация с открытым гласным (ра-ра-ра), маршевый ритм создают музыкальный подтекст, соответствующий праздничному смыслу лексической композиции. Великолепная стилизация.

...Изъявление радости, как говорилось,— традиционная деталь сюжета летописной повести, если речь идет о победе или избавлении. В Ипатьевской летописи: «Се же избавление створи господь въ пятокъ въ вечеръ. И иде пеш 11 денъ до города Донця, и оттоле иде во свой Новъгородъ и **обрадовашася ему.** Из Новъгорода иде ко брату Ярославу къ Чернигову, помощи прося на Посемье. Ярославъ же обрадовался ему и помощь ему да(ти) обеща... Игорь же оттоле еха ко Киеву къ великому князю Святославу и радъ бысть ему Святославъ, такъ же и Рюрикъ, сватъ его».

Этими словами кончается летописная повесть.

Отметим, что ни о каком молении не упомянуто: Игорь озабочен насущными делами.

Фактическая сторона летописной информации не вызывает сомнений. Маршрут его логичен и оправдан: Поле — Донецк — Новгород-Северск — Чернигов — Киев.

Единственно, в чем может упрекнуть летописца строгий историк,— в христианской жалостливости. Хронист-монах за событиями не видит того идейного смысла, который явлен Автору. Он по-христиански порицает Игоря за разбой в Переяславском княжестве более, чем за опрометчивый поход его в Степь. Недаром в горьком монологе у Каялы Игорь вспоминает свое избиение «христиан». И вот теперь бог покарал его. Половцы, по мнению летописца, бич божий, наказующий Игоря за грехи его прежние.

Но в муках грешник очистил душу и исцеленным возвращается на родину, прощенный богом.

И рады ему жители Новгород-Северского за то, что вернулся сам, оставив в чужой земле тысячи их сынов, братьев и отцов. И рад двоюродный брат Ярослав Черниговский (погиб воевода Ольстин Олексич и весь полк его).

И рад Святослав Всеволодич и сват его Рюрик (им пришлось по вине Игоря еще раз встретиться с Кончаком у Переяславля и считать плененных и казненных половцами людей русских, не говоря уже о том, что Игорь сорвал их далеко идущие замыслы).

Когда Святослав узнал от купцов о разгроме и пленении Игоря, он будто бы сказал: «Да како золъ ми бяшеть на Игоря, тако ныне жалую болми по Игоре, брате моемъ».

Святослав при встрече с обесславленным, несчастным князем мог проявить жалостливую радость сильного. Иного неудачник Игорь и не достоин. Последнюю попытку выбиться в «великие» он использовал, и другой возможности ему более не представится. И при всей доброте, проявленной к Игорю, летописец не может заставить ликовать всю Русь по случаю возвращения Игоря («Голова Руси» бьется у чужих порогов, вымаливая крохи помощи).

Чувства, описанные в летописи, не общенародные, а **частные, родственные.** «Страны ради, гради весели»— мог утверждать человек, незнакомый со всей этой историей.

Лаврентьевская летопись и вовсе «безрадостна». Ее сообщение кончается сухо и деловито: «И по малыхъ днехъ ускочи Игорь князь у половець. Не оставить господь праведного въ руку грешничю, очи бо господни на боящаяся его, а уши въ молитву ихъ. Гониша бо по немъ и не обретоша».

Постскриптум:

Радость, обобщенная, общехристианская, была уже знакома книжнику XVI века. Это возвышенное чувство испытано Русью, сбросившей трехсотлетнее иго. И выражение в литературе такой радости становится привычным настолько, что, переписывая поэму, повествующую о **поражении,** книжник заканчивает ее бравурными фразами, более подходящими к победным сводкам.

«Слово» начиналось славой князьям XI века, старому Ярославу, храброму Мстиславу и др. Тем, кто объединял, собирал Русь. Им автор противопоставляет некоторых старых и нынешних князей, несущих розно родную землю.

И этим князьям не песнь его, а обличение. Зачинщиком распрей автор считает Владимира Мономаха. Он проводит линию «от старого Владимира до нынешнего Игоря».

Исследователи увидели в этом соседстве оппозицию. Переписчик

же и вовсе решил, что автор хочет воспеть нынешних князей, также как Боян — прежних. Он использовал зачин как предлог для кольцевой композиции, и появляются в финальной части обобщающие формулы:

Певше песнь старымъ княземъ, а по томъ молодымъ пети —
Слава Игорю Святъславлича, буй-тур Всеволоде
(Владиміру Игоревичу!)
Здрави князи и дружина: побарая за христьяны на поганыя плъки!

Боян пел славу старому Ярославу, храброму Мстиславу, красному Роману Мстиславичу понятно почему. Но почему теперь должна возноситься слава этим «молодым»? Неуместность подобной здравицы очевидна.

...Впервые в тексте появляются «христианы», причем в написании позднем, не ранее XV—XVI веков. В эпоху «Слова» в ходу иная форма —«крестьяне» («кристиане»). И только когда старое произношение наполнилось иным содержанием — земледелец, утверждается единственная — христиане.

И, наконец, последний аккорд финала.

Блик странного света, на миг вырвавший из темноты истинный лик писателя-Переписчика.

Строка выдает его настоящее отношение к идее княжеской славы, которая добывалась дорогой ценой. Он мог лишь догадываться о будущих победах Игоря, но он твердо знал уже, что одно его мероприятие закончилось трагически.

В княжеских сварах гибли люди и во времена Переписчика. Он давно размножает рукописи, в которых князья добывают себе честь и хвалу, принося в жертву многие тысячи крестьянских жизней. И как бы ни вставал он на цыпочки, выкрикивая славу неведомым князьям — Игорю и Всеволоду, забыть только что переписанные им строки, живописующие кровавую участь дружины их, он не мог.

...Чрьна земля подъ копыты костьми была посеяна, а кровію польяна...

...ту крованаго вина недоста, ту пиръ закончаша храбріи Русичи — сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую...

...а Игорева храбраго плъку не кресити...

«Слово» переписывалось для продажи какому-нибудь владетельному лицу. Возможно, князю. И Переписчик был ограничен в выражениях чувств своих. Он скрывает под ворохом крашеных лепестков славословия блестящий, горький шип.

Термин «аминь», заключая каждую молитву, каждый церковный текст и многие произведения героического жанра, приобретает в народном языке предметное значение — **конец**[1].

Народная семантика тóнко обыграна Переписчиком.

...Мусин-Пушкин расчленил последнюю фразу «Слова о полку Игореве» так:

«Княземъ слава а дружине! Аминь».

И перевел: «Князьям слава и дружине! Конец». Эта разбивка и перевод приняты всеми следующими Переводчиками.

В предисловии к своему изданию Мусин-Пушкин писал: «Остались еще некоторые места невразумительными, то и просит (Переводчик) всех благонамеренных читателей сообщить ему свои примечания

[1] Смысл древнееврейского слова «аминь»— истинно, правильно, верьте!

для объяснения сего древнего отрывка Российской словесности».

До сих пор «благонамеренные читатели» признают, что противительный союз «а» здесь употреблен автором в значении сочинительного —«и».

В «Слове» четко разделяются эти два союза.

...А Игорь Князь поскочи горностаемъ къ тростію и белымъ горолемъ на воду. Въвръжеся на бръзъ комонь и скочи съ него босымъ влъкомъ и потече къ лугу Донца и полете соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди завтроку и обеду и ужине... И т. п.

Нет ни одного случая применения «а» в качестве союза «и», да и зачем, если оба союза полноправно участвуют в грамматике «Слова».

...не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа.

...Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше... и т. п.

Но мы договорились, что заключение написано другим человеком, в другое время. Может быть, в языке Переписчика «а» употреблялось вместо «и»?

Вот примеры из финала:

...Певше песнь старымъ Княземъ, а по томъ молодымъ пети...

...Здрави князи и дружина...

Как видим, и здесь оба союза выступают в традиционных для русского языка значениях. Нет никаких грамматических и исторических оснований подозревать, что писатель вдруг применяет союз «а» в качестве сочинительного, противореча грамматике всего текста.

В «Слове» союз «и» встречается в 88 случаях, «а»— в 55.

Н. М. Дылевский отмечает с полной серьезностью этот удивительный факт: «В одном случае союз «а» встречается в соединительном значении: «Княземъ слава а дружине»[1].

Одно то, что он признает возможность такого невероятного, необъяснимого нарушения, делает несерьезным название его статьи. Он даже не пытается найти хоть какое-то объяснение подозрительно одинокому «а» или объявить розыск прецедентов в истории древнерусской письменности. Просто констатирует наличие — и все. Почему не признают знаменитое «а» противительным союзом? Потому, что получается фраза шокирующая:

«Князьям — слава, а дружине — аминь!»

Не укладывается это в сознании мудрых ученых. Позволить себе такое! Закончить дерзостью великое произведение, гордость славянской литературы!.. Невозможно! Пусть лучше это треклятое «а» превратится в «и».

...Фемиде завязывали глаза, дабы взор ее не отвлекался на созерцание многочисленных истин. Ибо Истина — одна, в сердце твоем. И только она подскажет тебе нужное решение. Эту Истину сейчас называют убежденностью. Или более точным термином — предубежденностью.

Великое произведение должно быть во всем строгим и последовательным. Никаких тебе отклонений в стороны: не до шуток. И уничтожают таким прочтением одну из самых гениальных строк мировой поэзии.

[1] Дылевский Н. М. Лексические и грамматические свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве». В кн.: «Слово о полку Игореве»— памятник XII века. М.— Л., 1961, стр. 241.

Сверкнув случайно из-под пера рядового монаха, и не мечтавшего о литературной славе, она по достоинству стала печальным алмазом в жестяном венце златого слова славянской письменности.

Веками, тысячелетиями скачут лихие воины «аки серые волци в поле, ищущи себе чти а князю славы».

Слава Игорю Святъславлича!
Буйтур Всеволоде!
(Владиміру Игоревичу!)
Здрави князи и дружина,
побарая за христьяны на поганыя плъки!
Княземъ — слава, а дружине —
аминь...

Автор «Задонщины» имел перед собой полный экземпляр «Слова». И мы вправе предположить, что отблеск подлинного финала отразился в завершающих словах «Задонщины». «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче» посвящено замечательной победе объединенных сил восточных славян и их союзников литовцев над ханом Мамаем. Эта победа вдохнула уверенность в Русь: впервые почувствовала она, что сокрушить силу татарскую можно.

Казалось бы, здесь место здравице и славе великому Дмитрию Донскому и его сподвижникам, действительно «побаравшим за христиан» поганые полки.

Дмитрий Донской, великий князь, заслужил право называться головой русской земли, солнцем на небесах ее, право быть воспетым странами и городами. И уж такой литой строкой —«страны рады, грады весели», если бы она значилась в «Слове», автор «Задонщины», надо полагать, не преминул бы воспользоваться.

Во всем послушно следуя поэтике великого образца, Софоний, надо полагать, придал бы достойное значение в своем труде и апофеозному финалу, который более подходит к «Задонщине», чем к «Слову». Но этого не случилось, вероятней всего потому, что в том экземпляре «Слова» заключительные строки несли другое, несравненно более грустное содержание. **Заканчивалось «Слово» не здравицей, а монологом Игоря,** в котором он подводит печальный итог своей деятельности. И слушателем его единственным был Овлур. Маршрут побега пролегал мимо поля несчастной битвы, и горестные воспоминания заставили князя произнести прочувствованно те слова, ради которых и писалось, наверное, «Слово о полку Игореве».

Лучшие строки поэмы. И эмоциональное воздействие их так сильно, что автор «Задонщины», перелагая на свой материал, создает самую художественную, самую волнующую часть «Задонщины», в которой живет свет истинной, драматической правды.

Поразительно — **повесть о великой победе русского народа кончается не здравицей, не славой, а печалью.**

Монолог Дмитрия Донского после битвы:

«И князь великий Дмитрий Иванович говорит:

Братья и бояре, князья молодые! Вам, братья, место суда между Доном и Днепром на поле Куликовом, на речке Непрядве; положили вы головы за русскую землю и за веру христианскую. Простите меня, братья, и благословите в этом веке и в будущем.

Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, в свою залесскую зем-

лю и сядем, брат, на своем княжении. Чести мы, брат, добыли и славного имени. Богу нашему слава». (Перевод.)

Сколько достоинства и скромности в словах Освободителя Родины. Мягко, ненавязчиво оттенена мысль о бескорыстности его служения: не за великий престол, не за право быть самодержцем — эта битва.

Я предполагаю, что в покаянном монологе Игоря говорилось все то, что скрывалось прежде в намеках Бояна. И, наверное, были там слова: «Простите мя, братья...»

НАМЕРЕННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Приложения, исторические справки

Здесь Геродот из Фурий излагает то, что ему удалось узнать, дабы дела человеческие не были повергнуты временем в забвение и дабы великие, дивные деяния, совершенные как эллинами, так и варварами, не утратили своей славы.
Геродот.

БРАК

В 626 году Византия заключает с хазарами союз против арабов. В этот и последующие века (вплоть до XII) политическая жизнь Византии не мыслится без участия кочевых тюрков.

В VII—VIII веках связи с хазарами расширяются и укрепляются. Византия впадает в определенную зависимость от сильной Хазарской державы, которая служит Византии прочным щитом от арабской экспансии.

Византийские императоры вступают в браки с хазарскими принцессами.

Юстиниан II женат на дочери кагана, получившей в крещении имя Теодора.

Тиберий II тоже женится на дочери кагана и возвращается из Хазарии в Константинополь в 708 году с хазарской дружиной. Женой Константина V (741—775) также была дочь кагана, в христианстве — Ирина. Ее сын, император Лев IV, известен в истории под именем Хазар.

В IX веке византийские императоры создают при дворе хазарскую гвардию. Многие из хазарских воинов возвысились и получали высокие чины в императорской армии и в администрации. Так, Варданиос Туркос из Крыма был произведен в стратеги Анатолии. Жены императоров, вероятно, способствовали возвышению своих соплеменников, состоящих на византийской службе.

...Традиция династийных браков тюрков идет издавна. Уйсуньский гуньмо, вассал Поднебесной, был женат на дочери императора (III век). Не каждый тюркский властитель удостаивался такой чести. В 630 году Сыби-хан, претендуя на большую власть, просит китайского императора выдать за него дочь. Возражая ему, последний ответил: «Дом тюкуский (тюркский.— *О. С.*) теперь в смутных обстоятельствах, и кто будет царем — еще не решено. К чему заботиться о

браке? Пусть каждый управляет своим аймаком и не нападает друг на друга» (А. Бичурин). Судя по ответу, император не был заинтересован в возвышении Сыби-хана и объединении беспокойных соседей под одной рукой. Брак с дочерью императора давал бы Сыби-хану гарантию поддержки.

В Средней Азии в ту же эпоху тюркские ханы олицетворяют сильную сторону. И поэтому согдийские правители женятся на тюркских принцессах.

В 618 году каган Гун-шеху подчиняет среднеазиатских вождей. Покорив их, он выдает за наиболее сильного самаркандского правителя свою дочь. Несколько раньше таким же образом каган Датон (правил с 575 года по 603) «приручает» правителя Согда по имени Тайжени.

В этой формуле дипломатического брака (дочь сильного выдается за вассала) выразились пережитки идеологии матриархата: женщина считалась главой семьи, и дети от нее принадлежали по крови ее роду. Тюркская пословица «сыновья — дети матери» выражает ту же мысль. Сыновья ее наследовали престол в подчиненном народе. Династийные браки преследовали далеко идущие цели. Наследник престола — сын и воспитанник матери.

В тюркском обществе женщина пользовалась широкими правами. Она активно участвовала в управлении племенем и государством.

...Ислам, пришедший в Среднюю Азию с арабами, нарушил формулу династийного брака. Ислам низводит женщину до уровня рабыни. Жена — это одна из наложниц в гареме. Мусульманские правители не выдают своих дочерей замуж за неверных. Но сами охотно включают иноверок в свои гаремы, не придавая этому никакого политического значения. Жена — это добыча сильного. Дань поверженного.

Исламизированные тюрки накладывают новую идеологию на старую, традиционную, не зачеркивая ее. Ханы-мусульмане женятся на дочерях слабых врагов, принимая на себя политические обязательства.

В XIV веке Трапезунд (владения Византии в Малой Азии) переживает время последнего кризиса. Это агония остатков великой державы. Единственно, чем может гордиться Трапезунд,— своими красавицами, славными на всем Востоке. Он откупается ими от возможных «насильников».

Туркали-бей — глава туркменского государства аккойнлу, опаснейшего соседа Трапезунда, в 1351 году женится на Марии, сестре молодого императора Алексея III Комнина. Вторая сестра, Феодора, была выдана в 1358 году за Хаджи-Омара, эмира провинции Хальбин. Одна дочь Алексея III вышла замуж за сына Хаджи-Омара Сулейман-бея, другая — за эмира Эрзерума Арсини, третья, Евдокия, за Таджи-Эддина, эмира Лимнии, четвертая — за внука Турали Кара-Юлука... Такой ценой продлевались дни Трапезунда.

...Но тюрки, не принявшие мусульманства, продолжают древнюю традицию династийного брака по формуле — дочь сильного выдается за слабого.

В 1124 году грузинский царь Давид IV, потерявший царство (Грузия захвачена арабами и сельджуками), просит руки дочери кипчакского хана Артыка. Русские летописи называют его — Отрок, Отрак; грузинские — Атраха. Это о нем — летописная легенда, по ко-

торой Майков сложил свою знаменитую балладу «Емшан». Настоящее имя дочери Артыка не сохранилось, грузинская летопись называет ее — Гурандохта. Скорее всего, это искажение традиционного персидского определения тюркских принцесс — Турандохта —«Туранская девушка», или «дочь Турана»[1]. Девушка, спасшая Грузию и Армению в XII веке, была родной сестрой Кончака. Неизвестно, что побудило Артыка выдать дочь за «царя без царства». Писатель К. Гамсахурдия в романе «Давид IV Строитель» полагает, что Артык польстился на деньги, стал наемником Давида. Но едва ли у Давида оставалось что-либо, кроме титула и скорби по поруганной земле своей. Захватчики подвергли поголовной мусульманизации население Кутаиси и Тбилиси. Непокорных истребляли, наполняли христианской кровью бассейны и плавали в них.

[1] «Тураном» иранские и кавказские источники называли страну, населенную тюрками. Среднюю Азию, в частности.

Мусульманский геноцид поставил под угрозу само существование христианских культур и народов Кавказа. Нет, не жажда наживы побудила хана Артыка с 45 тысячами кипчакских воинов выступить против 300-тысячного войска арабо-сельджукской коалиции в одно из утр 1125 года на поле Дидгори, близ Тбилиси.

КОЧЕВНИКИ И РУСЬ. ТОРКИНЫ, ТОРКИ

Схема отношений христианской Руси с кочевниками во многих частях повторяет византийскую: агглютинативная связь (военные союзы; тюркские дружины у отдельных правителей; тюркские колонии в русских городах). Отличие — Русь была раздроблена на удельные княжества, Византия — едина. Поэтому отдельные русские княжества находились по отношению к Полю как бы в вассальной зависимости. Об этом свидетельствуют и княжеские браки. Удельные князья женятся на принцессах Турандот, и, скрепив таким образом союз со степными владыками, расширяют свои земли в Руси. Эти браки означали долгосрочный воинский союз. Род, выдавший девицу, обязан был относиться к князю как к родственнику, не нападал на его княжество, а при случае защищал. Те же самые обязательства принимал на себя и русский «зять». Торкины, т. е. родственники по женской линии, пользуются у тюрков особыми привилегиями и правами. Они считались ближе, чем родственники по мужской линии. И эта традиция сохранилась до позднейших времен. По свидетельству Гродекова, казахи кочевали обществами одного рода, допуская в свои аулы из других родов лишь родственников по женской линии, т. е. торкинов или бедняков, нанимающихся в работники.

Народ, к которому принадлежит жена, по-тюркски —«торкин». Слово, вовлеченное в русскую грамматическую эволюцию, переразложилось — торки, так называют летописи кочевое племя, самоназванием которого было — узы. Вероятно, одно из огузских племен. В источниках приняты написания этнонима —«огуз», «оуз», «уз».

Впервые торки упоминаются в «Повести временных лет», под 985 годом, когда Владимир Святославич со своим дядей Добрыней пошел против волжских болгар. «А торки берегомъ приведе на конихъ». Здесь не говорится, что русские князья и их торки участвуют в совместных действиях впервые.

Далее по летописи торки помогают отражать печенегов, потом половцев.

В конце XII века летопись упоминает «Торцького князя» Кунтувды[1], которого арестовал Святослав Всеволодич (двоюродный брат князя Игоря) по ложному доносу. За него вступились другие князья, как за человека храброго и преданного Руси. Вступились и степные родственники, которые в отместку за обиду Кунтувды совершают набег на Киевское княжество. Кунтувды переходит на службу к Рюрику, и тот дает ему город Дверень, по реке Рось,—«русской земли для».

[1] **Кунтувды** — буквально «Солнце взошло». Сравните имя половецкого хана — **Куначук** — буквально «Ясное солнце».

Есть многочисленные доказательства тому, что кочевники прочно оседали на территории Киевского государства. Об этом ясно говорит и топонимика: Торчиново городище, село Торское — Харьковщина, урочище Торч, Торчин, река Торчанка (приток Уши), село Торчица на реке Торчице, село Торчевский степак, река Торча, Торчицкое взгорье (Киевщина), город Торчин на Волыни, село Торчицы — в Черной Руси, город Торчин, город Торков (в Подолии), в Галицкой земле — Торки (Пермыш. повет), Торки (Сокальский повет), Торчиновичи (Самборский повет).

Город Торческ в Поросье в истории военных столкновений князей удельного периода играет роль центра, к которому тянулись другие торкские поселения. Торки жили не только в тех городах, которые сохраняют их имя в своих названиях. Они, вероятно, составляли значительный элемент в смешанном населении многих южнорусских городов и поселений.

БРАЧНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА В ЯЗЫКЕ

Характерно, что летопись уже не упоминает случаев женитьбы князей XI—XII веков на дочерях торков. Они уже «свои». Здесь, возможно, была бы обратная связь — русские княжны выходят за вассалов. Но, к сожалению, хроники не уделяют внимания бракам вождей подчиненных тюрков.

Зато появление в русских дворах XII века половецких «красных девок» часто отмечается. Союза с предводителями кипчакских племен, захватившими пространство южнорусских степей после разгрома печенегов, князья добивались.

Именно история XII века наиболее насыщена сведениями о династийных браках с Полем.

Без преувеличения можно сказать, что почти все влиятельные княжеские рода в Киевской Руси состояли в кровном родстве со Степью. Укажем родословную линию Ольговичей, героев «Слова».

Олег, благодаря женитьбе на дочери Тугра-хана, стал князем черниговским. Сын от этого брака, Святослав, продолжает политику отца, и, женившись на дочери Аепы повторным браком, добивается титула «великий князь киевский».

Таким образом, «аепина дщерь»— мачеха Игоря и Всеволода. Сын Игоря Владимир в плену справляет свадьбу с дочерью Кончака.

В. А. Пархоменко в статье «Следы половецкого эпоса в летописях»[2] отмечает: «Даже прославленный «добрый страдалец за Русскую землю» Владимир Мономах женил двоих своих сыновей — Юрия в 1107 году и Андрея в 1117 году на половчанках. Тут уж не прихо-

[2] Проблемы источниковеденья. М.—Л., 1940, т. III, стр. 391.

дится говорить о каком-то расовом или культурном антагонизме. Очевидно, высшие общественные классы и Руси и половцев имели кое-что общее, какими-то общими интересами друг к другу притягивались».

Интересы эти, на мой взгляд, очевидны — политический союз, в котором заинтересованы русские князья. Брак с Полем означает мир и поддержку. В летописи под 1107 годом: «Иде Владимир и Давыд и Олег к Аепе и ко другому Аепе и створиша мир; и поя Владимир за Юргя Аепину дщерь, Осеневу внуку, а Олег поя за сына Аепину дщерь, Гиргеневу внуку, месяца генваря 12 день».

В XI—XII веках половцы воюют против отдельных княжеств, входивших в систему Киевской Руси, в качестве союзников, заступаясь за своих «сватов».

Может быть, историки отнеслись бы к степнякам благосклонней, если бы Русь и ее союзники вели в этот период войны с внешними врагами. Но беда в том, что княжества спорили в подавляющем большинстве случаев только друг с другом и вовлекали в междоусобные распри своих степных родственников.

Чтобы правильно понять эпоху «Слова», надо учесть следующее обстоятельство — Русь XI—XIII веков не вела ни религиозных, ни общенародных, ни расовых войн, только — феодальные.

Князь, как правило,— патриот только своей вотчины. Великий, славный, чтимый летописями и академиями радетель Руси Владимир Мономах первый навел половцев на земли русские, чтобы завоевать Полоцкое княжество. Только один Мономах приводил их 19 раз, а все Ольговичи (включая деда и внука) —15[1].

...Биографические сведения в летописях весьма скудны: далеко не все браки русских князей «зарегистрированы». А из тех, что фиксировались, не все сохранены в процессе многочисленных позднейших переписок.

Браки X века вовсе не указаны. Как протекали отношения славян с кочевыми соседями во времена дохристианизации, нам по сути почти ничего неизвестно, кроме отдельных упоминаний византийских историков (союз с аварами против Византии) и факта ассимиляции булгар.

Остается один источник исторических сведений — язык. Наиболее объективный, беспристрастный документ прошедших эпох. Он лишен предвзятости летописцев. Он вне временных предрассудков; не подвластен идеологическим колебаниям. Самый точный источник.

В русском, украинском, болгарском, сербохорватском бытует книжное слово «брак»— женитьба, супружество. В древнерусском «брак»— союз («Быть же брак велик»). Предлагали (Траутман) производить от глагола «брать». Таким образом, «брак» должно было означать — взятие. Преображенский и Фасмер (авторы самых известных этимологических словарей русского языка) соглашаются, однако с сомнением. Но такая этимология не объясняет оригинальности морфологического и семантического процесса.

Судя по тому, что термин не получает общеславянского распространения и не стал простонародным в указанных языках, образован (или заимствован) он сравнительно недавно и скорее всего в южнославянских (по типу неполногласных — врата, злато, вран, враг и т. п.). В восточнославянских он не успел преобразоваться в одногласную форму «борок». Такая метаморфоза произошла бы

[1] Соловьев С. М. История России. М., 1960, т. 1, стр. 347 и 379.

в случае, если слово получило общенародное распространение. (Так в русском языке почти каждому «болгаризму» соответствует древнерусский фонетический вариант. Злато — золото, врата — ворота, вран — ворон, славий — соловей и т. п.) До низов слово «брак» не дошло, хотя появилось уже в старославянском.

Я предлагаю взять за исходную форму кипчакскую «бірак»— союз (буквально «соединение, сочетание», от числительного бір — один).

Так как чаще всего союз скреплялся женитьбой князя, слово приобрело новое конкретное значение. То, что термин не стал народным, свидетельствует в пользу этой версии. Только княжеские супружества назывались браком, ибо лишь они выражали идею объединения, политического союза. (В монгольском языке понятия «союз», «примирение» тождественны и выражаются термином «эвлэх», происходящим от древнетюркского еблек — женитьба, от ебле — женись, букв. «обзаводись домом».)

Во времена общения с булгаро-аварскими племенами в южнославянские языки могло войти то же слово, но в форме булгарской — пірак — соединение (пірагу — соединить). Оно стало общенародным, ибо выражало не политическое понятие, и конкретизировалось в терминах ремесла. Благодаря тесному народному общению славян с дружественными тюрками заимствованное слово сохраняет оригинальные фонетические черты — мягкость гласных. Чего не произошло в случае предыдущем. Даже колебание к/г тюркских образцов отражается в славянских дублях. (В тюркских конечное «к» перед любым гласным превращается в «г».) В славянских эти согласные палатализуются только под влиянием мягких гласных: к/ч.

Лексема эта пришлась славянам весьма кстати. От нее образовано целое гнездо слов, объединенных смыслом — соединить.

Сравните: пряжа, пряжка, упряжь, спряжение, прясть, пряду, прясло, напряг, запряг (но — запрячь, напрячь).

Чередованием я/у в данном случае я объясняю возможную замену — пірагу — піруга.

Сравните: 1) сопруга, сопруг (гласный приставки ассимилируется ударным, корневым гласным — супруга, супруг); 2) подпруга; 3) упруг, пружина.

В церковнославянском деформируется не только форма, но и смысл. Книжники, взяв из народного словаря термин «распряг», т. е. разъединил, придают ему политическую окраску и выделяют ложное существительное — распря — разъединение, разделение. Не очень точно определив смысл приставки рас (раз), они вычленяют новое слово «пря» в значении «ссора» (масштабно ослабленная распря). Но именно приставка придавала негативный, обратный смысл корню пряг, пря. Калькой «распряг» можно считать русское новообразование — «разъединил», где «единил» занимает место «пряг».

Славяне встречались со многими тюркскими племенами, и поэтому часты заимствования, сохраняющие диалектные особенности тюркских языков. Числительное «один» представлено в современных тюркских языков такими формами: пир (шорское), пір (хакасско-тувинское), пер, перре (чувашское), бир (азербайджанское, кумыкское, туркменское, алтайское), бір (ногайское, каракалпакское, киргизское, узбекское, казах-

ское, уйгурское, турецкое), бер (татарское, башкирское), биир (якутское).

В языке орхоно-енисейских надписей (VIII век) — бір. Праславянской «прягу» предшествовала скорее всего — пірагу, где і — ослабленный мягкий полугласный звук, который может в славянской переделе редуцироваться или просто влиять на качество предшествующего согласного.

В слове бьраты — единять (собьрати, собирати — соединять. Сравните: разбирать — разъединять) участвует скорее всего форма «бір». Корень полногласный — «бир» появился в славянской литературе позднее.

Булгарская форма «пер», уцелевшая только в чувашском (она и повлияла на татарский и башкирский, превратив «бір»— в «бер»), отразилась в славянских вариантах порядкового числительного «первь», «перший». В местоимениях —«перед», «предь», «прежде». В приставках — пре-; пере-; при-.

(Давно лингвисты обратили внимание на супплетивность форм количественного и порядкового числительных «один» и «первый» в индоевропейских языках. Эта черта констатирована, но не объяснена. Ибо истолкованию не поддается и не поддастся, если и дальше не будут учитываться данные тюркских языков для выяснения некоторых «темных» страниц биографии индоевропейских языков.)

В тюркских языках имеются несколько видов числительных: количественное, порядковое, избирательное. Например, казахские: бір — один, бірінші — первый, біреу — один из многих (в русской транскрипции — брев).

Славяне ныне знают лишь два вида: количественное и порядковое. Из каких моделей они могли исходить, чтобы получить «первь» и «перший»? Мне кажется, из булгаризмов —«перів»— один из многих и «перінші»— первый.

При определении направления, в котором шло заимствование, я придерживаюсь морфологического принципа. Если анализ сходных лексем, взятых из разных языков, показывает, что этимологии (прежде всего — грамматической схематизации) поддается одна из них, то ее и следует признать первичной.

Например, славянское «перший» не этимологизируется средствами индоевропейских языков. Тюркское «перінші»— легко разлагается на корень пер — один и суффикс порядкового числительного — інші, восходящий к пратюркскому — інті. Выпадение согласного «н» объясняется фонетическим законом («падение носовых»), действие которого на раннем этапе испытали все славянские языки. Таким образом, я прихожу к выводу о первичности тюркской лексемы по отношению к славянской.

Связь тюркских числительных с индоевропейскими — тема обширная и многозначная. Она давно должна была бы стать объектом специальных лингвистических (палеографических) исследований, результаты коих могут оказаться неожиданными для историков.

Моя задача значительно у́же — обосновать возможность проникновения в славянские языки тюркских лексем, связанных с идеей объединения.

В «1001 слове» выделены в самостоятельное семантическое гнездо все тюркизмы, несущие значение совокупности, связи, умножения. В эту группу включено и слово «брак».

Браки временно усиливали удельных князей, и это объективно ускоряло процесс объединения Руси.

Форма вассальных союзов со степью, еще продуктивная в начале XII века, за столетие обнаружила свою историческую непригодность. Русь крепла и все чаще наносила удары по Полю. Родственные коммуникации настолько усложнились к тому времени, что браки со степью утрачивали главный смысл. Почти все княжеские роды имели в степи влиятельных свойственников.

Тугрхан выдает всех своих дочерей за русских князей. Всех зятьев он по брачному договору обязан поддерживать в их удельных стремлениях. Но даже женитьба на сестрах не примирила их. Они продолжают враждовать. Тесть оказывается в сложном положении. Принимая сторону одного зятя, он вынужден стать врагом другого. Так и получилось.

Великий Тугрхан, защитивший византийскую империю от нашествия печенегов, гибнет в мелком сражении от стрел воинов своего зятя Святополка.

Эта смерть символична. Она знаменует собой крах идеи династийного брака со степью в условиях Руси начала XII века. Все меньше князей ездят в степь за невестами.

И постепенно забывается первое значение термина брак —«женитьба князя на дочери хана с целью установления тесных политических отношений».

Уже любая свадьба (правда, пока еще только в высшем боярском сословии) называется браком. И остается в конце концов упрощенный смысл —«вступление в супружество». Вынужденная женитьба сына Игоря на Кончаковне — пожалуй, одно из последних звеньев в цепи династийных союзов с Полем, идущей из веков дохристианской Руси. Эпоха ига степных невест завершалась.

ЦВЕТА МЯКИНЫ

(Обобщающие имена степняков до XIII века)

Берендеи

По примеру торкинов, шли на службу к русским князьям и другие тюркские роды, даже не связанные княжеским браком. Чаще всего это были обиженные печенегами, а позже половцами мелкие кочевые роды, которые не выдерживали конкуренции в Диком поле и становились федератами сильных северных соседей. Этих кочевников, отклонившихся, предавшихся Руси, надо полагать, печенеги и половцы прозвали «берінді», т. е. предавшиеся, отдавшие себя. В русских летописях — берендеи. (Берінді — в ассимиляции — беренді. І — в русском произношении «и»— совпало с окончанием множественного числа. В таких случаях в единственном числе появлялся рефлекс «й». Сравните: зодчи — зодчий, казначи — казначей. Такого происхождения «й» в окончаниях польских фамилий. Берендеи отличались от обычных наемников жестокостью по отношению к своим степным соплеменникам.

В 1155 году берендеи, состоящие на службе у Юрия Долгорукого, захватили в плен много половцев. Уцелевшие сбегали в степь за

«помочью», подошли к Киеву и просили Юрия, чтобы он приказал наемникам вернуть пленных. Долгорукий только руками развел, ибо берендеи отказались: «Мы умираем за русскую землю с твоим сыном и головы свои складываем за твою честь». Они отстояли свое право федератов на военную добычу и право изгоев на месть.

Берендеи, как и большинство торкинов, жили на Руси постоянно, «с родом своим». Они хотят за службу не денег, как того требовали варяги у новгородцев, но города для жительства (бенефицию).

В 1159 году предводители берендеев Дудар Сатмазович, Каракоз Миюзович и Кораз Кокей сочли для себя выгодным перейти от князя Изяслава к Мстиславу. Они послали Мстиславу сказать: «Если нас хочешь любить, как нас любил отец твой, и по городу лучшему (лепшему) нам дать, то мы на том от Изяслава отступим».

Мстислав согласился и выделил для них города.

Не все города русские, в которых жили берендеи, сохранили в названиях память о них. На Житомирщине, например, известен город Бердичев (в XVIII веке — еще Берендичев).

Ковуи

Рода ковуев пришли на Русь необычным путем. По летописной легенде XI века хан Ередедя (Ер-деде), правивший народом косог, предложил Мстиславу Храброму вместо боя поединок на условиях: победил — все мое переходит к тебе. И войско, и весь народ становятся рыцарской добычей.

Мстиславу бог помог, и он «зарезал» Ередедю. И увел косогов в Чернигов. Потомки их служили верой и правдой Ярославу Черниговскому, который отпустил часть своей тюркской дружины с Игорем, и они полегли до единого на берегах Каялы. Половцы их в плен не брали. Потомки мстиславских косогов в XII веке выступают уже под именем — ковуй.

...Тюркские самоназвания в разные эпохи создаются по разным семантическим схемам. Летописи и «Поучение Владимира Мономаха» называют ряд имен половецких вождей, которые оказываются при рассмотрении названиями родов: Арслан-оба («дом Арслана»), Китан-оба («дом Китана»), Алтун-опа («дом Алтуна»), Аепа («дом Ай») и т. д.[1]

В Ипатьевской летописи под 1185 годом перечисляются половецкие роды, участвовавшие в битве против Игоря: «И токсобичи, и етебичи, и тертобичи, и колобичи».

Я восстанавливаю: токсоба («девять домов»), «еті-оба» («семь домов»), тертоба («четыре дома»), колоба («пять домов»).

В этнонимах лексика сохраняется подчас в весьма древнем состоянии. Так, форма «терт»—4 во всех наречиях изменилась в «торт» (дорт, дурт, турт). «Кол»— уцелела лишь в значении «рука», а как числительное уже не употребляется. Вытеснена индоевропейским «пес» (бес)—5.

Этноним «токсоба» еще в XIX веке отмечался в Средней Азии как одно из родовых названий кипчаков.

...В орхоно-енисейских памятниках (VIII век) и в огузском эпосе

[1] Древнетюркское еб, аб — дом, юрта. В огузских и кипчакских наречиях формы развивались: оба (турецкое, крымское, ногайское, туркменское), уй (казахское, татарское, башкирское и др.).

распространены этнонимы «он ок» (десять стрел), «уч ок» (три стрелы), «бес ок» (пять стрел).

Слово «ок»— в большинстве тюркских наречий выступает в одном значении —«стрела».

В языках Алтая сохраняется «ӧк»— дом, род. Не случайно, участвуя в составе этнонимов, ок — стрела стало обозначать — дом, род. К этому семантическому ряду я отношу и отмеченный летописью термин «косок» (косоги) — буквально: «объединенные роды».

Это уже название союза родов. Ередедя руководил, вероятно, одним из родов косогов.

Переселившись в Чернигов, этот род стал называть себя — кобуй («много домов») — ослабленная калька «косога»[1]. В «Слове» перечисляются «дома» (семьи), входящие в состав ковуев,— могуты, татраны, шельбиры, ольберы, топчаки, ревуги.

С. Малов видел здесь имена батыров — предводителей отряда ковуев. С некоторыми его этимологиями можно согласиться. Реконструкции «Ер-буга» (ревуга), «Алп-ер» (ольбер) вероятны, ибо подобные имена встречаются в тюркской (в частности, казахской) ономастике. Как и Ер-деде (Ередедя), Челебир (Шельбир).

[1] В Западном Казахстане и поныне сохраняются этнонимы этого типа: жетіру — «семь родов», бесуй —«пять домов», «кобей» (вероятно, из «кобуй»— много домов) и т. д. В Башкирии есть род — дюртуй — четыре дома, имя стало названием города.

Черные клобуки

Еще одним, очень распространенным именем «своих» тюрков стало —«черные клобуки» (историки считают буквальным переводом известного поныне тюркского этнонима — каракалпак). Если ковуи — гвардия черниговских князей, то черные клобуки — киевских. Черные клобуки очень влиятельны в Киеве XII века. Участвуют в киевском вече, наравне с русским населением избирают князя. Их мнение в выборе князя постоянно подчеркивается летописью.

Сын Юрия Долгорукого обращается к своему отцу в 1149 году со словами: «Слышал я в Киеве, что хочет тебя вся Русская земля и черные клобуки».

Смерть киевского князя Изяслава оплакивала «вся Русская земля и все черные клобуки».

А когда на киевский стол прибыл Ростислав Мстиславич (сын Владимира Мономаха), то «были ему рады все: и вся Русская земля и все черные клобуки обрадовались».

После смерти Ростислава киевляне и «черные клобуки» приглашают Мстислава. Эта характерная формула «вся Русская земля и черные клобуки» показывает, какое активное участие в политической жизни Киева принимало племя каракалпак.

Нехристи

Психологически необходимость отрицательного имени — лжеэтнонима — оправдана. Этнически и расово отличные миры находят друг другу универсальные определения, в основу которых подчас ложатся весьма общие характеристики.

1. В дохристианской Руси функцию обобщающего имени кочевни-

ков несли слова — языги, язычники — т. е. степняки (от древнетюркского йазык — степь, равнина).

Церковь придала этому лжеэтониму новое значение — нехристиане, нехристи. В связи с этим он теряет конкретную направленность, им нарекают уже не только степняков, но и литовцев, и русских, не принявших истинной веры. Потребовалось новое имя для кочевников.

2. У греков заимствуется «немас»— пастух, скотовод. Проходит стадию «народной этимологии», превращается в «немес», «немец» (корень совпадает с «нем»— т. е. дикоговорящий, неговорящий, непонимающий). Приложилось к западным народам, языков которых славяне не понимали.

3. Заимствовано слово «паган»— скотовод, но церковники и ему добавляют смысл — нехристь (старославянское «погань»— язычник, варвар, болгарское «поганец»— язычник, славянское «похан», древнепольское —«поган», современное польское «поганин», литовское «пагонас», латышское «паганс»). Сейчас производят от латинского «паганус»— сельский, новогреческого «паганос»— мужицкий (Фасмер и др.)

Едва ли славяне исходили из этих значений. Не все славяне были горожанами и не все жители сел — нехристями. И в древности, насколько нам известно, таких психологических ножниц между городом и деревней еще не было.

Источником для славянского термина (и для греческого, латинского, болгарского), мне кажется, могло послужить тюркское паган — «пастух» (паган, пакган, баккан, бакган) причастие прошедшего времени от пак (бак) — паси.

В дохристианские времена «паган» скорее всего было нормальным, рядовым земледельческим термином в славянских языках. Во всяком случае, корень «пак» им известен. От него происходили глаголы «паси», «паши». Термином же, выражающим значение «возделывай землю», во всех славянских было —«ори» (орать). (Сравни чешское пахать — 1) пасти скот; 2) делать работу.) Лишь в русском «орать» заменяется глаголом «пахать».

4. Еще одним обобщающим названием степняков стало кощей, кощий. В былинах — кощщей, кощщеище.

Термин встречается и в «Слове о полку Игореве»: «пересел Игорь из седла злата в седло кощиево».

В «Этимологическом словаре» Фасмера: «кощеи, кощии — отрок, мальчик, пленник, раб («Слово о полку Игореве») из тюрк. кошчи — невольник от кош — лагерь, стоянка». Со ссылкой на Мелиоранского, Беркнера. Не согласен Фасмер с этимологией Соболевского (1866 год), производившего от «костить»— бранить.

Значение слова определено неверно, как и семантика «прототипов». Мелиоранский и вслед за ним Фасмер определяют смысл «кощея» лишь по одному примеру из «Слова». Игорь после разгрома попал в плен, следовательно, напрашивается — пересел в седло раба.

Но тогда Автору отказывает чувство реальности, если он и победителя, хана Кончака, называет кощеем. Князь Святослав Киевский обращается к Ярославу Галицкому с призывом отомстить за землю русскую, на которую сделал ответное нашествие Кончак —«стреляй, господине, Кончака, поганого кощея». Кончак не был ни пленником, ни рабом. Мелиоранский (1902 год), на мой взгляд, неверно определил прототип — киргизское кошчи (которое, кстати, значит «напарник», «ординарец», а вовсе не «невольник». И происходит от «кош»— «соединяй», а не «лагерь», «стоянка»).

А. Попов и вовсе предложил: кошчи — пахарь.

Думаю, что правильнее было бы сравнение с казахским кощ — кочевье, **кощщи**[1]— кочевник.

[1] Эта форма утрачена.

В устной традиции долгий согласный сохранился в имени мифического героя, злого демона русских сказок — Кощей Бессмертный — олицетворение злой, непрекращающейся, неистребимой агрессии Степи в эпоху Ига. А не Раб Бессмертный, а не Пахарь.

Игорь пересел в седло **кочевника.** Кончак — поганый кочевник.

В самом термине «кочевник (диалектная форма —«кощевник») слышится корень — кощ (коч). И в слове «кощун»— богохульник тоже раздается знакомый отголосок: речи и поступки нехристя — кощунство.

Так староказахское кощщи превратилось в письменные древнерусские формы — кощий, кощей и в устные — Кощщей Бессмертный (рефлекс «й», «ей», как в беренді — берендей, казначи — казначей, зодчи — зодчий и т. п.).

...Ни в каком другом языке так точно не сохраняются тюркизмы, как в русском. Мне в этом приходилось убеждаться, работая над «1001». Даже монгольский, по общему признанию тюркологов наиболее близкий (из неродственных), корежит тюркизм до неузнаваемости. В русском же сберегаются порой мельчайшие диалектные изгибы тюркского слова.

Я не берусь определять с ходу факторы, способствующие столь высокой степени сохранности лексем, которые зачастую исчезают, не доходят до современных тюркских языков. Замечу лишь, что лингвистам-тюркологам, которые занимаются составлением национальных этимологических словарей, полезно, хотя бы на этот период, стать славистами.

Половец

Существует только одно толкование, утвердившееся в науке. От русского половый (половъ) —«светло-желтый, блеклый». Следовательно, уже не этническое, а расовое определение.

Славяне общались с десятками других тюрко-монгольских народов, принадлежавших к той же расе, что и кипчаки. Почему же цвет кожи именно этих последних настолько потряс воображение летописцев XI века, что они закрепляют впечатление в этнониме? (Попытки привести и синонимичное «куман» к смыслу «желтый» поражают своей искусственностью.)

К тому же половый (плав — в южнославянском) не всегда обозначает цвет половы, но и «голубой» (сербохорватское и словацкое).

Методологической ошибкой этимологов я считаю попытку рассматривать историю слова вне его исторического контекста, в отрыве от семантического гнезда, которое составляет другие обобщающие названия степняков X—XII веков (торки, берендеи, печенеги, кумане, кощеи, поганые, языги, толковины). Типологически «половец» относится к этому ряду. И то обстоятельство, что термин не успел получить церковной окраски, как «языги», «поганые», может свидетельство-

вать в пользу его сравнительно позднего происхождения. «Языги» и «поганые» превратились в нехристей в первые времена христианизации, когда церковь яростно отделяла новообращенных от Поля, старалась нарушить вековые связи, придавая популярным в языческой славянской среде терминам отрицательное значение в соответствии с новой идеологией. Социальная структура восточнославянского общества «скотовод — оседлый земледелец» превратилась в резкую оппозицию «нехристь — христианин», и в непрерывной борьбе идейное противопоставление приобретало все более эмоциональный характер: варвар — цивилизованный, чужой — свой, враг — друг и т. д.

Сила и письмо были в руках церкви; и постоянно употребляясь в негативном контексте, слова «поганый», «язычник», «кощей» приобрели значения, которые нам известны. Подлинные смыслы их были подавлены христианской оценкой.

Церковь популяризировала земледелие, насаждала этот способ производства, дабы прикрепить их к земле, ибо кочевничество и христианство — понятия несовместимые. Где прикажете установить храм, если народ бродит? (Еще в XIII веке упоминаются русские кочевники «бродники» с предводителем по имени Плоскиня. Скорее всего, это потомки древнерусских скотоводов, укрывшихся от преследования христиан в степи. В XV веке «бродники» стали называться казаками, пополняясь за счет беглых крестьян, они образовались в самостоятельную русскую формацию, сохранившую в своем сложном этносе и древний способ производства.)

Свидетельством упорной борьбы церкви с русским кочевничеством может служить и лингвистический факт. В слове «крестьянин» совмещены понятия «христианин» и «земледелец». Ибо только земледелец мог стать христианином. Ни в каком другом европейском языке эти значения не контаминируются в одном термине.

Лишь в конце XIV века утверждается современный смысл, официально знаменуя окончательную победу земледельческого способа производства на Руси. До этого семантики «христианин» и «земледелец» выражались отдельно («крестьянин» и «оратай»). Борьба еще продолжалась.

Из церковнославянского языка входит в русский специальная терминология: ори, орать, оратарь (оратай). Но она не стала народной.

Позиции скотоводов слабели. Русские оседают в городах и весях. Термины скотоводства переосмысливаются и становятся народными терминами земледелия. Диалектное «пахать»— пасти скот получает новое значение и утверждается повсеместно. Но и до сих пор недалеко ушли друг от друга «паси» и «паши», ибо восходят к диалектным разновидностям одного и того же корня — пак (пах).

...Противопоставляя оседлых русичей кочевым (поганым), церковь сочиняет для первых название «поляне» от греческого полис — город, поселение. (Славянизированный грецизм участвует в именах городов современных: Севастополь, Симферополь, Тирасполь, Чистополь, Каргополь, Янополь и др.)

Поляне — не племенной этноним, а сословный. Этого не поняли следующие поколения древнерусских историографов, которые и «древлян» (как обобщенно назывались предки восточных славян, т. е. древние), толковали от «древо». С ними согласны и современные нам исследователи. Выяснив таким образом «типовой проект» этнонимов, созданных до них, эти книжники сочиняют и «дреговичей» от дрегва — болото. То есть если поляне — жители полей, древляне — насельники лесов, то людей, живущих в болотистых местах между Припятью и Западной Двиной, естественно назвать дреговяне, или по морфологической схеме, свойственной уже эпохе этих неологистов,— дреговичи.

...Поляне — любимое «племя» летописей; они противопоставляются былым «древлянам», пребывавшим в языческом невежестве. Искусственное книжное образование «поляне»— оседлые, горожане — не было принято в качестве нарицательного термина. Причина этому, мне кажется, в том, что корень совпал с народным словом «полъ»— равнина, пустошь. Но насаждаемая церковниками оппозиция полис — полъ скажется на судьбе проторусской лексемы. Появляется довольно рано (в XI веке) компромиссный термин «поле»— равнина, где содержание сохраняется традиционное, но форма грецизирована. Он вытесняет из общерусского языка в диалекты старое — полъ. Эти исторические обстоятельства (космос слова) надо учитывать при этимологии —«половец».

...Несколько лет назад я высказал в статье «Невидимые слова» осторожное мнение о происхождении «половец» от «поле». Сегодня хочу уточнить свою версию, предложив другой корень —«полъ». Суффикс принадлежности — ов, суффикс лица — ец.

...Форма «половец» построена по той же морфологической схеме, что и «степовец», и означает —«человек, принадлежащий полу», т. е. степи. Книжники XI—XII веков уже не знали этимологии этого слова, ибо «полъ» был вытеснен «полем».

Таким образом, «половец»— скорее всего калька слова «язычник» в первом значении.

Калька понадобилась, ибо «язычник», приобретая новую расширенную функцию, перестал был этнонимом.

Итак, обобщающие названия тюркского населения южнорусских степей с X по XII века составляют, по-моему, две семантические группы.

I. Этнонимы, образованные от терминов родства:

1) **Торки** —«родственники жены» (торкін).
2) **Печенеги** —«свояки» (паджанак).

II. Этнонимы, образованные от «хозяйственных» и географических терминов:

1) **Кощей** —«кочевник» (кощщі).
2) **Паган** —«пастух» (паган).
3) **Язычник** —«степняк» (йазык — нікі).
4) **Толковин** — неудачная калька предыдущего слова. Только в «Слове о полку Игореве».
5) **Половец** —«степняк»— калька «язычника».

Отдельно стоит **«берендей»**—«предавшиеся» или «подданные». Это уже кличка, данная кипчаками кочевникам, поступившим на службу к русским князьям (берінді).

«Черные клобуки»— калька тюркского самоназвания «каракалпак».

Ковуи — передача кипчакского родового термина «кобуй». Этноними-

мы показывают сложную картину взаимоотношений христианской Руси с кочевыми племенами, сменяющимися в южнорусских степях на протяжении, по крайней мере, трех веков.

Кыпчак

...Многие тюркские этнонимы являются как бы названием племенной тамги (герба).

Особенно заметно это в казахской этнонимике, так как большинство казахских родов и племен помимо имени сохранили и тамгу. Причем, как правило, знак древнéе названия. Форма знака толковалась неоднократно, и это отразилось в этнонимах.

Так, тамгой рода «ойък» является круг. А эта геометрическая фигура в казахском называется —«ойък». Название тамги стало названием рода.

Простая черта является тамгой рода «тілік», и черта по-казахски — тілік.

Род балталы весьма гордится своим гербом «балта» (топор), а изображается он простым крестом.

Род найзалы — не менее мужествен. Его тамга — схематическое изображение копья (найза — копье, каз.).

В книге В. В. Вострова и М. С. Муканова «Родоплеменной состав и расселение казахов» (Алма-Ата, 1968 год) приводится много примеров, показывающих, что этнонимы часто происходят от названия родового герба.

Некоторые роды племени найман также получили свое наименование по значению тамг. Род баганалы имел тамгу бакан (от слова «бакан»— шест, подпирающий купол юрты).

Трезубец был гербом нескольких казахских родов и племен. И толковали его значение по-разному. Одно из них мы уже привели — бакан. Другое, «тарак»— гребень, легло в основу названия рода тараклы (гребенные).

В наименовании крупнейшего казахского племени жалайыр отразились два этапа осмысления племенного герба: жал — грива и айыр — вилы, трезубец. Хотя позднейшее название тамги —«тарак». Как видим, первое название тамги становилось названием рода (племени) и зачастую уже не осознавалось. Последнее название тамги могло отличаться от этнонима.

Тамга кипчаков — две вертикальные черты. Современное название «кос-алип» описательное —«два алипа» (первая буква арабского алфавита, альфа, изображается вертикальной чертой).

Несомненно, существовало до принятия арабского письма какое-то иное название тамги. Не сохраняется ли оно в этнониме «кипчак»?

В «Глиняной книге» я предложил возможный архетип «ікі — пчак» (екі — пшак) — т. е. «2 ножа», пчак (пшак) — очень узкий нож, стилет.

Весьма вероятно, что тамга «две вертикальные черты» некогда была названа ікі — пчак (еки — пшак), и это слово-предложение в процессе слияния в одну конструкцию превращалось в кипчак (кыпшак). «Два ножа» удивительный этноним, если бы рядом не было таких, как: «копейные» (найзалы), «топорные» (балталы), «круглый вырез» (ойык), «черта» (тілік), «грива — вилы» (жалайыр), «гребенные» (тараклы), «столбовые» (баганлы); если бы начиная с VIII века не отразились в письме племена «10 стрел» (он ок), «3 стрелы» (уч-ок). К этому ряду я присоединяю и «пару стрел» (косок).

Тюркским самоназваниям вообще не повезло в летописной традиции. Племена «уз» (огуз, гуз) русские книжники величают торками, племена «кангар» (возможно, канглы) — печенегами, кипчаков — куманами, половцами. А тех, и других, и третьих, сообща — терминами, прошедшими церковную обработку,— язычники, поганые...

Книжная терминология в подобных случаях редко отражает народную.

Народ «кыпчак» упоминается в тюркской письменности очень рано. На каменной стеле, найденной на Енисее, писана хроника царствования кагана Союн-чура (VIII век). Четвертая строка начинается: «турк кыбчак еліг йыл олурмыс»—«тюрки-кыбчаки 50 лет обитали (у реки Орхон)».

В словаре Махмуда Кашкарского (XI век) говорится, что кыпчаки («кыфчак») распространили свои земли на западе до Руси и Рума (Византии). Тогда страна от Иртыша до Черного моря и стала называться в арабо-иранских источниках «Дашти-кипчак»— Страна Кипчаков. Название это сохраняется до XVI века. (Под кипчаками уже в раннем средневековье подразумевались все северотюркские кочевые племена.)

Кыпчаки соседствуют с Русью и Византией почти два века, до взятия Киева Батыем (1240 год). В этой исторической ситуации они оказались реальной силой, могущей противостоять арабам и сельджукам.

...Роль, которую объективно сыграли тюрки-тенгрианцы в судьбах Восточной Европы в VII—XII веках, еще по достоинству не оценена историками. С VII века начинается арабская экспансия. Объявлена Священная война — газават, конечная цель которой, по грандиозному замыслу автора ислама,— исламизация мира, обращение или истребление неверных.

В союзе с Византией против арабов в Малой Азии воюют хазары и другие тюркские народы. Кавказ покорен мусульманами.

Волны агрессии разбиваются о Хазарию, где находят приют бежавшие от мусульманского геноцида христиане и иудеи. Если в XI и XII веках Византия в огне газавата, то до Руси не долетела ни одна головня из этого гигантского костра. Пламя священной войны гасло, натыкаясь на обугленные южные окраины страны кипчаков.

Летописи, очень внимательные к любой стычке с Востоком, не приводят до XIII века ни одного случая нашествия мусульманских отрядов на пределы Киевской Руси[1]. Поле преграждало путь исламу в Восточную Европу. Едва ли вожди кочевников до конца осознавали свою миссию. Но борьба за южнорусские степи велась, по-видимому, не только с целью захвата новых пастбищ, как договорились считать историки. Тюрки могли бы кочевать и по меридиану — лучшие пастбища оставались севернее, по Волге и Уралу. Со времен тюркского каганата по землям тюрков проходит Шелковый Путь — самая знаменитая торговая артерия, соединяющая Восток с Европой. Высокие пошлины товарами (десятая часть с каждого вьюка) получают властители степи, гарантирующие безопасный путь караванам. Каждая

[1] Хотя термин «бусурман» известен древнерусским писателям.

тамга получает свою долю (тамгой — племенным гербом — обозначаются границы расселения).

Войны между тюркскими кланами вызваны и стремлением удлинить в широтном направлении пределы тамги. Южнорусские степи издревле стали важнейшим ключевым участком караванного пути. И борьба за них была особенно ожесточенной. С X по XI век здесь сменяется власть двух тюркских народов — узов, печенегов. Последних вытеснили кипчаки.

...Замечательная деталь уцелела в летописи. Торговые караваны могли спокойно проходить через степь, невзирая на военные действия (Лаврентьевская летопись, 1186 год.)

Сведения о разгроме войск Игоря принес Святославу Киевскому русский купец Беловолод Просович, проходивший с караваном по полю сражения. И половцы не причиняют ему никакого вреда. Половцы, которых историк А. И. Попов характеризует кратко и категорично —«кочевое население разбойничьего склада».

Эти «разбойники» принесли с собой новую мораль. В 1054 году состоялось совещание Ярославичей, постановившее внести поправку в уголовное уложение Ярослава. Читаем в «Пространной правде»: «отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати, а ино все яко же Ярославъ судилъ, тако же и сынове его установиша».

Указана главнейшая задача совещания: отмена на Руси института кровной мести и переход на **куновую** систему — вещественную плату за кровь. «Кун»— плата за преступление (древнетюркское). Заимствование названия предмета может произойти и при случайных контактах, но восприятие закона нравственного свидетельствует о высокой степени государственных и культурных отношений.

В течение двух веков половцы прикрывали Русь с Юга и Востока, но поединка с монголами они не выдержали. Меч войны, поднятый Чингисханом, обрушился прежде всех на голову кипчаков.

Мои юношеские стихи:

Города возникали как вызов плоской природе. И гибли в одиночку. Старики, я хочу знать, как погибли мои города!
...Сырдарья погоняет ленивые, желтые
волны.
Белый город Отрар,
Где высокие стены твои?
Эти стены полгода горели от масляных молний,
Двести дней и ночей здесь осадные
длились бои,
Перекрыты каналы — ни хлеба,
ни мяса,
ни сена,
Люди ели погибших
и пили их теплую кровь.
Счет осадных ночей
Майским утром прервала измена,
И наполнился трупами длинный
извилистый ров.
Только женщин щадили,
Великих, измученных,
горьких,

Их валяли в кровавой грязи
Возле трупов детей,
И они, извиваясь, вонзали
в монгольские горла
Иступленные жала
изогнутых тонких ножей.
Книги, книги горели,
Большие лохматые книги,
По которым потом затоскует спаленный
Восток,
Не по ним раздавались
протяжные женские крики.
В обожженных корнях затаился
горбатый росток...

Отрар был уничтожен дотла (1218 год). С этой зловещей победы и началось нашествие Чингисхана на мир. Отрар более не поднялся.

Сейчас — это обширный глиняный холм, испаханный траншеями археологов. Судьба Отрара мне напоминает историю кипчакского народа.

...Монашеское отношение к степнякам передалось и современным историкам. Так, римляне всех неримлян (даже эллинов) нарекали варварами. Китайские хронисты не признавали за людей ни индийцев, ни иранцев.

Арабы, давшие миру алгебру и астрономию, фигурировали на страницах европейских хроник только в качестве сарацинов, т. е. язычников, и не более.

Кипчаки были полуоседлым народом. Они составляли значительный процент населения среднеазиатских городов Сыгнака, Туркестана, Мерке, Тараза и, главным образом, Отрара.

Отрарская библиотека считалась второй после знаменитой Александрийской. Из среды кипчаков вышли выдающиеся деятели науки и культуры Востока — Исхак аль-Отрари, Исмаил аль-Жаухари, Жемал аль-Туркестани, аль-Сыгнаки, аль-Кыпчаки и др.

Солнцем в этой плеяде звезд был, несомненно, Абу Наср аль-Фараби (870—950 гг.), кипчак из города Отрара, основатель арабской философии, Второй Учитель мира, как называли его при жизни. Очень рано он добился возможности изучить, перевести на арабский произведения великого Аристотеля, Платона и других древнегреческих философов. Он сделал музыковеденье отраслью математики. Оставил труды в самых разных областях науки. Писал стихи, как многие ученые-энциклопедисты того времени.

В Европе X века не было ни одной фигуры, равной по значению для мировой культуры «поганому половцу» аль-Фараби.

...Монгольская опасность объединила на поле Калки кипчаков, русских и их вассалов — ковуев, берендеев, черных клобуков... Пестрый образ народа южнорусских степей. Калка стала последним щитом Руси. И этот щит не выдержал удара туменов Субудей-багатура.

13 — несчастливое число у христиан. XIII век стал трагически несчастливым и для кипчаков.

Монгольский буран разметал их по земле. Часть занесло в Венгрию, другие укрылись в горах Кавказа, некоторые оказались в арабских странах.

За века последующие кипчаки так и не смогли подняться и вновь обрести самостоятельность. Они ассимилировались в среде племен, увлеченных чингизидами, и после развала империи вошли в состав казахского, узбекского, татарского, каракалпакского и башкирского народов. В Крыму их потомки — степные ногайцы, на Кавказе — балкарцы, карачаевцы, кумыки, кавказские ногайцы...

...В метафорической фабуле казахского эпоса «Кара Кыпчак Кобланды» («Великий Кипчак Кобланды») выражена судьба кипчаков. Богатырь Кобланды могуч и щедр. Он никому не отказывает в помощи. Он отправляется в дальние походы выручать народы, нуждающиеся в поддержке. Единственно, кого он не смог защитить,— себя. Возвратившись из последнего похода, Кобланды нашел свою землю разграбленной. Жену и детей его увезли неизвестные враги.

...В современной историографии и художественной литературе кипчакам повезло еще меньше, чем на Калке. Раненых мечами добивают перья.

К. Гамсахурдия не может простить им участия в освобождении Грузии. (См. роман «Давид IV Строитель».) В битве при Дидгори на стороне Давида было 60 тысяч воинов. Из них 45 тысяч конников хана Артыка. Остальные — грузины, армяне, осетины.

Чтобы подчеркнуть роль рыцарей Картли, писатель-патриот превращает союзников в недочеловеков. Армяне и осетины, по его мнению, трусы. Кипчакам же достается больше всех. Они прежде всего варвары, грабители, а не воины. В меню их входит человечья кровь и «собачье мясо, сваренное в кумысе». Шатры их почему-то покрыты шкурами белых медведей. (Хотя белых медведей кипчаки впервые увидели в XX веке, в Алма-Атинском зоопарке.) Имена их в романе весьма характерны — Абай, например.

М. Блок писал о некоторых французских эрудитах, яростно восставших уже в наши дни против реформ Великой французской революции. В частности, против конфискации земельных владений. Тон их критики был так оскорбителен для революции, что М. Блок вынужден был заметить: «Какая была бы смелость, если бы они заседали в конвенте и там отважились говорить таким тоном! Но вдали от гильотины такая абсолютная храбрость только смешна! Было бы лучше выяснить, чего же в действительности хотели люди...»[1]

[1] Блок М. Апология истории. М., 1968, стр. 78.

Роман К. Гамсахурдия, вышедший в 1945 году (тоже символично!), вызвал две очень резкие рецензии — В. Шкловского («Знамя», № 5—6) и А. Антоновской, автора романа «Великий Моурави» о Георгии Саакадзе («Новый мир», № 10). Основная мысль этих выступлений — формы патриотизма К. Гамсахурдия, мягко говоря, несовременны.

Автор не принял ни одного замечания, и в дальнейшем роман выходил без поправок.

(Кстати, несколько лет назад опубликован перевод «Алексиады» Анны Комнин. Большинство «византийских» эпизодов было перенесено в роман из дореволюционного издания «Алексиады». Автор вольно использовал сведения византийского источника. Анна Комини, описывая деяния своего отца, императора Алексея Комнина, показывает образец предельно правдивого отражения исторического факта в литературе. Чего стоит хотя бы такой трогательный эпизод из описания битвы Алексея с печенегами: «Сильный ветер и атаки печенегов не позволяли императору прямо держать знамя. Один скиф, схватив обеими руками копье, нанес Алексею удар в ягодицу, и, хотя копье не оцарапало кожи, тем не менее причинило Алексею невыносимую боль, которая не покидала его в течение многих лет. Все это заставило императора свернуть знамя и спрятать его от людских глаз в кустиках чабреца. За ночь он благополучно добрался до Голои...» (стр. 212).

Не каждый современный писатель решится в таких неэпических подробностях изобразить подвиги своего национального героя.

В византийской армии служили представители многих народов. Известны имена военачальников тюркского, армянского, грузинского происхождения. Одного из них — Бакуриани — К. Гамсахурдия вводит в число главных героев своего романа. Несмотря на то, что в «Алексиаде» ему посвящено всего несколько строк, К. Гамсахурдия вторгает его во все дела Византии, в сражения, в которых он не участвовал.

Так, в романе красочно описано сражение греков в союзе с кипчаками против печенегов. Эта битва действительно состоялась в 1091 году и завершила шестилетнюю войну Византийской империи с печенегами. Кипчаками в том сражении руководил Тугра-хан и Боняк, известные и русским летописям. Греками — Алексей Комнин. И Бакуриани (добавляет автор романа). Хотя последний, по сообщению той же Анны Комнин, погиб в битве с печенегами в 1086 году в самом начале войны, в первой же схватке. Смерть его описана в «Алексиаде»: «Доместик (Бакуриани) яростно сражался, с силой набрасывался на врага, но ударился о дуб и тотчас же испустил дух» (стр. 202).

Хан Артык — отец Кончака и Турандохты (жены Давида IV). Его возвращение в степь описано в летописной легенде. Сырджан, брат его, прискакал на Кавказ, где Артык обитает уже долгое время. Он не поддается уговорам вернуться на родину. И тогда рассерженный брат выхватывает из-за пазухи клок травы степной. Запах сухого стебля полыни бросает Артыка на коня... Летопись приписывает ему слова «да лучше есть на своей земле костю лечи нели на чуже славну быти».

Эта же мысль выражена в казахской пословице: «Ботен ельде султан болганша озь елінде ултан бол»—«чем быть султаном в чужой стране, лучше — нищим на своей земле».

Сын Артыка Кончак помогал нескольким русским князьям восходить на киевский престол. Его активнейшее участие в политической жизни Руси освещено летописями. Он удостоился чести стать героем «Слова».

Сын его Юрий Кончакович руководил кипчакскими воинами в битве с монголами на Калке. Там же и сложил голову.

...О кипчаках нет ни одного научного исследования.

С горькой гордостью должен констатировать тот факт, что тема «кипчаки» стала появляться в казахской литературе лишь в последние десять лет, после моих исторических циклов «Дикое поле» и статей о «Слове» (1961—65 гг.). По моему «заказу» Морис Симашко написал повесть «Емшан» о мамелюке Бий-Барсе, и Юрий Плашевский — роман «Кипчакская стезя».

Ученых же пока всколыхнуть не удалось. Историки наши до сих пор пребывают в состоянии летаргической спячки. Никогда не забуду январь 64 года. В каталоге библиотеки Академии наук Казахской ССР я обнаружил русское издание «Хроники Вриенния» (1890 год).

Вриенний — муж Анны Комнин, и сопоставление его хроники с

«Алексиадой» (дореволюционное издание которой мне было известно) могло и уточнить некоторые моменты в истории союзных отношений кипчаков с Византией, и дать новые сведения, упущенные Анной. Послав заказ, с нетерпением ждал...

Я разрезал листы хроники Вриенния расческой.

Теперь, отправляясь в библиотеку академии, я запасаюсь костяным ножом для разрезания бумаг. Многие дореволюционные источники по кипчакам в нашей библиотеке вскрыты мною.

...Однажды Сергей Николаевич Марков, поэт-историограф, приехав в Казахстан, побывал на одном писательском пиру.

Он рассказал мне об этом событии, тряся головой от удивления: «Как можно не знать элементарных вещей!..» Контакты человека переполненного с пустотой всегда кончаются удивлением обеих сторон.

...а я одинок за столом —
кипчаков живые потомки
забыли о славном былом,
но русская муза готова,
склоняясь на пыльный гранит,
прочесть половецкое слово
на жаркой груди пирамид...—

написал он после того застолья.

В 1929 году опубликован рассказ С. Н. Маркова «Синие всадники», выдержки из которого могут дать хотя бы конспективное представление о последнем этапе биографии исторических кипчаков:

«Мне пришлось два дня делить хлеб и табак с двумя кавалеристами из национального эскадрона. Они носили толстые, как сугробы, белые фуфайки, начищенные сапоги со шпорами и синие мундиры и штаны. На черных крючках вагонных полок висели две фуражки, отмеченные красными звездами... Рядом с фуражками как маятники качались шашки в черных ножнах. На убогой станции Тонкерыс в двери вагона втиснулся беспокойный старец в огромной бараньей шубе. Он разыскивал место и таскался по вагону, держа в руках новое седло со связанными на луке стременами. Один из кавалеристов вежливо освободил новому спутнику кусок наших нар.

— Хорошо, хорошо, воины,— заверещал старик, сбрасывая шапку с потной головы.— Ваши мечи не упадут с крючков на мою недостойную голову? Слушаю покорно ваши мудрые ответы. Я из племени джетыру, из рода тама...»

Нам интересен конец рассказа. «В вагоне таминец снова начал разговор о предках:

— Воины,— спросил он,— я забыл узнать у вас, из какого рода вышли вы и ваши отцы?

— Мы кыпчаки,— ответил Кабыр-жан,— наша тамга — две короткие черные черты, как два прямых копья.

— Как же вы попали на Кургальджин? Ведь ваш род кочует по Тургаю. И вас очень мало сейчас на земле...»

Автор, удивленный встречей с живыми потомками кипчаков, не удержался и привел справку сведений о последнем важном периоде истории средневековых кочевников: «Кыпчаки прошли мир от Арала до Черного моря и венгерских степей. Они были наиболее древним казахским родом. Может быть, они возводили город Азак на побережье Азовского моря. Они валялись в каменной пыли Южного полуострова у подножья Генуэзских башен, и защитники разбойничьих твердынь сбрасывали на головы азиатов гранитные глыбы.

Раненых и пленных кыпчаков генуэзцы сковывали попарно цепями, бросали в трюмы кораблей и везли в Африку на невольничий рынок.

Азиатские невольники, главным образом кыпчаки и черкесские рабы, были названы в Стране пирамид именем мамелюков. Они составили касту рабов и впоследствии — воинов. Один из египетских султанов в полдень тринадцатого века составил из мамелюков свою личную гвардию. Раскосые гвардейцы, получив в руки оружие, решили уничтожить навеки следы рабских плетей. Они дождались знаменательного 1250 года, когда, по свидетельству истории, мамелюки свергли тех, кому они служили, и посадили на султанский трон потомка рабов, кыпчака Убака. Во время царствования мамелюкских султанов сумрачные дворцы все время озарялись заговорами, дворцовыми переворотами и убийствами.

В 1381 году, через год после того, как русский князь Дмитрий Иванович, известный под именем Донского, покрыл берега Дона у Куликова поля трупами татар, мамелюки сменили первую и возвели на трон вторую династию.

Мамелюки постепенно получали в свои руки оружие, власть и, наконец, земли. Наделенные тучной нильской землей, бывшие рабы превратились в феодалов. Им принадлежали рисовые поля и длинная египетская пшеница. Они командовали войсками и сумели удержаться даже после завоевания Египта турками. Турецкий престол окружала местная знать, представленная теми же бывшими невольниками.

Первым, кто подорвал господство мамелюков, был молодой длинноволосый французский полководец. Он сумел натравить на мамелюков безземельных феллахов, внушив им страшную ненависть голодных. Мамелюки сначала не простили Бонапарту этого поступка.

«Маленький капрал» вернулся во Францию, оставив в Египте своего наместника генерала Клебера. Этот генерал торжественно признал мамелюка Мурад-бея всеегипетским султаном и вассалом Франции. Но Мурад-бей решил своеобразно отблагодарить французского генерала и, не откладывая в долгий ящик своего намерения, убил Клебера.

В 1811 году некий Махмед-Али, наместник Турции, круто расправился с мамелюками. Они были слишком беспокойными людьми и, конечно, мешали каждому свежему завоевателю. И поколение рабов было истреблено солдатами Махмед-Али.

Но на этом не закончилась вся история свирепых воинов, рабов, царедворцев и снова рабов великого военачальника, видевшего пожар Москвы.

Наполеон Бонапарт вывел из Египта экзотический «конно-гвардейский эскадрон» для своей личной охраны, и беспокойным и храбрым сердцем этого отряда были мамелюки. Они сопровождали императора во всех его походах.

И я сам видел последний мучительный знак их существования и конца под золотыми орлами корсиканца.

...Я возвращаюсь в яблочные сады Подмосковья, туда, где пыльные Кунцево и Фили лежат на высокой гряде Сетунского стана. Один из медленных дней Сетунского стана был украшен сказочным событием. Рабочие, копавшиеся в земле, неподалеку от дороги, по которой когда-то шел на Москву Наполеон, вырыли и поставили на откос

три почерневших неизвестных гроба. Когда отлетели почерневшие, источенные временем крышки гробов, жители Сетунского стана увидели прямые, как ружейные стволы, трупы в ярких мундирах.

Сухой песок чудесным образом сохранил тела; они были нетленны; в темных ртах мертвецов белели крепкие зубы. Пятки гвардейцев были составлены вместе, носки раздвинуты, как у людей в строю, а шпоры согнуты, видимо, потому, что они мешали положить на тела гробовые крышки. В них, очевидно, упирались поднятые шпорами носки высоких ботфорт.

Почерневшие лица хранили на себе спокойную широкую улыбку. Ее портили лишь вылезшие ресницы и брови. У мертвецов были раскосые глаза и широкие скулы.

Это были, судя по форме, солдаты мамелюкского отряда. Он окружал Наполеона при его вступлении на Поклонную гору.

Мамелюки завершили круг невероятной жизни своих поколений у подножья горы, за головой которой стоит Москва.

И в час, когда теплый ветер играл клочьями ненадежных, как прошлогодняя листва, мундиров и веселые люди-землекопы, летчики и водители автомобилей, проходя мимо гробов, заглядывали в лица мумий, приехавший из города музейный человек обратил мое внимание на один из трупов, наиболее рослый и пышный по своей одежде.

На согнутом черном пальце мертвеца голубел широкий перстень предков с изображением кыпчакской тамги. Может быть, его делали хмурые мастера на улицах древней кыпчакской столицы — Отрара, от которой остались только кирпичи и прекрасные песни.

Сколько крепких желтых пальцев знало это кольцо бессмертного народа на своем пути от пустынь, венгерских степей, генуэзских твердынь к пирамидам Египта, влажным камням Венеции и, наконец, к черной земле Сетунского стана?»

ИСТОРИКИ И ИСТОРИЯ

Лицо обращено к тебе,
но очи смотрят мимо...

Академик Греков в капитальном труде «Киевская Русь» (1953 год) обобщил широкий материал, накопленный летописями. В предисловии он писал: «И письменные и неписьменные источники к нашим услугам. Но источник, какой бы ни был, может быть полезен лишь тогда, когда исследователь сам хорошо знает, чего он от него хочет»[1].

[1] Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1945, стр. 21.

В этих словах изложена суть метода, принесшего много бед историографической науке. История, повинуясь ему, послушно открывала только то, чего от нее ждали. Факту прошлого отводилась пассивная роль доказательства современной идеи.

И, к сожалению, главный специалист по Киевской Руси в упомянутой работе подтвердил продуктивность такого подхода. Стремясь доказать, что Киевская Русь была государством цивилизованным, автор в угоду европейским связям решительно обрывает нити, соединяющие ее с Востоком. Главе «Древнерусское государство и кочевники южнорусских степей» в томе из 600 страниц отведено 3 страницы. Из них 2 посвящены конфликтам Византии с печенегами. Картина эта

нужна только для того, чтобы сделать очень важный вывод: «Как мы легко можем убедиться, печенеги не вызывали на Руси никакой паники»[1].

[1] Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1945, стр. 470.

Полстраницы отведены половцам. А все три, вместе взятые, должны иллюстрировать основную мысль автора — Русь часто воевала с кочевниками, иногда покупала (или захватывала) у них скот, но никогда не вступала в культурное взаимодействие.

Куцый образ кочевника представлен в одной ипостаси — варвар.

...Научная историография зародилась в России, уже принявшей статус империи. Официальная наука, естественно, не позволила себе даже намека на возможность иных взаимоотношений в прошлом народов метрополии и колоний.

Средневековые летописцы выполняли заказы князей, выражая мнение сюзерена и церкви. Историки официального толка подтверждали на примерах былого правоту самодержавного государства.

К несчастью, ученые предрассудки нигде так не живучи, как в истории и лингвистике.

Можно понять ученого XVIII века: культурная отсталость, нищета подневольных тюркских насельников окраин Российской империи могли внушить ему всякие чувства, кроме уважения.

Но современные знания позволяют представить диалектическую картину развития общества, взлета и деградации культур; отличить зерно фактов от плевел монашеско-княжеской констатации и не принимать оценочные соображения за образ истины.

Объективные сведения о материальной и духовной культуре тюркских народов средневековья, которые не существовали изолированно от передовых цивилизаций того времени, тех народов, с коими довелось им теснейшим образом общаться, можно было бы собрать и в прошлом веке, и в настоящем. Источники те же.

Объективными я называю эти сведения потому, что содержатся они в хрониках мусульманских, буддийских и христианских государств, чьих авторов нельзя уличить в добром отношении к кочевникам, и потому, что последние, с точки зрения всех новейших религий, были не больше чем язычники, и потому, что чаще всего необходимость писать о них возникала в моменты драматические для тех народов.

В русской исторической науке XIX века выделялись отдельные работы, в которых проглядывали признаки новаторского отношения к тюркской проблеме.

Первые опыты обзора политической жизни хазар и анализа их своеобразного социального устройства были даны в работе замечательного востоковеда В. В. Григорьева (1816—1881 гг). Его блестящие статьи «О двойственности верховной власти у хазаров» и «Обзор политической истории хазаров», несмотря на издержки теоретического свойства, общие для большинства исторических исследований того времени, сохраняют бóльшую объективность в подборе и оценке факторов тюркской истории, чем многие работы, написанные на эту же тему значительно позже.

«Когда величайшие безначалие, фанатизм и глубокое невежество оспаривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава хазаровская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за веру стекались в нее отовсюду. Как светлый метеор, ярко блистала

она на мрачном горизонте Европы и погасла, не оставив никаких следов».

Броскость этого заявления была вызвана необходимостью привлечь внимание ученых к вопросу взаимоотношений Руси со степными соседями.

Через век выводы В. В. Григорьева были оспорены в небольшой по объему и грозной по следствиям для хазарской темы статьей П. И. Иванова, называвшейся весьма характерно «Об одной ошибочной концепции»[1].

После этого выступления появились работы, извращающие подлинную историю хазар с целью во что бы то ни стало принизить историческое значение этого народа и созданного им государства[2].

В 1962 году опубликован обширный труд М. И. Артамонова «История хазар», обобщающий почти всю мировую литературу по хазарской проблеме. Чтобы понять результаты этой гигантской работы, и цели ее, и сложности, стоящие перед незаурядным историком, разрабатывающим конфликтную тему, достаточно сравнить Предисловие и Заключение.

В предисловии: «Хазары создали обширное государство, в течение длительного времени вели ожесточенную борьбу с арабами и остановили их продвижение на север. С их помощью Византия выстояла в схватке с арабским халифатом. Одного этого достаточно, чтобы обеспечить хазарам прочное место на страницах всемирной истории и истории нашей страны и привлечь к ним внимание исторической науки.

Не следует также забывать, что хазарское государство было первым, хотя и примитивным, феодальным образованием Восточной Европы, сложившимся на местной варварской основе... Хазария вместе с тем была первым государством, с которым пришлось столкнуться Руси при ее выходе на историческую арену. Это исторический факт, который невозможно опровергнуть и который необходимо учитывать в полной мере для того, чтобы правильно понять ход исторического развития не только Руси, но и всей Восточной Европы. **Три века существования не могли пройти бесследно...»** (Подчеркнуто мной.— О. С., стр. 38).

Эти слова согласуются и с фактами, и с основными положениями трудов отца русской хазарологии В. В. Григорьева.

Теперь почитаем заключение:

«Русские никогда не чуждались культурных достижений Востока. От тюрков они унаследовали титул кагана, который принимали первые русские князья, от печенегов была заимствована удельно-лестничная система — знаменитый «ряд ярославль», от половцев изогнутые сабли и многое другое, **а от итильских хазар русы не взяли ничего!»** (Подчеркнуто мной.— *О. С.*, стр. 458).

Вот вам и три века существования и взаимодействия, которые «не могли пройти бесследно»!

Почему-то в книге не нашлось места хотя бы для такой справки из русских летописей, которые сообщали, что Киев, ставший центром русского государства, основали хазары.

В выводах своих заключение безукоризненно совпадает с категорическими утверждениями автора давней заметки П. И. Иванова, который, по признанию самого М. И. Артамонова, не был специалистом-хазарологом...

[1] «Правда», 25 декабря 1951 года.

[2] **Рыбаков Б. А.** Русь и Хазария. Академику Грекову ко дню семидесятилетия. Сб. статей, 1952 год.

А. И. Попов в 1946 году выступил с большой статьей «Кипчаки и Русь», до сих пор пользующейся спросом у специалистов по «Слову».

Лингвист нынче без историка ни на шаг. Историк формирует его взгляды, и он подходит к лексическому материалу с засученными рукавами. А. И. Попов выступал сразу в двух качествах — как специалист-фактограф и как языковед.

Историк А. И. Попов начинает просто и решительно: «Следует сразу же сказать, что воздействие половцев на русских было ничтожным. В соответствии с этим число половецких слов, попавших в русский язык, ничтожно» (стр. 114).

Странные выводы историка А. И. Попова приводят и лингвиста А. И. Попова к таким же результатам.

Он решается назвать точное число слов, заимствованных русскими у тюрков,—10 (десять). Как-то — сайгат, кочь, кощей, чага, ватага, евшан, кумыз, курган, ортьма, япончица. Но тут же оговаривает: «С уверенностью нельзя назвать именно половецким почти ни одно из этих слов, так как с неменьшей вероятностью можно приписать их торкам и берендеям. Из всего домонгольского запаса тюркских включений в разговорном русском языке пережили до наших дней 2—3 слова (курган, ватага, кумыс), причем нельзя поручиться, что здесь есть преемственность от половецкого времени, так как эти слова могли много раз быть переданными с востока и позже — при монголах, что гораздо вероятнее.

Это показывает слабость культурного влияния половцев на Русь, что, разумеется, является вполне естественным. **Если хазарские и булгарские отношения со славянами не оставили почти никаких следов в славянских языках и фольклоре, то что могли оставить половцы!» (стр. 117).**

Вся работа написана с целью обосновать (не фактами сопоставляемых словарей, а громкими заявлениями) подчеркнутый мною вывод.

Историки, касающиеся вопросов тюрко-славянских отношений, любят, как я заметил, характеристику —«ничтожные».

Ф. П. Сороколетов, автор солидного труда «История военной лексики в русском языке», встречаясь с тюркизмом, словно извиняется перед читателем, предваряя объяснение такими, например, скороговорками: «Ертаул (ертоулъ, ертулъ). Татаро-монгольское влияние на формы организации русского войска и методы ведения войны, как отмечалось многими военными историками, было ничтожно»[1].

Неужели эти слова необходимы только для того, чтобы ослабить воздействие рядового сообщения, следующего ниже?

«Ертаул обозначает один из военных отрядов, составляющих боевые порядки русского войска. До встречи с татаро-монголами в русских войсках такого отряда не было, не было, естественно, и термина».

В другом месте, прежде чем сообщить, что «несомненными тюркизмами в системе обозначения воинов являются баскакъ, уланъ, есаулъ, сеунчь, калга, улубий, чеушъ», автор информирует, что «тюркский вклад в русскую военную терминологию остается, в общем, незначительным. Как тюркская военная организация и военная тактика не затронули основ русского войска, так и лексические заимствования из тюркских языков не оставили сколько-нибудь заметного следа в русской военной терминологии»[2].

[1] **Сороколетов Ф. П.** История военной лексики в русском языке. Л., 1970, стр. 194.

[2] Там же, стр. 252—253.

Настойчиво и однообразно подчеркивается мысль, что «незначительные вкрапления иноязычных слов в систему обозначения оружия (сабля и саадак и некоторые другие) не меняют дела. Не оставило заметного следа в военной лексике, как и в самом военном искусстве, татаро-монгольское владычество. До половины XVI века русская военная лексика была в основном свободна от иноязычных (читай тюркомонгольских — *О. С.*) влияний».

И совсем иначе обстоит дело с вопросом западноевропейских влияний.

...Было бы правильней делать выводы после сопоставительного изучения древнерусских и древнетюркских материалов. Сравнение обнаружило бы значительные совпадения в структуре войск, тактике, терминологии. И это естественно: тюркские подразделения издавна и традиционно входили в состав княжеских войск до XIII века, являя собой основную ударную силу воинства многих «уделов» Руси.

Истоки древнеславянской военной лексики относятся к эпохе **славяно-тюркского единства.** Этот необычный пока термин доказуем: источники дают для этого основания. И прежде всего — словарь. Целый ряд обозначений наиболее общих понятий военного дела получен от древнетюркских языков. Такие, как —«воин», «боярин», «полк», «труд» (в значении «война»), «охота», «облава», «чугун», «железо», «булат», «алебарда», «молот», «сулица», «рать», «хоругвь», «сабля», «кметь», «колчан», «тьма» (10-тысячное войско), «ура», «айда». Они уже не выделяются из словаря, эти обкатанные в веках невидимые тюркизмы. Лингвисты замечают лишь позднейшие, явно «неродные» включения: саадак, орда, бунчук, караул, есаул, ертаул, атаман, кош, курень, богатырь, бирюч, жалав (знамя), снузник, колымага, алпаут, сурначь и т. п.

Проштудировав всю небольшую (даже количественно) литературу, посвященную проблеме славяно-тюркских культурных взаимоотношений, я с грустью убедился в том, что большинство авторов брались за трудную эту работу ради того, чтобы доказать заранее им очевидное — никаких культурных отношений с дикими кочевниками не было и быть не могло.

Позиция, активно заявленная академиком Грековым, и метод обработки исторического материала, описанный и продемонстрированный в «Киевской Руси», к величайшему сожалению, не утрачивают актуальности во многих современных исследованиях.

...Я выбрал для демонстрации вульгарного внеисторического подхода к историческим проблемам работы разные и по масштабам исследований, и по стилю изложения.

...Как трудно было ломать в европейской науке лед недоверия к кочевникам, говорит печальная судьба книги выдающегося востоковеда Григория Потанина. Книги незаслуженно забытой —«Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе». Она вышла в Москве в 1899 году «на средства, пожертвованные Ю. И. Базановой».

Сравним и здесь предисловие и заключение.

«В этом предисловии я хочу ограничиться двумя-тремя словами по поводу тех недоумений, которые могут явиться при первом беглом взгляде на книгу. Господствующая идея книги, идея об единстве средневекового западного и восточноордынского эпоса распространяется и на эпос западной Европы, может с первых же строк книги вызвать некоторые возражения.

Во-первых, с первого же раза может показаться невероятным обмен эпосами на таком дальнем расстоянии, как центральная Монголия и центральная Франция, как берега Орхона и Керулена на востоке и берега Сены на западе.

Другое возражение — могут сказать, что трудно допустить возможность воздействия некультурных варварских орд Средней Азии на культурную европейскую среду...

Эпоху, когда происходит обмен эпическими материалами, можно предположить очень ранней; можно не приурочивать ее к позднейшим переселениям среднеазиатских орд; этот обмен совершался в то отдаленное время, когда не было той разницы в культуре между Центральной Европой и степями Средней Азии, какая появляется позднее.

В те отдаленные времена могли быть и такие случаи, когда ордынцы, пришедшие в юго-восточную или среднюю Европу, оказывались людьми высшей культуры в сравнении с туземцами» (стр. 1—2).

И в «Заключении»: «Пренебрежение ученых к степным народам задерживает развитие науки. Установлению правильных взглядов на роль этих варваров и на историю духовно-культурных заимствований мешает наше арийское высокомерие, ложная историческая перспектива, вследствие которой все, напоминавшее христианские апокрифы, признавалось за похристианское, и несмелость мышления, порабощенного рутинными взглядами и рутинными верованиями.

Было время, когда история средневековой литературы в Западной Европе не пользовалась славянскими памятниками, считая их малозначительными: теперь важность славянской письменности оценена: некоторые факты средневековой литературы освещены только при помощи славянских памятников. Может быть, такой же поворот нужно ожидать и в отношении к степному преданию. Может быть, будет признано столь же невыгодным для науки дальнейшее пренебрежение к степным преданиям» (стр. 856).

Этим криком надежды завершается книга, вышедшая в последнем году XIX века. Но, как мы видели, век этот в исторической науке продолжается. Бесценные труды, подобные потанинскому, забыты.

И через полвека славист В. А. Пархоменко вынужден статью «Следы половецкого эпоса в летописях» начинать со слов: «Наши летописи не оставляют сомнения в тесных, близких связях, существовавших в XII веке между социальными верхушками Руси и половцами. Идея извечной, принципиальной борьбы Руси со Степью явно искусственного, надуманного происхождения».

И кончает статью словами: «Вообще следовало бы внимательней присмотреться к половцам и поискать следов их воздействия как в древнерусской литературе, так и в памятниках литературной культуры».

Поискать следов!.. Ненамного же продвинулась наука, если и сегодня, через несколько десятилетий после В. А. Пархоменко, мы вынуждены призывать «повнимательней присмотреться...»

Вернемся к «Киевской Руси» Б. Д. Грекова[1].

Упорно и горделиво говорил он о браках русских князей дома Ярославова с германскими невестами. Святослав Ярославич женился на сестре трирского епископа Бурхарта, два других князя (имена не-

[1] **Греков Б. Д.** Киевская Русь. М., 1945.

известны) женились — один на дочери саксонского маркграфа, другой на дочери графа штадского. Внучка Ярослава вышла замуж за германского императора Генриха IV.

Вывод: «Эти отрывочные известия говорят о тесных связях Киева с Германией» (стр. 488).

О связях Руси с Францией говорит брак короля Генриха I с дочерью Ярослава, Анной.

«О сношениях Руси с Чехией свидетельствуют брачные связи между чешскими и киевскими княжескими домами: одна жена Владимира была чехиня» (стр. 487).

О многочисленных династийных браках Руси с Полем в огромном томе нет ни слова. А ведь и Ярославичи женились на принцессах Турандот, следовательно, устанавливали политические связи с тюрками на высшем уровне.

Трудно предположить, что опытный историк не заметил в летописной литературе этих фактов. Восстановил же он титулы и имена германских и французских зятей Ярославовых, которые не сохранились в летописи. Это ему нужно было для доказательств версии, что благодаря таким связям в Киевскую Русь проникали европейские языки. «Неудивительно, что в этой обстановке дети Ярослава научились говорить на многих языках»,— заявляется уже в авторском предисловии к «Киевской Руси» (стр. 17). Теоретически вывод, может быть, и правильный. Но практическая база ориентирована неверно.

...Династийные браки, несомненно, важный фактор, способствующий не только политическому, но и культурному сближению народов, тем более если они тесно соседствуют на протяжении долгого времени. С невестой приходит ее почетная охрана на вечное поселение. А эти дружины состояли из сотен воинов с семьями. Они селились вокруг княжеских дворцов и постепенно становились одним из основных компонентов смешанного населения городов Киевской Руси. Их-то и называли торками, печенегами, куманами, а потом переносили имена эти на их степных родственников.

И следующие поколения князей приводили невест и дружины, приданные им, в те же города. Тюркоязычный элемент усиливался.

В среде, насыщенной поэзией тюркской речи, мне кажется, и творил неизвестный автор «Слова о полку Игореве», произведения, посвященного одному из рядовых эпизодов славяно-тюркской истории.

Он, сын своего времени и сословия, свободно и естественно употреблял в тексте не только невидимые уже тюркизмы, но и живые тюркские термины и лексические формулы, не боясь быть непонятым своим читателем. **Он рассчитывал на двуязычного читателя XII века.**

Через несколько веков, когда значение тюркского языка в Руси уже не было столь насущным и он забылся, многие иноязычные включения «Слова» стали резко заметными; они выпирали из текста, бросались в глаза (пресловутые чага, ортьма, япончица и др., не вошедшие в общерусский).

Языковая ситуация, сложившаяся в городах Киевской Руси в XII веке, напоминает мне ситуацию времени Пушкина и Толстого, когда высшее русское сословие было практически двуязычным.

В XX веке многие выражения Пушкина и целые страницы из романов Толстого пришлось переводить на русский. Пример того, как быстро может измениться языковая ситуация. Отличия несомненно

есть. Прежде всего в том, что тюркский язык в XII веке распространился не только при княжеских дворах, но охватывал и торговое сословие, и воинское.

В армии российских императоров не было французских частей.

В войсках киевских князей, как мы видели, воины-тюрки составляли значительный процент. И управлять ими можно было, зная их язык.

Если бы до нас дошли протографы летописей X—XI—XII веков, мы, возможно, убедились бы, насколько силен был тюркский элемент в литературном южнорусском языке в эпоху раннего средневековья.

Если бы «Слово о полку Игореве» не переписывалось в XVI веке!... Сохранились Переписчиком в тексте только тюркские слова, которые еще были в ходу в северорусском наречии.

Но даже уцелевшие при переписке тюркские включения придают речи «Слова» особый колорит и вкус, как щепотка баскунчакской соли, растворенная в чаше днепровской воды. Или капля крови. Или слеза.

ВОЙНА И МИР

Работу над этой главой я прервал, чтобы слетать в Дубулты на четырехстороннюю встречу писателей. С 13 по 16 мая 1974 года в зале Дома творчества шли обсуждения литературных дел с участием четырех делегаций — Индии, Бангладеш, Пакистана и Советского Союза. Главной темой дискуссии, так же как и на первой встрече в Ташкенте, и на конференции в Алма-Ате, стал вопрос: отношение к культурному наследию. Выступающие не выделяли его из общей проблемы — современность и история. Делегаты говорили о том, что научно-техническая революция увеличила психологическую дистанцию между прошлым и настоящим. Есть ли необходимость вникать в идеи старика Вольта о гальванизации, чтобы включить зажигание в автомобиле?

Яростное отрицание классической истории — одна из характерных черт мировоззрения молодой интеллигенции Азии.

Недоверие к истории и на Востоке и на Западе вызвано тем, что история, как считал Поль Валери, дискредитировала себя в последние столетия. Она слишком долго была прислужницей политики, источником шовинизма и национализма.

Даже влюбленный в историю Марк Блок вынужден был, говоря о влиянии историков на историю, некогда заметить: «И правда, у человека, который, сидя за письменным столом, не способен оградить свой мозг от вируса современности, токсины этого вируса того и гляди профильтруются даже в комментарии к «Илиаде» или «Рамаяне»[1].

[1] Блок М. Апология истории. М., 1968, стр. 25.

История участвует в формировании современного мировоззрения. Ученые, состоящие на службе империализма и колониализма, своими авторитетными трудами прививали народам комплекс расовой и национальной неполноценности.

«Против этого решительно выступила советская историческая наука...»

На совещании хорошо думается. Как на концерте симфонической музыки. Речи или музыкальный фон стимулируют мыслительный процесс. Ассоциации непрерывны.

...Упорная вера в неизменность вещей делает науку ненаучной. Действительность может быть понята по ее причинам — искал выход Лейбниц. Но причины часто постулировались в практике, ибо они должны были служить убедительным оправданием необходимого следствия.

Смешение преемственной связи с объяснением — не всегда заблуждение, но нередко метод исследования. Сила персональной оценки превосходит историческую истину, и вольно или невольно факт приобретает черты сатанинские и обречен на презрение ученого, так как идее божеской факт служить уже не может. Следовательно, не нужен.

Одной из причин ненаучности историографии можно назвать и слепое доверие к письменным источникам. Они, отдельно и в совокупности, опровергают ходячую поговорку —«история права». Принимая любое свидетельство древних хронистов на веру, мы получаем ложное представление о минувшем. Историческое событие чаще всего описано с одной стороны, и беспристрастность ее еще требует доказательств. В сознании наших предков были свои внутренние перегородки; в каждой местности и эпохе — свои.

Но что объединяет древних писателей всего мира — любовь к драме. Война и мир. Эта оппозиция увидена писателем в XIX веке. Но формула древних исторических сочинений проще — Война.

Каждое мгновение войны озарено кричащим словом летописца. Века мира не нашли отражения в хрониках.

Мир — не историчен. Его описать труднее. Когда города не горят, не слышны вопли раненых и пленных, не плачут дети, отрываемые от «рожениц»,— летописец безмолвствует.

И в европейских, и в азиатских хрониках прошлое человечества предстает в образе бесконечных войн, кровавых дворцовых переворотов, и лишь эпизодически, попутно в ткань повествования попадают факты из истории культуры.

На фоне ярких цветов катастрофы — черного и красного — иногда забелеют купола и шпили храмов. Сверкнут алые от крови кресты и полумесяцы.

Имена и жизнеописания царей, военачальников (даже сотников) известны. Но почти не сохранялись в хрониках имена великих музыкантов, поэтов, зодчих, ученых.

Крики, хрипы и брань несутся со страниц летописей. Страх и ненависть — их содержание. А миллиарды великих и малых Любовей, тысячелетия человеческого Счастья, Радости и Надежды, громадные эпохи мирного труда, преобразовавшего землю, не отразились в летописях. Не зафиксированы и потому забыты гениальнейшие изобретения. Археологи находят изделия из алюминия в погребениях Китая, возраст которых превышает две тысячи лет. Но это невозможно, мы твердо знаем, что алюминий удалось получить лишь после того, как была изобретена гальваническая ванна!

И потом обнаруживают гальваническую ванну в Шумере. Она действовала уже за пять тысячелетий до рождения мэтра Гальвани.

...Атмосфера войн при переписках летописей еще более сгущалась: копиисты опускали все, что казалось им неважным,— живые детали прошедших эпох.

И в итоге, если суммировать сообщение только русских летописей, история Руси предстает клубком драматических, кровоточащих событий, временем беспрерывных междоусобиц, борьбы за власть и войны с кочевниками. Излюбленная антитеза Мишле — историография должна быть все более и более отважной исследовательницей ушедших эпох, а не вечной и неразвивающейся воспитанницей их хроник.

Но историк поверил преднамеренным свидетельствам. Гиперболическая метафора была понята буквально.

...И в этих условиях остается признать, что словарь — единственный объективный источник исторических сведений. Язык сохраняет Летопись мира, не отразившуюся в письменности.

Показания языка неожиданны. Он свидетельствует, что с дохристианских времен славяне мирно общались с тюрками. Вместе пасли скот и пахали землю, ткали ковры, шили одежду, торговали друг с другом, воевали против общих врагов, писали одними буквами, пели и играли на одних инструментах. Верили в одно.

Только во времена мира и дружбы могли войти в славянские языки такие слова тюркские, как — пшено (пшеница, сено), ткань, письмо, бумага, буква, карандаш, слово, язык, уют, явь, сон, друг, товарищ...

Мы привыкли называть тюркизмами лишь те слова, что лежат на поверхности книжной речи и не прошли обкатку в народных говорах. Тюркизм — это уже русское слово, происхождение которого не всегда осознается. Названные А. И. Поповым шершавые — чага, евшан, ортьма — не тюркизмы, а просто тюркские слова, употребленные в письменности и не освоенные народом.

Церковь с первых же шагов своей деятельности начала разрушать духовные коммуникации Руси со Степью, обосабливая славянохристианское сознание.

В XIII—XIV—XV веках духовная оппозиция Русь — Поле предельно обострилась. Культурные контакты, ведущие к взаимопроникновению, приобретают характер эпизодический. Былая фузивность сменилась агглютинативной связью.

Все труднее проникает тюркизм в славянские языки. Эпоха Ига отложила термины преимущественно одного класса (скотоводческие) и, как правило, только в восточнославянские. К XIII веку языки славян были достаточно развиты и полны средствами выражения. К тому же уровни цивилизации Руси и Поля уже не совпадали. Какие новые явления могли принести кочевники Ига в культуру, предельно насыщенную ароматом степного этноса за века минувшие? Большую часть того, что можно было получить от тюрок, славяне заимствовали до XIII века и задолго до половцев, печенегов.

Комплекс неполноценности, вызванный Игом, заявил о себе в работах первых же русских историков, начиная с Татищева. Неистово исправляя несправедливую правду, они ваяли из ее грубого живого тела прекрасный труп. Научная истина или просто Истина без эпитетов? Такого вопроса в имперской историографии не возникало.

Татищев изымал из обращения подлинные факты, заменяя их своим изложением. Рубил головы словами. А легко ли это? Рубанешь со злобой, думая — чужое, а оно, корявое, раскосое, вдруг закричит по-русски — мама!..

Погладишь по льняной головке свое, исконное из конца в конец,

а она растает от нежности, прильнет к твоему слуху и лепечет, волнуясь, что-то гортанное...

Смешны попытки иных блюстителей чистоты культуры избавиться от «варварских наносов»— вырубить все частицы меди из бронзы.

Мы говорили, что история любого народа по сути своей интернациональна. И рассматривать ее с псевдо-патриотических позиций — значит попросту проявить некомпетентность. Нарушая природные связи культуры, лишая ее животворящего космоса, мы обрекаем ее на затхлость и вымирание.

Иго проклятого прошлого продолжается — мутит души, отравляет сознание. Историки не могут простить далеким предкам фактов невежества, доверчивости и робости. Неистребимо стремление посмотреть на брата своего сверху вниз. Но если соотношения не позволяют — всегда готова к услугам история, помогающая изменить их.

Мир человеческий заставлен старыми весами — от аптекарских до складских. И все они — судейские. Когда видишь, что где-то нарушено равновесие, тащит тебя туда узнать, в чем дело.

Потом замечаешь, что все весы перекошены. И жизни твоей на это не хватит. Но и равнодушия пока не хватает безучастно наблюдать зрелище тупого попрания правды.

Летописи Войны питают живым огнем наши сегодняшние чувства, обращая их в ненависть.

Жалок гнев современного копта на иранца за ахеменидское нашествие VI века до рождения Христова. Но как оценить чувства моего знакомого, мучительно переживающего поражение Игоря на реке Каяле?

Писатели восстанавливают летопись Мира и Любви, чтобы от многообразия лживых вер человечество когда-нибудь пришло к единству сознания.

«Ведь история — это обширный и разнообразный опыт человечества, встреча людей в веках. Неоценимы выгоды для жизни и для науки, если встреча эта будет — братской». Марк Блок, выдающийся теоретик историографии. Герой Сопротивления. Расстрелян в марте 1944 года.

Многие из теоретических положений великих мыслителей несовременны. Они могут принадлежать даже завтрашнему дню. Но они призывали всех современников думать категориями будущего, иначе завтра не наступит.

Поэты Индустана говорили о рождении новой, единой цивилизации человечества, основанной на доброте. Одна война допустима — война поэзии с лжеисторией.

Часть II
ШУМЕР-НАМЕ

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
Б. ПАСТЕРНАК

Будучи студентом-геологом, я пописывал. Принес что-то очередное в молодежную газету. В отделе никого: перерыв. Сижу, жду. Человек я был уже свой, и мне позволялось занимать один из столов в отсутствие хозяев.

Заглянул человек в шапке, попросил разрешения войти. Пожилой, смущающийся, отчаянный. Меня принял за штатного. Я отпираться не стал, пожал его руку, холодную и доверчивую. Вероятно, я был не первым, кому он показывал свои творенья — общую тетрадь в коричневом ледерине: страницы по цвету напоминали переплет.

Стихи — разборчиво, крупными школьными буквами. В некоторых словах разными чернилами и почерками исправлены грамматические ошибки. Стихи как стихи, и рифмы есть —«пошел»—«нашел».

Классиком я себя уже тогда не полагал, и потому вступил в разговор, причем смущались мы с ним наперегонки. Не считая себя вправе поучать его откровенно — человек в возрасте (и сейчас трепещу перед аксакалами), я старался найти в тексте примеры положительные и находил.

Участие мое воодушевило его, он крепчал на глазах. Через полчаса уже не давал мне слова вымолвить, размахивал руками, захлебываясь, объяснял историю каждой строки, взятой во внимание.

«А этот стих я составил в 47-м, когда шел с работы. Понимаете, холод страшенный, а кругом — ночь, ну я и составил, значит!..»

«Понимаете, хорошие стихи почему-то у меня получаются, когда я голову мою. Почему так, а? Может, голова нагревается, потому?»— и ждал ответа. И, забивая ответ, извергался дальше.

Судя по его полному собранию сочинений, голову он мыл не часто. Если не сказать — вовсе не мыл. И надежды, что когда-нибудь это случится, честно говоря, было мало.

...Одну описку прежние читатели все же пропустили. Я помню эту строку: «темный лес шумер...»

Говорят, что суеверны моряки и старухи. Мне больше нравится сравнение с моряком.

Я обмакнул перо и переправил, вернул его тексту правильное «шумел», а себе, как оказалось потом, забрал его ошибку — шумер. Может быть, и судьбу. (Эта ошибка станет через годы моими бессонными ночами, воплотится в тысячи никому не нужных страниц, протащит через сотни книг и словарей, лишит любовей, приятельских застолий и поэм.

Ошибка тащит меня, не разбирая дороги, вталкивает в кабинеты, где сидят случайные люди, пришедшие на час, пока наука на обеде, и правят копьями перьев мой и без того изъязвленный Шумер. Это ошибка, говорят они, несуеверные, зря шумишь. Это — сумерки, в лучшем случае. Нет, говорю я, это — Сибирь. Что ведет нас кривыми тропами? Что тащит нас с бетонки на пыльный проселок? Необитаемый остров в Аральской луже обнаружить не легче, чем в Атлантике.)

ПРАВО НА ОШИБКУ

Февральским вечером 64-го звоню из гостиницы «Москва». Через 20 минут вхожу в подъезд дома, 17, Лаврушинский переулок. В. В. провел в кабинет. Теплый, полутемный кабинет ученого. Поговорили о погодных условиях (предстояли метели). Он спросил, чем сейчас занимаюсь, и я решил, что другого повода в разговоре может и не быть. Торопясь, комкая, сообщил, что сейчас меня интересует проблема шумеро-тюркских языковых контактов. Привел несколько примеров. В. В. слушал, наклонив большую лобастую голову.

— Шумеры,— сказал В. В.,— и тюрки. Не рифмуется. Я думал, что вы расскажете о новой книге стихотворений. Признаюсь, огорчили. Хотя это похвально — интересоваться и другим. Знаете, какое самое древнее славянское слово? Запомните его, это —«есть». И каков возраст этого старика? Не более двух тысяч лет. Остальные слова разрушились, видоизменились настолько, что если бы (пофантазируем) удалось открыть памятник праславянской литературы, скажем, I века нашей эры, уверяю вас, мы бы встретили в нем лишь одно знакомое слово — есть. Наукой твердо установлено, что слово не выдерживает испытания временем. Оно развивается, теряя и приобретая новые звуки, изменяя смысл. Время не стоит на месте, и язык в постоянном движении. Согласны? Шумерский язык возник примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры. Последние памятники письма, я имею в виду шумеро-вавилонские силлабарии, относятся к VI веку до нашей эры. И сравнение их с первыми памятниками показывает, как на протяжении тысячелетий видоизменялась лексика. Вы хотите утверждать, что прототюрки, по вашим словам, «варились в котле цивилизаций» древней Передней Азии, ушли, вытесненные семитами в начале первого тысячелетия до нашей эры, и унесли, и сохранили до позднейших времен некоторые шумерские лексемы. Повторите, пожалуйста. Дингир — бог. А тюркские формы? Денгир, тенгир, тенгри... Нет, невозможно. Не верьте слишком очевидному совпадению форм.

— И смысла.

— Да, и смысла. Это случайные совпадения. В языках всего несколько десятков звуков, и количество комбинаций их весьма ограничено. В разных языках могут встречаться, на первый взгляд, одинаковые слова. Но между ними нет никакой связи. Они произошли параллельно. Вы понимаете? И в разное время. Не огорчайтесь, это типическая ошибка. Даже специалисты порой обманываются внешним сходством. Тюркская лексема, если предположить ее зависимость от шумерской, за истекшие тысячелетия должна, обязана была измениться до неузнаваемости. И потом, согласитесь, пока нет никаких

оснований предполагать, что тюркские языки уже существовали в шумерскую эпоху. Они, как утверждают компетентные люди, возникли не более чем две тысячи лет назад. И в развитии создали имя бога — неба, случайно совпавшее с названием шумерского.

— Уже несколько раз вы называете эту страшную дату —2 тысячи лет. Неужели этот христианский рубеж имеет такое уж значение в истории языков? Тюрки могли появиться независимо от рождества Христова. А если шумеры называли бы своего бога — Христос — ученые так же настаивали бы на случайности совпадения с именем христианского бога?

— Думаю, да,— неуверенно сказал В. В.

— А если бы к тому же они хоронили своих покойников по христианскому обряду и устанавливали на могилах символ религии — крест — это тоже приняли бы за случайное совпадение? А сравнение символической атрибутики тюркских курганов и шумерских обнаруживает такие черты схожести, которые нельзя признать случайными. Совпадения слишком системны.

— Я вижу, вы увлечены. И меня это беспокоит. Аргументов у вас недостаточно, чтобы убедить меня в сверхпрочности тюркского, как вы говорите, консервативного слова. Существует теория, утверждающая — слово смертно. Чтобы поколебать ее, нужны факты — слова, слова, слова бессмертны. Отдельные, разрозненные примеры ее не потревожат. Вашей идее консервативного слова противостанет консерватизм науки. Ее ста доводам вы должны противопоставить сто один. Сотню — на отрицание существующей теории и один — на утверждение вашей гипотезы. А вы начинаете прямо с утверждения. А наука без трезвого, догматического подхода к свежим фактам, без консерватизма, может превратиться в голую романтику. Сейчас вы, милый мой, свободны от страха и сомнений, вы увлечены одним фактом и ослеплены им как поэт. Но если вы поставили перед собой цель — стать ученым...

Хорошо, сформулируем иначе. Если хотите всерьез заняться наукой, вы обязаны воспитать в себе консерватора, недоверчивого и желчного, внутреннего редактора, который поверяет высшей математикой сомнения, каждый, пусть даже самый гармоничный факт. А он, этот внутренний оппонент, может подавить в вас поэта. Поверьте, меня это искренне беспокоит. Вы начитаетесь массы бездарных, серых высказываний и постепенно поверите в них. Они количественно убедят вас в своей несокрушимости. И в конце концов придете к вполне искреннему убеждению, что для науки полезней, если вы будете защищать теорию, на которую сами покушались по молодости. Из врага ее превратитесь в апологета. История науки знает массу таких судеб. А теперь подумайте: стоит ли? У вас прекрасная профессия...

...Я возвращался в гостиницу и продолжал разговор с В. В.

Почему-то повелось: поэзия — глуповата, наука — умновата. Забыли, что стихи глупца не станут притчей. Забыли, что смыслы «ученый» и «поэт» разделились недавно. Они выражались одним словом, в Европе — артист, в Средней Азии — чаляби от позднетурецкого чаляб — бог.

Омар Хайям писал пространные математические трактаты, может быть, поэтому ему так удавались в конце жизни четырехстрочные рубаи — стихи сжатые и всеобщие, как формулы. Аль-Фараби, этот узел поэзии, философии и математики!.. Кто они были — поэты или

ученые? Чаляби. Умеющие отгадывать символы, потому что создавали их. Люди чувственного ума. В средние века в Средней Азии за науку не платили; единственная привилегия, которой добились Омар Хайям и аль-Фараби,— счастье познания.

Сколь тонка фонетическая грань, разделяющая «чаляб» от «джаляб»— проститутка. И как трудно сохранить равновесие и не переступить грань. Воистину, в рай идут по лезвию меча. И разве ты сам не испытывал минут высочайшего вдохновения, когда все повинуется стремительным движениям твоего упоенного чувствами разума. И ощущаешь прямую связь с богом. И что там табачный дым усмешек и унижений перед словом. Ты — чаляби, тебе все дано, и все возвращается жестом и звуком!

Ты шел, радостно кровяня босую душу о бритвенное лезвие грани. И шатало тебя, и хотелось соступить с меча, подлечить порезы. И соступал. И подличал.

Бог отступал, и ты бросался в веселое, нерадостное джалябство. Врал себе и другим, предавал себя. Дрался с сусликами, как с орлами, пытаясь забыть, забить бытом свое божественное происхождение. И, потасканный, озлобленный, возвращался, влезал на лезвие, лез в летописи, забивался подальше от глаз своих в окраинные века, в темные закутки пергамента, бродил в буреломе тайн, и там, выдыхая перегар предрассудков своей эпохи, очищался пылью и тленом мертвых мудростей, и забывался, и надеялся, и верил, что когда-нибудь пусть хоть полупьяная джаляб поймет твои шараханья и задумается над стихами твоими и скажет, волнуясь,— мой чаляби! Человек ты мой.

А пока история, любая другая отвлеченность от мелочей писательского и просто человеческого быта помогала мне. Я отдыхал, успокаивался, разбирая надпись на шведском камне. Здесь я ни от кого не завишу, здесь интересно быть рабом.

«Стоит ли?» Разве можно распланировать жизнь и свято, холодно, по пунктам соблюдать программу? Утилитаризуются самые бесхитростные понятия. Интерес — это уже ставка в игре. Профессионал не вступит в игру «без интересу». Загнать кого-то под стол тоже — интерес. А есть ли, сохранилась ли такая игра, где процесс интересен не по результату? Есть. И мы ее постоянно ищем, находим и — играем.

«Стоит ли?»

...Мы сидим на веранде степной дачи, рассматриваем в театральный бинокль ледяную вершину Хан-Тенгри. Почему самые выдающиеся и красивые горы названы Яма-Лунгма и Фудзи-яма? Может быть, и вершины наших знаний было бы правильней назвать ямами?

— С точки зрения высшей?

— Может быть!

Формула надежды «Может быть!» движет нами. Мы любим созерцать сияющие пики: нам кажется, что смотрим вверх.

Они будут смотреть и ничего не услышат.

Они будут слушать и ничего не увидят.

Это не о нас сказано.

Может быть!

Начался этап подъема. Мы вспоминаем себя Нами. И от того, будем ли мы воздвигать собственные кочки, или, калечась, сдирая кожу с ладоней, потянем тяжелую, колючую, как трос, линию подъема выше себя, зависит амплитуда твоего духовного взлета, Степь. Обманывай

невежд своей плоскостью. Их гордыня пусть тебя не обманет. Под слоем ровной глины — вершины, мы ходим по ним.

Под круглой плоскостью степи
углами дыбятся породы,
над равнодушием степи
встают взволнованные руды,
как над поклоном —
голова,
как стих,
изломанный
углами,
так в горле горбятся слова
о самом главном.

История тюркских кочевых племен напоминает пустыню. Бедную кронами, переполненную сухими корнями.

Альпинист, коченея, вкладывает последнюю записку в каменный тур.

В театральный бинокль с крыльца Академии ее не прочесть. Она написана для тех, кто, обдирая лицо об лед и порфир морен, вползет на тот пятачок. Моему приятелю не понять знаменитого хирурга, раскапывающего курган, не понять дирижера, отморозившего ноги на Хан-Тенгри. «Куда вас несет!»— усмехаются те, кто уютно расположился у подножий, обнес утесы заборами и сделал созерцание блестящих истин — ям средством для поддержания жизни.

— Лезете в бинокли, членовредители! Заслоняете вершины!

Пирожнику надоело ходить босым. Мы пытаемся вспомнить то, чего нам не расскажут сапожники, молящиеся, как буддисты, ноге Будды, тесной колодке индоевропейского сапога.

Незыблемая аксиома «Волга впадает только в Каспийское море» родилась в XIX веке, когда географы еще не знали, что существует несколько волг. И катается лектор в лодке по Волге-реченьке, впадающей в Днепр, и усмехается снисходительно:

— Неправда. Наукой твердо установлено, что Волга впадает только в Каспийское море,— и ссылается на авторитетные заявления, а лодку сносит в Черное.

Когда удается взглянуть на послужной список великого годами и степенями тюрколога и увидеть несколько статей ровных, серых, как асфальт, накатанных к датам и в соавторствах, невольно приходишь к грубому выводу — человек не оправдал своего назначения. Я уже не говорю о предназначении, которого, возможно, и не было. Средством, но не целью была для него наука. Он был изворотлив, вертелся, как вареное яйцо, на полированном столе школы.

Я знаю таких светил и отношения к ним скрывать не собираюсь, ибо уверен, что «слабым отрицаньем темноты свет верно служит азиатской ночи».

Язык и письменность — громадный, нетронутый материал культуры, накопленный за многие тысячелетия,— ждут новых исследователей.

Может быть, среди десятков юных читателей моих найдутся будущие создатели гуманитарных, но точных наук; люди новой формации, избавившиеся от предрассудков религиозных знаний, свободные от догм философий расовых и национальных. Тогда слово не будет

ни причиной, ни следствием ежечасно меняющихся представлений исторических, а будет — Словом, самым объективным источником.

Постоянная религия, неподвижный быт создают тот искусственный режим, в котором не увядает слово, обладающее золотой структурой. Истлевает письменный материал,

но вечен знак над легким
пеплом букв,
над глинами,
над каменной плитой —
изогнутый лекалом мысли
Звук.

Температура, кислород и давление разрушают физические предметы. Но в условиях с постоянным режимом вещества не разлагаются. В одной египетской пирамиде был обнаружен трогательный венок, еще не утративший своей первоначальной окраски. «Цветы эти лучше, чем что-либо другое, свидетельствуют о мимолетности тысячелетий»,— восклицает Керам. Поверим правде этих слов.

С чем сравнить несокрушимое человеческое слово? С этим венком или золотым предметом, не поддающимся естественному разрушению? Его можно погнуть, сломать, переплавить, механически нарушить форму, но эрозии золото не подвластно.

Молчаливая степь широка, как пень добиблейского древа познания. Пень с разветвленной подземной системой корней, невидимой столбам с громкоговорителями. Спят века в излучине синклинали. Идешь по голой степи, наклоняешься у редких выходов скальных пород, откалываешь образцы. Станешь на колени перед родником и, прежде чем припасть губами, увидишь сверк радужной пленки в клубящейся воде. Отметишь место выхода нефти в маршрутном журнале. Может, случайность? Проезжал кто-то и наследил. Мыл мазутные руки. Место пустынно. Следов машины нет. И сидишь у родника день, а вода не теряет своей бакинской окраски. И замечаешь, камни у ручья черные. Проведешь пальцем — она. По трещинам поднимается на поверхность с артезианских глубин кочевница-вода, задевая окраину нефтеносного пласта...

Шумер. Усложненный, затуманенный театральными биноклями, нереальный, голубой, лучистый в космосе косности и — близкий, шершавый, как степной валун, на котором высечены памятные слова.

...Недавно, ночью, я спустился в кладовку. Годами в коробках из-под мебели, длинных, вместительных, как гробы, складывался мой шумерский архив. Дверь была распахнута, замок сорван. Я посветил фонариком. Черный бумажный пепел покрывал пол. Валялись бутылки из-под вермута, консервные банки. Кто-то гулял и жег жгуты из рукописей. Жмурясь, заслоняясь руками, выбирались ребятки и их помятые, заспанные подруги из архивных гробов.

Меня покорила символика факта. Произведения наконец-то светили живым ясным огнем, разгоняя мрак кладовки. История помогала современности.

Там, в кладовке, я понял афоризм — жизнь бьет ключом.

Когда тебя за Шумер — в печень, ты стоишь за него, как за родину. Как за родину — отвечаешь.

...Я собрал уцелевшие страницы. А ящики наполнил книгами, пухлыми томами индоевропеистов. Пускай на них теперь выспятся. Им необходимо давление сверху и с боков, может, вырастут, сопротивляясь тяжким задам действительности. Эта ночь окончательно убедила меня в том, что надо сесть и попытаться обобщить чувства и мысли, накопленные за годы занятий Шумером.

Есть точные науки, а есть гуманитарные, т. е. неточные — лингвистика и история. Они исходили из предрассудочных установок европоцентризма. Оформившись в Европе XIX века на идеологическом фундаменте ариизма, они не могут избавиться от его пережитков и поныне. Древность человечества рассматривалась сквозь призму политической и культурной карты XIX века. И этот недиалектический взгляд не мог существенно не исказить исторической перспективы и не сказаться на выводах, которые и стали отправной теорией, базисом названных наук.

Молодая цветущая Европа, морща носик, рассматривала из окна вагона хромую, согбенную старуху Азию. И мгновенное это соотношение казалось обоим — вечным. Трудно было юной эгоистичной особе поверить, что морщинистая баба-яга некогда была энергичной, дерзкой красавицей. И тяжелые драгоценности, которые она вынесла к поезду на продажу, укрощали когда-то ее гибкую шею и бились, сверкали на скаку на высокой груди. И звонкую речь ее слушала древняя Греция и старцы Египта.

Досталось от науки кочевникам. Рваные юрты, грязь и нищета XIX века произвели такое угнетающее впечатление на европейских ученых, что сама мысль о возможности древнейших культурных контактов Степи и Европы казалась кощунственной.

Г. Потанин в книге, посвященной влиянию тюркско-монгольского эпоса на западноевропейский, пытался рассмотреть образ кочевой культуры в развитии, намекая на волнообразность графика истории любого народа; графика, состоящего из эпох культурного взлета и падения. Официальная наука книгу попросту замолчала. Даже опровергать не стали. Как можно сравнить «Песнь о Роланде» с монгольским эпосом. Все равно что Лувр с юртой.

Археологи искали только то, что могло бросить свет на историю европейской культуры. Интерес к курганам Двуречья (библейским холмам) объясняется этим.

Памятники орхоно-енисейского письма, случайно открытые в Сибири шведским офицером, сосланным в Сибирь после Полтавы, ждали два века исследователей, пока финские ученые не решили, что сибирские руны могут иметь отношение к прошлому финнов.

Надписи на камнях Енисея и Орхона напоминали каменное письмо Скандинавии. Из скандинавских народов только финны вышли из Азии, может быть, они и принесли каменное письмо на север? Финны издали первые атласы памятников сибирского письма. Привлекли к ним внимание всех палеографов Скандинавии. Пока датчанин В. Томсен в 1893 году не нашел ключа, при помощи которого расшифровал известные надписи. Они содержали тюркский текст.

Европейские ученые, казалось, после этого потеряли интерес к сибирскому письму. И это известие (кочевые тюрки имели буквенное письмо на несколько веков раньше многих народов!) не поколебало предвзятого отношения к тюркскому прошлому и сказалось, и сейчас сказывается на результатах изучения древнетюркской руники. Кочевник так и остался в представлениях официальной науки в образе Вечного Варвара, паразитирующего у сосков китайской, иранской и арабской цивилизаций. Письменность тюрков была поспешно, без строгого анализа и сопоставлений объявлена заимствованием у иранцев. Объявили, как отмахнулись. Эта гипотеза вполне уклады-

валась в систему научных взглядов на кочевую Азию, и потому необходимости в каких-то дополнительных исследованиях по установлению подлинного генезиса этой письменности не возникло. Гипотеза, а попросту — голословное заявление финского ученого — со временем, кочуя из одного учебника в другой, была возведена за выслугу лет в ранг аксиомы.

...Весной 1970 года в окрестностях города Алма-Аты (Казахская ССР) близ села Иссык было вскрыто курганное захоронение алтайского типа, предварительно датированное временем Пазарыкского кургана V—VI веков до н. э.

Множество золотых украшений (деталей одежды) покрывали останки юного вождя (более 4-х тысяч единиц), похороненного в склепе, срубленном из могучих стволов тянь-шаньской ели. Золотой пояс, золотое оружие, золотой шлем...

Художественные формы иссыкских предметов аналогичны золоту курганов Алтая, Причерноморья и Северного Кавказа. Так называемый «скифский звериный стиль» воплощен в иссыкских атрибутах с необыкновенной четкостью. Но алтайские шедевры молчат. Молчит вся громадная по объему археологических находок эпоха номадов, населявших в первом тысячелетии до н. э. огромную территорию Евро-Азии. Тюркологам известно сообщение китайской летописи III века до н. э., что народ кангюй (канглы[1]) писал «поперек» — горизонтальной строкой, в отличие от китайской традиции вертикального расположения текста.

Вот и все, что мы знали о письме среднеазиатских кочевников той темной эпохи.

В иссыкской гробнице была обнаружена чаша с вырезанной по внешности горизонтальной надписью, состоящей из 26 знаков, напоминающих орхоно-енисейские.

...После опубликования первых статей о чаше[2] я получил письма, авторы коих восприняли наше сообщение, прочтение и выводы как результат незнания «очевидных», «твердоустановленных» положений, как-то: орхоно-енисейское письмо возникло не раньше V—VI веков нашей эры на основе одного из позднейших иранских вариантов арамейского письма. Эта дата подтверждается незыблемыми в тюркологии авторитетами; следовательно, иссыкскую надпись никак не можно относить к тюркским рунам, скорее всего, чаша с надписью занесена из стран, применявших арамейское письмо, вероятно, из Ирана, и случайно попала среди утвари в курганное захоронение. Таким образом, содержание надписи не должно отражать ситуацию, т. е. не эпитафия. Следует ожидать, что надпись содержит ираноязычный или семитский текст.

Замечания весьма любопытные, и обойти их молчанием мы не имеем права. Даже напротив, считаем нужным акцентировать на них интерес, ибо они, в значительной мере являясь отражением существующей системы взглядов на историю древнетюркского рунического письма, характеризуют собой положение дел в палеографической науке, да и в тюркской историографии в целом.

Первый и последний раз проблема происхождения орхоно-енисейского письма рассматривалась (и весьма приблизительно) в работах датского ученого В. Томсена и финна О. Доннера в XIX веке.

О. Доннеру принадлежит гипотеза о иранской родословной сибирских рун, которая никем не была пересмотрена или дополнена. Несмотря на вопиющие противоречия, которые выступают при элементарном механическом сравнении всех иранских алфавитов с древнетюркским.

Причина столь неестественного родства — совместимость в пространстве и во времени. Авестинское письмо возникло и просуществовало в Иране до VII века н. э. Именно в этот период, как полагают, и появилось орхоно-енисейское письмо.

В 1896—1897 годах близ города Аулие-Ата (ныне город Джамбул) В. А. Каллауром и финским археологом Гейккелем совместно с Мунком и О. Доннером было обнаружено пять камней с рунами. Формы некоторых букв значительно отличались от уже датированных орхонских, нескольким буквам вообще не было найдено соответствий. На этом основании авторы находки и интерпретаций предположили время более раннее, чем орхонское. Временным эталоном послужила найденная в Монголии эпитафия Куль-Тегину, которая была датирована по именам, встречающимся в китайской летописи, VIII веком н. э. С той поры принято манипулировать хронологией тюркского письма, размещая даты относительно установленной.

Для таласских камней была предложена осторожная древность — V—VI века нашей эры. С тем же успехом можно предложить и десятый век, так как отличие таласских букв могло объясниться и искажением исходных орхонских. Так были датированы все памятники древнетюркского письма, найденные от Монголии до Венгрии.

Можно ли, исходя из нерешительного предположения Доннера, Каллаура и Гейккеля, сделанного не на основе широких этимографических исследований, без учета данных мировых алфавитных систем, сегодня безапелляционно проводить четкую черту под V—VI веками, объявляя эту дату началом истории тюрков?

Но можно с уверенностью сказать, что все проблемы (скорее — беды) тюркской палеографии связаны с этой искусственной датой. Она позволяет относиться к рунам как к провинциальному, позднейшему, перезаимствованному письму, не представляющему принципиального интереса для всеобщей палеографии.

В единственном вышедшем у нас в стране обобщающем труде по истории письма тюркским рунам уделено слов меньше, чем в древнейшей китайской летописи. Сказано буквально следующее: «На той же (персидской) основе сформировалось и древнейшее тюркское письмо, не совсем точно называемое орхоно-енисейским руническим письмом. Это буквенное письмо применялось в Центральной Азии в VI—VIII веках н. э.»[1].

Ни описания, ни алфавитной таблицы, ни истории, ни одного примера.

В предисловии к переводу книги И. Фридриха «Дешифровка забытых письменностей и языков»[2] И. М. Дунаевская справедливо замечает: «Недостатком работы И. Фридриха, с точки зрения нашего читателя, является крайне беглое указание на те языки и письменности, которые были распространены у древних народов, населявших нынешнюю советскую территорию, некоторые из них вовсе не упомянуты». (Все, кроме древнетюркского, «упомянуты» в послесловии советского редактора И. Дьяконова.)

Не станем жаловаться на зарубежных авторов (Т. Феврис, М. Коэн,

[1] **Канглы** — одно из древнейших тюркских племен.

[2] Газета «Казах адебиети», 25 сентября 1970 г.— «Джетысу кон жазба»; газета «Комсомольская правда», 31 октября 1970 г.— «Иссыкское письмо»; журнал «Техника молодежи», 1971 г., № 5 — «Серебряная чаша»; журнал «Узбек тили ва адабиети», 1971 г., №5— «Еттисувнинг эски езувлари».

[1] **Истрин В. И.** Возникновение и развитие письма М., 1965, стр. 322.

[2] **Фридрих И.** Дешифровка забытых письменностей и языков. М., 196

И. Дирингера, Ч. Лоукотка, И. Гельба), так как их невнимание можно объяснить нашей собственной невнимательностью.

...В конце XIX столетия руны расшифрованы В. Томсеном и в основном прочтены с помощью В. Радлова, Мелиоранского и др.

Далее, с начала XX века и ровно полстолетия, история изучения рун являет собой картину далеко не динамичную.

Еще в 1951 году, в статье Е. И. Убрятова «О научной и общественной деятельности С. Е. Малова»[1], Сергей Ефимович назван единственным в СССР специалистом по орхоно-енисейской письменности и языку памятников.

Большого преувеличения в этом не было. Хотя к тому времени С. Е. Малов успел опубликовать только **три статьи**, касающиеся отдельных коротких надписей, общим объемом в несколько десятков страниц[2].

Остальные названия связаны с именами археологов-практиков проф. С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой. Они открыли в алтайских курганах несколько серебряных и золотых сосудов с надписями. Посвящают их описанию и прочтению в общей сложности полтора десятка страниц[3].

Мы пока не говорим о научной ценности новых археологических находок и о точности переводов, мы пока оцениваем приведенную библиографию количественно. И обращаем внимание на то, что все эти работы — **конкретного свойства**, связаны с частными находками; **нет ни одной, где были бы поставлены вопросы теоретического плана.** Нет ни одной страницы, рецензирующей достижения основоположников этимологического метода. Без критического пересмотра основ науки, заложенной век тому назад, без твердой теоретической базы, на одном этимологическом методе толкования текстов наука «тюркская палеография» существовать не могла.

После 50-го года появились, наконец, атласы Малова, с ними связано некоторое оживление в изучении эпиграфии. Но большинство работ — лингвистического характера, основанные на переводах Томсена — Радлова — Малова.

К собственным проблемам палеографии они имеют отдаленное отношение.

...Я невольно сравниваю эту безотрадную картину с иной, всем знакомой. За десять лет систематического чтения научной литературы по «Слову о полку Игореве» мне удалось перелистать лишь несколько страниц тома библиографии трудов, посвященных одному этому произведению славянской древности, к сожалению, дошедшему не протографом. Только тюркизмы «Слова» исследуются в десятках статей, общее число которых превышает количество работ по всей тюркской палеографии. Пушкин, Карамзин, Хлебников, Блок, Маяковский — кто только из русских писателей не участвовал в дискуссиях по «Слову»! Ни один памятник европейской культуры (литературы) XII века не оказал такого благотворного воздействия на судьбу национальной культуры, как «Слово», благодаря неостывающему вниманию ученых. «Слово», многократно переведенное, лежит в портфеле каждого школьника, его заучивают наизусть на уроках родной речи, по нему учатся уважать народ и его историю. «Слово»— древнейший документ общеславянской литературы — не захлопнулось в сером сюртуке кабинетной науки. Оно рано осозналось как вклад славянского ума и

[1] Тюркологический сборник. Т. I, М.—Л., 1951.

[2] Болгарская золотая чаша с турецкой надписью. «Казанский музейный вестник», Казань, 1921 г., № 1—2, стр. 67—72. Древнетюркские надгробия с надписями бассейна реки Таласс. Изв. АПН СССР, Л., 1929 г., № 10, стр. 799—806. Новые памятники с турецкими рунами. Язык и мышление, вып. VI—VII, Л., 1936, стр. 251—279.

[3] **Киселев С. В.** Саяно-Алтайская экспедиция, 1935 г., «Советская археология», 1936, № 1, стр. 282—284. Евтюхова Л. и Киселев С. Открытие Саяно-Алтайской археологической экспедиции в 1939 г. «Вестник древней истории», № 4 (9), на странице 162 приводится рунический текст с двух золотых сосудов и дается попытка перевода.

таланта в сокровищницу общечеловеческой культуры. «Наука о «Слове» стала народной,— пишет Д. Лихачев,— она давно ведется на обыкновенных началах. О «Слове» пишут живописцы, актеры, педагоги, писатели, зоологи, инженеры. Их работы внесли очень много ценного».

В интервью корреспонденту «Комсомольской правды» академик Д. С. Лихачев призывает молодых читателей к прямому «общению с культурой Древней Руси»:

«Не так, конечно, просто узнать древнерусскую литературу. Но попробуйте читать ее побольше, привыкните прислушиваться к ее интонациям и смотреть сквозь условности ее стиля. Вы услышите голоса людей, живших столетиями до нас, бившихся над вопросами «бытия», искавших цель и смысл жизни».

Он указывает на несколько популярных причин, требующих от нас глубокого и правдивого изучения культуры нашего прошлого, и, в частности, говорит о тех ученых, которые, не стесняя себя серьезным изучением предмета, издают работы, стремящиеся представить древнюю культуру народов России низшей, неполноценной по сравнению с культурой Запада.

«А кроме всего, изучение нашего прошлого способно и должно обогатить современную культуру. Современное прочтение забытых идей, образов, традиций, как это часто бывает, может подсказать нам много нового. И это не словесный парадокс...»

Завершаем эту страницу: данные орхоно-енисейского письма на сегодняшней стадии изученности не дают оснований для мрачных выводов относительно его доистории. Мы вправе пока позволять себе осторожные позитивные формулировки; но, по сути, голословно утверждение — этого не было и не должно быть! Оно зиждется не на твердо установленных фактах, а на предрассудочной традиции. Никакое имя в науке не может заменить аргумента. Подчас самые яростные отрицания, опирающиеся на зримую пустоту, переплетаются с самыми большими вероятностями ошибок. И мне как писателю и любителю истории не хотелось бы, чтобы тюркская письменность, которая может стать важным свидетельством древности тюркского языка и культуры, была бы походя, бездоказательно принесена в жертву ложно-аксиоматическому тезису и истолкована как случайность, не достойная специального рассмотрения.

Может статься, что пустотой мы называем глубину.

Р. S. Приход в археологию методов абсолютной хронологии дал целый ряд неожиданных результатов. Радиоуглеродный метод позволяет определять со значительной точностью возраст археологической находки органического происхождения — остатков дерева, ткани, угля кострищ и очагов — если они не старше 30 тысяч лет.

И не удивительно, что данные, полученные этим методом, часто расходятся с существующей в науке датой, которую дал классический для археологов метод сравнительной археологии (сравнение с известными, уже датированными предметами, обнаруженными совместно с исследуемым образцом). Это заставляет некоторых археологов скептически относиться к данным радиоуглеродного метода. Однако такой скептицизм оказывается необоснованным.

Если бы памятники тюркского письма, найденные в захоронениях, были исследованы радиоуглеродным методом, вероятно, начальная дата «V—VI век н. э.» была бы оспорена.

...На сколько вопросов происхождения семитских и европейских

буквенных систем ответила бы попытка сопоставительного изучения тюркских рун!..

Поэтому я тратил годы на исследования скандинавских рун, этрусских надписей, вызывая искреннее недоумение наших тюркологов, решительно не понимавших, зачем казахстанцу ворошить мертвые культуры чужих территорий. Этот территориальный принцип, стремление решать проблемы этногенеза, не высовываясь за пределы государственных границ, установленных в XIX—XX веках,— не что иное, как попытка рассматривать историю народа вне связи с человечеством.

ЯЗЫК И НАУКА

Письменность не вечна. Многие ее потеряли. Но устный язык — вот тот бессмертный источник исторических знаний, который мы открыли с последней страницы. Не сохраняются письменные памятники, но уцелел язык, прочти его.

Индоевропейские языки пережили более сложную историю, чем тюркские. Это отразилось в морфологии. Язык скандинавских руничесских памятников полуторатысячелетней давности уже не понятен даже германистам. За два столетия рунологии ни один памятник не прочтен. А текст тюркских эпитафических эпосов того же периода звучит как сегодняшняя живая речь. Выводы о старении слова лингвисты сделали из наблюдений за развитием индоевропейской лексики и распространили это положение на все языки, без учета оригинальных особенностей их историй.

Большие успехи физики XX века вызвали к жизни доктрину физикализма. Науке, «вырвавшейся» вперед, начали подражать отстающие.

Некий лингвист, заведя «гуманитарный метод» в тупик, оснастился звонкими доспехами, позаимствовав их в учебниках математики и физики для младших курсов. Доспехи помогают защите. Лязг интегралов, путаница графиков, процентов, чужих терминов — железная маска на невыразительном лице новейшей лингвистики.

Естественники запускают телегу на Луну, а наш языковед не может мне объяснить, что такое «телега». Это слово его уже не удовлетворяет своим обыденным, ненаучным способом выражения. Он вводит новые правила обозначения: А — означает Т, В — означает Е, С — означает Л, Д — означает Г, Е — означает А.

Тогда испытуемое слово, коробящее своим ненаучным видом, принимает вид точной формулы: АВСВДЕ. Теперь остается заложить ее в ЭВМ и ждать, сидя у мигающей груды железа, решения возникшей проблемы.

«Например, слово **киса** и зрительные, тактильные, слуховые и другие ощущения от реальной кошки действуют как единый комплекс. Непосредственные компоненты этого комплекса обозначим буквами а, б, в, г, д и словесный компонент — буквой е. Далее слово начинает замещать собой все непосредственные компоненты данного комплекса: е= (а+б+в+г+д). Теперь слово замещает, обобщает собой все эти непосредственные компоненты и представляет собой их сокращенное выражение. Но далее **киса** начинает обозначать не только одну конкретную мурку, но всякую кошку. Если комплекс непосредственных раздражений, получаемых от второй кошки, обозначим буквами $а_1$, $б_1$, $в_1$, $г_1$, $д_1$, а от третьей —$а_2$, $б_2$, $в_2$, $г_2$, $д_2$, то слово **киса**, представленное буквой е, получает более широкое значение. Оно включает в себя уже многие комплексы: е= (а+б+в+г+д)+($а_1$+$б_1$+$в_1$+$г_1$+$д_1$)+($а_2$+$б_2$+$в_2$+$г_2$+$д_2$)» т. д., и т. д. Увы, это уже не пародия. Это последняя страница статьи М. М. Кольцовой «Физиологическое изучение явлений обобщения и абстракции», венчающей сборник «Язык и мышление» (Москва, 1967 г.), в котором представлен цвет новой лингвистической мысли в графиках, грохочущих терминах и в подобных приведенным формулах.

Повернемся ухом к физикам. Сущность в том, говорят они, что наши понятия не **априорны**, а являются результатом человеческого опыта. Такой анализ позволяет нам создать понятия, представления, теории, адекватные известному нам кругу явлений. Но всякий раз, когда мы проникаем в существенно новую область физических явлений, нам приходится **кардинально менять сложившиеся представления и понятия.**

В этой постоянной готовности пересмотреть мысль, изреченную вчера, и заключен секрет Молодости точных наук.

Все до одного первые положения и понятия отцов лингвистики, не успев родиться, стали априорными для последующих. Нигде так не силен культ предков, как в этой науке. Внутренняя непоследовательность теоретической базы видна по всей площади современного языкознания.

В. И. Ленин в своих «Философских тетрадях» указывал на то, что человеческое познание не может сразу всесторонне охватить мир. Человек познает отдельные стороны мира предметов, последовательно переходя к познанию других сторон. При этом всегда есть опасность: углубляясь в изучение той или иной отдельной стороны мира предметов, можно потерять сознание того, что это всего лишь **одна** сторона, **один** момент, и абсолютизировать эту одну сторону.

«Познание человека не есть прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спиралям. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую линию...»[1].

[1] **Ленин В. И.** Полное собрание сочинений, изд. 5-е, т. 29, стр. 322.

Думаю, что это верное положение можно целиком отнести к лингвистике, которая выводы из наблюдения над языками так называемой индоевропейской семьи сделала всеобщими и распространила на все языки мира, без учета их особенностей. Ошибочность такого подхода видна при сравнении индоевропейских и тюркских.

Во многих индоевропейских за сравнительно короткий срок, в исторически обозримое время, коренным образом изменилась структура языков и морфология.

Тюркские языки не изменились за это время, слово в них более сохранно, чем в индоевропейских, по нескольким причинам чисто технического свойства.

1. Тюркское слово агглютинативно, т. е. корень и суффиксы не сплавляются, а представляют собой подвижной состав. Корень — паровоз всегда впереди и не изменяется. Он влияет на суффиксы (качеством звуков), а не наоборот.

Индоевропейские в отличие от тюркских более фузивны. Более, потому что явление фузии наблюдается и в агглютинативных языках, в частности — в монгольских и тюркских. Но в тюркских агглюти-

нативность — правило, фузия — исключение, хоть и значительное. В индоевропейских — наоборот.

Представьте игру грамотного пианиста и начинающего. Умелец при любой скорости игры акцентирует каждый звук, попадая пальцем точно по одной клавише. До — ре — формула агглютинативности. Начинающий попадает пальцем сразу по двум клавишам, и получается сплав звуков — дре. Это образная формула фузивности.

Агглютинация способствует сохранению слова. Фузия разрушает его.

2. Место ударения, как правило, постоянно на последнем слоге.

3. Нет предлогов (префиксов). Они влияют на корень в индоевропейском слове, создавая в развитии ложные основы.

4. Нет показателей грамматического рода. Этот формант в индоевропейских языках менял свое место относительно корня (— *пост* на пре —) при переходе к аналитическому строю. Но прежнее, традиционное место (— пост) не оставалось пустым. Старый показатель рода срастался с основой, изменяя ее облик.

В общегерманском «земля»— *йер, с показателем женского рода — йер дие. При переходе к аналитическому строю показатель стал употребляться перед словом, но прежний остался на месте, слился с основой как формант — дие йерде.

Вероятно, такой же интересный путь прошло романское слово — тйерра — земля.

Старый показатель рода (— пост) сейчас осознается лишь в древнесемитском: 'ерсат — земля (аккадское). В клинописи был знак для суффикса женского рода — ат. Праформа семитских названий земли, вероятно, была 'ер (история конструкции 'ерс — особая, имеющая отношение непосредственно к Шумеру).

Название земли йер некогда было международным словом, оно вошло в семитские, германские и тюркские языки. Все они начинали с одной точки, но в чистом виде без наращений сохраниться праформе удалось лишь в тюркских языках: йер — земля.

Мне кажется, лингвисты ошибаются, **считая основными причинами изменения слова — фонетические. Грамматические причины — основные. Фонетические лишь сопутствуют.**

В тюркских наречиях слово «земля» представлено фонетическими вариантами — йер, йар, жер, джер, чер, дьер, тьер, кер, кир. В германских языках им соответствуют граммофонетические варианты: дие йерде (йард, йорд, йурт). В германских примерах исказилась сама консонантная основа. Она напоминает старый корабль, облепленный ракушками.

Неизменность морфологической схемы и определила сверхустойчивость тюркского слова. Добавим и исторические причины — консерватизм быта (кочевой уклад жизни), религии (тенгрианство — культ предков). Кочевник скакал, а время стояло. Кочевник входил в соприкосновение с десятками этносов, обогащал свой, но не изменял его коренной образ. Соотношение предмета и времени ныне определяют словами Эйнштейна: «В предмете, движущемся с большой скоростью, время останавливается».

Выскажу мысль фантастическую.

Некий неизвестный нам народ V—IV тысячи лет до н. э. покоряет мечом и богом некоторые европейские и некоторые азиатские народы и за века подавления откладывает в разных по происхождению языках общий слой лексики и вместе с ней неопределенное количество грамматических черт.

Через тысячелетия Вильям Джонс (1746—1794), познакомившись с санскритскими рукописями, смог написать восторженные слова, ставшие теоретической основой сравнительного языкознания: «Санскритский язык, какова бы ни была его древность, обладает удивительной структурой, более совершенной, чем греческий язык, более богатой, чем латинский, и более прекрасной, чем каждый из них, но носящий настолько близкое родство с этими двумя языками как в корнях глаголов, так и в формах грамматики, что не могло быть порождено случайностью, родство настолько сильное, что ни один филолог не может не поверить тому, что они все произошли из одного общего источника, который, быть может, уже более не существует».

Направление развития родившейся науки было определено этой формулой.

Главное в его высказывании: 1) сходство не только в корнях, но и в некоторых формах грамматики, не может быть результатом случайности, 2) это есть родство языков, восходящих к одному общему источнику.

Франц Бопп (1791—1867) прямо пошел от декларации В. Джонса и исследовал сравнительным методом спряжение основных глаголов в санскрите, греческом, латинском и готском (1816), сопоставляя как корни, так и флексии.

Датский ученый Р. К. Раск (1787—1832) всячески подчеркивал, что лексические соотношения между языками не являются надежными, гораздо важнее грамматические соответствия, ибо заимствования словоизменений, и в частности флексий, «никогда не бывает». Предположения Джонса в работах последователей развивались в категорические утверждения.

Из сонмища языков мира была почти выделена индоевропейская группа языков, в которую вошли все европейские, иранские и индийские.

Создавалась она по следующей огрубленной схеме: некоторые латинские и греческие элементы грамматики похожи на санскритские, кельтские и готские похожи на латинские, латинские на славянские и т. д. Почему первые же лингвисты настаивали на мысли, что совпадения лексики для установления родства языков — недостаточный аргумент?

Подробное сопоставление языков, оказавшихся в родстве, выявило разительное расхождение в лексике. Объяснение было найдено: в языке, оказывается, имеется ядро — основной словарный фонд, и оболочка — словарный состав, который может в течение двух тысячелетий полностью замениться даже в близкородственных языках. В неизменный основной фонд были отнесены общие для большинства «индоевропейских» языков термины, составляющие, по данным математической лингвистики, «обычно не более 1—2% всего словаря»[1].

«Материалом для сравнения могут служить только слова, выражающие наиболее старые, наиболее устойчивые понятия — слова основно-

[1] В лексике современного английского языка содержится более 50 процентов одних только романских заимствований. В корейском словаре — 75 процентов китайских слов. По подсчетам О. Н. Трубачева, в «Этимологическом словаре русского языка» Фасмера находится общеславянских слов (и ранние заимствования)— 3191. Восточнославянских— 72. Русских слов —93. Поздних заимствований —6304. Неясных по происхождению —1119. («Вопросы языкознания», 1957 г., № 5, стр. 67). Цифры приблизительные. Не учтены последние выпуски словаря Фасмера. Но и этот список дает наглядное представление о том, как открыт язык для влияний.

го словарного фонда, составляющие обычно не более 1—2% всего словаря. Как установлено математической лингвистикой, и из этого основного фонда в среднем 15% в течение тысячелетия вымирает, заменяясь другими. Видимо, поэтому не удается установить родство, например, шумерского с каким-нибудь современным — момент расхождения относится к слишком далеким временам»[1].

[1] **Дьяконов И. М.** Языки древней Передней Азии, М., 1967, стр. 21.

Словарный же состав, т. е. 99% словаря по этой теории, разрушается полностью в самые короткие сроки. Если верить маститому В. В.— за два тысячелетия. Поверим и предположим, что прототюркский язык в IV тысячелетии до нашей эры состоял из 10 тысяч слов. Из них, следовательно, 100—200 слов входили в основной словарный фонд. За 6 тысячелетий исчезнуть должны были 90% слов основного фонда, т. е. до наших дней добредут 10—20 слов, к тому же до неузнаваемости стертых фонетическими изменениями. Таким образом, даже если бы тюркские слова отразились в шумерских памятниках, сравнению с современным словарем подлежат лишь 10—20 слов, да и то фонетическая и смысловая разность будет столь велика, что установить их родство с современными практически невозможно.

Правильно, но только, наверное, в отношении языков, объединенных в индоевропейскую группу. Сопоставляя языки этой искусственно созданной в XIX веке семьи, ученые увидели, сколь велика разность в словарях и грамматике, и сделали вывод о смертности слова, придав ему универсальное распространение. Небольшая группа слов совпадала во многих языках. Ее признали остатком праиндоевропейского наследия и вывели учение об основном словарном фонде, который менее разлагается. А все те слова, которые не совпадали, попали в разряд словарного состава, рядовых слов, наиболее смертных.

К каким же классам относятся лексемы, общие в индоевропейских, т. е. входящие в основной фонд, т. е. те, которые доказывают генетическое родство индоевропейских языков. Это:

1) **Числительные** от трех до пяти (когда существовала пятеричная система) или до десяти (в период существования десятеричной системы). Числительное «один» менее устойчиво. Почему? Потому что в индоевропейских языках названия единицы не совпадают (ср. уан — один — ек). И потому эта закономерность объявляется общей для всех языков.

2) Личные или притяжательные **местоимения** 1-го и 2-го лица. Почему только первых двух? Потому что в индоевропейских местоимения 3-го лица не совпадают.

3) Некоторые **термины родства.**

4) Названия некоторых частей тела (в индоевропейских общее только название ноги —*от).

Таким образом, достаточно при сопоставлении двух внешне не схожих языков увидеть близость этих лексических групп, чтобы заявить о генетическом родстве языков. Индоевропейская семья создавалась по этой несложной схеме на первых порах, когда схожесть санскритских и греческих числительных, местоимений и терминов родства буквально ослепила европейских ученых. Когда существовала только такая альтернатива — **или генетическое родство, или никакого.** А живая история языков знает несколько разновидностей родства. Лингвисты их не заметили и не описали. В противном случае индоевропейская семья языков распалась бы на несколько семей. Возникает вопрос: а может быть, числительные, местоимения и термины родства

вовсе не остаток праиндоевропейского языка, а просто заимствованы из какого-то одного (скажем, персидского) в эпоху наибольшего распространения этого языка (скажем, при Ахеменидах, 1 тысячелетие до н. э., когда власть персов распространилась на западе до Греции и Египта, на востоке до Индии и Китая)?

Этот вопрос индоевропеисты предвидели и заготовили указ, по которому слова основного фонда не заимствуются. Следовательно, числительные, пара местоимений и несколько терминов родства во всех языках (семитских, тюркских, угро-финских и др.) родились вместе с этими языками и только им принадлежат, и не отдаются никому, и не заимствуются ни у кого. Если бы сравнили хотя бы тюркские с индоевропейскими, этот столп рухнул бы без особого шума. Сравнение показало бы, что языкотворцы не знали этого сурового указа и заимствовали лексику на всех уровнях. И грамматику. Например, тюркские числительные первого ряда совпадают с индоевропейскими. Некоторые сложные числительные в индоевропейских заимствованы из тюркских. Латинская система спряжения объяснима только при сравнении с тюркской. Супплетивизм форм местоимений 1 лица именительного и косвенных падежей, служащий одним из основных аргументов родственности индоевропейских, объясняется при сравнении с тюркскими и угро-финскими языками (ср. я — меня, мне и мен — мени, мене). Происхождение форм терминов родства — mather, father, sister, brather — будет неполным без учета тюркского материала, в частности, без исследования истории тюркского форманта множественного числа — тер, который употребляется и как суффикс, придающий смыслу слова звательно-уважительный оттенок.

Положение «индоевропейские языки» стало теорией, минуя стадию **отрицания**. Теория родилась в рубашке первой формулировки Джонса, но так и не выросла из нее за последующие столетия.

Она не эволюционировала, не революционировала; вековечность ее лишь доказывает неполноценность. Термин «индоевропейские языки» разрастается вширь, количественно, как раздел в оглавлении языкознания, но не теоретической ее части. Как легко можно стать языком индоевропейским, заметно на новейшей истории картвельских.

В 1965 году в Тбилиси выходит книга Т. В. Гамкрелидзе и Г. И. Мачавариани «Система сонантов и аблаут в картвельских языках».

«Авторы убедительно доказали близость картвельского языка основы к семье индоевропейских языков»[1].

[1] **Ахваледиани Г.** Начало дороги в мир... «Литературная Грузия», 1968, № 11, стр. 14.

Некоторые лингвисты отозвались об основных выводах книги более сдержанно. Можно назвать очень глубокую и содержательную статью Арс. Чикобава «Отношение картвельских языков и индоевропейских»[2].

[2] См. «Вопросы языкознания», 1970, стр. 51—62.

В 1908 году в Петербурге вышла работа Н. Я. Марра «Основные границы в грамматике древнегрузинского языка в связи с предварительным сообщением о родстве грузинского языка с семитическими».

Так было сделано открытие, важное по своим последствиям не только для картвельских языков. Объявив семитическую модель архетипом, Марр конструировал систему грузинской грамматики, возведя ее к архетипу.

Арс. Чикобава пишет: «В картвелологии не так уж редки «открытия»: первое из них было сделано Фр. Боппом (картвельские языки

родственны индоевропейским —1847 г.), второе принадлежит И. Марру (картвельские языки ближайшие родственники семитическим — 1888—1908 гг.), третье дано в исследовании «Система сонантов...» (стр. 62).

Существующая теория родства языков по 1% делает, по сути, неограниченной возможность генетического объединения языков разного происхождения. Этот принцип не позволяет отличить первичные признаки от вторичных, привнесенных. Родство от знакомства.

Картвельские языки в течение одного века «развились» от индоевропейских до семитических и вновь вернулись в лоно индоевропейских (аглютинативный принцип морфологии несколько раньше давал повод сближать картвельские языки с алтайскими).

Когда я слышу многомудрые речи об индоевропейской или об алтайской семьях, мне вспоминается рассказ Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету», где герой, подражая ученому стилю, внушал подписчикам полезные сведения из агрономии: «Тыква — единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха».

По образцу индоевропейской общности была создана и алтайская семья языков. По существующей теории, современные индоевропейские и тюркские языки возникли незадолго до рождения Христова. Иными словами, эти языки прошли до наших дней примерно одинаковый отрезок времени. Следовательно, и тюркские языки должны были разойтись так же, как индоевропейские. Но в тюркских трудно отделить основной фонд от словарного состава.

Большинство тюркских языков соответствуют друг другу полностью: словарями и грамматикой. Потребовалось объяснить этот феномен. Поставил этот вопрос Н. Я. Марр. Прошу прощения за величину цитаты. Некоторые его высказывания, может быть, и устарели, но суть его трибунных эмоций все еще актуальна.

«...турецкие языки генетически не только не разъяснены, но и не освещены ни в какой мере. Генетический вопрос о них, т. е. вопрос о происхождении тюркских языков, по существу никем не ставился. Всем известно, что турки происходят из глубин Азии. Следовательно, там они и возникли. С литературной активностью турки известны с VI века, и если китайцы их знают почти за тысячелетия до того, то специалисты нас учат, что турецкие языки отличаются консерватизмом, так как памятники от VI века говорят о таких же диалектических группах, какие существуют и в современности. Выходит, невозмутимый консерватизм на протяжении одной тысячи трехсот лет. Тем более турецкие языки могли проявить свою природную консервативность не одну тысячу прежних лет. Следовательно, и тогда, когда о них нашли нужным упомянуть китайцы, и значительно раньше.

Все это так. Более того, как хорошо известно применение такой причастности при отсутствии действительного объяснения и к другим языкам. Известный лингвист Карнгрен совершенно серьезно пишет про консерватизм китайцев в отношении речи: «Основание, почему был удержан древний язык, это неотвратимая сила традиции в Китае». Но языки не создание природы, у них нет никаких особых отприродных качеств, даже консерватизм имеет свою историю. Словом, вопрос о происхождении турецких языков нельзя отводить как уже назревшую научную проблему, без которой ни на шаг нельзя

дальше продвинуться вперед в их изучении и действительно целостном осознании, как нельзя научно мириться с признанием прародины турок в Азии только потому, что они массово обретаются там (впрочем, и этого сказать нельзя) и что их знаем мы также с первых существующих о них письменных свидетельств...

Прародиной турок, конечно, нельзя признать Азию по внешнему свидетельству факта, известного короткой исторической памяти человечества — короткой сравнительно с судьбами возникновения и развития турок и турецкой речи».

После убеждающих доводов он приходит к выводу: «Следовательно, какая громадная общественная работа, какой громадный, отражающий ее динамический языкотворческий процесс пройден турецкими языками, чтобы достичь того статического состояния, того консерватизма, который отличает турецкие языки, по общему мнению самих тюркологов»[1].

Там же он выступает против метафизического применения приемов индоевропейской лингвистики в изучении тюркских языков.

«Ведь это тупик, причем тупик, отличающийся от тупика индоевропеистов тем, что индоевропеисты глубоко вошли в изучение языков своего ведения и им трудно и при желании возвращаться назад, не разбив вдребезги своих кумиров, а лингвисты-тюркологи не успели так глубоко углубиться в языки своей системы, они стоят перед ними, как перед сфинксом. Общего между тупиком индоевропеистов и тупиком лингвистов-тюркологов только то, что метод у них всех одинаково формальный, и, цепляясь в море живого и богатого материала от материальной реальности звуков, за почвы местонахождения, всегда сомнительной опорой, особенно зыбкой под ногами турок, лингвисты-тюркологи абсолютно не увязывают богатой турецкой речи органически ни с хозяйством, ни с общественностью турецких или сродных с ними более верных социальных старине народов»[2].

Марр, наблюдая «угрюмые затеи» формального метода, восклицал: «Научно — это ясно, но как быть с «политикой», именно с «политикой»? Я никак не знал, что ученому надо быть стратегом, политиком, дипломатом и потом только на последнем месте ученым, т. е. носителем и взрастителем определенных социальных знаний и новизной их будителем, а посему посильно их бесхитростным излагателем с одним долгом: не стесняясь говорить о том, что в обстановке прежних знаний по данному предмету диктуется смыслом того, что или давно узнано, но даже в ученых кругах неизвестно, или вновь узнаешь, только что слышишь и видишь,— не стесняться высказываться, хотя бы пришлось говорить о таком зрелище, как непристойное состояние голого царя, про что все отлично знали, но никто из мудрых не решался говорить, и пришлось высказаться «ребенку». Не всегда же истины изрекают мудрые змии. Бывает, значит, когда и ученому не сором стать ребенком».

За десятилетия, прошедшие после слов неистового Марра, мало что изменилось. Если бы тюркскому языку было уделено достаточно серьезное внимание, сколько бы мифов языкознания и историографии уступили место реальности и, может статься, гуманитарные науки еще на шаг приблизились бы к точным. Но пока индоевропеисты считают тюркские языки окраинными, поздними наречиями, провинцией индоевропейской империи, пока сами тюркологи не могут удержать свои портки без помочей преданного ученичества и без конца

[1] Марр Н. Я. Избранные работы, т. 4. Москва, 1937, стр. 184—186.

[2] Там же, стр. 144—145.

глухо и слепо повторяют оскорбительные истины благообразных учителей своих, мы будем блуждать по своему дому в черных повязках Фемиды, натыкаясь лбами на до боли знакомые углы.

ЮРТА И ЛУВР

Тюркское языкознание, будучи младшим детищем индоевропеистики, на первых порах послушно повторило цели и методы своей родительницы. Повторило и ошибки. Индоевропеисты давно отказались от некоторых из них. Тюркологи продолжают их развивать. Есть много общего в начальных периодах обеих наук:

1. С изучения языка памятников древнеиндийского письма (санскрита) началось индоевропейское языкознание. С изучения языка письменных памятников Орхона и Енисея началась тюркология.

2. Увлечение санскритом привело первых индоевропеистов к ошибочной теории, по которой санскрит объявлялся самым древним языком индоевропейской семьи, т. е. праиндоевропейским языком — основой, или по крайней мере очень близким к нему, и соответственно все нормы европейских языков, отличающихся от санскритских норм, считались искажением санскрита.

Так, Г. Бенфей и Фр. Бопп утверждали, что праиндоевропейский язык содержал всего три гласных (а, i, у), ибо всего три гласных было отмечено в санскритских текстах.

Позже (еще в XIX веке) с открытием закона палатализации было доказано (Коллиц), что гласных в праязыке было больше на две (е, о), которые потом (уже в санскрите) слились в «а». Это была первая победа научного метода над ползучим эмпиризмом начальной индоевропеистики.

Тюркским санскритом считается язык орхоно-енисейских памятников (VIII век). Развитием его — язык памятников восточного Туркестана (X—XI—XIII вв.). Сохраняются его нормы в языках современной огузо-карлукско-уйгурской группы (туркменский, азербайджанский, турецкий, узбекский, уйгурский).

Почти сто лет назад И. Грунцель высказал предположение, что первоначально в тюркских языках было три гласных (а, i, у). (Насколько живучи в тюркологии предрассудочные идеи, можно судить хотя бы по тому, что и сегодня у И. Грунцеля есть последователи. Так, М. А. Черкасский недавно, в 1965 году, писал, что система тюркского вокализма была треугольной (i, а, у), в орхонское время она стала четырехчленной (i, а, у, ӱ). Главным и единственным аргументом в пользу последней модели у М. А. Черкасского являются «данные орхонского письма». В орхоно-енисейском действительно всего четыре знака для обозначения гласных. Но еще В. Томсен установил (25 ноября 1893 года), что эти четыре знака в различных контекстах выражали 8 гласных звуков, которые были в языке того времени.)

Как видим, общего в начальной истории индоевропейского языкознания и тюркского было довольно много и совпадения буквальные. Но отличие в том, что линии дальнейшего развития индоевропеистики и тюркологии не совпали: первая продолжала полого восходить, вторая шла параллельно с земной поверхностью и в иных моментах почти сливалась с ней. Тюркология так и осталась начинающей наукой, падчерицей индоевропейского языкознания. В XX веке еще не появились имена, равные В. В. Радлову и В. Томсену. Она продолжает оставаться статистической, прикладной отраслью знания. За время после открытий Томсена ни одного фонетического закона, управляющего тюркскими языками, не было описано.

Десятилетиями в индоевропеистике шел спор о звуке «е». Как мы уже упоминали, Ф. Бопп и другие утверждали, что его не было в праязыке, так как нет в санскрите и в других индоиранских письменных языках. Законом палатализации было, наконец, установлено, что до санскрита «е» существовал и его вытеснил в санскрите «а». В тюркологии спор о «е» еще только начинается, так как в орхоно-енисейских памятниках «е» не обнаружен, и нет его в уйгурских письменах, следовательно, той гласной не было и в помине. Она появилась позже на основе «ə».

Философы Греции время от времени задавали себе вопрос: «А не путаю ли я причину со следствием?» Этот вопрос развивал философию и естественные науки Греции. Но тюркологам не пришла мысль попытаться хотя бы теоретически поменять местами эти две неизвестные (ä>e, e>ä) и посмотреть, что из этого последует. Это бы привело к объяснению многих неясностей, нелогичностей, беззакония тюркской фонетики и морфологии. Порой слишком правильная, освященная авторитетами предпосылка тормозит науку, а явно недисциплинированная, противоречащая всему зданию теории предпосылка неожиданно толкает науку вперед.

А. М. Щербак[1] реконструировал несколько сотен праформ (т. е. слов пратюркского языка). Ни в одной из них нет звука «е». Не только вокализмом, но и консонантными основами они слишком уж навязчиво напоминают формы орхоно-енисейские (иначе говоря, огузо-карлукские). Из современных языков образцом послужил туркменский. Если верить А. М. Щербаку, все тюрки в доисторическую эпоху говорили на чуть искаженном туркменском. В последние века они ушли от него и развились кипчакские языки и сибирские.

...Во многих современных тюркских языках существуют долгие гласные. Существовали ли они в пратюркском? Тюркологи XIX века отрицали такую возможность, считая, что это явление позднее. Е. Д. Поливанов (в 1924 году) привел довольно убедительные аргументы в пользу выделения первичных (или пратюркских) долгих гласных. Он отметил, что при восстановлении пратюркской долготы должны быть учтены туркмено-якутские соответствия. А. М. Щербак без оговорок принимает эту идею и метод. Действительно, туркмены и якуты расстались, видимо, давно. И если в их языках сохранились какие-то общие черты, то это, несомненно, черты древние. Иначе и не могло быть. И исходя из этой идеи А. М. Щербак восстанавливает праформы так: ыыр — худеть, уставать (якутское), аар (туркменское) — следовательно, в пратюркском было — аар; ыыс — работа (якутское), ыыш (туркменское), следовательно — ыыш (пратюркское); аас — переходить, переливать (якутское), ааш (туркменское), ааш (пратюркское) и т. п.

Вопрос о пратюркских долгих не может решаться столь решительно, ибо нельзя обойти молчанием аргументы против.

Прежде всего данные тюркского санскрита (орхоно-енисейские тексты).

[1] **Щербак А. М.** Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970. Монография А. М. Щербака — первая обобщающая работа на эту тему в советской тюркологии. Выводы ее могут иметь существенные последствия для дальнейшего развития тюркского языкознания, и то, что она не вызвала споров, может означать одно — результаты, к которым пришел А. М. Щербак, ожидаемы и согласуются с общепринятым взглядом на историю тюркских языков.

Древние индийские и иранские системы письма содержали знаки для долгих и кратких звуков, но не было знаков для обозначения мягких и твердых гласных. Ибо не было уже такого разграничения по качеству в тех языках. Орхоно-енисейское письмо уникальнейшее в своем роде. Оно, единственное из всех известных алфавитов, строго подразделяет буквы по принципу — твердые и мягкие. Ибо такое деление существовало (и существует) в тюркских языках, для которых письмо создавалось. Но нет знаков для долгих гласных и согласных. Если бы долгие были характерны для тюркских языков того времени так же, как, скажем, для иранских, то можно не сомневаться, что орхоно-енисейское письмо отразило бы это состояние. Можно с уверенностью утверждать, что во всяком случае огузо-карлукским языкам (к которым относится и туркменский) долгота в VIII веке еще не была присуща. Она появилась в поздний период. И причины этого появления очевидны. И странно, что лингвист-фонетолог не придал им должного значения. Причины эти в своеобразии истории огузо-карлукских народов.

Одним из главных недостатков индоевропейской теории было то, что индоевропейские языки рассматривались изолированно от общемирового глотогонического процесса. Индоевропейские языки якобы развились вне зависимости от тюркских, угро-финских и других. Новая теория Н. Марра была протестом против такой узости индоевропеистов. Но, к сожалению, его методы опорочили в сущности справедливую идею коренных связей мировых языков, которая сейчас частями развивается в ностратической теории. Тюркологи пока умудряются проводить тюркские языки по крутым склонам истории как слаломистов, не задевая флажков. Тюркские языки, оказывается, не испытывали никакого влияния индоиранских, семитских, угро-финских (хотя на словах влияние может и признаваться, но лишь крайне незначительное и позднее — как, например, воздействие таджикского на узбекский). К чему приводит этот неисторический подход к истории языка, видно на примере книги А. М. Щербака.

Огузо-карлуки только за последнее тысячелетие (обозримое наукой) претерпели смену нескольких культур и религий. Буддизм, манихейство, сирийское христианство, зороастризм, мусульманство. Каждая из этих религий приходила с письмом, искусством, бытом, этносом и языком. Индо-ирано-арабский фактор решающим образом сказался на культуре и способах существования огузо-карлукских народов. И индийский язык и письмо (брахми), и иранский язык и письмо (согдийское), и арабский язык и письмо не признают „е“ (заменив его «ə») и признают долгие гласные, т. е. именно эти признаки и отличают современные огузо-карлукские языки от кипчакских. Один только арабский мог за тысячелетие постоянного применения привить любовь к открытому «ə» и к долгим. И коран, и аруз (основной стихотворный размер персо-арабской поэзии) влияли на язык огузо-карлуков. Вот свидетельство азербайджанского поэта и ученого Расула Рза: «Столетиями в азербайджанской поэзии преобладал размер аруз — долгота или краткость звука лежит в основе этого стихотворного размера, имеющего 19 разновидностей. **Пользование этим размером нанесло большой урон азербайджанскому языку, засорив его множеством арабских, фарсидских слов и нередко исказив естественное звучание собственно азербайджанских слов»**[1].

Поэт Расул Рза признает, что арабская долгота есть искажение

[1] **Рза Расул.** Нарушение канонов. «Вопросы литературы», 1972, № 2. (Подчеркнуто мной.— О. С.).

«естественного звучания» азербайджанских слов. Тюрколог А. М. Щербак полагает, что эта долгота была присуща пратюркскому языку и, следовательно, всем тюркским языкам. И если некоторые из них (кипчакские) не признают ныне долгие гласные, то это свидетельство их позднего происхождения. Так привнесенный, чужой количественный признак стал под пером ученых основным, первичным. Этим самым существенно искажен взгляд на историю тюркских языков. (Долгота сибирских языков — якутского, тувинского, хакасского, киргизского — могла быть следствием влияния «буддийских» языков Монголии. Во всяком случае, исследовать вопрос происхождения тюркских долгих без учета названных факторов не представляется возможным.)

Кипчакские народы не приняли буддизма, они остановили иранцев (зороастризм) и арабов на границах Дешти-Кипчака и сдерживали их на протяжении многих веков. Контакты кочевников с индо-ирано-арабскими народами были достаточно незначительными по времени, чтобы язык испытал значительное воздействие. Сохранилась религия (тенгри), сохранился быт (кочевой), сохранилась культура, формы музыки и поэзии, сохранился и язык: «е» и «краткость». Лишь в последние века началось проникновение мусульманства в степь. И уже дает себя знать: появилось «ə» в казахском языке, появилась терпимость к некоторым искусственным долгим согласным (кетті, жетті, жатты). В орхоно-енисейских памятниках такие стыки согласных еще не признавались. Если при грамматических процессах необходимо было слияние «тт», они его избегали. Сравните бартым, алтым, уртым, кыртым, но тутдым (Куль — тегин), бітітдім (Тоньюкук). Огузо-карлуки ныне признают и искусственно создают долгие там, где они и не должны быть (саккіз, токкуз, етті, ашшы — из ашты, иссык — из ыстык), казахи еще чураются искусственного «лл», после «л» всегда другой согласный (колдар, кулдар, колдер) и даже Алла — алда, мулла — молда, по условному рефлексу, выработанному издавна. Сегодня казахи уже произносят мухаббат, махаммат, но в XIX веке долгий «мм» еще превращался в «мб» (Махамбет, Мамбет; тамма — тамба, танба; кумбес — кумбэс — из куммэс — могильник). Любопытно, что точно так же древние греки реагировали на семитский долгий согласный «м». Они заимствовали письмо у финикийцев вместе с названиями букв. «Л» называлась «ламмад». Греки превратили это чужое слово в «ламбда». Рефлекс «мб» ощущается в современных словах европейских «лампа», «шомпол», «кумпол» (купол) и др.

И едва ли в казахском эта реакция появилась недавно — скорее это результат инерции извечной, сейчас только-только подавляемой сближением с арабской традицией.

...Долгие звуки характерны и не для всех индоевропейских. В греческом и латинском они появились под влиянием семитских. В германских под влиянием латыни. Так готы, перенимая долгие гласные, преобразуют их в дифтонги аа>ай, уу>уй, ии>ий. Точно такой же рефлекс вызывали семитские долгие в некоторых несемитских языках древней Передней Азии. Например, в хурритском. Установить эту закономерность удается благодаря сохранности форм с долгим и дифтонгом. Практически каждая форма с долгим гласным имеет диалектный вариант с дифтонгом: ай-аа, ей-ее. И в кипчакских

языках дифтонг образуется на месте искусственных долгих, возникающих при морфологических процессах. Например, в казахском деепричастие настоящего времени создается от императива +а. Часто императив оканчивается на этот гласный, и прибавление форманта вызывает искусственный долгий а+а сойле — говори; сойле+е>сойлей — говоря. Борла — рисуй мелом, мели; борла+а> борлай — меля, рисуя мелом и т. п. Не зная эту закономерность и утверждая первичную долготу тюркских звуков, мы рискуем модернизировать древность. Заимствованные долгие в тюркских языках реализовали тремя формами:

1. долгий>дифтонг,
2. долгий>краткий,
3. долгий=долгий.

Третий путь стал нормой позже остальных двух и не для всех тюркских языков. Долгий как норма приходил в западнотюркские с кораном и арузом, в восточнотюркские — от монголов. И когда долгий станет нормой, первичные краткие могут произноситься уже как долгие в этих языках. Исключение: кипчакские языки признают только один долгий — у. Остальные дифтонгизируются. Но есть примеры в словаре, доказывающие, что и долгий «у» материализовался иногда дифтонгом: туу —1) родить, родиться, 2) праздник по случаю рождения. Сохраняется и вариант — туй, который принял на себя второе лексическое значение. Эти схемы мы учитывали при восстановлении праформ тюркских лексем.

К ТАБЛИЦЕ

Как хотелось бы начать статью о шумеро-тюркских контактах вот с этой страницы, спокойно, не растекаясь мыслию по грустной современности нашей, но, к сожалению, в тюркологии невозможно решить самый частный вопрос, пока хотя бы не поставлены проблемы самые общие.

Шумерский и тюркский сравнивали и раньше (Хоммель).

Две методологические ошибки:

1. Во что бы то ни стало стремились доказать генетическое родство.

2. Сравнивалось небольшое число слов, около десятка, из разных областей словаря.

Результаты: Хоммель осмеян. Его попытку приводят как хрестоматийный пример ненаучных выводов из ненаучного сопоставления. Правда, недостатки при этом указывались другие: он сравнивал с шумерскими примерами слова из разных тюркских языков, «а надо — праформы». И найденные им сопоставимые лексемы могли совпадать с тюркскими случайно, ввиду их малого количества.

Мы учитываем уроки поражения Хоммеля и предлагаем сравнивать не слова-одиночки из разных областей словаря, а **семантические гнезда лексем,** нарушая алфавитный порядок. Сгруппировав шумерскую лексику по классам и сопоставив с соответствующими группами тюркских терминов, я увидел, что наибольшее число соответствий падает на два класса: а) Бог, б) Человек.

Системность схождений и расхождений смысловых и формальных

исключала возможность случайных совпадений и во многих случаях доказывала зависимость, обратную той, которую я предполагал вначале: многие шумерские слова из этих двух классов были зависимы от тюркских. И притом, что еще более поразительно,— шумерские заимствования сохраняли диалектные особенности, которые сохранились в тюркских языках до наших дней и довольно подробно описаны. Это могло значить, что шумеры общались не с общетюрками и не с одним из тюркских племен, а с несколькими. И еще что можно заметить: контакты с тюрками были неоднократными. Есть «застарелые» тюркизмы и довольно «свежие», не успевшие видоизмениться.

Сопоставление семантических гнезд отвечало и на главный вопрос: родственны ли шумерский и тюркские языки?

Родственны, но не генетически.

Они родственны так же, как современные узбекский, дунганский, малайский, черкесский, урду, иранский, осетинский и арабский. Такое родство можно назвать **культурным.** Это языки одной культурной федерации, обусловленной одной религией.

Но следует различать понятия **древнейшее** культурное родство языков и **позднее.** Если во втором случае языки вступают в контакт уже обогащенные, полные на всех уровнях, потому заимствуют лишь культовую лексику (класс Бог) и отдельные термины культуры, то на древнейшем этапе культурного родства, когда взаимодействующие языки только формируются, следует ожидать диффузию языков более обширную. Заимствуется лексика классов — Человек, Природа, Культура (числительные и т. д.).

Тюркские языки, на мой взгляд, находились в состоянии древнейшего культурного родства с шумерским, древнего с монгольским и позднего культурного родства с арабским. Причем позднее культурное влияние не вытеснило окончательно результатов древнейшего, а как бы накладывалось на него, затушевывая, оттесняя в пассив, но, повторяем, не уничтожая. Это удивительное свойство языка (многоэтажность) проявилось в казахском термине «Алла-Тенгри», которым последние тюркские кочевники называют Единого, Неделимого бога (имя бога не искажается, термины религии — самый выносливый класс лексики в любом словаре).

Учитывая эти моменты, мы подошли к составлению таблицы неслучайных совпадений шумерского слова с тюркским. Должен заметить, что ущерб, нанесенный кладовкой моим шумерским записям, был столь значителен, что я отказался от романтической мысли дать полный шумеро-тюркский словарь. Работа по восстановлению утраченного заперла бы меня в московских и ленинградских библиотеках еще на несколько лет. И, признаться, все эти иглокопания мне уже достаточно надоели. Я по природе своей поисковик. Мне важно обозначить на карте маршрута точку возможного месторождения. И сдать бутылки с водой, содержащей частицы нефти, в лабораторию на анализ. А разведывать запасы и разрабатывать их — не наше дело. И, кажется, выход был найден. Чтобы усилить эффект совпадений, я намеренно ограничил шумерский материал той лексикой, которая приведена в статье И. М. Дьяконова — ведущего советского специалиста в области мертвых языков Передней Азии. Сделать меня это заставил вывод, которым кончается статья «Шумерский язык»: «При нынешнем состоянии наших знаний ни материал грамматических формантов, ни материал таких слов основного словарного фонда,

как числительные, термины родства, названия частей тела и т. п., не обнаруживают соотношений с аналогичным материалом других языков. Возможно, это связано с тем, что первоначальная фонетическая система шумерского языка оказывается сильно разрушенной и сглаженной под влиянием ассимиляции гласных и утери конечных звуков. Поэтому в настоящее время шумерский язык приходится считать изолированным и родство его с каким бы то ни было другим языком — неустановленным»[1].

[1] Дьяконов И. М. Языки древней Передней Азии. М., 1969, стр. 84.

Даже состояние нынешних знаний и лексический материал, содержащийся в статье И. М. Дьяконова, **позволяют установить культурное родство шумерского с ныне живыми тюркскими языками.**

И. М. Дьяконов использует в качестве примеров немногим более ста шумерских слов. Я выбрал 60, хотя можно было бы 50 или 80. Почему остановился на этом числе? Мера высшего счета в Шумере. Предельные числа считались —60, 60×60, 60×60×60 и т. д. Оттуда идет традиция шестидесятеричного счета: минута —60 секунд, час — 60 минут, круг —360 градусов и т. д.

Поддержим эту символику, может, повезет. Пусть за первыми поисковыми 60-ю словами другие найдут в 60 и в 360 раз больше, когда исследуют словарь полнее. Но мое убеждение — чтобы узнать вкус моря, не обязательно выхлебать Тихий океан, достаточно нескольких соленых брызг, занесенных порывом ветра на лицо.

60 СЛОВ

(Краткая таблица сопоставления шумерской лексики с тюркской)

Примечания. 1. Сравнению подлежит в основном лексика классов Бог и Человек. Провести резкую границу между классами не всегда удается. К какому, например, отнести термин рода, названия земли, горы, солнца? Древним человеком обожествлялась тайна происхождения человека, и он, пытаясь понять ее, поклонялся и земле производящей, и огню, и женщине-матери: люди и явления признаются потомством богов.

2. Шумерские слова расположены не в алфавитном порядке, а семантическими гнездами.

3. Звездочкой обозначены праформы. В шумерском разделе одной звездочкой помечены праформы, предложенные И. Дьяконовым, двумя — наши.

4. В тюркском разделе в скобки помещены варианты форм, зарегистрированные в живых тюркских наречиях, без помет, указывающих на ареал или название наречия (за редкими исключениями). Пометой «общетюркск.» обозначены слова, отмеченные в большинстве тюркских языков.

5. В шумерском разделе в скобках даются варианты написания слова.

6. Для удобства читателя сопоставляемые термины воспроизводятся современной кириллицей. Звуки, отсутствующие в русском, передаются буквами с диакритическими значками.

ä — мягкий «а»
ö — мягкий «о»
ÿ — мягкий «у»

Класс Человек

	Шумерский	Тюркские
1	АДА отец	АТА (АДА) отец (общетюркск.)
2	АМА мать	АМА (АБА, АПА, АНА) мать (общетюркск.)
3	АМАР детеныш; теленок. В аккадском МАР сын	*МАРА (МАЛА, БАЛА, ПАЛА) дитя. В сложных словах сингармонировалось НИ — МÄРÄ внук; ЩЕ — БÄРÄ правнук.

	Шумерский	Тюркские
4	ТУ родить	ТУУ (ТУГУ, ТУВУ, ТУРУ) родить (общетюркск.) ТУ (ТУГ, ТУВ, ТУР) роди; родись.
4а	ТУД родить	ТУДЪ (ТУГДЪ, ТУВДЪ, ТУРДЪ) родила; родился.
4б	ТУМ принесение	ТУЪМ рождение; принесение потомства (общетюркск.)
4в	ДУМУ дитя, потомство	ТУМА дитя; потомство; поколение (общетюркск.)
5	ТИР (ТИЛ, ТИ) жизнь	ТИРИК (ТИРИ) живой (общетюркск.) ТУРУК живой ТУРУ жить ТУР живи.
5а	ТИР (ТИЛ, ТИ) стрела	ТИРИК оружие, снаряд, стрела (сагайский). В остальных языках корень ТИР образует громадное гнездо слов со значениями — острое; колоть; пронзать;низать; царапать и т. п.
5б	ШИ (ЗИ) жизнь; душа **ТИ (ДИ)	ЩИ (ЧИ, ДЖИ, ЗИ) суффикс, обозначающий человека (общетюркск.)
6	КИР-СИКИЛ девственница	СИЛИК КЪЗ девственница. Устойчивое сочетание в древнетюркском поэтическом языке.
7	СИКИЛ чистое **СИЛИК	СИЛИК чистое (древнетюркск.; турецк.) *СУЛУК чистое.
8	ЕРЕН рядовой воин; работник	ЕРЕН (ÄРÄН, ЕРÄН) рядовой воин; последователь; адепт; воин; мужчина (древнетюркск., турецкий, уйгурск. и др.). Образование: ЕР — следуй за кем-нибудь. ЕРЕН — тот, кто следует (существительное в форме причастия прошедшего времени. Продуктивная форма).
9	ЕРЕ (ЕР) раб. Развитие предыдущего слова	ЕР воин; мужчина; герой (общетюркск.)
10	ШУБА (СИПА) пастух	ШУПАН (ЧУБАН, ЧОБАН, ЧАБАН) (общетюркск.)— пастух.
11	АБ дверь	ÄБ (АБ, ЕВ, ЕБ, ЎЙ) дом (общетюркск.)
11а	ЕШ дом. Выражается тем же иероглифом, что и предыдущее слово.	ЕШИК (ЕСИК) дверь (общетюркск.)
12	УГУ (УГ) род	ЎГЎШ род (древнетюркск.) УГ род, семья, мать (алт.)
13	РУ воздвигать; бить.	УРУ воздвигать; строить; бить (общетюркск.)
14	УРУК крепость; город; община	УРУК воздвигнутое; *город; *население города; племя.
15	ГАГ всаживать	КАК (ГАК) прибивай (общетюркск.)
16	ТАГ прицеплять	ТАК (ТАГ) прицепляй; прикалывай; присоединяй (общетюркск.)
17	ШУ рука	УШ (УС, УУШ, УУС) горсть (общетюркск.)

	Шумерский	Тюркские
17а	ШУ-ТАГ-ТИ схватил	УШ-ТА-ДЫ схватил; поймал; держит.
18	КАР похищать	КАРМА (КАРПА) грабеж (древнетюркск.) от *КАР рука; хватай. В древнетюркском КАР, КАРЫ часть руки; КАРШ пядь, расстояние между пальцами, мера длины.
19	СИР (СУР) ткать	СЕРЎК (СЕРЎ) ткацкий станок СЕРМАК ткань (древнетюркск.) Следовательно, *СЕР — тки; сравните с казахск. СЫР шей, стегай; СЫРМАК стеганка; стеганый ковер.
20	ШАБ середина	ШАБ (ЧАП, САБА) разруби (общетюркск.) ЧАБАР середина (уйгурск.)
20а	ШАГ середина. Диалектн. вариант предыдущ. слова.	ШАК (ЧАК, САК)[1] расколи; расколи пополам; равная часть; мелочь (общетюркск.). Диалектный вариант предыдущ. слова.
21	САКАР пыль, песок	ЧАКЫР песок, мелкие камешки (турецк.) ЧАКА песок (чагатайск.) *ЧАК ЙАР мелкая земля; колотая земля.
21а	ЗАГ сторона, бок	ЖАК (ЙАК, ДЖАГ, ЗАК) сторона; бок (общетюркск.). Вариант предыдущ. слова.
21 б	ЗАГ-ГИН приближаться	ЖАКЫН (ЙАКИН, ЗАКИН) близко.
22	ТИБИРА медник	ТЕБИР, (ТЕБЕР, ТИБИР, ДЕБЬР, ТАБИР, ДӒБИР, ТЕМУР, ТЕМИР, ТОМОР, ТӦМУР, ТОМУЗ) железо. Значение термина стадиальное. Буквальное значение «ковкая земля», т. е. вещество, поддающееся ковке. Этим словом могли первоначально называть любой ковкий металл. В некоторых индийских языках еще означает медь. Например, в бенгальском «ТОМОР» медь.
23	ЗАБАР медь; бронза * ДАБИР	См. предыдущее слово.
24	ЕД проходить; выходить	ЎТ (ОТ, ИД, ЕД, ЕТ, АТ) иди, проходи, переходи (общетюркск.) Протезированные формы: КЕТ (ГЕТЬ, КИТ) уходи (общетюркск.).
25	ГУ голос	КЎ голос; звук; мелодия (общетюркск.)
26	ГУЛШЕ радостно; весело	КЎЛИШ (ГЎЛЎШ) смех; радость (общетюркск.) КУЛУ (ГУЛУ) смеяться; издавать голос, звук.
27	ГЕШТУКА слушающий	ЕШТЎГӒН (ЕСТЎГӒН, ЕСТИГЕН) слушающий (общетюркск.) ЕШ (ЕС) сознание ЕШИТ (ЕСИТ) слушай ЕШТУ (ЕСТУ) слушать.
27а	ГЕШТУК ухо	ЕШТУК то, что слушает. В современных языках принят другой термин.
28	ЕМЕК язык	*ЕМЕК (ЕМУК) язык «Е»— есть, ЕМЕК —1) то, чем едят; 2) ЕМУ сосать грудь; ЕМЕК — еда (турецк.)

[1] Глаголы подобного типа первоначально описывают один удар, делящий предмет надвое. Поэтому от них и образовались существительные, означающие центр, половину, середину. Сравните УРДЫ бил; УРТА середина, центр или: ЖАРДЫ расколол; ЖАРТЫ половина. В шумерском эти существительные нечленные.

	Шумерский	Тюркские
29	БИЛЬГА предок. Встречается в имени эпического героя Бильгамеша (в аккадском варианте — Гильгамеш). Переводят имя как «Предок-герой».	БИЛЬГА мудрый (древнетюркск.) Образование: БИЛЬ знай; БИЛИМ, БИЛИК знание; мудрость; наука; БИЛЬГАН знавший; мудрый. В древнетюркских текстах часто встречается в составе имени эпических предков или в титулах: БИЛЬГА БЕК («мудрый бек») БИЛЬГА-КАГАН («мудрый каган) и др.
30	МЕ я	МЕН (БЕН, БИН, МӒН, БӒН, я. Многие тюркские лексемы отличаются от шумерских наличием носового окончания. В данном случае, надо полагать, это явление позднейшее. В некоторых алтайских «н» в местоимениях появиться не успел. Сравните монгольское БИ я.
31	ЗЕ ты	СЕН (СӒН, СИН) ты. В монгольском СИ ты.
32	АНЕ (ЕНЕ) указательное местоимен. «то, та, тот»	ӒНЕ указательное местоимение «то, та, тот».

Личные местоимения множественного числа в шумерском не обнаружены. В тюркских формах угадывается искусственный способ получения множественного числа. Об этом писал еще С. Е. Малов в известных примечаниях к переводу орхонского текста в честь Куль-Тегина.

Он так объяснял происхождение местоимений **«БИЗ»** мы; **«СИЗ»** вы:

БИ + СИ = БИЗ (я + ты = мы)
СИ + СИ = СИЗ (ты + ты = вы)

Если это так, то формы множественного числа «складывались» в ту эпоху, когда еще не появились носовые окончания в местоимениях единственного числа. То есть праформы тюркских личных местоимений первого и второго лица единственного числа могут оказаться весьма приближенными к шумерским.

Класс Природа

	Шумерский	Тюркские
33	АМАР теленок, детеныш	МАРА время, в течение которого животное считается детенышем (турецк.) МАРАА (МАРКА) ягненок (общетюркск.) ПАРУ — теленок (чувашск.)
34	УДУ баран; солнечное божество; священный	УДУК (ЫДУК) священный (древнетюркск.)
35	ГУД — бык	УД бык; рогатые животные (древнетюркск.) ГУДАА бык-олень (тофаларск.)
36	КУНКАЛ курдючный баран	КОНКАЛ олененок (тофаларск.) Северные тюрки могли перенести термины овцеводства на оленей. Ибо этот термин представляет собой сложное слово, состоящее из КОН — курдюк (казахск., уйгурск. и др.), КАЛН — толстый, большой. Вероятно, так называлась особая порода овец.

	Шумерский	Тюркские
37	УЗУГ (УЗУ, УЗ) водоплавающая птица	ИЎЗЎК (ЖЎЗЎК) водоплавающее (общетюркск.).
38	ГАШ птица	КУШ (КУС) птица, водоплавающая птица (общетюркск.). В сложных словах «ГАШ»,«ГАЙ». Например: карлыгаш — ласточка («черноватая птица»), торгай — воробей («гнедая птица»), карга — ворона («черная птица»). Можно еще сравнить с КАЗ (ГАЗ) гусь (общетюркск.)
39	ГИШ — дерево, заимствовано в аккадск. языке в форме ИШ — дерево	ЕГИШ (ЕГИС, ӒГӒШ) культурное растение; злак (казахск., уйгурск.). Существительное, образованное от глагола ЕГ сажай, сей, закапывай. Эпоха, когда главным культурным растением становится фруктовое дерево, могла отразиться значением, утраченным ЕГИШ (АГИШ) фруктовое дерево, фруктовый кустарник. В дальнейшем форма огрубела и семантика обобщилась: 1) АГАШ, АГАЧ, ЫГАЧ — дерево (западнотюркск. ареал). В сложных словах — ГАШ, ГАЧ, ГАЙ. В балкарском и ногайском «АГАЧ» лес. 2) ЫЙАШ, ЙЫШ, ЙЫС лес (сибирский ареал). 3) ЧЫШ, ЧИС лес (алтайский).
40	ЕГЕР низ	ЕГЕР унижение, уничтожение (казахск.). Отдельно уже не употребляется, только со вспомогательным глаголом во фразеологизме. ЕГЕР КЫЛУ —«уничтожить». Буквально «сделать егер».
41	ЕДЕН степь	ЕДЕН пол в юрте (казахск.) АДАН низ юрты; основание (чагатайск.)
42	ЕРЕН кедр Омоним слова ЕРЕН рядовой воин; работник.	ЕРЕН ясень; клен (уйгурск.) Омоним слова ЕРЕН рядовой воин, последователь. Образование: ЕР следуй; ЕР тай, сочись. ЕРЕН следовавший; последователь. ЕРЕН таявший, сочный.

Видимо, растения, исходящие смолой, соком, и назывались ЕРЕН. Переход значений «хвойное дерево»—«лиственное» подтверждается примерами из разных языков. Например: лат. ЕБУЛУС — ель, ЕБУЛУМ — бузина. В русском «ель», «елка» и диалектные «елха», «ельха»— ольха; «еленец»— можжевельник.

В казахском ЕРЕН дал термин ЕРМЕН — род полыни. В уйгурском часто выпадает плавный перед другим согласным: ЕМЕН — род полыни. Казахи заимствуют сокращенный термин в новом значении ЕМЕН —дуб.

Турки образовали название кедра от того же корня, но другим суффиксом существительного: ЕРС, ЕРЗ — кедр.

Эти формы получили большое отражение в славянских языках, как и предыдущая ЕРЕН.

43	КУР гора	КУР воздвигай (общетюркск.) Вариант слова УР. КЫР горный хребет; горное плато (общетюркск.). КУРА (КОРА) стена; пространство, обнесенное стеной. КЎР (КӦР) могильный холм.

	Шумерский	Тюркские
44	КИР земля	КИР грязь; глина (общетюркск.) ЙИР (ЙЕР, ЙАР, ЖЕР, ДЖЕР, ЗЕР, ДЬЕР) земля.
45	АШ черта, единица	АШ (ЕШ, ЕС, ИШ) режь, полосуй. Протезированные формы: КЕШ (КАС, КЕС, КИС) режь, черти ПЕШ (ПАС, ПИШ, ПИС) режь, черти.
46	ИШИ прах, пыль, песчинка. Заимствовано аккадским 'ИШ малое, самое малое, атом.	ИШ (ЕШ) самое малое, атом (общетюркск.) КИШИ (КИЧИ) маленькое (общетюркск.) ПИШИ (БИЧИ, БИШИ) маленькое (диалект.)
47	ДИЛИ черта, единица.	ТИЛИК (ТИЛИ, ДИЛИК, ДИЛИ) черта, полоса (общетюркск.) Образовано от ТИЛЬ (ДИЛЬ) царапай, полосуй.
48	ДЕШ точка, единица[1].	ТЕШИК (ДЕШИК, ТЕСИК) точка, отверстие (общетюркск.). Образовано от ТЕШ (ДЕШ) прокалывай, делай точку.
49	УШ три	Ўш (ЎЧ, ЎС, ИС) три (общетюркск.)
50	У десять	УН (ОН) десять (общетюркск.)
51	УШ-У 30[2]	Ўш-УН 30 (сохранилось в алтае-сибирском ареале).
52	ЕН высший	ЕН высший; предельный; ширина; круг.
52а	КЕН широкий	КЕН широкий (общетюркск.)
52б	КЕНА (КИНА), истина, истинный	*КИН истина, истинный. В современных представлены палатализированные формы ШИН (ЧИН) истина, истинный
53	УЗУК длинный, высокий	УЗУН длинный (общетюркск.). УЗАК длинный (казахск.).
54	ТУШ (ШУШ) опуститься, сесть	ТЎШ, (ТЎС) опуститься (общетюркск.)
55	УД солнце, день	УТ (ЎД, ӦД) полдень, время (древнетюркск.)
55а	**УД огонь	УД (УД, ОТ, ОД) огонь, (общетюркск.)
56	УДУН очаг	УТУН (УДУН, ОТУН, ОДУН, ОТЫН) дрова, топливо (общетюркск.)
57	УДУ солнечное божество, священный	УДУК (ЫДУК) священный (древнетюркск.)
58	ДИНГИР (ДЕМЕР) бог, небо.	ТЕНГИР (ТЕГРИ, ДӒНГИР, ТЕНИР, ТӒНИР)— бог, небо (общетюркск.). В чувашском ТЕНГИР — море.
	ТИНГИР, ТИГИР название реки.	В остальных тюркских языках ТЕНГИЗ (ТЕНИЗ, ДЕНИЗ, ДАНГИЗ) море; большая река. Переход значений небо/море возможен и подтверждается примерами из языков. Чередование чувашского «р» с общетюркским «з» системно.

[1] Число «один» в разных надписях выражается словами АШ, ДИЛИ, ДЕШ.

[2] Тюркские числительные первой десятки почти все заимствованы из индоевропейских языков. Не совпадают с индоевропейскими только три числительных ПИШ (БИШ, БИР)— один, УШ (УЧ)— три, УН (ОН)— десять. Они, я полагаю, сохранились как наследие прототюркской эпохи.

	Шумерский	Тюркские
59	НАМ судьба. Буквально НА — МЕ что (есть) это?	НӒ — МӒ что (есть) это? (общетюркск.)
60	ДУБ глиняная таблица; документ.	ТУП жженый кирпич (турецк.)

История этого слова не вмещается в графу таблицы. Назовем в этой заметке некоторые факты.

Шумерское слово восходит к старошумерской форме **ТУП. На этом этапе заимствовано аккадцами ТУПП — глиняная таблица, письменный материал. Попадает и в другие языки древней Передней Азии: ТУППИ (эламский), ТУППИ (хурритский) и др.

В европейских древних языках отражается слово в форме «ТИПУС»— оттиск, печать (латинский), ТИПОС — оттиск (греческ.) Чередование У/И. Откуда в западноевропейские «ТИПЕ»— печать, оттиск, прообраз, тип, изображение (франц.), «ТАЙП» (TIPE)— печать; печатная машина (англ.).

Слово участвует в новообразованиях — типография, телетайп и др.

В тюркских языках с другой огласовкой: ТАПУ документ (турецк.), ТАП оттиск (чагатайск.), ТАПЛЫ, ТАБЛЫ то, что имеет оттиск, печать. ТАВЛА — игральные кости (турецк.). Форма глиняных таблиц сохранилась в словах ТАБЛА поднос, все плоское (турецк.), ДАБЛА поднос (крымско-татарск.), ТАБА сковорода, глиняное плоское блюдо (казахск.), ТАБАК широкий лист, поднос, блюдо, плоскость, раскатанное тесто; лист бумаги; растения, имеющие широкие листья — лопух, подорожник, табак (общетюркское).

Прошли тысячелетия, менялись системы письма, но первый письменный термин сохранялся.

Следует для размышления привести и другие европейские термины, приближающиеся по форме и значениям к приведенной группе: ТАБУЛА доска, таблица (латинск.), ТАБЛА доска, таблица (народнолатинск.), ТАБЛА доска (среднегреч.). Оттуда западноевропейск.: table — стол (англ.), tabel — таблица (голланд.), tafel — доска, таблица, стол (нем.).

В славянских: ТАВЛИЯ доска (серб.), ТАБЕЛА таблица (польск.), ТАВЛИНКА берестяная табакерка (русск. диалектн.), ТАВЛИЯ шахматная доска (древнерусск.).

В современном русском литературном языке: ТАБЕЛЬ, ТАБЛИЦА, ТАБЛО, ФАБУЛА, ТАВРО, ТИП и т. д.

Человечество не забыло уроки Шумера. И даже форма глиняных таблиц (плоские «кирпичи»), и даже материал (глина обожженная), и даже изображения на них (таблицы были разлинованы вертикально)— все отразилось в слове. Предки современных европейских и тюркских народов видели шумерские обожженные глиняные книги и сами использовали некогда великое изобретение шумеров.

Позже тюрки попробовали переназвать глиняную таблицу и создают сложное слово «КИР-ПИЧИК»—«глиняная книга».

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

1. Таблица дает основание говорить о том, что шумерская лексика сопоставима с тюркской. Совпадения форм и смыслов слов — системны и потому не случайны.

2. Примеры свидетельствуют о тесном, продолжительном взаимодействии рассматриваемых языков. В некоторых случаях очевидна зависимость шумерских лексем от тюркских.

а) Сопоставление с тюркским материалом может помочь в восстановлении картины шумерского вокализма, неточно переданного древнесемитскими силлабариями: аккадское письмо не имело знаков для передачи мягких гласных. Таблица позволяет ставить вопрос о наличии в шумерском оппозиции звуков по качеству: у — ў, а — ä. Диалектные формы туш-шуш — опускаться — подтверждают нашу мысль. Согласные т, д палатализуются лишь перед мягкими гласными. Сравните в шумерском ті-ші — жизнь. Наличие варианта «зі» утверждает существование предшествующей диалектной формы — ді. Термин «забар»— медь, вероятно, восходит к дäбір, соответствующий тюркскому — тäбір. Схема шумерского вокализма нам представляется следующей: а — е, у — ў, і. Гласному заднего ряда «а» всегда противопоставлен «е» и изредка (вероятно, диалектный) — «ä» (вопреки мнению, принятому в тюркологии, что «е» в тюркских языках появился значительно позже «ä»). Гласному у — всегда противопоставлен ў, реже — і. Звуки о — ö в шумерском не представлены, так же как и «ы» (ъ)».

б) Было ли шумерское слово сингармоничным, пока трудно сказать определенно. Но стремление гармонизировать слово если не по качеству, то хотя бы по огласовке наблюдается. Шумеры стремятся «округлить» слово, т. е. насытить консонантную структуру одним гласным: дінгір, сікіл, удун, амар, думу, діріг, ерен, забар, сакар, емек, ділі, узуг, урук и т. п. Причем в этот процесс вовлекаются, вероятно, только заимствованные слова с неясной морфологической структурой, воспринимаемые как монолиты (тума — думу, тенгір — дінгір, табір — дібір и т. д.).

В то время как собственные, этимологизирующиеся образования не округляются — енші, енкі, угкен, кена, шутаг, ібіра и др. Эта закономерность может косвенно служить диагностическим признаком, определяющим заимствование (хотя есть отдельные исключения, когда заимствованное слово сохраняет первичную огласовку — гештук. Возможно, вошло в язык поздно и не успело округлиться. Как и шуба, сіба — пастух). Искажение первичной огласовки (ассимиляция гласных) существенно изменяет облик шумерского слова, и без сравнения с иноязычным материалом шумерские праформы восстановить невозможно.

в) Еще одна особенность, мешающая восстановлению шумерских праформ,— утрата конечных звуков. Чаще всего согласных. Разновременные письменные источники в редких случаях позволяют реконструировать первичную форму (узуг-узу-уз), но в большинстве случаев дошли лишь последние, разрушенные варианты. И тогда приходится гадать, каким же был утраченный звук?

Некоторым тюркским языкам (в частности, кипчакским) так же свойственна утрата конечного согласного. Сравните, например, отношения огузских и кипчакских лексем: сулук-сулу — чистый, красивый; серук-серу — ткацкий станок; табак-таба — плоское блюдо; бураук-бурау — сверло, бурав; тірік-тірі — живой.

В кипчакских утрачивается формант «к» системно, потому что его вытесняет синонимичный суффикс — ма, образующий существительное от первичного глагола. Морфологическая схема «инфинитив+к=существительное», некогда очень продуктивная во всех тюрк-

ских языках, заменяется схемой менее сложной «императив+ма=существительное».

Если в текстах орхоно-енисейских надписей торжествует формант «к» (батма — топь от бат — топи, кажется, единственный пример другой схемы), то в современных кипчакских языках ма уже подавляет к. Последний почти не осознается как формант. В шумерском избавление от конечного согласного вызвано, видимо, другими причинами не грамматического и не фонетического, а скорее структурного свойства. Хотя сопоставление показывает, что теряется чаще всего тот же звук — к/г. Ділі — тілік; узуг — узу — уз — йузук; еш — ешик; еме — емек; уду — удук, ыдук; дірі — діріг; ур — урук; угу — угук. Но есть и другие, правда, поздние примеры: кі — кір, суба — субан, е — еш, а — ад и т. д.

Искажает облик слова и чередование гласных у/і. Особенно заметно оно, когда встречаются обе диалектные формы: шуба-сіпа — пастух, сур-сір — ткать. Это пример механического чередования. Но порой дубль входил в общешумерский как самостоятельное слово с близким значением. Так, не случайно, мне кажется, соседствуют кур — гора, кір — земля (оба слова выражались одним знаком), угу — темя, ігі — глаз. Механическое чередование у/і можно отметить и в прототюркских. Сілік — чистый, происходит от сулук — чистый. Шумеры заимствуют уже «готовую» форму и метатизируют сікіл — чистый. Другой пример: тірік —1) живой, 2) жизнь; происходит от турук — то же. Шумеры получают — тір — жизнь. (Этимология: туру — рождаться, жить+к — формант существительного.)

д) Системные фонетические расхождения.

Шумерские звонкие согласные, как правило, соответствуют тюркским глухим:

т) тенгір — дінгір	к) терік — діріг
ут — уд	так — таг
утун — удун	как — гаг
тума — думу	сік — сіг
ата — ада	шак — шаг
терік — діріг	йўзўк — узуг
тілік — ділі	
тäбір — дäбір, дібір	
іт — ід	

Хотя в шумерском отмечаются и формы с неозвонченными — ту, тума, тір, туш, кур, кір, урук, гестук, емек, кен. Но их значительно меньше.

Язык сохраняет примеры первичных (глухих) и вторичных (озвонченных): тума — думу — диалектные формы успели разойтись в значениях. Но ті-ді — жизнь, как ші-зі — жизнь. Диалектные формы.

е) Можно сказать, что фонетические отличия шумерского и тюркских языков не столь значительны, чтобы всерьез говорить о системных расхождениях. При сравнении этих языков важнее схождения. Даже колебания синхронны: у/і, чередование б/к, г в конце слов, появление «семитского» фарингального протеза (кур, кір) не синхронно только в одном случае — гештук.

ж) Таблица показывает, что живые тюркские языки без изменений сохраняют протошумерские формы, которые в шумерском уже развились и частично разрушились. Если бы шумерский язык жил до наших дней, то процесс разложения слов мог продолжаться до такой степени, что сравнить его словарь с тюркскими было бы уже действительно невозможно.

Тюркские слова сохраняют моложавость, шумерское выглядело бы древним стариком. Оно уже в 1 тысячелетии до рождества Христова было внешне старше отца.

а) По шумерским материалам можно судить о древности тюркской словообразовательной схемы «инфинитив+к=существительное»:

уру — строить; урук — город;
йўзў — плавать; йўзўк — водоплавающая птица;
ешту — слушать; гештук — ухо;
туру — жить, рождаться, турук (тірік) — живой.

Шумеры заимствовали готовые термины, не осознавая морфологической структуры. Постфикс в шумерском малозначим. Словообразование идет за счет префиксов. И потому легко утрачивались конечные звуки.

б) Сохраняется пример тюркской схемы «императив+ма=существительное»: ту — роди, тума — потомство (думу).

в) Уже действенна схема «императив+ен (ан)=причастие прошедшего времени»: ер — следуй, ерен — следовавший, рядовой.

г) Существительное могло быть и нечленным. Основная форма глагола (императив) выступала и в роли существительного. Остатки этого явления сохраняются в живых языках. Например, в казахском:

той —1) насыщающийся, 2) пир;
уй —1) воздвигай, нагромождай, 2) дом.

(Сравните русские примеры: лай, вой, цель, строй.)

В дальнейшем существительные образовывались суффиксами:

уйу — нагромождать, уйук — куча, уйма — куча.

В шумерском представлены оба случая: ур — город, урук — город. Близость глагола ру — строить — позволяет предположить, что инфинитив выглядел в виде — уру, а императив — ур.

д) Поэтому разнятся грамматическими значениями некоторые тюркские и шумерские лексемы:

шаг (шаб) — середина (шумерское);
шак (шаб) — раскалывай, разрубай пополам (тюркское);
сік — удар (шумерское), сік (сўк) — бей, режь, пори (тюркское);
кур — гора (шумерское), кур — возвышай (тюркское);
ур — город (шумерское), ур — строй (тюркское);
еш — дверь (шумерское), еш — вырезай отверстие (ешік — дверь, дыра);
тір — жизнь (шумерск.), тір — живи, тірік, тірі — живой (тюркское).

е) Шумерскому слову свойственна структура «префиксы+корень», тюркское слово строится по другому чертежу — «корень+суффиксы». И потому различаются конструкции, составленные подчас из одних кирпичей: нікі дінгір — принадлежащий богу (шумерское), тенгір нікі — принадлежащий богу (тюркское). В тюркском нікі — формант, не имеющий самостоятельного лексического значения. В шумерском

нікі выступает как отдельная лексема со значением «вещь» и как формант принадлежности.

ж) Синтаксическая структура модели должна повторить лексическую. В древних языках слово строилось как предложение; оно и было, по сути, предложением.

Тюрки заимствуют синтаксическую модель «определение+определяемое» (т. е., иными словами, «служебное слово+корневое»), а в шумерском словаре мы обнаруживаем прототюркскую модель «определяемое+определение» (т. е. «корневое слово+служебное»). Сравните: «уг — кен»— народное собрание («племя — широкое») — прототюркская структура, сохраняющаяся в шумерском. И напротив, «кен — уг» (тоже «широкое племя») — шумерская структура в тюркском. Или: кір — сікіл —«девушка чистая», сілік къз —«чистая девушка».

з) Структуры «корень+суффикс» в шумерском случайны.

Некоторые шумерские падежные окончания поддаются сравнению с тюркскими. Например, дательный падеж —«ра». В текстах орхоно-енисейских памятников «ра» еще продуктивен.

Большинство падежных показателей в шумерском разрушены и не твердо опознаны исследователями. Так, формантом направительного падежа считают «да», а отложительного — тан. В соседнем территориально и во времени языке (хурритском) обнаружены многие точки соприкосновения с шумерским. При восстановлении облика шумерских формантов важны показания языков взаимодействовавших. В хурритском «да»— местный падеж, «дан»— отложительный (т. е. антиместный). Эти два падежа — самые древние и в системе алтайских языков. Сравните: «да»— местный (общетюркский), «дан»— отложительный (общетюркский).

Итог. Не все сопоставления могут оказаться убедительными; дальнейшие исследования, вероятно, докажут случайность некоторых совпадений, но, в основном, материал, на мой взгляд, подтверждает гипотезу **культурного родства шумерского и прототюркского языков.** Они имеют общий пласт культовой лексики.

Главное, чего мы хотели достичь: эти образцы — первые зыбкие следы — могут ориентировать на более полное сопоставительное изучение тюркских языков и шумерского. Эта задача важна для тюркологии, которая пока не нашла ни одного древнейшего источника для сравнения, и не ищет, ибо свято верит в заверения учителей, утверждающих невозможность таковых.

ЗАКОН ПЕРЕСТРОЙКИ СЛОГА

(Размышления, а не выводы, несмотря на категоричность суждений)

1. Прежде чем приступить к сравнению словарей, вероятно, следовало бы расшифровать формулы слога взятых языков. Системы «гласный — согласный» (закрытый слог), «согласный — гласный» (открытый). Условно пометим их «ГС» и «СГ».

2. Языковая инерция стремится перестроить структуру чужого слога при заимствовании. **В тюркских языках сильна тенденция к закрытию слога. В шумерском есть стремление открыть слог.**

3. Механика процесса перестройки чужой структуры проявляется следующим образом.

Попытка превратить закрытый слог в открытый приводит к следующим результатам:

а) появляется протетический согласный перед гласным. Формула ГС превращается в СГС.

Появление протеза вызвано структурными, а не фонетическими причинами.

б) В дальнейшем формула СГС стремится перейти в СГ, с отпадением конечного, базового согласного. Так протез становится корневым согласным. Эта схема объясняет тайну отпадения конечных согласных в шумерском слове.

Сравните: тюркское «уд»— бык заимствуется шумерами и преобразуется в «гуд»— бык. В позднешумерском превращается в «гу». (Если бы памятники не сохранили промежуточного этапа, то сравнение «уд» и «гу» мало бы что дало.) Фонетическими причинами эта метаморфоза не объяснима. На такую окончательную перестройку слога уходят тысячелетия. В большинстве случаев языки ограничиваются первым этапом, оснащаются протезом.

в) Закрытый слог открывается и другим способом: структура ГС превращается в универсальную, обоюдную — ГСГ, т. е. появляется протетический гласный звук.

В шумерском эта схема была активней предыдущей. Некоторые слова — ама, ада, уку, ушу, уду, узу, ігі, угу — могли произойти именно таким образом.

г) И, наконец, закрытый слог в односложном слове мог открываться, предельно разлагаясь, например: «е»— дом, «а» — отец. Но таких примеров немного.

д) Шумерский язык содержит некоторое количество слов закрытосложных: «ен»— высший, «ан»— небо, «уд»— солнце, которые сохранились, вероятно, благодаря религиозной традиции. Термины культовые более устойчивы.

Если направление заимствования многосложного слова бывает легко проследить (по морфологической схеме), то с односложными дело обстоит много сложнее. И тогда лишь структура слога может стать признаком, определяющим источник заимствования. «Ан», «ен», «уд»— по структуре тюркские слова.

Действует тот же механизм с небольшими изменениями.

а) ГСГС превращается в СГСГС протезом, как бы открывающим первый слог, и этого зачастую оказывается достаточно: ештук — гештук — ухо (в шумерском малопродуктивный способ);

б) ГСГС превращается в СГС

адам — дам — супруг;

в) ГСГС превращается в ГСГ

емек — еме — язык;

узуг — узу — гусь;

удуг — уду — священный;

ерен — ере — работник, раб.

г) СГСГС — превращается в СГСГ

діріг — дірі — больше;

діліг — ділі — черта, единица;
субан — сіба — пастух.

При перестройке открытого слога действует обратная схема:

а) Появляется гласный протез в начале слова. Например, индоевропейское пат — нога превращается в апат (древнеуйгурское):

б) Появляется согласный протез в конце слова, или конечный гласный отбрасывается, обнажая согласный.

Протетические согласные те же, что действуют в индоевропейском,— губной и гортанный —«в» (краткий) и «г» (к). Поэтому если в индоевропейском разнятся начальные согласные «бут — гут», то в тюркских в той же степени разнятся конечные «тав — таг», «бав — баг».

4. Тюркские языки испытали влияние языков с открыто-слоговой структурой. Любопытно, что в шумерском сохраняется структурный тюркизм «амар»— детеныш, а в тюркский вошел термин «мара»— ориентированный «по-шумерски».

Пожалуй, во всех языках есть такие примеры — свидетельство сложной, противоречивой истории. Но инерция первичной структуры все же неистребима.

5. Перестройка слога при заимствовании — закономерность, которая благодаря широкому распространению в языках разных систем приобретает весомые черты универсального закона.

Несовпадение структур слогов отдающего и заимствующего языков — одна из главных причин деформации слова. Это явление еще не осознано в лингвистике, которая ограничивается лишь констатацией фактов, не объясняя их. Так, например, замечено, что греческий язык не допускает в конце слов согласные звуки (кроме в, р, с). Почему? Считается непонятной особенностью греческого. Заимствуя семитские названия букв, оснащают их гласным окончанием, т. е. протетическим гласным: алев — альфа, каф — каппа и т. д. Если семиты ограничивались первым открытым слогом, признавая слоговым первый согласный звук (зачастую протез), то греки оба согласных превращали в слоговые и открывали оба слога.

Противоположность структур индоевропейского и тюркского заметна на самом простом примере. Названия букв алфавита являют собой модели слога в чистом виде. Тюркские буквы произносятся — аб, аг, ад и т. д., в индоевропейских алфавитах — ба, га, да — (бэ, гэ, дэ). При продолжительных контактах тюркских языков с индоевропейскими это незначительное, на первый взгляд, различие приобретало значение выдающееся для обоих словарей. Действие закона перестройки слога искажало заимствованное слово.

Я предлагаю начинающим лингвистам и академикам решить несколько простейших задач, иллюстрирующих закон перестройки слога. В каком отношении находятся:

шумерские: уд — огонь, ӱд — солнце, день; гуд — бык;
тюркские: уд (от) — огонь, ӱд (ӧт) — время, полдень;
иранское: куда — бог;
германское: гут, (гот) —1) бог, 2) хорошо;
славянское: год —1) время обращения солнца, 2) хорошо;
индийское: Будда;
шумерское: ід — идти;
тюркские: ут, уд, іт, ід, із, ет, ёт, ёд, оз — иди, проходи, след;
семитское: от — след;

индоевропейские: пут, путь, пат, пята, под, бедро, пеш, па, уд, фут, бот, пес, бе — нога, дорога, промежность, низ;

тюркские: бут, пут, апат — нога, промежность, бедро; кут, кет — низ, зад; кет, кеш, каш, кай, кел, кал, кеш, куч, кой — глаголы движения (уходи, приходи, беги, переходи вброд, останься, кочуй и т. п.).

В ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ

В главе «Проблемы родственных связей языков древней Передней Азии» И. М. Дьяконов приводит таблицу, из которой должны явствовать а) обособленность шумерского языка, б) генетическое родство хурритского и урартского, в) генетическое родство аккадского, древнееврейского и арамейского.

По этой таблице шумерский не имеет никаких точек соприкосновения с другими языками древней Передней Азии.

Сравнению подлежат пять слов — одно числительное, два существительных («земля», «бог»), причастие («слышащий»), указательное местоимение.

«В этой таблице,— пишет И. М. Дьяконов,— сразу бросается в глаза родство хурритского и урартского, а также аккадского, древнееврейского и арамейского языков... Близость... такова, что при наличии даже небольшого сравнительного материала она видна наглядно, так как больших фонетических различий между ними не успело произойти».

Для наглядности повторим эту таблицу, но добавим одну колонку — тюркский язык,— хотя пока и нет твердых исторических данных, позволяющих относить прототюркский к языкам древней Передней Азии. Но помня, что работа по восстановлению биографии тюркских языков, по сути, находится в самом начале своего пути, пойдем на это допущение.

	шумер.	хуррит.	урарт.	аккад.	древнееврейск.	арам.	древнетюркск.
«три»	уш	тумни	(не изв.)	шалаш	шалош	тэлат	уш, уч
«земля»	кір	хэвр	гэвра	ʾерс —	ʾарс —	ʾар	йір йер йар кір
«бог»	дінгір, демер	ені	іну	ʾілу	ʾеел, елох	ʾелаах	тенгрі тенгір денгір тенер
«слышащий»	гештука	хазі	хазі —	шемі	сооме —	шаамах	ештӱган
«то» (указ. местоим.)	ане	— ойа	йе	— шу	— хуу, — оо	— ех	āне, āкā, анау

Какие выводы можно сделать из наблюдения этой таблицы? Слегка дополним выражение И. М. Дьяконова: «Близость аккадского, древнееврейского и арамейского с одной стороны, и хурритского и урартского — с другой, **шумерского и древнетюркского** — с третьей такова, что при наличии даже небольшого сравнительного материала

она видна наглядно, так как больших фонетических различий между ними не успело произойти».

Подчеркнутые слова добавлены мной. Но близость шумерского и тюркского лексических материалов свидетельствует не о генетическом родстве этих двух словарно близких языков, а, повторяем, может доказывать лишь их культурное родство.

Эта же таблица свидетельствует, что все приведенные здесь языки находились между собой в культурном родстве.

Корень йир (йер) — «земля» знаком всем семи языкам. В урартском кроме лексемы «гэвра» засвидетельствован и синоним «гир», восходящий к шумерской форме.

Хурритское название бога «ені» надо, вероятно, сравнивать не с «дінгір», а с шумерским словом «ен»— высший, которое выступает часто в значении «владыка», «господин». Так в именах богов Енкір («Владыка земли»), Енлиль («Владыка воздуха»).

А учитывая то обстоятельство, что в новошумерском языке «н» под влиянием «у» нередко переходит в «л», то и аккадский термин «ілу» возможно рассматривать в связи с шумерским «ен» и возвести к праформе «ену».

Таблица позволяет сделать еще один важный вывод: шумеры и тюрки находились в гораздо более близких и долгих культурных отношениях, нежели шумеры, семиты, хурриты и урарту.

Фонетически-семантическая таблица — единственный инструмент анализа, находящийся на вооружении сравнительного языкознания. Она не всегда позволяет выделить случайные сходства, а также слова, представляющие прямые заимствования одним языком из другого, или обоими из третьего.

При сопоставлении лексики древнеписьменных языков в качестве дополнительного доказательства неслучайности совпадений форм и значений можно в отдельных случаях привлекать и данные письменностей. Особенно при сравнении односложных или однозвучных слов.

Недоверчиво поставил я рядом шумерское числительное «у»—10 и общетюркское «ун»—10.

Как выяснилось, многие тюркские односложные лексемы отличаются от шумерских наличием носового окончания. В этом, по-моему, выражалась попытка закрыть слог в заимствованном открытосложном слове. Например, шумерским местоимениям «ме»— я, зе — ты соответствуют тюркские «мен»— я, «сен»— ты. В этот же ряд я включил осторожно уравнение «у»=«ун». Итак, формы и значения сравниваемых слов совпадали. Согласно методам современного сравнительного языкознания это сопоставление можно считать полным, тем более что и некоторые другие числительные шумерские поддаются сравнению с тюркскими: простые уш=уш (3), сложные уш — у (30)=уш — ун (30).

Эти факты на фоне других массовых сближений позволяют нам с достаточной уверенностью возвести тюркское «ун» к праформе «у» и считать ее заимствованием шумерского числительного. Но даже в этом примере возможен элемент неточности. Ибо отсутствует главное доказательство — исторически обоснованная убежденность в возможности культурных контактов шумеров и тюрков. И в такой ситуации любое лишнее доказательство родственности шумерских и тюркских слов вовсе не лишнее.

Если бы геродоты оставили нам четкие письменные свидетельства

того, что шумеры и тюрки с такого-то по такое-то время, там-то и там-то обитали совместно и заимствовали друг у друга слова, то языковедам вполне достаточно было бы внешней схожести у=ун, подкрепленной близостью значений, чтобы объявить эти слова родственными.

Но в данной ситуации именно на такие лексические уравнения падает тяжкая ответственность исторического факта: они призваны выполнить роль геродотов.

Поэтому я в поисках новых обоснований неслучайности сходства у=ун обратился к письменностям.

В старошумерском письме было две цифры — единица, десятка. Я попытался найти им соответствия в древнетюркском руническом алфавите.

Шумерское письмо				Древнетюркское письмо	
знак	назв.	знач. цифр	знач. лекс.	знак	назван.
1	«аш»	единица один	один	1	«ас»
>	«у»	десятка десять	десять	>	«у»

В шумерском названия цифр были одновременно и числительными. Если учесть то, что почти все тюркские числительные (за исключением ун, уш) заимствованы из индоевропейских, то можно предположить, что прототюркские числительные остались в названиях цифр — букв. Но теперь надо было убедиться, что тюркское руническое письмо имеет и другие связи со старошумерской иероглификой, иначе эти единичные совпадения могут быть объяснены случайностью.

Целый ряд других параллелей убедил меня в том, что тюркское письмо в основе своей иероглифическое и восходит к старошумерскому[1].

Историю «первых» языков, к которым относится и шумерский, уже невозможно рассматривать без этимографических исследований: язык и иероглифическое письмо создавались синхронно.

[1] Подробнее об этом в книге о происхождении древнетюркского письма, которая готовится к изданию.

РЕБУС

(о термине «Шумер»)

Когда таблица была отпечатана, я вспомнил, что не включил в нее слово «Шумер». Может быть, затруднился отнести к одному из рассматриваемых классов, возможно, и потому, что отведенной клетки было бы мало и не хотелось нарушать наметившейся симметрии. Скорее всего последнее. Но теперь считаю целесообразным вынести разговор об этимологии «Шумера» за скобки таблицы, не нарушая рамок принятых вольностей, которые можно назвать и новым подходом.

1. Что известно о термине «Шумер»?

Впервые ученые узнали о нем, расшифровывая клинописные таблицы ассирийского царя Ашшурбанипала, где царский писарь сообщал о «тайных шумерских документах». Потом последовали раскопки в ни-

зовьях Евфрата и открытие цивилизации, предшествовавшей ассиро-вавилонской. Ее назвали шумерской. Те, кого нарекали шумерами, именовали себя иначе — саг-гіг, т. е. черноголовые.

...В древности многие народы так и не смогли прославить своего природного самоназвания и выступали под чужими именами. Да и сейчас, в наш просвещенный век, мы как-то миримся с тем, что один и тот же народ полиномен: народ дойч известен под названиями герман, немец, аламан; народ хань — Китай, хин, серы; найри называют армянами; суоми — финнами; мадьяр — венграми; иранцев — персами и т. д.

...Известно несколько древнесемитских произношений интересующего нас термина: Субер, Субер-т (т — показатель женского рода) — аккадцы применяли в середине 3-го тысячелетия до н. э. к областям Северной Месопотамии. В I тысячелетии до н. э. в Северной Месопотамии встречается мелкое государство — Шубер. Тогда же термин Субер употребляется как поэтический высокостильный синоним к названию — Ассирия. На юге Месопотамии, в низовьях Тигра и Евфрата, упоминаются кочевые племена Субари или Шубари. Ассирийские хроники произносят — Шумер, с ударением на втором слоге.

Документы не поясняют, что это были за народы. Сохраняется только имя их и указания на некоторые маршруты перемещения. В таких случаях остается уповать на этимологию. Лишь анализ имени (при условии, если оно — самоназвание) может ответить на вопрос, каков был язык этих племен. Лингвисты убедились, что шумер (субер) не семитского происхождения и не саггигского.

Как мне помнится, попытка этимологизировать «Шумер» уже была. И сделал ее, к сожалению, великий Марр. Он настаивал на сравнении с русским словом «сумерки», основываясь при этом только на внешнем сходстве форм. Можно было бы принять такую трактовку, если бы Шумер располагался хотя бы на севере Руси, где-нибудь в Вологодчине, а не в странах полуденных.

2. В памятнике Куль-Тегину (VIII век н. э.) есть поэтический фразеологизм: «турк ыдук йери-субы», буквально: «Священная тюркская Земля-Вода», поэтически — «Священная тюркская страна». Сотни раз я скользил взглядом по сочетанию «йер-суб», и всегда оно вызывало во мне какое-то волнение. И когда, наконец, я его понял и изменил место слагаемых, внешне изменилась сумма «Суб-йер». Не из этих ли атомов состояла лексическая молекула имени древнейшей страны — Субер?[1] Или хотя бы — было ли известно такое сочетание в ареале позднего обитания тюрков — в Сибири, в Монголии? Легенды монголов говорят о двуглавой горе Субер (Сумер, Сумбер), которая была так высока, что даже всемирный потоп не смог ее покрыть. Поэтому идея обетованной земли монголов связывается с образом двуглавой горы.

[1] Формула страны «Земля-Вода» (или «Вода-Земля») сохраняется в языках и поныне. Например, во вьетнамском. (О. С.).

«По монгольскому преданию, вначале была только вода, из которой высовывались две горы Сумер-ула»[2]. Монгольское «ула»— гора.

«У монголов Ордоса я записал такую фразу: «из гор великая Сумбер — из озер великое Сум-далай (молочное море)» (там же, стр. 648). Ясно видна попытка народной этимологии. Начало слова монголы подгоняют к своему «сум»— молоко, оставшаяся часть «бер» остается не освоенной.

[2] **Потанин Г.** Восточные мотивы в западноевропейском эпосе. СПб, 1899, стр. 598.

Миф о всемирном потопе не был библейским изобретением. Сюжет

этот описан и в аккадском эпосе о Бильгамеше («Всезнающем»). И слух о потопе, родившись в Двуречье, был кем-то принесен в Азию, возможно, задолго до появления Ветхого Завета. Во всяком случае, в библии монголы едва ли почерпнули сведения о горе Субер. Сюжетный стержень «Субер-потоп» есть и в славянских легендах: «Эти Сиверские горы — отголосок представления о мировой горе... В связи с этой формой и рыба Севр, от движения которой так же происходит волнение моря, грозящее покончить с былым светом»[1]. Примеры доказывают, что формальное сходство между гипотетическим Суб-йер (Вода-Земля) и названием мифической двуглавой горы Субер есть. Но органическое ли это сходство? Или случайное совпадение? Ответить определенно трудно, попытаться можно.

[1] **Потанин Г.** Восточные мотивы в западноевропейском эпосе. СПб, 1899, стр. 203.

...В старошумерском письме был иероглиф , который читался двумя словами «кур»— гора, «кир»— земля, страна. Позже в клинописи он превратился в трехчлен  с теми же названиями. Вавилонцы, заимствуя этот весьма важный знак, оставляют одно из названий («кур»), которое сохранит только фонетическое значение, а смысловые приняли на себя вавилонские слова «мату»— земля, «шаду»— гора. Проследим за эволюцией формы знака — три горы превратились в три клина, сходящиеся в одной точке. Иероглиф, кроме того, повернулся на 90 градусов при переходе с вертикального письма на горизонтальное. Эта участь постигла многие шумерские знаки.

Древнетюркская буква-иероглиф  — йер — земля (в некоторых надписях — йир), на мой взгляд, восходит к старошумерскому знаку. Но тюрки сумели превратить в черту (клин) только одну нижнюю гору, чем сохранили симметричность знака, но придали неустойчивость значению. Сравните китайский иероглиф горы  шань (эпохи Инь, XV век до н. э.),  шань (1 тысячелетие до н. э.) Египетский иероглиф  шикм (холм, чужая страна). Структурно китайский и египетский знаки отличаются от старошумерского и тюркского. Хотя есть и общее — всюду трехчлены обозначают понятие единственного числа.

Шумерский знак — гениальный. Он изображает горы в перспективе. Две цепи хребтов: ближние — ниже, великие — дальше. Тюркские письмотворцы не поняли задачи и «передний ряд» превратили в ничего образно не значащий клин (черту) упрощения ради. И смысл «гора» — был утрачен. Но добавлен другой — вода. (Финикийский иероглиф  — «мум» — означал воду, а без черты  «шин» (зуб, гора?) Они уже пытались из одного знака получить два, соответствующие двум названиям древнесемитским — «м» и «ш» — маду, шаду.

Итак, я предполагаю, что если шумеры (саг-гиг) называли свой иероглиф кур-кір (гора-земля) в значении «страна», то прототюрки этот же знак, видоизменив, назвали «суб-йер» (вода-земля) в значении «страна». И он становится гербовым знаком, общенародной тамгой. Массовый исход из Двуречья объясняется последующим поколениям благодаря образным толкованиям этого знака. Болотистая, заливная страна Суб-йер!

Прототюрков, пришедших в Северо-Восточную Азию, аборигены, видимо, узнали под этим именем (Суб-йер, или Суб-йир). Их погребения (курганы) нетюрки называли суберскими (субирскими), и традиция эта дожила до русских переселенцев.

«В Тобольской губернии чудские (т. е. древние, сказочные — *О. С.*)

могилы приписывают народу сывыр; эти древние люди сывыры вырыли ямы и опустились в них, подрубили подпорки, на которых держались потолки, и сами завалили себя землей; по мнению Патканова, этот термин дал происхождение названию города Сибирь, потому что на этом месте была могила сывыров»[1]. По имени города и весь край назвали Сибирью.

В основу сюжета легенды, возможно, легло своеобразное толкование знака страны — холмы курганные держатся на подпорке. Но не монголы так расшифровали знак, их понимание нам известно. Скорее всего маньчжурские племена.

Самое убедительное доказательство тюркского происхождения этого знака и названия — тюрки знали подлинное значение иероглифа и названия и никаких легенд, связанных со словами Суб-йер, у них не возникло. Он не казался таинственным (священным — да, но не божественным: в основе любого обожествления лежит тайна).

Монголы испытали сильнейшее культурное влияние прототюрков. И потому их толкование общенародного тюркского знака более насыщено переднеазиатским ароматом. Знак получил широкое распространение; им клеймили пограничные столбы на завоеванных территориях. Традиция продолжалась до недавнего времени. Любое кочевое тюркское племя отмечает тамгой (племенным гербом) границы расселения.

3. Проникновение тюркских элементов в Причерноморье, в Переднюю Азию и в Европу отмечается источниками христианской эры только в резко драматические моменты суперисторического масштаба. Таким событием стало нашествие гуннов, начавшееся в 375 году. Тогда тюрки привлекли к себе повышенное внимание римских историков. Огромная масса кочевых племен, объединенных монгольским именем «гун» (человек), двинулась из прикаспийских степей на Запад. Началось так называемое Великое переселение народов.

Но армянский историк Агафангел (V век) упоминает о гуннах во времена царя Хосроя I (217—238 гг.) Он применяет новый, уже модный в V веке термин к прежним кочевникам, которые могли называться и иначе.

Д. Е. Еремеев пишет: «Уже в III—IV веках тюркские племена, бесспорно, представляли собой многочисленных и постоянных соседей народов Малой Азии, Кавказа и Балкан, они проникали в эти области все более и более активно. Дербентская стена была построена именно для защиты от набегов этих первых тюркских переселенцев из Центральной Азии».

«В состав гуннов входили также булгары, савиры (сувары), сарматские племена и другие»[2].

Д. Е. Еремеев останавливается на суварах: «В VI веке многие события в Малой Азии и на Кавказе связаны с именем савиров (сувар, субар, сибир), которых Феофилакт Симокатта причислял к гуннским племенам, жившим на Северном Кавказе... Кроме Сирии, сувары совершали походы в Армению и Малую Азию, доходя до Каппадокии... Сувары нанимались также на византийскую военную службу. В 568 году сувар разгромили авары. После этого основная масса сувар переселилась в Албанию (Азербайджан). Как сообщает Менандр, Хосрой Ануширван перебил большую часть их, а оставшиеся 10 тысяч человек поселил между Араксом и Курой»[3].

[1] **Потанин Г.** Восточные мотивы в западноевропейском эпосе. СПб, 1899, стр. 411.

[2] **Еремеев Д.** Этногенез турок. М., 1970, стр. 53, 54.

[3] Там же, стр. 55.

Летописцы умели преувеличивать. Не всех сувар истребил Хосрой. Они еще долго будут известны историкам.

Махмуд Кашкари (конец XI века) отмечал, что сувары и булгары говорят по-тюркски и что они так же, как «кыфчаки», расселены до «стран Рус и Рум».

Не знаю, осознали ли тюрки значение слова «сув-ар» (суб-ар, суб-ир). Во всяком случае, ни у Махмуда Кашкарского, ни у других восточных авторов мы не найдем толкования этого самого древнего тюркского определения обетованной страны, ставшего этнонимом. (В VIII веке, как мы видели, сибирские огузы уже произносят его иначе —«ер-суб» и «йар-суб».) Но попытки осмысления, вероятно, были, во всяком случае, по морфологической колодке «субар», наверное, созданы этнонимы **авар, хазар, татар, булгар** и т. п.

Из Албании часть суваров (возможно, после Хосровского побоища) приходит в Среднюю Азию и впоследствии вливается в состав казахского народа. Казахи не узнали чужого термина и превратили его в суван, суан. Так в предгорьях Алатау, у подножья великой мраморной горы обосновалось племя Албан-суан (т. е. «албанские суваны»). Может быть, они и назвали ее — Хан-Тенгри. Ведомые по миру своим именем, как на крылатом верблюде пронеслись они по планете на двугорбом гербе своем.

4. С развитием языка при стыке слов «вода — земля» возникает ложная грамматическая ситуация. По законам тюркской грамматики существительное, поставленное перед другим, автоматически превращается в нечленное прилагательное. Суб-йер понималось уже как «мокрая земля», что обрекло древних людей, свято почитавших Слово Предков, избирать местом обитания болотистые земли, острова, дельты, междуречья. Объясняется ли этим необходимость последовавшей смены позиций: «суб-йер» на «йер-суб»? Последнее сочетание звучало менее драматично —«земная вода»— и ввиду явной странности выражения понималось грамматически раздельно «Земля и Вода». Эта формула страны (земли, пригодной для жизни) и утвердилась в древнетюркском поэтическом языке.



Между двумя вершинами развития тюркской культуры (прототюркской — Шумер и древнетюркской — Сибирь) лежит провал в несколько тысячелетий. Пропасть деградации. Слишком много было произнесено в исторической науке слов о культурной отсталости кочевников. Мы, не отрицая принятое определение, добавляем более диалектически верное и объемное — усталость. Недалекие Источники застали лишь небольшой отрезок графика. И по этому куску линии Недалекий Историк предположил, что рельеф прошлого тюрков гладкий. Следовательно, от самого рождения своего тюркское племя было таким, каким посчастливилось его увидеть европейскому историку,— Варварским Семенем.

График жизни любого народа напоминает кардиограмму. Ровная линия в медицине означает смерть. В истории — время накапливания сил для нового подъема.

График еще не окончен.

«В этом смысл всего того, что когда-либо было в прошлом; того, что это прошлое не остается мертвым грузом, но возвращается к нам, чудесным образом глубоко в нас воплощаясь». Р. М. Рильке.

Слова-перевертыши происходят по нескольким причинам. Одна из них, на мой взгляд, заключена в следующем. Греки знали несколько направлений письма: справа налево, бустрофедон (одна строка — справа, другая — слева), и, наконец, в V—VI веках до н. э. устремили все строки вправо. И забыли о прежних направлениях. И найденные памятники письма читали слева направо. До нас дошло много кратких однословных надписей на предметах. Надписи, как правило, поясняли изображение или форму. Греки, этруски и латиняне часто писали эти пояснения на древнеегипетских предметах. Многое из того, что приоткрыло бы завесу тайны над отношениями Южной Европы с древними переднеазийскими цивилизациями, не сохранилось. Но в языках Европы уцелели термины «табула», «таблица», «тэйбл», «табба» в значениях — письменная доска, стол, плоские предметы. Они происходят от названий глиняных дощечек (письменных кирпичей). (Возможно, и тюркские «таба», «табак»—1) плоское глиняное блюдо, 2) лопух, 3) лист бумаги, кожи и «тамба»—«письменный знак» свидетельствуют о близком знакомстве тюрков с глиняными таблицами.)

Мне бы хотелось подержать в руках таблицу с шумерскими иероглифами, на обороте которой греческим или латинским письмом справа налево было нацарапано пояснение — **субер.** Табличек с такими надписями было в древней Европе, вероятно, немало. Через века, находя загадочные изображения, европейцы читали надпись субер слева направо — ребус.

СВОИ ЛЮДИ И СОБАКИ

Считается, что известные источники не говорят о существовании тюркоязычных народов раньше III—IV веков н. э.

Так ли это?

За одно столетие биография тюрок в науке углубилась на несколько веков: в середине XIX появление на свет тюркского языка относили к IX веку. В XX историки, рассматривая личные имена кочевников эпохи Великого переселения народов, пришли к выводу, что гунны — тюркоязычный народ.

Письменные документы сохраняют нам немного реалий, по которым можно судить о языке упомянутого общества,— чаще всего называется этноним и имя вождя.

Но нередко одно и то же племя у разных авторов значится под разными названиями. Что пенять на древнегреческих писателей, если не так давно (в XII веке) такой активный народ, как кипчаки, был известен русским летописцам под прозвищем «половцы», византийцам —«куманы». И лишь совпадения имен вождей кочевников, участвовавших в событиях на Руси, в Византии и на Кавказе, позволяет сделать вывод, что речь идет об одном народе.

Труднее установить этническую принадлежность племени, упомянутого только в одном источнике. Приходится уповать на счастливый случай — надеяться, что хронист назвал подлинный этноним, а не прозвище. (Давно назрела необходимость в создании Словаря этнонимов и исторических имен.)

Время заставляет нас заново пересматривать многие давно популярные сведения и осторожно вводить их в круг материалов по тюркологии. Особый интерес может представлять литература

древней Передней Азии. Найти в отвалах породы, отработанной поколениями семитологов, иранистов и эллинистов, следы неожиданной ископаемой культуры, которая, по всем данным науки, должна находиться в других географических регионах,— эта возможность окрыляет исследователя. Каждый скромный факт, самое незначительное открытие в этой запретной для тюркологии временной зоне способны поколебать весьма устойчивые позиции историков в отношении генеалогии тюрков. Важно вновь и вновь возвращаться к неоднократно перечитанным памятникам (как к «Слову») и находить в них сведения, не замеченные предыдущими поколениями читателей. В качестве примера такого рода рассмотрим одно из сообщений ассирийской летописи эпохи царя Ассархадона.

...В VII веке до н. э. ассирийские хроники отмечают нашествие кочевников, которые прошли из Северо-Каспийских степей по западному берегу Каспийского моря (через Дербентский проход). Вел их вождь Испака, самоназванием их было — ишгуз (варианты — ишкуза, аш-гуза).

Ассирийское государство отдает все силы затяжной борьбе за сохранение и укрепление своей гегемонии над южными соседями — Вавилоном, Сидоном, Египтом. Эта нелегкая задача еще более усложняется возросшей активностью народов, населявших восточные окраины монархии. Здесь в 70-х годах VII века до н. э. происходит мощное восстание мидийских и других племен, выступивших в союзе с царством Манна. В результате образовалось царство Мидия — новый, могущественный враг Ассирии.

Восставшие приглашают ишкузов в союзники. И те, «пройдя через перевалы» (как выражаются хроники), вторгаются в пределы «логова львов» (673 год до н. э.).

В древнееврейской «Книге Иеремии» под 593 годом до н. э. (т. е. спустя 80 лет после событий) вместе с Урарту и Манной, в качестве зависимого от Мидии государства, упоминается «царство Ашкуз» (вариант — Ашкеназ). Популярность этих кочевников в Передней Азии была так велика, что их этноним (в еврейском написании) станет обобщающим термином и антропонимом.

Существует мнение об ираноязычии иш-гузов. На чем оно основано? **На внешнем сходстве имени Испака и мидийского слова «спака»— собака.**

Этноним же иранским словарем истолковать пока не удается. И, тем не менее, эта мало обоснованная версия стала со временем аксиомой: «ишгузы — одно из иранских племен».

СОБАКА

Если «испака» и на языке ишгузов означало «собака», то следует ожидать, существовала некогда традиция называть вождей Собаками. Иранская история и мифология и верования изучены несравнимо полнее тюркских. Но об этом обычае источники молчат. Ни семиты, ни индоевропейцы, ни угро-финны не поклонялись Собаке. Но исконные кочевники, тюрки, до недавнего времени относились к этому животному как к божеству, в мифах вели от него свое происхождение; и великие правители, утвердившись над народом, заменяли родительское прозвище на титульное имя — Собака. Эта традиция, надо пола-

гать, сохранилась с эпохи охотничества, предшествовавшей эпохе скотоводства. Собака — первый помощник охотников. От нее зависело благосостояние человеческого племени. Она — храбрый слуга народа и чуткий вождь его. Собаке дано то, чего не дано человеку: она видит запахи, идет по невидимым следам и ведет за собой человека. Качества, которыми ее наделила природа, делали собаку существом великим. Охотники поклонялись собаке-кормилице, как земледельцы — солнцу и его земным представителям — павианам, навозному жуку, рогатым животным.

За тысячелетия в разных тюркских наречиях накопилось много табуистических наименований четвероногого друга — вождя. И все они побывали в разряде титульных имен.

Генеалогические легенды возводят Собаку (позже — Волка) в ранг прародителя тюрков. Киргизы, например, считают себя потомками Красной борзой (кызыл тайлак), к которой проявила благосклонность одна принцесса и ее свита — сорок девушек (кырк кыз). По другой киргизской легенде, эта принцесса и ее сорок девушек попробовали белой пены на берегу озера Иссык-Куль, и все неожиданно почувствовали себя матерями. Но и здесь, вероятно, зарыта Собака. По-киргизски «белая пена»— ак кобок. У тобольских татар сказочный герой-предок носит имя Ак-кобек (Белый Пес). Ак-ногайцы считают своим предком ак-кобок (Белый Пес). В огузо-карлукских наречиях —«кобок» (кобек, кобяк) — пес, собака. Кобяк (собака) — было широко распространенное между тюркскими племенами имя; у ак-ногайцев есть род «акобек» (Белый Кобек)[1]. В. А. Гордлевский не указывает на то обстоятельство, что этноним «ак-ногай» является полукалькой с первичного самоназвания «аккобек»[2]. Имя это встречается и в Малой Азии — у Сельджукидов Рума был визирь Садэддин Кобяк. В XV веке в Турции прославлен туркменский вождь Кёпек. И, наконец, кипчакский хан, побежденный Святославом Киевским в 1184 году,—«Кобяк». В «Слове о полку Игореве» о нем говорится: «и поганого Кобяка от железных плъков половецких яко вихрь выторже и падесе Кобяк в гриднице Святослава». Священное отношение к собаке-предку сохранялось долго. Если у башкирца часто умирали дети, то он, чтобы сохранить новорожденного, отнимал его у матери и подкладывал на выкорм к соскам собаки[3].

Гунны занесли в Европу легенду о происхождении Атиллы от Собаки. Венгерский вариант сюжета стал известен итальянцам. По итальянскому преданию, приведенному А. Н. Веселовским[4], венгерский король, задумавший выдать свою дочь за наследника византийского престола, до времени заключил ее в башню, чтобы уберечь от опасностей, грозивших ее красоте. Случилось то, чего он не ожидал: царевна зачала от собаки, которая была с ней в башне, и родила Атиллу. Согласно с этим известием итальянская иконография изображала вождя гуннов с собачьими ушами. По словам А. Н. Веселовского, итальянские монахи «вменили в зазор то, что первоначально было безразлично либо считалось почетным». Монахи усмотрели в Атилле предтечу песеглавцев, Гога и Магога. Со временем представление о собаке меняется, и в некоторых племенах ее место занимает волк.

О. Иакинф пересказывает уйгурскую легенду о происхождении родоначальника уйгурских ханов: хунский правитель держал свою

[1] **Гордлевский В. А.** Что такое «босый волк»? Известия АН СССР, отд. литературн. языка. Т. VI, вып. 4—6, М., 1947, стр. 324.

[2] **Ногай** — собака (монг.).

[3] **Филоненко С.** Башкиры. «Вестник Оренбургского учебного округа», 1914, № 8, стр. 304.

[4] **Веселовский А. Н.** Истории романа и повести. Выпуск 2, славяно-романский отдел, СПб, 1888, стр. 307, 315.

дочь в течение трех лет запертой в башне; волк проник в башню, и девица забеременела[1].

Волчья голова была на знамени древних тюрков (тюку), сообщают китайские летописи. Вероятно, эти знамена видели и европейцы. Во всяком случае, легенды о песеглавцах строились на каком-то достаточно конкретном историческом факте. Так же как образ кентавра был подсказан грекам необычным зрелищем человека на коне.

И. Н. Березин, выдающийся русский востоковед, первый предложил толковать титульное имя Кончак в связи с турецким кансік — сука[2].

Антропоним Кончак был популярен в западнотюркском ареале. Его варианты — Канишка[3], Каниш существуют до сих пор. В казахском языке — Каныш. Праформы этого имени: 1) каніш — хищник (буквально: «кровь пей»), 2) кан ішкан — хищник (буквально: «кровь пьющий»). Первая форма древнее. Отражает эпоху в истории языка, когда первичный глагол (императив) одновременно выступал в роли существительного. Вторая форма уже ближе к современной грамматической традиции. Общетюркское кансік (канжік, каншік) —«сука» образуется от канішкан в результате ложной этимологии. Кансік — буквально: «тот, кто мочится кровью», применялось к самке волчьего и собачьего племени. Древнейшая форма кан-іс (кан-іш) —«хищник», возможно, случайно совпадает с латинским термином «каніс»— собака.

Может быть, идеология Собака-Вождь объяснит происхождение тюрко-монгольского титула «кан» (хан, каан, каган) и славянского каніс (кнес, кнась, князь)?

В тюркских языках сложные слова не всегда сингармонизируются. Сравните казахские антропонимы — із-басар, із-багар. Первый словочлен переднеязычный, второй заднеязычный. Но слияние в монолит двух разных по качеству лексем приводит к выравниванию. Эталоном качества бывает не обязательно первый член: кан-іш дает заднеязычное слово Канъш, Каныш (титульное имя). Другой пример: іс-бак —«пес-следопыт», заднеязычный вариант монолита попал к славянам «съ-бак (а)». Переднеязычный сь-бäк стал основой для кентум-формы, предшествующей огузо-карлукский лексеме кебäк (кöбäк, кöбек), и чередование к—т дает казахское слово тöбет. Диалектический вариант із-бак приводит к титульному имени ізбäк (Узбäк). Так звали золотоордынского хана. В XV веке термин узбäк стал этнонимом. Я склонен считать имена ханов Ногай, Барак[4], Узбäк, Кöбяк, Канчак — своего рода синонимами. В эту же группу включаю имена Канишка (III в. н. э.), Испака (VII век до н. э.).

[1] **О. Иакинф** (Бичурин). Собрание сведений о народах Средней Азии, ч. 1, стр. 248.

[2] Смотри его заметку по поводу перевода «Слова о полку Игореве» Гербелем. «Москвитянин», 1854, № 22, стр. 68—71.

[3] Сравни с именем-титулом знаменитого кушанского царя «Канишка» (III в. н. э.).

[4] **Барак** — сильный сторожевой пес (древнетюркское).

ИСПАКА

1. Праформа огузо-карлукского основного наименования собаки кöбäк (көпäк, кепек, кöбек, кöбöк и т. п.) сохраняется в кипчакских наречиях в живом виде. Есть несколько вариантов названий охотничьих псов:

а. іс-пак (із-бак) —«след (запах) — видь»;

б. іс-пас (із-бас) —«по следу (запаху) — иди»;

И усложненные, более поздние формы:

а. іс-пакан (із-баккан) —«след (запах) — видящий»;

б. іс-пасар (із-басар) —«по следу (запаху) — шедший». Славяне и древнеиранцы заимствуют раннюю структуру іс-пак (іс-бак). Индоевропейцы при усвоении тюркского слова стремятся переориентировать слоговую структуру, потому часто страдает начальный гласный и появляется в конце слова протетический гласный, или теряется конечный согласный звук.

Иранцы заимствуют форму іс-пак (закрытосложное слово). В авестинском —«спаа»— собака (открытосложное). В мидийском ограничились утратой начального гласного —«спак»— собака. Славяне открыли конечный слог иначе: Іс-бак>съ-бак>събака. Появился протетический гласный. В индоевропейских языках этот термин мало распространен (мидийский, авестинский и несколько славянских), поэтому говорить об индоевропейском его происхождении не приходится. Он заимствован — так считают Фасмер и Трубачев, но откуда? Трубачев находит для славянского слова прототип — тюркское «кобяк». Иранские же примеры остаются без «родителей». Но прямой переход кобяк>собака недоказуем.

2. Ассирийские писцы могли в написании «Испака» передать имя «Іс-пак»[1] или «Іс-паккан» (Іс пакан). Начальный гласный ассирийцы не теряют, ибо он оснащается фарингальным протезом. Ни один начальный гласный в древнесемитском не произносится чисто. Конечный согласный в заимствованных словах редко утрачивается.

[1] Іспак, Ісмак — имена, встречающиеся у башкир, карачаевцев, каракалпаков.

ИШГУЗЫ

Ассирийские писцы довольно точно передали самоназвание кочевого народа, ведомого храбрым варваром Испакой. Следует обратить внимание на эту особенность ассирийских хроник. Ни греки, ни римляне не могут похвастаться способностью почти фотографически изображать термин чужого языка. Великий этноним **иш-огуз (ичогуз)** благодаря огузскому эпосу «Деде Коркут» дожил до наших дней.

24 рода огузов согласно эпосу делились на два крупных объединения — иш-огуз (іч-огуз) —«внутреннее племя» и таш-огуз —«внешнее племя»[2]. Одна из былин называется: «Песнь о том, как таш-огузы восстали против иш-огузов». (Идеологическая схема уцелела в казахском названии башкир іштегі —«внутренний род»— и в наименовании сибирских тюрок —«ӧс тяги».) Предполагаю переход тюркского іш-огуз в ассирийское написание «іш-огуз». Гласный «о» теряется в семитской передаче последовательно. Арабы, например, «огуз» превращали в «гуз». На карте Махмуда Кашкари помета «страна огузов» дана в написании «биляди аль гузиа».

[2] См.: «Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос». Перевод В. В. Бартольда, М.—Л., 1962.

Примеров долговечности тюркских этнонимов можно привести немало. Племена «уйсунь», «канглы», «дулат» упоминаются в авторитетных источниках III века н. э. И располагались там же, где мы их находим и сейчас,— в Семиречье. И почти тысячелетие памятники молчат об этих племенах. **Не упоминались они, но существовали,** и имена их жили в устной традиции. И кто знает, сколько веков до III века н. э. племена уйсунь, канглы и дулат обретались на земной поверхности, не волнуя летописцев. И если бы китайские путешественники не сочли нужным случайно упомянуть их в III веке, научная биография этих

самоназваний была бы значительно короче. Огузы названы в орхоно-енисейских памятниках VIII века н. э.

Ассирийские хроники эпохи царя Ассархадона пока что — самый древний документ, могущий подтвердить факт существования в VII веке до н. э. тюркского этнонима «іш-огуз», титульного имени Іс-пак (Іс-пакан) и традиции величать вождя именем «Собака».

Таким образом, я считаю, что одной сомнительной параллели «Испака»—«Спака» недостаточно, чтобы считать ишгузов VII века до н. э. ираноязычным племенем. Мидийцы могли сами заимствовать этот термин.

...Каждая огузская былина кончается словами: «Пришел мой дед Коркут, заиграл радостную мелодию, рассказал, что приключилось с мужами. «Где же воины, кто говорил: весь мир — мой? Их похитила смерть, скрыла земля. За кем остался тленный мир? Я дам прорицание, сын мой. Твое тенистое, крепкое древо рода да не будет срублено; твои родные пестрые горы да не обрушатся, твоя вечно текущая прекрасная река да не иссякнет. Да не будет обманута твоя, данная богом, надежда...»

Может быть, эти прорицания певца иш-огузов слышал и вождь Испакан в оливковых рощах Ассирии?

ТЕНГРИАНСТВО

Есть день, который должен быть отмечен на календаре тюркологии красным числом,—25 ноября.

Первым в мире узнал, что у кочевых тюрков была своя письменность, датский рунолог Вильгельм Томсен. 25 ноября 1893 года ему удалось выделить из текстов орхонских надписей первое слово — тенгри. Этим словом открылась новая глава истории азиатских скифов. Этим волшебным словом для меня открылась еще одна глава, повествующая о шумеро-тюркских контактах.

...О новейших религиях написаны библиотеки. Иудаизм, христианство, буддизм, мусульманство — стали осознанными понятиями даже для тех, кто при чтении газетных шапок шевелит губами. Двухтысячелетие убедило нас в том, что все веры, предшествовавшие последним,— суть язычество и суеверие, умственные извращения далеких предков.

Термин «тенгрианство» не появлялся до сих пор в научной литературе.

Самая древняя религия на планете, оформившаяся как философское учение уже в 4 тысячелетии до рождения христианского бога, ставшая матерью семитских и индоиранских религий, заметно повлиявшая на древнеегипетские культы,— тенгрианство уже давно ждет своих исследователей. Оно заготовило ответы и для теологов, и для атеистов из общества «Знание». Насколько бы легче было разбираться археологам в черепках, если бы в библиотеках выдавали обширную материалом и мыслями книгу «Тенгрианство».

...Через несколько дней после смерти писателя Всеволода Иванова я получил открытку от его сына. Там были такие слова: «Последней книгой, которую читал отец, была Ваша —«Солнечные ночи». Символика этого факта потрясла бы и менее впечатлительного человека.

Внук казашки, с детства впитавший в свое слово звуки и краски

степей, ушел в большие каменные города и в последние часы свои вернулся в степь через неловкие стихи молодого поэта. Из тысячи томов своей знаменитой библиотеки он выбирает эту тоненькую багрово-желтую книжку. И солнечность ушедшего в вечность детства сопряглась с грядущей вечной ночью. Круг замкнулся.

Возвращается, все возвращается к изначальному. Сделав круг по океану, возвращается рыба погибать на камнях тесных речек. Вскипает вода рек и, сделав круг над землей, возвращается неслышной росой и грохочущим ливнем. Пригреет солнце, и черную землю покрасит зелень. Рассветает летом, багрово желтеет осенью, засыпает под снегом.

Пригреет солнце, и черную землю покрасит зелень. Рассветает, стареет, засыпает.

Пригреет солнце...

1. Разве круговращение в природе заметил ты один? Твой предок был наблюдательней, он жил в природе, зависел от нее и старался угодить ей пониманием ее символов. Он включил себя в эту круговерть. Пока жил, покрывал себя зеленым, уходил в багрово-желтом.

2. «Смерть — это сон»,— сказано, но не нами... Кем?

Первыми материалистами, складывавшими погребальный обряд из наблюдений за смертью природы. Человек — дитя природы — уподоблялся другим ее сынам. Поиск бессмертия привел его к мысли спасительной: смерть — это сон. Старость — это осень. Засыпает сурок в норе, набив ее припасами. Раскапывая зимой норы, древний брат мой видел сурка, свернувшегося клубком в земном жилище, усыпанном зернами. Пригреет солнце, и выходит сурок, похудевший, заспанный — живой.

Эти наблюдения над жизнью и смертью растений и животных (в особенности землеройных) легли в основу важного обряда: «уснувшего» человека отныне клали в «нору» в позе спящего сурка и посыпали зерном или багрово-желтой охрой, краской осени. В надежде, что наступит когда-нибудь его Весна, пригреет его Солнце, и выйдет он заспанный, но живой. Позже надежда на буквальное возрождение угаснет, но обряд останется еще долго. И будущие археологи на территориях Европы — Азии найдут множество таких захоронений древнейшего периода, и будут гадать, почему все скелеты лежат на боку скрючившись (колени к подбородку) на слое багрово-желтой охры.

Эти могилы отражают определенный, четко читаемый период сознания первых философов.

3. Но мир дуалистичен. Парность была замечена рано. Человечество делилось на матерей и отцов. Гора предполагала низину. Свет был противоположностью тьмы. Обожествляя землю, человек определил понятие небо — антиземля. Эта революция мысли отразилась в погребальном обряде.

В человеческом обществе рано произошло разделение на рабов и господ, на низких и высоких. Одни стали детьми земли, другие назвались чадами неба. И пережитки того осознания дошли до настоящего времени. Языки сохраняют противопоставления терминов: низкое и высокое происхождение (т. е. земное и небесное); черная кость и светлая кость (цвета земли и неба). В русских летописях XII века народ в устах князей —«черные люди». И не презрительное выражение, а спокойная констатация. Тюрки называли народ «кара-бу-

кара»—«черный и черный», т. е. черные. Черный человек к старости светлел головой, приближался к сынам неба. Культ стариков.

Представляю, какое уважение вызывали альбиносы, светлокожие и светловолосые от рождения. Независимо от возраста они почитались как Старцы, приближенные к небу.

Общество в древнем Двуречье делилось на Сынов Неба и Детей Земли — народ, который в совокупности назывался — черноголовые — саг-гиг (шумерский), салмат — каккадім (аккадский).

Сыны солнца брили головы или покрывали их париками — праобразами колпаков и шлемов. Первое и основное назначение головного убора — знак сословия.

Люди разного происхождения и погребались по разным обрядам. Дети земли — как сурка в норе (скрюченность, охра, зерна. Для них цвета траура — багрово-желтый). Дети неба — как угасшее солнце. Цвет их траура — черный.

ЧАША

...Факты одной значимости разбросаны в мировой литературе, как звенья одной цепи. Рассмотренные каждый в отдельности, вне связи с другими, они из метафор превращаются в лобовые высказывания.

От того, кто имеет дело со столь хрупким материалом, как древность, мы вправе требовать не только умения землекопа, но и чувства символов, как от лингвиста — чувства слова.

Культура настояна на иносказаниях, и понимать любой ее жест буквально, это — не понимать. Шар издали видится плоским кругом, так и поэтический символ древности подчас лишается перспективы при переводе на язык будничный.

В Китае встречались круглые металлические зеркала с изображением бога Арья-Бало, т. е. благотворной формы грозного Махагалы. Одна сторона этих зеркал гладко отполирована, на другой — рельефное изображение многорукого сидящего бога, представленного с тыла. Вы видите его затылок и спину, хотите узнать, какой вид имеет бог спереди, оборачиваете диск...

И видите свою физиономию.

Так великая поэтическая метафора превращалась в бытовую вещь. Не этого результата стремились достичь жрецы-художники. Лицо многорукого бога — это слепящее солнце. Восход и закат были изображены этой бронзовой идеограммой.

Блестящую поверхность использовали, а раскоряченный смешной человечек на обороте превратился в непонятный, но традиционный элемент декора.

Всю историю материальной культуры можно представить как непрекращающуюся борьбу красоты с красивостью, символа с предметом, поэзии с буквализмом.

...Археолог Вулли находит захоронения с писаной металлической чашей в Шумере.

...Евтюхова и Киселев раскапывают курганы с писаными металлическими сосудами на Алтае.

...Акишев обнаруживает металлическую чашу с надписью в кургане близ Алатау.

Во всех трех случаях, рассмотренных в отдельности, вне связи друг с другом, металлический сосуд остается просто сосудом, случай-

ным предметом среди других случайных предметов могильной утвари. Но, собранные вместе, они, дополняясь и поясняясь взаимно, неожиданно складываются, как рассыпанные литеры, в слово, прочесть которое мы уже в состоянии, но понять истинный смысл его нам еще предстоит.

Я обращаюсь к шумерам: более никто не придавал такого значения металлическому сосуду в погребальном обряде.

Сравните описание двух захоронений, между которыми лежат тысячи километров по горизонтали и тысячи лет по вертикали.

«Погребенный был одет в шелковую одежду. В изголовье покойника стоял серебряный сосуд с тюркской рунической надписью «Могучен» и «Хозяин-владелец»[1].

«Труп лежал на правом боку. Вокруг талии был обернут широкий серебряный пояс. В руки покойника тысячелетия назад вложили чашу из самородного золота. Рядом с ней лежала еще одна овальная, тоже золотая. На двух золотых чашах было выгравировано: Мес-кала-дуг — герой благодатной страны»[2].

Нить, неосторожно протянутая из Алтая в Шумер, была бы очень тонкой и ненадежной связью, если бы закономерность подобных захоронений с металлическим сосудом и там, и там не была бы подтверждена количественно.

Большая сохранность шумерских могил позволяет наблюдать священное отношение к металлическому сосуду. Во всех обнаруженных погребеньях чаша находится у руки покойника, чем и выделяется из среды других (неметаллических) сосудов.

«Эта женщина, очевидно, была высокого звания. Она носила драгоценный золотой убор. В руках эта женщина держала рифленый золотой кубок, украшенный резьбой».

«Умершие положены на бок и держат перед собой чаши (металлические). Над ними лежат глиняные сосуды»[3].

Отметим, что не все металлические чаши из шумерских погребений с надписями. Так же, как и на Алтае. Возможно, не надпись придавала чаше символическое звучание, а форма и металл.

Библиография алтайских писаных сосудов несколько обширней[4].

Как бы подчеркивая обрядовую важность этого предмета, все без исключения степные каменные бабы держат в руках сосуд. По сообщению Низами, кочевые тюрки до принятия мусульманства поклонялись Бабе с Чашей как божеству.

Алтайцами изваяние на кургане было истолковано как изображение покойника, и они превращают Бабу в каменного усатого мужика. Притом алтайские «мужики» держат сосуды именно той формы, которые находят в захоронениях этого района[5].

Это поразительное соответствие форм металлических сосудов погребений и форм сосудов каменных изваяний замечает и Л. Р. Кызласов. Он предположил, что эти фигуры олицетворяли умерших[6].

Обозримый ареал распространения «мужиков с кувшинами» ограничивается Алтаем и Сибирью.

Из 58 обследованных А. Д. Грач истуканов Тувы лишь три из них держат отчетливо вырезанные чаши, остальные — кувшинчики[7].

В южно- и западнотюркских степях находят курганных Баб с иной формой сосуда — чашей. Если и там соблюдалась зеркальная

[1] **Потапов А. П.** Очерки по истории алтайцев. М., 1953, стр. 27—90.

[2] **Церен Э.** Библейские холмы. М., 1966, стр. 188.

[3] Там же, стр. 170, 187.

[4] **Радлов В.** Сибирские древности, ЗВО, РАО, т. VII, 1893, стр. 185—186. Труды Гос. исторического музея, выпуск I, 1926. **П. М. Мелиоранский** «Два серебряных сосуда с енисейскими надписями», ЗВО, РАО, т. XIV, 1902, стр. 18. Его же: «Небольшая орхонская надпись на серебряной крынке Румянцевского музея», ЗВО, РАО, т. XV, 1903, стр. 34—36. Сведения о казахской золотой чаше в вышеуказанной работе С. Е. Малова. (Описания новых находок 30-х годов в приведенных там же трудах С. В. Киселева и Л. А. Евтюховой).

[5] Евтюхова Л. А. Каменные изваяния Северного Алтая. Труды гос. исторического музея, выпуск XVI, М., 1941, стр. 128.

[6] Тува в период тюркского каганата VI—VIII вв. Вестник МГУ, 1960, № 1, стр. 64,

[7] Древнетюркские изваяния Тувы. 1961.

композиция, то следует предположить, что в этом районе ритуальным сосудом являлась чаша, а не кувшин[1].

...Шумерско-тюркская параллель подкрепляется, на мой взгляд, и тем, что своя Баба с сосудом была и в Шумере. Но та Баба благодаря вавилонским письменным источникам сохранила свою божественную функцию. По-вавилонски это — Иштор, богиня воскрешения. Мать Огня, восходящего солнца Тамуза. По мифу, Иштор спускается в подземный мир, находит и оживляет Тамуза.

Сохранились статуэтки Иштор, где она изображена с сосудом, прижатым к животу.

Шумерский иероглиф  -солнце, перейдя из графического в скульптурное воплощение, превращается в Чашу наклоненную.

У руки или у изголовья устанавливали полную чашу — гарантию воскрешения. Разбитая чаша — прожитый год. По количеству лет царя, предающегося ночи, кладут в могилу глиняные или деревянные сосуды. И разбивают. Металлический небьющийся сосуд воплощает идею воскрешения.

Статуя богини воскрешения Ишторе с наклоненной чашей устанавливается над погребением.

Покойник уподоблялся солнцу-тамузу, Иштор должна была его воскресить. Поэтому она стоит над ним с его знаком — наклоненной чашей. У казахов сохранились припевки «тамыз, тамыз, тамызук!», которые уже совершенно бессмысленно сопровождают любой текст народного стиха, не согласуясь с ним. Мне кажется — это остаток молитвы богу солнца Тамузу — самая употребляемая ее часть. Следы древних переднеазиатских молитв сохраняются в некоторых современных языках именно в форме народной припевки. «Любопытны урартские (или хурритские) слова, сохранившиеся в припевках грузинских народных песен»,— пишет И. М. Дьяконов, ссылаясь на свидетельство А. Сванидзе.

На курганах от Монголии до Венгрии стояли каменные бабы с чашами, образы богини воскрешения Ишторе. Это изваяние и было внешним атрибутом, символом тенгрианского захоронения.

Что отличает главную идею тенгрианства от идей позднейших религий? Вера в буквальное воскрешение, в продолжение жизни на земле в том же образе человеческом. Пройдешь через сон и очнешься 1) как сурок и трава (если ты сын земли), 2) как солнце (если ты сын Неба).

...В одной из аланских могил рядом с останками воина найдена уникальная бронзовая статуэтка, изображающая женщину с полной чашей. «Напиток» передан цветным стеклышком, вставленным в чашу сверху.

Археологи решили, что это «начельник боевого коня»: статуэтка имела бронзовую подставку с отверстиями. Кавказовед В. Б. Виноградов в книге «Тайны минувших времен», созданной в жанре поп-истории, толкует назначение этого любопытного предмета, не выходя за пределы могильников. Красота переведена в красивость. «Что символизировала эта фигурка, венчавшая голову боевого коня? Просто ли затейливая выдумка рассказчика или выражение сладкой мечты воина о той встрече, которую окажут ему соплеменники и его подруга по возвращении из дальнего набега? Наверное, последнее ближе к истине. Она протягивала ему чашу, полную напитка, который

[1] Священное отношение к чаше в Туранской степи обращает на себя внимание этнографов XIX века. Смотри указанную книгу Г. Потанина.

утолит жажду, придаст новые силы, прибавит витязю храбрости во время его свидания с любимой».

«Затейливая выдумка рассказчика» может обернуться для истории алан близким знакомством с культом богини воскрешения с солнечной чашей.

Можно и из других, более академических источников приводить примеры вульгарного истолкования обрядовых реалий, чтобы подкрепить примерами, увы, уже не предположение, а определенный вывод: история вкладывает в руки своих «представителей» поэтические метафоры, которые в прочтениях историографов, как правило, превращаются в утиль, кухонную утварь, знакомую специалистам по коммунальному быту XX века н. э.

Ибо, по распространенному мнению, символами могут быть лишь символы. Крест, например, или полумесяц[1].

[1] В XI веке тюрки-мусульмане сделали чашу-полумесяц символом ислама.

Так как древние погребения являются сейчас основными, если не единственными источниками исторического материала, такое отношение к ним не может не сказаться отрицательно на общем состоянии историографии. В инвентаре погребений воплощены философские представления древних.

ЗВЕЗДЫ КУРГАНА

Солнце восходит, идет по небу, очерчивая в небе полукруг. Краснеет на закате. И темнеет мир. Выступают на куполе блестящие звезды. Смерть солнца — ночь, и это наблюдение ложится в основу тенгрианского погребального обряда. Оформился он и ярко проявился впервые — в Шумере.

Знак ночи в старошумерской письменности  купол неба и звезды. Он же означает понятия — тьма, чернота, смерть. Для детей неба цвет траура — черный. (Знак мог толковаться и как развитие предыдущего — опрокинутая чаша. Дождь, кропление. Совмещение понятий смерть — кропление, дождь прочитывается в обычаях древних земледельцев, которые, вызывая дождь, приносили в жертву человека или, погребая человека, кропили могилу водой. Философское уравнение — одно невозможно без другого — решалось просто: если смерть причина, то кропление (дождь) — следствие, и наоборот.)

По форме этого знака созидается архитектура погребения сына Неба — куполовидное. Магия знака была столь велика, что жрецы на первых порах стремились до мельчайших деталей повторить его в атрибутах. Тело Угасшего Солнца осыпалось искусственными звездами — множеством **продолговатых** бусинок из светлых драгоценных минералов и металлов. Они сплошной массой покрывают тела царей и цариц Шумера. Это очень важная особенность, черта, определяющая уже **тенгрианское** захоронение. Археологи полагают, что все эти украшения цари и царицы носили при жизни и унесли их с собой. Тогда надо признать, что и золотые маски (золото — металл заходящего солнца) тоже детали повседневной одежды властителей. Бусы имели значение лишь как погребальные атрибуты. (Потом, извлеченные грабителями из многочисленных курганов и склепов, они входили в моду как туалеты и знаки власти живых царей. Бугровщики напяливали на себя шитые золотом погребальные кафтаны с узкими длинными рукавами, из которых не высунешь кисти. Они прорезали в районе

локтя отверстия для рук и ходили так, волоча по полу концы рукавов. Как говорится, щеголяли спустя рукава. Невежды в одеждах мертвых. И эти новые цари уже не брали с собой дорогих вещей в могилы. Но все это потом. В Шумере же кафтаны погребальные еще не расшивали золотом.)

«Возле руки царицы стоял красивый золотой кубок. Верхняя часть тела совершенно скрывалась под массой золотых, серебряных, лазуритовых, сердоликовых, агатовых бус»[1].

Не только женщину уходящую украшали бусами. Тело усопшего царя было покрыто «сотнями бусинок из золота и лазурита» (стр. 188).

В каракумском захоронении «звезды» победнее. «Особенно богатым оказалось погребение ребенка, шею и плечи которого охватывали нити бус, содержащих свыше 400 гипсовых, несколько серебряных и лазуритовых бусин»[2].

Эта традиция осыпания «звездами» сохранялась долго, до средних веков н. э.

В Чечено-Ингушетии несколько лет назад открыли погребение в подземной камере — катакомбе.

«Сотни разнообразных по форме и расцветке бусин оказались в ожерелье погребенной женщины»[3].

В скифском захоронении на Северном Кавказе: «...кости мужчины усыпаны бусами: бронзовыми (62 шт.), стеклянными и сурьмяными — 263 шт., захоронение твердо датируется VI веком до н. э.»[4].

Уже в Шумере встречаются соединения бусин. Главная задача — удержать звезды непосредственно на теле погребенного.

Египтяне усовершенствовали этот метод — они **прибинтовывали** мелкие драгоценности к телу.

«Трудно даже себе представить, какое невероятное количество украшений было найдено на мумии. Под каждым слоем бинта обнаруживали все новые и новые драгоценности... Этот юноша, этот семнадцатилетний фараон был буквально усыпан с головы до ног золотом и драгоценными камнями»[5].

Прочтя это сообщение, я предположил, что и остальные мумии содержали такое же богатство. Отметил в карточке и отложил до будущих времен. И пожалел, что не рискнул выступить.

Недавно в информации АПН: «Группа американских ученых из мичиганского университета в сотрудничестве с учеными ОАР обнаружила ценные сокровища в мумиях 29 египетских фараонов, которые хранятся в Каирском музее с 1898 года. Просвечивая мумии рентгеновскими лучами, ученые пытались получить дополнительные сведения о физическом развитии древних египтян. К удивлению ученых, под слоем смолистого вещества, которым покрывалось после бальзамирования тело умершего, и внутри самих мумий они обнаружили при просвечивании золотые браслеты, священные амулеты, инкрустированные драгоценными камнями...

— Это первая находка драгоценностей египетских правителей после открытия в 1922 году гробницы Тутанхамона,— заявил доктор Джеймс Харис, возглавлявший научную экспедицию.

Полагают, что находка ученых даст много новых сведений о культуре, искусстве и истории древних египтян»[6].

«Неожиданная находка ученых»— сколько в этом определении горечи. Неожиданно может открыть памятники культуры сторож музея Акрам-Боба или экскаваторщик Ахмет-ага, копнувший не в том месте.

[1] **Церен Э.** Библейские холмы. М., 1966, стр. 180.

[2] **Сарианиди В. И.** Тайны исчезнувшего искусства Каракумов. М., 1967, стр. 36.

[3] **Виноградов В.** Тайны минувших времен. 1965, стр. 156.

[4] Там же, стр. 61.

[5] **Керам К.** Боги, гробницы, ученые. Москва, 1963, стр. 195.

[6] **Сагайдак С.** Неожиданная находка ученых, газета «Казахстанская правда», 30 января, 1971 г.

Пока громадный, накопившийся в разных странах, случайно найденный археологический материал не обобщен теорией, археология не выйдет за пределы землеройного ремесла и мы будем время от времени читать в газетах сенсационные сообщения, начинающиеся со знаменательной фразы —«к великому удивлению ученых, было обнаружено...»

Алтайские и иссыкские погребальные костюмы (камзол) — высшая стадия развития шумерской идеи —«золотые бусы — звезды на теле царя — заходящего солнца».

Впервые встречается такое «специфическое» платье в каракумском погребении.

«Вряд ли такое платье, расшитое лазуритовыми бусами, было повседневным, скорее всего, оно было специально сшито для погребения»[1].

[1] **Сарианиди В. И.** Тайны исчезнувшего искусства Каракумов. М., 1967, стр. 36.

В более поздних алтайских курганах (начало н. э.) погребальная одежда изготовляется из китайского «блестящего» материала — шелка.

Но в ранних (VII—V века до н. э.) шелковым халатам предшествуют меховые, расшитые «золотыми бусинами». Причем количество этих псевдозолотых псевдобусин достигает уже нескольких тысяч.

В Катангинском кургане благодаря мерзлоте, образовавшейся в этой могиле, хорошо сохранился халат на меху. Мех окрашен в зеленоватые и красные тона (шумерские цвета смерти и воскрешения) и выложен узором по типу инкрустаций. Халат отделан полосами кожи с нашитыми на него «пуговицами»[2]—«листовое золото, обтягивающее деревянную и кожаную основу»[3].

[2] Мы предпочитаем термин «бусина».

Е. С. Видонова, изучавшая детально этот халат, отмечает: «Оформление халата потребовало, видимо, много рук и самых разнообразных мастеров-техников. Так, по приблизительному подсчету одних пуговиц (на деревянной основе) было накреплено до 8000».

[3] **Видонова Е. С.** Катангинский халат. Труды Гос. исторического музея. Выпуск VII, сборник статей по археологии, стр. 170.

Там же: «...покрытых золотом квадратиков из кожи более крупного размера, чем «деревянных»,— около 1000 и более мелких свыше 2000. Все это делалось для одного лица».

Все более изощренней и воздушней становится обряд. Грубая шумерская вера, выраженная сотнями бусин литого полновесного золота и камней чистой воды, заменяются в алтайском обряде формальными бусинами (хотя количество их неизмеримо возрастает). Слабеет вера, утончается золото. Главным становится внешний блеск, основа — бытовой материал. (Не так ли в средние века китайские вдовы увильнули от варварского обычая предков, требовавшего самосожжения на «костре господина», сжигая вместо себя женские фигурки, вырезанные из бумаги?)

«Непрактичность» алтайского золота на камзоле подчеркивает и «непрактичность» самого одеяния. Халат имеет «длинные, чрезвычайно узкие рукава, вероятно, декоративного назначения, так как трудно представить, чтобы в такие рукава можно было продеть руки»[4].

[4] Там же, стр. 170.

...Юноша из Иссыкского кургана был облачен в кожаное одеяние с нашитыми на него более чем 4000 золотых бляшек. На голове он имел золотой «шлем» с навершием в виде литого из золота горного козла. (Рогатые животные — солнечные божества в Шумере.)

Талию его перехватывал широкий золотой пояс. По одну сторону от него лежал бронзовый меч с золотой рукояткой, у руки — серебряная чаша с надписью. Вспомните описание захоронения шумерского царя. Основные знаки совпадают: 1) шлем из электра (сплав золота и серебра), 2) широкий серебряный пояс, 3) усыпан золотыми бусинами, 4) две золотые чаши с надписями. Если учесть, что между ними почти 2 тысячелетия, то совпадения основных метафор погребальных формул можно считать почти буквальными. (В лингвистике такое соотношение назвалось бы диалектическим отличием живой формы от праформы.)

...Мне известен лишь один литературный памятник, где описана форма тенгрианского обряда, где участвует чаша с огненным вином («синее вино»), купол ночи («черная паполома»), и звезды («крупный жемчуг»). Это «Слово о полку Игореве».

Еще не знающий о поражении брата Игоря, великий князь киевский Святослав Всеволодович «мутный сон» видит, в котором ему на грудь сыплют жемчуг, покрывают паполомой и черпают ему огненного вина.

ЦИТАТЫ

Некий Циммерман, автор известной в XIX веке «Географической истории человечества», наблюдая разительное совпадение некоторых обрядов и обычаев у разных народов, в далеких друг от друга странах, знаменито объяснил подобное явление. Его комментарий стал своеобразной программой для некоторых историков XX века, правда, изъяснявшихся с читателями менее строго. Циммерман писал просто и ясно: «Если две светлые головы могут каждая сама по себе напасть на хорошее изобретение или открытие, то еще более вероятно, принимая во внимание гораздо большее число глупцов и тупых голов, что и какие-нибудь сходные глупости могли быть введены в двух далеких одна от другой странах».

Мне больше по душе объяснение этого явления, данное мыслящим знатоком истории культуры Э. Тейлором: «Когда какой-нибудь обычай, навык или мнение достаточно широко распространены, то действие на них всякого рода изменяющихся явлений долго может оказаться столь слабым, что они продолжают переходить из поколения в поколение. **Мы имеем здесь дело с устойчивостью культуры. Известная идея, смысл которой исчез уже много веков тому назад, продолжает существовать только потому, что она существовала»**[1].

[1] **Тейлор Э.** Первобытная культура. М., 1950, стр. 43.

Думается, что мы можем по праву отнести слова Э. Тейлора и к традиции захоронения с металлической чашей и бусами, начавшейся в Шумере и продолжавшейся в Средней Азии (Иссык, V век до н. э.) и на Алтае до «официально» тюркского времени.

Знаменателен вывод, сделанный Потаниным в книге, посвященной проблемам взаимодействия культур Азии и Европы. По его мнению, усвоение «решительных моментов культуры» возможно было «только тогда, когда оба народа жили одной духовной жизнью, имели один культ, одни обряды; тогда было не заимствование одним племенем у другого, а взаимодействие, сотворчество»[2].

[2] **Потанин Г.** Восточные мотивы в западноевропейском эпосе. СПб, 1899, стр. 791.

При кратковременной случайной встрече двух народов в истории можно заимствовать многое — предметы быта и название этих вещей, музыкальные инструменты, форму одежды и сосудов, даже эпические

сюжеты, но что касается такой сокровенной, интимнейшей части духовной жизни племени, как погребальный обряд, заимствовать механически, кажется по всему, невозможно.

Могила — четкая печать религии. Погребальный обряд и его знаковая формула переходит от одного народа к другому лишь вместе с верой, т. е. формой сознания.

Древние были ближе к поэзии природы. Они не стыдились учиться у сусликов и хомяков правилам жизни и смерти. Они рыли норы, их первые катакомбы напоминали архитектуру хомячьих нор. Люди засыпали не навечно. Через какое-нибудь время, может, в следующих поколениях, снова взойдет их солнце. И они выйдут из подземелий в дневной мир, чтобы продолжить земное существование.

Пройдут тысячелетия. Формализуется первая наивная вера — тенгрианство.

Последующие религии учтут опыт несбывшихся надежд тенгрианцев и предложат свои варианты бессмертия, которые труднее проверить эмпирически — а) на небе, перевоплощаясь в дух, б) на земле, но перевоплощаясь в другие формы живой материи. Все эти веры возникли, как бессильный протест, несогласие с печальным знанием — жизнь вечна, но формы жизни — смертны.

Индоиранцы ревизуют тему буквального воскрешения в идею перевоплощения в иные земные формы. Формула: царь-солнце, осыпанный звездами, натурализуется удивительно — труп осыпан горящими углями, натуральным огнем. Логическим завершением развития этой идеи стала кремация. И сосуду нашли применение. Пепел дымящийся погребался в кувшине.

Напуганные зрелищем индоиранской погребальной церемонии, арабы отразили его в сказочной метафоре: дым-джинн, заключенный в кувшине.

Христианство, как более позднее учение, использует и продолжающуюся в Европе традицию тенгрианства и новую религию души. У них правом буквального воскрешения пользуется только бог, детям земли предложена небесная альтернатива.

Почти через тысячелетие оформившееся мусульманство похоронило остатки идеи тенгрианства. Никто, даже бог, не воскрешает, ибо, как сказано, бог бессмертен. И соответственно меняются формулы погребальных обрядов. И только тюрки и монголы продолжают нести сквозь мечи новых воинствующих религий первую наивную мечту младенческого человечества, святую веру в плотское воскрешение.

И одевая покойника в блестящие одежды, и вручая металлический сосуд, они засыпали склеп уже просто круглыми булыжниками (звезды), воздвигали курган, устанавливали на нем изваяние богини воскрешения и всекали ей в руки точную копию той посудины, и лили на свежую землю кумыс, и молились: «Славный! Если ты родишься, то родись снова на нашей земле»[1].

Удивительна память человечества!..

Сто лет прожила старушка. Последние годы копила монеты. Тихо, без мучений, угасла. И пока несли до машины, бросали горстями на тело монеты. И всю дорогу до кладбища. И последние звенящие пригоршни падали в могилу вместе с первыми лопатами сухой февральской земли... (Алма-Ата, Казахская ССР, 1971 год после рождества Христова, 6000 лет тенгрианства.)

[1] О. Иакинф (Бичурин). История первых четырех ханов из дома Чингисова. СПб, 1829, стр. 176.

Удивительны формы развития смысла!

а) Смысл осыпания бусами и металлическими предметами знатных покойников с потерей письменного знака из буквалистского, описательного развивается в поэтический, в соответствии с философией тенгрианства. Человеку таким образом желают возрождения.

б) Ритуал переносится на живых — осыпая новобрачных серебряными монетами или любыми другими мелкими дорогими предметами, тюрки желают им произвести новую жизнь и самим жить вечно. Желают? Точнее, желали. Ибо обряд этот сохранился лишь внешне. Содержание его исполнителям давно не известно. А название «шашу» не выражает истории обычая, он только описывает действие. Шашу — сыпать, осыпать.

в) И в погребальном обряде смысл утрачен, остается традиция. Участники церемонии бросают в могилу монеты (как христиане — горсти земли. Изменился материал «звезд», уцелел лишь жест).

Удивительно живуч термин культа!

Придя в Азию, тюрки передали культ бога-неба тенгір монголам. Их древнейшее культурное взаимодействие отразилось в языках. Пласты общей лексики и сходство некоторых грамматических моментов позволяют лингвистам считать монгольские и тюркские языки генетически родственными, восходящими к одному общему источнику — алтайскому праязыку. Миф, порожденный методом индоевропейского языкознания. Хотя даже этим методом можно было отличить заимствование от родства.

...Позже всех расстались с тенгри кипчакские племена. Как за спасительную нить, связывающую их с великим прошлым, держались они за Имя. По нити этой били мечи мусульманских, буддийских и христианских миссионеров.

В XIII веке монголы разгромили кипчаков. Часть из них оказалась в Венгрии. К XX веку они забыли язык, имя свое, приняли христианство, но что-то держало их вместе, хотя мало их осталось. И когда, выходя из христианской церкви к Карцаге, они садились в круг начинать нехристианскую молитву, люди, окружив, смеялись их словам: Тенгри, Тенгри, амен! Тенгри, Тенгри, амен!

Люди хохотали до упаду. Им казалось уморительным, что скуластые эти старики так сурово и преданно молятся кукурузе. (Кукуруза по-венгерски — тенгери.)

Из всего родного кипчакского языка старики эти запомнили только одно — Имя. Не относящееся к основному фонду. Рассказал старый тюрколог Ю. Немет.

РОСА И РАСА

**(Вместо заключения.
Введение в тему ПР — палеография в речи)**

Поднимая трубку, набираем цифровой код. Бегут по проводам невидимые, неосязаемые сигналы — за тысячи километров, и кто-то заспанный дует в микрофон и произносит священное телефонное слово: «Алло...» Отвечаешь: «Алло». Помехи, помехи, прорываясь сквозь шумы и трески, взываю: «Алло! Алло».

Моя бабушка когда-то, увидев телефон, решила, что я разговариваю с богом. С тех пор пользуюсь у нее благоговейным уважением. Хотя в конце концов она поняла, что не каждый, с кем мне приходится беседовать, достоин этого имени. Но первое потрясающее ощущение отложилось в ее сознании. Когда ей совсем одиноко, она идет на трамвайную остановку к автомату, просит кого-нибудь набрать записанный мною номер, и раздается в кабинете тихий бабушкин звонок. Я узнаю его среди десятков других. Отодвинув платок, она склоняет голову набок, прижимается ухом к чудесной слуховой трубке, и я слышу ее зов: «Алла... Алла...»

...Удивительна судьба этого магического слова. Оно накрепко привязано к телефонной речи. В других случаях мы его не употребляем. Может быть, от телефонистов-англичан, устанавливавших в России первые аппараты, перешло их словечко. И мы послушно повторяем его на протяжении века, не задумываясь. Англичане и американцы приветствуют друг друга, похлопывая по плечу, пожимая руку, поднимая котелок: «Хэллоу!»

Когда и как христиане заимствовали еврейское священное слово 'элло'— бог, которым правоверные иудеи начинали любую встречу? Этим тихим словом они узнавали своих в толпах иноверцев на многотрудных путях двухтысячелетнего странствия по миру. И теперь планета, опутанная телефонными проводами, сообщается этим именем, живущим уже не смыслом, а внешней механической функцией. И если бы сейчас возникло мировое пиктографическое письмо, то знак, изображающий символ современного божества, связующего расы, народы и людей — рисунок телефонной трубки, был бы назван телефонным словом, и в каждом народе оно бы произносилось по-своему — хэллоу, алло, алё...

ПЯТНО НА СОЛНЦЕ

Мы видели, как распространялось слово, прикрепленное к вещественному знаку. Никаких других значений оно не получает, ибо знак слишком конкретен и истолкованию не подлежит.

Механизмы заимствования лексемы не изменились за 20, 30 веков и более. В самую раннюю рань, на заре человечества, когда многие языки только начинали свои словари, слово приходило как название неконкретного, абстрактного символа и благодаря толкованиям письменного образа приобретало местный, как правило, новый смысл. Впоследствии иероглиф (идеограмма) утрачивался, но отпечаток его сохранялся в слове, родившемся из названия иероглифа. Абстрактно-образное письмо обогащало языки, абстрактно-механическая письменность (буквенная) тормозила развитие устных словарей. Каждый

священный иероглиф, путешествуя с религией, благодаря туземным жрецам письма, их поэтическим расшифровкам символа, рождал сотни новых слов-понятий.

Рассмотрим в качестве примера краткую историю заслуженного египетско-китайского иероглифа солнца (круг с точкой в центре). Египетское его название «ра» известно из древнееврейских и греческих источников. Старокитайское (1,5 тысячелетия до н. э., эпоха Инь) — «ре» (ря).

Между этими двумя географически крайними полюсами древнечеловеческой цивилизации особо активно использовали этот знак солнцепоклонники — семиты. Они распространили его в Европе (среди римлян, греков и славян), в Индии, Иране.

Несколько семитских народов участвуют в освоении египетского знака «ра». Следы проработки сохраняются в библейских именах, которые представляют собой названия племенных богов. Боги племен, подчиненных в I тысячелетии до н. э. иудеям, заняли в библейской генеалогической традиции места, следующие после главного иудейского бога Израиля. Так, любимой женой его стала Ра-иль, старшим сыном Ра-бен[1].

...Диалект А не анализирует священного знака и, принимая его целиком, назвал Ра-иль, т. е. Ра-бог. Этому племени не удалось утвердить своего неконкретного бога в мире. Они не придали значения пятну на солнце, не объяснили его уместность, что сделало имя непопулярным среди несемитских народов. В эту веру не поверили. Образ природный расходился с графическим. Пятнистое солнце требовало не констатации, а толкования.

Жрецы диалекта Б продвинулись в этом направлении. Они предлагают считать точку в круге символом сына солнца, т. е. прапредка, от которого произошло племя. Прямые его потомки — вожди народа, светлейшие. Это истолкование закрепилось в термине Ра-бен — Ра-сын. Радостное открытие, объясняющее происхождение пятна на солнце, подхваченное письмотворцами семитских диалектов, дало толчок солнцепоклоннической религии и стало достоянием других культур, в частности, индоевропейских. (Формы диалектные: Ра-бин, Ра-мин, Ра-мен, Ра-ман, Ра-маан, Ру-бен и т. д. Например, в именах германского языческого бога — Робин-гут (гот) и индийского Раминдев.)

Письмоязыкотворцы древнего мира продолжают развитие семантики знака и имени, глобализируя их значения. А точка в круге — это избранный народ во вселенной, избранное государство.

Но славянские племена, казалось бы, еще не готовы к восприятию столь отвлеченной идеи. Их философия приближена к природе, и абстрактные понятия бог, государство не сразу утверждаются в сознании. Их поэты мыслят пока натуралистически конкретно, соотнося маленький письменный знак с количественно соразмерными природными формами. В русском языке собрались такие, например, племенные слова, сохраняющие в семантике описание знака: **ря-бина** — 1) точка на лице, 2) мелкая красная ягода (цвет и форма солнца), **ру-мян** (цвет солнца)[2], **ре-бен, ребя** (точка в кругу — чреве), **ра-мень** ограда, описание круга; отсюда — **рама**); **ра-бен**>**ра-би**>**раб** — самая мелкая общественная единица. (Описание точки. Следовательно, круг тогда уже понимается как символ семьи, рода.)

[1] Жрецы Главного народа не этимологизировали эти формы, иначе бы мужское имя Раиль не стало бы именем жены. Бог в древнееврейском уже назывался Хэллок, и потому старые диалектные формы «эль», «иль» не были опознаны.

[2] Заимствовано из латинского.

Большинство славянских репродукций содержат имя солнца с мягким гласным (ря, ре) и лишь в двух-трех изменилось качество[1].

Нам неизвестно, подразделяли или нет египтяне гласные по степени мягкости. Их письмо не передает ни огласовки, ни качества. И потому данные живых языков, знакомившихся с египетским словарем, могут оказаться полезными при восстановлении звучания гласных языка одной из величайших цивилизаций древнего мира.

Древнесемитские буквенные алфавиты не имеют диакритических значков качества. Греки и римляне не знали мягких гласных типа — я, е. И передавали их в заимствованных словах через — а, э.

Представляется возможным предположить, что славянские формы ря (ре), как и китайские ря (ре), сохраняют подлинное качество египетского гласного.

[1] Да еще в описательном «ра-дуга»— дуга солнца.

ХВОСТАТОЕ СОЛНЦЕ

...Предельно осознав значение знака «Сын Ра», семиты решаются закрепить это понимание и идут на нарушение священного символа. Сын выходит из чрева Ра. И рождается новый иероглиф — круг с чертой книзу[2]. Название сохраняется прежнее. Эти изменения не прошли мимо жрецов письма и языка славянских диалектов:

♀ — ре-пен (репей),
репен (репа) — хвостатый клубень.

[2] В восточногреческом алфавите Р (ро), в западногреческом два луча R. Так же в латинском. Мелкое расхождение, которое скажется впоследствии на судьбах мира. РА сделала первый шаг к Иисусу.

Помните сказку о золотом яичке, которое снесла вещая курочка Ряба? Его били-били — не разбили: письмотворцы не могли извлечь из солнечного круга точку-луч. И неожиданно появилось маленькое, кругленькое, хвостатенькое. И золотое яичко разбилось. Выпустило луч.

В бревенчатых лесных школах бородатые учителя славян сочиняли подобные притчи, которые, передаваясь от племени к племени, от поколения к поколению, дошли до нас хитрыми, забавными сказками о всемогущей мыши.

— Дяденька, а почему на солнышке пятно?

— И на солнце есть пятна.

«Жили-были бабка и дедка». Круг с точкой. «И выросла у них в огороде репка». Да не простая, а тоже солнечная. Круг с хвостом. «Тянут-потянут, а вытянуть не могут». И сказочные персонажи баба и дед, внучка и Жучка — этапы толкования и олицетворения солнечных знаков. Побеждает самое предметное объяснение последнего знака — мышь. Индоиранцы в осмыслении этих символов не пошли дальше внучки. И «Рамаяна», и «Вис и Рамин»— о человеческих проделках бо̀гов и о божественном происхождении человека. Но в могучем словесном черноземе потерялся безвозвратно иероглиф древности, а в простеньких, на первый взгляд, славянских мифах «Мышь и рябина», как в сухом песке, сохранился он нетленно. И сотни подобных репок, уходящих корнями в многотысячелетнюю историю славянской культуры, не поддаются коллективным мышечным потугам бородатых методов, а ждут легкого прикосновения мысли. Мышь — прямой потомок знака солнца. Не потому ли азиатский солнечный календарь начинается с года мыши? По легенде славянских диалектов, проворная мышь забралась на голову верблюда и первой увидела солнце. Огорченный верблюд плюнул и ушел, не дождавшись

появления светила. Бог карает гордых, потому верблюд не имеет своего года.

...Сын Ра вышел из чрева, и появляется необходимость закрепить это явление в названии. Семитские жрецы заставляют сына повзрослеть. Новая композита звучит: Ра-иш, т. е. «Ра-мужчина», и называет черту, исходящую из круга. Гортанная пауза перед «и» реализуется в индоевропейских языках или гортанным согласным, или губным протезом, или заполняется йотой. Так в финикийском алфавите (начало I тысячелетия до н. э.) возникает буква — «ре'иш»—1) глава 2) голова. Взрослый сын Ра утверждается вождем племени, государства. **Ра-'иш** будет и титулом монарха, и определением монархии. Ассирийские цари получат в руки символы «мужчины Ра»— круг и небольшую указку; европейские императоры и атаманы не разлучат солнца с лучом: булава, топор станут символами власти. Во всех новых семитских языках диалектные формы **ра-иш** получат значения, близкие к финикийским. (В Среднюю Азию принесут это слово арабы. Любой начальник, в особенности почему-то председатель колхоза,— раис. В Древнем Риме значение еще глобально: **рейз** — император, империя; республика — народовластие. В германских — **рейхс, райх, рееш** — империя. В Польше — Речь Посполита.) Семантическая традиция народ-язык («Пришел Мамай со всем своим языком»), идущая издревле и выразившаяся в параллели «слово-словяне», позволила древнейшим русичам придать термину **Речь** последнее значение. Но «речь» пришло устным путем и развивалось только функционально. Письменные же варианты слова, пройдя сквозь многие славянские диалекты, дали много слов предметной семантики. Диалекты как бы разделили между собой значения иероглифа. Как видим, большинство толкований связывают иероглиф с конкретными, реальными, осязаемыми предметами и явлениями. Даже цвет солнца не назовешь абстракцией. Но каких высот поэзии достигают славянские жрецы в процессе овеществления знака! Какие превосходные сравнения находят они в природе. Славянские поэты-языкотворцы похожи на кропотливых художников, вышивающих мельчайшие сюжеты, когда их современники рисуют размашистые полотна малярной кистью. Меня восхищают и те и другие. Лишь бы художники. Если знак солнца с лучом (Ра-иш, Ра-ис) позволяет индийцам создать внутренне обширное словопонятие — **раса**, то терпеливая наблюдательность северного поэта высветила именем знака каплю утренней влаги на тонком стебле травы — **роса**.

И какое из этих приобретений важнее для культуры — кто ответит?

Сравнение стало главным инструментом поэтического выражения. Мы сегодня уподобляем один предмет другому. «Женщина стройна, как кипарис». Языку этот троп ничего не дает. Мы не доверяем определению «стройна», подкрепляя его тавтологическим символом, который был бы на месте в более древней фразе «женщина, как кипарис». Но и здесь мы уже не найдем возможности обогатить народный словарь: слово «кипарис» не получит нового значения —«стройная женщина». Но когда арабские поэты средневековья ввели в ранг традиционного образ: «мужчина, подобный букве алип», тогда вновь заработала машина словотворчества. Первая буква арабского алфавита «алип»— вертикальная черта. Неодинаковое отношение к черте у разных народов определило полярность значений. Тюрки получают слово «алып»— великан, герой, так как первое место в

алфавите придает этому знаку величественность. Понятие «первый» к тому времени равноценно понятию «высший». Европейцы же обращают внимание на количественный образ знака. В немецком поэтическом языке появляется эльф — карлик. Разное отношение к одному знаку — вещественно-натуралистическое и абстрактное.

Проблема несоответствия формы предмета и его содержания усложняла проблему отражения. В прочтении символа помогает не просто навык к абстрагированию, но и общественная активность мысли, воспитанная историческим сознанием, и стремление обобщать количество в сумму, события в случай, без чего человеку не свести хаос звуков к пятерне октавы и к трем десяткам букв алфавита. И потому только тот, кто был способен создать символ, пытался увидеть в любой чужой черте знак произведения, а не единичности.

...Основное имя Израэля — **Яхве.** Народ Яхве, подчинив племена рабенов и раили, ввел по недоразумению или умышленно бога последнего племени в ранг жены Яхве, может быть, потому, что никаких указаний на пол в имени Раиль не содержится. (Второе — **Ра-бен** оканчивается на вполне понятное евреям «бен» — сын, что и определило его место в генеалогической таблице.)

Итак, у Яхве появляется жена — бог конкурирующего племени. И это, по-видимому, настолько важно для основателей иудейской истории, что они, настаивая на этом факте, сочиняют синоним Яхве — «иш-Раиль»— т. е. «муж Раили». В библейскую легенду попадает уже искаженная форма синонима — **Исраэль, Израэль,** поэтому и остался термин непонятым, вторым именем Яхве.

...Макропоэзия и микропоэзия. Первая — это мифы, геометрия, астрономия, геология, физика. Она облекает в плоть слова — понятия неосязаемые, взглядом не охватные. Обожествление символов развивает искусство, духовную культуру человечества.

Микропоэзия — производитель вещи. Мать техники. Она выращивает из семени символа не древо познания добра и зла, а обыкновенное дерево. Утилитаризуя знаки, созданные макропоэзией, превращает их в предметы. Модель вселенной превратилась в практическое колесо.

В каждой культуре ощутимы последствия взаимодействия этих двух главных направлений.

В другие эпохи, пытаясь определить назначение точки, макропоэты приходят к идее Первого человека. Они называют точку древнесемитским числительным Ахтум — первый. В Египет вернется первым мужчиной Атум, родится в индоиранской среде Адам. Микропоэты придут к осознанию мельчайшей частицы материи — Атом. И впервые поделят Атом пополам египтяне в мифе о происхождении человека.

...Атом смысла знака расщеплялся в толкованиях до бесконечности, вызывая в древнеписьменных языках терминологический взрыв.

Будущие лингвисты уделят внимание историческому письму наряду с устной «мелочью суффиксов и флексий». **Слово и иероглиф расстались не так давно.**

Лексика и грамматика в таких «младописьменных языках», как славянские, германские и тюркские, сохраняют отчетливые черты иероглифического выражения.

Неоценим для истории современной цивилизации подвиг палеографов XIX века, восстановивших из мертвых знаков забытые языки Шумера, Египта, Аккада, Ассирии и других. **Не менее важно восстановить по живым, устным словарям забытые иероглифические**

алфавиты. Я верю, что в далеком будущем появятся этимологические словари, в которых происхождение слова будет связываться с письменным знаком. Я не оговорился, именно —«в далеком», ибо бесконечно прав был Эйнштейн, когда однажды воскликнул в отчаянии: «Легче разложить атом, чем предрассудок!»

Предрассудки научные, как и бытовые (расовые, государственные, уличные), воздвигнуты в человеческом сознании памятниками минутному знанию, поспешно превращенному невежеством в веру. Всегда будет звучать в разных концах земли радостное «Эврика!» И не однажды, ударившись о стены вер, возвратится оно каменным окриком — кафр!

Я отдаю себе отчет в том, что поэтический подход к сугубо научным проблемам может и должен раздражать.

Задача этих заметок —

вместе с раздражением чувств читателя вызвать и раздражение мысли.

Они написаны в полном убеждении, что языкотворцы были художниками, понять их произведение — Слово можно лишь тогда, когда проникнешь в механику их образного мышления, освоишь их язык — поэтический.

Языкотворчество было искусством, и поэтому языковедение должно быть, хотя бы в начале своей настоящей истории, **наукой** поэтической, чтобы когда-нибудь стать **поэтической** наукой.

ИСТОРИЯ И СТАРИНА

...Я прочел рукопись, и у меня возникло чувство виноватости и перед теми, с кем спорил, и перед темами, которые на ходу задел. Я увидел, что сам не избежал того, против чего воюю: ратуя за объективность в оценке Времени, преувеличивал Момент.

Мысль обгоняет перо, и написанное вчера уже похоже на старую топографическую карту: там, где ты обозначил кустарник, уже шумит лес, там, где пунктиром провел тропинку догадки,— сегодня гудят бульдозеры, прорубая ложе для бетонированного тракта сознания.

Я бы хотел задать себе вопрос: что такое письмо? Средство передачи чувства, идеи во времени и в пространстве. А язык? Устное письмо. А искусство? Образное письмо.

Древние скульптуры — иероглифы, воплощенные в глине и камне. Каждая искусственно созданная вещь — утилитаризованный символ. Название вещи — название иероглифа.

Мы рассматриваем письмо, язык, искусство отдельно и не можем уяснить себе ни одной из частей, ибо они понятны лишь в целом.

Лингвисту надо быть палеографом и историком-искусствоведом широкого профиля, только тогда он приблизится к слову.

Насколько тесно смыкаются проблемы генезиса языка, письма, искусства, можно увидеть на одном примере, приведенном, к сожалению, эскизно по причине указанной.

В. В. говорил, что самым древним индоевропейским словом считается ist (est, es, is, iz) в значении «быть», «существовать», «жить»: его находят в большинстве индоевропейских языков. Этимологии пока нет, разысканы многочисленные родичи, родители неизвестны. **Причинность слова** не установлена. Почему именно такое звукосочета-

ние, а не любое другое, несет именно этот смысл? Вопрос в этимологии главный. На уровне современной лингвистики не то чтобы решать — ставить его еще преждевременно. Но все же попробую сравнить ist с именем древнеегипетской богини жизни Ишт (II тысячелетие до н. э.).

Греки называют ее Ист (шипящих нет в греческом). Персы озвончивают — Изид. Богиня Изида, кормящая грудью младенца, стала прообразом христианской богоматери. (Эта параллель, к счастью, доказана искусствоведами, и, значит, выход Изиды в мир хотя бы древнеевропейских культур можно считать установленным.)

В Египет культ Ишт, мне кажется, приходит из Передней Азии, где с IV—III тысячелетий до н. э. поклонялись богине жизни, земли и плодородия **Иштхор**. У нее много функций, одна из них — мать солнца.

Глиняные статуэтки змееголовой Иштхор[1] с безымянным младенцем[2] на руках были своеобразной метафорой, в которой соединились три понятия: Мать (женщина с младенцем), Земля (глина), Божество (змея).

[1] Змея была божеством земли.
[2] Младенец — символ материнства, плодородия.

Египетские ваятели «совершенствуют» образ заимствованной богини. Они изображают ее прекрасноликой женщиной. О былой змееголовости напоминают лишь кобры-уреи, обвивающие голову священной.

Египетские жрецы принимают версию — мать солнца — и обожествляют младенца, по их мнению, символизирующего восходящее светило. Непонятно звучащее имя справедливо распределяется между двумя персонажами, первый слог Ишт присваивается матери, следующий Хор — божественному младенцу.

Позже служители культа толкуют изображенный сюжет, и в мифах появляется Гор-сын, который борется со змеями, угрожающими матери. Культ Гора-сына распространяется по миру в I тысячелетии до н. э.

Этруски поклоняются новорожденному солнцу. Его идолом становится бронзовое зеркало. Много бронзовых зеркал с изображением младенца найдено на территориях древней Этруссии. Почти всегда рядом с рисунком младенца — надпись «геркле», т. е. «Гер-сын».

Эллины поклоняются змееборцу Гер-аклу, латины — Геркулесу.

В христианской мифологии поражает змею Геор-гий. В тюркских эпосах действует самоотверженно герой Геор-оглы, Гор-улы. Имя бога зачастую переходит в этноним. Так, подозрительно звучит название древнегерманского племени гер-ул.

Личное имя Гор (Гер) становится в индоевропейских и тюркских языках нарицательным именем с основным значением — солнце. (Сравнивая варианты лексемы, можно предположить, что в древнеегипетском языке «Гор» содержало мягкий гласный.)

...Самое яркое доказательство тому, что мифические имена становятся нарицательными в языках заимствующих, сохраняется в древнеиранском. Имена египетских богов Ишт, Хор развились в «изд»— бог, «гор»— солнце.

Думается, в ту же эпоху получает распространение в европейских и азиатских культурах имя богини-кормилицы Ишт, которое приобретает значения, подсказанные скульптурным знаком. Макропоэты увидели отвлеченный смысл —«давать жизнь», «жить», микропоэты закрепили свое понимание каменного иероглифа в семантике —«кормить», «кормиться».

Мы могли увидеть, как переднеазийские Слово и Знак, пройдя через горнило египетского искусства, обогатили культуры индоевропейские. Но последние и сами черпали непосредственно из кипящего котла цивилизаций Двуречья. Им было знакомо и нерасчлененное имя Иштхор.

На глиняном теле богини часто наносился шумерский детерминатив божества — восьмилучевая звезда. Имя богини сопрягалось с этим знаком и становилось нарицательным термином со значением «звезда». Сравните позднесемитские варианты имени Иштхор — Астарат (-ат — суффикс женского рода), Аштарта, Иштар, Истер и индоевропейские названия звезды — астра, астер, аштра, аштар, стелла, стар и т. д.

Греки несколько раз встречаются с этой богиней. Однажды они получают термин «истера»— лоно женское, детородный орган, в другой раз присваивают имя восьмилучевику «астир»— звезда. И, наконец, именем старинной богини определили понятие древности — История.

Мы уходим на поиски древних знаков,
повстречаем их на дорогах разных.
Растворенные в формах воды и плазмы,
в фигурах гор и во взглядах магов,
отпечатаны в лицах людских и в пальцах,
в изваяньях египетских, в индских танцах.
Очертания символов явлены в слове.
Заклинаю вас, люди,
поклоняйтесь Корове.
— Ныне веки иные, иные знаки.
На знаменах вспыхнули волчьи оскалы!
Заклинаю вас, люди,
поклоняйтесь Собаке!
— Но по-прежнему солнце сияет на скалах
двурогих,
в междуречье Евфрата,
на рогах Арарата,
на крутых и пологих
склонах.
Заклинаю вас, любящих и влюбленных,
поклоняйтесь Лону.
И пока на челах королев блистают караты,
и пока вгрызаются в низкое небо злаки,
рубят землю оратаи,
режут коров араты,
и божественна точка пулевая на флаге,
проклинайте глухих, не имеющих зраков!
Мы уходим на поиски грубых знаков,
опозоренных вещью,
возвышенных злобой,
осененных выдохом вечности —
Словом...

ПОСЛЕСЛОВИЕ К 2-МУ ИЗДАНИЮ

Мы кочуем навстречу себе,
узнаваясь в другом

Наконец отменено постановление Бюро ЦК КП Казахстана от 17 июля 1976 года «О книге О. Сулейменова «Аз и Я»— так оно называлось. И в нем значились санкции против издательства, осмелившегося опубликовать сей труд, издателей, не проявивших бдительности... Автору предписывалось признать свои ошибки печатно.

...Помню, как готовилась эта, необычная даже в те времена, экзекуция.

Ей предшествовала яростно-критическая кампания в центральных журналах: «Точка в круге, из которой вырастает репей»— А. Кузьмин, доктор исторических наук («Молодая гвардия», декабрь 1975 г.); «Слово о полку Игореве» в интерпретации О. Сулейменова»— доктора Л. А. Дмитриев, О. В. Творогов («Русская литература», № I, 1976 г.); «Мифы и истины»— Ю. Селезнев («Москва, № 3, 1976 г.); «Гипотезы темных мест «Слова о полку Игореве»— Д. С. Лихачев, академик («Звезда», № 6, 1976 г.) и др.

Готовилось обсуждение книги в ЦК КПСС силами трех отделов — науки, культуры, пропаганды и агитации. После чего планировалось издать соответствующее постановление ЦК и закрепить разгром строгой строкой в докладе на XXV съезде.

Откровенно говоря, помешали осуществлению «сусловского» плана товарищи из Бюро ЦК Компартии Казахстана. Через годы я узнал подробности. Когда-нибудь расскажу.

Обсуждение было перенесено в Академию наук СССР и состоялось 13 февраля 1976 года в здании на Волхонке, стенограмма опубликована в журналах «Вопросы истории» и «Вопросы языкознания», №№ 9—«Обсуждение книги Олжаса Сулейменова».

Академический разнос для республики был менее опасен, чем партийный, но Суслов обязал обсудить и осудить книгу на Бюро ЦК с последующим покаянным письмом автора в газету.

14 июля 1976 года меня ознакомили с проектом постановления Бюро, где было в нескольких местах —«исключить из партии... освободить от работы...» Речь шла о председателе комитета по печати, директоре издательства...

Автора репрессии не касались, только — покаяние.

Я написал открытое письмо и перед заседанием распространил среди членов Бюро. Проект в отношении издателей был изменен. После Бюро я отдал секретарю по идеологии сокращенный текст этого письма для публикации в качестве объяснения своих ошибок. В газете вышел практически другой текст. Непрошеные редакторы поработали за меня. И все мои попытки выступить с опровержением закончились ничем.

Сегодня появилась возможность:

а) в архивах ЦК найден оригинальный текст открытого письма;

б) отношения в связке «издательство — директивные органы», кажется, начинают меняться.

«ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО»
Члену Политбюро ЦК КПСС,
Первому секретарю ЦК КП Казахстана Д. А. КУНАЕВУ
Членам Бюро ЦК КП Казахстана

Дорогой Динмухамед Ахмедович!
Дорогие товарищи!

В связи с создавшейся по выходе книги «Аз и Я» ситуацией (критической как для автора, так и для товарищей, причастных к изданию) обращаюсь к Вам с письмом, в котором как коммунист и советский писатель прошу Вас учесть некоторые моменты, знание коих необходимо, на мой взгляд, при справедливом, неальтернативном разрешении сложного вопроса.

В критических статьях, появившихся на страницах журналов «Молодая гвардия», «Москва», «Знамя» (в меньшей степени в журнале «Русская литература»), в газете «Литература Грузии», в части материалов устного обсуждения в АН СССР и в ряде других — неопубликованных, ставятся под сомнение и творческие способности автора, и, главное — идеологическая направленность, цели данной работы.

Книга в ряде выступлений прямо определяется как националистическая, пантюркистская и даже — проникнутая духом сионизма.

К сожалению, не принимается во внимание и противоположное мнение, высказывавшееся и за «круглым столом» журнала «Дружба народов», на заседании совета по критике в Союзе писателей СССР, и в других обсуждениях, и во многих статьях, не увидевших света на том основании, что написаны они не специалистами. Но и авторы некоторых рецензий не являются специалистами ни в той области историографии, которая затрагивается в книге, ни в литературоведении, ни тем более в лингвистике.

Поэтому их мнение, оказавшее влияние на общественное благодаря большим тиражам изданий, я могу уравнять в правах с мнением других: известного литературоведа академика А. Новиченко, тюрколога-историка действительного члена АН Узбекской ССР М. Нурмухамедова, секретарей СП СССР Ч. Айтматова и Э. Межелайтиса, Р. Рождественского, Н. Федоренко, многих писателей и ученых из Москвы, Ленинграда, Киева и Баку, Казани и других братских республик.

Позволю себе процитировать одно письмо (прошу прощения у автора): «Самое для меня главное в книге — это подход к истории — жесткий и в то же время совестливый, в общем-то, что самое главное,— справедливый, отмеченный и печатью национальной гордости, и печатью национального самосознания, и печатью того взгляда на вещи, при котором интернационализм и историческая справедливость становятся синонимами в том случае, когда взгляд интернационалиста повернут в историю, изобилующую всякого рода национальными осложнениями, с которыми всуе даже и пытаться разобраться (невозможно), если дух интернационализма осеняет тебя только в момент произнесения соответствующих официальных речей или тостов, а в остальное время тебе ни к чему. Постановка вопроса в Вашей книге, взгляд на историю, которая отнюдь не дышло — куда повернул, туда и вышло, мне близки и дороги как советскому писателю, как русскому интеллигенту, наконец, просто как человеку, с детства пристрастному к истории своего народа, такой, какая она есть, и со сладким, и с горьким... Ваш Константин Симонов, 21 сентября 1975 г.».

...За год, прошедший после выхода моей тринадцатой книги, я много передумал. Особенно после обсуждения в АН СССР, состоявшегося тринадцатого февраля. Меня не поразила горячность, с которой большинство выступавших целиком отвергали все до единого положения книги.

Это было зеркальное отражение стиля, присущего многим страницам книги, где, не приводя особых доказательств, автор покушался на устои всей индоевропеистики, археологии и тюркологии. Что таить, автор надеялся — у него потребуют доказательств, научно обосновывающих те публицистические заявления, которыми изобилует «Аз и Я».

Я не раз обращал в книге внимание читателя на то, что она адаптирована для несведущего в специальных вопросах лингвистики и потому на ней не стоит гриф академического издательства; это книга писателя, и адресат у нее определенный. Цель ее — заинтересовать широкого читателя кругом проблем, не выходящих за пределы академических институтов. Может быть, слишком горячо протестовал против превращения истории и лингвистики в кабинетные науки. Мечтал привлечь к ним одаренных людей, будущих деятелей этих наук, результаты которых прямо обращены на воспитание мировоззрения.

И в качестве доказательства обоснованности моих гипотез я предполагал сразу же опубликовать труды, написанные вполне «научно».

Но расчет мой не оправдался. Книга, задуманная как эмоциональное предисловие, начало триптиха, неожиданно для меня была воспринята в качестве самостоятельной величины, где высказано окончательное суждение по всем вопросам, в ней обозначенным.

И, соответственно этому, невежливость по отношению к трудам некоторых специалистов была воспринята как проявление вопиющей невежественности. И, более того,— недобросовестности автора, намеренно вводящего неподготовленного массового читателя в заблуждение. Поэтому полагаю необходимым вкратце остановиться на истории создания книги со столь неблагополучной судьбой. Более пространно я рассказывал о ней в интервью корреспонденту «Комсомольской правды» (9 октября 1975 г.).

Время от времени все науки испытывают счастливые (в конечном счете) для науки покушения со стороны «дилетантов». При этом, естественно, затрагиваются интересы ученых, годы и годы посвятивших следованию традиционным теориям. Среди них и большие таланты, которые, даже сомневаясь в правоте догм, сочли более выгодным для себя «плутать со многими, чем искать дорогу одному». Этот цинизм делает их наиболее яростными приверженцами устаревших теорий, давно вступивших в конфликт с практикой научных исследований. И тогда любое сомнение «со стороны» воспринимается как ненаучное, так как критерием научности (т. е. истинности) часто служат условные рамки установлений господствующей школы. Примеров тому накопилось множество. Академик Остроградский остался в истории науки своей фразой, которую он произнес на обсуждении работы дилетанта Лобачевского: «В этом, с позволения сказать, труде все, что верно, то — не ново, а все, что ново, то — неверно».

Да простят меня, что невольно ставлю себя в один ряд и с английским офицером, не имевшим даже низшей научной степени бакалавра, но открывшим тайну древнеперсидской письменности, и с банковским клерком, расшифровавшим ассирийские клинописи (а это позволило прочесть и шумерские письмена, отодвинувшие историю человечества на несколько тысячелетий вглубь). Но ведь жили и трудились во времена клерков и офицеров-самоучек сотни выдающихся профессиональных ученых, кому истина тем не менее не явилась. И, как ни печально для специалистов, но большинство открытий, качественно подвигавших вперед науки, особенно историко-лингвистические, были сделаны «неофициальными лицами», которые не загромождали свое сознание беспрекословной верой в догматы школ, а подходили к ним критически. Они по наивности открывали новое, иногда просто не ведая законов, воспрещающих тратить на то усилия. А профессионал с вузовской скамьи твердо усваивает правила — это можно, а это нельзя. Эйнштейн, когда его спросили, как ему пришла такая простая мысль о всеобщей относительности, ответил совершенно искренне: «Я не знал, что этого нельзя делать. А другие знали».

Нет в науке проблем неразрешимых, но есть **неразрешенные**. Синонимично: **недозволенные** положениями господствующей на этом этапе научной школой.

Понимаю, что даю еще один повод обвинить меня в нескромности. Я мог бы вспомнить еще десятки имен ученых божьей милостью, чей жизненный подвиг, самоотверженное, бескорыстное служение человеческой культуре, их деятельность, направляемая мировоззрением, свободным от предрассудков, в том числе и научных,— служат мне примером. Те, кто молча присягнул правде, обязаны помнить и высочайшую

общежитейскую скромность таких ученых, как Маркс, Энгельс, Ленин и их великую до самоотречения нескромность в работе. Мы различаем два ситуативных понятия, ведая, что смысл слова «скромность»— ограниченность.

«Романсы» сочинять «доходней и прелестней», как однажды с горечью заметил Маяковский, и мне история «в зубах навязла», но во имя чего я пятнадцать лет перерывал библиотеки, «становясь на горло собственной песне»? Неужели, как выясняется, только для того, чтобы бросить несколько камешков в академический огород? Или для того, чтобы бросить тень на дружбу моих родных народов, честным, преданным сыном которых я себя считал и считаю?

Предок Чокан Валиханов сделал первым содержанием моего интернационализма мысль о кровном историческом братстве казахов с русским народом. Мой предок Абай учил меня «учиться у русских». И я учился у Ленина, Толстого, Пушкина, Маяковского, как учусь и сейчас у лучших представителей русской и всей советской культуры — широте взглядов, принципиальности и мужеству в борьбе за идеалы человека и человечества. И выросший в самой многонациональной республике, в атмосфере равенства и братства, я, патриот ста народов, советский патриот, считаю себя, как и каждый, наследником всех прошлых и новых цивилизаций человечества. Так меня воспитала советская школа, комсомол и партия. И потому протестую против деления истории человечества на национальные уделы. Полагая, что выводы каждой науки рассчитаны на человечество, а не на племя; полагая, что нет национальных физик, химий и философий, я относился к историографии любого народа как к одной из неотторжимых частей живого целого — биографии человечества.

И как геолог, рассматривающий алмазосодержащие породы, найденные в Конго и в Якутии, как философ, изучающий развитие социальных форм обществ, обретавшихся во всех краях земли, я пользовался материалами разных языков и разноязычных источников с одинаковым чувством, вполне условно применяя термины «славянская», «тюркская», «семитская», «германская» и любая другая —«культура».

Это позволило пристрастным критикам из разных республик обвинять меня одновременно в «пантюркизме» и в «сионизме», и много пришло писем с обвинениями в «панславизме».

Одни уподобляют меня печатно «скотине, допущенной в русские древности», другие непечатными словами уличают меня в том, что я «продался русским за комсомольские премии».

Прав был Тютчев, писавший, что поэты не знают, «как слово наше отзовется». Пусть простят мне ученые критики, но в такой неадекватной реакции на мысли, высказанные в книге, повинен не только автор, но и историография, и лингвистика, со школ воспитавшие сознание «самостийности» каждой культуры, не внушившие через школьные и вузовские учебники марксистско-диалектический взгляд на историю, согласно которому любая большая и малая культура не упала готовой с неба, а явилась результатом, обобщением бесконечной череды взаимодействий, в которых процессы отталкивания не преобладали над процессами притяжения.

...Ни самые решительные административные меры, ни огульная критика, ни даже авторское публичное покаяние, увы, не способны остановить развитие разноречивых, подчас враждебных нашей идеологии толков, но дадут лишь новую острую пищу таковым.

Голое, самоуничижительное признание автора в правомерности предъявленных обвинений, во-первых, противоречит моим убеждениям, и, во-вторых, будет понято и теми, и другими читателями как результат насилия над творческой личностью. И те, и другие воспримут это (одни — с удовлетворением, другие — с разочарованием) как проявление слабости моей, а не как итог внезапного прозрения.

Неправильному истолкованию книги может помешать только следующая книга того же автора, в которой, с учетом всех ранее непредвиденных обстоятельств, будут описаны вполне научным языком открытия культурных взаимоотношений славяно-балтских,

тюркских, германских, семитских, индоиранских и угро-финских народов в I тысячелетии до н. э.

В этой книге я применяю новый метод этимологии (науки о происхождении слов), выработанный мною в процессе нескольких тысяч этимологий.

Он позволяет этимологизировать и все известные науке этнонимы (народные самоназвания), в том числе и такие, как «славяне», «Русь», «тюрки», которые благодаря несовершенству метода лингвистического анализа подвергаются случайным истолкованиям; ими пользовались и пользуются фашиствующие идеологи в разных странах. Например, в гитлеровской Германии для воспитания особого отношения к славянским народам была в ходу этимология индогерманистов, производивших «славян» от случайно совпадающей латино-германской формы со значением — раб.

Мой анализ опровергает это толкование, так же как, к примеру, производство русского диалектного слова «чучело» от названия северного народа «чукча» и многих других, подобных этим, произведений современной лингвистики, вольно или невольно служащих целям уже не научным.

Лингвистику называют «лопатой истории», но, как показывает опыт недавний и сегодняшний, лопата может стать орудием и колодцекопателя, и могильщика. Запретить мне довести начатое дело нерачительно по отношению к нашей культуре, к возможностям человека, который может дать науке значительно более важные ценности, чем иным может показаться с первого, раздраженного взгляда.

...Мне исполнилось сорок лет. Наступило время оценки и серьезных решений. Какие бы чудовищные молвы обо мне ни ходили, я считаю недостойным их опровергать. Но теперь я вынужден опротестовать те, что впрямую касаются моего мировоззрения и важных черт личности.

В прожитые годы у меня были минуты и часы, которых я стыжусь.

Но в этом откровенном письме товарищам по партии я хочу заявить:

как человек и мужчина горжусь тем, что всегда был честен в поступках своих; никогда ни при каких обстоятельствах не предавал ни убеждений, ни дела, которому клялся в верности; ни слова, данного человеку.

Более всего я страдал, когда из-за меня страдали другие, невинные люди, и порукой тому единственная моя собственность — жизнь.

Пишу эти слова с полным осознанием того, что с течением времени они будут восприниматься как человеческий документ нечастного значения. И эта ответственность заставляет меня быть искренним, не стесняясь опасности непонимания...

С искренним уважением Ваш Олжас Сулейменов».

С той поры прошло тринадцать лет, и нынешний август не сравнить с тем памятным для меня летом 1976 года, но уверенность в том, что когда-то приведется самому готовить второе издание «Аз и Я», не оставляла меня никогда.

Но вместе с радостью — чувство горечи. Обидно, что эти 13 лет прошли для этимологии не так продуктивно, как могло быть: не появилась книга «1001 слово», не продолжился диалог.

Внося изменения в книгу и готовя ее к новой встрече с читателями, я невольно подумал: поэмы о любви кончаются свадьбой, но истинность чувства познается после, когда и ссоры, и драки, и слезы возможны.

Отношения этносов так же сложны и неоднозначны. Судьбы Евразии тысячи лет назад во многом зависели от взаимодействия и взаимозависимости тюрков и славян. Отношения славян и тюрков будут и в перспективе по нарастающей определять жизнь обществ на шестой части земной тверди.

Не осознавая прошлое, заблудимся в настоящем, как Иваны и Ахметы, не помнящие родства друг с другом...

АВТОР

Август, 1989 г.

ЭССЕ. ПУБЛИЦИСТИКА

Видеть в обыденном вечное . . . 6
Ты — мой герой . . . 7
Мой Чокан . . . 14
Портить отношения . . . 17
Пять поэтов . . . 32
Кочевники и культура: казахский эксперимент . . . 34
Почему худеет овца . . . 42
Большое — в мелочах . . . 47
К взаимозависимости . . . 53
О Мумине Каноате . . . 68
Может, это твой город . . . 70
Будущее нуждается в нас . . . 71
Березовая степь . . . 75
...Хороброе гнездо . . . 81
День курицы . . . 83

СТИХИ, ПОЭМЫ

Хлебная ночь . . . 96
Яблоки . . . 100
Почта, почта проклятая виновата...» . . . —
Волчата . . . 101
«О кони!..» . . . 102
Ришад, сын степняка . . . —
«Бетпак-Дала...» . . . 103
На ливень — с самолета . . . 104
Пей . . . —
Африканские ритмы . . . 105
Индея . . . 108
«Вожди индейцев пришли на обед...» . . . 110
Чикаго, в музее естествознания . . . —
Из окна отеля . . . 111
Ночь в пустыне . . . 112
«Я таю над ночными городами...» . . . 113
«Я в Луврe видел слепого...» . . . —
Ливень в Нью-Йорке . . . 114
Возвращение . . . 115
Мосты . . . 116
Ночные сравнения . . . 117
Окраина . . . 118
Концерт на фабрике им. Ю. Гагарина . . . —
Черный жаворонок . . . 120
Сентябрь в Библосе . . . 121
Слово дурака . . . 122
Шашка . . . 123
Самум . . . 124
Глиняная кружка МОПРа . . . 125
Русь Ярубеля . . . 127
«Огромные дома, дымы огромные...» . . . 128
Пять . . . —
На площади Пушкина . . . 129
Музеи . . . 130
«Загнали кондуктора под потолок...» . . . 131
Утро после шторма . . . 132
Шепот . . . —
Ночь свершения желаний . . . 133
Азиатские костры . . . —
Красный гонец и черный гонец . . . 135
Сухое вино . . . 136
В. Живульской, польской писательнице, бывшей узнице Освенцима . . . 138
«Встречаемся мы часто за Тоболом...» . . . 139
Актер и ночной город после премьеры . . . 140
Не жди . . . 141
«Вражда, приветствую тебя, вражда...» . . . 142
Чеченский котел . . . 143
Айналайн . . . 144
Три поклона . . . 145
«В горах Памира медленный потоп...» . . . 147
Прощание . . . 148
«Были такие витязи...» . . . 149
Кучевые облака . . . —
Следы . . . 150
Ночной экспресс . . . 151
Аз тэ обичам . . . 152
Минута молчания на краю света . . . 153
Девочка в желтом сари . . . 157
Девушка на зеленой траве . . . 160
Про Асана Невезучего . . . 164
Смерть Назыма Хикмета . . . 166
Разговор о верлибре . . . 167
«Что такое лишние?..» . . . 168
В нашем ауле был сапожник . . . 169
Ждем парома через Енисей . . . —
Каждый день — утро . . . 171
Старик с ружьем в ущелье . . . 172
«Fas — высшее право в римском законодательстве...» . . . 173
«В нашей маленькой речушке...» . . . 175
Сильнее «Фауста» . . . 176
Боле . . . 178
Сентиментальный мулла Рахметулла . . . 180
Все еще пустыня... . . . 181
В духане «У Хайяма» . . . 182
«Любая влага...» . . . 183
«В южный город на лето...» . . . 184
«На озерах Кургальджино...» . . . 185
Серая мисс . . . 186
«Пес сидел на цепи весь век...» . . . 187
Зависть . . . 188
В винограднике . . . 189
Последнее слово акына Смета . . . —
Ешь мед, Асан! . . . 191
«Традиция ислама запрещала...» . . . 192
«Вы меня любите, горы?..» . . . 193
«Ну что же, облака...» . . . 195
Безымянная высота . . . 196
Зной в Баку . . . 198
«Опаздывают поезда...» . . . 200
Север . . . 201
«Много веку досталось эпитетов...» . . . 202
Слон Флоры . . . 203
Понимание . . . 204
Поэтесса из кишлака Кашмир . . . 206
Ноктюрн . . . 207
Жара . . . 208
Город мой, бесснежная зима . . . 209
Рим в вихре . . . 211
«Их имена шуршат, как штурмовые флаги...» . . . 212
«В миллиардах обожжен гортаней...» . . . 213

Равновесие 214
Мальчишество 215
«Очищаю ящики стола...» . . . 216
«О чем этот поселок?..» . . . 217

НАША ЭРА
Размышления, диалоги

Кактус 218
Бессмертный муравей 233
CREDO 249

ГОЛУБИНАЯ КНИГА

Ева-ангелие от блудного сына

Случай 264
«Черный лебедь в белой стае...» . —
Хождения 265
Старый артист, прощание с театром 267
Стадо на водопой или с водопоя . 269
Рисую иву 271
Возрождение 272
«Смути меня усмешкою, смути...» . 274
Лунь 275
В Каргополе, вспоминая весну . . 276

Другие и плотник

В греческом зале 277
Молчание в предбаннике 283
Вся жизнь промелькнула . . . 286

ГЛИНЯНАЯ КНИГА

2700 лет спустя 297
Эпилог 303
Оракул 305
Ноги 307
Рога 358

АЗ и Я

Часть I
СОКОЛЫ И ГУСИ

К истории СПИ 399
Синее солнце 411
Свист звериный . . . . . —
Изяслав на кровати 413
Под трубами спелены . . . 415
Коли сокол в линьке бывает . 417
Повелея отца своего 421
Неуви денный переводчик . . . 422
Невидимые тюркизмы 426
Тур на бороне . . . . . —
Буйные 429
Восьмимысленность . . . . —
Растереть на кусту 430
До куриц Тмутороканя . . .
Сон Святослава 433
Царь Додон и Геродот 443
Честное слово 447
Недоумения . . . . . —
Галица или сокол? 461
Была ли дева? 465
Был ли Троян? 470
Не по замышлению Бояна . . 473
Аминь! 478
Страны ради, гради весели . . 479
Намеренные свидетельства . . . 484
Брак . . . . . —
Кочевники и Русь. Торкины, торки 486
Брачные свидетельства в языке . 487
Цвета мякины (обобщающие имена степняков до XIII века) 491
Берендеи . . . . . —
Ковуи 492
Черные клобуки 493
Нехристи . . . . . —
Половец 495
Кыпчак 498
Историки и История 506
Война и мир 513

Часть II
ШУМЕР-НАМЕ

Право на ошибку 518
Сомнения 523
Язык и наука 528
Индоевропеистика 531
Юрта и Лувр 536
К таблице 540
60 слов 542
Краткие выводы 548
Фонетика 549
Морфология 551
Закон перестройки слога 552
Односложное слово 553
Двусложное слово . . . . . —
В дополнение к таблице . . 555
Ребус 557
Пояснение к заглавию 562
Свои люди и собаки . . . . . —
Собака 563
Испака 565
Ишгузы 566
Тенгрианство 567
Чаша 569
Звезды кургана 572
Цитаты 575
Роса и раса 578
Пятно на солнце . . . . . —
Хвостатое солнце 580
История и старина 583
Послесловие к 2-му изданию . . 586

Сулейменов Олжас

С 89 Эссе, публицистика. Стихи, поэмы. Аз и Я.— Алма-Ата: Жалын, 1990.—592 с.

Публицистика, поэзия, лингвистика — таково триединство нового сборника, отражающего широту интересов известного казахского поэта. Собранные вместе, эти столь разноплановые произведения фокусируются в сознании читателя в общую гуманистическую направленность творчества Олжаса Сулейменова.

С $\frac{4702010206—182}{408(05)\ 90}$ без объявл. ББК 84Р7—5

ISBN 5-610-89600-8

© Оформление. Издательство «Жалын», 1990.

Сулейменов Олжас Омарович
ЭССЕ, ПУБЛИЦИСТИКА.
СТИХИ, ПОЭМЫ.
АЗ И Я.

Редактор Л. Степанова
Художественный редактор С. Макаренко
Художник Е. Кожабаев
Технический редактор О. Пегова
Корректор Р. Соболева.

ИБ № 4077

Сдано в набор 9. 06. 89.
Подписано в печать 21.12.89 Формат 70×100¹/₁₆.
Бумага офсетная.
Гарнитура «Тип Таймс». Печать офсетная. Усл. п. л. 48,1. Уч.-изд. л. 42,71. Усл. кр.-отт. 48,41.
Тираж 200 000 экз. Заказ 4598. Цена в переплете из бумвинила 3 р. 60 к., в переплете из ниткора или коленкора 3 р. 80 к.
Издательство «Жалын»
Государственного комитета Казахской ССР
по печати, 480124,
г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап»
Государственного комитета Казахской ССР
по печати, 480124,
г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.